Альбер Камю

Albert Camus

Посторонний
Миф о Сизифе
Калигула
Записные книжки
1935—1942

Библиотека классики (АСТ)

Альбер Камю

Посторонний. Миф о Сизифе. Калигула. Записные книжки 1935-1942

«Издательство АСТ»
1942, 1958, 1959, 1962, 1971

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4Фра)-44

Камю А.

Посторонний. Миф о Сизифе. Калигула. Записные книжки 1935-1942 / А. Камю — «Издательство АСТ», 1942, 1958, 1959, 1962, 1971 — (Библиотека классики (АСТ))

ISBN 978-5-17-982761-0

В этот сборник вошли произведения как раннего периода творчества Альбера Камю, так и его яркого расцвета одновременно как писателя и философа. От ранних эссе «молодого бунтаря», в которых философское и литературное начала переплетаются самым естественным и изысканным образом, а Камю еще только нащупывает понемногу свой уникальный «творческий почерк», – к «Мифу о Сизифе», «Постороннему» и «Калигуле». К вечно актуальным, поистине революционным произведениям, перевернувшим сам образ мышления интеллектуальной молодежи XX века и ставшим знаменем не только экзистенциализма, но и нонконформизма в целом. Также в издание вошли записные книжки Альбера Камю, датированные маем 1935-го – февралем 1942 года.

УДК 821.133.1-3
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-982761-0

© Камю А., 1942, 1958, 1959, 1962, 1971
© Издательство АСТ, 1942, 1958, 1959, 1962, 1971

Содержание

Изнанка и лицо 9
- Предисловие 9
- Ирония 15
- Между да и нет 20
- Со смертью в душе 25
- Любовь к жизни 30
- Изнанка и лицо 33

Брачный пир 35
- Бракосочетание в Типасе 35
- Ветер в Джемиле 39
- Лето в Алжире 43
- Пустыня 49

Лето 55
- Минотавр, или остановка в Оране 55
  - Улица 56
  - Пустыня в Оране 58
  - Игры 59
  - Памятники 61
  - Камень Ариадны 63
- Миндальные рощи 66
- Прометей в Аду 68
- Маленький путеводитель по городам без прошлого 70
- Изгнанничество Елены 73
- Загадка 76
- Возвращение в Типасу 80
- Море как можно ближе 85

Счастливая смерть 91
- Часть первая. Естественная смерть 92
  - Глава 1 92
  - Глава 2 94
  - Глава 3 99
  - Глава 4 104
  - Глава 5 109
- Часть вторая. Сознательная смерть 113
  - Глава 1 113
  - Глава 2 118
  - Глава 3 123
  - Глава 4 130
  - Глава 5 143

Посторонний 149
- Часть первая 150
  - I 150
  - II 155
  - III 157
  - IV 160
  - V 163

VI 165
Часть вторая 171
I 171
II 174
III 178
IV 184
V 187
Миф о Сизифе 194
Рассуждение об абсурде 195
Абсурд и самоубийство 195
Стены абсурда 198
Философское самоубийство 206
Абсурдная свобода 215
Человек абсурда 223
Донжуанство 224
Театральное представление 227
Завоевание 230
Абсурдное творчество 235
Философия и роман 235
Кириллов 239
Творчество без будущего 243
Миф о Сизифе 246
Калигула 249
Действие первое 250
Сцена первая 250
Сцена вторая 251
Сцена третья 252
Сцена четвертая 252
Сцена пятая 254
Сцена шестая 254
Сцена седьмая 255
Сцена восьмая 255
Сцена девятая 256
Сцена десятая 256
Сцена одиннадцатая 257
Действие второе 260
Сцена первая 260
Сцена вторая 260
Сцена третья 262
Сцена четвертая 262
Сцена пятая 262
Сцена шестая 265
Сцена седьмая 265
Сцена восьмая 265
Сцена девятая 266
Сцена десятая 267
Сцена одиннадцатая 268
Сцена двенадцатая 269
Сцена тринадцатая 269

Сцена четырнадцатая 270
Действие третье 273
Сцена первая 273
Сцена вторая 275
Сцена третья 276
Сцена четвертая 277
Сцена пятая 278
Сцена шестая 279
Действие четвертое 282
Сцена первая 282
Сцена вторая 283
Сцена третья 283
Сцена четвертая 283
Сцена пятая 284
Сцена шестая 284
Сцена седьмая 285
Сцена восьмая 285
Сцена девятая 286
Сцена десятая 287
Сцена одиннадцатая 287
Сцена двенадцатая 288
Сцена тринадцатая 290
Сцена четырнадцатая 293
Недоразумение 295
Предисловие 296
Действие первое 297
Сцена первая 297
Сцена вторая 299
Сцена третья 299
Сцена четвертая 301
Сцена пятая 302
Сцена шестая 305
Сцена седьмая 307
Сцена восьмая 307
Действие второе 309
Сцена первая 309
Сцена вторая 312
Сцена третья 312
Сцена четвертая 312
Сцена пятая 313
Сцена шестая 313
Сцена седьмая 315
Сцена восьмая 315
Действие третье 317
Сцена первая 317
Сцена вторая 320
Сцена третья 321
Сцена четвертая 324
Записные книжки. Май 1935 – февраль 1942 325

Тетрадь № I. Май 1935 года – сентябрь 1937 года 326
Тетрадь № II. Сентябрь 1937 года – апрель 1939 года 349
Тетрадь № III. Апрель 1939 года – февраль 1942 года 373

Альбер Камю
Посторонний. Миф о Сизифе. Калигула. Записные книжки 1935–1942

Albert Camus
L'envers et l'endroit
Noces
L'ete
La mort heureuse
L'etranger
Le mythe de Sisyphe
Caligula
Le malentendu
Carnets i (mai 1935 – fevrier 1942)

© Editions Gallimard, Paris, 1942, 1958, 1959, 1962, 1971
© Перевод. Т. Чугунова, 2015, 2018
© Перевод. Л. Григорьян, наследники, 2019
© Перевод. Д. Вальяно, наследники, 2018
© Перевод. С. Великовский, наследники, 2013, 2018
© Перевод. Н. Галь, наследники, 2019
© Перевод. Ю. Гинзбург, наследники, 2017
© Перевод. М. Ваксмахер, наследники, 2019
© Перевод. О. Гринберг, наследники, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

* * *

Изнанка и лицо

Жану Гренье

Предисловие

[1]

Эссеистика, объединенная в этом томе, писалась в 1935–1936 годах (мне тогда было двадцать два года) и была опубликована мизерным тиражом в Алжире год спустя. Это издание давно уже стало библиографической редкостью, и я упорно отказывался от переиздания «Изнанки и лица».

В моем упрямстве не было никакой тайны. Я ни на йоту не отказываюсь от того, что запечатлено в этих текстах, но их форма всегда казалась мне неуклюжей. Предрассудки, связанные с искусством, которые я мимовольно взращивал в себе (к этому я еще вернусь), долго мешали мне решиться на переиздание. Но, быть может, виной тому было тщеславие, внушившее мне, что все мои другие книги безупречны? Нужно ли говорить, что дело было не в этом? Просто я более чувствителен к промахам «Изнанки и лица», чем к известным мне недостаткам прочих моих книг. Но тогда необходимо признать, что моя первая книга затрагивает и частично выявляет предмет, наиболее близкий моему сердцу. Покончив с вопросом о художественной ценности этой небольшой книги, я могу сознаться, что для меня очень важна такая ее ценность, как ценность свидетельства. Я говорю сугубо о себе, так как именно для меня она о многом свидетельствует и именно от меня требует верности, трудность и глубина которой ведома мне одному.

Попытаюсь объясниться.

Брис Парен не впервые утверждает, что эта маленькая книга содержит лучшее из написанного мною. Парен ошибается. Но я на этом не настаиваю, зная о его доброжелательности, я понимаю его категоричность, свойственную людям искусства, и нетерпимость к тем, кто имеет дерзость предпочитать то, чем он был, тому, чем он стал. Брис Парен ошибается потому, что в двадцать два года, если ты не гений, то лишь начинаешь постигать азы писательства. Но я понимаю, что Парен, этот убежденный враг искусства и философ сострадания, имеет в виду. Он имеет в виду – и тут он прав, – что в этих неуклюжих страницах больше доподлинной любви, чем во всех последующих книгах.

Каждый художник хранит в глубине души особый источник, который питает в течение всей его жизни то, чем он является, и то, о чем он говорит. Когда источник иссякает, мало-помалу видишь, что творчество засыхает и растрескивается. Эти бесплодные территории искусства больше не животворит невидимый поток. И когда этот истончившийся, как волос, источник становится скудным и безводным, художнику, покрытому ошметьями жнивья, остается молчать или болтать в гостиных, что одно и то же. Что до меня, то я знаю: мой источник – в «Изнанке и лице», в этом мире бедности и света, где я так долго жил и воспоминания о котором оберегают меня от двух противоположных опасностей, угрожающих каждому художнику, – злобы и самоупоенности.

С самого начала я никогда не ощущал бедность как несчастье: свет рассыпал на ней свои несметные сокровища. Даже мои мятежи были освещены им. Они были (полагаю, что могу утверждать это без тени лукавства) мятежами ради всех, ради того, чтобы жизнь всех возвысилась до яркого света. Едва ли мое сердце было от природы расположено к такому виду любви,

[1] © Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян, наследники, 2019К изданию 1958 года.

но мне помогли обстоятельства. Чтобы исправить прирожденное равнодушие, меня поместили как раз посередине меж бедностью и солнцем. Бедность не давала мне верить, что под солнцем и в истории все обстоит наилучшим образом; солнце научило меня, что история – это еще не все. Изменить жизнь – да, но не мир, который был для меня священен. Сознаюсь, я начал свой непростой путь почти в неведении, ступив на натянутую нить, по которой с трудом продвигаюсь вперед, отнюдь не уверенный, что достигну цели. Короче говоря, я стал художником, если правда то, что нет искусства без отказа и гармонии.

Так или иначе, но живительное тепло, царившее над моим детством, избавило меня от всякой злобы. Я пребывал в нужде, но одновременно и в каком-то восторге. Я чувствовал в себе безграничные силы: нужно было только найти для них применение. Силам этим препятствовала вовсе не бедность: в Африке море и солнце даются даром. Препятствие было скорее в предрассудках или в собственной глупости. У меня были все возможности развить свою «кастильскую гордыню», которая причинила мне немало вреда, которую с полным основанием высмеивает мой друг и учитель Жан Гренье и от которой я безуспешно пытался избавиться, пока не понял, что существует некая предопределенность характеров. Лучше было принять собственную гордыню и заставить ее служить себе, чем отдаться, как говорит Шамфор, принципам более сильным, чем характер. Но, положа руку на сердце, я могу засвидетельствовать, что среди моих многочисленных слабостей никогда не наличествовал самый распространенный человеческий недостаток, я имею в виду зависть, сущую язву всех обществ и доктрин.

Я не сам воспитал в себе этот счастливый иммунитет. Я обязан им моим близким, которые, нуждаясь почти во всем, не завидовали почти ничему. Только благодаря молчаливости, сдержанности, врожденной неброской гордости эти люди, даже не умевшие читать, дали мне тогда самые возвышенные уроки, сохранившиеся навсегда. К тому же я был настолько поглощен чувствами, что не мечтал о чем-то другом. Даже теперь, когда я наблюдаю в Париже жизнь очень богатых людей, они вызывают у меня глухое сострадание. В мире много несправедливости, но есть одна, о которой никогда не говорят: это несправедливость климата. Я долго пользовался плодами такой несправедливости, сам того не зная. Я уже слышу филиппики наших ревностных филантропов, если только они меня читают. Я-де хочу представить рабочих богатыми, а буржуа бедными, чтобы и дальше сохранять счастливое рабство одних и могущество других. Нет, это не так. Наоборот, когда бедность сопрягается с той жизнью без неба и надежды, которую я, возмужав, обнаружил в ужасных предместьях наших городов, тогда последняя и самая возмутительная несправедливость достигает пика: нужно сделать все, чтобы эти люди избежали двойного унижения нищетой и уродством. Родившись бедным, в рабочем квартале, я, однако, не ведал, что такое настоящее несчастье, пока не узнал ужаса наших промозглых пригородов. Даже крайняя нищета арабов не может с этим сравниться из-за различия небес над головой. Познав хотя бы раз промышленные предместья, чувствуешь себя навек осквернённым и ответственным за их существование.

То, что я сказал, сущая правда. Иногда я встречаю людей, которые живут в невообразимом богатстве. Однако я не могу себе представить, что такому богатству можно завидовать. Однажды, много лет назад, я целую неделю жил, наслаждаясь всеми благами мира: мы спали под открытым небом, на пляже, я питался фруктами и по полдня купался – один на весь берег. В это время я познал истину, которая всегда побуждала меня воспринимать признаки комфорта и вообще обустройства с иронией, нетерпением, а порой и с яростью. Хоть теперь я живу, не заботясь о завтрашнем дне, то есть как человек привилегированный, я не умею чем-либо владеть. Я не могу сохранить ничего из того, что имею и что мне было предоставлено без всяких усилий с моей стороны. И мне кажется, что причина тому – не расточительность, а скорее особый вид бережливости: я жаден до свободы, которая исчезает из-за избытка благ. Самая большая из роскошей всегда совпадала для меня с некой утратой. Я люблю голые стены дома арабов или испанцев. Номер в гостинице – вот где я предпочитаю жить и работать и где легко

мог бы умереть. Я никогда не мог предаться тому, что называют внутренней домашней жизнью, которая так часто является противоположностью истинной внутренней жизни; счастье, именуемое мещанским, вызывает у меня скуку и отвращение. Этим моим свойством, впрочем, не стоит гордиться; оно немало способствовало подпитке моих дурных качеств. Я ничему не завидую, и это мое право, но я не всегда представляю себе зависть других, а это лишает меня воображения, то есть доброжелательства. Правда, я создал для личного пользования лозунг: «Надо применять свои принципы в большом, в малом достаточно милосердия». Увы! Лозунги создают, чтобы залатать прорехи в собственном характере. А мое милосердие скорее зовется безразличием. И его результаты, как нетрудно догадаться, менее благотворны.

Но я хочу всего лишь подчеркнуть, что бедность необязательно предполагает зависть. Даже позже, когда тяжелая болезнь временно лишила меня жизненных сил, которые все во мне преображали, несмотря на невидимые немощи и новые слабости, которые я в себе обнаруживал, даже тогда я познал лишь страх и отчаяние, но только не горечь. Эта болезнь, вне всяких сомнений, добавила другие, более тяжкие недуги к тем, что уже гнездились во мне. Но в конечном счете она способствовала свободе сердца, этой легкой отстраненности от человеческих страстей, которая всегда предохраняла меня от злобы. С тех пор, как я живу в Париже, я знаю, что это королевская привилегия. Но я всегда наслаждался ею без оглядок и угрызений совести, во всяком случае, доселе она озаряла мою жизнь. К примеру, как художник я начинал в состоянии восторга, то есть в каком-то смысле в земном раю. (Известно, что сейчас во Франции есть обычай дебютировать в литературе и даже завершать литературную карьеру, выбирая какого-нибудь художника мишенью насмешек.) К тому же мои личные чувства никогда не были «против». Люди, которых я любил, всегда были лучше и значительнее меня. Бедность, которую я пережил, научила меня не злобе, но, наоборот, некоторой верности и немому упорству. Если мне случалось об этом забывать, то в том повинны только я и только мои недостатки – отнюдь не мир, в котором я родился.

Воспоминание об этих годах также не давало мне быть довольным результатами моего труда. Здесь я хочу рассказать с такой простотой, на какую только способен, о том, о чем писатели обычно умалчивают. Я не стану говорить об удовлетворении, которое, по-видимому, получаешь от каждой удавшейся книги или страницы. Я не уверен, что так уж много художников такое удовлетворение испытывают. Что до меня, то не думаю, чтобы когда-либо я получал удовольствие, перечитывая законченную страницу. Могу даже признаться – и тут меня можно поймать на слове, – что успех некоторых моих книг меня всегда удивлял. К этому, безусловно, привыкаешь, и это довольно мерзко. Однако даже сегодня я ощущаю себя подмастерьем рядом с писателями-современниками, за которыми я признаю их истинные заслуги, и первым из них я назову того, кому двадцать лет назад посвятил эти эссе[2]. Писатель, естественно, имеет свои радости, ради которых он живет и которые способны его щедро одарить. Но что касается меня, то я испытываю их в миг появления замысла, в момент, когда определяется сюжет, когда перед внезапно прояснившимся внутренним взором вырисовываются сочленения твоей задумки, в те сладостные минуты, когда воображение окончательно сливается с разумом. Эти мгновения проходят так же неожиданно, как и рождаются. Остается исполнение замысла, то есть долгий нелегкий труд.

С другой стороны, у художника есть радости тщеславия. Писательское ремесло – особенно во французском обществе – часто превращается в ремесло тщеславия. Я говорю об этом, однако, без презрения, да и навряд ли с сожалением. Здесь я похож на других; кто может счесть себя свободным от этой глупой слабости? В конце концов, в обществе, обреченном на зависть и издевку, всегда наступает день, когда наши писатели, осыпанные насмешками, дорого платят

[2] Жан Гренье.

за эти жалкие радости. Но за двадцать лет литературной жизни я имел очень мало подобных радостей от профессии, и с течением времени их становилось все меньше.

Разве не воспоминание об истинах, смутно угаданных в «Изнанке и лице», всегда мешало мне чувствовать себя комфортно в публичном воплощении моего ремесла, разве не оно вынуждало меня столько всего отвергать, что лишило меня многих друзей? Игнорируя похвалы или знаки почитания, даешь повод славословящему думать, что ты относишься к нему с пренебрежением, тогда как на самом деле ты сомневаешься только в себе самом. Если бы я проявил ту смесь суровости и любезности, которая встречается в литературном мире, даже если бы я преувеличил свою кичливость, как многие другие, я заполучил бы куда больше симпатии, так как я наконец принял бы участие в игре. Но что делать – эта игра меня не развлекает! Честолюбие Рюбампре и Жюльена Сореля часто приводит меня в замешательство своей неприхотливостью и наивностью. Честолюбие Ницше, Толстого или Мелвилла меня волнует хотя бы потому, что оно закончилось их поражением. В глубине души я чувствую себя униженным только перед самыми жалкими судьбами или самыми великими проявлениями духа. Между ними находится современное общество, способное вызывать лишь смех.

Иногда на театральных премьерах, которые являются единственным местом, где я встречаю то, что заносчиво называется «светским Парижем», мне кажется, что зал вот-вот исчезнет, что этот призрачный мир не существует вовсе. Мне представляются куда более реальными другие – великие персонажи, вопиющие на подмостках. Но чтобы не удрать, нужно вспомнить, что каждый из этих зрителей тоже имеет в перспективе свидание с самим собой, что он об этом знает и, несомненно, вскорости на него отправится. И сразу возникает новое братство: одиночество объединяет тех, кого разлучает общество. Но зная все это, как угождать сему миру, как домогаться его смешных привилегий, поздравлять всяких авторов со всякими книгами, подчеркнуто благодарить благосклонного критика, как пытаться соблазнить противника и особенно с каким лицом принимать комплименты и то восхищение, каковое французское общество – по крайней мере в присутствии автора (ибо стоит ему уйти, как начнется такое!..), – смакует, как перно. Я ничего тут не понимаю, это факт. Может быть, здесь присутствует много той злой гордыни, власть и устойчивость которой во мне самом мне доподлинно известна. Но если бы только это, если бы пыжилось только одно мое тщеславие, мне кажется, что тогда я хотя бы поверхностно радовался похвалам вместо того, чтобы видеть в них непрерывно повторяющуюся неловкость. Нет, я чувствую, что тщеславие, которым я обладаю вкупе с людьми моего положения, особенно остро реагирует на кое-какую критику, которая содержит весомую часть правды. Перед наплывом комплиментов отнюдь не гордость придает мне тот ленивый и неблагодарный вид, который я хорошо за собой знаю, но (одновременно с глубоким безразличием, существующим во мне наподобие недуга характера) особое, возникающее в тот момент чувство: «Это не то…» Нет, это не то, и потому порой столь трудно поддерживать свою репутацию, что испытываешь некое злорадство, делая все, чтобы ее потерять. И наоборот, по прошествии стольких лет, перечитывая ради этого переиздания «Изнанку и лицо», я инстинктивно чувствую, когда перелистываю некоторые страницы, что, невзирая на их несовершенство, это именно то: эта старая женщина, молчаливая мать, эта бедность, этот свет над оливковыми деревьями Италии, эта любовь, одинокая и полная людей, – все, что в моих собственных глазах свидетельствует о правде.

С тех пор, как были написаны эти страницы, я постарел и немало пережил. Я многое узнал о себе, уяснив все свои возможности и почти все свои слабости. Я гораздо меньше узнал о людях, потому что мое любопытство простиралось скорее на их судьбы, чем на их поведение, а судьбы часто повторяются. Во всяком случае, я узнал, что они существуют и что эгоизм, раз уж он не может собой поступиться, должен пытаться быть по крайней мере проницательным. Наслаждаться собой невозможно; я это усвоил, несмотря на немалые способности к этому упражнению. Если одиночество существует, в чем я не уверен, люди были бы вправе мечтать о

нем, как о рае. Я иногда мечтаю о нем, как и все прочие. Но два тихих ангела всегда запрещали мне погрузиться в него: один имел лицо друга, а другой – лицо врага. Да, я все это знаю, и еще я понял, или почти понял, чего стоит любовь. Но о самой жизни я знаю не больше того, что так неуклюже изложено в «Изнанке и лице».

«Нет любви к жизни без отчаяния», – написал я не без выспренности на этих страницах. В то время я не осознавал, насколько был прав, я еще не вступил в полосу подлинного отчаяния. Эти времена настали, и они могли разрушить во мне все, кроме необузданного желания жить. Я до сих пор страдаю от этой страсти, одновременно благотворной и разрушительной, звучащей даже на самых мрачных страницах «Изнанки и лица». Кем-то было сказано, что по-настоящему мы живем лишь несколько часов нашей жизни. В определенном смысле это правда, в определенном – ложь, поскольку исступленный пыл, который вы ощутите в нижеследующих очерках, никогда меня не покидал, и в конечном счете он является самой жизнью в лучших и худших ее проявлениях. Разумеется, я хотел исправить то худшее, что порождала во мне эта жажда. Как и все, я попытался худо-бедно облагородить свою природу морально. Но увы! Как раз это мне очень дорого обошлось. С помощью энергии, а она у меня есть, иногда удается вести себя – но отнюдь не существовать – в соответствии с моралью. А мечтать о морали, когда живешь страстями, значит обречь себя на несправедливость в то самое время, когда говоришь о справедливости. Человек иногда представляется мне как несправедливость в действии: я говорю о себе. Если мне в данный момент кажется, что я в своих произведениях иногда ошибался или лгал, то это потому, что я не знаю, как честно признать свою неправоту. Конечно, я никогда не говорил, что был справедлив. Мне только случалось говорить, что нужно пытаться таковым быть и что это мука и несчастье. Но разве разница здесь так уж велика? Может ли действительно проповедовать справедливость тот, кому не удается воплотить ее даже в своей жизни? Если бы по крайней мере можно было бы жить сообразно чести, этой добродетели несправедливых! Но наш мир считает это слово непристойным: аристократ участвует в литературных и философских перепалках. Я не аристократ, мой ответ содержится в этой книге: вот мои близкие, мои учителя, мое потомство, вот то, что через них объединяет меня со всеми. И однако же, признаться, я нуждаюсь в чести, потому что я недостаточно велик, чтобы обойтись без нее.

Но не все ли равно! Я только хотел отметить, что если я и прошел долгий путь со времени написания этой книги, – то все же не так уж продвинулся вперед. Часто, полагая, что продвигаюсь, я отступал. Но, в конце концов, мои ошибки, мое незнание и моя верность всегда выводили меня снова на ту старую дорогу, которую я начал открывать с «Изнанки и лица» и следы которой видны во всем, что я сделал потом и по которой в иные утра я все еще бреду в Алжире с тем же легким опьянением в душе.

Почему же, если это так, я долго отказывался предъявлять это слабое свидетельство? Прежде всего потому, что во мне есть – я должен это повторить – художественная сопротивляемость, как у других бывает сопротивляемость нравственная или религиозная. Запретный императив, мысль, что «так не делается», которые мне чужды как сыну первозданной природы, представляются мне как рабу, и рабу восхищенному непреложной художественной традицией. Может быть, это недоверие опирается также на мою глубокую анархичность и потому остается плодотворным. Я знаю свои душевные смуты, буйность определенных инстинктов, беспощадное самозабвение, в которое я могу безоглядно кинуться. Чтобы быть созданным, художественное произведение должно пользоваться прежде всего темными силами души. Но при этом необходимо их направлять, окружать запрудами, чтобы их уровень поднимался еще. Возможно, мои запруды даже сегодня слишком высоки. Отсюда порой эта скованность… Просто тогда, когда установится равновесие между тем, что я есть, и тем, что говорю, возможно, – и я едва осмеливаюсь это произнести – я смогу создать произведение, о котором мечтаю. Признаюсь откровенно, оно будет тем или иным образом похоже на «Изнанку и лицо» и будет повествовать о некоей разновидности любви. Отсюда понятна и вторая причина, побудившая

меня сохранить эти юношеские сочинения для себя. Самые дорогие для нас тайны мы сообщаем беспорядочно и неумело, мы выставляем их в чрезмерно вычурном маскарадном наряде. Лучше подождать, когда станешь искусным и сможешь придать им форму, не переставая прислушиваться к их голосу, когда сумеешь объединить в приблизительно равных дозах искусство и безыскусность, наконец, когда будешь существовать. Ибо существовать – это все мочь одновременно. В искусстве все приходит одновременно или не приходит вовсе; нет света без пламени. Стендаль воскликнул однажды: «Моя душа – это огонь, который томится, если не пылает». Те, кто в этом похож на него, должны творить только в подобном пылании. Вершина пламени исторгает крик и преобразуется в слова, которые, в свою очередь, этот крик выражают. Я имею в виду, что все мы, художники, не уверенные, что мы действительно художники, но уверенные, что мы не есть что-то другое, день за днем ждем мгновения, чтобы наконец согласиться жить.

Но раз речь идет о таком, возможно, тщетном ожидании, почему же именно теперь я решаюсь на эту публикацию? Прежде всего потому, что читатели смогли найти аргумент, который меня убедил[3]. И потом, в жизни художника всегда наступает пора, когда он должен определиться, приблизиться к собственному центру, чтобы затем попытаться там удержаться. Так обстоит дело сегодня, и мне нет необходимости говорить об этом еще. Если, несмотря на столько усилий, чтобы создать язык и оживить вымысел, мне не удастся однажды вновь написать «Изнанку и лицо» на ином уровне, я никогда ничего не достигну – таково мое пессимистическое убеждение. Во всяком случае, мне ничто не мешает мечтать, что я еще смогу поставить в центре этого произведения восхитительное молчание матери и усилия человека обрести справедливость или любовь, которая уравновесила бы это молчание. Вот человек, находящий в сновидении жизни свои истины и теряющий их на земле смерти, чтобы наконец вернуться сквозь войны, вопли, безумие справедливости и любви, наконец, страдания к этой тихой отчизне, где сама смерть – лишь счастливое молчание. И еще… Да, ничто не мешает мечтать даже в период изгнания, ибо я знаю – и знаю твердо, – что всякое творчество есть не что иное, как долгое продвижение ради того, чтобы обрести с помощью обходных путей искусства два-три простых и великих образа, на которые когда-то впервые отозвалось сердце. Вероятно, поэтому после двадцати лет литературной работы я продолжаю жить с мыслью, что мое творчество еще и не началось. Эта мысль пришла ко мне в связи с данным переизданием, когда я вернулся к своим первым страницам. Именно ее я хотел бы напоследок отметить.

[3] Он прост: «Эта книга уже существует, но в ничтожно малом количестве экземпляров, которые стоят очень дорого. Почему только богатые имеют возможность ее читать?» И действительно, почему?

Ирония

4

Два года назад я познакомился с одной пожилой женщиной. Она страдала болезнью, от которой, по ее мнению, должна была умереть. Правая сторона ее тела была парализована. Иначе говоря, только одна ее половина принадлежала ей, другая же была как бы чужой. Болтливая и вертлявая маленькая старушка оказалась обречена на молчание и неподвижность. Долгими днями она оставалась совершенно одна, неграмотная, маловосприимчивая, и вся ее жизнь свелась к Богу. В Бога она веровала. Доказательством тому служили ее четки, свинцовое распятие, выполненные под мрамор Святой Иосиф с Младенцем. Вообще-то она сомневалась, чтобы ее болезнь была так уж неизлечима, но настаивала на этом, чтобы ею заинтересовались, в остальном полагаясь на Бога, которого она еще недавно любила так нерадиво.

И вот однажды кто-то действительно ею заинтересовался. Это был некий молодой человек. (Он считал, что болезнь ее не смертельна, но понимал, что эта женщина скоро умрет, не пытаясь разрешить это противоречие.) Он проявил искреннее сочувствие к томящейся смертной тоской старухе. И она это мигом почувствовала. Это сочувствие было для нее неожиданной удачей. Она охотно рассказывала ему о своих страданиях: она уже одной ногой в могиле, пора уступить место молодым. Скучно ли ей? Конечно. Ведь с ней не разговаривали. Отвели ей свой угол, как собаке. Лучше уж с этим покончить. Потому что она предпочитает умереть, нежели быть для кого-нибудь обузой.

Голос ее стал сварливым. Это был голос рынка, торговых рядов. Однако молодой человек все понимал. И тем не менее он считал, что лучше быть для других обузой, чем умереть. Но это доказывало только одно: он наверняка никогда не был ни для кого обузой. Он говорил старухе – поскольку видел ее четки: «Вам остается уповать на Бога». Это была правда. Но даже тут ей досаждали. Если ей случалось долго молиться и взгляд ее замирал на какой-нибудь завитушке обоев, ее дочь ворчала: «Ну вот, опять она молится! – А тебе-то что? – возмущалась больная. – Мне-то ничего, но в конце концов это действует на нервы». И старуха умолкала, устремляя на дочь долгий укоризненный взгляд.

Молодой человек слушал все это с новым для него безграничным огорчением, теснившим ему грудь. А старуха говорила: «Ничего, она все это поймет, когда сама постареет! Ей это тоже понадобится!»

Чувствовалось, что старуха освободилась от всего, кроме Бога, она полностью отдалась своему последнему недугу, добродетель ее диктовалась необходимостью, она слишком легко уверилась в том, что ей осталось единственное благо, достойное любви, и она безвозвратно погрузилась в муку пребывания человека в Боге. В конце концов, надежда неистребима, а Бог не станет противиться устремлениям человека.

Сели за стол. Молодой человек был приглашен к ужину. Старуха ничего не ела, потому что еда вечером тяжела для желудка. Она осталась в своем углу, за спиной своего недавнего собеседника. Молодой человек, чувствуя, что за ним наблюдают, ел скверно. Однако ужин подходил к концу. Чтобы продлить общение, решили пойти в кино. Как раз шла довольно веселая кинолента. Молодой человек легкомысленно согласился, не подумав о той, что продолжала пребывать за его спиной.

Гости встали и отправились помыть руки перед выходом. Совершенно очевидно, и речи не могло быть, чтобы старуха пошла с ними. Даже если б она и не была такой немощной, ее невежество помешало бы ей разобраться в фильме. Она говорила, что не любит кино. На самом деле она его просто не понимала. Она оставалась в своем углу, проявляя пустопорожний инте-

---

[4] © Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян, наследники, 2019

рес к бусинкам своих четок. Но в них она вкладывала всю свою веру. Три предмета, хранимые ею, обозначали материальное начало божественного. За четками, распятием и Святым Иосифом раскрывалась великая тьма, в которую она устремляла всю свою надежду.

Все были готовы. Подходили к старухе, целовали ее и желали спокойной ночи. Она уже все поняла и лишь сжимала четки. Однако этот жест можно было воспринимать и как жест отчаяния, и как проявление религиозного рвения. Все ее уже поцеловали – оставался только молодой человек. Он сердечно пожал старухе руку и уже было повернулся к дверям. Но она видела, что уходит тот, кто ей сочувствует. Ей не хотелось оставаться одной. Она уже испытывала ужас перед одиночеством, долгой бессонницей, печальным свиданием с Богом. Ей было страшно, она надеялась только на этого человека и, цепляясь за единственное существо, которое проявляло к ней интерес, она не выпускала его руку и все пожимала ее, неловко благодаря его, чтобы оправдать свою назойливость. Молодой человек был смущен. Остальные уже оборачивались, чтобы поторопить его. Сеанс начинался в девять, и надо было прийти чуть раньше, дабы потом не ждать у кассы.

Молодой человек чувствовал, что перед ним самое ужасное несчастье, с подобным которому он до сих пор не встречался: несчастье немощной старухи, которую близкие бросают ради того, чтобы пойти в кино. Он хотел побыстрее улепетнуть, он не хотел больше ничего знать, он попытался вырвать руку. Какой-то миг он испытывал слепую ненависть к этой старухе и едва сдержался, чтобы не отвесить ей оплеуху.

Наконец ему удалось высвободиться и скрыться, а больная между тем, полуприподнявшись на кресле, с ужасом глядела, как исчезает единственная достоверность, на которую она могла бы рассчитывать. Теперь ничто ее не защищало. Полностью погрузившись в мысли о своей смерти, она ясно не сознавала, что именно ее пугает, но точно знала, что не хочет остаться одна. Бог годился только для того, чтобы отделять ее от людей и погружать в одиночество. Она не хотела покидать общество людей. И от этой мысли она заплакала.

Все уже были на улице. Но угрызения совести неотступно терзали молодого человека. Он поднял глаза на освещенное окно, этот большой мертвый глаз в безмолвном доме. Глаз закрылся. Дочь больной старухи сказала молодому человеку: «Она всегда гасит свет, когда остается одна. Она любит сидеть в потемках».

Старик торжествовал, он хмурил брови, поучительно помахивая указательным пальцем. Он говорил: «Отец давал мне на целую неделю пять франков, чтобы я развлекался до следующей субботы. Так вот, я еще исхитрялся немножко сэкономить. Сначала, чтобы увидеться с невестой, я одолевал четыре километра по пустынному полю туда и четыре обратно. Да, да, уж поверьте моему слову, нынешняя молодежь разучилась веселиться». Они сидели за круглым столом: трое молодых людей и он, старик. Он рассказывал о своих скудных приключениях: безмерно преувеличенные пустяки, трудности, которые он с честью преодолел. Он говорил без умолку, торопясь рассказать все прежде, чем его покинут, он вспоминал истории из своего прошлого, которые, как он считал, могут заинтересовать слушателей. Заставить себя слушать был его единственный порок: он будто бы не замечал насмешливых взглядов, не слышал грубых издевок, которыми его осыпали. Для молодых он был докучным стариком, уверяющим, что в его времена все было отменно, он же считал себя уважаемым патриархом, чей опыт дорогого стоит. Молодые не знают, что опыт – это поражение и что нужно все потерять, чтобы немного узнать жизнь. Старик немало выстрадал. Впрочем, об этом он не говорил: выгоднее казаться счастливцем. А если он в этом и ошибался, то ошибся бы еще грубее, если бы рассчитывал кого-то растрогать своими бедами. Кого волнуют страдания какого-то старца, когда каждый полностью поглощен текущей жизнью? А он все говорил, говорил с наслаждением, сливаясь с пыльноцветным пейзажем своего глуховатого голоса. Но долго так продолжаться не могло. Его удовольствие предполагало концовку, а внимание слушателей ослабевало на глазах. Он уже

никого не интересовал; он был просто стар. А молодые любили бильярд и карты, которые так отличаются от осточертевшей каждодневной работы.

Вскоре он остался один, несмотря на все усилия и ухищрения сделать свой рассказ более занимательным. Молодые бесцеремонно удалились. Снова он один. Не иметь слушателя: вот что ужасно, когда ты стар. Его приговаривали к молчанию и одиночеству. Ему давали понять, что он скоро умрет. А старый человек, который скоро умрет, бесполезен и даже тягостен и злонамерен. Пусть он уходит. А если уж остался, то пусть молчит: это предел уважения, на которое он мог рассчитывать. Но он страдает, потому что когда он молчит, он вспоминает о своей старости. И все-таки он встает и уходит, улыбаясь всем окружающим. Но он видит только безразличные лица, порой оживленные весельем, в котором он не имеет права участвовать. Один человек хохочет: «Она старуха, не спорю, но бывает, что в старой-то кастрюле суп лучше получается». Другой, уж более серьезно: «Мы хоть и небогаты, но питаемся хорошо. Посмотри на моего внука – он ест больше своего отца. Тому хватает одного фунта хлеба, а внуку подавай целый килограмм! А еще и колбасу, и камамбер! Иногда, едва закончив, он попыхтит: «Ух! Ух!» – и ест еще». Старик удаляется медленной походкой навьюченного мула, он долго бредет по тротуарам, запруженным людьми. Он скверно себя чувствует, ему не хочется идти домой. Обычно он все-таки любил снова сесть за свой стол, увидеть керосиновую лампу и тарелки, ко всему этому так привычно прикасались его пальцы. Любил он и молчаливый ужин со старухой, которая сидела напротив и старательно пережевывала куски, без единой мысли в голове, с неподвижными и мертвыми глазами. Нет, нынче вечером он придет домой попозже. Ужин ему приготовлен, хоть и остыл, старуха может спокойно лечь спать, потому что она уже привыкла к его непредвиденным опозданиям. В таких случаях она говорила: «Опять он чудит», и все тут.

Сегодня он идет тихо и упорно. Он одинок и стар. В конце любой жизни старость переходит в отвращение к себе. Все кончается тем, что тебя перестают слушать. Он идет, поворачивает за угол какой-то улицы, спотыкается и почти падает. Я это вижу. Это смешно, но что поделаешь. Несмотря на все, он больше любит улицу, чем те часы, когда он уже дома и волнение заслоняет от него старуху и заточает его в четырех стенах. Тогда порой дверь медленно отворяется и некоторое время остается полуоткрытой. Входит человек, одетый во что-то светлое. Он садится напротив старика и долго молчит. Он неподвижен, как и только что открывшаяся дверь. Время от времени он проводит рукой по волосам и тихо вздыхает. Он долго смотрит на старика все тем же тяжелым от грусти взглядом, а затем безмолвно удаляется. Резко звякает щеколда, и старик остается один, испуганный, с болезненным кисловатым страхом в животе. А на улице он никогда не бывает один, как бы мало людей ему ни повстречалось. Его волнение поет. Его маленькие шаги ускоряются: завтра все изменится, завтра. Но вдруг он осознает, что завтра будет таким же, и послезавтра, и все остальные дни. И это кошмарное открытие его сокрушает. Именно такие мысли и заставляют умирать. Из-за невозможности их вынести люди налагают на себя руки, а если человек молод, то облекает их в слова.

Старый, безумный, пьяный, неизвестно какой. Но его конец будет достойным, всеми оплаканным, восхитительным. Он умрет в красоте, то есть в страдании. И это будет ему утешением. А впрочем, куда деваться: он стар навсегда. Люди, зная о грядущей старости, заранее пекутся о комфорте. Этой старости, фатально непоправимой, они хотят даровать праздность, которая в итоге сделает их совсем беззащитными. Они поглощены строительными работами, чтобы потом удалиться на свою маленькую виллу. Но, углубившись в возраст, они осознают, что все это иллюзии. Лишь общество других людей дает им чувство защищенности. А этому старику нужно только одно: чтобы его слушали, иначе он не может поверить в свою прожитую жизнь. Вот улицы стали темнее и менее оживленными. Откуда-то еще слышатся голоса. В странном умиротворении вечера они звучат почти торжественно. За холмами, окружающими город, еще золотятся отблески дня. Неизвестно откуда идущий дым величественно вздымается за лесистыми гребнями. Он медленно поднимается и расслаивается, как пихта. Старик закры-

вает глаза. Перед жизнью, уносящей гул города и простодушную, безразличную улыбку неба, он остается совсем один, растерянный, нагой и уже бездыханный.

Стоит ли описывать оборотную сторону этой медали? Легко догадаться, что в грязной сумрачной комнате старуха накрывает на стол, что ужин уже готов, что она садится, смотрит на часы, некоторое время ждет, а затем начинает с аппетитом есть. Она думает: «Опять он чудит». Вот и все.

Они жили впятером: бабка, ее младший сын, старшая дочь и двое ее детей. Сын был почти немым; болезненная дочь туго соображала, из двоих детей один уже работал в страховой компании, а младший еще учился. В семьдесят лет бабка продолжала властвовать в этом мирке. Над ее кроватью висел ее портрет, где она была на пять лет моложе, прямая, в черном платье, с медальоном на шее, без единой морщины, с огромными светлыми холодными глазами, и где у нее та королевская осанка, от которой она отказалась только с возрастом и которую порой еще считала нужным принимать на людях.

Этим светлым глазам ее внук был обязан воспоминанием, от которого до сих пор краснел. Бабка дожидалась, когда придут гости, и, строго на него глядя, спрашивала: «Кого ты любишь больше, мать или бабушку?» Игра осложнялась, когда присутствовала сама дочь. И во всех случаях мальчик отвечал: «Бабушку», ощущая при этом порыв любви к своей вечно молчащей матери. А если гости удивлялись такому ответу, мать говорила: «Просто его всегда воспитывала бабушка».

Таким образом, старуха считала, что любовь – это то, что можно требовать. Она исторгала из своего сознания доброй матери семейства некую непреклонность и нетерпимость. Она никогда не изменяла мужу и родила ему девять детей. После его смерти она энергично воспитывала свое семейство. Они переехали со своей фермы в предместье и попали в старый бедный квартал, где с тех пор и жили много лет.

Конечно, эта женщина была вполне добродетельна. Но для внуков, вошедших в возраст, которому свойственны резкие суждения, она была всего лишь домашней артисткой. От одного из своих дядей они знали показательную историю. Этот дядя шел навестить тещу и заметил, что она сидит у окна и ничего не делает. Но приняла она его с тряпкой в руке и извинилась за то, что будет продолжать работу, поскольку хозяйственные заботы занимают все ее время. И нужно признать, что так было и в остальном. С большой легкостью она падала в обморок на исходе семейного спора. Из-за болезни печени она также страдала сильными рвотами. Но она не помышляла ни о какой сдержанности в проявлении своей болезни и не думала уединяться, когда ее шумно рвало в мусорное ведро на кухне. Она возвращалась к своим бледная, с глазами, полными слез от напряжения, а если ее умоляли лечь, она вспоминала, что ей еще надо кое-что приготовить и о том месте, которое она занимала в руководстве домом: «Здесь все делаю я». И еще: «Что с вами будет, когда меня не станет!»

Дети привыкли не обращать внимания на ее рвоты, на ее «приступы», как она говорила, на ее жалобы. Однажды она слегла и потребовала врача. Чтобы угодить ей, врача пригласили. В первый день он определил простое недомогание, во второй – рак печени, а в третий – запущенную желтуху. Но младший из детей упорно видел в этом лишь очередную комедию, еще более искусную симуляцию. Он нисколько не встревожился. Эта женщина столько его угнетала, что он не мог с ходу впасть в панику. В сугубой сдержанности и в отказе любить есть некая отчаянная храбрость. Впрочем, играя в болезнь, можно и в самом деле занемочь: бабка довела свое лицедейство до смерти. В последний день, окруженная детьми, она освобождалась от газов в кишечнике. Она запросто сказала внуку: «Видишь, пукаю, как поросенок». Час спустя она умерла.

Ее внук – потом он хорошо это почувствовал – тогда ничего не понял в происходящем. Он не мог освободиться от мысли, что перед ним была сыграна последняя и самая чудовищ-

ная из всех симуляций этой женщины. Он искал в себе признаки горя, но не обнаруживал ни малейших. Только в день похорон из-за всеобщего пролития слез он заплакал, но тут же засомневался в своей искренности перед лицом смерти. Это было в прекрасный солнечный зимний день. В голубизне неба угадывалась прохлада, подернутая желтизной. Кладбище высилось над городом, и можно было видеть, как прекрасные сквозные солнечные лучи падали на бухту, дрожащую от света, как влажная губа.

Вы спросите, как все это совместить? Но истина неделима. Больная женщина, которую бросают, чтобы пойти в кино, старик, которого уже никто не желает выслушать, покойница, которая смертью своей ничего не искупает, а с другой стороны – весь свет мира, ослепительный свет, так что приходится принимать все. Речь идет о трех похожих и все-таки различных судьбах. Смерть равняет всех, хоть у каждого она своя. Но, в конце концов, солнце согревает кости нам всем.

Между да и нет

5

Если и вправду есть только один рай – тот, который потерян, – я знаю, как назвать то неуловимое, нежное, нечеловеческое, что переполняет меня сегодня. Скиталец возвращается на родину. А я – я предаюсь воспоминаниям. Насмешка, упрямство – все смолкает, и вот я снова дома. Не стану твердить о счастье. Все гораздо проще и легче. Потому что среди часов, которые я возвращаю из глубины забвения, всего сохранней память о подлинном чувстве, об одном лишь миге, который не затеряется в вечности. Только это во мне настоящее, и я слишком поздно это понял. Мы любим гибкость движения, вид дерева, которое выросло как раз там, где надо. И чтобы воскресить эту любовь, довольно самой малости, будь то воздух комнаты, которую слишком долго не открывали, или знакомые шаги на дороге. Так и со мной. И если я тогда любил самозабвение, значит, был верен себе, ибо самим себе возвращает нас только любовь.

Медлительные, тихие и торжественные возвращаются ко мне эти часы и все так же захватывают, все так же волнуют, ибо это вечер, печальный час, и в небе, лишенном света, затаилось смутное желание. В каждом вспомнившемся движении я вновь открываю себя. Когда-то мне сказали: «Жить так трудно». И я помню, как это прозвучало. В другой раз кто-то прошептал: «Самая горькая ошибка – заставить человека страдать». Когда все кончено, жажда жизни иссякает. Быть может, это и зовут счастьем? Перебирая воспоминания, мы все их облекаем в одни и те же скромные одежды, и смерть предстает перед нами, как старая выцветшая декорация в глубине сцены. Мы возвращаемся к самим себе. Ощущаем всю меру своей скорби, и она становится нам милее. Да, быть может, грусть былых несчастий и есть счастье.

Таков и этот вечер. В мавританской кофейне, на краю арабского города, мне вспоминается не былое счастье, но некое странное чувство. Уже поздно. На стенах, среди пальм о пяти ветвях, канареечно-желтые львы гонятся за шейхами в зеленых одеяниях. В углу мигает ацетиленовая лампа. Но комнату кое-как освещает открытая топка маленькой печки, выложенной зелеными и желтыми изразцами. Пламя освещает середину комнаты, и я ощущаю на лице его отблески. Передо мною распахнутая дверь, и за нею – залив. В углу сидит на корточках хозяин и, кажется, смотрит на мой давно уже пустой стакан с листиком мяты на дне. В кофейне ни души, внизу шумит город, вдали виднеются огни над заливом. Мне слышно, как тяжело дышит араб, в сумраке поблескивают его глаза. Глухой далекий шум – верно, море? Нескончаемые мерные вздохи доносятся до меня – дыхание мира, непреходящее равнодушие и спокойствие того, что не умирает. От крупных алых бликов огня изгибаются львы на стенах. Становится прохладнее. Над морем звучит сирена. Загораются огни маяка: зеленый, красный, белый. И не смолкает мощное дыхание мира. Из равнодушия рождается какая-то потаенная песнь. И вот я вновь на родине. Думаю о мальчишке, что жил в бедном квартале. Тот квартал, тот дом… Всего два этажа, и на лестнице темно. Еще и сейчас, после долгих лет, он мог бы вернуться туда среди ночи. Он знал, что взбежит по лестнице единым духом и ни разу не споткнется. Все его тело хранит на себе отпечаток того дома. Ноги в точности помнят высоту ступеней. И ладонь помнит невольный страх перед перилами, который так и не удалось одолеть. Потому что там водились тараканы.

Летними вечерами рабочие выходят на балкон. А у мальчишки было только крохотное оконце. Что ж, выносили из комнаты стулья и радовались вечеру, сидя перед домом. Тут была улица, рядом шла торговля мороженым, напротив – кофейни, с криком носилась от крыльца к крыльцу детвора. А главное, между огромными фикусами было небо. Бедность делает чело-

[5] © Перевод. Н. Галь, наследники, 2019

века одиноким. Но одиночество это всему придает цену. Кто хоть на несколько ступеней поднялся к богатству, тот даже небо и ночь, полную звезд, принимает как нечто само собою разумеющееся. Но для стоящих внизу, у подножия лестницы, небо вновь обретает весь свой смысл: это благодать, которой нет цены. Летние ночи, таинство, пламенеющее звездами! За спиной мальчика тянулся зловонный коридор, на продавленном стуле не очень-то удобно было сидеть. Но, подняв глаза, он впивал чистоту ночи. Порой пробегал мимо большой быстрый трамвай. Где-то за углом затягивал песню пьяный, но и это не нарушало тишины.

И мать мальчика тоже всегда молчала. Иной раз ее спрашивали: «О чем ты думаешь?» «Ни о чем», – отвечала она. И это была правда. Все тут, при ней, – о чем же думать? Ее жизнь, ее заботы, ее дети просто-напросто были при ней, а ведь того, что само собой разумеется, не ощущаешь. Она была слаба здоровьем, мысль ее работала трудно и медленно. Ее мать, женщина грубая, властная, вспыльчивая, все приносила в жертву неистовому самолюбию и с детства сломила слабую волю дочери. Выйдя замуж, дочь высвободилась было из-под ее власти, но, когда муж умер, покорно вернулась к матери. Умер он, как говорится, на поле чести. В золоченой рамке на самом виду висят его награды: крест «За боевые заслуги» и медаль. И еще из военного госпиталя вдове прислали найденный в его теле осколок гранаты. Вдова сохранила осколок. Она давно уже перестала горевать. Мужа она забыла, но еще говорит иногда об отце своих детей. Чтобы их вырастить, она работает и деньги отдает матери. А та воспитывает внуков ремнем. Когда она бьет слишком сильно, дочь говорит ей: «Только не бей по голове». Она их любит, ведь это ее дети. Любит всех одинаково и ни разу ничем не показала им своей любви. Случалось, в такой вот вечер, какие ему теперь вспоминаются, она вернется без сил с работы (она ходила по домам убирать) и не застанет ни души. Старуха ушла за покупками, дети еще в школе. Тогда она опустится на стул и смутным взглядом растерянно уставится на трещину в полу. Вокруг нее сгущается ночь, и во тьме немота ее полна безысходного уныния. В такие минуты, случись мальчику войти, он едва различит угловатый силуэт, худые, костлявые плечи и застынет на месте: ему страшно. Он уже начинает многое чувствовать. Он только-только стал сознавать, что существует. Но ему трудно плакать перед лицом этой немоты бессловесного животного. Он жалеет мать – значит ли это любить? Она никогда его не ласкала, она этого не умеет. И вот долгие минуты он стоит и смотрит на нее. Он чувствует себя посторонним и оттого понимает ее муку. Она его не слышит: она туга на ухо. Сейчас вернется старуха, и жизнь пойдет своим чередом: будет круг света от керосиновой лампы, клеенка на столе, крики, брань. А пока – тишина, значит, время остановилось, длится нескончаемое мгновение. Мальчику кажется – что-то встрепенулось внутри, какое-то смутное чувство, наверное, это любовь к матери. Что ж, так и надо, ведь, в конце концов, она ему мать.

А она ни о чем не думает. На улице светло, шумно; здесь тьма и тишина. Мальчик вырастет, поймет. Его растят и за это потребуют благодарности, как будто уберегли от боли. Мать всегда будет вот так же погружаться в молчание. Он будет расти среди боли. Главное – стать взрослым. Бабушка умрет, а потом и мать, и он сам.

Мать вздрогнула. Испугалась. Чего он на нее уставился как дурак? Пускай садится готовить уроки. Мальчик приготовил все уроки. Сегодня он сидит в какой-то дрянной кофейне. Теперь он – взрослый. Разве это не главное? Похоже, что нет, ведь, когда сделаешь все уроки и примиришься с тем, что ты уже взрослый, впереди остается только старость.

Араб все так же сидит на корточках в своем углу, взявшись руками за ступни. Снаружи, с террас, тянет запахом поджаренного кофе, доносятся оживленные молодые голоса. Еще гудит негромко и ласково буксирный пароходик. Жизнь замирает, как всегда по вечерам, и от всех безмерных мучений остается лишь обещание покоя. Странная мать, такая равнодушная! Только безграничное одиночество, переполняющее мир, помогает мне постичь меру этого равнодушия. Однажды сына, уже взрослого, вызвали к матери. Внезапный испуг кончился для

нее кровоизлиянием в мозг. Она привыкла по вечерам выходить на балкон. Садилась на стул, приникала губами к холодным ржавым железным перилам. И смотрела на прохожих. За спиной у нее понемногу сгущалась тьма. Перед нею вдруг вспыхивали витрины. Улицу заполняли огни и люди. И мать погружалась в бесцельное созерцание. В тот вечер, о котором идет речь, сзади появился неизвестный человек, набросился на нее, избил и, заслышав шум, скрылся. Она ничего не видела, потеряла сознание. Когда примчался сын, она была в постели. Врач посоветовал не оставлять ее на ночь одну. Сын прилег подле нее на кровати, поверх одеяла. Было лето. Жаркая комната еще дышала ужасом недавно разыгравшейся драмы. За стеною слышались шаги, скрип дверей. В духоте держался запах уксуса, которым обтирали больную. Она и сейчас беспокойно металась, стонала, порой вздрагивала всем телом. И сын, едва успев задремать, просыпался весь в поту, настороженно присматривался к ней, потом бросал взгляд на часы, на которых плясал трижды отраженный огонек ночника, и вновь погружался в тяжелую дремоту. Лишь позднее он постиг, до чего одиноки были они в ту ночь. Одни против всех. «Другие» спали в этот час, когда их обоих сжигала лихорадка. Старый дом казался пустым, нежилым. Прошли полуночные трамваи, и с ними иссякли все надежды, какие пробуждают в нас люди, пропала уверенность, которую приносят нам городские шумы. В доме еще отдавалось эхо прогремевшего мимо вагона, потом все угасло. И остался лишь огромный сад безмолвия, где порою прорастали пугливые стоны больной. Никогда еще сын не чувствовал себя таким потерянным. Мир истаял, а с ним и обманная надежда, будто жизнь каждый день начинается сызнова. Ничего больше не существовало – ни занятий, ни честолюбивых замыслов, излюбленных блюд в ресторане, любимых красок. Остались только болезнь и смерть, и они затягивали его… И, однако, в тот самый час, когда рушился мир, он жил. И даже в конце концов уснул. Но все же в нем запечатлелся надрывающий душу, полный нежности образ этого одиночества вдвоем. Позже, много позже, вспомнится ему смешанный запах пота и уксуса, вспомнятся минуты, когда он ощутил узы, соединяющие его с матерью. Словно безмерная жалость, переполнявшая его сердце, излилась наружу, обрела плоть и, ничуть не считая себя самозванкой, добросовестно играла роль полунищей старой женщины с горькой судьбой.

Уголья в очаге уже подернулись пеплом. И все так же дышит земля. Где-то рассыпает переливчатую трель дербука[6]. С ней сливается смеющийся женский голос. По заливу приближаются огни – наверное, возвращаются в гавань рыбачьи лодки. Треугольник неба, который виден мне с моего места, стряхнул с себя дневные облачка. Полный звезд, он трепещет под чистым дуновением, и меня овевают медленными взмахами бесшумные крылья ночи. Куда придет эта ночь, в которой я больше не принадлежу себе? Есть нечто опасное в слове «простота». И сегодня ночью я понимаю: в иные минуты хочется умереть, потому что видишь жизнь насквозь – и тогда все теряет значение и смысл. Человек страдает, на него обрушивается несчастье за несчастьем. Он все выносит, свыкается со своей участью. Его уважают. А потом однажды вечером оказывается – ничего не осталось; человек встретил друга, когда-то близкого и любимого. Тот говорит с ним рассеянно. Возвратясь домой, человек кончает самоубийством. Потом говорят о тайном горе, о душевной драме. Нет. Если уж необходимо доискиваться причины, он покончил с собой потому, что друг говорил с ним рассеянно. И вот, всякий раз, как мне кажется, что я постиг мир до самых глубин, он меня потрясает своей простотой. Вспоминается мама, тот вечер и ее странное равнодушие. Или другой случай: я жил на даче в предместье, со мной были только собака, две кошки и их котята, все черные. Кошка не могла их кормить. Котята умирали один за другим. Они наполняли ящик пометом. И каждый вечер, возвратясь домой, я обнаруживал еще один окоченелый, оскаленный трупик. Однажды вечером я нашел последнего – мать наполовину сожрала его. От него уже пахло. Несло мертвечиной и мочой. Тогда я сел на пол и среди всей этой мерзости, с перепачканными руками, дыша

[6] Арабский музыкальный инструмент, подобие барабана.

запахом разложения, долго смотрел в зеленые, горящие безумием глаза кошки, оцепеневшей в углу. Да. Вот так было и в тот вечер. Что-то утратишь, и уже ни в чем нет связи и толку, надежда и безнадежность кажутся одинаково бессмысленными, и вся жизнь воплощается в единственном образе. Но почему бы не пойти дальше? Все просто, все очень просто при свете маяка – зеленый огонь, красный, белый; все просто в ночной прохладе, в долетающих до меня запахах города и нищеты. Если в этот вечер ко мне возвращаются образы детства, как же не принять урок, который они дают, урок любви и бедности? Этот час – как бы затишье между ДА и НЕТ, а потому я отложу на другие часы и надежду, и отвращение к жизни. Да, надо только принять прозрачную ясность и простоту потерянного рая, заключенную в одном лишь образе. И вот, не так уж давно, в один дом в старом квартале пришел сын навестить мать. Они молча сидят друг напротив друга. Но взгляды их встречаются.

– Ну как, мама?

– Да так, ничего.

– Тебе скучно? Я мало говорю?

– Ну, ты всегда мало говорил.

И прекрасная улыбка освещает ее лицо, почти не трогая губ. Да, правда, он никогда с нею не разговаривал. Но, в сущности, что нужды говорить? В молчании все проясняется. Он ей сын, она его мать. Она может просто сказать ему: «Знаешь…»

Она сидит на краешке дивана, ступни плотно сдвинуты, руки сложены на коленях. Он – на стуле, почти не смотрит на нее, курит без передышки. Молчание.

– Напрасно ты так много куришь.

– Да, верно.

В окно вливается все, чем дышит улица. Слышен аккордеон из соседней кофейни, шумы уличного движения, нарастающие к вечеру; пахнет жареным мясом – кусочки его, прямо с вертела, едят, зажав между маленькими упругими лепешками; где-то плачет ребенок. Мать поднимается, берет вязанье. У нее неловкие пальцы, изуродованные артритом. Она вяжет медленно, по три раза принимается за одну и ту же петлю или распускает весь ряд; чуть слышно глухое шуршание.

– Это кофточка. Буду носить с белым воротничком. Еще есть черное пальто, вот я и одета на зиму.

Она опять встает, зажигает свет.

– Нынче темнеет рано.

Да, верно. Уже не лето, но еще не осень. В ласковом небе еще носятся с криком стрижи.

– Ты скоро вернешься?

– Да ведь я еще не уехал. Почему ты спрашиваешь?

– Просто так, надо же что-то сказать.

Проходит трамвай. Автомобиль.

– Правда, что я похож на отца?

– А как же, вылитый отец. Понятно, ты его не знал. Тебе полгода было, когда он умер. Вот если бы тебе еще усики!

Об отце он говорит неуверенно. Никаких воспоминаний, никакого волнения. Уж, конечно, самый обыкновенный человек. Впрочем, воевать он пошел с восторгом. На Марне ему раскроило череп. Он ослеп, мучительно умирал целую неделю, имя его в его родном округе выбито на обелиске в память павших.

– Вообще-то так лучше, – говорит мать. – Вернулся бы он слепой, а может, помешанный. Что уж тогда бедняге…

– Да, верно.

Что же удерживает сына в этой комнате, если не уверенность, что всегда все к лучшему, не ощущение, что в этих стенах укрылась вся абсурдная, бессмысленная простота мира.

– Ты еще приедешь? – спрашивает мать. – Я знаю, у тебя работа. Но хоть кой-когда…

Так о чем это я сейчас? И как отделить нынешнюю пустую кофейню от той комнаты из прошлого? Я уже сам не знаю, живу ли или только вспоминаю. Вот они, огни маяка. И араб, хозяин кофейни, встает передо мной и говорит, что пора закрывать. Надо идти. Не хочу больше спускаться по этому опасному склону. Правда, я смотрю вниз на залив и его огни в последний раз, и его дыхание приносит мне не надежду на лучшие дни, а спокойное, первобытное равнодушие ко всему на свете и к самому себе. Но надо прервать этот слишком плавный, слишком легкий спуск. И мне необходима ясность мысли. Да, все просто. Люди сами все усложняют. Пусть нам не рассказывают сказки. Пусть не изрекают о приговоренном к смертной казни: «Он заплатит свой долг обществу», а скажут просто: «Ему отрубят голову». Кажется, пустяк. Но все-таки не совсем одно и то же. И потом, есть люди, которые предпочитают смотреть своей судьбе прямо в глаза.

Со смертью в душе

[7]

Я приехал в Прагу в шесть часов вечера. Сразу же отнес вещи в камеру хранения. На поиски гостиницы в моем распоряжении было еще два часа. Меня переполняло странное чувство свободы, тем более что два чемодана больше не оттягивали мне руки. Я вышел из вокзала, зашагал мимо садов и вдруг очутился прямо на проспекте Венцеслава, в это время дня кишащем людьми. Вокруг меня роились мириады существ, живших вдали от меня, о существовании которых я доселе ничего не знал. А меж тем они существовали. Я был в тысяче километров от родной страны. Их языка я не понимал. Все шли быстро. Обгоняли меня, опережали. Я растерялся.

У меня было совсем мало денег. Как раз на шесть дней. Впрочем, на седьмой ко мне должны были присоединиться друзья. Меня беспокоило и это. Итак, я приступил к поискам какой-нибудь скромной гостиницы. Я находился в новой части города, и все, что представало передо мной, вспыхивало огнями, смехом и женщинами. Я пошел быстрее. В моей поспешной прогулке было что-то от бегства. Однако к восьми часам, порядком устав, я достиг старого города. Там меня прельстила скромного вида гостиница с крохотным подъездом. Вхожу. Заполняю карточку, беру ключ. Мне достается номер 34, на четвертом этаже. Открываю дверь и оказываюсь в роскошнейшей комнате. Ищу указатель цены: она в два раза выше, чем я рассчитывал. Денежный вопрос становится насущным. В этом большом городе я могу жить только скромно. Беспокойство, еще недавно смутное, принимает определенный характер. Мне становится не по себе. Я чувствую себя полым, опустошенным. Однако тут же припоминаю: мне постоянно – справедливо или нет – приписывали полное безразличие к денежным вопросам. Откуда же эта дурацкая болезнь? Но рассудок мой уже работает: необходимо поесть, нужно снова идти и отыскать какой-нибудь скромный ресторан. На каждую трапезу я должен тратить не более десяти крон. Из всех ресторанов, которые я увидел, наименее дорогой выглядел и наименее уютным. Слоняюсь у ресторана. Там в конце концов встревожились моими маневрами: необходимо войти. Это довольно темный погребок, расписанный безвкусными фресками. Публика довольно пестрая. В углу несколько девиц курят и степенно переговариваются. Мужчины едят, в большинстве они лишены возрастных признаков и какого бы то ни было своеобразия. Кельнер, гигант в засаленном смокинге, наклоняет ко мне огромное бесстрастное лицо. Быстро, наугад, тычу пальцем в непонятном для меня меню в какое-то блюдо. Но похоже, требуется пояснение. Кельнер о чем-то спрашивает меня по-чешски. Я отвечаю на своем скудном немецком. Но он не знает немецкого. Я нервничаю. Он подзывает одну из девиц, которая подходит с классическим видом – левая рука на бедре, сигарета в правой, на губах – слюнявая улыбочка. Она садится за мой столик и заговаривает со мной на немецком, столь же скверном, как и мой. Все проясняется: кельнер хочет мне навязать дежурное блюдо. Будучи хорошим игроком, я соглашаюсь. Девица говорит со мной, но я больше ничего не понимаю. Естественно, я говорю «да» с самым проникновенным видом. Но я отсутствую. Все меня здесь раздражает, я в растерянности, мне уже не хочется есть. Я постоянно ощущаю какое-то покалывание, желудок мой стиснут. Заказываю кружку пива, так как знаю свои привычки. Приносят фирменное блюдо, я ем: это какая-то смесь манной каши и мяса, отвратительная из-за избытка тмина. Но я думаю о другом, скорее всего ни о чем, глядя на растянутые в улыбке толстые губы девки, сидящей напротив. Она надеется на приглашение? Она уже рядом со мной, прижимается. Я машинально отстраняю ее. (Она была некрасива. Я потом часто думал, что будь девица покрасивее, я избежал бы всего того, что за этим последовало.) Я боялся занемочь среди этих людей,

[7] © Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян, наследники, 2019

готовых расхохотаться. Но еще больше я боялся оказаться один в гостиничном номере, без денег и без желания, остаться наедине с собой и своими никчемными мыслями. До сих пор я в недоумении: как диковатый и робкий человек, каким я тогда был, смог себя преодолеть? Я ушел из ресторана. Я брел по старому городу, чувствуя, что не могу больше переносить себя; я заторопился в свою гостиницу, сразу улегся, и сон пришел почти мгновенно.

Каждая страна, где я не скучаю, – это страна, которая ничему меня не учит. Именно с помощью таких фраз пытался я собраться с силами. Но смогу ли я описать дни, которые затем последовали? Я питался в том же ресторане. Утром и вечером я подвергал себя пытке ужасным варевом с тмином, которое вызывало у меня отвращение. Весь день меня постоянно чуть ли не рвало от этого. Но я изо всех сил противился, зная, что нужно хоть чем-то питаться. Впрочем, это был пустяк по сравнению с тем, что наверняка пришлось бы вынести, переменив ресторан. Здесь по крайней мере я был «своим». Если со мной и не разговаривали, то хотя бы улыбались. С другой стороны, моя тревога нарастала. Меня слишком терзала эта острая боль, засевшая в моем мозгу. Я решил упорядочить свой режим, снова найти в нем точку опоры. Я как можно дольше оставался в постели, и мой день настолько же укорачивался. Затем я приводил себя в порядок и методично изучал город. Я слонялся по пышным барочным храмам, пытаясь обрести в них отчизну, но выходил оттуда еще более опустошенным и отчаявшимся от этого малоприятного свидания с самим собой. Я бродил вдоль Влтавы, перерезанной бурлящими плотинами. Проводил долгие часы в огромном квартале Градчаны, пустынном и безмолвном. В тени его собора и его дворцов, в час заката, мои одинокие шаги гулко звучали на улицах. И, замечая это, я впадал в панику. Я рано ужинал и ложился спать в половине девятого. Солнце отрывало меня от самого себя. Церкви, дворцы, музеи – я старался унять свою тревогу, созерцая бесчисленные произведения искусства. Классический прием: я старался растворить свой бунт в меланхолии. Но тщетно. Как только я выходил, я становился чужим всем и всему. Но однажды, в одном барочном окраинном монастыре, в ласке угасающего дня, в медленном колокольном звоне, под гроздьями голубей, взлетающих со старой башни, в чем-то подобном запаху трав и небытия, во мне зародилась тишина, напитанная слезами, которая поставила меня на грань избавления от мук. И, вернувшись вечером в свой номер, я одним духом написал, а теперь скрупулезно переписываю то, что следует дальше, ибо я нахожу в самой выспренности всего этого сложность моих тогдашних чувств: «А собственно, какую еще пользу можно извлечь из путешествия? Вот он я без всяких прикрас. Город, вывески на улицах которого я не могу прочесть, странные буквы, с которыми не связано ничего привычного, здесь нет друзей, с которыми можно было бы поговорить, наконец, нет развлечений. Ничто не может извлечь меня из этой комнаты, куда проникает шум чужого города, ничто не приведет меня к доброму свету очага или какого-то излюбленного места. А что, если позвать кого-нибудь, закричать? Но и тогда появятся чужие лица. Церкви, золото и ладан – все отбрасывает меня в обыденную жизнь, где моя тревога оценивает каждую вещь. И вот занавес привычек при комфортабельном распорядке жестов и слов, когда сердце погружается в дремоту, медленно приподымается и обнажает бледный лик отчаяния. Человек оказывается наедине с самим собой: я бросаю ему вызов – будь счастлив… Но именно так путешествие его просвещает. Между ним и вещами возникает огромная дисгармония. В размягченное сердце свободнее входит музыка мира. Наконец, в этом великом самолишении крохотное одинокое деревце становится самым нежным и самым хрупким из образов. Произведения искусства и улыбки женщин, поколения людей, вросших в свою землю, памятники, которые подводят итог векам, – все это волнующий и проникновенный пейзаж, создаваемый путешествием. И потом, в конце дня, этот гостиничный номер, где что-то снова зияет во мне, как голод души». Может быть, все это только ради того, чтоб уснуть? Но теперь я могу сказать откровенно: все, что во мне осталось от Праги, это запах маринованных огурцов, которые продаются на каждом углу, огурцов, рассчитанных на то, чтобы их съели на ходу; их терпкий пикантный аромат пробуждал во мне тревогу и усиливал ее, как только я пересту-

пал порог гостиницы. От Праги остался этот запах и, возможно, еще одна мелодия, которую исполнял на аккордеоне под моими окнами однорукий слепой; сидя на своем инструменте, он прижимал его ягодицей и играл, пользуясь единственной рукой. Это была всегда одна и та же детская и нежная мелодия, которая будила меня по утрам и внезапно вышвыривала в реальность без каких бы то ни было прикрас, в которой я барахтался как мог.

А еще вспоминается, как я вдруг останавливался на берегу Влтавы и, захваченный этим запахом или этой мелодией, заброшенной в душу, вопрошал себя: «Что это означает? Что это означает?» Но я, конечно, еще не достиг пределов понимания. На четвертый день утром, около десяти часов, я готовился выйти в город. Я хотел посмотреть одно еврейское кладбище, которого не смог найти накануне. В дверь соседнего номера постучали. Никто не ответил, и в дверь постучали снова, на сей раз более настойчиво, но, по-видимому, безрезультатно. Кто-то тяжелой поступью спустился по лестнице. Не придав этому значения, я бездумно потерял некоторое время на чтение инструкции к крему для бритья, которым, впрочем, я пользовался уже месяц. День был тяжелый. С облачного неба на шпили колоколен и соборов древней Праги спускался металлический свет. Продавцы газет, как и каждое утро, выкрикивали «Народную политику». Я с трудом вырвался из охватившего меня оцепенения. Но когда я уходил, то встретил коридорного с ключами. Я остановился. Он снова долго стучал в дверь, затем попытался ее открыть. Ничего не вышло. Видимо, была задвинута внутренняя щеколда. Снова стук в дверь. Комната издавала гулкий и столь зловещий звук, что я, не желая ни о чем спрашивать, ушел совершенно удрученный. Но на улицах Праги мной неотступно завладело тягостное предчувствие. Перед глазами стояло глуповатое лицо коридорного, его лаковые туфли, странным образом загнутые, и недостающая на куртке пуговица. Я позавтракал с нарастающим отвращением, а к двум часам вернулся в гостиницу.

В вестибюле шептался персонал. Я быстро поднялся по лестницам, чтобы побыстрее оказаться перед тем, чего ожидал. Так оно и случилось. Дверь номера была полуоткрыта так, что виднелась только выкрашенная в голубой цвет стена. Но глухой свет, о котором я говорил выше, отбрасывал на этот экран тень лежащего на кровати покойника и тень полицейского, дежурившего у тела. Тени образовывали прямой угол. Этот свет меня потряс. Он был подлинным, настоящим светом жизни, светом послеполуденным, который убеждает тебя в том, что ты живешь. Но тот человек умер. Один в номере. Мне было понятно, что это не самоубийство. Я поспешно вошел в свой номер и бросился на кровать. Человек как человек, маленький и тучный, если судить по тени. Без сомнения, он умер уже давно. А жизнь в гостинице продолжалась, пока коридорному не пришло в голову постучать к нему. Он приехал сюда, ничего не предвидя, и умер в одиночестве. А я в это время читал инструкцию к крему для бритья. Все время после полудня я провел в состоянии, которое навряд ли смог бы описать. Я лежал без единой мысли в голове и со странно сжавшимся сердцем. Я подпиливал ногти, считал бороздки паркета. «Если досчитаю до тысячи…» На пятидесяти или шестидесяти я осекся. Дальше я считать не мог. Снаружи не было слышно никаких шумов. Однако один раз в коридоре чей-то приглушенный голос, женский голос, произнес по-немецки: «Он был таким добрым». Тогда я с тоской подумал о своем городе на берегу Средиземного моря, о летних вечерах, которые я так люблю, таких ласковых в зеленом свете и населенных молодыми и красивыми женщинами. Уже много дней как я не произнес ни слова, и мое сердце разрывалось от воплей и сдержанного бунта. Я разревелся бы, как ребенок, если б кто-нибудь раскрыл мне объятья. К вечеру, с пустой головой, изнемогая от усталости, я неотступно смотрел на щеколду двери и твердил народную мелодию аккордеона. В тот момент я чувствовал, что уперся в тупик. Нет больше ни страны, ни города, ни комнаты, ни наименований: безумие или победа, унижение или вдохновение, узнаю ли я, на чем себя исчерпаю? В дверь постучали, вошли мои друзья. Я был спасен, даже если и не окончательно. Кажется, я сказал: «Рад вас видеть». Но я уверен, что на этом

мои признания пресеклись и что в глазах тех друзей я остался таким же человеком, с каким они расстались.

Вскоре я уехал из Праги. И, конечно, заинтересовался тем, что потом увидел. Я мог бы отметить некий час на маленьком готическом кладбище Баутзена, пылающий багрянец его гераней и лазурное утро. Я мог бы говорить о протяженных долинах Силезии, бесчувственных и бесплодных. Я пересек их на рассвете. Тяжелый косяк птиц летел в туманном и густом утре над вязкими землями. Я полюбил также нежную и степенную Моравию, ее чистые дали, ее дороги, окаймленные сливовыми деревьями с кисловатыми плодами. Но в глубине души я хранил ошеломление тех, кто заглянул в бездонную расщелину. Я прибыл в Вену и уехал оттуда к концу недели, все время оставаясь пленником самого себя.

Однако в поезде, который вез меня из Вены в Венецию, я чего-то ждал. Я был как выздоравливающий, которого поили бульоном и который мечтает о первой корке хлеба, которую съест. Зарождался некий свет. Теперь я это осознаю: я был готов для счастья. Расскажу только о первых шести днях, которые я прожил на холме рядом с Виченцей. Я еще там, или скорее я иногда вновь представляю себя там, и часто все это возвращается, окутанное благоуханием розмарина.

Я въезжаю в Италию. Земля, созданная для моей души, один за другим я узнаю признаки ее приближения. Первые дома с чешуйчатыми крышами из черепицы, первые виноградники у стены, голубой от купороса. Первые веревки, протянутые во дворах, беспорядок предметов, безалаберность людей. И первый кипарис (такой хрупкий и тем не менее такой прямой), первое оливковое дерево и пыльное фиговое дерево. Площади итальянских городков, полные теней, полуденные часы, когда голуби ищут убежища, медлительность и нега, здесь душа истощает свой бунт. Страсть постепенно приводит к слезам. А вот и Виченца. Здесь дни вертятся вокруг своей оси, начиная с пробуждения, наполненного куриным кудахтаньем, до несравненного вечера, сладковатого и нежного, шелковистого за кипарисами и долго сопровождаемого стрекотом цикад. Меня сопровождает внутренняя тишина, порождаемая медленным течением, которое влачит один день вслед за другим. Чего же еще желать, кроме этой комнаты, выходящей окнами на долину, комнаты со старинной мебелью и вязанными крючком кружевами. Все небо у меня на лице, и кажется, что я беспрерывно мог бы следовать за этим кружением дней, неподвижный, вращающийся вместе с ними. Я вдыхаю единственное счастье, на которое способен – внимательное и дружелюбное осознание. Весь день я гуляю: с холма спускаюсь к Виченце или же иду вперед до деревни. Каждое встреченное мною живое существо, каждый запах этой улицы – все служит мне предлогом для безмерной любви. Молодые женщины, работающие в детском лагере, рожки продавцов мороженого (их тележка – это гондола на колесах с носилками), лотки с фруктами, алые арбузы с черными семечками, липкий полупрозрачный виноград – столько поддержки для того, кто больше не умеет быть один[8]. Но нежная и пронзительная флейта цикад, аромат воды и звезд, который случается в сентябрьские ночи, благоухающие дороги среди мастиковых деревьев и тростников – столько знаков любви для тех, кто вынужден быть один[9]. Так проходят дни. После ослепления солнечных часов наступает вечер в пышном декоре из золота вечерних зорь и черноты кипарисов. Тогда я иду на дорогу к цикадам, голоса которых слышны издалека. По мере того, как я приближаюсь, они одна за другой начинают настороженно верещать, затем умолкают. Я медленно иду вперед, задавленный таким изобилием жгучей красоты. За моей спиной цикады одна за другой повышают голос, потом запевают все вместе: есть тайна в этом небе, откуда исходят равнодушие и красота. И в последних лучах солнца я читаю на фронтоне какой-то виллы: In magnificentia naturae resurgit

[8] То есть для всех. – *Примеч. авт.*

[9] *См.* предыдущее примечание. – *Примеч. авт.*

spiritus[10]. Вот здесь нужно остановиться. Появилась уже первая звезда, затем три огонька на холме напротив, внезапно наступает ночь, которую ничто не предвещало, шепот и легкий ветерок в кустах сзади меня – и день убежал, оставив мне всю свою сладость.

Безусловно, я не изменился. Просто я больше не один. В Праге я задыхался среди стен. Здесь я стоял перед миром и, множась вокруг себя, заселял вселенную формами, похожими на меня самого. Но я еще не сказал о солнце. Я долго пытался понять свою привязанность и любовь к миру нищеты, где прошло мое детство, но только сейчас я вижу уроки страны и солнца, которые осеняли мое рождение. Незадолго до полудня я выходил и направлялся к хорошо знакомому месту, возвышавшемуся над огромной долиной Виченцы. Солнце было почти в зените, небо темно-голубое и невесомое. Весь свет, идущий с него, спускался по склону холмов, окутывал кипарисы и оливковые деревья, белые дома и красные крыши самым горячим из одеяний, а затем терялся в дымящейся от солнца долине. И каждый раз одна и та же горечь. Во мне возникала горизонтальная тень маленького тучного человека. И в этих долинах, кружащихся на солнце и в пыли, на этих сбитых и покрытых коркой выжженной травы холмах все, чего я касался пальцем, было нагой непривлекательной формой с привкусом небытия, которую я продолжал носить в себе. Эта страна вела меня к моему собственному сердцу и ставила перед моей затаенной тревогой. Это была тревога Праги и в то же время не она. Как это объяснить? Конечно, перед этой итальянской долиной, наполненной деревьями, солнцем и улыбками, я лучше улавливал запах смерти и бесчеловечности, уже с месяц преследовавший меня. Да, эта бесслезная горечь, этот безрадостный покой, переполнявший меня, – все это происходило только от четкого сознания того, что было не по мне: от отречения и равнодушия. Подобно этому, обреченный на смерть и знающий об этом не интересуется судьбой своей жены – разве что в романах. Он осуществляет призвание человека, который является законченным эгоистом, а значит, человеком отчаявшимся. Для меня в этой стране нет никакой надежды на бессмертие. А что для меня значит снова воскресить в душе Виченцу, не имея глаз, чтобы ее видеть, рук, чтобы притронуться к ее винограду, кожи, чтобы почувствовать ласку ночи на дороге от Монте-Берико до виллы Вальмарана?

Да, все это правда. Но в то же время с солнцем в меня входило нечто, что мне трудно определить. На этом крайнем острие крайнего сознания все соединялось, и собственная жизнь казалась мне глыбой, которую нужно отбросить или принять. Мне необходимо было величие. Я находил его в противоборстве моего великого отчаяния и тайного безразличия одного из самых прекрасных пейзажей на свете. В нем я черпал силу быть одновременно мужественным и сознающим. Мне хватало столь трудной и парадоксальной коллизии. Но, быть может, я уже преодолел кое-что из того, что тогда так верно чувствовал. Впрочем, я часто мысленно возвращаюсь к тем тягостным дням, которые пережил в Праге. Я давно вернулся в свой город. Но иногда острый запах огурцов и уксуса пробуждает мою былую тревогу. Тогда мне необходимо думать о Виченце. Но мне дороги оба города, и я плохо отличаю свою любовь к свету и жизни от своей тайной привязанности к печальному испытанию, которое я решился описать. Вы это уже поняли, а я не хочу выбирать. В предместье Алжира есть маленькое кладбище с чугунными воротами. Если идти до конца, то увидишь лощину с изгородью в глубине. Можно долго мечтать перед этим даром, вздыхающим вместе с морем. Но когда возвращаешься, на заброшенной могиле видишь плиту с надписью «Вечная скорбь». К счастью, чтобы гармонизировать такие противоречия, существуют идеалисты.

[10] В великолепии природы обновляется дух (*лат.*).

Любовь к жизни

Ночью в Пальме жизнь мало-помалу оттекает в квартал кафе-шантанов, за рынок: улицы там черные и молчаливые, пока не упрешься в решетчатые двери, откуда просачиваются свет и музыка. Мне довелось провести почти всю ночь в одном из таких заведений. Крохотный зал, очень низкий, квадратный, выкрашенный в зеленый цвет и увешанный розовыми гирляндами. Дощатый потолок усеян миниатюрными красными лампочками. В этом тесном закутке каким-то чудом умещались оркестрик, бар с разноцветными бутылками и публика, сидевшая так тесно, что хоть подыхай. Сплошь одни мужчины. В середине оставалось два свободных квадратных метра. Повсюду были стаканы и бутылки, рассылаемые официантом по всем четырем углам зала. И не было ни единого человека в своем уме. Все вопили и горланили. Какой-то вроде бы морской офицер отрыгивал мне прямо в лицо пьяные любезности. Карлик неопределенного возраста, мой сосед по столику, распинался о своей жизни. Но я был слишком напряжен и не слушал его. Оркестрик без передышки наяривал мелодии, от которых оставался только ритм, потому что его отбивали ногами все посетители. Время от времени распахивалась дверь, и горлодерам приходилось потесниться, чтобы дать вновь прибывшему место между двумя стульями[11].

Внезапно грохнули медные тарелки, и в тесный прогал посреди кабачка выскочила женщина. «Ей двадцать один год», – сообщил мне офицер. Я оторопел. Юное девическое лицо, прилепленное к горе мяса. Росту в ней было, наверное, метр восемьдесят, а весила эта туша не меньше ста двадцати килограммов. Она стояла подбоченившись, закутанная в желтую сеть, сквозь ячейки которой выпирали квадратики белой плоти, стояла и улыбалась; от обоих уголков рта к ушам струилась мелкая телесная зыбь. Восторгу зала не было границ. Видно было, что девицу здесь знают, любят, ждут. А она все улыбалась. Обвела публику взглядом и, не переставая улыбаться, принялась колыхать пузом. Зал взвыл от восхищения, потом потребовал песенку, вроде бы всем знакомую. То был гнусавый андалузский напев, на каждые три такта сопровождаемый глухим звяканьем ударных. Она пела и при каждом ударе содрогалась всей тушей, изображая любовную сцену. Эти монотонные и страстные извивы порождали новую череду телесных волн, струившихся от ляжек к плечам. Зал прямо-таки тонул в них. Когда дошла очередь до припева, девица крутанулась на месте, стиснула груди ладонями и, разинув накрашенный влажный рот, принялась выкрикивать припев вместе с залом, пока все шумно не повскакали с мест.

Всей своей неохватной тушей высилась она в середине кабаре, мокрая от пота, растрепанная, вздувшаяся в желтой сети. Похожая на вылезшую из воды поганую богиню с низким безмозглым лбом и запавшими глазами, она не подавала иных признаков жизни, кроме мелкой дрожи в коленке, – такая дрожь иногда бьет загнанную лошадь. В окружении публики, топающей ногами от восторга, с отчаянием в пустых глазах и густыми потеками пота на животе, она казалась мерзким и неотразимым воплощением самой жизни…

Трудно было бы путешествовать, не будь на свете кафе и газет. Листок с текстом на понятном тебе языке, местечко, где можно потолкаться среди людей, помогают нам посредством привычного жеста ощутить себя тем, кем мы были дома и кто теперь, на расстоянии, кажется совсем незнакомым. Ибо плата за путешествие – страх. Он разрушает в нас то, что можно назвать внутренними декорациями. Становится невозможно плутовать – прикрываться маской часов, проведенных в конторе или на стройке, тех самых часов, что кажутся такими нудными, а на самом деле как нельзя лучше оберегают от мук одиночества. Потому-то я мечтаю напи-

[11] © Перевод. Л. Григорьян, наследники, 2019Известная непринужденность во время веселья – признак истинной цивилизации. Испанцы же – один из немногих цивилизованных народов Европы.

сать романы, герои которых говорили бы: «Что бы со мною стало без работы в конторе?», или: «Жена умерла, но, к счастью, завтра мне надо подготовить целую кипу важных документов». Путешествие лишает нас этого убежища. Вдали от близких, от родного языка, утратив всякую опору, лишившись всех масок (поди догадайся, почем тут трамвайный билет, о прочем и говорить нечего), мы целиком всплываем на поверхность самих себя. Но эта душевная неустроенность позволяет нам вернуть каждому существу, каждой вещи их изначальную волшебную ценность. Бездумно танцующая женщина, бутылка на чьем-то столе за оконной занавеской – каждый образ становится символом. Кажется, что в них сполна отражается вся жизнь в той мере, в какой в этот миг сводится к ним наше собственное существование. Мы благодарим жизнь за все ее дары, но как описать те разноречивые формы опьянения, вплоть до опьянения ясностью ума, которые нам дано испытать? Ведь ни один край, кроме Средиземноморья, так не отдалял и одновременно не приближал меня к моей сути.

Вот какие чувства обуревали меня, когда я сидел в кафе Пальмы. Однако в полдень, в пустынных кварталах вокруг монастыря, среди старинных дворцов и свежих палисадников, на улицах, пахнущих тенью, меня, напротив, поразило ощущение некой «неспешности». Там не было ни души, только на террасах застыли силуэты старух. Шагая по улице, заглядывая во дворики, полные зелени, вьющейся по округлым серым столбам, я растворялся в этом благоухании тишины, терял представление о себе самом, превращался в отзвук собственных шагов, в птичью стайку, чья тень изредка мелькала наверху еще озаренных солнцем стен. Я часами оставался в тесном готическом клуатре собора Святого Франциска. Его изысканная и вычурная колоннада лучилась дивной желтизной, свойственной старым монументам Испании. Во дворе росли олеандры и перечные деревца, виднелась кованая колодезная ограда с висевшим на ней ржавым черпаком. Из него пили прохожие. Мне до сих пор иногда слышится чистый звук, с которым он ударялся о каменную кладку. Но не тихой радости бытия научила меня эта обитель. В сухом плеске голубиных крыльев, в затаившейся среди сада тишине, в отдаленном скрежете колодезной цепи я ощущал незнакомый и в то же время такой привычный привкус. Я просветлел и улыбался этой неповторимой игре обличий. Но мне чудилось, будто кто-то неосторожно оставил трещину на кристалле, в котором сквозило безмятежное лицо мира. Что-то должно было разладиться, голубиный полет должен был прерваться, каждой из птиц суждено было, расправив крылья, медленно осесть на землю. Только мое собственное безмолвие и неподвижность придавали правдоподобность тому, что так походило на иллюзию. Я вступал в игру. Не будучи обманутым, я отдавался видимостям. Дивное золотое солнце потихоньку грело желтые камни монастырского дворика. Женщина черпала воду из колодца. Но через час, через минуту, через секунду, – быть может, в этот самый миг все вокруг могло обратиться в ничто. И однако чуду не было конца. Мир жил дальше – застенчивый, насмешливый и скромный, какой бывает нежная и сдержанная женская дружба. Равновесие сохранялось, хотя и было окрашено предчувствием близкого конца.

В этом и состояла моя любовь к жизни: молчаливая страсть ко всему, что готово было ускользнуть от меня, горький пепел под пламенем. Каждый день я покидал обитель с таким чувством, словно я отнят у самого себя и на краткий миг причтен к длительности мирового бытия. Теперь мне понятно, отчего я думал тогда о незрячих глазах дорических Аполлонов, о застывших и дышащих огнем фигурах Джотто[12]. Ведь в тот миг я отчетливо сознавал, чем могут одарить меня подобные страны. Меня восхищало, что на берегах Средиземноморья можно обрести ручательства и правила жизни, которые способны утолить разум, оправдать жизнелюбие и доверительное отношение к людям. И еще меня поражало тогда не то, что мир Средиземноморья сотворен по человеческим меркам, а то, что он замыкается на человеке.

[12] С появлением улыбки и взгляда начинается упадок греческой скульптуры и распространение итальянского искусства. Словно красота иссякает там, где начинается дух. – *Примеч. авт.*

Язык этих стран был созвучен тому, что раздавался в моей душе, но не оттого, что он мог ответить на мои вопросы, а оттого, что показывал их бесполезность. И не изъявления благодарности готовы были сорваться с моих губ, а горькое слово «nada» – «ничто», которое могло родиться только среди этих испепеленных солнцем пейзажей. Любви к жизни нет без вызываемого жизнью отчаяния.

Будучи в Ивисе, я каждый день заходил в портовые кабачки. Часам к пяти местные девушки и парни начинали двумя рядами прогуливаться вдоль причала. Здесь заключаются браки, здесь начинается жизнь. Поневоле думаешь, что есть некое величие в том, чтобы начинать жизнь вот так, на виду у всех. Я усаживался, еще пошатываясь от дневного солнца, переполненный белыми церквями и беленными стенами, выжженными полями и корявыми оливами. Я пил тепловатый оршад, смотрел на извивы холмов прямо передо мной. Они мягко спускались к морю. На самом высоком из них последний порыв бриза ворочал крылья ветряной мельницы. Будто по волшебству все вокруг начинали говорить вполголоса, так что оставалось только небо да возносящиеся к нему певучие слова, звучавшие словно откуда-то издалека. В этот краткий миг сумерек все было напоено какой-то мимолетной грустью, ощутимой не только отдельными людьми, но и целым народом. Мне хотелось кого-то любить, как иногда хочется беспричинно расплакаться. Мне казалось, что отныне каждый час, отданный сну, будет похищен у жизни… то есть у времени беспредметных желаний. Как в те трепетные часы, проведенные в кафе Пальмы и в обители Святого Франциска, я был недвижим, напряжен и бессилен перед могучим порывом, стремившимся уместить в моих ладонях целый мир.

Я знаю, что ошибаюсь, что есть предел всякой самоотдаче. А если это так, то за ним-то и начинается творчество. Но нет пределов любви, и пусть мои объятия неуклюжи, – ведь я обнимаю весь мир. Я знавал генуэзских женщин, чьи улыбки могли восхищать меня целое утро. Я никогда их больше не увижу, да и, сказать по правде, ничего особенного в этих улыбках не было. Но словами не погасишь огонек сожаления об утраченном. Стоя у колодца в обители Святого Франциска, я следил за полетом голубей и забывал о жажде. Однако неизменно наступал миг, когда она воскресала.

Изнанка и лицо

13

Это была нелюдимая и своеобразная женщина. Она поддерживала тесное общение с духами, принимала участие в их распрях и отказывалась видеть некоторых членов своей семьи, которых плохо воспринимали в том мире, где она укрывалась.

От сестры она получила небольшое наследство. Эти пять тысяч франков, привалившие ей на исходе жизни, обернулись лишними хлопотами. Их нужно было как-то употребить. Почти все способны пользоваться большим состоянием, и трудности начинаются, когда сумма невелика. Эта женщина осталась верна себе. Приближаясь к смерти, она решила дать приют своим старым костям. Ей помог случай. На городском кладбище истекли сроки аренды на одном из участков, и владельцы воздвигли из черного мрамора склеп строгой формы, настоящее сокровище, которое они готовы были уступить за четыре тысячи франков. Этот склеп она и купила. Это было надежное вложение денег, ценность которого не зависела ни от биржевых колебаний курса, ни от политических событий. Она распорядилась привести в порядок внутреннюю часть могилы, чтобы та готова была принять ее тело. Когда все было исполнено, она распорядилась высечь свое имя крупными золотыми буквами.

Эти хлопоты захватили ее так глубоко, что она стала испытывать истинную любовь к своей могиле. Сначала она приходила смотреть на ход работ. А в конце концов стала посещать свою могилу каждое воскресенье после полудня. Это был ее единственный выход из дому и единственное развлечение. Около двух часов пополудни она проделывала долгий путь, ведущий к городским воротам, где находилось кладбище. Она заходила в маленький склеп, бережно закрывала дверь и преклоняла колени на молитвенной скамеечке. Вот так наедине с собой она сопоставляла то, чем была, и то, чем должна была стать, соединяла разорванные звенья цепи и без усилий раскрывала тайные замыслы Провидения. Однажды она, благодаря особому знаку, вдруг поняла, что с точки зрения окружающих она уже умерла. На праздник Всех Святых, который наступил позже обычного, она обнаружила, что могила ее благоговейно усыпана фиалками. Деликатно проявив внимание, сердобольные незнакомые люди положили на эту могилу, лишенную цветов, часть своих цветов и почтили память всеми покинутой покойницы.

Но я всего этого не принимаю. От сада за окном я вижу только стены. И немного листвы, пронизанной светом. Выше – еще листва. Еще выше – солнце. Но из всего этого ликования воздуха, которое ощущается снаружи, из всей этой радости, разлитой над миром, я вижу только тени ветвей, играющие на белых занавесках. А также пять солнечных лучей, терпеливо наполняющих мою комнату запахом подсохших трав. Легкий ветерок – и тени резвятся на занавеске. Когда облако закрывает, а потом открывает солнечный диск, из тени выплывает ярко-желтая вспышка вазы с мимозами. Этого достаточно: один зарождающийся отблеск – и я уже переполнен смутной дурманящей радостью. Этот январский день открывает мне изнанку мира. Но в глубине воздуха затаился холод. Повсюду солнечная пленка, которая хрустит под ногтями и облицовывает все предметы вечной улыбкой. Кто я и что мне еще делать, как не вступить в игру листвы и света? Стать этим лучом, в котором тлеет моя сигарета, этой мягкостью и этой сдержанной страстью, пронизывающей воздух? Если я пытаюсь обрести себя, то именно внутри этого света. И если я тщусь понять и насладиться этим тонким вкусом, открывающим тайну мира, то в глубине вселенной я нахожу самого себя. Самого себя, то есть мое крайнее волнение, которое избавляет меня от окружающего.

Но что сказать обо всем другом – о людях и могилах, которые они покупают? Разрешите мне вырезать это мгновение из ткани времени. Некоторые оставляют цветок меж страниц, пря-

[13] © Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян, наследники, 2019

чут туда прогулку, где их коснулась любовь. Я тоже прогуливаюсь, но меня ласкает некий бог. Жизнь коротка, и грешно терять время. Говорят, я человек деятельный. Но быть деятельным – это тоже терять время соразмерно тому, как теряешь себя. Сегодня – некая передышка, и мое сердце устремляется на встречу с самим собой. Если меня все еще обуревает тревога, то скорее всего от ощущения, что это неосязаемое мгновение проскальзывает сквозь пальцы, как шарики ртути. Оставим же тех, кто предпочитает повернуться спиной к миру. Я не жалуюсь, ибо наблюдаю свое рождение. В этот час все мое царство принадлежит сему миру. Это солнце и эти тени, эта жара и этот холод, идущий из глубины воздуха; буду ли я вопрошать себя: существует ли смерть и людские страдания, если все написано на этом окне, куда небо изливает свою полноту навстречу моему состраданию? Я могу сказать и сейчас скажу, что единственные стоящие вещи – человечность и простота. Даже не так: единственное, что нужно – это подлинность, а человечность и простота в нее вписываются. А ведь самый подлинный я тогда, когда следую за миром. Я удовлетворен еще до того, как этого пожелал. Вечность здесь, и я на нее уповал. Теперь я уже не желаю быть счастливым, но только хочу все сознавать.

Один созерцает, а другой роет себе могилу: как их разделить? Как разделить людей и абсурдность их жизни? Но вот улыбка неба. Свет разбухает, скоро наступит лето? Но вот глаза и голоса тех, кого нужно любить. Я держусь за мир всеми своими поступками, за людей – всем своим состраданием и благодарностью. Я не хочу выбирать между лицом и изнанкой мира, я не люблю выбирать. Люди не хотят, чтобы ты был прозорливым и насмешливым. Они говорят: «Это доказывает, что вы человек недобрый». Я не вижу тут особой связи. Конечно, если я слышу, как кому-то говорят, что он аморален, я полагаю, что ему следует потрудиться над своим нравственным обликом; когда говорят еще о ком-то, что он презирает разум, я понимаю, что этот человек не может вынести своих сомнений. Но все это потому, что я не люблю плутовства. Великое мужество заключается в том, чтобы прямо смотреть на свет, как и на смерть. Впрочем, что сказать о пути, по которому проходишь от этого безоглядного жизнелюбия к полному отчаянию? Если я слышу иронию[14], запрятанную где-то в глубине вещей, она понемногу себя обнаруживает. Подмигивая ясным глазком, она говорит: «Живите так, словно…» Несмотря на все поиски, вот и все мое знание.

В конце концов, я не уверен, что прав. Но это и не важно, когда я вспоминаю о женщине, чью историю мне как-то рассказали. Она умирала, и дочь обрядила ее для могилы, когда женщина была еще жива. И действительно, сделать это легче, пока члены еще не окоченели. И все же странно, что мы живем среди столь торопливых людей.

[14] Эту гарантию свободы, как говорит Баррес. – *Примеч. авт.*

Брачный пир

Палач задушил кардинала шелковым шнурком, но тот порвался и пришлось душить его дважды. Кардинал посмотрел на палача, но не удостоил его ни единым словом.
«Герцогиня де Паллиано», Стендаль

Бракосочетание в Типасе

По весне Типаса[15] населена богами, они во всем – в солнце и запахе полыни, в море, закованном в серебряные латы, в чистейшем голубом небе, в заросших цветами руинах и в кипении света в нагромождении камней. В определенные часы все вокруг черно от солнца. Глаза тщетно пытаются поймать что-то иное, помимо капель света и цвета, которые подрагивают на кончиках ресниц. От густоты ароматов першит в горле, и кажется, можно захлебнуться. Где-то в самой глубине пейзажа едва различима черная масса Шенуа, пустившая корни в холмы, окружающие деревню, и уверенной тяжелой поступью шагнувшая в море да так и осевшая в нем.

Въезжаем на побережье со стороны деревни, и сразу открывается вид на бухту. Вступаем в мир, окрашенный в голубые и желтые цвета; с насыщенным и терпким вздохом принимает нас летняя земля Алжира. Повсюду над стенами вилл лианы розовых бугенвиллей, гибискусы в садах еще недостаточно яркого красного цвета, обилие пышных, точно взбитые сливки, чайных роз, изящные бордюры из длинных стеблей синих ирисов. Камни раскалены. Мы выходим из автобуса цвета лютика в час, когда мясники на своих красных машинах совершают утренний объезд и звуками рожков привлекают внимание жителей.

По левую руку от порта имеется лестница, сложенная методом сухой кладки, ведущая к руинам, лежащим среди фисташника и дрока. Сперва дорога подводит к небольшому маяку, а дальше теряется в чистом поле. Уже у подножья маяка встречаются большие кактусы, усеянные фиолетовыми, желтыми и красными цветами, они спускаются к ближайшим к воде скалам, которые море то и дело облизывает, причмокивая. Стоя на легком ветру, под солнцем, припекающим к одной стороне лица, мы смотрим на льющийся с небес свет, на море без единой морщинки и на его ослепительную белозубую улыбку. Перед тем, как войти в царство руин, мы в последний раз созерцаем пейзаж.

Еще несколько шагов, и мы задыхаемся от полынного дурмана. Повсюду, насколько хватает глаз, древние развалины укрыты серым войлоком. Эфирные масла бродят на жаре, и на всем пространстве царит настоянный на травах хмельной аромат, которого и небо не в силах выдержать, не покачнувшись. Мы движемся навстречу любви и желанию. Мы пришли сюда не за уроками, не за горькими философскими истинами, которых обычно требуют от величия. Все, кроме солнца, поцелуев и диких ароматов, не имеет для нас никакого значения. Что до меня, я не стремлюсь оказаться здесь в одиночестве. Я часто наведывался сюда с теми, кого любил, и замечал на их лицах светлую улыбку – лик любви. Здесь мне ни к чему мера и порядок. И лишь любовная игра природы и моря целиком поглощает меня. В сочетании с весной развалины вновь стали просто камнями, утратив то, что навязал им человек, некогда их обработавший, но теперь эти камни вернулись в природу, которая не поскупилась на цветы, встречая своих блудных сыновей. Между плитами форума торчит круглая белая головка гелиотропа,

[15] © Перевод. Т. Чугунова, 2018Типаса – город в Алжире, расположенный на побережье Средиземного моря в 68 км к западу от города Алжир. – *Здесь и далее примечания переводчика, если не оговорено иное.*

а цветы красной герани смотрятся как пятна крови на том, что было прежде домами, храмами и площадями. Подобно тому, как многих ученых научное знание вновь приводит к Господу, руины сквозь века возвращаются в лоно своей праматери. И вот наконец прошлое отпускает их, и больше нет помех, и можно покориться той глубокой силе, которая призывает вернуться к сути вещей, предаваемых забвению.

Сколько часов я провел, топча стебли полыни, ласково прикасаясь к камням, пытаясь подстроить собственное дыхание под шумные вздохи мира! Увязнув в диких запахах и жужжании сонных насекомых, я открываю глаза и сердце навстречу невыносимому величию этого неба, досыта напоенного жарой. Не так легко стать тем, кто ты есть, обрести понимание собственного истинного размера. Но от созерцания могучего хребта Шенуа сердце мое успокаивалось, наполняясь необычной уверенностью. Я учился дышать, становился частью этой природы и обретал цельность. Я одолевал один за другим склоны, каждый из которых вознаграждал меня чем-то, например, вот этим храмом, чьи колонны измеряют бег солнца и с высоты которого открывается вид на всю деревню с белыми и розовыми домиками и зелеными верандами. Или базилика на холме на восток от меня: ее стены сохранились, а вокруг расположились саркофаги, по большей части выпирающие из недр земли, в жизни которой они все еще принимают участие. Когда-то в них были заключены останки, теперь их облюбовали шалфей и дикая редька. Базилика Святой Сальсы[16] – христианский храм, но всякий раз, как выглянешь из нее через отверстие в стене, слышишь мелодию мира, достигающую твоих ушей: гудят пригорки, поросшие соснами и кипарисами, рокочет море, метрах в двадцати от нас подгоняющее своих белогривых лошадок. Площадка на вершине холма, на котором стоит храм Святой Сальсы, абсолютно плоская, ничто не мешает ветру разгуляться среди его портиков. Трепещет разлитое в пространстве блаженство.

Жаль тех, кто нуждается в мифах. Здесь боги служат руслами рек либо ориентирами в течении дней. Описывая пейзаж, я говорю: «Вот то, что окрашено в красный, синий, зеленый. Море, гора, цветы». И стоит ли упоминать о Дионисе для того, чтобы выразить, как я люблю давить почки фисташника? И принадлежит ли Деметре этот старинный гимн, который вспомнится мне позже: «Блажен тот из живущих на свете, кто видел это». Видеть, причем видеть на этой земле – как забыть такой завет?

На Элевсинских мистериях[17] достаточно было лишь созерцать. Однако даже здесь же я знаю, что до конца не приближусь к миру. Мне следует нагим и благоухающим земными эфирными маслами войти в морскую воду, омыть одно в другом и собой сомкнуть объятия, по которым так долго вздыхают, прильнув друг к другу устами, земля и море.

Входишь в воду: настоящее потрясение – холодная и плотная смола принимает тебя, ты ныряешь в нее, в ушах шумит, из носа течет, во рту горечь; плывешь, выпрастывая руки, отполированные водой, подставляя их солнцу, а затем напряжением всех мускулов вновь погружая в воду; скольжение воды по телу, шумное подчинение волн твоим ногам – и полное отсутствие горизонта. На берегу падение в песок… я вновь отдаюсь миру, вновь обретаю земную тяжесть плоти и костей и, утомленный солнцем, изредка бросаю взгляд на свои руки, с которых скатываются капли воды, обнажая на высохших участках кожи белый пушок и соленый налет.

Здесь мне становится ясно, что такое величие: право безмерно любить. Есть только одна любовь в этом мире. Сжимать в объятиях женское тело – это еще и вбирать в себя ту странную радость, которая сходит с небес на землю. Очень скоро, когда я брошусь в заросли полыни, чтобы пропитаться ее ароматом, я осознаю наперекор всем предрассудкам, что совершаю пред-

---

[16] Согласно легенде, в IV веке христианская дева Сальса бросила голову языческого змеиного идола в море, после чего разгневанные люди избили ее камнями до смерти. Ее тело, чудесным образом обнаруженное в море, было сожжено в часовне на холме у гавани, где впоследствии расположилась базилика.

[17] Элефсис, ранее Элевсин – город в Греции, в 20 км от Афин. Является культовым центром Деметры и Персефоны. В древности в городе проводились Элевсинские мистерии.

начертанное мне согласно истине, которая совсем проста – вот оно солнце – и за которой неизбежно следует другая истина – а вот она смерть. В каком-то смысле здесь я ставлю на кон свою жизнь, жизнь с привкусом горячего камня, наполненную вздохами моря и стрекотом цикад, заводящих в эту самую минуту свою песнь. Свежий бриз, голубое небо. Я беззаветно люблю эту жизнь, и мне хочется свободно поговорить о ней: она наполняет меня гордостью за мой человеческий удел. Однако я часто слышал: гордиться-то нечем. А вот и есть чем: этим солнцем, этим морем, своим молодым, бешено бьющимся сердцем, своим солоноватым телом и тем огромным простором, что меня окружает, в котором нежность и слава сплелись в желтом и голубом. Для завоевания этого мне и нужно приложить свои старания и все свои силы. Здесь ничто не мешает быть целостным, ни от чего нет нужды отрекаться, ни к чему надевать маску: мне достаточно терпеливо постичь сложную науку жизни, которая стоит всех формул житейской мудрости.

Незадолго до полудня мы возвращались той же дорогой, петляющей среди руин, к небольшому кафе на набережной у порта. Как приятна прохлада затененного помещения и большой бокал ледяного мятного напитка, когда голова гудит от солнца и буйства красок! Снаружи море и дорога, горячая от пыли. Присев за столик, я пытаюсь поймать взглядом слепящее многоцветие белого от жары неба. С лицом, мокрым от пота, но с сухим, облаченным в легкие полотняные одежды телом, мы все являем картину счастливой утомленности дня бракосочетания с миром.

Кормят в кафе неважно, зато подают много фруктов – особенно персиков, в которые вгрызаешься так, что сок течет по подбородку. Впившись в персик, я прислушиваюсь к тому, как стучит в ушах моя кровь, и смотрю во все глаза. Над морем повисла всеобъемлющая полуденная тишина. Всякому прекрасному живому существу свойственна природная гордость за свою красоту, сегодняшний мир прямо-таки сочится гордостью за себя. К чему же перед лицом этого мира отказываться от радости жизни, если для этого мне не нужно отрекаться от всего остального? Быть счастливым не стыдно. Но ныне глупец – король. Глупцом я называю того, кто боится наслаждения. Нам столько твердили о гордости: знаете, это сатанинский грех. Остерегайтесь, – кричали нам, – не то утратите и себя, и жизненные силы. С тех пор я и правда узнал, что некоторый род гордости… Но в иные минуты я не в силах отказать себе в гордости жизнью, одарить меня которой замыслил целый мир. В Типасе то, что я вижу, равнозначно тому, во что я верю, и я не упорствую в отрицании того, к чему могу прикоснуться рукой и к чему способен приложиться губами. У меня нет потребности превратить это в произведение искусства, разве что просто рассказать, а это не одно и то же. Типаса представляется мне чем-то вроде тех персонажей, которых описываешь для того, чтобы опосредованно высказать свою точку зрения на мир. Как и они, она лишь свидетельствует, причем по-мужски твердо. Сегодня она мой персонаж, и кажется, моему опьянению не будет конца, сколько ни ласкай ее, сколько ни описывай. Есть время жить и время свидетельствовать о жизни. А еще есть время созидать, что не так естественно. Мне достаточно всем своим телом участвовать в жизни и всей душой свидетельствовать об этом. Жить Типасой, запечатлевать ее… а очередь искусства наступит позже. Тут я волен поступать по-своему.

Я никогда не задерживался в Типасе больше чем на день. Всегда наступает такой момент, когда ты вдоволь налюбовался каким-то видом, как верно и то, что требуется много времени, прежде чем налюбуешься им. Горы, небо, море как лица, чью суровость либо великолепие открываешь в силу того, что смотришь, а не в силу того, что видишь. Но всякое лицо, чтобы красноречиво поведать о чем-то, должно претерпеть определенное обновление. А мы жалуемся, что слишком быстро перестаем смотреть на мир, когда следовало бы любоваться тем, что он кажется нам новым, притом что был всего лишь забыт нами.

К вечеру я обычно брел в ту часть заповедника вдоль трассы национального значения, которая превращена в сад и облагорожена. По выходе из шумной суматохи запахов и солнечных бликов, в свежести вечерней прохлады, я приходил в себя, а мое отдохнувшее тело вкушало внутренней тишины, рождающейся после удовлетворения страстью. Я сидел на скамье. Смотрел, как сглаживаются в конце дня очертания пейзажа. Я был пресыщен. Над моей головой висели еще не распустившиеся ребристые бутоны гранатового дерева, похожие на кулачки, в которых сосредоточилась вся надежда весны. За моей спиной произрастал розмарин, я различал его дурманящий аромат… Меж деревьев вырисовывались холмы, дальше виднелась кромка моря, а над ней пласт неба, напоминающий по форме неподвижный парус, неба, отдыхающего от растраты своей нежности. Сердце переполняла неизъяснимая радость, та же, что рождается от осознания чистой совести. Есть чувство, знакомое всем актерам: чувство уверенности, что они хорошо сыграли свою роль, то есть, в более точном смысле, совпали с тем идеальным персонажем, которого воплощали, в некотором роде вписались в заранее заготовленный рисунок и заставили ожить его и биться в унисон с собственным сердцем. Именно это я и ощущал: чувство хорошо сыгранной роли. Я исполнил свое ремесло – ремесло человека, а познание радости на протяжении целого дня мне представляется не каким-то исключительным успехом, а волнующим исполнением предначертанного удела, который в некоторых обстоятельствах предписывает нам быть счастливыми. Тогда-то на нас опускается одиночество, но на сей раз в удовлетворении.

И вот теперь деревья полнятся птицами. Земля неспешно вздыхает перед погружением во тьму. Вот-вот с первой звездой на сцену мира падет занавес ночи. Ослепительные боги дня, как всегда, отойдут к смерти. Но явятся другие боги. Пусть они и выглядят мрачнее, однако их до неузнаваемости искаженные лица рождаются из самого лона земли.

Шум волны, рассыпающейся на песке, долетал до меня сквозь все пространство, заполненное пляшущей золотой пыльцой. Море, природа, тишина, благоухание этой земли… я весь наполнялся пахучей субстанцией и вгрызался в уже зрелый плод мира, потрясенный вкусом его сладкого и густого сока, текущего у меня по подбородку. И дело не во мне и не в мире, а лишь в гармонии и тишине, которые порождают любовь между мной и этим миром. Ту любовь, притязать на которую как на исключительную привилегию я себе не позволял, поскольку с гордостью осознавал, что разделяю ее со всем человеческим родом, рожденным от солнца и моря, родом живучим и умеющим наслаждаться, черпающим величие в собственной простоте и, стоя на пляжах, обращающим свою понимающую улыбку к ослепительной улыбке небес.

Ветер в Джемиле

Есть места, где разум умирает для того, чтобы родилась истина, которая является его отрицанием. Когда я приехал в Джемилу[18], было ветрено, солнечно, но сейчас не об этом. Начать нужно с того, что там царила полная, тяжеловесная и густая тишина – как будто весы замерли в равновесии. Перекличка птиц, приглушенный звук свирели с тремя дырочками, шорохи, производимые козьим стадом, гул с небес – вот и все звуки, составлявшие тишину этого богом забытого места. Время от времени раздавался сухой треск или пронзительный крик, это птица покидала насиженное место между камней. Каждая дорога, каждая тропинка, связывающая развалины домов, все широкие замощенные улицы, пролегающие под блестящими колоннами, огромных размеров форум, раскинувшийся между триумфальной аркой и храмом на возвышенности, – все ведет к обрывам, со всех сторон окружившим Джемилу, напоминающую огромный карточный пасьянс под бескрайним небом. Ты сосредоточенно стоишь напротив камней и тишины, а день идет своим чередом, и горы становятся все более величественными, меняют свой цвет на фиолетовый. Над плато дует ветер. Только ветер и солнце, освещающее руины, и вдруг возникает особое чувство: ощущение общности с тишиной мертвого города в абсолютном уединении.

Нужно немало времени, чтобы добраться до Джемилы. Этот город не из тех, в котором останавливаются или проезжают мимо. Путь из него никуда не ведет, тут нет округи. Отсюда лишь возвращаются. Мертвый город – конечная точка длинной извилистой дороги, которая при каждом повороте только обещает, что вот-вот доберешься до цели, отчего кажется еще длиннее. А когда, наконец, между высокими горами на плато, окрашенном в блеклые тона, возникает желтоватый скелет города, похожий на лес из костей, Джемила воспринимается как символ того урока любви и терпения, усвоение которого дает нам ключ к трепещущему сердцу мира. Город с его несколькими деревьями и сухостоем всеми своими горами и камнями защищается от вульгарного восхищения, пристрастия к живописному или бессмысленных фантазий.

День напролет пробродили мы по этому бесплодному великолепию. Мало-помалу ветер, после полудня едва ощутимый, стал как будто нарастать с каждым часом и наполнять собой всю округу. Он дул из расщелины в горах где-то далеко на востоке, налетал на город из глубины горизонта и, достигнув его, устраивал среди развалин, лежащих под солнцем, подлинное бесчинство. Он задувал безостановочно и сильно, забирался в каменные и глинобитные сооружения, хозяйничая там, нападал на нагромождение изъеденных временем глыб, носился между колонн, обдавая каждую своим пронизывающим дыханием, и с диким ревом вырывался на открытое пространство – форум. Я чувствовал, что трепещу на ветру, как рангоут[19]. Он пронзал меня, жег глаза, обветривал губы, высушивал кожу, которую я переставал ощущать своей. Прежде именно кожей расшифровывал я письмена мира. А ветер наносил на нее знаки своей милости либо ярости, согревал ее своими летними объятиями либо покусывал морозными зубами. Долго, больше часа, терзаемый и сотрясаемый им, оглушаемый собственным сопротивлением, я переставал осознавать, что окружает мое тело. Как галька прибоем, я был отполирован ветром, истерт им до самой души. Я принадлежал этой силе, по воле которой двигался, сперва немного, а затем сам становился ею, и мой пульс смешивался с большими звучными ударами всеобъемлющего сердца природы. Ветер лепил меня по образу и подобию той обжигающей наготы, что находилась вокруг. И его беглое прикосновение одаривало меня, –

[18] © Перевод. Т. Чугунова, 2018Джемила – древний римский город, руины которого расположены в современном Алжире и с 1982 г. являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

[19] Рангоут – деревянные брусья или стальные трубы для установки парусов или подъемных приспособлений. – *Примеч. ред.*

ведь в его понимании я был таким же камнем, как и те, что разбросаны повсюду, – одиночеством какой-нибудь колонны или оливы, чей силуэт вырисовывался на фоне летнего неба.

Это яростное омовение в солнце и ветре забирало все мои жизненные силы. Во мне едва теплилось биение крыльев, еще постанывала жизнь, слабо восставал разум. Но вскоре меня разносило по всем уголкам света, я забывал обо всем, в том числе о себе, становился этим ветром, существовал в нем, претворялся в эти колонны, в триумфальную арку, в нагретые плиты и бледные горы, обступившие пустынный город. И никогда прежде не ощущал я с такой силой своей оторванности от себя самого и в то же время своего присутствия в мире.

Да, вот он я. И в эту минуту больше всего меня поражает то, что я не могу продолжать свой путь. Как узник, навечно заключенный в темницу: все для него здесь и сейчас. Но в то же время и как человек, который знает: и завтра, и во все другие дни ничего не изменится. Ибо для человека осознать свое настоящее означает более не иметь ожиданий. Если и есть пейзажи, являющиеся состояниями души, то они принадлежат к разряду самых вульгарных. Я шел по этому краю вслед за чем-то, что не было моим, но исходило от него, этого края, как вкус смерти, который объединил нас. Словно вспорхнувшая птица, беспокойство таяло в воздухе меж колонн, отбрасывающих теперь косые тени. А на его место заступала беспристрастная проницательность. Беспокойство произрастает в сердцах живых. Но лишь безмятежность заполнит это живое сердце: вот и вся моя проницательность. По мере того как день приближался к вечеру, как звуки и свет угасали в пепле сумерек, я, покинутый самим собой, ощущал беспомощность перед лицом наполняющих меня сил отрицания.

Немногие понимают, что есть отказ, ничего общего не имеющий с отречением. Что значат здесь, в Джемиле, слова о будущем, о благополучии, о положении в обществе? Что значит поступательное развитие души? Если я упорно отказываюсь от всех существующих в мире «когда-нибудь», это означает, что я не отрекаюсь от своего нынешнего богатства. Мне не по душе вера в то, что смерть – дверь в другую жизнь. Для меня смерть – закрытая дверь. Я не считаю, что это шаг, который следует совершить, это ужасное и гнусное действо. Все, что мне предлагают, силится освободить человека от веса собственной жизни. Но, глядя на тяжелый полет больших птиц в небе Джемилы, именно определенного веса жизни требую я и добиваюсь. Остаться целостным в этой пассивной страсти, а все остальное более от меня не зависит. Во мне слишком большой запас молодости, чтобы речь шла о смерти. Но мне кажется, что, если бы речь все же зашла, именно здесь я нашел бы точное слово, которое между ужасом и тишиной выразило бы сознательную убежденность в том, что смерть лишена надежд.

Мы живем, исповедуя несколько близких идей. Две или три. От соприкосновения с мирами других людей и самими людьми они оттачиваются, видоизменяются. Нужно лет десять на то, чтобы обзавестись собственной идеей, о которой стоит поведать кому-то. Конечно, это не внушает оптимизма. Но человек все же выигрывает, получая возможность определенной близости с прекрасным ликом мира. До тех пор он взирал на него в упор. И требуется сделать шаг в сторону, чтобы взглянуть на него в профиль. Молодой человек смотрит миру прямо в лицо. У него не было времени отточить мысль о смерти или небытии, с ужасом которых он уже свыкся. Быть может, это и есть молодость – откровенный разговор один на один со смертью, физический страх теплолюбивого животного. В противоположность тому, что говорят, по крайней мере, по этому поводу, молодость лишена иллюзий. У нее не имелось ни времени, ни благочестивых побуждений, чтобы обзавестись ими. Не знаю, почему перед изборожденным складками пейзажем, перед мрачным и торжественным криком в камне – Джемилой, в закатных лучах имевшей столь отчужденный от человеческого мира вид, перед смертным угасанием надежды и красок, я был уверен: дойдя до пределов человеческого существования, люди, достойные этого имени, должны заново вступить в этот разговор один на один, отречься от тех нескольких идей, что стали их собственными, и вернуть себе и невинность, и истину, которая сверкает во взгляде людей античных времен, стоящих перед лицом своей судьбы. Когда смерть

раскрывает для них свои объятия, они вновь обретают молодость. Нет ничего более презренного в этом отношении, чем болезнь. Она – средство против смерти. Она готовит нас к ней. Она учит умирать, и ее первый урок – жалость к самому себе. Она поддерживает человека в его попытках укрыться от очевидной истины – он умрет целиком. Но Джемила… Я чувствую, что подлинный, единственный прогресс цивилизации, к которому время от времени приобщается человек, заключается в создании людей, умирающих сознательно.

Меня всегда удивляла бедность наших идей относительно смерти, притом что мы так скоры изощряться в отношении других сюжетов. Смерть – либо благо, либо зло. Я ее боюсь либо призываю (так это обычно звучит). Но это также доказывает, что мы не в состоянии постигнуть все простое. Что такое голубой цвет и что по этому поводу можно сказать? То же затруднение и в отношении смерти. Мы не умеем спорить по поводу смерти и цвета. Однако главное – вот этот человек, тяжелый, как земля, который предвосхищает уготованный ему конец, то есть я сам. Но способен ли я по-настоящему об этом мыслить? Я говорю себе: я должен умереть, но это ничего не значит, поскольку мне не удается поверить в это, и в моем распоряжении лишь опыт чужих смертей. Я видел, как умирают люди. А более всего, видел, как умирают собаки. Прикосновение к ним потрясало меня. И вот я представляю себе: цветы, улыбки, желание обладать женщиной, и понимаю, что весь мой ужас перед смертью зиждется на зависти к жизни. Я завидую тем, кто будет жить после и для кого цветы и желание обладать женщиной наполнятся смыслом из плоти и крови. Я завидую, потому что слишком люблю жизнь, чтобы не быть эгоистом. Что мне до вечности? Когда-нибудь я буду стоять на пороге вечности со всей своей жизнью, своим животным страхом и идиотским взглядом и услышу: «Вы сильный, я должен рассказать вам правду – вы умрете». Что в сравнении с этим все остальное? И тогда мне кажется, что я мог бы уничтожить все вокруг себя.

Но люди умирают помимо своей воли, помимо всего, чем снабжена их жизнь. Им говорят: «Когда ты поправишься…», а они умирают. Я так не хочу. Ибо, если есть дни, когда природа лжет, бывают и дни, когда она честна. Джемила говорит правду этим вечером, да еще с какой грустью и бросающейся в глаза красотой! Перед лицом этого мира хочется заявить: я не желаю лгать сам и не желаю, чтобы лгали мне. Я желаю пронести свою проницательность до конца и взирать на собственную смерть во всеоружии своей зависти и своего ужаса. Я боюсь смерти в той мере, в какой расстаюсь с этим миром, в той мере, в какой привязываюсь к судьбе бренных живых, вместо того, чтобы созерцать вечное небо. Умирать сознательно означает уменьшать расстояние, которое отделяет нас от мира, и без радости вступать в завершающий этап земного существования, осознавая все то захватывающее, что таят в себе образы этого утраченного навсегда бытия. И печальная песнь холмов Джемилы еще сильнее вонзает мне в душу всю горечь этого урока.

К вечеру мы одолеваем горные тропы, которые ведут в деревню, и, возвращаясь по своим следам, слушаем рассказы об этой местности: «Здесь языческая часть города, а квартал в стороне – христианский. Позднее…» Так и есть. Люди и общества сменялись в здешних местах друг за другом; завоеватели наложили на этот край отпечаток унтер-офицерской цивилизации. Они имели нелепое и приземленное понятие о величии, а о величии собственной Империи судили по ее размерам. Чудо же в том, что руины их цивилизации являются отрицанием их идеала. Ибо этот скелетоподобный город, если смотреть на него вечером с высоты, при белоснежном кружении голубей над триумфальной аркой, не вписывал в небесные скрижали знаков своих побед и своего честолюбия. Мир всегда в конечном итоге одерживает победу над историей. Мне понятна поэзия этого великого каменного крика, устремленного Джемилой в горы, небо и тишину – проницательность, безразличие, подлинные знаки отчаяния либо красоты. От вида подобного величия, с которым мы уже расстаемся, сжимается сердце. Джемила остается позади нас с печальным водоемом своих небес, пением птиц, долетающим с той сто-

роны плато, с внезапными прыжками коз по склонам холмов и живым ликом бога с рожками, проступающим в сумерках на фронтоне алтаря.

Лето в Алжире

Жаку Эргону

20

Любовь, которая тебя соединяет с городом, чаще всего тайная. Такие города, как Париж, Прага, даже Флоренция, замкнуты в себе и тем самым ограничивают свой мир. Но Алжир – и другие счастливые города-избранники на морских берегах – открываются небу, словно рот или рана. В Алжире можно полюбить то, что видно всем: море за поворотом каждой улицы, тяжесть солнечных лучей, красоту жителей. И, как всегда, в этой бесстыдной открытости есть еще иной, тайный аромат. В Париже можно затосковать по простору и взмахам крыльев. Здесь по крайней мере человек одарен с избытком, все его желания исполнимы, и он может измерить свои богатства.

Конечно же, надо долго жить в Алжире, чтобы понять, что чрезмерное обилие даров природы может иссушить душу. Ничто здесь не рождает желания больше знать, учиться, становиться лучше. Эта страна не преподает никаких уроков. Она ничего не обещает и не предвещает. Она только дает, но дает щедро. Она вся распахнута перед глазами, и ее узнаешь сразу, с первого же восхищенного взгляда. От ее наслаждений нет лекарства, и ее радости не пробуждают надежды. Ей необходимы ясновидцы, иными словами – безутешные души. Ей нужны бы подвиги во имя ясности разума, как всходят на костер во имя веры. Необыкновенная страна, она дает пищу равно и блеску, и нищете человеческой! Неудивительно, что чувственные богатства, какими наделен здесь каждый восприимчивый человек, сочетаются с крайним убожеством. Во всякой истине есть своя горечь. Так надо ли удивляться, если мне дороже всего облик этой страны, когда меня окружают последние бедняки?

В этом краю, пока человек молод, он наслаждается жизнью в меру своей красоты. А потом – угасание и забвение. Люди делали ставку на свое тело и знали, что неминуемо проиграют. Для того, кто молод и полон жизни, в Алжире везде приют, во всем повод для торжества: залив, солнце, игра красного и белого на обращенных к морю террасах, цветы и стадионы, девушки со стройными ногами. Но тому, чья молодость прошла, не на что опереться и печали негде укрыться от себя. Есть на свете места, где человек может бежать от своей человеческой природы и тихо и мирно избавиться от самого себя – можно, к примеру, найти прибежище на террасах Италии, в монастырях Европы или любоваться холмами Прованса. А здесь, в Алжире, все требует одиночества и молодой крови. Гёте, умирая, воскликнул: «Света!» – и его последнее слово вошло в историю. А в Белькуре и в Баб-эль-Уэде старики сидят в кофейне и слушают хвастливые речи молодых людей с прилизанными волосами.

Так алжирское лето раскрывает перед нами начала и концы человеческих судеб. В летние месяцы все, кто может, покидают город. Но остаются бедняки, и остается небо. Вместе с бедняками мы спускаемся к порту, здесь ждут сокровища: теплое море, смуглые женские тела. А вечером, насытясь этими богатствами, бедняки возвращаются к столу, покрытому клеенкой, и к керосиновой лампе – другого убранства в их жизни нет.

В Алжире не говорят «купаться», говорят «бултыхнуться в море». Не будем придираться. Здесь купаются в порту и отдыхают на буйках. Если купальщик, подплывая к буйку, видит там хорошенькую девушку, он кричит приятелям: «Глядите, чайка!» Это простые, здоровые радости. О других, наверно, эти молодые люди и не мечтают: почти все они ведут тот же образ жизни и зимой, каждый день в обеденный перерыв, во время скудной трапезы они подставляют обнаженное тело солнцу. Не то чтобы они читали докучные проповеди теоретиков жизни на

[20] © Перевод. Н. Галь, наследники, 2019

лоне природы, этих новых протестантов, отстаивающих права плоти (когда расписывают по пунктам жизнь плоти, это столь же несносно, как строгая система в жизни духа). Нет, просто им «хорошо на солнышке». Невозможно оценить, как важен этот обычай для нашего времени. Впервые после двух тысячелетий на взморьях появились нагие тела. Двадцать веков кряду люди всячески старались придать благопристойное обличье дерзкому простодушию греков, все больше принижали тело и все усложняли одежду. А сегодня, в завершение этой долгой истории, движения юношей на берегах Средиземного моря вторят великолепной пластичности атлетов Делоса. И когда живешь вот так, всем телом среди других тел, начинаешь замечать, что у тела свои тончайшие оттенки, своя жизнь и, как ни странно это звучит, своя особая психология[21]. Тело развивается, как и дух, у этого развития тоже есть своя история, свои превратности, успехи и провалы. Взять хотя бы одну лишь тонкость – цвет кожи. Когда целое лето ходишь купаться в порт, замечаешь, что у всех кожа из белой понемногу становится золотистой, потом коричневой и наконец темно-шоколадной – это предел, которого может достигнуть, преображаясь, человеческое тело. Высоко над портом, точно детские кубики, теснятся белые дома Касбы. Когда лежишь у самой воды, на беспощадно белом фоне арабского города, вереница смуглых тел подобна медному фризу. И чем ближе к концу августа, чем огромней солнце, тем ослепительней белеют стены домов и тем жарче смуглеет кожа. Как же не слиться с этим диалогом камня и плоти, звучащим в лад солнцу и временам года? Все утро напролет – прыжки в воду, фонтаны брызг, и взрывы смеха, и широкие взмахи весел (огибаешь красные и черные борта грузовых судов – те, что пришли из Норвегии, дышат всеми запахами леса; от тех, что из Германии, несет масляной краской; от тех, что ходят вдоль побережья, пахнет вином и старыми бочками). В час, когда солнце заполняет все небо от края до края, оранжевая байдарка с грузом смуглых тел мчит нас к берегу в неистовом беге.

Мерные взмахи весел – а потом их лопасти, яркие, точно спелые плоды, разом застывают в воздухе, и мы еще долго скользим по тихим водам внутренней гавани, и как тут не поверить, что я переправляю по глади вод ладью с опаленными солнцем богами, в которых узнаю моих братьев?

А на другом конце города лето уже приготовило для нас совсем иные дары: безмолвие и скуку. Безмолвие ведь тоже разное, смотря по тому, рождено оно тенью или солнцем. Есть полуденное безмолвие на Правительственной площади. В тени окаймляющих ее деревьев арабы продают ледяной лимонад, приправленный для аромата настоем из апельсинового цвета, пять су стакан. Над пустынной площадью разносятся зазывные крики: «А вот кому холодного, холодного!» Затихнут крики – и снова под солнцем безмолвие, и мне слышно, как в кувшине торговца чуть позвякивают льдинки. Есть безмолвие сиесты. Глубину его на улице Торгового флота перед грязными парикмахерскими можно измерить по певучему жужжанию мух за занавесями из сухого тростника. А вот в мавританских кофейнях Касбы безмолвствует тело, оно не в силах выбраться оттуда, оторваться от стакана чаю и вместе с шумом своей крови вновь обрести ход времени. Но превыше всего безмолвие летних вечеров.

Краткие мгновения, когда день опрокидывается в ночь… надо ли населять их тайными знаками и зовами, чтобы так нераздельно для меня с ними слился Алжир? Стоит недолго побыть вдали от здешних мест, и в этих сумерках мне чудится обещание счастья. По склонам холмов над городом, среди олив и мастиковых деревьев, вьются дороги. Вот куда возвраща-

[21] Не посмеются ли надо мной, если я скажу, что не нравится мне, как Андре Жид превозносит тело? От плоти он требует сдержанности, чтобы придать желанию больше остроты, и таким образом сближается с теми, кого на жаргоне домов терпимости именуют закрученными или больно умными. Христианство тоже стремится обуздать желание, но понимает это прямолинейней – как умерщвление плоти. Мой приятель Венсен, бондарь, чемпион по брассу среди юношей, смотрит на вещи куда проще. Ощутив жажду, он пьет; когда его тянет к женщине, старается с нею переспать, а если полюбит (пока еще с ним такого не случилось), то и женится. А потом он всякий раз говорит: «Вот так-то лучше», – и, право же, трудно полнее оправдать утоленное желание. – *Примеч. авт.*

ется мое сердце. Я вижу, как там черными снопами взметаются на зеленом небосклоне птичьи стаи. Небо, где вдруг не стало солнца, словно вздохнуло с облегчением. Стайки алых облачков редеют и понемногу тают. Почти тотчас же проглядывает первая звезда, видно, как она возникает и крепнет в толще небес. И внезапно все поглощает ночь. Что же в них неповторимого, в этих мимолетных алжирских вечерах, отчего они так много во мне пробуждают? От них на губах остается сладость, но не успеешь ею пресытиться, как она уже исчезла в ночи. Быть может, оттого-то она и не забывается? Этот край таит в себе такую волнующую, такую неуловимую нежность! Но когда на миг она открывается, сердце отдается ей безраздельно. В Падовани, квартале бедноты, на взморье каждый день открыт дансинг. И в этом огромном ящике, одной стороной выходящем на море, до ночи танцует молодежь. Часто я жду здесь одной особенной минуты. Весь день окна затенены наклонными деревянными щитами. После захода солнца щиты убирают. И зал наполняется странным зеленоватым светом, который отбрасывает двойная раковина моря и неба. Когда сидишь в глубине, подальше от окон, видишь только небо, и по нему опять и опять китайскими тенями проплывают мимо лица танцующих. Порой звучит вальс, и тогда черные профили на зеленом кружат с упорством бумажных силуэтов на патефонной пластинке. Очень быстро наступает ночь, загораются огни. Но есть для меня в этом тончайшем мгновении что-то потаенное, окрыляющее. Помню рослую, статную красавицу, она танцевала весь вечер напролет. Голубое облегающее платье, влажное от пота, липло к бедрам и коленям, шею обвивала гирлянда жасмина. Она танцевала и все смеялась, запрокидывая голову. Она скользила мимо столиков, и за нею плыл смешанный запах плоти и цветов. Когда смерклось, я уже не различал ее тела, прильнувшего в танце к партнеру, только на темнеющем небе, кружась, мелькали то белые цветы, то черные волосы, а потом она вскинула голову, всколыхнулась высокая грудь, и я услыхал ее смех и увидел, как порывисто наклонился к ней профиль мужчины. Вот таким вечерам я и обязан своими понятиями о чистоте и невинности. И я научился не отделять этих людей, полных неукротимой силы, от неба, под которым кружат их желания.

На окраинах Алжира в кино иногда торгуют мятными пастилками, на которых отпечатано красной краской все, что нужно для начала любви: 1) вопросы: «Когда вы выйдете за меня замуж?», «Вы меня любите?» и 2) ответы: «Весной», «Страстно». Подготовив почву, пастилку передают соседке – и она либо отвечает тем же, либо прикидывается дурочкой. Бывало, в Белькуре вот так люди и женились, и вся жизнь строилась на том, что им случилось обменяться мятными конфетками. И в этом так ясно видна детская душа здешнего народа.

Быть может, признак молодости – всепобеждающее стремление к легким радостям. Но еще того больше торопливая, едва ли не расточительная жадность к жизни. В Белькуре, как и в Баб-эль-Уэде, женятся совсем молодыми. Работать начинают очень рано и за десяток лет исчерпывают опыт целой жизни. К тридцати годам для рабочего игра уже сыграна. Подле жены и детей ему остается только ждать конца. Все его радости были коротки и безжалостны. Такова и вся его жизнь. И тогда становится понятным, что он рожден страной, где человеку все дается ненадолго. Среди этой щедрости и изобилия жизнь проносится в сильных страстях – внезапных, захватывающих, безоглядных. Она в том, чтобы не созидать, но сжигать. А если так, незачем размышлять и стремиться к совершенству. Понятие об аде, например, здесь просто милая шутка. Подобные причуды воображения позволены разве что какой-нибудь ходячей добродетели. И я думаю, в Алжире само слово «добродетель» – пустой звук. Не то чтобы эти люди лишены были нравственных устоев. Нет, у них свои особые принципы и правила. Не годится быть «непочтительным» с матерью. На улице никто не смеет проявить неуважение к своей жене. Полагается оказывать внимание беременной женщине. Не полагается нападать вдвоем на одного – «это уж подлость». Кто не соблюдает этих простейших заповедей, тот «не мужчина» – и дело с концом. На мой взгляд, все это веско и справедливо. Нас еще немало – тех,

кто бессознательно соблюдает этот устав улицы, единственный бескорыстный устав, какой мне известен. Но в то же время здесь неведома мораль торгашей. Когда полицейские ведут арестованного, я неизменно вижу на всех лицах сочувствие. И еще не узнав, кто он – вор, отцеубийца или просто инакомыслящий, люди говорят: «Бедняга!», а то и с оттенком восхищения: «Сразу видно, разбойник!»

Иные народы созданы для гордости и для жизни. Как ни странно, они особенно склонны к скуке. И совершенно не приемлют смерти. Если не считать чисто чувственных радостей, развлечения алжирцев весьма непритязательны. Общество любителей игры в шары и традиционные «обеды» однокашников или однополчан, кино за три франка и деревенские праздники – годами это единственные утехи всех, кому за тридцать. Воскресенье в Алжире едва ли не самый мрачный день. Этот народ не причастен к духу, так где же ему окутать мифами бездонный ужас своего бытия? Все, что относится к смерти, здесь либо нелепо, либо отвратительно. У этих людей нет ни веры, ни идолов, они живут в толпе, но умирают в одиночестве. Я не знаю ничего безобразнее кладбища на бульваре Брю, перед которым расстилается один из красивейших ландшафтов в мире. Здесь, где смерть открывает свое подлинное лицо, нестерпимо горько видеть, как траур захлестывает безвкусица. «Все проходит, кроме памяти», – гласят надписи на медальонах в виде сердца. И все настаивают на этой смехотворной вечности, которую нам задешево дарят любящие сердца. Те же словеса служат утешением во всяком горе. К мертвому обращаются на «ты»: «Мы тебя никогда не забудем», – мрачное притворство, словно бы наделяющее плотью и желаниями то, что в лучшем случае обратилось в черную жижу. А рядом, среди отупляющего нагромождения мраморных цветов и птиц, смелое обещание: «Не увянут цветы на могиле твоей». Но сразу успокаиваешься: надпись эта окружает золоченый лепной букет, ведь гипсовые цветы прекрасно сберегают время для живых (так же как бессмертники, обязанные своим пышным названием благодарности тех, кто пока еще вскакивает в трамвай на ходу). Поскольку надо идти в ногу с веком, взамен обычной малиновки надгробье иногда украшают сногсшибательным самолетиком из бисера, а пилота изображает глуповатый ангел, которого, нимало не заботясь о логике, снабдили парой роскошных крыльев.

И все же как вам объяснить, что эти образы смерти неотделимы от жизни? Все ценности здесь неразрывно связаны. Вот излюбленная шутка алжирских факельщиков: возвращаясь порожняком после похорон, они кричат с катафалка встречным девушкам: «Садись, красотка, подвезем!» Не очень приятно, но отчего бы не усмотреть в этом символ? Может также показаться кощунством, если при известии, что кто-то скончался, вам отвечают, подмигивая: «Бедняга, ему уж больше не петь». Или, как сказала одна жительница Орана, которая никогда не любила мужа: «Бог мне его дал, Бог и взял». Но в конце концов я не вижу, что в смерти священного, и, напротив, хорошо чувствую разницу между страхом и уважением. В стране, которая так и зовет жить и радоваться жизни, все дышит ужасом перед смертью. А между тем как раз под кладбищенской оградой молодежь Белькура назначает свидания, и не где-нибудь, а здесь девушки отдаются ласкам и поцелуям.

Я прекрасно понимаю, что такой народ не всем по вкусу. В отличие от Италии здесь разум не в чести. Алжирцев ничуть не занимает жизнь духа. Их преклонение и восторги отданы телу. В этом культе тела они и черпают свою силу, свой наивный цинизм и ребяческое тщеславие – все, за что их так сурово осуждают. Их упрекают обычно за «склад ума», иначе говоря, за взгляды и образ жизни. И в самом деле, слишком насыщенная жизнь не обходится без несправедливости. А все же этот народ без прошлого, без традиций не чужд поэзии – да, я знаю, это особая поэзия, грубая, чувственная, далекая от всякой нежности, совсем как алжирское небо, но, по правде сказать, только она меня и захватывает и задевает за живое. В противовес цивилизованным народам это народ-творец. И во мне теплится безрассудная надежда: быть может, эти варвары, что валяются под солнцем на взморье, лепят сейчас новую культуру, в чьем облике проявится наконец подлинное величие человека. Этот народ живет одним лишь

сегодняшним днем, без мифов, без утешения. Он признает одни лишь земные блага и потому беззащитен перед смертью. Он издавна был одарен телесной, осязаемой красотой. А с нею – необычайной жадностью, которая всегда сопутствует столь преходящему богатству. Здесь каждый шаг и поступок проникнуты отвращением к постоянству, никто не заботится о том, что будет завтра. Люди торопятся жить, и если здесь суждено родиться искусству, оно будет послушно той вражде к долговечности, которая заставляла дорийских зодчих первую колонну вытесывать из дерева. И, однако, – да, конечно, – не только неукротимость, но и чувство меры различаешь в облике этого буйного, страстного народа и в этом чуждом всякой нежности летнем небе, под которым можно высказать вслух любую истину и на котором никакое лживое божество не начертало знаков надежды или искупления. Между этим небом и запрокинутыми к нему лицами нет ничего такого, за что могли бы ухватиться мифология, литература, этика или религия, – лишь камни, да человеческая плоть, да звезды и те истины, которых можно коснуться рукой.

Ощущать узы, соединяющие тебя с землей, любить хотя бы немногих людей, знать, что есть на свете место, где сердце всегда найдет покой, – это уже немало для одной жизни, есть на что опереться. Но, конечно, этого недостаточно. И, однако, в иные минуты всем существом рвешься туда, на родину души. «Да, вот куда надо возвратиться». Разве так уж странно обрести на земле то единение, к которому стремился Плотин? Слияние здесь выражено в солнце и море. Сердце ощущает его в особом вкусе плоти, оно-то и оделяет ее и горечью, и величием. Я понимаю, нет счастья вне и выше человека, нет вечности вне отпущенного нам круга дней. Меня волнуют лишь эти ничтожные и несомненные блага, лишь эти относительные истины. А другие, «идеальные», мне непонятны, на них у меня не хватает души. Не в том дело, что нужно уподобиться животному, но в счастье ангелов я не вижу смысла. Знаю только, что небо останется, когда меня уже не будет. Так что же называть вечностью, если не то, что меня переживет? Я вовсе не хочу сказать, будто смертный доволен своей участью. Нет, это совсем другое. Не всегда легко быть человеком, еще трудней быть душевно чистым. Но быть чистым – значит обрести родину души, где тебе сродни все мироздание и удары сердца слиты с неистовым дыханием послеполуденного солнца. Старая истина: что значит родина, постигаешь в тот час, когда ее теряешь. Для тех, кто склонен к самоистязанию, родная страна – та, что их отрицает. Не хочу быть грубым, и пусть не подумают, что я преувеличиваю. Но в конце концов в этой жизни меня отрицает прежде всего то, что убивает. Все, что наполняет жизнь восторгом, в то же время делает ее еще абсурдней, бессмысленней. И алжирское лето заставляет меня понять: только одно еще трагичней страдания – это жизнь счастливого человека. Но, быть может, это еще и путь к жизни более значительной, ибо тут учишься не плутовать.

В самом деле, многие прикрываются любовью к жизни, чтобы избежать просто любви. Гонятся за наслаждениями и стараются «побольше испытать». Но это все умствования. Чтобы наслаждаться, нужно редкостное призвание. Человек существует, не опираясь на жизнь духа с ее приливами и отливами, приносящими и одиночество, и полноту. Когда смотришь на обитателей Белькура – как они работают, защищают своих жен и детей, и подчас кажется, их не в чем упрекнуть, – право же, можно втайне устыдиться. Нет, конечно, я не тешу себя иллюзиями. В жизни этих людей любви немного. Вернее сказать, ее немного остается. Но по крайней мере они ни от чего не увиливали. Есть слова, которых я никогда толком не понимал, например – грех. И, однако, я уверен: эти люди не грешны перед жизнью. Ибо уж если что и грешно, то не отчаиваться в этой жизни, а возлагать надежды на жизнь загробную и уклоняться от безжалостного величия здешнего, земного бытия. Эти люди не плутовали. В двадцать лет жажда жизни делала их богами лета, и теперь, лишенные всех надежд, они остаются прежними. Я видел, как умирали двое из них. Они были полны ужаса, но молчали. Так лучше. Из ящика Пандоры, где скрывались все злосчастья человечества, древние греки последней выпустили

надежду как самую грозную из казней. Я не знаю символа более потрясающего. Ибо наперекор тому, что принято думать, надежда – это покорность. А жить – значит не покоряться.

Вот хотя бы один суровый урок, который дают летние дни в Алжире. Но погода меняется, лето уже на исходе. После такого буйства и пыла первые сентябрьские дожди – словно первые слезы освобожденной земли, как будто за несколько дней весь этот край растворился в нежности. И, однако, в эту же пору над всей страной разливается любовный аромат цветущих рожковых деревьев. По вечерам или после дождя чрево земли еще влажно от семени, что пахнет горьким миндалем, все долгое лето она отдавалась солнцу и теперь отдыхает. И снова этим ароматом освящен брачный союз человека и земли, и в нас пробуждается единственная в этом мире подлинно мужественная любовь – преходящая и щедрая.

Пустыня

Жану Гренье

22

Разумеется, жить – это совсем не то, что рассуждать о жизни. Если верить великим тосканским мастерам, жить – это трижды свидетельствовать – в тишине, пламени и неподвижности.

Требуется немало времени, чтобы признать, что персонажей их картин ежедневно встречаешь на улицах Флоренции или Пизы. Но точно так же мы разучились видеть настоящие лица тех, кто нас окружает. Мы больше не смотрим на наших современников, мы ищем в них только то, что помогает нам лавировать меж людьми и соблюдать правила приличного поведения. Мы предпочитаем живому лицу его самую вульгарную поэзию. Но что касается Джотто или Пьеро делла Франческа, то они хорошо знают, что человеческая восприимчивость – ничто. В конце концов, сердце есть у каждого, и поэтому она присуща каждому. Но великие простые и вечные чувства, вокруг которых вращается жажда жизни, ненависть, любовь, слезы и радости, растут в глубине человека и формируют лицо его судьбы, – как в «Положении во гроб» Джоттино боль стиснутых зубов Марии. В огромных величавостях тосканских церквей я ясно вижу толпу ангелов с бесконечно повторяющимися лицами, но в каждом из этих молчаливых и страстных ликов я узнаю одиночество.

Речь идет, действительно, о живописности, о каком-нибудь запечатленном эпизоде, об оттенках или о волнении. Короче, речь идет о поэзии. Но в расчет принимается только правда. Правдой я называю все то, что имеет продолжение. Существует изощренная точка зрения, что в этом смысле только художники могут утолить наш голод, ибо у них есть привилегия становиться романистами тела. К тому же, они работают в этой великолепной и пустотелой субстанции, которая именуется настоящим. А настоящее всегда передается в жесте. Они изображают не улыбку или мимолетную стыдливость, не сожаление или ожидание, но лицо, его плоть и кровь, его кожу и кости черепа. Из этих лиц, застывших в вечных линиях, они навсегда изгнали метания духа – но ценой надежды. Впрочем, тело не знает надежды, оно знает только биение своей крови. Свойственная ему вечность соткана из безразличия. Как в «Бичевании Христа» Пьеро делла Франческа, где на только что вымытом дворе подвергаемый истязанию Христос и его приземистый палач обнаруживают в своих позах одно и то же равнодушие. И это потому, что пытка не имеет продолжения, и ее урок застывает на холсте. Какой смысл волноваться за того, кто не ждет завтрашнего дня? Безучастность и величие человека, лишенного надежды, вечное настоящее – именно это дальновидные теологи называли адом. А ад, как известно каждому, это еще и страдающая плоть. Именно на этой плоти, а вовсе не на ее судьбе, сконцентрировались тосканцы. Пророческой живописи не существует, и не в музеях нужно искать повода для надежды.

Бессмертие души действительно занимает многие великие умы. Но они отказываются еще до того, как исчерпана суть проблемы, от единственной реальности, которая им дана, то есть от тела. Дело в том, что оно не задает им вопросов или, по крайней мере, они знают единственный ответ, который оно предлагает: это истина, обреченная сгнить и потому источающая горечь и благородство, в лицо которым люди не смеют взглянуть. Великие умы предпочитают телу поэзию, ибо она есть творчество души. Пусть я немного играю словами, но, надеюсь, понятно, что истиной я хочу освятить только высокую поэзию: черное пламя, которое итальянские художники, начиная с Чимабуэ до Пьеро делла Франческа, взметнули среди

[22] © Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян, наследники, 2019

тосканских пейзажей, как естественный протест человека, брошенного на землю, великолепие и свет которой непрестанно говорят ему о Боге, которого не существует.

С помощью безразличия и бесчувственности случается, что лицо человеческое достигает минерального величия пейзажа. Как некоторые испанские крестьяне начинают походить на выращиваемые ими оливковые деревья, так и лица на картинах Джотто, лишенные смехотворных теней, в которых проявляется душа, в конце концов догоняют саму Тоскану в том единственном уроке, где она не скупится: полыхание страсти в ущерб эмоциям, смесь аскезы и наслаждения, общий для земли и человека отзвук, когда и человек, и земля находят себя где-то на полпути между несчастьем и любовью. Не так уж много истин, в которых сердце было бы убеждено. Очевидность этой истины я вполне постиг однажды вечером, когда сумерки начинали затоплять виноградники и оливы флорентийской долины безбрежной, молчаливой печалью. Но печаль в этой стране всегда лишь сопровождение к красоте. И в поезде, идущем сквозь вечер, я чувствовал, как во мне что-то проясняется. Могу ли я сегодня сомневаться, что, несмотря на обличье печали, это все-таки именовалось счастьем?

Да, Италия щедро подтверждает своими пейзажами урок, явленный ее людьми. Но счастье легко проворонить, ибо оно всегда незаслуженно. В том числе в Италии. И ее прелесть, даже если она внезапна, не во всякий миг очевидна. Италия больше, чем какая-либо другая страна, призывает к углублению опыта, хоть на первый взгляд он, кажется, представлен человеку весь сразу. Суть в том, что Италия прежде всего расточительна в поэзии, и это затуманивает постижение истины. Ее первые чары являются ритуалами забвения: розовые лавры Монако, Генуя, полная цветов и запахов рыбы, голубые вечера Лигурийского побережья. Наконец, Пиза, а с ней и Италия, лишенная шаловливого очарования французской Ривьеры. Но она еще вполне доступна, и почему бы не поддаться на какое-то время ее чувственной грации? Меня ничто не насилует, когда я здесь (и я лишен услад загнанного туриста, так как билет по сниженной цене понуждает меня оставаться некоторое время в городе «моего выбора»), и моя терпеливая готовность любить и понимать кажется мне безграничной в тот вечер, когда я, усталый и голодный, вхожу в Пизу, встреченный на вокзальной площади десятком грохочущих громкоговорителей, опрокидывающих водопад романсов на толпу, в которой почти все молоды. Я заранее знаю, чего жду. После очередной прихоти жизни наступит особое мгновение: закрыты кафе, и внезапно вернулась тишина, а я пройду по коротким и темным улицам к центру города. Темная и золотистая река Арно, желтые и зеленые памятники, пустынный город – как описать такой неожиданный и проворный прием, благодаря которому Пиза в десять часов вечера переодевается в этот странный наряд: тишина, вода и камни? «В подобную ночь, Джессика!» На этих уникальных подмостках вдруг появляются боги с голосами влюбленных Шекспира… Нужно уметь отдаваться мечте, когда мечта отдается нам. В глубине этой италийской ночи я уже слышу первые аккорды такого глубинного пения, которого здесь и не ожидаешь. Завтра, только завтра поля округлятся в свете утра. Но сегодня вечером я – бог среди богов, и перед Джессикой, убегающей «быстрыми шагами любви», я смешиваю свой голос с голосом Лоренцо. Но Джессика – лишь предлог, и любовный порыв ее обгоняет. Мне представляется, что Лоренцо не столько ее любит, сколько благодарен ей за разрешение ее любить. Но к чему сегодня вечером думать о Возлюбленных из Венеции и забывать Верону? Потому что здесь почти ничто не понуждает нежно любить несчастных возлюбленных. Нет ничего более бессмысленного, чем умереть за любовь. Надо жить. И живой Лоренцо лучше, чем погребенный Ромео, несмотря на его розовый куст. Как же тогда не танцевать на этих праздниках живой любви – дремать после полудня на невысокой траве Пьяцца дель Дуомо среди памятников, которые всегда успеешь осмотреть, пить из городских фонтанов, где вода немного теплая, но такая текучая, увидеть еще раз смеющееся лицо той женщины с удлиненным носом и горделивыми губами. Нужно только понять, что это приобщение готовит к более высоким озарениям. Это сверкающие шествия, ведущие дионисовы мистерии в Элевсин. Только в радости человек

усваивает уроки, и плоть его, достигнув наивысшей степени опьянения, становится сознательной и ощущает свою сопричастность священной тайне, символом которой является захмелевшая кровь. Полное самозабвение, дарованное пылом начальной Италии, готовит к этому уроку, который освобождает нас от надежды и похищает у нашей истории. Двойная правда тела и мига при лицезрении красоты – как не ухватиться за нее, как за единственное в своем роде счастье, которое должно нас околдовать, но одновременно и погубить.

Самый отталкивающий материализм не тот, который в ходу, но тот, что выдает мертвые идеи за живую реальность и отвлекает на бесплодные мифы наше постоянное прозорливое внимание, обращенное на то, что должно навек умереть в нас. Я вспоминаю, как во Флоренции в монастыре мертвых в Сантиссима-Аннунциата я был выведен из себя чем-то похожим на скорбь и что оказалось всего лишь гневом. Шел дождь. Я читал надписи на надгробных плитах и посвящениях. Этот был нежным отцом и верным мужем; тот – лучшим из супругов и одновременно удачливым коммерсантом. Некая молодая женщина, образец всех добродетелей, говорила по-французски si como il nativo[23]. А вот девочка, которая была любимицей близких, но ma la gioila e pellegrina sulla terra[24]. Однако ничто из этого меня не трогало. Почти все, судя по надписям, безропотно покорились смерти, поскольку покорялись и всем своим прочим обязанностям. Сегодня дети залезли в монастырь и играли в чехарду на плитах, призванных увековечить добродетели покойных. Наступала ночь, и я сел на землю, прислонившись к колонне. Священник, проходя мимо, улыбнулся мне. В церкви глухо звучал орган, и теплый цвет его мелодии иногда прорывался сквозь крики детей. Один у колонны, я походил на человека, которого схватили за горло и который провозглашает свою веру как последнее слово. Все во мне протестовало против подобного смирения. «Так нужно», – требовали надписи. Ну нет уж, и мой бунт был справедлив. За этой радостью, идущей равнодушно и самоуглубленно, как пилигрим по земле, мне нужно было следовать шаг за шагом. Но я говорил: нет. Говорил изо всех сил. Плиты сообщали мне, что все бесполезно и что жизнь проходит: col sol levante, col sol cadente[25]. Но я и сегодня не вижу, чтó эта бесполезность отнимает у моего бунта, зато хорошо чувствую, чтó она ему добавляет.

Впрочем, я не это хотел сказать. Я хотел бы немного яснее очертить истину, которую я открыл тогда в самом сердце своего бунта: она была лишь продолжением той истины, что тянулась от маленьких запоздалых роз монастыря Санта-Мария-Новелла к женщинам того воскресного утра во Флоренции, женщинам с влажными губами и нестесненной грудью под легкими платьями. В то воскресенье на углу каждой церкви стояли прилавки с мясистыми, блестящими от жемчужин воды цветами. Я тогда находил в этом нечто вроде «наивности», а также воздаяния. В этих цветах, как и в этих женщинах, было щедрое изобилие, и я ощущал, что хотеть одних – почти то же, что страстно желать других. Для этого достаточно чистого сердца. И все же в такие минуты он, по крайней мере, обязан назвать истиной то, что его так явственно очистило, даже если для других эта истина может показаться богохульством, как тот день, о котором идет речь: я провел то утро во францисканском монастыре во Фьезоле, пропахшем лаврами. Я много времени провел в маленьком дворике, наполненном красными цветами, солнцем и желто-черными пчелами. В углу стояла зеленая лейка. Перед тем, как прийти сюда, я осмотрел монашеские кельи и видел там столики, украшенные черепами. Теперь этот сад свидетельствовал об их существованиях. Я вернулся во Флоренцию по холму, который спускался к городу со всеми его кипарисами. Это великолепие мира, эти женщины и цветы казались мне как бы оправданием тех монахов. Я не был уверен, что это не служило оправданием

[23] Как на родном *(ит.)*.

[24] Радость – странница на земле *(ит.)*.

[25] С восходом солнца, с заходом солнца *(ит.)*.

и для всех людей, которые знают, что крайняя степень бедности всегда сочетается с роскошью и богатством мира. В жизни тех францисканцев, запертых между колоннами и цветами, и в жизни молодых людей с алжирского пляжа Падовани, круглый год проводящих на солнце, я чувствовал нечто общее. Если они и снимают одежду, то для пущего ощущения этой жизни, а не для иной жизни. По-моему, это единственное приемлемое употребление слова «лишение». Нагота всегда подразумевает физическую свободу, и это согласие руки и цветов, это любовное взаимопонимание земли и человека, освобожденного от человеческого, – ах! я бы обратился в эту веру, если бы это уже не стало моей религией. Нет, здесь не может быть богохульства даже в том случае, если я скажу, что внутренняя улыбка святых Францисков Джотто оправдывает тех, кто имеет склонность к счастью. Так как мифы для религии – то же, что и поэзия для истины, то есть смехотворные маски, надетые на страсть к жизни.

Пойду ли я дальше? Те же люди, которые во Фьезоле живут перед красными цветами, имеют в кельях череп, который питает их раздумья. Флоренция у их окон, и смерть на их столе. Некоторая непрерывность отчаяния может затеплить радость. И при определенной температуре жизни смешавшиеся душа и кровь умело живут на противоречиях, одинаково безразличные к долгу и к вере. И я уже не удивляюсь, что на одной из стен Пизы чья-то веселая рука так обобщила своеобразное понимание чести: «Alberto fa l'amore con la mia sorella»[26]. Я уже не удивляюсь, что Италия – земля кровосмешений, и – что особенно примечательно – кровосмешений признанных. Ибо путь, ведущий от красоты к безнравственности, извилист, но непреложен. Погруженный в красоту, ум питается небытием. Перед этими пейзажами, от величия которых перехватывает горло, каждая из мыслей – помарка на человеке. И скоро, отвергнутый, обремененный, придавленный и омраченный столькими тягостными убеждениями, он станет ничем перед миром – бесформенное пятно, которое знает истину только пассивную, или ее цвет, или ее солнце. Такие безупречные пейзажи иссушающи для души, и их красота непереносима. В этих евангелиях от камня, неба и воды сказано, что ничто не воскресает. Отныне внутри этой великолепной пустыни в сердце для здешних людей зарождается искушение. Что же удивительного в том, что возвышенные умы перед этим зрелищем благородства в воздухе, напитанном красотой, не убеждены, что величие может объединяться с добром? Рассудок без Бога, которого тот уничтожает, ищет Бога в том, что рассудком отрицается. Борджиа, прибыв в Ватикан, восклицает: «Бог даровал нам папство, и нужно спешить им попользоваться». И слово у него не расходится с делом. Спешить – это хорошо сказано. В этом чувствуется отчаяние, столь свойственное облагодетельствованным людям.

Быть может, я ошибаюсь. Ведь я был счастлив во Флоренции, как и многие другие до меня. Но что такое счастье, если не простое согласие между человеком и жизнью, которую он ведет? И какое более законное согласие может соединить человека с жизнью, если не двойное осознание своего желания быть всегда и своей участи умереть? По крайней мере, учишься ни на что не рассчитывать и рассматривать настоящее, как единственную истину, которая нам дана «сверх всего». Я уже слышу, как мне говорят: Италия, Средиземное море, древние земли, где все соразмерно человеку. Но пусть мне покажут иной путь. Дайте мне открыть глаза, чтобы я мог отыскать свою меру и свою отраду! А впрочем, я вижу сам: Фьезоле, Джемила и гавани, осиянные солнцем. Мера человека? Тишина и мертвые камни. Все остальное принадлежит истории.

Но не здесь следовало бы остановиться. Ведь нигде не сказано, что счастье неразрывно слито с оптимизмом. Оно связано с любовью, что не одно и то же. И я знаю часы и места, где счастье может показаться таким горьким, что ему предпочитаешь лишь намек на него. Но причина в том, что в эти часы и в этих местах у меня не было достаточно мужества любить, то есть не отказываться от любви. Здесь следует напрямую сказать о вхождении человека в празд-

[26] Альберто занимается любовью с моей сестрой *(ит.)*.

нества земли и красоты. Ибо именно в такие минуты человек, подобно неофиту, сбрасывает последние покровы, теряет свою личность и становится разменной монетой в руках Бога. Да, существует более высокое счастье, когда обыденное счастье кажется ничтожным. Во Флоренции я поднимался в саду Боболи до террасы, откуда открывались Монте-Оливето и городские холмы до самого горизонта. На каждом из этих холмов оливы были бледными, как маленькие туманности, и в дымке, которую они образовывали, выделялись более твердые кипарисы, самые близкие – зеленые и дальние – черные. Глубокую голубизну неба пятнали облака. На излете послеполуденного времени нисходил серебряный свет, и все становилось тишиной. Вершины холмов сначала тонули в облаках. Но вот поднялся бриз, дыхание которого я ощущал на лице. Бриз рассеивал облака, и холмы возникали словно из-за открывшегося занавеса. Одновременно казалось, что верхушки кипарисов мигом врастали во внезапно открывшуюся голубизну. Вместе с ними весь холм и пейзаж из олив и камней вновь медленно поднимались. Но тут приплыли другие облака, и занавес закрылся. А холм снова опустился вместе со своими кипарисами и домами. А затем опять – вдалеке, на отдаленных холмах, все более и более бледневших, – тот же бриз, который расправлял плотные складки облаков и образовывал их снова. В этом великом дыхании мира одно и то же дуновение завершалось с интервалом в несколько секунд и вновь, время от времени, подхватывало тему камня и воздуха в фуге вселенского звучания. Каждый раз тема укорачивалась на один тон: следя за ней на все большем расстоянии, я все больше успокаивался. И достигнув предела этой чувствительной для сердца перспективы, я охватывал взглядом этот бег синхронно дышащих холмов и слышал как бы пение всей земли.

Я знал, что миллионы глаз созерцали этот пейзаж, но для меня он был как первая улыбка неба. Он открывал для меня новые горизонты в точном смысле этого выражения. Он убеждал меня, что без моей любви и этого прекрасного крика камня все было бы бесполезно. Мир прекрасен, и вне его нет никакого спасения. Вот великая истина, которую он мне терпеливо преподавал: разум – ничто, да и сердце тоже. Он учил меня, что камень, нагретый солнцем, или кипарисы, углубляющие небо, ограничивают единственную вселенную, где слова «быть правым» приобретают смысл: природу без людей. И этот мир меня истребляет. Он доводит меня до предела. Он безгневно отвергает меня. Тем вечером, спускавшимся на флорентийскую долину, я держал путь к мудрости, где все уже было покорено, если бы слезы не навернулись мне на глаза и если бы великое рыдание поэзии, переполнявшее меня, не заставило меня забыть об истине мира.

Именно на этом равновесии следовало бы остановиться: редкое мгновение, когда духовность отвергает мораль, когда счастье рождается из отсутствия надежды, когда дух находит свой смысл в теле. Если правда, что всякая истина несет в себе горечь, то так же истинно, что всякое отрицание содержит прорастающее «да». И эта песнь любви без надежды, порожденная созерцанием, может также представляться самым действенным правилом всемирного действа. Вышедший из гробницы воскресший Христос на полотне Пьеро делла Франческа лишен человеческого взгляда. На его лице не написано ничего счастливого, одно только ожесточенное и бездушное величие, которое я понимаю как твердую решимость жить. И в этом мудрец не отличается от слабоумного. Такой поворот меня пленяет.

Обязан ли я этим открытием Италии, или же я извлек его из собственного сердца? Вне всякого сомнения, оно далось мне именно там. Хотя в Италии, как и в других благословенных местах, прорва красоты, тем не менее, люди и там умирают. Тут тоже должна разлагаться истина, а что может быть более возбуждающим? Если бы даже я ее и желал, что делать с неразлагаемой истиной? Она мне не соответствует. И любить ее было бы лукавством. Редко понимают, что вовсе не от безнадежности человек покидает то, что составляло его жизнь. Отчаянные проступки ведут к другим жизням и обозначают только трепетную привязанность к урокам земли. Хотя бывает и так, что на определенной ступени ясности ума человек чувствует, что

сердце его исчерпано, и без особого протеста поворачивается спиной к тому, что до этих пор принимал за свою жизнь, иначе говоря, за свою суету. Если Рембо кончил тем, что в Абиссинии не написал ни единой строчки, то это отнюдь не из-за склонности к авантюрам или писательского отступничества. Он сделал это «просто так», а точнее оттого, что при особой обостренности сознания мы в конце концов признаем то, что заставляли себя не понимать, согласно своему призванию. Ясно, что речь идет об изучении географии некой пустыни. Но эта необычная пустыня ощутима только для тех, кто способен там жить, никогда не утоляя своей жажды. И тогда, только тогда, она наполнится живыми водами счастья.

В саду Боболи – только руку протяни – висели огромные золотистые плоды хурмы, лопнувшая оболочка которых источала густой сироп. От этого легкого холма с сочными плодами, от тайного братства, которое приводило меня в согласие с миром, от голода, который влек меня к оранжевой плоти подле моей руки, я постигал равновесие, которое приводит некоторых людей от схимы к наслаждению и от аскезы к буйному сладострастию. Я восхищался, я восхищаюсь и доселе этой связью, объединяющей человека с миром, этой двойственностью, в которой мое сердце может принимать участие и диктовать условия своего счастья до точного предела, где мир может его дать или прикончить. Флоренция! Одно из немногих мест в Европе, где я понял, что в глубине моего бунта дремало согласие. В небе Флоренции, смешанном со слезами и солнцем, я учился соглашаться с землей и пылать в мрачном пламени ее празднеств. Я испытывал… но что за слово? Какой вздор! Как освятить согласие любви и бунта? Земля! В этом великом, оставленном богами храме у всех моих идолов глиняные ноги.

Лето

Минотавр, или остановка в Оране

Пьеру Галандо

27

Пустыни больше нет. Нет больше и островов. Их необходимость, однако, чувствуется. Чтобы понять мир, следует иногда на время отвернуться от него; чтобы лучше послужить людям, нужно какое-то время держаться от них на расстоянии. Но где сыскать уединение, необходимое, чтобы набраться сил, как обрести долгое дыхание, когда дух концентрируется и мужество проверяет свои возможности? Остаются большие города. Хотя и с ними не так-то просто.

Города, которые предлагает нам Европа, слишком переполнены шумами прошлого. Натренированное ухо может там уловить шелест крыльев, трепетанье душ. Там ощущаешь головокружение от былых веков, революций, славы. Там вспоминаешь, что Запад выковывался в муках. Все это не дает вожделенной тишины.

Париж часто оказывается сущей пустыней для сердца, но в определенные часы с кладбища Пер-Лашез веет ветер революции, который внезапно наполняет эту пустыню знаменами и отзвуками былого величия. То же можно сказать и о некоторых испанских городах, о Флоренции или Праге. Был бы тих Зальцбург, если бы не Моцарт. Но иногда над рекой Зальцах звучит надменный вопль Дон Жуана, провалившегося в преисподнюю. Вена кажется более тихой, это юная девушка среди других городов. Ее камни не старше трех столетий, и их молодости еще неведома меланхолия. Но Вена находится на перекрестке истории. Вокруг нее еще слышится грохот столкновения империй. В иные вечера, когда небо отливает кровью, а каменные кони на памятниках Ринга, кажется, куда-то мчатся, в это скоротечное мгновение, когда все вокруг говорит о могуществе и истории, можно отчетливо расслышать стремительное движение польских эскадронов и оглушительное падение Оттоманской империи. Это тоже не дает полной тишины.

Конечно, в городах Европы ищут именно уединения среди людей. Во всяком случае, там знаешь, как себя вести. Можно выбрать себе компанию, побыть с ней или оставить ее. Сколько характеров закалилось в этом путешествии между гостиничным номером и древними камнями острова Святого Людовика! Правда, некоторые томились там от одиночества. И все же там они обрели свой стимул для развития и самоутверждения. Там они одновременно были одни и не одни. Века истории и красоты, будоражащие душу свидетельства ушедших жизней сопровождали их в прогулках по набережным Сены и говорили им одновременно о традициях и победах. Молодость побуждала прислушаться к этим голосам. Но приходят времена, века, эпохи, когда все это начинает раздражать. «Кто из нас двоих? – воскликнул Растиньяк перед заплесневелой громадой кварталов Парижа. – Нас всего двое, но и этого слишком много!»

Постепенно пустыня приобрела смысл, и ее перегрузили поэзией. Для всех страдальцев мира это священное место. Но есть моменты, когда сердце как раз жаждет пристанища, лишенного поэзии. В свое время Декарт в поисках пустыни для своих медитаций остановил выбор на самом коммерческом городе тех лет. Он нашел там свое уединение и, может быть, повод для величайшей из наших мужественных поэм-признаний: «Первое: никогда не принимать за истину ничего, что я не признал бы таковым со всей очевидностью». Можно иметь меньше

---

[27] © Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян, наследники, 2019

честолюбия, и ту же меланхолию. Но за три века Амстердам оброс музеями. Чтобы убежать от поэзии и обрести покой камней, нужно, чтобы одни места были пустынными, а другие – не имеющими души и прибежища. Оран – один из них.

Улица

Я часто слышал от оранцев жалобы на свой город: «Тут нет интересного общества». Черт возьми, вы же сами его не захотели бы! Некоторые светлые умы пытались привить в этой пустыне нравы другого мира, они считали, что нельзя достаточно служить искусству и идеям, не опираясь на сподвижников[28]. Но в этом городе единственные, кто объединяются по интересам, это игроки в покер, любители бокса, азартных игр и всевозможные компашки. Там, по крайней мере, царит естественность. В конце концов, существует некоторое величие, не имеющее ничего общего с возвышенностью целей. Она бесплодна по определению. И те, кто хочет ее найти, покидают эту самую «среду» и выходят на улицы.

Улицы Орана отданы пыли, гальке и зною. Если идет дождь, это уже потоп и море грязи. Но под дождем или на солнце – лавки имеют одинаково экстравагантный и нелепый вид. Весь дурной вкус Европы и Востока сошелся здесь. Здесь можно найти вперемешку мраморных борзых, танцовщиц с лебедем, Диан-охотниц из зеленого галалита, дискоболов и жнецов, все, что служит подарками ко дню рождения или к свадьбе, целый курьезный народец, неустанно порождаемый насмешливым коммерческим гением для украшения наших каминов. Но эти дурного вкуса поделки приобретают здесь вычурное своеобразие, заставляющее все простить; вот содержание одной из витрин: в пыльном ларце отвратительные гипсовые слепки изуродованных ног, набор рисунков Рембрандта «по 150 франков за штуку», шутки-сюрпризы, трехцветные бумажники, пастель XVIII века, заводной плюшевый ослик, бутылки с Прованской водой для консервирования зеленых маслин и отвратная деревянная богоматерь с непристойной улыбкой на устах. (Чтобы никто не ошибся, хозяин поместил у ее ног табличку: «Пресвятая Дева из дерева».)

В Оране можно увидеть:

1. Кафе со стойками, отлакированными грязью и усыпанными мушиными лапками и крылышками, с хозяином, неизменно улыбающимся, несмотря на всегда пустующий зал. Маленькая чашка черного кофе там стоит двенадцать су, большая – восемнадцать.

2. Фотомастерские, где техника не продвинулась со времен изобретения светочувствительной бумаги. В их витринах причудливая фауна, которой не встретишь на улицах, начиная от псевдоморяка, облокотившегося на столик с изогнутыми ножками, до невесты с поникшими руками, перетянутой талией – на фоне лесного пейзажа. Можно предположить, что речь идет не о снимках с натуры, а о каких-то сценических персонажах.

3. Назидательное изобилие магазинов похоронных принадлежностей. И не потому, что в Оране умирают больше, чем где-либо в другом месте, но оттого, что оранцы, как мне кажется, делают из похорон событие исторической важности.

Симпатичная наивность этого торгового люда сказывается и на рекламе. Читаю анонс третьесортного фильма на афише одного оранского кинотеатра. Обнаруживаю в нем такие эпитеты, как «роскошный», «блистательный», «необычайный», «чудесный», «волнующий», «потрясающий». Наконец, дирекция информирует публику о внушительных жертвах, принесенных ею, чтобы заполучить возможность показать эту удивительную «постановку». Однако цена билетов останется обычной.

---

[28] В Оране встречается гоголевский Хлестаков. Он зевает и говорит: «Вижу: точно, нужно чем-нибудь высоким заняться». – *Примеч. авт.*

Было бы неправильно думать, что в этом проявляется только вкус к преувеличениям, свойственный южанам. На самом деле авторы этих дивных афиш демонстрируют свое безошибочное психологическое чутье. Им важно преодолеть безразличие и глубокую апатию, свойственную местным жителям, как только речь идет о выборе между двумя зрелищами, двумя профессиями, часто даже между двумя женщинами. И реклама это хорошо знает. Она принимает американские пропорции, имея те же самые основания все доводить до крайности, что и там.

Улицы Орана рассказывают, наконец, о двух основных усладах местной молодежи: чистить туфли и прогуливать их потом по бульвару. Чтобы иметь верное представление об этих наслаждениях, надо поручить заботы о своей обуви в десять часов утра в воскресенье чистильщикам бульвара Галлиени. Взгромоздившись на высокое кресло, вы сможете отдаться тогда очевидному даже для профана особому удовольствию, лицезрея людей, влюбленных в свое ремесло, каковыми являются оранские чистильщики. Все разработано до деталей: многочисленные щетки, три вида тряпок, вакса, смешанная с эссенцией; видя совершенный блеск, рождающийся под мягкой щеткой, можно подумать, что действо закончено. Но та же неутомимая рука снова кладет ваксу на блестящую поверхность, трет ее, делает тусклой, ведет крем в глубь кожи и потом заставляет искриться под той же щеткой двойным и поистине окончательным блеском, извлеченным из самых глубин кожи.

Полученные таким образом диковины выставляются потом напоказ перед знатоками. Чтобы оценить все утехи, предоставляемые бульварами, надобно посетить маскарады, молодежные карнавалы, которые устраиваются ежевечерне на главных улицах города. Молодые оранцы из «общества» в возрасте от шестнадцати до двадцати лет заимствуют образцы элегантности из американских кинолент и перед тем, как идти обедать, непременно переодеваются: завитые и напомаженные шевелюры, выбивающиеся из-под фетровых шляп, сдвинутых на левое ухо и заломленных над правым глазом, шеи, стиснутые довольно внушительных размеров воротничками, на которые спадают волосы, микроскопический узел галстука, заколотого массивной булавкой, пиджак до середины ляжек, а талия совсем рядом с бедрами, короткие светлые брюки, сверкающие туфли на тройной подошве – вот так эта молодежь демонстрирует на тротуарах свой невозмутимый апломб под перестук железных подковок на своих башмаках. Молодые люди стараются максимально подражать пластичности, походке и блеску Кларка Гейбла. Это дало повод критическим умам города пренебрежительно называть этих молодых людей «Кларками».

Что бы ни случилось, большие бульвары Орана к концу дня заполнены армадой этих симпатичных юнцов, которые лезут из кожи вон, чтобы казаться шалопаями. Так как молодые жительницы Орана постоянно чувствуют себя невестами этих пылких гангстеров, они тоже демонстрируют свой макияж и элегантность, скопированные у великих американских актрис. Те же злые языки, соответственно, дали им прозвище «Марлен». Таким образом, когда на вечерних бульварах щебет птиц вздымается с пальм к небу, десятки Кларков и Марлен встречаются, оглядывают и оценивают друг друга, переполненные счастьем жить и блистать, отдавшись на час головокружению шикарной жизни. Как говорят завистники, впечатление такое, будто присутствуешь на сборищах какой-то американской делегации. Но в этих словах чувствуется горечь тех, кому за тридцать, которым уже не пристало участвовать в подобных играх. Они не признают эти ежедневные слеты молодости, им чужда романтика. Это похоже на птичий парламент, который встречается в индийской литературе. Но на бульварах Орана не обсуждаются проблемы бытия, и никто не озабочен поисками совершенства. Остаются только биение крыльев, украшенные султанами колеса, жеманное и победоносное изящество, взрыв беззаботного пения, стихающий к ночи.

Я слышу Хлестакова: «Нужно чем-нибудь высоким заняться». Что ж, они, пожалуй, на это способны. Им нужен какой-то толчок – и «высокое» заселит через несколько лет эту

пустыню. Но пока душа, немного скрытная, должна раскрепоститься в этом легкомысленном городе с его парадами размалеванных девиц, с его бесхитростным лицедейством, заметным невооруженным глазом. Заняться чем-нибудь высоким! Лучше посмотрите на Санта-Крус, высеченный в скале, на горы, на гладь моря, ощутите сильный ветер и палящее солнце, поглядите на высокие краны порта, поезда, ангары, набережные и гигантские марши лестницы, восходящие по утесу города, а в самом городе взгляните на эти игры с их скукой и суматохой и прочувствуйте свое одиночество. Возможно, все это недостаточно цивилизованно, но большое достоинство этих перенаселенных островов в том, что там раскрывается сердце. Лишь в шумных городах возможна тишина. Из Амстердама Декарт писал старому Бальзаку[29]: «Каждый день я отправляюсь на прогулку среди людской толчеи и смятения с той же свободой и душевным спокойствием, с каким вы могли бы прогуливаться по своим пустынным аллеям».

Пустыня в Оране

Осужденные жить посреди восхитительного пейзажа, оранцы с триумфом вышли из этого сурового испытания, застроив свой город безобразными сооружениями. Ожидаешь увидеть город, открытый морю, вымытый, освеженный легким вечерним ветром. А находишь, если не считать испанского квартала[30], городок, повернутый спиной к морю, который застраивался вокруг самого себя наподобие улитки. Оран – это большая круговая желтая стена, крытая суровым небом. Сначала блуждаешь в лабиринте, ищешь моря, как нити Ариадны, но делаешь круг за кругом по этим желтым гнетущим улицам. В конце концов, некий Минотавр пожирает оранцев: это скука. Оранцы давно уже больше не блуждают по своему лабиринту. Они согласны быть съеденными.

Не посетив Орана, невозможно узнать, что такое камень. В этом самом пыльном среди всех городов булыжник – король. Его здесь настолько любят, что торговцы выставляют его на витринах, чтобы поддерживать бумагу или просто для красоты. Его сваливают в кучи вдоль улиц, несомненно, для услады глаз, потому что год спустя куча все еще лежит непотревоженная. Если в других местах поэзию создает растительность, то здесь у нее лицо камня. Тут тщательно покрыли пылью сотню деревьев в торговой части города. Это окаменевшие растения, роняющие со своих ветвей терпкий иссушающий запах пыли. В Алжире арабские кладбища обладают всем известной прелестью. В Оране над лощиной Рас-эль-Аин, выходящее на сей раз к морю, кладбище – это раскинувшиеся под голубым небом поля рыхлого известняка, где солнце учиняет ослепительные пожары. Среди этих преданных земле останков то здесь, то там пурпурная герань оживляет пейзаж свежими каплями крови. Но город затвердел в своей каменной оболочке. Когда смотришь с Плантеров, плотность сжимающих город скал такова, что пейзаж из-за этих камней становится каким-то иллюзорным. Человек оттуда изгнан. А вся эта подавляющая красота кажется пришедшей из другого мира.

Если пустыню можно определить как место без души, где царит одно лишь небо, тогда Оран ждет своих пророков. Все вокруг города и над ним – дикая нетронутая природа Африки, в действительности исполненная особого обжигающего очарования. Она заставляет сверкать удручающе однообразный пейзаж, зажигает его; неистовые вскрики звучат меж домами и поднимаются над крышами. Если взбираться по одной из дорог на склоне горы Санта-Крус, прежде всего увидишь разбросанные цветные кубики – постройки Орана. Но поднимемся немного выше и вот уже видим изрезанные утесы, окружающие плато, как какие-то красные животные, они спускаются к морю. Еще выше – и огромные гигантские яростные вихри из потоков

[29] Бесспорно, в память об этих добрых словах, оранское общество конференций и дискуссий организовалось под названием «Когито-Клуб». – *Примеч. авт.*

[30] И нового бульвара Фрон-де-Мер. – *Примеч. авт.*

солнечного света и порывов ветра носятся над неряшливым, разбросанным на все четыре стороны скалистой местности городом, делая этот город еще беспорядочнее. Здесь сталкиваются потрясающий хаос человеческой жизни и всегда одинаковое море. Этого достаточно, чтобы волнующий запах жизни поднимался по склонам утесов.

В пустыне есть нечто беспощадное. Каменное небо Орана, его улицы и деревья, покрытые пылью, – все способствует созданию этого плотного и бесстрастного мира, где сердце и ум никогда не отделены ни от самих себя, ни от единственного их объекта – человека. Я говорю здесь об уединении, не сулящем легкого существования. Пишут книги о Флоренции или Афинах. Эти города сформировали европейский дух и потому непременно должны быть исполнены смысла. Они сохраняют то, чем умиляются и вдохновляются. Они утоляют некий голод души, которую можно насытить только воспоминаниями. Но может ли тронуть город, где ничто не будоражит ум, где сама безобразность анонимна, где прошлое сведено к нулю?

Пустота, скука, бесстрастное небо. Что же влечет в эти места? Скорее всего, одиночество и, быть может, природа. Для иных эта природа везде, где она прекрасна, является их горькой родиной. И Оран – одна из тысячи ее столиц.

Игры

Центральный спортивный клуб на улице Фондук в Оране объявил о вечере состязаний по боксу и утверждает, что это событие высоко оценят болельщики. Это, несомненно, означает, что объявленные боксеры – отнюдь не знаменитости, что некоторые из них поднимутся на ринг вообще впервые и, соответственно, можно рассчитывать если не на мастерство и класс соперников, то хотя бы на их мужество. Поскольку один оранец наэлектризовал меня обещанием, что «будет кровь», я очутился тем вечером среди настоящих болельщиков.

По-видимому, последние вообще не нуждаются в комфорте. И в самом деле, ринг водрузили внутри помещения, похожего на гараж, побеленного известью, покрытого волнообразным кровельным железом и ярко освещенного. Складные стулья, расставленные вокруг канатов, образовывали квадрат. Это «для почетных гостей». Остальные же сиденья поставили вплотную вдоль зала, и из глубины открывалось широкое свободное пространство, именуемое проходом: сделано это как будто специально для того, чтобы ни один из зрителей не смог вынуть носового платка, не вызвав тяжелых последствий. В этом прямоугольном ящике дышали тысяча мужчин и две-три женщины, а они, по мнению моего соседа, «всегда стараются обратить на себя внимание». Все дико потеют. Пока ожидались поединки «чемпионов», гигантский репродуктор пережевывал Тино Росси. Романс перед побоищем.

Терпение истинного болельщика беспредельно. Представление, объявленное на 21 час, еще не началось в половине десятого, но никто не возмутился. Весна стояла жаркая, от людей без пиджаков исходил звериный запах. Среди периодических хлопков пробок от лимонада и неустанного нытья корсиканского певца завязывались перепалки. Несколько только что прибывших протискивались в публику, когда прожектор исторг на ринг ослепительный свет. Бои чемпионов начались.

Чемпионы или дебютанты, дерущиеся ради собственного удовольствия, всегда считают своим долгом как можно быстрее искалечить друг друга, не обращая внимания на какую бы то ни было технику. Они никогда не могут продержаться более трех раундов. В этом отношении героем вечера стал молодой «Кид Авьон», который обычно занимался тем, что продавал лотерейные билеты на террасах кафе. Под ударом его кулака, работающего, как винт, его противник был энергично вышвырнут за пределы ринга в начале второго раунда.

Публика немного оживилась, но пока еще как бы из вежливости. Она благоговейно вдыхала священный для них запах массажной жидкости. Она созерцала последовательность медленного кровожадного ритуала, которому придавали еще большую выразительность выпады

и броски сражающихся на белой стене теней. Это был церемонный пролог диковатого и тщательно продуманного культа. Транс придет позже.

И действительно, громкоговоритель объявляет Амара, «упрямого оранца», который ни в чем не уступает Пересу, «алжирскому боксеру с мощным ударом». Профан может неправильно истолковать рев, которым встречают схватки боксеров на ринге. Он мог бы вообразить, что идет какой-нибудь сенсационный бой, где боксерам предстоит разрешить всем известную личную ссору. Вообще-то это правда, именно ссору они собираются разрешить. Но речь идет о той неприязни, которая уже сто лет непримиримо разделяет Алжир и Оран. Если говорить об исторических аналогиях, эти два города обескровили бы себя, как это случилось с Пизой и Флоренцией в давние благословенные времена. Их соперничество было тем яростней, что не имело видимых оснований. Напротив, эти города имеют все, чтобы искренне любить друг друга, но они столь же искренне друг друга ненавидят. Оранцы обвиняют алжирцев в «кривлянии». Алжирцы уверены, что оранцы невежественны. Эти оскорбления кровно задевают, они более серьезны, чем кажутся, так как они метафизичны. Из-за невозможности подвергнуть друг друга осаде Оран и Алжир противоборствуют на почве спорта, статистики и строительных работ.

Таким образом, на ринге разворачивается очередная страница истории, и упрямый оранец, поддерживаемый тысячью ревущих голосов, защищает в бою с Пересом образ жизни и достоинство своей провинции. Говоря по правде, Амар слабо ведет свой спор. Его защитительная речь страдает промашками в ритуале: ей не хватает длиннот. Речь же алжирского боксера, наоборот, имеет должную продолжительность. Он неотразимо направляет удар в надбровную дугу своего оппонента. Под вопли разбушевавшихся зрителей лицо оранца методично расцвечивается кровоподтеками. Несмотря на непрерывную поддержку зала и, в частности, моего соседа, невзирая на подбадривающие вопли: «Бей его!», «Покажи ему, где раки зимуют!», на лукавые «Удар ниже пояса!», «Судья-то ничего не видел!», на оптимистические «Он готов!», «Он уже выдохся!», алжирец под нескончаемый свист зала побеждает по очкам. Мой сосед, охотно рассуждающий о спортивном духе, подчеркнуто аплодирует и сквозь крики зрителей произносит мне в ухо: «Теперь он не скажет там, что оранцы, мол, дикари».

Но в зале уже развернулись не предусмотренные программой бои. Многие зрители размахивают стульями, полиция пробивает себе дорогу, возбуждение достигает предела. Чтобы успокоить эти простые души и содействовать наведению порядка, «дирекция», не теряя ни секунды, заставляет репродуктор вопить «Самбр-е-Мез». А меж тем за несколько минут дело в зале принимает нешуточный оборот. Спутанные гроздья добровольных бойцов и арбитров раскачиваются под цепкой хваткой полицейских, публика захлебывается от восторга и посредством диких криков, кукареканья, шутливого мяуканья, потопленных в непреодолимой реке военного марша, требует продолжения.

Но достаточно объявления первого большого боя, чтобы тотчас вернулось спокойствие. Это происходит внезапно, без интерлюдий, так актеры покидают подмостки, едва лишь заканчивается пьеса. Шляпы деловито отряхиваются от пыли, стулья расставляются, и все лица тут же приобретают доброжелательное обличье добропорядочных и законопослушных зрителей, заплативших за место, чтобы присутствовать на концерте, куда идут всей семьей.

В последнем бою участвуют оранец и французский чемпион флота. Теперь разница в длиннотах в пользу первого. Но его преимущество в первых раундах публику не волнует. Она дает отстояться своему возбуждению, она восстанавливается. Ее дыхание еще слишком коротко. Если она и аплодирует, то без подлинной страсти, свистит без враждебности. Зал разделился на две части, это необходимо для соблюдения правил приличия. Но выбор каждого подчиняется общему безразличию, всегда следующему за усталостью. Если француз делает «недозволенный захват» или если оранец забывает, что атаковать головой запрещено, боксер сгибается под руладами свистков, но тут же выпрямляется под залпом аплодисментов.

Нужно дотянуть до седьмого раунда, чтобы снова возникло впечатление спортивного состязания, столько же времени нужно настоящим болельщикам, чтобы преодолеть свое утомление. Француз падает на ринг, но тут же вскакивает и, чтобы наверстать очки, обрушивается на своего противника. «Готово, – говорит мой сосед, – сейчас будет коррида». И действительно, это напоминает корриду. Покрытые потом, под яростным освещением, оба боксера открываются, наносят удары, закрыв глаза, толкают друг друга плечами и коленями, сопят от бешенства, по обоим течет кровь. В едином порыве зал встает и приветствует старания двух героев. Каждый получает удары, наносит ответные, отражает их с хрипами и шумно дыша. Те, кто наугад выбрал своего фаворита, из чистого упрямства настаивают на своем выборе и проникаются к своему избраннику горячей симпатией. Каждые десять секунд крик моего соседа вонзается в мое правое ухо: «Давай, голубой воротник, давай, морячок!» А в то же время впереди нас какой-то болельщик вопит оранцу: «Anda! Hombre!»[31] Оранец и голубой воротник стараются вовсю, а с ними вместе в этом храме из извести, железа и цемента весь зал поклоняется своим низколобым богам. Каждый удар, глухо звучащий на глянцевых от пота грудных клетках, отдается мощной вибрацией в теле толпы, невольно копирующей все движения боксеров.

В этой атмосфере ничейный исход матча не удовлетворяет болельщиков. Он не соответствует манихейской закваске оранцев. Есть добро и зло, победитель и побежденный. Если ты не неправ, необходимо быть правым. Итог этой непогрешимой логики моментально подводится тысячью глоток, обвиняющих судей, что они продались, что они подкуплены. Но тут голубой воротник подходит поцеловать своего противника и испить его братского пота. Этого достаточно, чтобы зал, немедленно преобразившись, разразился рукоплесканиями. Да, мой сосед прав: это не дикари.

Толпа, вытекающая на улицу под небо, полное тишины и звезд, только что дала самый изнурительный бой. Теперь она молчит и украдкой расходится, неспособная осмыслить пережитое. Существуют только добро и зло, эта религия беспощадна. Когорта верующих – всего лишь сборище черных и белых теней, исчезающих во мраке. Ибо сила и насилие – боги одинокие. Они бесполезны для воспоминаний. Напротив, они щедро творят свои чудеса только в настоящем. Они сродни этому народу без прошлого, который причащается вокруг рингов. Это непростой ритуал, но он все упрощает. Добро и зло, победитель и побежденный: в Коринфе соседствовали два храма, храм Насилия и храм Необходимости.

Памятники

По многим причинам, относящимся столько же к экономике, сколько и к метафизике, можно сказать, что оранский стиль, если таковой существует, с силой и ясностью воплотился в своеобразном здании Дома колониста. Вообще-то памятников в Оране хватает. У города есть свой счет маршалов Империи, министров и местных филантропов. Они высятся на небольших пыльных площадях, безропотно покорившиеся дождю и солнцу, обращенные в камень и скуку. Однако они все же здесь чужеродны. Это лишь прискорбные символы цивилизации в краю безмятежного варварства.

В противовес им Оран воздвиг самому себе собственные алтари и ростры. В самом сердце торгового города, где оранцы собирались было построить большое здание для бесчисленных сельскохозяйственных учреждений, кормящих эту страну, они в итоге воздвигли впечатляющее воплощение своих добродетелей – Дом колониста. Если судить о них по этому строению, то добродетелей было три: дерзость вкуса, любовь к насилию и чувство исторического синтеза. Египет, Византия, Мюнхен внесли свой вклад в прихотливую работу по изготовлению этого слоеного пирога, с виду представляющего собой огромную опрокинутую чашу. Разно-

[31] Давай, парень! *(исп.)*

цветные камни очень эффектно обрамляют крышу. Живость мозаик так впечатляюща, что вначале наступает временное ослепление. Но если внимательно приглядеться, то замечаешь, что эти мозаики имеют смысл: элегантный колонист с галстуком-бабочкой и в белом пробковом шлеме принимает знаки поклонения от вереницы рабов в античных одеяниях[32]. Здание с его архитектурными изысками размещено на перекрестке, где снуют маленькие замызганные трамваи, их неумытость – еще одна из милых примет Орана.

Нельзя не упомянуть, что Оран очень гордится двумя львами на площади д'Арм. С 1888 года они восседают по обе стороны муниципальной лестницы. Их автор звался Каином. Их короткие торсы выглядят величаво. Рассказывают, что по ночам один за другим они спускаются с цоколя и безмолвно вышагивают вокруг темной площади и при необходимости долго мочатся под большими пыльными фикусами. Разумеется, это слухи, но оранцы им снисходительно внемлют. Впрочем, все это уже вне пределов правдоподобия.

Несмотря на некоторые изыскания, я не смог проникнуться пылкой симпатией к Каину; я только узнал, что у него была репутация искусного анималиста. Тем не менее, я о нем часто думаю. Такое направление мыслей вы обретаете в Оране. Вот художник со звучным именем, оставивший здесь свое незначительное произведение. Сотни тысяч людей привыкли к добродушным хищникам, которых он поставил перед претенциозным зданием мэрии. Таков один из способов преуспеяния в искусстве. Пожалуй, эти два льва, как тысячи других им подобных произведений, свидетельствуют о чем-то ином, нежели талант. Можно создать «Ночной дозор», «Святого Франциска со стигматами», «Давида» или «Воздвижение цветка». Каин же изваял две веселые морды на площади заморской торговой провинции. Но Давид когда-нибудь рухнет вместе с Флоренцией, а львы, быть может, спасутся от гибели. Повторяю – они свидетельствуют о чем-то ином.

Можно ли уточнить эту мысль? В этом произведении чувствуются слабость и прочность. Души в нем нет, но материального с избытком. Посредственность стремится сохраниться всеми средствами, включая бронзу. Пусть ей отказано в праве на вечность, зато она довольствуется каждодневностью. Но не это ли и есть вечность? Во всяком случае, в таком упорстве есть что-то волнующее, и оно кой-чему учит, в этом урок всех памятников Орана и самого города Орана. Один час в день, лишь однажды, что-то заставляет вас обращать внимание на вещи, не имеющие значения. Ум находит пользу и в таких поворотах. Отчасти это его гигиена, и поскольку он нуждается в таких минутах смирения, мне кажется, эта возможность оглупления получше других. Все, что бренно, желает продления. Точнее, продления жаждут все. Человеческие творения в этом отношении мало чем отличаются, львы Каина имеют те же шансы, что и руины Ангкора. Это приучает к скромности.

В Оране есть и другие памятники. Во всяком случае, их следует так назвать, ибо они тоже представляют свой город, и, возможно, с большим правом. Это строительные работы, которые сейчас развернулись на берегу и охватывают территорию в десятки километров. В принципе, речь идет о преобразовании самой чистой из бухт в гигантский порт. И действительно, это еще одна из возможностей для человека поединоборствовать с камнем.

На картинах некоторых фламандских художников видно, как настойчиво возвращаются они к теме впечатляющего размаха: сооружению Вавилонской башни. Это необъятные пейзажи, скалы, штурмующие небо, крутые подъемы, где копошатся люди, занятые работой, животные, лестницы, странные приспособления, веревки, копья. Человек, однако, там присутствует для масштаба, подчеркивающего нечеловеческую величину строения. Именно об этом думаешь на оранском горном карнизе в западной части города.

Зацепившиеся на могучих склонах рельсы, вагонетки, подъемные краны, крошечные поезда… Под обжигающим солнцем локомотивы, похожие на игрушки, огибают огромные

[32] Как видим, еще одно качество алжирского населения – простодушие. – *Примеч. авт.*

каменные глыбы среди гудков, пыли и дыма. Денно и нощно люди, как муравьи, суетятся на дымящемся каркасе горы. Прикрепленные вдоль одного и того же каната на склоне скалы, десятки людей, прижав животы к рычагам автоматических экскаваторов, круглосуточно трясутся в воздухе и откалывают огромные куски скалы, которые обрушиваются в пыли и грохоте. А дальше над склонами опрокидываются вагонетки, и разъятые скалы, срываясь, рушатся в воду; каждая мощная глыба сопровождается градом более мелких камней. С равномерными интервалами глубокой ночью и среди дня взрывы сотрясают всю гору и приподнимают само море.

Человек среди этой стройки ведет лобовую атаку на камень. И если бы можно было забыть хотя бы на мгновение о тяжком рабстве, которое сделало возможной такую работу, то ею следовало бы восхититься. Эти камни, вырванные у горы, служат человеку, помогают ему осуществить его замыслы. Они скапливаются под первой волной, мало-помалу выступают из воды и, наконец, располагаются вдоль дамбы, на которой вскоре появляются люди и машины, день за днем они продвигаются к открытому морю. Не зная отдыха, огромные стальные челюсти разгрызают чрево скалы, поворачиваются вокруг своей оси и выплевывают в воду каменные объедки. По мере того как передняя часть карниза опускается, все побережье неодолимо надвигается на море.

Конечно, уничтожить камень невозможно. Его просто перемещают на другое место. В любом случае, он будет жить дольше, чем люди, которым он служит. А сейчас он укрепляет их волю к действию. Вряд ли это исполнено особого смысла. Но такова уж работа человека – менять вещи местами: нужно выбирать – делать это или вообще бездействовать[33]. Очевидно, оранцы сделали свой выбор. Пройдут годы, и у этой безмятежной бухты они нагромоздят вдоль берега груды и груды булыжников. А через столетие, то есть завтра, все надо будет начинать сызнова. Но сегодня эти нагромождения скал свидетельствуют в пользу снующих среди них людей в масках из пыли и пота. Истинные памятники Орана – его камни.

Камень Ариадны

Иногда кажется, что оранцы подобны другу Флобера, который, умирая, бросил последний взгляд на эту неповторимую землю и воскликнул: «Закройте окно, это слишком прекрасно». Оранцы закрыли окно, они замуровали себя, изгнали пейзаж. Но Пуатвен умер, а дни после его смерти продолжали следовать за днями. Так же за желтыми стенами Орана море и земля продолжают свой вялый диалог. Это постоянство мира всегда вызывало у человека противоречивые чувства. Оно приводило его в отчаяние и одновременно вдохновляло. Мир говорит всегда одно и то же, сначала он заинтересовывает, потом утомляет. Но в конце концов он добивается своего благодаря настойчивости. Он всегда прав.

Уже у самых ворот Орана природа повышает тон. Со стороны Канастеля простирается огромная целина, поросшая благоухающими кустарниками. Солнце и ветер говорят там только об уединении. Над Ораном гора Санта-Крус, плато и тысячи оврагов, ведущих к нему. Проезжие некогда дороги цепляются за склоны холмов, высящихся над морем. В январе некоторые дороги испещрены цветами. Маргаритки и лютики превращают их в пышные аллеи, в желтых и белых тонах. О горе Санта-Крус все сказано. Но если бы я продолжал о ней говорить, я обошел бы молчанием священные шествия, когда люди карабкаются по крутому холму в большие праздники, чтобы воскресить в памяти былые паломничества. Они одиноко бредут по красному камню, поднимаются над неподвижной бухтой и приходят сюда, чтобы этот светлый и прекрасный час провести в отрешенности и забвении.

---

[33] В этом эссе говорится о своего рода искушении. Его необходимо познать. А потом можно действовать или бездействовать, но то и другое требует понимания сути дела. – *Примеч. авт.*

Оран имеет и свои песчаные пустыни: пляжи. Те, которые находятся совсем рядом с городскими воротами, пустуют только зимой и весной. Тогда это площадки, усеянные асфоделями и застроенные маленькими трогательными виллами посреди цветов. Внизу глухо ворчит море. Однако солнце, легкий ветер, белые асфодели, резкая голубизна неба заставляют вспомнить лето, золотую молодежь, которая тогда заполняет пляж, долгие часы на песке, сменяемые сладостью вечеров. Каждый год на побережье новый урожай девушек-цветов. По-видимому, у них только один сезон. В следующем году их заменят другие пылкие венчики, которые прошлым летом были еще маленькими девочками с упругими, как весенние почки, телами. В одиннадцать часов утра с плато спускается эта молодая плоть, едва прикрытая пестрыми тканями, и многоцветной волной обрушивается на песок.

Нужно пройти дальше (но все равно поразительно близко от того места, где толкутся двести тысяч человек), чтобы обнаружить все еще девственный пейзаж: длинные пустынные дюны, где пребывание людей не оставило никаких следов, кроме ветхой хижины. Иногда пастух-араб гонит по вершинам дюн черные и бежевые пятна своего козьего стада. В этих краях Орании каждое утро лета кажется первым со дня творения. А каждые сумерки кажутся последними, торжественной агонией, о которой свидетельствует при заходе солнца последний луч, сгущающий все краски. Море – ультрамариновое, дорога – цвета свернувшейся крови, пляж – желтый. Все исчезает вместе с зеленым солнцем; часом позже дюны освещены луной. Наступают бесконечные ночи под звездным дождем. Иногда их перерезают грозы, молнии пронзают дюны, обесцвечивают небо, бросают на песок оранжевые отблески, слепят глаза.

Но этим нельзя поделиться. Это нужно пережить. Сколько уединения и величия придает этим местам их незабываемое обличье! На ранней влажной заре, когда только что прокатились первые еще черные и горькие волны, новое существование рассекает тяжелую воду ночи. Я вспоминаю об этих радостях, не сожалея об их утрате. Впрочем, признаю, что все это было прекрасно. После стольких лет все это еще существует где-то в моем сердце, хоть его и не назовешь слишком верным. И я знаю, что сегодня, если я захочу туда вернуться, то же самое небо опрокинет на пустынные дюны свои дуновения и звезды. Именно здесь простираются самые непорочные земли.

Но непорочность нуждается в песке и камнях. Человек разучился в ней жить. По крайней мере, так можно подумать, раз он окопался в этом странном городе, где дремлет скука. И все-таки именно это противоречие составляет достоинство Орана. Столица скуки в осаде непорочности и красоты, армия, которая ее вкруговую теснит, имеет столько же солдат, сколько камней окрест. И какое сильное искушение сдаться врагу иногда все же возникает в этом городе! Какой соблазн кроется в том, чтобы отождествить себя с этими камнями, слиться с этим обжигающим и бесстрастным миром, противостоящим истории и ее тревогам! Но вероятнее всего, это тщетно. Ибо в каждом человеке упрятан глубинный инстинкт, который не является ни инстинктом разрушения, ни инстинктом созидания. Речь идет только о том, чтобы ни на что не походить. В тени раскаленных стен Орана, на его пыльном асфальте слышится иногда этот призыв. Порой кажется, что души, которые ему поддадутся, никогда не будут разочарованы. Это тьма Эвридики и сон Изиды. Это пустыни, где мысль вот-вот зародится и будто прохладной рукой ляжет на взволнованное человеческое сердце. На этой Масличной горе бдение бесполезно: дух устремляется к уснувшим апостолам и благословляет их. В самом ли деле они ошибались? Все-таки у них было их Откровение.

Подумаем о Шакьямуни в пустыне. Он оставался там долгие годы, сидящий на корточках, неподвижный, с глазами, обращенными к небу. Сами боги завидовали этой мудрости и этой судьбе, подобной судьбе камня. В его вытянутых застывших руках ласточки свили свои гнезда. Но однажды они улетели, подчиняясь зову далеких земель. И тот, кто убил в себе желание и волю, славу и страдание, заплакал. Бывает, что и на скале вырастают цветы… Итак, согласимся с камнем: когда это нужно, он тоже может сообщить нам ту тайну и тот восторг, какие мы

ждем от людей. Но и то и другое не навсегда. Что же продлится дольше? Тайна человеческих существ исчезает, и вот мы снова брошены в череду желаний. И если камень не может дать нам больше, чем человеческое сердце, он может дать нам, по крайней мере, ровно столько же.

«Быть ничем!» В течение миллионов лет этот вопль склонял миллионы людей к метафизическому бунту против страдания и тщеты желаний. Отзвуки этого бунта сквозь века и океаны пришли сюда, чтобы умереть у самого старого в мире моря. Они еще глухо бьются о тесные утесы Орана. Все в этой стране неосознанно следуют этому призыву. Конечно, это по большей части тщетно. Небытие достижимо не более чем абсолют. Но коль скоро мы получаем, как милость, вечные знаки, приносящие нам розы или страдания, не будем же пренебрегать этими редкими приглашениями к забвению, которые нам посылает сама земля. В них столько же истины, сколько и во всех других.

Вот, может быть, нить Ариадны в этом сомнамбулическом и исступленном городе. Здесь познаешь иллюзорные преимущества этой странной скуки. Чтобы спастись, нужно сказать «да» Минотавру. Это древняя и благая премудрость. Над молчаливым морем у подножия красных скал следует сохранять равновесие, находясь на равном расстоянии от двух массивных мысов, омываемых справа и слева прозрачной водой. В прерывистом дыхании сторожевого корабля, который ползет по водам открытого моря, омытый ослепительным светом, отчетливо слышится приглушенный зов нечеловеческих, бьющих через край гремучих сил: прощание Минотавра.

Полдень – это день в нерешительности. Исполнив ритуал, путешественник получает в награду за свое избавление маленький камень, сухой и нежный, как цветок асфоделя, сорванный им на скале. Для вновь посвященного нести целый мир не тяжелее, чем этот камень. Задача Атланта легка, достаточно выбрать свой час. Тогда понимаешь, что на час, на месяц, на год эти берега могут открыться для свободы. Они принимают, вперемешку и не глядя на них, монаха, чиновника или завоевателя. Бывают дни, когда ожидаешь встретить на улицах Орана Декарта или Цезаря Борджиа. Этого не случилось. Но кому-то, возможно, повезет больше. Великое деяние, великое творчество, медитация некогда требовали уединения в песках или монастыре. Там бодрствовали ночами накануне борений духа. Где же теперь их отпразднуешь лучше, чем в суете большего города, надолго погруженного в бездушную красоту?

Вот камешек, нежный, как асфодель. Он в начале всего сущего. Цветы, слезы (если их сдерживаешь), разлуки и битвы – все это будет завтра. Днем, когда небо струит свои фонтаны света в огромное звенящее пространство, прибрежные мысы похожи на флотилию, готовую к отплытию. Эти тяжелые галионы из скал и света подрагивают на своих килях, будто готовясь отплыть к солнечным островам. О утренние часы Орании! С высоты плато ласточки ныряют в огромные котлованы, где вскипает воздух. Весь берег готов к отплытию, охвачен дрожью предстоящих приключений. Быть может, завтра мы отправимся в путь вместе.

1939

Миндальные рощи

«Знаете, что меня больше всего поражает? – говорил Наполеон Фонтану[34]. – Что сила бессильна что-либо создать. В мире есть только два владыки – меч и дух. И в конце концов дух всегда одерживает победу над мечом».

Как видно, и завоевателям порой случается приуныть. Надо же хоть как-то платить за столь громкую и столь тщетную славу. Но то, что было справедливо сто лет назад для меча, в наши дни уже не относится к танку. Завоеватели изрядно преуспели, и на многие годы над истерзанной Европой, в краях, где не стало духа, нависло угрюмое безмолвие. Во времена гнусных войн из-за Фландрии голландские живописцы все же могли изображать на полотне петухов из своих птичников. И хоть уже забыта Столетняя война, в иных сердцах еще живы молитвы силезских мистиков. А теперь все изменилось: и художник и монах мобилизованы, все мы равно в ответе за наш мир. Дух утратил царственную неколебимость, которую когда-то признавал за ним завоеватель; и он растрачивает себя, проклиная силу, ибо уже не умеет ее подчинить.

Добрые души скажут, что это недуг. Мы не знаем, недуг ли это, но знаем – такова действительность. Вывод: надо с нею считаться. Стало быть, достаточно понять, чего же мы хотим. А хотим мы одного: никогда больше не покоряться мечу, никогда больше не признавать силу, которая не служит духу.

Правда, задача эта необъятная. Но наше дело – не отступать перед нею. Я не настолько верю в разум, чтобы полагаться на прогресс или на какую-либо философию Истории. Но по крайней мере я верю, что люди всегда стремились глубже постичь свою судьбу. Мы связаны условиями своего существования, однако все лучше в них разбираемся. Знаем, что нас раздирают противоречия, но знаем также, что не должны с ними мириться, должны все сделать, чтобы противоречия эти смягчить. Мы люди, и наш долг попытаться как-то утолить безмерную тоску свободных душ. Нам предстоит воссоединить то, что разорвано, установить посильную меру справедливости в явно несправедливом мире, воскресить в народах, отравленных болезнью века, веру в возможность счастья. Разумеется, это нечеловеческая задача. Но ведь нечеловеческими всегда называют задачи, которые требуют долгих усилий, только и всего.

Будем же твердо знать, чего мы хотим, не отступимся от духа, даже если сила, чтобы соблазнить нас, примет обличье какой-либо идеи или жизненных благ. Главное – не отчаиваться. Не стоит слишком прислушиваться к тем, кто кричит о конце света. Цивилизации гибнут не так легко, и, даже если этот мир должен рухнуть, прежде рухнут другие. Да, конечно, мы живем в трагическую эпоху. Но слишком многие путают трагическое с безнадежным. «Трагическое, – говорил Лоуренс, – должно быть как крепкий пинок несчастью». Вот очень здравая мысль, которую можно осуществить немедля. Очень много сейчас такого, что заслуживает пинка.

Когда я жил в Алжире, я всегда зимой набирался терпения, потому что знал: однажды ночью, за одну только холодную и ясную февральскую ночь, в Долине консулов зацветет миндаль. И потом я изумлялся – как этому хрупкому белоснежному покрову удается выстоять под дождями и ветром с моря. И, однако, каждый год он держался ровно столько, сколько требовалось, чтобы завязались плоды.

Это не символ. При помощи символов мы не достигнем счастья. Тут нужно нечто более серьезное. Я только хочу сказать, что порою, когда в Европе, которая еще слишком полна своим несчастьем, бремя жизни становится чересчур тяжким, я вновь обращаюсь к солнечным стра-

[34] © Перевод. Н. Галь, наследники, 2019Луи де Фонтан (1757–1821) – литератор, ректор университета во времена Империи.

нам, где столько не тронутых доныне сил. Я слишком хорошо их знаю, чтобы не понимать: это избранная земля, там возможно равновесие между созерцанием и мужеством. И, раздумывая над их примером, я постигаю ту истину, что, если хочешь спасти дух, не стоит внимать жалобным вздохам своих добродетелей, а надо вдохновляться своей силой и своим достоинством. Наш мир отравлен несчастьями и, кажется, сам упивается ими. Он всецело предался недугу, который Ницше называл унынием. Не станем его в этом поддерживать. Бесполезно оплакивать дух, достаточно ради него работать.

Но в чем же победоносные достоинства духа? Они названы у того же Ницше как заклятые враги уныния. Это – сильная воля, взыскательность, «земное», самое обычное счастье, непреклонная гордость, холодная сдержанность мудреца. Эти добродетели сейчас необходимы, как никогда, и каждый может выбрать для себя самую подходящую. И, уж во всяком случае, когда берешь на себя столь огромную ответственность, нельзя забывать о сильной воле. Не о той, которая на предвыборных трибунах сердито хмурится и не скупится на угрозы. Но о той, чья белизна и соки способны устоять под всеми ветрами, налетающими с моря. Среди зимы, сковавшей мир, это она – порукой, что завяжутся плоды.

1940

Прометей в Аду

Мне казалось, божеству чего-то не хватает, пока нет такой силы, которая бы ему противостояла.
«Прометей на Кавказе», Лукиан

35

Что значит Прометей для современного человека? Без сомнения, можно сказать, что этот мятежник, восставший на богов, – образец человека наших дней и что этот протест, возникший тысячелетия назад в пустынях Скифии, завершается ныне потрясениями, каких еще не знала история. Но в то же время что-то подсказывает нам, что он, вечно преследуемый, и поныне среди нас, а мы все еще глухи к его одинокому голосу, призывающему восстать во имя человечности.

В самом деле, человек наших дней – тот, что в несметном множестве страдает на этой тесной земле; он лишен огня и пищи, и свобода для него – роскошь, которая может и подождать; и речь пока лишь о том, что ему придется страдать еще немного больше, а свободы и ее последних свидетелей останется еще немного меньше. Прометей был героем, который так любил людей, что подарил им сразу огонь и свободу, ремесло и искусство. Сегодня человечеству нужно только одно, только одно его заботит – ремесло. Его мятеж воплощается в машинах, а искусство и все, что стоит за искусством, оно считает лишь помехой и признаком рабства. Прометей же, напротив, никак не отделял машину от искусства. Он думал, что можно разом освободить и тело, и душу. А теперешний человек верит, что надо сначала освободить тело, даже если духу придется на время умереть. Но может ли дух умереть лишь на время? В действительности, вернись на землю Прометей, люди сегодня поступили бы так же, как боги в старину: приковали бы его к скале во имя той самой человечности, которую он прежде всего олицетворяет. И побежденного осыпали бы оскорблениями те же враждебные голоса, что раздавались в преддверии Эсхиловой трагедии: голоса Насилия и Жестокости.

Может быть, я склоняюсь перед скудными временами, обнаженными деревьями, перед зимой нашего мира? Но сама эта тоска по свету меня оправдывает: она говорит мне об ином мире, о подлинной моей родине. Есть ли еще люди, кому не чужда эта тоска? В год, когда началась война, я собирался в плавание по тому пути, которым прошел Улисс. Тогда молодой человек, даже без гроша в кармане, еще мог строить роскошные планы пересечь море в поисках света. Но я поступил как все. Я не сел на корабль. Я занял свое место в длинной веренице, тянувшейся к распахнутым вратам ада. Один за другим мы входили. И при первом же крике невинно убитого дверь за нами захлопнулась. Мы очутились в аду, и уже нет выхода. Шесть долгих лет мы пытаемся здесь освоиться. И жаркие видения счастливых островов являются нам лишь за далью новых долгих лет без огня и без солнца.

Промозглой и темной ночью Европы поневоле вспоминаешь с дрожью сожаления и мучительного понимания, как воскликнул в старости Шатобриан, обращаясь к уезжавшему в Грецию Амперу: «Вам уже не найти ни листка оливы, ни зернышка винограда из тех, что я видел в Аттике. Мне жаль каждой травинки тех лет. У меня недостало сил оживить хотя бы один кустик вереска». Так и мы, хоть в наших жилах течет молодая кровь, погружены в чудовищную старость нашего века и порой жалеем о травах всех времен, о листке оливы, на который уже не пойдем взглянуть ради него самого, о винограде свободы. Повсюду – люди, повсюду людские крики, и страдания, и угрозы. В этом столпотворении уже не остается места для кузнечиков. История – земля бесплодная, вереск на ней не растет. А между тем современный

---

35 © Перевод. Н. Галь, наследники, 2019

человек избрал историю, он не мог, не имел права от нее отвернуться. Но вместо того, чтобы ее подчинить, он день ото дня безропотней становится ее рабом. Вот тут-то он и предает Прометея, юношу «с мыслью отважной и чуткого сердцем». Тут-то он и возвращается к нищете, от которой хотел принести людям спасение Прометей. «Они смотрели и не видели, слушали и не слышали, подобные теням из сновидения…»

Да, довольно одного вечера в Провансе, красоты холма, соленого ветра, чтобы понять: вся работа еще впереди. Нам надо заново изобрести огонь, восстановить ремесла, чтобы утолить голод тела. Аттика, свобода и сбор винограда, пища для души – это все потом. Нам остается лишь сказать себе: «Их уже не будет никогда – или их узнают другие» – и сделать все, чтобы по крайней мере те, другие, не оказались обездоленными. Что же, мы, кому больно это сознавать и кто все же пытается принять это без горечи, пришли мы слишком поздно или слишком рано? И достанет ли у нас сил оживить вереск?

Можно угадать, как на этот вопрос нашего века ответил бы Прометей. Да, в сущности, он уже и ответил: «Обещаю вам иное и лучшее будущее, о смертные, если у вас достанет умения, доблести и сил сотворить его своими руками». Так вот, если правда, что спасение в наших руках, на вопрос века я отвечу: «Да», ибо есть люди, в которых я всегда чувствую ту же силу мысли и то же просвещенное мужество. «О справедливость, о мать моя, – восклицает Прометей, – ты видишь мои страдания!» А Гермес насмехается над героем: «Удивляюсь я, как же ты, провидец, не предвидел, что тебя ждет пытка». «Я это знал», – отвечает мятежник. Люди, о которых я говорю, тоже дети справедливости. Они тоже мучаются общим страданием и хорошо понимают, откуда оно. Они прекрасно знают, что слепая справедливость невозможна, что история – незряча и, стало быть, надо отвергнуть ее суд и заменить его, насколько возможно, судом мысли. И вот тут-то в наш век вновь приходит Прометей.

Мифы не живут сами по себе. Они ждут, чтобы мы дали им плоть и кровь. Пусть хотя бы один человек на свете откликнется на их зов – и они напоят нас своими неиссякаемыми соками. Наше дело – сохранить их, сделать так, чтобы сон их не оказался смертным сном, чтобы стало возможным воскресение. Порой я сомневаюсь – можно ли спасти современного человека. Но еще можно спасти его детей, их тело и дух. Можно открыть им путь и к счастью, и к красоте. Если уж мы должны примириться с жизнью без красоты, а значит, и без свободы (ибо красота означает свободу), миф о Прометее – из тех, что напомнят нам: извратить образ человеческий можно лишь на время, а служить человеку можно лишь в его единстве и цельности. Если он голоден и нуждается в хлебе и вереске и если правда, что прежде нужен хлеб, научимся хотя бы хранить память о вереске. В самую мрачную пору истории люди Прометея, не отступаясь от своего тяжкого труда, сохранят способность видеть землю и неукротимую траву. Героя в оковах осыпают громы и молнии, но он не теряет спокойной веры в человека. Вот почему он тверже скалы и терпеливее кровожадного орла. Это бесконечное упорство выше, чем бунт против богов, для нас оно полно смысла. И эта великолепная воля все сохранить единым, цельным и нераздельным всегда примиряла и вновь примирит исстрадавшиеся сердца людей с весною мира.

1946

Маленький путеводитель по городам без прошлого

[36]

От кроткой прелести столицы Алжира веет Италией. В жестоком блеске Орана есть что-то испанское. Константина, взгромоздившаяся на скалы над устьем Руммеля, напоминает Толедо. Но Испания с Италией полны воспоминаний, произведений искусства и образцовых памятников старины. Но у Толедо были свой Эль Греко и свой Баррес. А города, о которых я говорю, лишены прошлого. И поэтому над ними не властно ни забвение, ни умиление. В унылые часы послеполуденного отдыха царящая там скука безжалостна и не смягчена меланхолией. В утреннем свете и природном великолепии ночей нет ничего умиротворяющего. Эти города могут дать пищу страстям, но не размышлениям. Они не благоприятствуют ни мудрости, ни утонченному вкусу. Барреса и ему подобных они подавляли бы.

Людям, одержимым страстью к путешествиям (нам она чужда), чересчур впечатлительным натурам, эстетам и новобрачным путешествие в Алжир ничего бы не дало. И никому нельзя посоветовать остаться здесь навсегда, кроме разве что тех, кто чувствует к этому непреодолимую тягу. Когда в Париже уважаемые мною люди расспрашивают меня об Алжире, меня иной раз так и подмывает крикнуть: «Не вздумайте туда отправляться!» В этой шутке есть доля правды, ибо я прекрасно понимаю, что они ожидают там увидеть – и не увидят никогда. В то же время я сознаю достоинства и потаенную силу этого края, его вкрадчивое обаяние, с помощью которых он удерживает тех, кто туда попал, завораживает их, а потом окончательно усыпляет, с головой погружая в повседневность. В его световом откровении, столь блистательном, что оно кажется черно-белым, поначалу есть что-то гнетущее. В нем теряешься, оно обволакивает со всех сторон, а потом вдруг замечаешь, что этот застоявшийся блеск ничего не дает душе, что он – всего лишь источник безмерного плотского наслаждения. И тогда хочется обратиться к духу. Но люди этой страны – и в том их сила – с виду скорее сердечные, чем духовные. Они могут стать твоими друзьями (да еще какими!), но никогда не будут относиться к тебе доверительно. В Париже, где сокровища человеческих душ расточаются направо и налево, где влага сердечных излияний, чуть журча, без конца струится среди фонтанов, статуй и парков, такое может показаться чудовищным.

Больше всего эта земля походит на Испанию. Но без своих традиций Испания была бы лишь прекрасной пустыней. Если не считать тех, кто связан с пустыней узами рождения, есть только одна порода людей, способных удалиться туда навеки. Родившись в этой пустыне, я никак не могу говорить о ней тоном пришельца. Кому взбредет в голову составлять каталог прелестей любимой женщины? Мы любим ее, так сказать, целиком, особо отмечая лишь одну-две умилительных детали: как она надувает губки, как встряхивает головой. У меня с алжирской землей давняя любовная связь, которой, судя по всему, не будет конца, – она-то и не дает мне всмотреться в нее попристальней. Но пустив в ход малость прилежания, можно научиться различать в этой своего рода абстрактной картине те мелочи, которые и дают право называть ее любимой. Именно это школярское упражнение я попытаюсь проделать здесь с Алжиром.

Прежде всего, здесь славная молодежь. Арабы, само собой, но и другие тоже. Алжирские французы – смешанная порода, итог невероятных сочетаний. А кроме того, здесь есть испанцы и эльзасцы, итальянцы, мальтийцы, евреи и даже греки. Эти грубые скрещивания привели, как и в Америке, к удачным результатам. Прогуливаясь по столице Алжира, обратите внимание на изящные запястья здешних девушек и парней – а потом вспомните тех, кого можно встретить в парижском метро.

---

[36] © Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян, наследники, 2019

Молодой турист не преминет заметить, как хороши здесь женщины. Легче всего убедиться в этом на террасе университетского кафе, что на улице Мишле в Алжире, но для этого надо оказаться там апрельским воскресным утром. Стайки молоденьких особ, обутых в сандалии, закутанных в легкие цветастые ткани, носятся по улице. На них можно глазеть безо всякого ложного стыда: они сюда для этого и являются. Бар «Сентра» в Оране, на бульваре Галлиени, – тоже неплохое местечко для ротозейства. А в Константине неплохо с этой целью покрутиться возле музыкального киоска. Этот город удален от моря на сотни километров, поэтому здешним красавицам чего-то недостает. И вообще, и по причине географического положения, в Константине не так уж много развлечений, зато скучать там – сплошное удовольствие.

Если турист прибывает в эту страну летом, ему первым делом следует побродить по пляжам, окаймляющим города. Там он повстречает все тех же юных прелестниц, особенно блистательных из-за минимума одежды. Солнце придает их глазам дремотную истому больших кошек. В этом смысле восхитительнее всего пляжи Орана, где и природа, и женщины лучатся самой что ни на есть дикой красой.

Живописнее всего в столице Алжира – арабская часть города, в Оране – поселок негров и испанский квартал, в Константине – еврейский район. Город Алжир украшен ожерельем бульваров, выходящих на море, по которым хорошо гулять ночью. В Оране мало деревьев, зато самые красивые камни на свете. Константина гордится подвесным мостом, где любят фотографироваться туристы. В ветреные дни он ходит ходуном над глубинами Руммеля, и на него страшно ступить.

Впечатлительному туристу, собравшемуся в Алжир, я посоветовал бы: выпить рюмку анисовки под арками порта; перекусить поутру на Рыбном рынке только что пойманной рыбой, испеченной на угольях; послушать арабскую музыку в кафе на улице Лиры – забыл его название; в шесть вечера посидеть прямо на земле у подножия памятника герцогу Орлеанскому, что на площади Правительства (не из почтения к герцогу – там можно посмотреть на прохожих, там просто хорошо); пообедать в ресторане Падовани, этакой танцплощадке на сваях у морского берега, где жизнь всегда течет легко; побывать на арабских кладбищах – прежде всего, чтобы оценить царящую там умиротворенность и красоту, а также затем, чтобы сравнить с ними те гнусные некрополи, в которые мы спроваживаем наших покойников; выкурить сигарету на улице мясников в старом городе, среди сочащихся повсюду кровавых селезенок, печенок, брызжеек и легких (без сигареты в этот пахучий уголок Средневековья лучше не соваться).

Кроме того, оказавшись в Оране, надо научиться злословить в адрес Алжира (подчеркнуть коммерческое превосходство оранского порта над алжирским), а вернувшись в Алжир, поиронизировать над Ораном (всем известно, что оранцы «не умеют жить»), и при каждом удобном случае ненавязчиво подчеркнуть превосходство алжирской земли над французской метрополией. А отсюда, при всех оговорках, рукой подать до признания реального превосходства алжирцев над французами – превосходства, состоящего в их безграничной щедрости и врожденного радушия.

Вот здесь-то, пожалуй, мне пора бы оставить всякую иронию. В конце концов, говорить о том, что любишь, лучше всего с легким сердцем. Когда я завожу речь об алжирской земле, всегда страшновато задевать ту струну во мне, что звучит в лад с приглушенной и торжественной мелодией этой земли. Как тут не сказать, что эта страна – моя настоящая родина и что в любом уголке земли я узнавал ее сынов и моих братьев: они невольно вызывали у меня дружескую улыбку. То, что мне по сердцу в алжирских городах, неотделимо от их жителей. Поэтому мне так приятно оказаться там в тот вечерний час, когда конторы и жилые дома выплескивают на еще не освещенные улицы говорливую толпу, которая стекает к приморским бульварам и понемногу умолкает по мере того, как спускается ночь, а мерцание небесных светил, портовых маяков и городских фонарей мало-помалу сливается в единое трепетное зарево. То же проис-

ходит и с толпой, собравшейся у берега, – она замирает, вслушиваясь в самое себя, и тысячи голосов говорят о своем одиночестве. Так вступает в свои права великая африканская ночь, пора царственного изгнания, безнадежного восторга, поджидающего одинокого странника…

Нет, решительно не советую ехать туда людям с дряблыми сердцами и вялыми душами! Но тех, кто изведал мучительный разлад между «да» и «нет», полуднем и полночью, бунтом и любовью, кто без ума от костров на взморье, там ожидает высокое пламя.

1947

Изгнанничество Елены

37

Средиземноморью присуща своя солнечная трагичность, непохожая на трагичность туманных стран. В иные вечера близ моря, у подножия гор, ночь нисходит на строгую дугу крохотной бухты, и тогда из глубины умолкнувших вод поднимается ввысь, повергая нас в трепет, полнота бытия. В таких краях нетрудно понять древних греков: когда им случалось проникаться отчаянием, это неизменно происходило при посредничестве красоты и всего, что в ней есть угнетающего. Трагедия получает завершенность, когда несчастье подсвечено золотыми лучами. Наше время, напротив, вскармливает свое отчаяние в уродстве и судорогах. И оттого, если страдание может быть отвратительным, наша Европа отвратительна.

Греки брались за оружие во имя красоты – мы ее изгнали. Здесь – самое первое различие, и оно уходит своими корнями далеко в прошлое. Греческая мысль всегда была сопряжена с представлением о пределе, мере. Она ничего не доводила до чрезмерности – ни священное, ни разум, – поскольку ничего и не отвергала ни в священном, ни в разуме. Она всему отдавала должное, свет уравновешивался мраком. Наоборот, наша Европа, нацеленная на завоевание всеобщего, – дочь чрезмерности. Отвергая все, что не внушает ей лихорадочного восторга, она отвергает и красоту. А в экстаз ее приводит лишь одно – грядущее царство рассудка. Впав в безумие, она раздвигает все от века данные пределы, и в тот самый миг на нее набрасываются Эринии и начинают ее терзать. Немезида – богиня меры, отнюдь не мщения – бодрствует всегда. И беспощадно карает всякого, кто преступает пределы.

Греки на протяжении веков задавались вопросом, что есть справедливость, но они не сумели бы разобраться в наших понятиях о справедливости. В их глазах справедливость предполагает чувство меры, тогда как наш континент судорожно ищет справедливости всеохватывающей, самой что ни на есть последней. На заре греческой мысли Гераклит уже думал, что справедливость задает определенные пределы даже самой материальной вселенной. «Солнце не преступит положенной ему меры, иначе блюстительницы справедливости Эринии его настигнут». Заставив вселенную и дух выбиться из привычной колеи, мы смеемся над подобной угрозой. В опьянивших нас небесах мы по собственной прихоти зажигаем какие угодно солнца. Но пределы не перестают существовать, и нам это известно. В крайностях своего умопомрачения мы мечтаем о равновесии, которое давно оставили позади, и по невежеству своему уповаем обрести его на исходе наших заблуждений. Вот уж поистине детское самомнение, и не случайно народы-дети, наследники наших безумств, направляют сегодня ход нашей истории.

Один из фрагментов, приписываемых тому же Гераклиту, гласит: «Самомнение, попятный шаг в становлении». А через столетие после эфесца Сократ, не страшась смертного приговора, возвещает высшей из всех истин следующую: я знаю, что ничего не знаю. Самые поучительные для тех далеких времен жизненные пути и поиски мысли увенчивались горделивым признанием в неведении. Забыв об этом, мы предали забвению свою мужественность. Мы предпочли могущество, прикидывающееся величием, – ведь наши составители учебников по их несравненной душевной низости внушают нам с детства восхищение сперва Александром Македонским, затем римскими завоевателями. И мы, в свою очередь, завоевываем, раздвигаем до бесконечности пределы, покоряем небо и землю. Наш рассудок расширяет вокруг себя пустоту. И вот под конец, оставшись в полном одиночестве, мы обретаем свое царство в пустыне. Разве в силах мы хотя бы отчасти вообразить себе то высокое равновесие, когда природа составляла противовес истории, красота – добру и когда музыка небесных сфер зву-

[37] © Перевод. С. Великовский, наследники, 2018

чала даже в самой кровавой трагедии? Мы поворачиваемся спиной к природе, мы стыдимся красоты. Наши жалкие трагедии отдают запахом канцелярий, и кровь, обильно в них проливаемая, – грязного цвета чернил.

И потому сегодня совершенно непристойно хвастать, будто мы – дети Древней Греции. Ведь в таком случае мы – дети-отступники. Возведя историю на трон, где раньше восседал бог, мы движемся навстречу теократии, подобно тем, кого греки называли варварами и с кем они насмерть сражались у Саламина. Если есть желание четко осмыслить разницу, стоит обратиться к тому из наших философов, который сегодня выступает поистине соперником Платона. «Один только город, – решился написать Гегель, – предоставляет духу то поприще, где последний обретает самосознание». Мы и живем во времена огромных городов. Жизнь была совершенно произвольно отрезана от того, что прежде служило залогом ее постоянства, – от природы, моря, холмов, от раздумий в вечерних сумерках. Отныне для сознания нет другого пристанища, кроме улицы, раз история не протекает нигде, кроме улицы, – так постановлено. И в результате наши самые знаменательные творения свидетельствуют о том же принудительном выборе. Тщетно искать пейзажей в большой европейской литературе, начиная с Достоевского. История не объясняет ни природного царства, которое существовало и до нее, ни красоты, которая выше ее. Всем этим история решила пренебречь. Если Платон охватывал все сущее целиком – неодушевленное, разум и миф, – то наши философы охватывают их раздельно: одно только неодушевленное либо один только разум, – потому что они закрыли глаза на остальное. Так мыслят кроты.

Христианство первым подменило созерцание бытия трагедией души. Впрочем, оно по крайней мере отсылало к некой духовной основе и благодаря этому сохраняло известную устойчивость. Когда же бог умер, остались только история и власть. Уже давно все усилия наших философов сводятся к попыткам заменить понятие человеческой природы понятием ситуации, а былой гармонии – беспорядочным случайным порывом либо неуклонным становлением разума. Если у греков разум задавал воле свои пределы, то мы в конце концов внедрили волевой порыв в самую сердцевину разума, отчего последний сделался смертоносным. Для греков нравственные ценности предшествовали всякому действию, как раз и устанавливая ему пределы. Новейшая философия отодвигает обретение ценностей к конечному исходу действия. Ценности не существуют сами по себе, они – результат становления, и мы постигнем их вполне лишь тогда, когда завершится сама история. Вместе с их исчезновением пропадает и всякий предел, а поскольку взгляды расходятся, какими этим ценностям быть завтра, и поскольку без подобного тормоза борьба усугубляется до бесконечности, то сегодня безостановочно нарастает схватка различных видов мессианства, их боевые кличи сливаются в сплошном грохоте столкновений между огромными империями. По Гераклиту, безмерность – это пожар. Пожар распространяется, Ницше давно превзойден, Европа философствует уже не ударами молота, а выстрелами пушек.

И, однако, природа по-прежнему рядом. Безумию людскому она противополагает невозмутимо спокойные небеса и свою мудрую непреложность. Она будет делать это и впредь, пока сам атом не вспыхнет пламенем, а история не завершится торжеством рассудка и гибелью всего живого. Впрочем, греки ведь никогда не утверждали, будто предел не может быть перейден. Они утверждали только, что он существует и что дерзнувший его преступить понесет беспощадную кару. Все, что творится в сегодняшней истории, лишь подтверждает эту истину.

Исторический разум и художник равно считают своим призванием переделку мира. Однако художник самой своей природой обязан сохранять чувство меры, которой не признает исторический разум. И потому тирания есть увенчание последнего, тогда как страстная приверженность первого – свобода. Всякий, кто сегодня борется за свободу, в конечном счете сражается и за красоту. Конечно, речь не идет о защите красоты самодостаточной. Красоте не обойтись без человека, и мы не вернем подлинного величия и ясности духа нашей эпохе, не

окунувшись в ее бедствия. Нам больше никогда не быть одинокими. Но столь же верно и то, что человеку не обойтись без красоты, хотя эпоха как раз делает вид, будто ей это неведомо. Она натужно силится достичь абсолюта и на все распространить единую власть, намерена преобразить сущее, так его и не исчерпав, повелевать им, так его и не постигнув. И что бы она ни возглашала, она обращает мир в пустыню. Одиссей у Калипсо поставлен перед выбором между бессмертием и родиной. Он отдает предпочтение родной земле – и, значит, смерти. Столь простое величие души сегодня нам чуждо. Кое-кто, пожалуй, скажет, что нам недостает смирения. Но, если вдуматься как следует, слово это двусмысленно. Подобно лицедеям Достоевского, которые похваляются напропалую, норовят вскарабкаться до самых звезд и кончают тем, что на первой попавшейся площади выставляют всем напоказ свой позор, нам недостает одного – человеческой гордости, состоящей в том, чтобы хранить верность собственным пределам и ясновидящую любовь к своей земной судьбе.

«Я ненавижу мою эпоху», – незадолго до смерти сказал Сент-Экзюпери, и причины у него были весьма близки к приведенным только что мною. И все-таки вряд ли стоит подписываться под криком души, особенно потрясающим в устах того, кто любил людей, находя в них много достойного восхищения. Как, однако, иной раз бывает соблазнительно отвернуться от тусклого и бесплотного мира! Но эта эпоха – наша, и мы не можем дальше жить, ненавидя самих себя. Она пала столь же низко, сколь чрезмерны в своих крайностях ее добродетели и ее пороки. И все же мы будем бороться за те ее добродетели, которые достались нам от далекого прошлого. За какие именно? Кони Патрокла оплакивают своего хозяина, павшего в битве. Все потеряно. Но в сражение вступает Ахилл, и оно увенчивается победой, потому что смерть покусилась на дружбу: дружба и есть наша добродетель.

Честно признанное неведение, отказ от фанатизма, уважение пределов вселенной и человека, нежно любимое лицо, красота – вот где мы сомкнемся с греками. Смысл завтрашней истории совсем не в том, в чем его усматривают ныне. Он в борьбе творчества против инквизиции. Невзирая на цену, которую художникам предстоит заплатить за то, что их руки безоружны, есть основания надеяться на победу. О полуденная мысль, как далека Троянская война от полей наших сражений! Но и на сей раз грозные крепостные стены новейшего града падут, нам будет возвращена «душа ясная, словно морская гладь», – красота Елены.

1948

Загадка

[38]

Рухнувшие из глубины небес потоки солнца мощно проливаются на окружающую нас равнину. Все затихло перед этим грохотом, и Люберон кажется только огромной глыбой тишины, к которой я беспрестанно прислушиваюсь. Я слышу, как кто-то ко мне бежит издалека, невидимые друзья зовут меня, моя радость растет, такая же, как и много лет назад. И снова счастливая загадка помогает мне все постигнуть.

В чем абсурдность мира? В этом ли сиянии или в воспоминании о том, что его не было? В моей памяти хранится так много солнца, как могу я настаивать на абсурде? Всех вокруг меня это удивляет; иногда я сам дивлюсь этому. Я мог бы ответить и им и себе, что именно солнце мне в этом помогает и что его свет в мрачном сверкании своей мощи формирует Вселенную и ее формы. Но все это можно сказать и иначе, и я хотел бы перед этим черно-белым светом, который всегда был для меня светом истины, просто объясниться по поводу абсурда, слишком мне знакомого, чтобы терпеть, когда о нем рассуждают, не учитывая нюансов. Впрочем, разговор о нем снова приведет нас к солнцу.

Ни один человек не в силах сказать, что он собой представляет. Но случается, что он может сказать, чего он собой не представляет. От того, кто еще в поиске, требуют, чтоб он сделал конечный вывод. Тысячи голосов ему объявляют, к чему он пришел, однако он знает, что это совсем не то. Продолжайте искать, и пусть они говорят что угодно. Все это так. Но порой нужно и защищаться. Я не знаю в точности, чего ищу, я осторожно это формулирую, потом отрекаюсь, повторяюсь, иду вперед и отступаю вспять. Однако мне приказывают дать всему окончательные имена. Тогда я упорствую: разве то, что названо, уже не потеряно? Вот что я попытаюсь сказать по этому поводу.

Один человек, кажется, кто-то из моих друзей, всегда имел два характера, свой собственный и тот, который ему приписывала его жена. Заменим жену обществом, и мы поймем, что формула, выведенная каким-нибудь писателем из контекста своего мировосприятия, может быть искажена чьим-то толкованием, а ее предъявляют автору каждый раз, когда он хочет говорить совсем о другом. Слово – тот же поступок: «Вы произвели на свет этого ребенка?» – «Да». – «Значит, он ваш сын?» – «Но это не так просто, не так просто!» Вот почему Нерваль в одну злополучную ночь повесился дважды: сначала за себя, ибо был несчастен, а второй раз за свою легенду, которая некоторым помогала жить. Никто не может писать ни об истинном несчастье, ни о некоем счастье, и я тоже не стану пытаться здесь этого делать. Но что касается легенды, ее можно описать и вообразить хотя бы на минуту, что ты ее развеял.

Обычно писатель пишет, чтобы его читали (те, кто говорит противоположное, достойны восхищения, но не доверия). Однако у нас все больше и больше таких, которые пишут ради своеобразного признания, в том только состоящего, что их не читают. Действительно, начиная с момента, когда писатель в состоянии дать материал для красочной статьи в нашей массовой прессе, у него есть все шансы стать известным множеству людей, которые его никогда не прочтут, им достаточно знать его имя и читать то, что о нем напишут другие. Отныне он будет известен (и забыт) не за то, чем он в действительности является, но в соответствии с образом, который ему навяжет какой-нибудь бойкий журналист. Чтобы создать себе имя в литературе, совсем не обязательно писать книги. Достаточно прослыть автором одной книги, о которой будет писать вечерняя пресса и над которой отныне будут клевать носом.

---

[38] © Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян, наследники, 2019

Скорее всего, эта более или менее громкая слава будет незаслуженной. Но что поделаешь? Лучше допустить, что это неудобство может оказаться благотворным. Врачи знают, что некоторые болезни даже желательны: они по-своему компенсируют функциональное расстройство, которое без них может обратиться в более серьезный недуг. Существуют весьма уместные запоры и ниспосланные провидением артриты. Наводнение слов и поспешных суждений, затопляющее сегодня любую общественную деятельность в океане пошлости, по крайней мере, учит писателя скромности, которой ему постоянно недостает в стране, где его ремеслу придается столь непомерное значение. Увидеть свое имя в двух-трех популярных газетах – такое суровое испытание, что оно поневоле предполагает и некоторую пользу для души. Да будет благословенно общество, которое с такими небольшими издержками ежедневно нас учит даже своими похвалами, что величие, ею прокламируемое, на самом деле ничтожно. Лишь громче шум, который оно поднимает, лишь быстрее он стихает. Он напоминает о том костре из пакли, который Александр VI не раз приказывал разжечь в его присутствии, дабы не забывать, что вся слава мира проходит, как дым.

Но оставим иронию. Для нашего предмета достаточно сказать, что художнику надлежит быть смиренным: пребывать в хорошем расположении духа, таскаться по приемным дантистов и парикмахеров, оставляя впечатление, которое он считает недостойным себя. Я знал одного модного прозаика, который слыл заводилой в разнузданных ночных вакханалиях, где нимфы были прикрыты только своими волосами, а у фавнов была под ногтями грязь. Следовало все-таки задуматься, когда же он находит время создавать свои творения, которые занимают бесчисленные книжные полки библиотек. На самом деле этот прозаик, как и многие его собратья, ночью мирно спит, чтобы потом ежедневно долгими часами работать за письменным столом, и пьет минеральную воду, поскольку щадит свою печень. Тем не менее, средний француз, стопроцентная трезвость и пугливое чистоплюйство которого всем известны, возмущается при мысли, что один из наших писателей учит, будто нужно напиваться и не мыть рук. Примеров предостаточно. Я лично могу дать превосходный рецепт того, как заполучить с минимальными издержками безупречно нравственную репутацию. Я и сам ношу груз такой репутации, что вызывает смех у моих друзей (я же при этом просто краснею; уж я-то хорошо знаю, настолько я ее не заслужил). Достаточно, к примеру, отказаться от сомнительной чести пообедать с главным редактором газеты, которую ты не уважаешь. Элементарную чистоплотность люди выводят из какого-то душевного выверта. Никто, однако, не додумается, что если вы отказались пообедать с этим редактором, то скорее всего потому, что вы его не уважаете, а плюс к этому не переносите скуку – а что скучнее парижского обеда? Стало быть, нужно смиряться. Но при случае можно попытаться скорректировать игру, твердить, что ты не всегда можешь пребывать художником-абсурдистом и что никто не в состоянии верить в литературу, приводящую в отчаяние. Конечно, всегда есть возможность писать или уже иметь написанное эссе о нации абсурда. Но, в конце концов, можно также писать об инцесте, тем не менее не набрасываясь на свою несчастную сестру, и мне не доводилось читать, чтобы Софокл убил своего отца и обесчестил мать. Мысль, что писатель обязательно пишет о себе и изображает самого себя в своих книгах, есть одно из ребячеств, завещанных нам романтизмом. Напротив, совершенно не исключено, что художник прежде всего интересуется другими, или своей эпохой, или привычными мифами. И даже если ему доведется изобразить себя в какой-нибудь пьесе, то уж в самом крайнем случае он раскроет, каков он в действительности. Творения писателя часто изображают историю его ностальгии или его искушений, но почти никогда его собственную историю, особенно когда она претендует на автобиографичность. Никто и никогда не осмеливался изобразить себя таким, как есть.

Насколько это возможно, я предпочел бы, наоборот, быть объективным писателем. Объективным я называю автора, который, оставляя за собой место субъекта, никогда не превращается в объект. Но распространенная в наши дни страсть смешивать писателя с его героем

не оставляет автору эту относительную свободу. Таким образом, поневоле становишься пророком абсурда. А что я делал кроме того, что вынашивал какую-нибудь мысль, поймав ее на улицах, по которым хожу? Я взлелеивал эту мысль (и отчасти продолжаю это делать), само собой разумеется, совместно с моим поколением. Просто я держал ее на необходимом расстоянии, чтобы точнее трактовать ее и следить за логикой ее развития. То, что я смог написать потом, достаточное тому доказательство. Но формулу использовать удобнее, чем ее оттенки. Выбрали формулу – и вот я пожизненный глашатай абсурда.

Стоит ли уточнять, что в опыте, который меня интересовал и о котором мне случалось писать, абсурд может рассматриваться лишь как отправная точка, даже если воспоминание о нем или страх перед ним сопровождают все последующие поступки. Точно так же, конечно, с необходимыми поправками, картезианские сомнения, сколь бы методичными они ни были, все же недостаточны, чтобы сделать из Декарта законченного скептика. Так или иначе, но как ограничиться мыслью, будто ничто не имеет смысла и отчаяние подстерегает на каждом шагу? Не докапываясь до сути вещей, можно по крайней мере заметить, что как нет абсолютного материализма (ведь только для того, чтобы произнести это слово, надо тут же признать, что в мире есть нечто большее, чем материя), точно так нет и тотального нигилизма. В тот момент, когда говорят, что все – бессмыслица, выражают нечто, имеющее смысл. Отрицать в мире всякий смысл – это значит свести на нет любое суждение о ценностях. Но, к примеру, сделать невозможным жить и питаться – это уже несет в себе суждение о ценностях. Жизнь выбирают с того мгновения, когда не позволяют себе умереть, и тем самым признают хотя бы относительную ценность жизни. И что, в конце концов, обозначает литература отчаяния? Отчаяние молчаливо. Само молчание, в конечном счете, сохраняет смысл, если говорят глаза. Истинное отчаяние – это агония, могила или пропасть. Если оно говорит, если оно размышляет, особенно если оно пишет, брат сразу же протягивает нам руку, каждое дерево становится оправданным, зарождается любовь. Литература отчаяния – в самом названии кроется противоречие.

Конечно, чрезмерный оптимизм не по мне. Я, как и все мои сверстники, вырос под барабанный бой первой войны, и с тех пор наша история не переставала быть цепью убийств, несправедливостей или насилия. Но с настоящим пессимизмом мы сталкиваемся тогда, когда преувеличивают жестокость и низость. Что до меня, то я никогда не переставал бороться против этого бесчестия, я ненавижу жестоких. В самом мрачном нашем нигилизме я искал только повод его преодолеть. И отнюдь не из отваги или там редкостной возвышенности души, но из инстинктивной верности свету, в котором я родился и где уже миллионы лет люди научились славить жизнь даже в страдании. Эсхил часто приводит в отчаяние; однако он сияет и греет. В центре его мира не жалкая бессмыслица, которую мы видим окрест, но загадка, то есть смысл, который не сразу разгадывают, потому что он слепит. Сохранившимся до нашего иссушенного века упрямым и стойким сыновьям Греции ожог нашей истории должен казаться невыносимым, но они его все-таки выдерживают, ибо силятся его понять. В центре нашего творчества, будь оно как угодно мрачным, светит неистощимое солнце, то же самое, которое неистовствует в долине и на холмах.

После этого костер из пакли может пылать; не все ли равно, чем мы можем казаться и что мы себе присваиваем? Того, что мы существуем, того, что мы должны существовать, вполне достаточно, чтобы заполнить наши жизни и стать предметом наших усилий. Париж – восхитительная пещера, и его обитатели, видя, как их собственные тени перемещаются на задней стене, принимают их за единственную реальность. То же самое можно сказать о странной и многовековой славе, которую излучает этот город. Но вдалеке от Парижа мы узнаем, что свет за нашей спиной, что нужно, сбросив наши путы, обернуться, чтобы оказаться к нему лицом, и что наша задача, перед тем, как умереть, – попытаться, прорвавшись сквозь лес слов, найти ему название. Каждый художник, несомненно, занят поисками истины. Если он велик, каждое

его произведение приближает к истине или, по крайней мере, стремится приблизиться к этому центру, к скрытому солнцу, в котором все однажды должно сгореть дотла. Если он художник посредственный, каждое его произведение удаляет от нее, центр находится тогда повсюду, и свет распыляется. Но художнику в его упорных поисках могут помочь только те, кто его любит, а также те, кто, любя его или создавая собственные произведения, находит в своих переживаниях меру всякого чувства, а стало быть, умеет судить.

Ах, этот шум… а ведь любить и творить можно только в тишине! Но нужно запастись терпением. Еще мгновение, и солнце наложит печать на уста.

1950

Возвращение в Типасу

С яростью в душе уплыл ты далеко от отчего крова, пройдя Геркулесовы столбы, и поселился в чужих краях.
«Медея»

[39]

Пять дней над городом Алжиром безостановочно лил дождь и в конце концов вымокло даже море. С бескрайнего небосвода на залив стена за стеной обрушивался ливень. Серое и бесформенное, как огромная губка, море вздувалось в бухте, утратившей привычные очертания. Однако поверхность его при этом оставалась почти неподвижной. Лишь изредка едва различимое и широкое колебание приподнимало над морем какие-то мутные испарения, которые достигали порта и заполняли бульварное кольцо. В ответ город тоже всеми порами своих белых промокших стен выделял испарину. Куда бы ты ни пошел, повсюду воздух был предельно напоен водой, и казалось, что его можно пить.

Я разгуливал по этому декабрьскому Алжиру, который все равно оставался для меня летним городом у затонувшего моря, и ждал. Я сбежал из Европы с ее длинными ночами и зимними лицами. Но и летний город опустел и вместо улыбок являл разве что круглые, блестящие от дождя спины прохожих. Вечерами, укрываясь в нестерпимо освещенных кафе, я прочитывал собственный возраст на лицах, которые узнавал, не в силах назвать тех, кому они принадлежали. Я знал только, что их обладатели были молоды в пору моей молодости, но теперь перестали быть таковыми.

И все же я не уезжал, не слишком отдавая себе отчет в том, чего дожидался, разве что возвращения в Типасу. Слов нет, это безумие, притом почти всегда наказуемое, – возвращаться в места своей юности и желать заново пережить в сорок лет то, что любил или чем наслаждался в двадцать. Но я был предупрежден. Однажды я уже возвращался в Типасу, тогда прошло совсем немного времени после войны, ознаменовавшей для меня конец юности. Кажется, я надеялся снова обрести там ту свободу, которую не мог забыть. Больше двадцати лет назад я, надо сказать, провел в этом месте много утренних часов, бродя среди руин, дыша полынью, согреваясь на камнях, отыскивая небольшие розовые кусты, цветущие по весне, но быстро осыпающиеся. И только в полдень, когда смолкали даже сомлевшие цикады, я убегал оттуда, не в силах выдержать всепоглощающего жара беспощадного света. Иногда ночью я спал с открытыми глазами под сверкающим звездным небом. Тогда я жил. Спустя пятнадцать лет я вернулся к своим руинам, раскинувшимся у самой кромки воды, я шел по улицам забытого города, заросшего померанцевыми деревьями, на косогорах возвышающихся над бухтой, снова гладил колонны цвета хлебной корки. Но тогда руины были уже обнесены колючей проволокой, и попасть туда можно было только через разрешенные входы. Кроме того, запретили по причинам, кажется, нравственного порядка, гулять там по ночам; а днем всегда дежурил охранник. В то утро, конечно, по чистой случайности, руины накрыло дождем.

Сбившись с пути, шагая по пустынной и промокшей округе, я пытался хотя бы обрести ту силу, до сих пор не изменявшую мне, которая помогает принять то, что есть, когда признаешь, что не в состоянии ничего изменить. Да и как я мог повернуть реку времени, придать миру тот лик, который любил когда-то и который исчез в один день, задолго до этого дня. 2 сентября 1939 года я не отправился в Грецию, как планировал. Война сама пришла к нам, а затем накрыла и Грецию. Это расстояние, эти годы, которые отделяли теплые камни от колючей проволоки, я находил в тот день и в себе, стоя перед саркофагами, полными черной воды, или

[39] © Перевод. Т. Чугунова, 2018

под вымокшим тамариском. Изначально воспитанный в созерцании красоты, бывшей моим единственным богатством, я начинал с полноты восприятия. Затем наступило время колючей проволоки, я имею в виду тиранию, войну, полицию, время бунта. Пришлось урегулировать свои отношения с мраком: красота дня превратилась в воспоминание. В утопающей в грязи Типасе воспоминание блекло. Какая там красота, полнота восприятия и юности! В свете пожарищ мир внезапно обнажил свои морщины и раны, застарелые и новые. Он разом постарел, и мы вместе с ним. Я знал, что тот порыв, за которым явился сюда, способен увлечь только того, кто не ведает о том, что будет увлечен им. Не бывает любви без капли невинности. А где эта невинность? Рушились империи, нации, и солдаты вцеплялись друг другу в глотки. Наши уста были осквернены. Первоначально, сами того не ведая, невинные, мы становились виновными против собственной воли: тайна росла вместе с нашим опытом. Вот отчего мы интересовались – смешно! – нравственностью. Став калекой, я мечтал о добродетели! А раньше, в эпоху невинности, я не ведал о существовании нравственности. Теперь я знал об этом и не был способен жить на такой высоте. На том мысе, прежде мне милом, между мокрых колонн разрушенного храма, возникло ощущение, что я иду за кем-то, чьи шаги еще раздаются по плитам и мозаикам, но кого мне уже никогда не догнать. Я уехал в Париж и несколько лет оставался там, прежде чем вернулся к себе.

И все же все эти годы мне чего-то не хватало. Когда тебе посчастливилось однажды сильно полюбить, жизнь проходит в поисках былого пыла и света. Отречение от красоты и чувственного счастья, неразрывно связанного с нею, эксклюзивное служение несчастью требуют величия, которого мне недостает. То, что принуждает тебя исключать что-либо, в конце концов оказывается ложным. Изолированная от всего красота принимается гримасничать, изолированная справедливость начинает подавлять. Желающий служить только одной из них в ущерб другой, не служит никому, даже себе, и в конечном итоге дважды служит несправедливости. И вот наступает день, когда при своей всегдашней жесткости человек перестает восторгаться – все уже известно, жизнь вращается по кругу. Это время изгнания, бесплодного существования, смерти души. Для возрождения нужны благодать, самозабвение либо родина. Случается, когда в утренние часы за поворотом улицы на сердце опускается восхитительная роса. Она потом испаряется, но оставляет после себя свежесть, а именно ее всегда требует сердце. Мне снова нужно было уехать.

В Алжире, вновь блуждая под тем же проливным дождем, мне казалось, что он и не прекращался со времени предыдущего приезда, который тогда я считал окончательным и всем существом ощущал тоску, разлитую в дождливом морском воздухе, несмотря на это мрачное небо, спины убегающих прохожих, кофейни, чей свет искажал лица, я упорно надеялся. Да и разве я не знал, что алжирские дожди, хотя и кажется, что им никогда не будет конца, прекращаются, причем внезапно, так же, как внезапно испаряется вода в реках моего родного края, за два часа успев подняться, залить гектары полей и исчезнуть? И вот в один прекрасный вечер дождь действительно прекратился. Я подождал еще одну ночь. Влажное ослепительное утро занялось над промытым ливнем морем. С чистого, ясного неба, стиранного и выполосканного во многих водах и доведенного этими бесчисленными стирками практически до прозрачности, спускался какой-то трепещущий свет, делающий очертания каждого дома, каждого дерева резкими и придававший им прекрасную новизну. В подобном свете, должно быть, на заре мира возникла Земля. Я вновь отправился в Типасу.

Из шестидесяти девяти километров пути нет ни одного, который не был бы отмечен воспоминаниями или ощущениями. Неспокойные детские годы, юношеские мечтания среди рокота автобусных моторов, утра, свежие девичьи лица, пляжи, привычное напряжение молодых мускулов, легкая вечерняя тоска шестнадцатилетнего сердца, желание жить, слава и все то же на протяжении многих лет небо с его неистощимыми силой и светом, с его постоянной ненасытностью, из месяца в месяц поглощающее своих жертв, распятых на пляже в похорон-

ный полуденный час. И все то же море, почти неосязаемое по утрам, которое я вновь обрел на горизонте, как только дорога, покинув Сахель с его виноградниками бронзового цвета, спустилась к побережью. Но я не остановился, чтобы полюбоваться морем. Я желал вновь увидеть Шенуа, эту тяжелую прочную громаду, представляющую собой единую каменную глыбу, которая огибает бухту Типасы на западе, прежде чем самой ступить в море. Ее видно издалека – большое голубое образование, сливающееся с небом. По мере приближения цвет становится все насыщеннее, словно густеет, затем он уже как окружающая вода и теперь Шенуа начинает напоминать огромную неподвижную волну, чей сказочный порыв вдруг резко замер, нависнув над внезапно успокоившейся морской стихией. Еще ближе, почти у Типасы, гора предстает хмурой громадой буро-зеленой расцветки, этаким заросшим мхом богом, которого ничто не в силах поколебать, приютом для своих сыновей, один из которых – я.

Не спуская глаз с Шенуа, я наконец ступаю за колючую проволоку вокруг руин. И вот я среди них. И, как случается только раз или два в жизни людей, которые после этого могут считать себя полностью состоявшимися, я обретаю в ликующем декабрьском свете именно то, за чем пришел, и что, несмотря на время и мир, было подарено мне одному посреди окружающего запустения. С форума, усыпанного оливками, можно взглянуть на селение внизу. Ни одного звука не долетает оттуда: в прозрачный воздух от домов поднимается легкий дым. Молчит и море, словно задохнувшееся от непрестанного потока сверкающего и холодного света, проливающегося с небес. И только далекий петушиный крик долетает откуда-то с Шенуа, он один славит недолговечную победу дня. Среди руин, так далеко, как только может видеть глаз, лишь источенные временем каменные глыбы да полынь, деревья да колонны, такие совершенные в кристально-прозрачном воздухе. Кажется, утро замерло, светило остановилось на не поддающееся исчислению мгновение. В этом свете, в этой тишине медленно тают годы ярости и мрака. Я прислушиваюсь к почти забытому шуму в себе, такое ощущение, что мое сердце, давно остановившееся, вновь принимается тихонько биться. И вот, пробужденный к жизни, я узнаю один за другим едва различимые звуки, из которых соткана тишина: *basso continuo*[40] птиц, легкие вздохи моря у подножия скал, колебания ветвей деревьев, слепое пение колонн, шелест полынных зарослей, легкие шорохи юрких ящериц. Я слышу это, а еще прислушиваюсь к тем приливам счастья, что поднимаются внутри меня. Мне кажется, я наконец вернулся в гавань, хоть на мгновение пристал к берегу, и что этому мгновению отныне не будет конца. Но немного погодя солнце заметно сместилось в небе. Дрозд исполнил краткую прелюдию, и тотчас со всех сторон хлынули птичьи хоралы, мощные, ликующие, полные радостной дисгармонии и бесконечного восторга. День двинулся дальше. Ему предстояло сопроводить меня до вечера.

В полдень, стоя на полупесчаном склоне, покрытом ковром из гелиотропов, напоминающим пену, оставленную яростными волнами последних дней, я разглядывал море, казавшееся в этот час изможденным и едва способным к движению, и утолял те две жажды, которыми нельзя долго пренебрегать, не подвергая себя иссушению. Я имею в виду жажду любви и жажду любования. Ибо не быть любимым – лишь невезение, но не любить – несчастье. Мы все сегодня умираем от этого несчастья. Это потому, что кровная ненависть иссушает само сердце; продолжительное требование справедливости изводит любовь, которая и породила ее. В яростном шуме нашего мира любовь невозможна, а одной справедливости не хватает. Вот почему Европа ненавидит свет дня и не способна противостоять несправедливости. Чтобы помешать справедливости – этому прекрасному фрукту оранжевого цвета, состоящему целиком из горьковатой и сухой мякоти – высохнуть окончательно, я заново открывал для себя в Типасе следующие истины: необходимо сохранять в себе свежесть чувств и источник радости, любить свет дня,

[40] Basso continuo (*итал.*) – непрерывный бас; аккомпанирующая группа инструментов в музыке XVII–XVIII вв., в которую входят непременно скрипка, виолончель, клавесин, теорба и др.

который неподвластен несправедливости, и вернуться в битву с этим вновь обретенным светом. Я заново открывал в здешних местах древнюю красоту, молодое небо и измерял свою удачу, приходя наконец к пониманию, что в худшие годы нашего безумия воспоминание об этом небе ни на миг не покидало меня. Это оно, в конечном счете, не позволило мне отчаяться. Я всегда знал, что руины Типасы моложе, чем возводимые нами здания и развалины нашего времени. Каждый день мир заново начинался здесь в неизменном сиянии нового света. О свет! Это крик всех персонажей античных драм, находившихся перед судьбоносным выбором. Он стал последним прибежищем и для нас, отныне я знал об этом. Посреди зимы я наконец понял, что во мне живет непобедимое лето.

И вновь я расстался с Типасой и вернулся в Европу с ее битвами. Но воспоминание об этом дне все еще поддерживает меня и помогает одинаково воспринимать и воодушевляющее, и удручающее в жизни. Ничего не отвергать и соединять белые и черные нити в одну натянутую струну – чего еще желать в этот тяжелый час, который мы переживаем в настоящий момент? Во всем, что я сказал или сделал до сих пор, мне кажется, присутствуют эти две силы, даже если они и прекословят друг другу. Я не смог отречься от света, в котором родился, и все же не захотел отказываться от отпечатков нашего времени. Было бы слишком просто противопоставить здесь нежному названию Типаса другие, более звонкие и жесткие наименования: путь внутренних странствий современного человека, который мной уже пройден, ведет от холмов разума к столицам преступления, сразу в обоих направлениях. Безусловно, можно всегда отдохнуть, уснуть на холме, как и встать на постой у преступления. Но отказавшись от одной части сущего, отказываются и от самого существования, следовательно, отрекаются от жизни или от любви к жизни. Воля к жизни и принятие действительности без оговорок и нареканий – та добродетель, которую я более всего почитаю. Хоть иногда, по крайней мере, но я хотел бы отдавать ей должное. Мало эпох требуют в той же мере, как наша, чтобы человек одинаково относился и к лучшему, и к худшему; я желал бы ни от чего не уклоняться и в точности сохранить память как об одном, так и о другом. Да, есть возвышенная красота и есть униженные. Какими бы ни были трудности, я желал бы никогда не предавать ни первого, ни второго.

Но эти суждения все еще походят на какую-то нравственную систему, а мы живем во имя чего-то, что идет дальше моральных ценностей. Если бы мы могли назвать, чего именно, как все было бы просто. На холме Святой Сальсы, на востоке от Типасы, вечер преисполнен жизни. Еще светло, но угасающий свет уже возвещает о конце дня. Поднимается ветер, легкий, как эта ночь, и вдруг безмятежное море начинает движение, как широкая пустынная река из одной стороны горизонта в другую. Небо темнеет. И тогда наступает время таинства, ночных богов и запредельных наслаждений. Но как передать это? На одной стороне маленькой монетки, которую я уношу с собой отсюда, различимо прекрасное женское лицо, которое мне повторяет все то, о чем я узнал за этот день, а другая сторона изъедена временем. О чем способен поведать этот рот без губ? Пожалуй, о том же, что говорит иной таинственный голос, живущий во мне, день за днем возвещающий о моем невежестве и счастье:

«Секрет, который я ищу, зарыт в оливковой долине, под травой и хладными фиалками, возле старого дома, пропахшего побегами виноградной лозы. Более двадцати лет я обегал эту долину и все похожие на нее, расспрашивая немых пастухов козьих стад, стучался в двери необитаемых руин. Порой, в час первой звезды, в еще светлом небе, под дождем из тонкого света, мне казалось, что я знаю. Я и правда знал. Может, и до сих пор знаю. Но никому не нужен этот секрет, мне и самому он ни к чему, и я не в силах расстаться со своими близкими. Я живу в семье, которая думает, что царит над богатыми и ужасными городами, возведенными из камней и тьмы. И сутки напролет она громко заявляет о себе. И перед нею склоняется все, что не склоняется ни перед чем: она же глуха ко всяким секретам. Ее сила, возносящая меня, порой надоедает, а крики, бывает, утомляют. Но ее несчастье – мое несчастье, мы с ней одной крови.

Я ее сообщник, немощный и шумный: разве не я кричал среди камней? Я пытаюсь забыть, иду по нашим городам из железа и огня, бесстрашно улыбаюсь ночи, призываю бури – и останусь верен. Я и правда забыл: отныне глухой и деятельный. Но, может быть, однажды, когда мы будем готовы умереть от истощения и невежества, я смогу отречься от наших кричащих могил, чтобы пойти и лечь в долине под тем же светом, и в последний раз вспомнить то, что знаю».

1952

Море как можно ближе

41

Бортовой журнал

Я вырос в море, и бедность моя была роскошной, затем я потерял море, и вся роскошь мира показалась мне серой, а нищета невыносимой. С тех пор я пребываю в ожидании. Я жду кораблей, которые доставят меня обратно, в морские дали, домов у воды, прозрачных дней. Я набрался терпения и изо всех сил держу себя в руках. Меня можно увидеть на прекрасных городских улицах, я восхищаюсь пейзажами, как все, аплодирую, когда нужно, протягиваю руку, но вместо меня говорит кто-то другой. Меня хвалят – я слегка впадаю в эйфорию, меня оскорбляют – я едва удивляюсь. Потом все забывается, и я улыбаюсь тому, кто унизил меня, или слишком вежливо приветствую того, кого люблю. Как быть, если памяти хватает только на что-то одно? Наконец от меня требуют сказать, кто я. «Пока никто, пока никто…»

А вот на похоронах мне нет равных. Тут я поистине непревзойден. Я медленно прогуливаюсь по изобилующим, но не цветами, а свалками пригородным кладбищам, выбираю широкие аллеи, обсаженные, но не деревьями, а цементными стелами, под которыми в холодной земле скрываются ямы. Я наблюдаю, как под едва покрасневшей повязкой, под небом, отважные ребята опускают на трехметровую глубину моих друзей. Если я бросаю цветок, протянутый мне чьей-то рукой, он никогда не пролетает мимо ямы. Набожность моя ясно выражена, волнение на соответствующем уровне, затылок склонен под нужным углом. Мои слова уместны и вызывают восхищение. Но моей заслуги в том нет: я жду.

Я жду долго. Порой спотыкаюсь, теряю руку, удача мерцает передо мной. Неважно, я один. Случается, просыпаюсь в ночи, еще в полудреме и слышу шум прибоя, дыхание пучины. А окончательно проснувшись, я узнаю шум ветра в листве и злосчастное гудение пустынного города. Моего мастерства едва хватает, чтобы скрыть свое отчаяние и облечь его в допустимую форму.

А бывает, напротив, я получаю помощь. В Нью-Йорке, в иные дни, затерявшись среди каменных и стальных шахт, по которым бродят миллионы людей, я принимался бегать от одного коридора к другому, а им все не было конца, я доходил до изнеможения, и все продолжалось до тех пор, пока я не отдавался на волю толпы, ищущей выхода, она меня и несла. Я задыхался, был охвачен паникой, которая вырывалась наружу в крике. Но раз за разом дальний зов грузовика напоминал мне о том, что этот город – высохший водоем – является островом и что в конце его меня ждет вода моего крещения, черная и гнилая, покрытая нетонущими пробками.

Так что, ничего не имеющий, раздавший все свое состояние, живущий в палатке подле своих домов, я все же, когда мне этого хочется, баловень судьбы, в любое время готовый сняться с якоря, и отчаяние обходит меня стороной. Для отчаявшегося не существует родины, я же знаю, что море впереди меня и за мной, и мне нет надобности придумывать для себя иной род помешательства. Разлученные влюбленные способны прожить в горе, но горе – не отчаяние: им известно, что любовь существует. Вот почему я страдаю в изгнании, пусть и не лью слез. Я снова жду. И наконец приходит день…

Матросы шлепают босыми ногами по палубе. Мы выходим в море чуть свет. Стоит нам покинуть порт, как напористый и порывистый ветер мощно прочесывает море, которое в ответ

[41] © Перевод. Т. Чугунова, 2018

ощетинивается небольшими волнами без пены. Чуть позже ветер усиливается и рисует на водной глади камелии, тотчас исчезающие. Всю первую половину дня наши паруса с хлопаньем развеваются над жизнерадостным морским садом. Море тяжело перекатывает свои воды, чешуйчатые, увенчанные кружевом из свежей пены. Время от времени волны лают на форштевень[42]; горькая и жирная пена, слюна богов, стекает с деревянной обшивки корабля, где рассеивается в забавных узорах и возрождается вновь в образе какой-нибудь синей с белым коровы, еще долго дрейфующей за нашей кормой.

С самого начала чайки следуют за нашим судном по пятам, кажется, не прикладывая к тому никаких усилий, почти не шевеля крыльями. Легкий бриз едва ли служит подспорьем их парящему полету по прямой. И вдруг резкий «бултых», которым сопровождается падение в воду чего-то брошенного за борт из окошка камбуза, становится для них сигналом тревоги и одновременно приглашением полакомиться, строй их величественного полета моментально нарушается, вспыхивает пожар из белых крыльев. Чайки беспорядочно снуют во все стороны, после чего на той же скорости одна за другой покидают схватку и пикируют на воду. Несколько секунд спустя они уже собираются вместе, образовав этакий водный птичник, и неспешно поглощают отбросы, свалившиеся на них в виде манны небесной; мы оставляем птиц позади.

В полдень, под оглушительно палящим солнцем, море обессилено и едва способно к движению. В тот момент, когда оно замирает, тишина оглашается свистом. На солнцепеке бледная и гладкая поверхность воды – эта огромная раскаленная плита – разгорается, потрескивает, а через час шипит, дымится и пылает. Но в какой-то момент она непременно перевернется и подставит светилу свою влажную волнистую оборотную сторону, которая пребывает во мраке.

* * *

Мы проходим Геркулесовы столбы, мыс, где погиб Антей[43]. Повсюду океан, и мы огибаем мыс Горн и мыс Доброй Надежды; широты переплетаются с долготами, воды Тихого океана пьют из Атлантики. И сразу же берем курс на Ванкувер, не спеша продвигаемся к южным морям. Всего несколько кабельтовых, и вот перед нами проплывают остров Пасхи, остров Десоласьон и Гебридские острова. Однажды утром, как по команде, куда-то пропадают все чайки. Мы далеко от какой бы то ни было суши, мы остались наедине с парусами и кораблем.

А также наедине с горизонтом. Волны одна за другой, неспешно набегают с невидимого Востока; они достигают нас и так же неспешно следуют дальше к неизвестному Западу. Несть им ни числа, ни начала, ни конца… Реки, и малые, и большие, текут мимо, море тоже течет, но никуда не девается. Вот как мы должны любить: верно и мимолетно. Я женат на море.

Целое море… Солнце заходит, поглощаемое дымкой еще до того, как достигнет горизонта. На краткое мгновение океан с одной стороны розовеет, а с другой синеет. Затем вода становится темной. Наша шхуна, такая крохотная, скользит по поверхности идеального круга, словно выточенного из какого-то плотного и потускневшего металла. В часы вечернего умиротворения на поверхности появляются сотни морских свиней, они грациозно гарцуют вокруг

[42] Деревянная или стальная балка в носу корабля, на которой закреплена наружная обшивка носовой оконечности корпуса и которая в нижней части переходит в киль. – *Примеч. ред.*

[43] Антей (*греч. миф.*) – великан, сын Посейдона, получивший необоримую силу от соприкосновения с матерью Геей-землей, царь Ливии.

нас какое-то время, а затем уплывают к безлюдному горизонту. С их уходом мы вновь окружены лишь тишиной и тоской первозданных вод.

Чуть позже встреча с айсбергом на Тропике. После долгого плавания в теплых водах от его надводной части, конечно, ничего не осталось, но он не утратил своей эффективности: айсберг обнаружился по правому борту, где снасти на время покрылись инеем, в тот момент когда по левому борту угасал высушенный солнцем день.

Ночь не нисходит на море. Из морского лона, которое утонувшее солнце мало-помалу окрашивает в черный, покрывая густым слоем пепла, ночь, наоборот, восходит к еще светлому небу. На краткий миг Венера в одиночестве светит над черной пучиной. Но стоит закрыть глаза, затем снова открыть их, и вот уже звезды наводнили эту жидкую темноту.

Луна взошла. Сперва она слабо освещает поверхность воды, затем поднимается выше и выводит на подвижной глади какие-то письмена. Наконец достигнув зенита, луна освещает широкий морской коридор – полноводную молочную реку, которая по мере продвижения корабля нескончаемым потоком течет к нам по темному океану. Вот и теплая, но свежая ночь, которую я призывал среди шумных огней, алкоголя и сумятицы желаний.

Мы плывем по столь бескрайним просторам, что кажется, достичь какого-то предела невозможно. Солнце и луна чередуются друг с другом, словно поднимаясь и спускаясь по канату, согласно смене света и тьмы. Дни, проведенные в море, похожи один на другой, как дни счастья…

Та самая мятежная до забвения жизнь, сопротивляющаяся воспоминаниям, о которой писал Стивенсон.

Заря. Мы по перпендикуляру проходим Тропик Рака, вода стонет и бурлит. День занимается над неспокойным, отливающим стальным цветом морем. От дымки и жары небо белеет, потухшее, лишенное блеска и все же невыносимо жгучее, как если бы солнце расплавилось и разлилось по небесному своду, заполнив собой толщу облаков. Больное небо над взбаламученным морем. День набирает силу, жара нарастает в блеклом воздухе. На протяжении всего дня форштевень вспугивает стайки летучих рыб, этих маленьких железных птиц, притаившихся в кустах-волнах.

* * *

Во второй половине дня нам навстречу попадается пароход, спешащий к городам на материке. Три гудка, которыми мы обмениваемся, напоминают крики доисторических животных; сигналы, подаваемые пассажирами, заплутавшими в море и встревоженными присутствием других людей, дистанция, понемногу увеличивающаяся между судами, и наконец, расставание в недоброжелательных водах, – от всего этого сжимается сердце. Кто из тех, кому приятны одиночество и море, запретит себе с нежностью относиться к этим упрямым безумцам на досках, цепляющимся за огромную океанскую гриву в погоне за дрейфующими островами?

В самой сердцевине Атлантики на нас обрушиваются дикие ветры, которыми безостановочно обмениваются два полюса. Всякий испускаемый нами крик теряется, уносясь в беспредельные пространства. Но крику, изо дня в день гонимому ветрами, суждено, наконец, добраться до одного из плоских концов земли и еще долго звучать, ударяясь о ледяные стены, до тех пор, пока какой-нибудь человек, затерянный где-нибудь в своей снежной скорлупе, не услышит его и не улыбнется, став счастливее.

Часа в два пополудни я было задремал на солнце, как вдруг страшный грохот разбудил меня. Стихия разбушевалась, перевернув все вверх дном. В глубинах морских я увидел солнце, неспокойным небом завладели волны. Море обжигало, а солнце долгими ледяными глотками текло в мое горло. Вокруг смеялись и плакали моряки. Они питали друг к другу братскую любовь, не забывая об обидах. В тот день я узнал мир таким, каков он есть, я решил свыкнуться с мыслью, что его благо в то же время и пагубно, а его злодеяния спасительны. В тот день я понял, что есть две правды, одна из которых никогда не должна быть озвучена.

Непривычная, слегка ущербная южная луна несколько ночей сопровождает нас, а под утро быстро соскальзывает с неба в море, которое ее поглощает. Остается Южный Крест, редкие звезды, плотный, едва пропускающий свет воздух. В ту же минуту совершенно стихает ветер. Небо, одержимое килевой и бортовой качкой, ходит туда-сюда над нашими неподвижными мачтами. Заглушен двигатель, мы находимся в дрейфе, теплая ночь оглашается свистом тишины, а вода дружелюбно плещется о борта. Никаких приказов, молчат все машины. Действительно, к чему продолжать путь и к чему возвращаться куда-то? Мы всем довольны, молчаливое безумие с непреодолимой силой усыпляет нас. Наступает день, который все доводит до завершения, и нужно отдаться на волю стихии, как те, кто плыл до нас, плыл до изнеможения. Доводить до завершения что? С незапамятных времен я молчу об этом даже с самим собой. О, горькое русло, о, княжеское ложе, о, корона в глубине вод!

Наутро наш винт потихоньку принимается вспенивать теплую воду. Мы набираем скорость. К полудню встречаем явившееся с далекого конца земли стадо оленей, переплывающее пролив между двумя континентами, они обгоняют нас и плывут прямо на север, за ними вдогонку устремляются разноцветные птицы, которые время от времени присаживаются отдохнуть на оленьих рогах. Шумное стадо мало-помалу исчезает на горизонте. Чуть позже море покрывается странными желтыми цветами. К вечеру нас долгие часы сопровождает чье-то пение. Я засыпаю словно дома.

Воспользовавшись свежим бризом, мы несемся на всех парусах по чистому морю, играющему мускулами. Набрав скорость, ложимся на левый галс. А к концу дня шхуна кренится на правый борт, так, что паруса касаются воды; мы на большой скорости огибаем южный континент, я узнаю его благодаря тому, что раньше пролетал над ним, вслепую, в варварском гробу самолета. Прежде я был королем-лентяем[44], чья воздушная повозка тащилась по небу; я ждал встречи с морем, но все не мог до него добраться. Летающее чудовище вопило, взмывало в воздух над птичьим пометом в Перу, кидалось на пляжи Тихого океана, пролетало над раздробленными белыми позвонками Анд, а затем над огромной долиной Аргентины, покрытой стадами мух, взмахом крыла соединяло уругвайские луга, залитые молоком, с черными реками Венесуэлы, приземлялось, снова вопило, алчно дрожало перед новыми пустынными пространствами, которые жаждало проглотить, и со всем тем никогда ни на шаг не продвигалось, если же и продвигалось, то конвульсивными рывками, медленно, упрямо, растерянно, словно некое одурманенное существо. Мне приходилось туго в моей металлической каюте, мерещились кровопролития, оргии. Нет пространства – нет ни невинности, ни свободы! Для того, кто не может дышать, тюрьма – смерть либо безумие; чем там еще заниматься, как не убивать или обладать? Ныне, напротив, я весь пропитан дыханием простора, все наши крылья-паруса трепещут и

[44] «Ленивые короли» (639–751 гг.) – прозвище последних франкских королей из династии Меровингов, которые правили лишь номинально, поскольку реальная власть находилась в руках майордомов.

хлопают в прозрачном воздухе, от скорости я вот-вот закричу, нам ни к чему наши секстанты и компасы.

Повинуясь властному ветру, паруса натягиваются и становятся словно железными. Перед нашим взором проносится земля, леса королевских кокосовых пальм, что утопают в лагунах изумрудного цвета, спокойная бухта, полная красных парусов, и бесконечные пески, как на луне. Высотные здания уже потрескались под натиском девственного леса, который начинается во дворах; повсюду желтый ипе[45] или дерево с фиолетовыми ветвями протыкает окно, Рио наконец обрушивается за нами, растительность скоро поглотит его новые руины, в которых обезьяны из Тижуки будут помирать со смеху. Еще быстрее мчимся вдоль широких пляжей, на песке которых волны оставляют следы, напоминающие снопы, еще быстрее уругвайские овцы входят в море, и оно сразу желтеет. На аргентинском берегу от больших, разложенных через регулярные интервалы костров время от времени к небу поднимается дым от медленно поджаривающихся туш быков. В ночи айсберги Огненной Земли подплывают к нашей посудине и часами бьются о ее борта, вынуждая нас чуть замедлять ход и лавировать. А наутро единственная волна из Тихого океана, чья холодная, зеленовато-белая вода бурлит, как во время стирки, на протяжении тысячи километров вдоль чилийского берега, медленно приподнимает нас и угрожает посадить на мель. С помощью штурвала уворачиваемся от нее и огибаем архипелаг Кергелен. В приторном вечернем воздухе нам навстречу выходят первые малазийские барки.

«К морю! К морю!» – кричали чудесные юные герои из книги моего детства. Все остальное забылось, а этот крик остался в памяти. «К морю!» Через Индийский океан по бульвару Красного моря, со стороны которого доносится, как один за другим в ночной тишине раскалываются сперва разогретые добела, а потом замороженные камни пустыни, мы возвращаемся в древнее море, в котором замолкают крики.

И вот, наконец, однажды утром мы останавливаемся в бухте, наполненной странной тишиной и отмеченной вехами парусов. Несколько морских птиц ссорятся в небе из-за кусков тростника. Вплавь добираемся до пустынного пляжа и весь день потом то входим в воду, то обсыхаем на песке. С наступлением вечера под зеленеющим и отодвигающимся все дальше от земли небом и без того спокойное море успокаивается окончательно. Короткие волны выдыхают пену на теплый песок. Морских пернатых больше не видно. Осталось только необозримое пространство, предлагающее путешествие в никуда.

Знание, что тягучие сладкие ночи и после нас будут возвращаться на землю и на море, помогает умереть. Великое море, всегда изборожденное, но непорочное – вот во что я верю. А еще в ночь. В своих стерильных бороздах море отмывает, насыщает, освобождает нас и помогает устоять на ногах. В каждой волне обещание, вечно одно. О чем же шепчет волна? Если бы мне пришлось умирать в окружении холодных гор, в безвестности, отвергнутым своими родными, обессиленным и опустошенным, море в последнее мгновение наполнило бы место моего уединения, подставило бы плечо, приподняв меня над самим собой, и помогло бы умереть без ненависти.

В полночь я в одиночестве бреду по берегу. Подожди еще, и я уйду. Небо и то дрейфует со всеми своими звездами, как пароходы в огнях, которые в этот самый час по всему миру освещают темные портовые воды. Простор и тишина сообща давят на сердце. Внезапно вспыхнувшая любовь, некое большое творение, какой-то решительный поступок или преображающая мысль в иные мгновения дают то же ощущение невыносимой тревоги одновременно с неот-

[45] Тропическое дерево, произрастающее в Южной Америке, из семейства бигнониевых.

разимой привлекательностью. Восхитительное ощущение ужаса бытия, изысканная близость опасности, чье имя нам неизвестно… Так что же значит жить? Идти навстречу гибели? Что ж, тогда снова, без передышки, пойдем ей навстречу.

Мне всегда казалось: я живу в открытом море, и мне грозит некая опасность, но в то же время я нахожусь в самом сердце по-королевски ослепительного счастья.

1953

Счастливая смерть

[46]

[46] © Перевод. Т. Чугунова, 2015

Часть первая. Естественная смерть

Глава 1

Было десять часов утра, Патрис Мерсо размеренным шагом двигался по направлению к вилле Загрея. В это время суток прислуга уходила на рынок, вилла была пуста. Стояло апрельское весеннее утро, холодное, выдержанное в чистых голубых тонах, какие бывают у льда, утро с большим ослепительным, но не жарким солнцем на небосклоне. Пространство между стволов сосен, которыми были обсажены прилегающие к вилле холмы, заполнял поток чистейшего света. Дорога была пустынна. Она чуть заметно поднималась в гору. Мерсо шагал с чемоданом в руке посреди небывалого утра, дарованного миру; в стылом воздухе слышались отрывистые звуки его шагов и поскрипывание ручки чемодана.

Немного не доходя до виллы, дорога уперлась в небольшую площадь, на которой был устроен сквер с садовыми насаждениями и скамейками. От яркого вида ранней алой герани среди серых алоэ, синего неба и побеленных известью стен изгороди повеяло чем-то детским, Мерсо опешил и на миг замер перед тем, как спуститься от площади к вилле. У порога виллы он остановился еще раз и надел перчатки. Затем открыл дверь, которую калека держал незапертой, и прикрыл ее за собой. Пройдя по коридору до третьей двери слева, он постучал и вошел в комнату. Загрей сидел в кресле на том самом месте у камина, на котором двумя днями ранее сидел Мерсо, культи его ног были прикрыты пледом. Когда Мерсо вошел, он читал; гость закрыл за собой дверь и остался стоять у входа; Загрей поднял глаза от книги, лежащей на пледе, и без всякого удивления уставился на него своими круглыми глазами. Занавески на окнах в комнате были отдернуты, на полу, на мебели, на предметах маячили солнечные зайчики. За окнами, на обласканной солнечными лучами и все же холодной земле улыбалось утро. Разлитая в ледяном воздухе радость, пронзительные крики птиц, неуверенно пробующих голоса, неудержимый поток безжалостного света с небес наполняли этот утренний час простодушной и естественной жизнью. Мерсо задохнулся от царящей в помещении жары. Несмотря на перемену погоды, в камине Загрея вовсю пылал огонь. Кровь прилила к вискам Мерсо, в ушах застучали молоточки. Загрей молчал, не спуская с него глаз. Патрис подошел к внушительному сундуку, находящемуся по другую сторону камина, и, не глядя на калеку, положил свой чемодан на стол. И тут почувствовал едва ощутимую дрожь в лодыжках. Он сунул в рот сигарету и неловко, из-за того что руки были в перчатках, прикурил. Сзади раздался негромкий хлопок. Не вынимая сигарету изо рта, он обернулся. Загрей захлопнул книгу, по-прежнему не сводя с гостя глаз. Чувствуя, что огонь до боли обжигает колени, Мерсо прочел название книги, расположенное по отношению к нему вверх ногами: «Придворный человек» Бальтасара Грасиана[47]. После чего без дальнейших колебаний нагнулся к сундуку и открыл его. Черный на белом револьвер сверкал всеми своими изломанными гранями, словно какой-нибудь ухоженный кот, под ним лежал конверт с письмом Загрея. Мерсо взял его в левую руку, а револьвер – в правую. После недолгого колебания сунул оружие под мышку левой руки и открыл конверт. В нем находился один-единственный листок бумаги большого формата, на котором крупным угловатым почерком Загрея было написано несколько строк:

[47] Грасиан Бальтасар (1601–1658) – испанский моралист и эссеист, чьи произведения повлияли на европейскую нравственную традицию. «Придворный человек» (1647) представляет собой собрание максим.

* * *

«Вместе со мной уходит лишь полчеловека. Прошу отнестись ко мне снисходительно, в моем сундуке найдется, чем отблагодарить тех, кто служил мне. Кроме того, я желаю, чтобы его содержимое способствовало улучшению содержания приговоренных к смерти. Но осознаю, что прошу слишком о многом».

Мерсо с непроницаемым лицом сложил письмо; в эту минуту от сигаретного дыма защипало в глазах, немного пепла упало на конверт. Он стряхнул пепел, положил конверт с запиской на стол на самом виду и повернулся к Загрею. Глаза того теперь были устремлены на конверт, его короткие и мускулистые руки лежали по обе стороны книги. Мерсо нагнулся к сундуку, повернул ключ в замке сейфа, находящегося в нем, и завладел пачками денег, завернутыми в газетную бумагу, сквозь которую просвечивали корешки купюр. Держа револьвер под мышкой, одной рукой аккуратно заполнил ими свой чемодан. Там было меньше двадцати пачек с сотенными купюрами; чемодан Мерсо оказался слишком большим. Одну пачку он оставил. Закрыв чемодан, бросил недокуренную сигарету в огонь и, переложив револьвер в правую руку, приблизился к калеке.

Загрей смотрел в окно. Было слышно, как мимо входной двери с легким шамкающим шумом проехал автомобиль. Загрей сидел неподвижно, казалось, он весь ушел в созерцание баснословной красоты апрельского утра. Даже почувствовав приставленный к правому виску револьвер, он не отвел взгляда от окна. Патрис увидел только, как его глаза наполнились слезами. И тогда зажмурился сам. Отступив на шаг, выстрелил. На мгновение прислонившись к стене, ощутил, как кровь зашумела у него в ушах. Он открыл глаза. Голова Загрея запрокинулась на левое плечо, тело почти не сдвинулось. Теперь это уже был не человек, а одна сплошная рана, состоящая из месива мозгов, костей и крови. Мерсо затрясло. Он обошел кресло, нащупал правую руку убитого, вложил в нее револьвер, поднес ее к виску и отпустил. Револьвер упал на подлокотник кресла, а с него на колени убитого. Проделывая это, Мерсо взглянул на подбородок и рот калеки, сохранивших то же сосредоточенное и печальное выражение, которое было, когда Загрей смотрел в окно. В этот миг перед домом раздался пронзительный зов рожка, затем повторившийся. Он прозвучал как нечто, не имеющее отношения к реальности. Мерсо, не шевелясь, застыл над креслом. Звук отъезжающего автомобиля возвестил о том, что мясник отбыл. Мерсо схватил чемодан, открыл дверь, щеколда которой ярко сверкнула в солнечном луче, и высунул голову в коридор; у него пересохло во рту. Шагнув за порог дома, он быстро пошел прочь. На улице никого не было, только в дальнем конце небольшой площади виднелась стайка детей. Дойдя до площади, он внезапно ощутил, что ему холодно, на нем была легкая куртка, его проняла дрожь. Он дважды чихнул, и долина наполнилась насмешливым эхом, которое подхватил и унес в хрустальную вышину порыв ветерка. Слегка покачиваясь, Мерсо остановился и глубоко вздохнул. Мириады ослепительных улыбок спускались с голубого неба. Они играли на листьях, еще усеянных каплями дождя, на влажном туфе аллей, летели к домам, крытым черепицей цвета свежей крови, чтобы снова во весь опор умчаться к переливающимся через край воздушным и солнечным озерам, откуда только что, не удержавшись, пали на землю. Оттуда же доносилось мирное гудение крошечного самолета. Казалось, при подобной роскоши живительного воздуха и плодоносящих небес единственным, что могло бы составить смысл жизни людей, были сама жизнь и счастье. Все молчало в Мерсо. Он чихнул в третий раз и ощутил дрожь, которая бьет человека при лихорадке. Не глядя по сторонам, заспешил прочь, сопровождаемый скрипом ручки чемодана и звуком шагов. Добравшись до дома, он поставил чемодан в угол, лег и проспал до середины следующего дня.

Глава 2

Лето наполняло порт шумом и солнцем. Была половина двенадцатого. День начинался с середины, чтобы навалиться на причалы всем грузом своего жара. Перед складами Алжирской коммерческой палаты шла погрузка мешков с пшеницей на черные с красными трубами пароходы. Запах мучной пыли, просачивающейся сквозь мешковину, смешивался с сильным запахом гудрона, возникшим от воздействия на асфальт жаркого солнца. У небольшого питейного заведения, отдающего лаком и анисовой водкой, собрались забулдыги; арабские акробаты в красных трико показывали, на что способны, на обжигающих подошвы плитах набережной, зрелище дополняли светящиеся блики, скачущие по морской равнине. Не обращая на все это никакого внимания, докеры с мешками на плечах ступали на прогибающийся под их тяжестью трап, состоящий из двух досок, который вел с набережной на грузовую палубу. Наверху, перед тем как нырнуть в темную дыру трюма с его запахом горячей крови, они на миг останавливались, ослепленные ярким светом, идущим с вышины, и представали на фоне неба и бухты среди грузовых стрел и мачт со сверкающими на лицах, покрытых белым налетом пота и пыли, глазами. В обжигающем воздухе безостановочно выла сирена.

Внезапно порядок в цепочке докеров был нарушен, они прекратили свою работу. Один из них оступился и угодил ногой в щель между трехдюймовых досок. Его рука, которой он поддерживал сзади груз, оказалась придавленной огромным мешком, и он закричал от боли. В эту минуту Патрис Мерсо вышел из здания компании, в которой служил. И задохнулся от набросившегося на него летнего зноя. Открытым ртом ловил он испарения гудрона, от которых першило в горле. Подойдя к докерам, он увидел, что они высвободили своего раненого товарища, тот лежал на пыльных досках с побелевшими от боли губами, его сломанная выше локтя рука бессильно свисала вдоль тела. Из страшной раны торчал обломок кости. Кровь стекала вдоль руки и с еле слышным шипением падала капля за каплей на обжигающие камни, образовывая лужицу, от которой шел пар. Мерсо не мог отвести глаз от вида крови до тех пор, пока кто-то не взял его под руку. Это был Эммануэль, «приятель по гонкам». Он указывал ему на грузовик, который приближался к ним среди портового грохота. «Погнали?» – спросил он. Патрис рванулся вперед. Грузовик обогнал их. Они бросились вдогонку, утопая в шуме и пыли, задыхаясь, ослепнув, осознавая только, что ведомы вперед необузданным порывом гонки, проходящей в бешеном ритме, задаваемом грузовыми стрелами и кранами, и сопровождаемой танцем мачт на горизонте да боковой качкой проржавевших судовых корпусов, вдоль которых они мчались. Мерсо первым уцепился за борт грузовика, демонстрируя свою силу и проворность, и запрыгнул в кузов. Затем помог забраться Эммануэлю, они сели, свесив ноги; грузовик летел вперед в белой пыли и жаре, спускающейся с неба, посреди фантастических портовых декораций, ощетинившихся мачтами и черными портальными кранами; Эммануэля и Мерсо подбрасывало на неровной набережной, и они хохотали до потери сознания, испытывая головокружительный подъем.

Добравшись до Белькура, они спрыгнули с грузовика. Эммануэль пел. Громко и фальшиво. «Понимаешь, – объяснил он однажды Мерсо, – что-то поднимается в груди. Когда я доволен. Когда плаваю в море». И правда, Эммануэль пел, когда плавал, и его голос, обычно хриплый от одышки, которая в воде пропадала, задавал ритм движениям его коротких мускулистых рук. Они пошли по Лионской улице. Верзила Мерсо шагал, с размахом выбрасывая вперед ноги, покачивая широкими и мускулистыми плечами. В том, как он ставил ногу на тротуар, в том, как скользящим движением бедер огибал преграды, порой встречающиеся на пути, чувствовалось, что он обладает на редкость молодым и сильным телом, способным одарить своего хозяина предельной физической радостью. Когда они останавливались, он переносил тяжесть тела на одно бедро, слегка подчеркивая свою гибкость, как делает человек, который

благодаря спорту научился ценить пластику движений. Его глаза блестели под слегка тяжеловатыми надбровными дугами; когда он обращался к Эммануэлю, поджимая подвижные изогнутые губы, то машинально хватался за воротничок, чтобы освободить шею. Они вошли в кафе, где обычно обедали. Устроились за столиком и молча принялись есть. В помещении царил полумрак, было прохладно. Летали мухи, слышался стук тарелок вперемешку с голосами посетителей. К ним подошел Селест, хозяин заведения. Высокий, усатый, он почесывал свой живот под фартуком, после чего оправлял его.

– Как дела? – поинтересовался Эммануэль.

– Как у стариков, – последовало в ответ.

Завязалась беседа. Селест и Эммануэль обменивались восклицаниями «Да, коллега!» и похлопываниями по плечу.

– Видишь ли, приятель, старики – это такие пустозвоны! – говорил Селест. – Утверждают, что настоящий мужчина тот, которому не меньше пяти десятков. Но это все оттого, что им самим по пятьдесят. У меня был приятель, который чувствовал себя счастливым в обществе своего сына, больше ему никто не был нужен. Они вместе ходили повсюду. Кутили. Что ты! И в казино заглядывали, приятель говорил: «На кой черт мне все эти старики? У них только одно на уме: про слабительное да про печень. С сыном куда как лучше. А стоит ему подцепить какую-нибудь дамочку, я делаю вид, что ничего не вижу, сажусь в трамвай и привет. Мне иного не надо». – Эммануэль засмеялся. – Конечно, – продолжил Селест, – не слишком педагогично, но мне нравилось. – И, обращаясь к Мерсо, добавил: – Лучше уж такой приятель, чем тот, который у меня был. Когда у него пошли дела, он стал говорить со мной, запрокидывая голову и со всякими ужимками. Теперь гордости поубавилось, когда он все потерял.

– Так ему и надо, – вставил Мерсо.

– Да, не нужно быть сволочью. А все же был на его улице праздник, погулял он, что и говорить. Девяносто тысяч франков… Мне бы столько!

– И что бы ты сделал? – поинтересовался Эммануэль.

– Купил бы хибару, намазал бы клеем пупок и приклеил флаг. И стал бы ждать, откуда подует ветер.

Мерсо неторопливо ел до тех пор, пока Эммануэль не взялся рассказывать хозяину о своем участии в знаменитой битве на Марне.

– Нас, зуавов, сделали простыми пехотинцами…

– Ты нас уже достал, – незлобиво одернул его Мерсо.

– «В атаку готовьсь!» – кричит командир. Там был такой овраг, поросший деревьями, мы – в него. Нам велят целиться, но впереди никого. Ну, мы потопали вперед. А потом вдруг по нам как стали строчить из пулеметов. Все попадали друг на друга. Столько убитых и раненых было, что по дну оврага текла река крови, можно было на лодке плыть. Некоторые кричали: «Мама!» Жуть да и только.

Мерсо встал и завязал салфетку узлом. Патрон отправился пометить его долг за обед мелом на двери кухни. Дверь служила ему книгой должников. Когда возникали споры, он просто снимал дверь с петель и на спине приносил доказательство. За стойкой пристроился сын хозяина Рене и ел яйцо всмятку. «Бедняга, слаб грудью», – проговорил Эммануэль. Так и было. Рене всегда хранил молчание и никогда не улыбался. Особенно изможденным назвать его было нельзя, разве глаза как-то странно блестели. В этот раз один из посетителей втолковывал ему, что туберкулез «со временем, если соблюдать меры предосторожности, излечим». Тот важно кивал. Мерсо подошел к стойке и сел рядом с ним, чтобы выпить кофе. Посетитель продолжал:

– Ты Жана Переса знал? Из Газовой компании? Помер. У него было поражено только одно легкое. Но он пожелал покинуть больницу и вернуться домой. А там жена. А он страсть как это любил. Болезнь его таким сделала. Понимаешь, он то и дело пользовал ее. Она не хотела. Но он ей спуску не давал. По два, три раза на дню, ну, это его и доконало.

Рене с куском хлеба во рту перестал жевать и уставился на говорившего.

– Да, – сказал он наконец, – болезнь схватить недолго, а вот чтобы от нее избавиться, для этого нужно время.

Мерсо написал пальцем свое имя на запотевшем кофейнике. Моргнул. Его жизнь каждый день протекала между этим спокойным чахоточным и Эммануэлем, из которого сами собой вылетали песни, ее сопровождали запахи кофе и гудрона, и все это не имело никакого отношения к нему самому и его интересам, все это было чуждо его сердцу и его собственной истине. В других обстоятельствах те же самые вещи могли бы и заинтересовать его, но поскольку он жил в данных обстоятельствах, то молчал до тех пор, пока не оказывался у себя дома, и прилагал все силы к тому, чтобы подавить огонь жизни, полыхавший в нем.

– Эй, Мерсо, ты ведь у нас образованный, подсчет верный? – обратился к нему патрон.

– Верный, потом пересчитаешь.

– У тебя сегодня львиный аппетит.

Мерсо улыбнулся, вышел из кафе, перешел улицу и поднялся к себе. Его комната располагалась над лавкой, в которой торговали кониной. Когда он выходил на балкон и облокачивался на перила, до него долетал запах крови и была видна вывеска: «Самое благородное из завоеваний человека». Он вытянулся на постели, выкурил сигарету и заснул.

Прежде комнату занимала его мать. Они издавна проживали в этой трехкомнатной квартирке. Оставшись один, Мерсо сдал две комнаты знакомому бочару и его сестре, а себе оставил комнату получше. Мать Мерсо умерла в пятьдесят шесть лет. Она была красивой и в молодости думала, что может кокетничать и блистать, что у нее все сложится как нельзя лучше. Но к сорока годам ее поразила страшная болезнь. Наряды, румяна остались в прошлом, она облачилась в рубашки и халаты, ее лицо претерпело изменения, стало одутловатым, а сама она почти перестала двигаться из-за распухших, утративших силу ног, в придачу ко всему ослепла и на ощупь потерянно бродила изредка по пыльным неухоженным комнатам. Такая перемена случилась с ней внезапно. У нее обнаружился диабет, который она мало того что запустила, так еще и усугубила своей беззаботностью. Мерсо был вынужден оставить учебу и пойти работать. До самой смерти матери он продолжал читать и размышлять. Она выдержала десять лет такой жизни. Муки ее длились долго, и окружающие свыклись с болезнью и забыли о том, что однажды ей может прийти конец. И вот ее не стало. Мерсо жалели. Ждали многого от похорон. Знали о привязанности сына к матери. Заклинали дальних родственников не плакать, чтобы не увеличивать горе Патриса. Умоляли их охранять его покой, заботиться о нем. Что до него самого, он оделся в лучшее платье и со шляпой в руке наблюдал за подготовкой к похоронам. Затем шел за гробом, присутствовал на отпевании, бросил пригоршню земли в могилу и пожал руки собравшимся. И только раз удивился и выразил неудовольствие по поводу того, что не на всех хватило машин. И все. На следующий день на одном из окон появилось объявление: «Сдается». Он поселился в ее комнате. В бедности, которую они делили с матерью, прежде была какая-то прелесть. Когда они сходились за столом, на котором стояла керосиновая лампа, уединенная простота их вечеров наполнялась тайным счастьем. В этой части города было довольно спокойно. Мерсо посматривал на усталый рот матери и улыбался. Она тоже улыбалась ему. Он не спеша ел. Лампа чуть коптила. Мать привычным жестом правой руки регулировала пламя, не меняя позы, откинувшись на спинку стула. «Ты сыт?» – спрашивала она чуть погодя. «Да», – отвечал он. После ужина он курил или читал. В первом случае мать ворчала: «Опять?» Во втором: «Сядь ближе к лампе, испортишь зрение». Теперь бедность вкупе с одиночеством превратилась в настоящее бедствие. И когда Мерсо с грустью вспоминал усопшую, на самом деле его жалость была направлена на самого себя. Он мог бы переселиться в более комфортабельное жилье, но дорожил этим, в котором витал дух нужды. Тут, по крайней мере, он был рядом с тем, чего уже не было; он намеренно старался стушеваться, стать незаметным; часы, проведенные наедине с самим собой, полные мерзкого долготерпения, позволяли

ему в минуты печали и сожалений по-прежнему ссылаться на заведенный в его жизни порядок. Он даже оставил на входной двери кусок серого картона с неровным краем, на котором мать когда-то давно вывела синим карандашом свое имя. Сохранил старую медную кровать, застеленную сатином, портрет деда, на котором тот был изображен с бородкой и неподвижным взглядом светлых глаз. Пастухи и пастушки по-прежнему водили хоровод вокруг старых сломанных часов и керосиновой лампы, которую он почти не зажигал. Подозрительная обстановка, состоящая из продавленных соломенных стульев, платяного шкафа с пожелтевшим от времени зеркалом и туалетного столика с отбитым краешком мраморной столешницы, для него словно бы и не существовала, поскольку привычка притупила восприятие. Патрис прохаживался по затененной комнате, которая не требовала от него никакого вмешательства, так, будто ее и не было вовсе. В другом помещении пришлось бы привыкать к чему-то новому, а значит, чему-то противостоять. Он желал по возможности уменьшить пространство, которое занимал в мире, и спать до тех пор, пока все не закончится. Вот в этом-то намерении комната и служила ему подспорьем. Одно ее окно выходило на улицу, другое – на всегда завешанную бельем террасу, за которой располагались небольшие палисадники с апельсиновыми деревьями, зажатые высокими стенами. Иногда летней ночью он не зажигал в комнате свет и распахивал окно, выходящее на террасу. Ночь за ночью апельсиновые деревья отсылали к его окну легкие языки источаемого ими аромата. И тогда на протяжении всей летней ночи его комната и он сам купались в этом одновременно тонком и насыщенном аромате, и это было похоже на то, как если бы, давно покончив счеты с жизнью, он снова впервые распахивал для нее свое окно.

Мерсо очнулся в поту, весь еще во власти сна. День был в разгаре. Он причесался, бегом спустился по лестнице и вскочил в трамвай. В начале третьего он сидел на своем рабочем месте. Комната, в которой Мерсо работал, была большая, все четыре стены представляли собой ниши, по которым были разложены стопки папок. Комната не была ни грязной, ни мрачной, но в любой час дня напоминала колумбарий, в котором истлевало время. В обязанности Мерсо входило проверить коносаменты[48], перевести списки товаров, загруженных на английские суда, и с трех до четырех принять желающих отправить посылку.

Он стремился к такой работе, которая на самом деле не подходила ему. Поначалу она являлась для него хоть какой-то ниточкой, связывавшей его с реальной жизнью. Тут были и живые лица, и постоянные посетители, тут веяло чем-то свежим, от чего начинало биться сердце. В своей рабочей комнате он мог укрыться от трех машинисток и начальника конторы г-на Ланглуа. Одна из машинисток была довольно хорошенькой, она только недавно вышла замуж. Другая жила с матерью, а третья была старой девой, энергичной и полной собственного достоинства, Мерсо нравилась ее цветистая речь и сдержанность в отношении «собственных бед», по выражению Ланглуа. Тот вступал с ней нередко в перепалки, в которых немолодая госпожа Эрбийон всегда одерживала верх. Она презирала Ланглуа за прилипшие к ягодицам брюки, за состояние невменяемости, охватывавшее его в присутствии директора, а иной раз и тогда, когда в телефонной трубке звучало имя адвоката или какого-нибудь хмыря, чья фамилия предварялась частицей «де». Несчастный безрезультатно пытался смягчить пожилую даму либо найти путь к ее благожелательности. Этим вечером он стоял посреди комнаты и переваливался с ноги на ногу. «Не правда ли, госпожа Эрбийон, вы находите меня симпатичным?» Мерсо как раз пытался перевести слово *vegetables*[49], созерцая лампочку в абажуре из зеленого гофрированного картона над головой. Напротив него висел красочный календарь, на котором была изображена сцена религиозного праздника. Губка для смачивания пальцев, бювар, чернильница и линейка лежали на столе. Окна выходили на штабеля досок, доставленных из Норвегии желто-белыми грузовыми судами. Он прислушивался. За стеной конторы в море и в

[48] Накладная или опись товаров, отправляемых водным путем.

[49] Зелень, овощи *(англ.)*.

порту глубоко и глухо дышала жизнь. Так далеко и вместе с тем так близко… Звонок, прозвучавший в шесть часов, освободил его. Была суббота.

Вернувшись домой, он лег и проспал до ужина. Приготовил себе яичницу и стал есть прямо со сковороды (без хлеба, поскольку забыл купить его), затем прилег и снова заснул – до утра. Проснувшись незадолго до второго завтрака, он привел себя в порядок и спустился поесть. Вернувшись, решил два кроссворда, тщательно вырезал из журнала рекламу солей Крюшена, которую наклеил в тетрадь, уже заполненную изображениями старичков-шутников, спускающихся по перилам. Покончив с этим, Мерсо вымыл руки и вышел на балкон. Погода стояла прекрасная. Мостовая лоснилась, прохожие были редки, к тому же спешили. Он провожал взглядом каждого и выпускал его из виду только для того, чтобы заняться следующим. Сперва это все были семьи, вышедшие на прогулку, примерно такие, как эта: два мальчика в отглаженных матросках и штанишках ниже колен и девочка с большим розовым бантом и в черных лакированных туфельках. С ними мать, этакая чудовищная зверюга в шелковом платье каштанового цвета и в боа, и отец более утонченного вида, с тросточкой в руках. Чуть позже на улице появились местные молодые люди с напомаженными волосами и в красных галстуках, в слишком зауженных пиджаках с вышитыми кармашками и в ботинках с квадратными носами. Они спешили в кинотеатр, расположенный в центре города, и, громко смеясь, сели в трамвай. После них улица мало-помалу опустела. Во всех кинотеатрах начались сеансы. Квартал оказался во власти лавочников и котов. Небо над фикусами, окаймляющими улицу, хотя и чистое, было каким-то потухшим. Продавец табачных изделий, чья лавка находилась как раз напротив дома Мерсо, вынес на улицу стул и сел на него верхом, положив локти на спинку. Трамваи, еще совсем недавно набитые до предела, шли почти пустые. В небольшом кафе «У Пьеро» официант подметал пустынный зал, используя опилки. Мерсо последовал примеру торговца, повернул стул спинкой к улице, уселся на него верхом и выкурил две сигареты подряд. После чего ушел в комнату, отломил кусочек от плитки шоколада и вернулся с ним к окну. Чуть погодя небо нахмурилось, затем снова посветлело. Однако тучи все же оставили после себя как бы обещание дождя, и на улице стало темнее. В пять часов трамваи с шумом доставили с пригородных стадионов болельщиков, которые гроздьями висели на подножках и цеплялись за поручни. В следующих трамваях возвращались игроки, которых можно было узнать по их чемоданчикам. Они вопили и во всю глотку распевали о том, что их клубу нет равных. Многие из них делали Мерсо знаки. Один крикнул: «Мы их сделали!» «Здорово!», – только и ответил он, кивнув. На улице появилось больше машин. Капоты и бамперы некоторых были украшены цветами. День еще не закончился. Небо над крышами окрасилось в красноватые тона. С наступлением вечера улицы снова оживились. Кто-то вышел на прогулку. Уставшие дети плакали, упирались, родители тащили их за руки. В это время местные кинотеатры выплеснули на улицу толпы зрителей. В решительных и самонадеянных жестах молодых людей, выходящих из кинотеатра, Мерсо узнавал сюжет приключенческого фильма, который они только что посмотрели. Те, кто ездил в кинотеатр в центре города, появились чуть позже. Они были сдержаннее. В их глазах и манере держать себя сквозь смех и грубые шутки проскальзывало нечто вроде ностальгии по той блестящей жизни, которую показал им кинематограф. Они еще долго не расходились по домам. В конце концов, на тротуаре напротив дома Мерсо образовалось два потока. Местные девушки с непокрытыми головами, держащиеся за руки, составляли один из них. Юноши, бросавшие в их адрес шутки, на которые те реагировали поворотом головы и смехом, составляли другой. Люди постарше заходили в кафе или сбивались в кучки, которые человеческий поток огибал, как островки. Зажглись электрические фонари, отчего померкли первые появившиеся на небе звезды. Мерсо с высоты балкона взирал на скопище людей на освещенных фонарями тротуарах. От ламп сверкала мостовая, свет трамваев, курсировавших через определенные промежутки времени, выхватывал из темноты чью-то голову, волосы, губы, улыбку или серебряный браслет. Некоторое время спустя трамваи стали ходить

реже, ночная темнота опустилась на деревья и фонари, улица опустела, и кот медленно перешел вновь обезлюдевшую улицу. Мерсо вспомнил, что неплохо было бы поужинать. У него слегка ломило шею оттого, что он долго оставался в одном положении, упершись подбородком в спинку стула. Он спустился купить хлеба и макарон, приготовил ужин и поел. Затем вновь вернулся к окну. Люди выходили из кафе, посвежело. Он поежился, закрыл окно и подошел к зеркалу, висящему над камином. За исключением тех вечеров, когда Мерсо принимал Марту у себя, или когда они вместе куда-то выходили, или когда он писал письма подружкам из Туниса, вся его жизнь отражалась в пожелтевшем зеркале, в том числе комната, в которой заляпанная спиртовка соседствовала с черствыми кусками хлеба.

«Еще одного воскресенья как не бывало», – подвел Мерсо итог дня.

Глава 3

Когда Мерсо шел вечером рядом с Мартой, его распирало от гордости при виде игры света и тени на ее лице, все представлялось чудесным образом возможным, и даже собственные сила и смелость казались неоспоримыми. Он был благодарен ей за то, что она, идя рядом с ним, выставляла напоказ свою красоту, которая всякий раз была для него как тончайший напиток. Если бы Марта была невзрачной, он страдал бы точно так же, как страдал, представляя себе ее в объятиях других мужчин. Ему доставляло удовольствие появляться с нею в зале до начала сеанса, когда почти все места были уже заняты. Она шла впереди него, вызывая восторженные взгляды, ее лицо было словно сад, наполненный цветами и улыбками. Он шел следом со шляпой в руке, чувствуя сверхъестественную раскованность, внутренне осознавая и собственную неотразимость. Вот и в этот раз он напустил на себя отстраненный и важный вид. Был преувеличенно вежлив, посторонился, чтобы пропустить служительницу, помогающую найти свое место, предупредительно опустил сиденье Марты. Это было сделано не столько из желания казаться, сколько из переполнявшей его признательности, заставляющей любить всех. Не зная, как отплатить за свою радость, он оделил служительницу чересчур щедрыми чаевыми, этим обыденным жестом выражая свое преклонение перед божеством, чья ослепительная улыбка отражалась масляным блеском в его взгляде. В антракте, прогуливаясь в фойе среди зеркал, которыми были увешаны стены, он мог воочию лицезреть свое счастье: зал, мелькающие изящные фигуры других зрителей, его собственный темный силуэт и улыбка Марты, одетой во что-то светлое. Да, ему по душе было и собственное лицо, отражающееся в зеркалах, этот подрагивающий рот, лихорадочный блеск чуть запавших глаз. Но ведь красота мужчины отражает глубокие, присущие ему качества практического свойства. На его лице читается, на что он способен. Идет ли это хоть в какое-то сравнение с великолепной непрактичностью женского лица?! Мерсо отлично осознавал все это, он тешил свое самолюбие и улыбался своим внутренним демонам.

Вернувшись в зал, он подумал, что когда ему приходилось бывать в кинотеатре в одиночестве, в антракте он никогда не выходил из зала, предпочитая курить и слушать пластинки с легкой музыкой, которые ставили в это время. Но на сей раз игра продолжалась и в антракте. И годился любой случай продлить ее, подстегнуть. Устраиваясь в кресле, Марта ответила на приветствие мужчины, сидящего на несколько рядов дальше за ними. Мерсо тоже кивнул ему, и вдруг, или это ему только показалось, на лице незнакомца мелькнула ухмылка. Он сел, не замечая жеста Марты, собиравшейся о чем-то сказать и положившей ему на предплечье руку, хотя минутой раньше он с радостью бы воспринял этот жест как новое доказательство той власти, которую она за ним признавала.

– Кто это? – спросил Мерсо, ожидая, что Марта совершенно естественно переспросит, о ком речь. Так и вышло.

– Ты знаешь, о ком. Тот тип…

– А-а, – только и ответила она и замолчала.

– Так кто же он?

– Тебе непременно надо знать?

– Нет, – отрезал Мерсо.

Он слегка обернулся. Незнакомец смотрел на затылок Марты, и ни один мускул в его лице не дрогнул. Он был довольно хорош собой, с очень полнокровными красивыми губами, но глаза его были невыразительны и чуть навыкате. Мерсо ощутил, как к вискам прилила кровь. Глаза застлало черной пеленой, блестящие картины идеальных декораций, в которых он пребывал последние несколько часов, внезапно оказались измаранными сажей. К чему было спрашивать? И без того было ясно: этот тип спал с Мартой. В Мерсо ширилась, подобно тому, как это происходит с человеком, которым завладевает паника, мысль о том, что мог думать этот человек. Ему это было хорошо известно, ему и самому случалось так думать: «Можешь выпендриваться, сколько хочешь…» При мысли, что в эту самую минуту незнакомец представляет, какова Марта в постели, – например, как она прикрывает рукой глаза в миг наслаждения, – при мысли, что этот мужчина тоже пытался убрать ее руку, чтобы увидеть мятежный огонь темных богов, загорающийся в ее глазах, Мерсо почувствовал, что земля уходит у него из-под ног, и когда прозвучал звонок, возвещающий о продолжении сеанса, его закрытые глаза стали наполняться слезами гнева. Он забыл о Марте, которая была лишь предлогом для его радости, полностью погрузившись в поднявшуюся в душе ярость. Он долго сидел с закрытыми глазами, а когда открыл их, то увидел на экране опрокинутый автомобиль, одно колесо которого продолжало медленно вращаться среди полной тишины, увлекая в свое упрямое вращение весь стыд и унижение, порожденные недобрым сердцем Мерсо. Потребность знать наверняка заставила его забыть о достоинстве:

– Марта, он был твоим любовником?

– Да, – ответила она. – Дай посмотреть кино.

В этот день Мерсо начал привязываться к Марте. Он познакомился с ней несколько месяцев назад. Был поражен ее красотой и элегантностью. На слегка широком лице с правильными чертами сияли золотые глаза, а губы были так искусно накрашены, что она казалась одной из древних разрисованных богинь. Природная глупость, легко заметная в ее взгляде, еще более подчеркивала невозмутимость и неприступность. До сих пор, всякий раз, как у Мерсо завязывались с женщиной какие-то отношения, осознавая, что, как это ни прискорбно, любовь и желание одинаково выражают себя, он думал о разрыве еще до того, как заключал ее в объятия. Но Марта пришлась на ту пору, когда Мерсо освобождался от всего, в том числе и от самого себя. Забота о свободе и независимости рождается только у того, кто еще живет надеждой. Для Мерсо ничто тогда уже не имело особого значения. И в первый раз, когда Марта обмякла в его объятиях и он увидел, как на ее лице, черты которого расплывались в силу максимальной близости, ожили и потянулись к нему ее губы, до того бывшие неподвижными, словно нарисованные цветы, он не связал с ней своего будущего, но вся сила его желания сосредоточилась на ней и теперь была связана именно с ее обликом. Губы, протянутые ему навстречу, казались посланием мира, лишенного страсти, но переполненного желанием, которым его сердце могло бы удовольствоваться. Он ощутил это словно чудо. Его сердце забилось, испытывая нечто, что он чуть было не принял за любовь. Когда он почувствовал прикосновение к полнокровной эластичной плоти ее уст, он долго ласкал их собственными губами, отдавшись этому так, словно это были не уста, а сама дикая свобода, а потом яростно впился в них зубами. Она стала его любовницей в тот же день. Прошло некоторое время, их любовное согласие было нерушимым. Но узнав ее получше, он мало-помалу утратил интуитивное ощущение странности, которое открылось ему в ней поначалу и которое, склонившись над ее устами, он все еще пытался порой воскресить. Так что Марта, привыкшая к сдержанности и холодности Мерсо, так и не поняла, отчего однажды в переполненном трамвае он попросил о поцелуе. Ошеломленная этой просьбе-

бой, она ее безропотно исполнила. И он взял ее губы так, как любил это делать, сперва лаская их своими губами, потом неспешно покусывая. «Что это с тобой?» – позже спросила она. Он улыбнулся короткой многозначительной улыбкой и проговорил: «Хочется похулиганить», после чего замкнулся. Его манера выражаться также была для нее загадкой. После любовных объятий, в ту минуту, когда в освобожденном от желания и расслабленном теле дремлет сердце, полное разве что нежной привязанности, напоминающей ту, что испытывают по отношению к грациозной собачке, Мерсо с улыбкой говорил ей: «Здравствуй, видение».

Марта была машинисткой. Она не любила Мерсо, но была к нему привязана в той мере, в которой он возбуждал в ней любопытство и льстил ее самолюбию. С того дня, как Эммануэль, которого Мерсо ей представил, сказал о своем друге: «Знаете, он неплохой тип, этот Мерсо. У него есть кое-что за душой. Но он держит ее на замке. А потому многие ошибаются», она взглянула на Патриса с любопытством. А поскольку он доставлял ей удовольствие, ей больше ничего не было нужно, она как могла приспосабливалась к этому любовнику, немногословному, не устраивающему скандалов, который никогда ничего от нее не требовал и принимал ее у себя, когда она того хотела. Правда, она испытывала легкое смущение в присутствии этого неуязвимого, лишенного слабостей человека.

Однако в этот вечер, выйдя из кинотеатра, Марта поняла: чем-то его все же можно пронять. Оставшись у него, промолчала остаток вечера. Ночью он до нее не дотронулся. Но с этой минуты она стала пользоваться своим открытием. Марта и раньше уже признавалась, что у нее были любовники. А сейчас смогла представить доказательства.

На следующий день она зашла к Мерсо, возвращаясь с работы, чего не делала прежде. Он спал на своей медной кровати, она не стала его будить, просто села у него в ногах. Он был в рубашке, из-под закатанных рукавов виднелась нижняя часть мускулистых загорелых рук. Он ровно дышал, одновременно вздымались и грудь, и живот. Две складки между бровями придавали ему выражение силы и упрямства, которое было ей хорошо известно. Завитки волос падали на его очень загорелый лоб, на котором вздулась, как бы рассекая его, вена. Он лежал на спине, на своих могучих плечах, вытянув руки вдоль тела, согнув одну ногу, и напоминал одинокого и упрямого бога, брошенного спящим в какой-то чужой, неведомый мир. При виде его полных, припухших ото сна губ она почувствовала, как в ней родилось желание. В эту минуту он приоткрыл глаза и, снова закрывая их, беззлобно промолвил:

– Не люблю, когда смотрят, как я сплю.

Она бросилась ему на шею и стала целовать. Он остался неподвижен.

– О, дорогой, еще одна из твоих причуд.

– Будь добра, не зови меня дорогим. Сколько раз тебе повторять.

Марта прилегла рядом и стала разглядывать его профиль.

– Интересно, на кого ты похож, когда лежишь вот так.

Он поправил брюки и повернулся к ней спиной. Часто у киногероев, у незнакомых людей, у актеров, игравших в пьесе, Марта подмечала жесты и мимику, характерные для Мерсо. В этом он усматривал влияние, которое имел на нее, но сегодня это ее качество, всегда льстившее его мужскому самолюбию, раздражало. Она прижалась к его спине и ощутила животом и грудью весь жар его разгоряченного сном тела. Быстро вечерело, комната погружалась в сумерки. Из глубины дома долетало множество звуков: плач наказанных детей, кошачье мяуканье, стук хлопающих дверей. Свет уличных фонарей падал на балкон. Редко проходил трамвай. Каждый раз после него в комнату тяжелыми волнами накатывал дух квартала, состоящий из запаха анисовой водки и чада жареного мяса.

Марта почувствовала, что засыпает.

– У тебя обиженный вид, – сказала она. – Уже вчера… Потому я и пришла. Молчишь? – Она потрясла его.

Мерсо остался неподвижен, он силился разглядеть в уже сгустившейся темноте туфлю, поблескивающую под ночным столиком.

– Знаешь, – продолжала Марта, – этот вчерашний тип… Так вот, я оговорила себя. Он не был моим любовником.

– Нет? – переспросил Мерсо.

– Ну, не совсем.

Он молчал. Вчерашние улыбки, жесты стояли перед глазами. Мерсо стиснул зубы. Затем встал, распахнул окно и снова сел на постель. Она прижалась к нему, сунула руку ему за пазуху и стала ласкать его грудь.

– Сколько у тебя их было? – наконец произнес он.

– Ты мне надоел.

Мерсо замолчал.

– Ну с десяток, – ответила она.

Мерсо, как всегда после сна, потянуло курить.

– Я их знаю? – поинтересовался он, доставая пачку сигарет.

На месте лица Марты виднелось белесое пятно. «Как во время любви», – мелькнуло в голове.

– Некоторых да. Местных.

Она терлась головой о его плечо и говорила голосом маленькой девочки, что всегда трогало Мерсо.

– Послушай, малыш, – начал он, закуривая, – пойми меня. Обещай назвать мне их имена. А тех, что я не знаю, обещай показать, если мы с ними повстречаемся.

С возгласом «О, нет!» Марта отпрянула от него.

Под окнами раздался резкий сигнал автомобиля, раз, второй, третий… Кого-то еще долго вызывали. Где-то в глубинах ночи звякнул трамвай. Холодно тикал будильник, стоящий на мраморе туалетного столика.

– Я прошу тебя об этом, потому что знаю себя, – с усилием выдавил Мерсо. – Если я не буду знать, кто они, это будет повторяться с каждым встречным. Я стану думать об этом, представлять себе. Вот в чем дело. Навоображаю себе бог знает чего. Не знаю, понимаешь ли ты.

Она прекрасно понимала. И назвала имена. Только одно было ему незнакомо. Последним оказался молодой человек, которого Мерсо знал. О нем-то он и подумал, поскольку тот был красавцем, пользующимся успехом у женщин. В любви Мерсо поражала, во всяком случае, поначалу, та невероятная близость, на которую соглашается женщина, то, что она позволяет плоти по сути чужого ей человека проникнуть в свое лоно. В этом своего рода легкомыслии, в этом головокружительном забвении и состояла чарующая и вместе с тем коварная сила этого чувства. Наличие такой вот близости между Мартой и ее любовником он и воображал себе. В эту минуту она села на край кровати и, поставив левую ногу на правую ляжку, сняла одну туфлю, затем таким же образом сняла другую, одна упала на бок, другая встала на высокий каблук. Мерсо почувствовал, как у него перехватило дыхание. Внутри все заныло.

– С Рене ты делала так же? – улыбаясь, спросил он.

Марта подняла на него глаза.

– Что ты там себе придумываешь. Мы только раз были вместе.

– А! – отозвался Мерсо.

– Я и туфель-то не снимала.

Мерсо встал с кровати. Его воображение тут же нарисовало Марту распростертой точно на такой же постели, одетой и целиком, без остатка отдававшейся другому.

– Заткнись, – крикнул он и кинулся к окну.

– О, милый! – проговорила она, сев на постели и свесив ноги в чулках.

Мерсо понемногу успокаивался, глядя на игру света фонарей на трамвайных рельсах. Никогда еще он не ощущал себя настолько связанным с Мартой. И, понимая, что и сам еще больше приоткрывается ей, сгорал от ущемленной гордости. Он вернулся к ней и большим и указательным пальцами ухватился за теплую кожу у нее на шее, за ухом.

– А этот Загрей, он кто? Он единственный, кого я не знаю.

– С ним я и поныне вижусь, – смеясь, отвечала она.

Мерсо стиснул пальцы, больно ущипнув ее.

– Это мой первый, понимаешь. Я была совсем юной. Он чуть постарше. Теперь у него нет ног. Он одинок. Я иногда навещаю его. Он человек добрый, образованный. Все время читает. Тогда он был студентом. Веселый. Такой вот, что еще сказать? Впрочем, он выражается, как ты. Говорит: «Иди сюда, видение».

Мерсо задумался. Он отпустил Марту, она откинулась на спину и сомкнула веки. Немного погодя он сел рядом с ней и, склонившись над ее приоткрытыми губами, принялся разглядывать, ища признаки ее животной божественности и пытаясь избавиться от страдания, которое считал недостойным себя. Но дальше поцелуя дело не пошло.

Когда Патрис провожал Марту домой, она рассказала о Загрее:

– Я говорила ему о тебе. Сказала, что мой возлюбленный очень красив и силен. На что он ответил, что хотел бы с тобой познакомиться. «Мне легче дышать, когда я вижу прекрасное тело», – так он сказал.

– Еще один непростой тип, – отозвался Мерсо.

Марта хотела доставить ему удовольствие и ждала подходящего момента, чтобы, в свою очередь, устроить ему сцену ревности, которую задумала еще раньше.

– Непростой, но не настолько, как твои подружки.

– Какие подружки? – искренне удивился Патрис.

– Ну, те уродины, сам знаешь какие.

Уродинами она называла Розу и Клер, студенток из Туниса, с которыми он познакомился и с которыми, единственными, поддерживал переписку. Он улыбнулся и положил руку на ее затылок. Так они и шли. Марта жила далеко, возле полигона. Улица была длинной и в верхней части наполнена светом, льющимся из множества окон, тогда как в нижней части, где все магазины и лавки были закрыты, – совершенно темна и жутковата.

– Скажи, дорогой, ты их не любишь, этих уродин?

– Нет, конечно, – ответил Мерсо.

Он по-прежнему обнимал Марту за затылок, чувствуя тепло ее волос.

– Значит, меня любишь, – без всякой связи проговорила она.

Мерсо внезапно оживился и громко рассмеялся.

– Вот уж вопрос так вопрос.

– Отвечай.

– Но в нашем возрасте не любят. Нравятся друг другу, вот и все. Позднее, когда стареют, становятся немощными, тогда уж любят. А в нашем возрасте только думают, что любят. Не более того.

Она стала грустной, но он поцеловал ее. «До свидания, дорогой», – на прощание проговорила Марта. Мерсо пустился в обратный путь по темным улочкам. Он шел быстро, чувствуя игру мускулов ног под гладкой тканью брюк; вспомнился разговор о безногом Загрее. Ему захотелось познакомиться с ним, и он решил попросить Марту представить его.

В первый раз, когда Мерсо увидел Загрея, все в нем вскипело. Однако Загрей постарался приглушить остроту ситуации, возникшей в связи со знакомством двух любовников одной женщины, случившимся в ее присутствии. Он вел себя так, будто они с Мерсо были какими-то то ли сообщниками, то ли напарниками, называл Марту «неплохой девчонкой» и громко смеялся.

Мерсо уперся и ни в какую не поддавался на его желание как-то разрядить обстановку. Однако стоило им с Мартой остаться одним, он грубо высказал ей все, что об этом думал.

– Получеловеков не люблю. Мне неловко в их присутствии. Мешает думать. А уж такие, которые еще и много из себя воображают, так и вовсе не для меня.

– Да, тебя послушать… – ответила Марта, которая не поняла, о чем он.

Однако впоследствии молодой смех Загрея, вначале отвративший его, показался Мерсо привлекательным, вызвал интерес. Да и плохо скрытая ревность, поначалу направлявшая Патриса в его суждениях, исчезла, когда он пригляделся к Загрею. Марте, которая к месту и не к месту по простоте душевной поминала времена, когда была близка с Загреем, он посоветовал:

– Не теряй даром время. Я не могу испытывать ревность к типу, у которого нет ног. Сколько бы я ни представлял себе вас вместе, его я вижу разве что большим червяком, который ползает по тебе. Сама понимаешь, от этого только смешно становится. Так что, ангел мой, нечего стараться.

Позже он один навестил Загрея. Тот много и быстро говорил, то смеялся, то замолкал. Мерсо как-то очень уютно чувствовал себя среди книг и медных марокканских изделий, в большой комнате, где горел огонь в камине, отбрасывавший отблески на невозмутимый лик кхмерского Будды, который украшал письменный стол. Он любил слушать Загрея. Его поражало в калеке то, что тот думал, прежде чем что-то сказать. Сдерживаемой страстности, жизни, бившей ключом и оживлявшей этот нелепый человеческий обрубок, было довольно, чтобы удерживать Мерсо подле него и порождать в нем нечто, что при известном допущении он мог бы принять за дружбу.

Глава 4

В то воскресенье, после полудня, наговорившись и нашутившись, Ролан Загрей тихо сидел у камелька в своем большом кресле на колесиках, укрытый белым одеялом. Мерсо, опершись о книжный шкаф, смотрел сквозь белые шелковые занавески на небо и деревенский вид за окном. Он шел сюда под мелким моросящим дождиком и, опасаясь, что явился слишком рано, целый час бродил по полям. За окном творилось что-то немыслимое; не слыша порывов ветра, Мерсо видел, как в небольшой долине к земле пригибаются деревья. Со стороны дороги донеслось лязганье и кряхтенье повозки молочника. Почти тотчас налетел ливень. Поток воды, словно густое растительное масло заливавший стекла, гулкий удаляющийся стук лошадиных копыт, более ясно различаемый теперь, чем грохотание повозки, глухой и настойчивый шум, производимый дождем, – все это плюс человек-обрубок возле огня и тишина в комнате обретало лицо прошлого, чья меланхолия проникала в сердце Мерсо подобно тому, как незадолго до этого поступали вода в его легкие туфли и холод в его тело, плохо защищенное тонкой материей. Несколькими мгновениями до того испаряющаяся тут же дождевая вода – ни дождь и ни туман – омыла его лицо, словно чья-то легкая рука, отчего глаза с залегшими под ними тенями стали как-то особенно выделяться на нем. Он перевел взгляд на небо, бездонная глубина которого бесперебойно поставляла все новые темные тучи, на смену одним то и дело приходили другие. Складка на его брюках от влаги исчезла, а вместе с нею ушли и тепло, и доверие, которые всякий нормальный человек носит в себе в мире, созданном по его мерке. Оттого-то он и подсел поближе к огню, в кресло напротив Загрея, стоящее в тени высокого камина, так, чтобы по-прежнему быть напротив неба. Хозяин взглянул на него, отвел взгляд и бросил в огонь шарик из бумаги, который держал в левой руке. От этого жеста, нелепого, как и все остальные жесты этого получеловека, Мерсо стало не по себе. Загрей молча улыбнулся. А потом вдруг приблизил к нему свое лицо. Отблески огня играли лишь на его левой щеке, голос и взгляд калеки потеплели.

– У вас усталый вид, – проговорил он.

– Верно, мне скучно, – смутился Патрис, помолчал, встал, подошел к окну и добавил: – Тянет то ли жениться, то ли свести счеты с жизнью, то ли подписаться на «Иллюстрасьон». Словом, совершить нечто.

– Вы бедны, Мерсо, – с улыбкой продолжал Загрей, – в этом причина половины вашего отвращения к жизни. А второй половиной вы обязаны дурацкому согласию с собственной бедностью.

Мерсо стоял спиной к нему и смотрел на гнущиеся под ветром деревья. Загрей погладил одеяло, укрывавшее его ноги.

– Вам ведь известно, о человеке судят по тому равновесию, которое он сумеет создать между своими телесными нуждами и духовными запросами. В данный момент вы судите о себе и приходите к неутешительному выводу. Вы дурно живете. Как варвар. – Он повернул к Патрису голову. – Вам ведь нравится водить машину?

– Да.

– И к женщинам вы неравнодушны?

– Когда они красивы.

– Именно это я и имел в виду. – Загрей перевел взгляд на огонь. – Все это… – помолчав, вновь было заговорил он, но осекся.

Мерсо обернулся и, прислонившись к раме, которая слегка подалась, ждал окончания фразы. Загрей молчал. Ранняя муха забилась о стекло. Патрис повернулся к стеклу, схватил ее, потом отпустил.

– Я не любитель серьезных разговоров, – глядя на него, с некоторым колебанием продолжил Загрей. – Оттого что серьезно можно говорить только об одном: об оправдании своей жизни. А я ума не приложу, как можно было бы оправдать в собственных глазах отсутствие ног.

– Я тоже, – не оборачиваясь, отозвался Мерсо.

Вдруг брызнул заливистый смех Загрея.

– Спасибо. Так вы, пожалуй, не оставите мне вообще никаких иллюзий. – И, сменив тон, добавил: – Но у вас есть причина быть жестоким. Однако хотелось бы сказать вам кое-что. – Он вдруг стал серьезнее и замолчал.

Мерсо вернулся в кресло, сел напротив него.

– Ну, так слушайте, – вновь быстро заговорил Загрей, – взгляните на меня. Мне помогают отправлять мои естественные нужды. Затем подмывают и вытирают. Хуже того, я плачу за это. Так вот, я ничего не предприму, чтобы укоротить свою жизнь, в которую так верую. Я бы согласился и на худшее, быть слепым, немым, все что захотите, лишь бы ощущать внутри то мрачное и обжигающее пламя, которое и есть я, причем живое «я», и могу лишь быть благодарным жизни за то, что мне все еще позволено гореть. – Он откинулся назад, слегка задыхаясь. Его лицо находилось теперь в тени, хорошо различим был только белесый отблеск одеяла на его подбородке. – А вы, Мерсо, с вашим-то телом… Да ваша единственная обязанность – жить и быть счастливым.

– Не смешите меня, – ответил Мерсо. – Да я по восемь часов в день торчу на работе! Другое дело, будь я свободен!

Заговорив, он оживился, и, как это с ним иногда бывало, ощутил прилив надежды, особенно сильный сегодня, когда чувствовалась поддержка собеседника. Вера в себя возвращалась к нему вместе с возможностью довериться кому-то. Он принялся гасить сигарету, давя ее в пепельнице, и продолжал уже гораздо спокойнее:

– Несколько лет у меня все было впереди, со мной говорили о моей жизни, о моем будущем. Я со всем соглашался. Делал то, что от меня требовали. Но уже тогда все это было мне чуждо. Постараться стать безличным – вот что меня занимало. Отказаться от счастья, быть «против». Я туманно выражаюсь, но ведь вы меня понимаете, Загрей.

– Да, – отозвался тот.

– И даже теперь, будь у меня время… Только бы вырваться, а там все пойдет само собой. Все остальное – это так, вроде дождичка, что поливает камешек. Освежило, и на том спасибо. Пройдет день, он снова раскалится от солнца. Мне всегда казалось, что именно это и есть счастье.

Загрей скрестил руки. В наступившей тишине казалось, что дождь припустил еще сильнее; разбухшие тучи уже окончательно сомкнулись в одну непроницаемую пелену. В комнате стало еще темнее, словно небеса и в нее влили определенную долю мрака и тишины.

– У каждого тела – тот идеал, которого оно заслуживает, – заговорил хозяин дома. – Чтобы выдержать идеал камня, так сказать, нужно обладать телом полубога.

– Верно, – промолвил слегка удивленный Мерсо, – но не стоит преувеличивать. Я много времени уделил спортивным занятиям, вот и все. Да к тому же способен далеко зайти в сластолюбии.

Загрей задумался.

– Что ж, – проронил он наконец, – тем лучше для вас. Осознавать пределы своих телесных возможностей – в этом и состоит подлинная психология. Впрочем, это неважно. У нас нет времени, чтобы быть самими собой. Его хватает лишь на то, чтобы быть счастливыми. А не хотите ли вы, кстати, пояснить мне свою мысль об обезличивании?

– Нет, не хочу, – отрезал Мерсо и умолк.

Загрей хлебнул чая и отставил почти полную чашку. Он пил очень мало, чтобы мочеиспускание происходило не чаще раза в день. Силой воли ему почти удавалось свести к минимуму унижения, которые приносил ему каждый день. «Дело не в экономии. Это рекорд, такой же, как и другие», – признался он однажды Мерсо. Несколько капель дождя попали в камин. Пламя зашипело. Погода испортилась не на шутку, дождь нещадно хлестал по окнам. Где-то хлопнула дверь. По дороге, как сверкающие крысы, пробирались автомобили. Один из них долго сигналил, и этот гулкий и мрачный звук еще сильнее раздвинул влажное пространство мира, так что, когда он смолк, само воспоминание о нем стало для Мерсо составляющей того молчания, того отчаяния, которые он только и получал с небес.

– Прошу прощения, Загрей, но я давно уже не касался некоторых вещей. Так что и не знаю, как сказать. Когда я взираю на свою жизнь и ее потаенную подкладку, то испытываю такое ощущение, будто внутри меня дрожат слезы. Как на этом небе. Там одновременно и дождь, и солнце, и полдень, и полночь. Загрей! Я думаю о тех устах, которые целовал, о бедном ребенке, которым был, о безумии жизни и честолюбия, которое овладевает мной порой. Я – все это одновременно. Уверен, в иные минуты вы меня и вовсе не узнали бы. Непомерно переживаю горе, чрезмерно ощущаю счастье… Не знаю, как сказать.

– Словом, одновременно играете на нескольких досках? – подсказал ему хозяин дома.

– Да, но не как любитель, – на этот раз запальчиво ответил Мерсо. – Всякий раз, как я думаю об этом шествии во мне то горести, то радости, мне ясно, еще как ясно, что партия, которую я разыгрываю, самая серьезная, самая захватывающая из всех.

Загрей улыбался.

– Значит, у вас есть какое-то занятие, так сказать, дело всей жизни?

– Я должен правильно распорядиться своей жизнью, – бросил Мерсо. – Моя работа, эти восемь часов, которые другим не в тягость, служат мне помехой. – Он замолчал и зажег сигарету, которую до того крутил в руках. – И все же, – продолжил он, еще не погасив спичку, – будь у меня достаточно силы и терпения… – Мерсо дунул на спичку и раздавил ее обгоревший кончик о тыльную сторону левой кисти. – Я знаю, до какой жизненной ступени мог бы добраться. Я бы не стал превращать свою жизнь в эксперимент. Я бы позволил ей произвести эксперимент со мной… Да, знаю, какая страсть наполнила бы меня со всей своей силой. Прежде я был слишком молод. Держался середины. Ныне я понял, что действовать, любить, страдать – это и есть жить по-настоящему, но жить в той мере, в которой ты прозрачен для

судьбы и принимаешь ее, свою судьбу, как неповторимый, только твой отсвет, исходящий от радуги радостей и страстей, которая одна и та же для всех.

– Да, но вы не можете так жить, продолжая ходить на службу… – заметил Загрей.

– Верно, не могу, оттого что я нахожусь в состоянии бунта, а это дурно.

Загрей промолчал. Дождь кончился, но на смену тучам пришла ночь, и комната почти полностью погрузилась во тьму. Только огонь освещал лица калеки и его гостя. Загрей, выдержав долгую паузу, заговорил снова: «Много горя ждет тех, кто вас любит…», но тут же осекся, потому как Мерсо буквально подскочил от этих слов.

– Любовь, которую ко мне испытывают, ни к чему меня не обязывает, – донеслось из темноты.

– Это верно, – продолжал Загрей, – я просто констатирую. Однажды вы останетесь один, только и всего. Но сядьте и выслушайте меня. То, что я услышал от вас, меня поразило. Особенно одна вещь, потому как она подтверждает все то, чему научил меня мой жизненный опыт. Я вас очень люблю, Мерсо. За ваше тело. Это оно научило вас всему. Думаю, сегодня я могу открыто говорить с вами.

Мерсо медленно сел, его лицо попало в круг красноватых отблесков от догорающих поленьев. Внезапно возникло ощущение, что в оконном прямоугольнике за шелковыми занавесками открылся некий коридор, ведущий в ночь. За стеклами и впрямь что-то изменилось, словно напряжение, до сих пор царившее там, спало. Молочный свет проник в комнату, Патрис узнал на ироничных устах Бодхисаттвы и на узорных медных изделиях знакомое неуловимое сияние звездных лунных ночей, которые так любил. Было похоже, что ночь растеряла всю свою подкладку из туч и засияла присущим ей спокойным блеском. Автомобили медленней катили по дороге. В глубине долины внезапно раскричались птицы, готовясь ко сну. Перед домом слышались чьи-то шаги, в этой ночи, разлитой по миру, словно молоко, звуки казались более протяжными и ясными. Между красноватыми языками пламени, трепетом пробуждающегося утра и тайной жизнью обычных вещей завязывались неуловимые поэтические связи, готовящие Мерсо к тому, чтобы другое сердце с любовью излилось ему. Он чуть откинулся на кресле и выслушал необычную историю жизни Загрея, не сводя глаз с неба.

– Я уверен, – начал тот, – что невозможно быть счастливым без денег. Только так. Я не сторонник ни легких решений, ни романтического подхода к жизни. Мне по душе самому во все войти и разобраться. Так вот, я подметил у некоторых представителей элиты некий духовный снобизм, который заключается в том, чтобы думать, будто деньги не являются необходимым условием счастья. Это глупо, ложно и в известной мере подло. Видите ли, Мерсо, для человека, родившегося в приличной семье, быть счастливым несложно. Достаточно идти проложенным до тебя путем, но не со стремлением к самоотречению, характерным для стольких людей, несправедливо почитаемых великими, а со стремлением к счастью. Однако вот в чем штука: чтобы быть счастливым, требуется время. Много времени. Счастье, оно ведь сродни долготерпению. Мы чаще всего тратим свою жизнь на зарабатывание денег, а надо бы наоборот – с помощью денег зарабатывать, то есть высвобождать для себя время. Это единственная задача, которая интересовала меня. Точно и четко поставленная.

Загрей замолчал, закрыл глаза. Мерсо упорно смотрел на небо. В какой-то момент стали более различимы уличные шумы вперемешку со звуками, стекающимися к дому со всей округи.

– О! Мне хорошо известно, что большинство богатых людей не имеют никакого понятия о счастье, – неспешно продолжил Загрей. – Но вопрос не в этом. Иметь деньги означает иметь время. Это мой главный посыл. Время покупается. Все покупается. Быть или стать богатым означает иметь время, чтобы быть счастливым, когда ты этого достоин. – Он посмотрел на Патриса. – В двадцать пять лет, Мерсо, я уже знал, что всякий индивид, чувствующий, что такое счастье, наделенный волей к нему и потребностью в нем, имеет право быть богатым.

Потребность в счастье уже тогда казалась мне тем, что есть наиболее благородного в сердце человека. На мой взгляд, все ею оправдывается. Достаточно обладать чистым сердцем.

Загрей, не сводящий глаз с Мерсо, вдруг заговорил тише, голос его зазвучал холодно и жестко, словно он желал вытащить собеседника из состояния безразличия, в котором тот, казалось, пребывал.

– В двадцать пять я принялся сколачивать состояние. Не останавливался и перед мошенничеством. Да я бы ни перед чем не остановился. На это ушло несколько лет. Представьте себе, Мерсо, у меня наличными набралось около двух миллионов. Мир открывался мне. А вместе с этим жизнь, о которой я пылко мечтал в одинокие часы… – После небольшой паузы Загрей заговорил снова, голос его зазвучал глуше: – Жизнь, которая была бы у меня, не попади я в аварию, молниеносно лишившую меня ног. Я не успел завершить начатое… А теперь… все кончено. Вы, конечно, понимаете, что в мои намерения не входило влачить свои дни вот так. Двадцать лет мои деньги хранятся здесь, подле меня. Я жил скромно. Сумма едва ли уменьшилась. – Он провел пальцами по векам и добавил чуть тише: – Не стоит пачкать жизнь поцелуями калеки.

С этими словами Загрей открыл небольшой сундук, придвинутый к камину, и показал спрятанный в нем стальной сейф темного цвета с торчащим в скважине ключом. На сейфе лежали белый конверт и массивный черный револьвер. На невольно любопытный взгляд, который Мерсо устремил внутрь сундучка, Загрей ответил улыбкой. Так просто! В те дни, когда он слишком остро чувствовал трагедию, лишившую его возможности прожить свою жизнь так, как ему хотелось, он выкладывал перед собой письмо, под которым не была проставлена дата и которое являлось частью его желания свести счеты с жизнью. Затем вынимал револьвер, приставлял его то ко лбу, то к вискам и с помощью холодного ствола умерял охвативший его жар. Долго сидел он так, водя пальцами по спусковому крючку, ощупывая курок, – до тех пор, пока мир не смолкал вокруг него и он не начинал дремать, всем своим существом сливаясь с холодным и солоноватым на вкус железом, которое было способно изрыгнуть смерть. Чувствуя, что достаточно поставить под письмом дату и выстрелить, испытав нелепую легкость ухода из жизни, он довольно живо воображал себе во всем непоправимом ужасе, что означает для него отказ от жизни, и уходил в полусон с желанием продолжать гореть в достоинстве и тишине. Потом, окончательно просыпаясь, со ртом, полным уже горькой слюны, он лизал ствол револьвера, засовывал в него язык и под конец хрипел от невообразимого счастья, которое состояло в том, что он жив.

– Нечего и говорить, я неудачник. Но раньше у меня был довод: все ради счастья против мира, полного глупости и насилия. – Загрей рассмеялся. – Видите ли, Мерсо, вся низость и жестокость нашей цивилизации измеряется глупой аксиомой, что у счастливых народов отсутствует история.

Было уже очень поздно. Мерсо плохо соображал. Его голова гудела от лихорадочного возбуждения. Во рту стояло гадкое послевкусие от выкуренных сигарет. Он по-прежнему держался в тени. За все время, пока хозяин дома говорил, он впервые посмотрел в его сторону.

– Мне кажется, я понял, – проговорил он.

Калека, устав от долгого усилия, тяжело дышал. После паузы он с трудом выговорил:

– Хотелось бы быть уверенным в этом. Не заставляйте меня говорить, что деньги делают людей счастливыми. Я лишь хочу сказать, что для определенной категории людей счастье возможно (при условии владения своим временем) и что иметь деньги означает быть свободным от них.

Укрытый одеялами, он как-то весь осел на своем кресле и уменьшился в размерах. Ночь окончательно вступила в свои права, и теперь Мерсо почти не видел Загрея. Последовало долгое молчание; желая возобновить разговор и убедиться в присутствии своего собеседника, Патрис сказал, вставая со стула и как бы наугад:

– Дело довольно рискованное.

– Да, – отвечал глухо Загрей. – Лучше ставить на эту жизнь, чем на какую-либо другую. Для меня это, безусловно, нечто иное.

«Ничтожество. Ноль», – подумал Мерсо.

– Вот уже двадцать лет, как я не могу приступить к познанию того, что такое счастье. Эта жизнь, которая сжигает меня изнутри… Я так и не смог познать ее в полной мере, а в смерти меня пугает та уверенность, которую она принесет с собой, уверенность в том, что моя жизнь обошла меня стороной. Я был где-то сбоку, по соседству с нею. Понимаете? – И тут же, без какой-либо паузы, из темноты донесся очень молодой смех: – Это означает, Мерсо, что в глубине души, при моем-то состоянии, во мне все еще живет надежда.

Патрис шагнул к столу.

– Подумайте обо всем этом, подумайте… – проговорил Загрей.

– Свет включить? – вместо ответа спросил Мерсо.

– Будьте так добры.

Ноздри и круглые глаза хозяина дома при свете побледнели. Он с трудом дышал. На протянутую Мерсо для рукопожатия руку он ответил тем, что тряхнул головой и ненатурально рассмеялся.

– Не принимайте меня слишком всерьез. Знаете, меня всегда раздражает трагический вид, который появляется у людей при виде того, что от меня осталось.

«Он смеется надо мной», – пришло в голову Патрису.

– Трагически воспринимайте только счастье. Подумайте об этом, Мерсо, у вас чистое сердце. Подумайте об этом. – Он заглянул ему в глаза и чуть погодя добавил: – К тому же у вас две ноги, что только на пользу делу. – Загрей улыбнулся и позвал помощника, дернув за сонетку. – Уходите, дружок, мне нужно пописать.

Глава 5

Вернувшись этой воскресной ночью домой и мысленно по-прежнему пребывая вместе с Загреем, еще до того, как переступить порог своей комнаты, Мерсо услышал всхлипывания, доносившиеся из комнаты Кардоны, бочара. Он постучал. Ему не ответили. За дверью продолжали стонать. Он оставил колебания и вошел. Бочар плакал, свернувшись клубочком на кровати и громко икая, как ребенок. В ногах у него лежала фотография старой женщины.

– Она умерла, – выдавил он из себя с большим усилием, увидев Мерсо.

Это было правдой, только с момента ее смерти утекло немало воды.

Кардона был глуховатым, наполовину немым, злым и грубым человеком. До сих пор он проживал вместе с сестрой. Но, устав от его злобы и деспотизма, она переехала к детям. А он остался один, беспомощный настолько, насколько только может быть беспомощным мужчина, которому предстояло научиться самостоятельно вести свое хозяйство и готовить еду. Сестра его, однажды столкнувшись с Мерсо на улице, рассказала о ссорах с Кардоной. Ему было тогда тридцать лет, ростом он не вышел, но был ладный, довольно недурной наружности. С детства он жил с матерью. Она была единственным человеком, перед которым Кардона скорее из суеверия, чем осознанно, испытывал некоторую робость. Он любил мать своей неразвитой душой, то есть жестко и порывисто в одно и то же время, и лучшим доказательством его привязанности к ней были подтрунивания над пожилой женщиной, когда он на чем свет стоит клял в ее присутствии кюре и Церковь. Кардона так долго оставался при матери, что это означало его неспособность внушить другой женщине хоть сколько-нибудь серьезного чувства. Редкие связи и походы в публичный дом позволяли ему все же считать себя мужчиной.

Мать умерла. С этого момента он проживал с сестрой в комнате, которую им сдал Мерсо. Оба были одиноки, тянули, как могли, лямку беспросветной и неуютной жизни. Общение друг

с другом давалось им с трудом. А потому они порой дни напролет не произносили ни одного слова. Но вот и сестра сбежала от такой жизни. Он был слишком горд, чтобы жаловаться и просить ее вернуться, и жил один. По утрам завтракал в кафе, ужинал дома колбасными изделиями. Сам стирал свое белье и синюю рабочую форму. Но комнату запустил до последней степени. Порой, особенно вначале, по воскресным дням он вооружался тряпкой и пытался привести помещение в порядок. Но мужская неопытность в этих делах подводила его, и какая-нибудь заплесневелая кастрюля на камине, прежде украшенном цветами и безделушками, свидетельствовала о полной запущенности. То, что он называл наведением порядка, на самом деле состояло в том, чтобы скрыть беспорядок, а именно накрыть подушками какие-то тряпки, выложить на буфет кучу самых причудливых предметов, ну и все в таком духе. А кончилось тем, что это ему надоело, он перестал даже стелить постель и спал со своей собакой на грязном и вонючем белье. Его сестра сообщила Мерсо: «В кафе он еще хорохорится. Но хозяйка сказала мне, что видела, как он плачет, стирая свое белье». И впрямь, каким бы толстокожим ни был этот человек, но и его проняло – ужас охватывал его в иные часы, заставляя измерить степень своего одиночества и ненужности. Сестра жила вместе с ним, по ее словам, разумеется, из жалости. Но он мешал ей встречаться с тем, кого она любила. В их возрасте это, конечно, не имело большого значения. Тот человек был женат. Он приносил для любимой цветы, сорванные с изгородей в предместье, апельсины и ликеры, которые доставались ему в качестве выигрыша на ярмарках. Конечно, он не был красавцем. Но с лица воду не пить, а он был таким славным. Она дорожила им, как и он ею. Разве любовь это что-то другое? Она стирала ему и старалась, чтобы он выглядел чистеньким. У него было обыкновение носить на шее платки, сложенные треугольником: она отстирывала их до невероятной белизны, и это составляло предмет ее гордости.

А брат был против того, чтобы ее друг бывал у них. Им приходилось видеться тайком. Однажды она все же приняла его дома. Брат застал их, разразился страшный скандал. Платок, сложенный треугольником, так и остался лежать в грязном углу комнаты, а сестра укрылась у сына. Мерсо пришла на ум история с платком, когда он взирал на запущенное донельзя помещение.

Когда-то бочара жалели за то, что он так одинок. Он делился с Мерсо своим намерением жениться. Речь шла о женщине старше его. Она, видно, испытывала тягу к ласке молодых и сильных рук… И получила их до женитьбы. Некоторое время спустя он отказался от своего намерения, заявив, что она слишком стара для него. И остался в одиночестве. Мало-помалу грязь взяла его в осаду, пошла на приступ, забралась в постель, а затем засосала его бесповоротно, как трясина. Жилье стало слишком уродливым даже для него. А для бедного человека, которого тошнит от собственного незавидного угла, всегда готов более доступный, богатый, освещенный и встречающий его с распростертыми объятиями дом: кафе. Кафе в этой части города были особенно оживленными. В них царило стадное тепло, являющееся последним прибежищем от ужасов одиночества и его подвохов. Молчаливый бочар обрел тут свой новый дом. Мерсо видел его в кафе каждый вечер. Бочар допоздна тянул с возвращением в мерзкую комнату. В кафе он обретал свое место среди людей. Но в этот вечер, видимо, не помогло и кафе. И вернувшись домой, он достал фотографию и попытался пробудить в себе отзвуки былого, ушедшего в небытие. Заново обрести ту, которую любил и над которой подшучивал. Оставшись один на один с бессмысленностью своей жизни, собравшись с последними силами, он осознал, каким счастьем было его прошлое. Так, во всяком случае, приходилось домысливать; при соприкосновении этого прошлого и жалкого настоящего он заплакал, а значит, высеклась искра божья.

Как всякий раз, когда он сталкивался с непроизвольным проявлением чувств, Мерсо был бессилен помочь и в то же время преисполнен уважения к животной боли другого человека. Он уселся на грязную и смятую постель и положил руку на плечо Кардоны. На покрытом

клеенкой столе перед ним в беспорядке стояли спиртовка, бутылка вина, ящик с инструментами, валялись крошки хлеба и кусок сыра. Потолок был затянут паутиной. Мерсо, со смерти своей матери ни разу не входивший в эту комнату, меркой грязи и запущенности оценивал путь, пройденный этим человеком. Окно, выходящее во двор, было закрыто. Другое чуть приоткрыто. Керосиновая лампа с подвесками в виде миниатюрных игральных карт отбрасывала ровный круг света на стол, ноги Мерсо и Кардоны и стул, стоящий у противоположной стены. Кардона между тем взял фотографию в руки, стал смотреть на нее, целовать и все приговаривал голосом не совсем здорового человека: «Бедная мамочка». Но жалел при этом себя. Его мать была похоронена на безобразном кладбище на другом конце города, которое Мерсо хорошо знал.

Перед тем, как уйти, он сказал, старательно выговаривая слова, чтобы быть понятым:

– Не-нужно-так-убиваться.

– Я потерял работу, – не без труда выговорил Кардона и, протянув фотографию Мерсо, треснувшим голосом добавил: – Я любил ее. – Мерсо перевел: «Она любила меня». Следующие слова – «Она умерла» – Мерсо понял как «Я одинок». – Я сделал этот бочонок ко дню ее ангела». – Кардона махнул рукой в сторону каминной полки, где стоял маленький деревянный бочонок, покрытый лаком, с медными обручами и блестящим краником. Мерсо выпустил плечо Кардоны, и тот повалился на грязные подушки. Из-под кровати донесся глубокий вздох, пахнуло чем-то непереносимо гадким. Оттуда медленно, разминая затекшие члены, вылез пес. Он положил на колени хозяина квартиры свою голову с длинными ушами и золотистыми глазами. Мерсо смотрел на бочонок. В этой гнусной комнате, где учащенно дышал нездоровый человек, чувствуя, как на него всем своим жарким телом навалился пес, Мерсо впервые за долгое время ощутил безысходность, которая поднялась внутри, как морской прилив. В нем нарастало отчаяние, он закрыл глаза. Сегодня перед лицом одиночества и горя его сердце говорило: «Нет». Он ощущал, что единственным подлинным в нем был его бунт, а все остальное было убожеством и самовлюбленностью. Улица, на которой вчера кипела жизнь, все еще полнилась звуками. От садов под террасой к окнам поднимался запах травы. Мерсо предложил Кардоне сигарету, и они молча закурили. Прошли последние трамваи, а с ними еще живые воспоминания о людях и огнях. Бочар прилег, и вскоре из его носоглотки, забитой невыплаканными слезами, донесся храп. Пес, свернувшись клубочком у ног Мерсо, порой вздрагивал и повизгивал, видимо, ему что-то снилось. Стоило ему пошевелиться, запах псины ударял в нос Патрису. Он прислонился к стене и пытался сдержать поднимавшийся в сердце бунт против жизни. Лампа коптила, дымила и наконец потухла, наполнив комнату удушливым запахом гари. Мерсо задремал, но вскоре открыл глаза и уставился на бутылку с вином. С большим усилием встал, подошел к окну в глубине комнаты и замер. Из самой сердцевины ночи к нему, через определенные промежутки молчания, летели призывы. Где-то на самом краю дремавшего мира зазвучал долгий корабельный сигнал, зовущий людей к отплытию, к тому, чтобы начать все по новой.

На следующий день Мерсо убьет Загрея, вернется к себе и проспит всю вторую половину дня. Проснется в лихорадке. Вечером доктор найдет, что он болен гриппом. Коллега по работе придет справиться о его здоровье и, уходя, захватит с собой его заявление об отпуске. Несколькими днями позже все устроится и со смертью Загрея: статья в газете, расследование… Все подтвердит версию самоубийства. Придет Марта и, вздыхая, скажет: «Бывают дни, когда хотелось бы быть на его месте. Но иногда требуется больше храбрости, чтобы жить, нежели чтобы убить себя». Неделей позже Мерсо отправится на пароходе в Марсель. Для всех он уедет на отдых во Францию. Из Лиона Марта получит письмо, в котором ей будет объявлено о разрыве отношений, отчего пострадает только ее самолюбие. Заодно он сообщит ей, что ему в центральной Европе предложено исключительно заманчивое место. Марта напишет Мерсо до востребования о том, как тяжело ей дается расставание с ним. Это письмо никогда до него

не дойдет, поскольку на следующий день после своего приезда в Лион его свалит жесточайшая лихорадка и он уедет на поезде в Прагу. В письме Марта сообщала, что после нескольких дней пребывания в морге тело Загрея предано земле и что потребовалось большое количество подушек, чтобы укрепить тело в гробу.

Часть вторая. Сознательная смерть

Глава 1

– Я бы хотел снять номер, – сказал вошедший по-немецки.

Портье, стоящий у доски с ключами, был отделен от холла гостиницы широким столом. Он внимательно оглядел приезжего: тот был в широком сером плаще и говорил, отвернув голову в сторону застекленной входной двери.

– Разумеется, сударь. На ночь?

– Нет, не знаю.

– Есть номера по восемнадцать, двадцать пять и тридцать крон.

Взгляд Мерсо был устремлен на улочку за стеклом. Он держал руки в карманах, голова не покрыта, волосы взлохмачены. В нескольких шагах слышался лязг трамваев, спускавшихся по Вацлавскому проспекту.

– Какой номер вы желаете, сударь?

– Не имеет значения, – ответил Мерсо, не отрывая взгляда от входной двери.

Портье снял ключ с доски и подал его гостю со словами «Номер двенадцать».

– Сколько стоит этот номер? – поинтересовался Мерсо, словно вдруг очнулся ото сна.

– Тридцать крон.

– Дорого. Я бы хотел номер за восемнадцать.

Портье, не говоря ни слова, снял другой ключ и обратил внимание постояльца на медную звезду, висевшую на нем: «№ 34».

Поднявшись в номер, Мерсо снял пиджак, ослабил галстук, не развязывая его, и машинально засучил рукава рубашки. Шагнул к зеркалу, висящему над умывальником, и увидел там осунувшееся лицо, слегка загоревшее в тех местах, которые не были покрыты многодневной щетиной. Его волосы, не знавшие щетки все то время, что он провел в дороге, падали в беспорядке на лоб, две глубокие морщины между бровями придавали его взгляду серьезное и мягкое выражение, которое его поразило. Только тогда ему пришло в голову оглядеться в жалкой комнатушке, составлявшей единственное, чем он владел на сегодняшний день. Липкие миры нищеты составили целую географическую карту на отвратительных обоях с большими желтыми цветами по серому фону. За огромной батареей повисли лохмотья жирной грязи. Выключатель был разбит, из него торчали медные провода. Над дешевой кроватью из древесно-стружечного материала свисал электрический провод, усеянный дохлыми мухами и заканчивающийся липкой лампочкой без абажура. Постельное белье, как убедился Мерсо, было свежим. Он достал из чемодана свои туалетные принадлежности и расставил их на умывальнике. Затем собрался было вымыть руки, но, открыв кран, снова закрыл его, отчего-то предпочитая сначала распахнуть окно, на котором не было занавесок. Оно выходило на задний двор с прачечной, образованный стенами других домов, у которых были не окна – оконца. На одном из них сохло белье. Мерсо лег и тут же заснул. Проснулся он в поту, разбитый и какое-то время кружил по комнате. Затем закурил, сел и тупо уставился на измятые брюки. Во рту было горько – от сна и от сигареты. Он снова оглядел комнату, почесывая под рубашкой бока. Перед лицом до такой степени запущенного помещения и собственного невообразимого одиночества его даже охватило чувство умиления. Оторванность ото всего, что было раньше, даже от лихорадки, четкое осознание всей нелепости и убожества, которые таятся в глубине даже самых благополучных жизней, послужили тому, что здесь, в этой самой комнате, перед ним вставало постыдное и тайное лицо свободы, которая рождается из чего-то подозритель-

ного и контрабандного. Вялые тягучие часы, слагаемые времени, булькали вокруг него, словно болотная жижа под ногами.

Раздался яростный стук в дверь, Мерсо встрепенулся и вспомнил: его разбудил такой же стук. Он открыл дверь и оказался лицом к лицу с низеньким рыжеволосым старичком, сгибающимся под тяжестью двух чемоданов, казавшихся огромными по сравнению с ним. Он задыхался от душившего его гнева, брызгал слюной сквозь редкие зубы, кляня, судя по всему, хозяина чемоданов. Мерсо вспомнил, что у одного из чемоданов, самого большого, сломана ручка и нести его – смертельный номер. Он хотел извиниться, но не знал, как выразить свое сожаление по поводу того, что носильщик оказался в летах. Только он начал подбирать слова, как старичок перебил его:

– С вас четырнадцать крон.

– За один день хранения? – удивился Мерсо.

Из долгих объяснений ему все же удалось понять, что старик взял такси. Он не посмел сказать, что и сам мог бы воспользоваться услугами такси, и заплатил, чтобы прекратить дальнейшие пререкания. Когда дверь за старичком закрылась, он почувствовал, как необъяснимые слезы подступают к горлу. Городские часы где-то совсем рядом пробили четыре. Значит, его сон длился два часа. Он понял, что от улицы его отделяет только дом, расположенный напротив, и кожей почувствовал, что там течет жизнь, глухая, таинственная, следующая своим законам. Рассудил, что самым лучшим сейчас будет отправиться на прогулку. Перед тем как выйти, долго мыл руки. Потом снова сел на край постели и с помощью пилки тщательно обработал ногти. Во дворе раздались два или три автомобильных гудка, таких резких, что Мерсо вскочил и вновь приблизился к окну. Только тут он увидел, что под домом напротив имеется крытый проход, который ведет на улицу. По-видимому, все уличные голоса, все звуки непостижимой жизни с той стороны дома, все шумы, производимые людьми, у которых были адреса, семьи, разногласия с родней, предпочтения в еде, хронические заболевания, весь гул человеческого муравейника, каждый из членов которого был неповторим и обладал своим голосом, навсегда разлученным с уродливым сердцем толпы, – словом все это проникало через крытый проход во двор и поднималось вверх, к окнам Мерсо, чтобы лопнуть там, подобно мыльным пузырям. Он ощутил, что от чувства собственной проницаемости, своей чуткости к каждому знаку, подаваемому миром, в нем образовалась глубокая трещина, через которую к нему проникала жизнь. Он снова закурил и с лихорадочной поспешностью стал одеваться. Когда застегивал пуговицы на пиджаке, от дыма защипало глаза. Он вернулся к умывальнику, протер глаза и обнаружил, что не причесан. Да вот только куда-то подевалась расческа. Во сне волосы спутались, и, как Мерсо ни старался привести их в порядок, у него ничего не вышло. Он спустился вниз, как был, непричесанным: спереди волосы падали ему на лицо, а сзади были спутаны. Мерсо чувствовал, что стал меньше ростом. Выйдя из гостиницы, он обошел ее, чтобы отыскать тот проход, который заметил из окна. Пройдя по нему, оказался на площади у старой ратуши, чьи готические стрелы, равно как и стрелы храма Девы Марии перед Тыном вырисовывались на темнеющем небе в душном вечернем воздухе Праги. Многочисленная толпа заполонила улочки с аркадами. Мерсо ловил взгляды проходящих женщин, надеясь, что хоть один из них позволит ему счесть себя еще способным сыграть в тонкую и трогательную игру под названием жизнь. Но люди, находящиеся в добром здравии, обладают природным даром избегать чрезмерно возбужденных взглядов. Дурно выбритый, непричесанный, со взглядом затравленного зверя, в измятых брюках и такой же рубашке, он утратил ту чудесную уверенность в себе, какую дарует хорошо подогнанный по фигуре костюм или автомобиль. Свет в городе уже приобретал медный вечерний оттенок, но еще задерживался на золоте барочных куполов, возвышавшихся над площадью. Он вошел в собор, навстречу ему пахнуло затхлым воздухом, сел на лавку. Свод тонул во тьме, но с золотых капителей лился позолоченный таинственный свет, который затекал в каннелюры колонн, делая различимыми упитанные лица ангелов и усмехающихся святых. Бла-

гость, да, благость, несомненно, царила здесь, но такая горькая, что Мерсо отбросило к выходу; стоя на ступенях собора, он вобрал в себя посвежевший воздух ночи, в которую собирался окунуться. Еще мгновение, и он увидел, как между шпилями Тынского храма зажглась во всей своей чистой первозданности первая звезда.

Мерсо принялся искать недорогой ресторан. Углубился в лабиринт менее оживленных темных улочек. Хотя днем не было дождя, пришлось лавировать между черными лужицами, образовавшимися среди булыжников, которыми были замощены некоторые из улиц. А вскоре стало моросить. Он был недалеко от центральных улиц Праги, об этом можно было судить по тому, что до него долетали крики разносчиков газеты «Народная политика». Он долго кружил на одном месте. И вдруг остановился. Странный запах добрался до него из глубин ночи. Острый, кисловатый, он пробуждал к жизни все его тревожные ощущения. Он проникал в него всеми доступными способами: через нос, через рот, через глаза. То он был далеко, затем оказался близко, на углу улицы, после стал витать между совсем потемневшим небом и блестящими, лоснящимися от света фонарей мостовыми, словно это был и не запах, а злой дух пражских ночей. Он двинулся навстречу этому запаху, который по мере приближения к нему становился все более стойким, обволакивал его, щипал глаза, вызывая слезы, и делал его беззащитным. На углу одной из улиц Мерсо понял: старая женщина продавала маринованные огурцы, их-то запах так на него и подействовал. Какой-то прохожий остановился, купил огурец, который старуха завернула в бумагу и подала ему. Поравнявшись с Мерсо, он развернул бумагу и впился зубами в сочную мякоть, которая отозвалась на это еще более мощным выбросом запаха. Патрису стало не по себе, он прислонился к стене и долго еще вдыхал в себя все странное и тоскливое, что миру было угодно предложить ему в эту минуту. Потом, собравшись с силами, побрел дальше и спустился, не раздумывая, в какой-то погребок, откуда доносились звуки аккордеона. Задержавшись на середине лестницы, он окинул взором довольно мрачный подвал, почти не освещенный, в котором можно было различить что-то лишь благодаря красноватым отблескам. Его вид, вероятно, был странноват, судя по тому, что аккордеон заиграл как-то глуше, разговоры смолкли и посетители повернули к нему головы. В одном углу за столом трапезничали девицы с очень толстыми губами. Другие посетители потягивали темное сладковатое чешское пиво. Многие просто курили. Мерсо устроился за довольно длинным столом, за которым уже сидел один человек. Высокий, худой, с неопределенного цвета волосами, он как-то неловко примостился на стуле и, засунув руки в карманы, крепко сжимал потрескавшимися губами уже обслюнявленную спичку, посасывал ее с отвратительным звуком, иногда перебрасывая из одного уголка рта в другой. Когда Мерсо устроился за тем же столиком, он едва шелохнулся, только прижался спиной к стене, направил торчащую изо рта спичку на вновь пришедшего и чуть заметно прищурил глаза. В эту минуту Патрис разглядел красную звездочку у него в петлице.

Есть не хотелось, поэтому Мерсо заказал немного и торопливо взялся за еду. Аккордеон звучал теперь более четко, а игравший на нем человек не отрывал глаз от нового посетителя. Мерсо дважды попытался ответить ему взглядом, полным встречного вызова. Но лихорадка изрядно вымотала его. А тот все смотрел и смотрел на пришедшего. Внезапно одна из девиц расхохоталась, человек с красной звездой в петлице принялся еще усерднее сосать спичку, на которой повисла слюна, а музыкант, не отводя взгляда от Мерсо, перешел с плясовой на медленную старинную мелодию. В эту минуту в погребке появился новый посетитель. Мерсо его не увидел, но ощутил, как в открытую дверь проник запах огуречного рассола. Запах моментально заполнил темный подвал, смешавшись с загадочной мелодией аккордеона, капля слюны, повисшая на спичке соседа, стала увеличиваться в размерах, а разговоры вдруг, как по команде, сделались более значительными, словно сам дух старого, недоброго и больного мира слетел сюда с границ ночи, которая пала на город, желая побыть в нагретой атмосфере зала, подышать человеческим теплом. Мерсо, принявшийся за переслащенный десерт, ощутил, что неожиданно

отброшен в недра самого себя и та трещина, которую он уже носил в себе, ширится и еще больше открывает его навстречу тревоге и лихорадке. Он резко поднялся, подозвал официанта, ничего не понял в его объяснениях, заплатил с лихвой и вновь отметил про себя: взгляд музыканта неотступно преследует его. И только когда он был у двери, ему стало ясно, что музыкант продолжает смотреть на стол, который он только что покинул. Наконец-то до Мерсо дошло, что тот слепой; поднявшись по ступеням, он шагнул в ночь, наполненную все тем же запахом.

Над домами сияли звезды. Судя по глухому и могучему рокоту воды, Мерсо оказался поблизости от реки. А очутившись у решетки в толстой стене, покрытой еврейскими буквами, понял, что находится в еврейском квартале. На стену из-за ограды свисали ветки ивы, от которых шел нежный запах. Сквозь решетку виднелись большие бурые камни, торчащие из травы. Это было старое еврейское кладбище Праги. Мерсо бегом бросился обратно и очень быстро оказался на Староместской площади. Возле своей гостиницы он был вынужден прислониться к стене, его затошнило и мучительно вывернуло наизнанку. С ясностью сознания, которая характерна для состояния крайней слабости, он безошибочно отыскал свой номер, лег и тотчас уснул.

Утром его разбудили крики разносчиков газет. Погода была все еще ненастная, но уже проглядывало солнце. Мерсо все еще ощущал слабость, но болезнь уже отступала. Мысль о длинном дне, который только начинался, удручала. Жить вот так, один на один с самим собой, означало, что время будет течь как никогда медленно и каждый час будет равен целой вечности. Прежде всего, надлежало как-то оградить себя от неожиданных приступов болезни, подобных вчерашнему. Лучше всего было осматривать город согласно заранее разработанному плану. Он прямо в пижаме уселся за стол и набросал план экскурсий, которым должно было руководствоваться в течение недели. Барочные монастыри и соборы, музеи и старые кварталы – ничто не было забыто. Затем Мерсо привел себя в порядок, только теперь спохватившись, что забыл купить расческу, и, как и накануне, спустился вниз непричесанный и молчаливый; в холле гостиницы, как всегда, дежурил портье, у которого, как выяснилось при свете дня, тоже нечесаная шевелюра, какой-то ошалелый вид, а в придачу на куртке не хватает пуговицы. Стоило Мерсо выйти на улицу, как он тут же оказался во власти трогательных и незамысловатых звуков. Слепой, все тот же, что и накануне, примостившись на этот раз на углу площади на корточках, играл на аккордеоне все с тем же пустым и улыбающимся видом, словно освободился от самого себя и полностью вписался в круговерть жизни, превосходящей его разумение. Дойдя до угла улицы, Патрис опять почувствовал запах маринованных огурцов. А вместе с ним и тревогу.

Этот день был таким, каким предстояло стать и последующим дням. Просыпался он поздно, прилежно осматривал соборы и монастыри, искал прибежища в их пахнущих подземельем и ладаном криптах, а выбравшись на свет божий, на каждом шагу натыкался на торгующих огурцами в рассоле, отчего заражался тайным страхом. Этот запах повсюду следовал за ним, даже в музеях, где Мерсо постигал тайну изобильного рога, которой владел барочный гений, наполнивший Прагу своим золотым великолепием. Золотистый свет, исходящий от погруженных во мрак алтарей, казалось, был позаимствован у самого неба, позолоченного сусалью, состоящего из туманов и солнца, столь часто сочетающихся в выси над Прагой. Когда он взирал на волюты и розетки, на весь этот сложный декор, словно сотворенный из фольги и так напоминающий рождественские ясли, он ощущал размах, гротеск и упорядоченность, присущие барокко, как нечто родственное лихорадочному, наивному и красноречивому романтизму, с помощью которого человек защищается от собственных демонов. Господь, которому здесь поклонялись, был тем, кого боятся и почитают, а не тем, который смеется заодно с человеком, наблюдающим за игрой морских волн и солнца. Покидая мрачные своды с царящим под ними легким запахом праха и небытия, Мерсо снова оказывался неприкаянным скитальцем. В монастырь чешских монахов в западной части города он наведывался каждый вечер.

Голуби взмывали вверх в саду монастыря, а может, это были и не голуби вовсе, а часы; колокола били не громко, а мягко, поскольку утопали в траве; а может, все это только мерещилось ему в лихорадочном бреду, так и не отпустившем его. Тем не менее, время шло. И наступал тот опасный час, когда соборы и памятники закрывались, а рестораны еще не открывались. Мерсо прогуливался по берегам Влтавы, где в садах вечерами играли оркестры. Пароходики поднимались по реке от одного шлюза к другому. Он шел по берегу вслед за ними, то оставляя позади оглушительный шум пенящейся воды на шлюзе и мало-помалу обретая тишину вечера, то снова приближаясь к рокоту, постепенно превращающемуся в грохот. Перед каждыми воротами шлюза он разглядывал маленькие разноцветные суденышки, которые тщетно пытались преодолеть преграду, не опрокинувшись; одно из них преодолело-таки опасное место и было удостоено таких возгласов команды, которые затмевали шум воды. Река текла, вобрав в себя и унося вдаль людские крики, мелодии и запахи садов, медные цвета закатного неба и тени гротескных и гримасничающих статуй Карлова моста, оставляя Мерсо болезненное и жгучее осознание одиночества, в котором горению и любви больше не было места. От запаха речной воды и листвы у него сжалось горло, и он представлял себе, что плачет, но не плакал. С него было бы довольно друга или открытых навстречу ему объятий. Слезы не смели пересечь границу мира, в котором для нежности не нашлось места и в который он был погружен. В другой раз, в такой же вечерний час, перейдя по Карлову мосту и поднявшись вверх по течению реки, он гулял по пустынному и молчаливому кварталу Градчаны, от которого рукой подать было до самых оживленных улиц города. Он бродил среди великолепных дворцов, по огромным мощеным площадям, вдоль фигурных решеток, вокруг собора. Его шаги гулко отзывались в тишине, царящей меж высоких дворцовых стен. Сюда доносился глухой шум оживленных улиц. Здесь не торговали огурцами, но было нечто гнетущее в самой тишине и величии этой части города. И потому прогулки Мерсо обычно заканчивались тем, что он возвращался к запаху или мелодии, с которыми уже сроднился. Питался он в ресторане, что открыл в день приезда и который был ему, по крайней мере, знаком. Он занимал свое место подле человека с красной звездой, который заявлялся только по вечерам, пил пиво и жевал свою спичку. Слепец играл, Мерсо быстро ел, платил и возвращался в гостиницу, где забывался сном больного ребенка; слава богу, сон ни разу не подвел его.

Каждый день Мерсо подумывал о том, чтобы уехать, и, каждый день, все глубже погружаясь в одиночество, понемногу утрачивал волю к счастью. Он пробыл в Праге уже четыре дня и до сих пор так и не обзавелся расческой, хотя и спохватывался каждое утро и потом целый день мучился смутным чувством, что ему чего-то не хватает. В один из вечеров он шел маленькой улочкой, на которой впервые ему в ноздри ударил запах огуречного рассола. Мерсо уже предчувствовал его появление, когда поблизости от погребка что-то привлекло его внимание, заставило остановиться и подойти. Прямо на тротуаре, на противоположной стороне улицы, лежал человек: его руки были скрещены на груди, левой щекой он прижимался к асфальту. Трое или четверо прохожих стояли, прислонившись к стене и, казалось, чего-то ждали, сохраняя спокойствие. Одна женщина курила, другие тихо переговаривались между собой. Но вот один из собравшихся вокруг тела людей, перекинув пиджак через руку, в шляпе набекрень, стал как-то странно приплясывать вокруг тела, лихо притопывая ногами и входя в раж, как аборигены каких-нибудь островов. Слабый свет отдаленного фонаря смешивался с красноватыми отблесками, долетавшими из погребка, что был в двух шагах. Все более распаляющийся в дикой пляске человек рядом с недвижным телом со скрещенными на груди руками и невозмутимыми зрителями – в этой полной иронии и контраста картине, сопровождаемой необычным молчанием, у Мерсо была всего одна минута равновесия, отданная простодушному созерцанию среди слегка зловещей игры тени и света, но стоило этой минуте закончиться, как все покачнулось, и ему показалось, что больше не за что уцепиться и весь мир летит в пропасть безумия. Он подошел ближе. Голова мертвого лежала в луже крови. Она текла из раны на той

стороне лица, на которой он лежал. В этом удаленном от центра уголке Праги, в жидком свете, падающем на скользкую от сырости мостовую, под близкий шелест автомобилей и повторяющиеся долгие сигналы трамваев вдалеке ему напомнила о себе сама смерть, назойливая и вкрадчивая одновременно, и в тот момент, когда Мерсо побежал от нее прочь, он ощутил ее зов и влажное дыхание. Тут же его настиг и запах, о котором он успел позабыть: Мерсо влетел в кабачок и сел за стол. Человек со звездочкой был там, но без спички. Ему показалось, что он уловил в его взгляде что-то потерянное. Возникло глупое подозрение, которое Мерсо тут же прогнал. Но с его головой что-то творилось. Ничего не заказав, он бросился вон, примчался в гостиницу и повалился на постель. В висок ему словно бы засадили иглу. Живот свело, в груди, там, где сердце, похолодело, все в нем взбунтовалось. Перед глазами стояли картины из прошлой жизни. Что-то в нем взывало к женщинам, требуя их объятий и теплых губ. Из глубины мучительных ночей Праги с ее уксусным привкусом и наивными мелодиями навстречу ему вставало тревожное лицо старого барочного мира, который сопровождал его во время болезни. С трудом дыша, ослепнув, двигаясь, как машина, он уселся на постели. Ящик ночного столика был выдвинут, кто-то еще до него выстлал его дно английской газетой. Мерсо целиком прочел одну из статей и снова лег. Голова того человека на мостовой повернулась, и стала видна рана, в которую можно было засунуть пальцы. Мерсо взглянул на свои руки, на свои пальцы, и в нем ожили детские желания. Вместе с подступившими слезами в груди нарастал тайный жар, это была ностальгия по городам, полным солнца и женщин, с их зелеными вечерами, которые залечивают любые раны. Удержать слезы было уже не в его власти. Изнутри, под грустную песнь освобождения, изливалось переполненное озеро неизъяснимого одиночества.

Глава 2

В поезде, который уносил его к северу, Мерсо разглядывал свои руки. Небо было грозовым, бег поезда добавлял стремительности движению низких и тяжелых облаков. В натопленном до одури вагоне он был один. Он покинул Прагу, поддавшись внезапному порыву, ночью, и теперь, когда занялось мрачное утро, отдался созерцанию видов Богемии; застывшие в ожидании воды с небес высокие шелковистые тополя и далекие заводские трубы словно добавляли нежному пейзажу жалкую, плаксивую нотку. Иногда он переводил взгляд на белую табличку с надписью на трех языках: «Nicht hinauslehnen. E pericoloso sporgersi. Il est dangereux de se pencher au-dehors»[50]. Затем на свои руки, живые и свирепые существа, лежащие на коленях. Левая была длинной и гибкой, правая – мускулистой и узловатой. Он хорошо знал свои руки и в то же время чувствовал, что они живут какой-то своей жизнью и даже способны действовать сами по себе, без участия его воли. Одна из них оперлась о его лоб, пытаясь стать заслоном на пути лихорадки, атаковавшей виски. Другая скользнула вдоль пиджака и достала из кармана сигарету, которую тут же отшвырнула, стоило появиться рвотному позыву, после которого он бывал без сил. Вернувшись на колени, руки успокоились, ладони непроизвольно согнулись в виде чаш, в чем их хозяин узрел образ своей жизни – пустой и предлагающей себя тому, кто пожелает наполнить ее.

Двое суток провел он в поезде. Но на этот раз вовсе не инстинкт спасительного бегства гнал его все дальше и дальше. Само однообразие бега стоило всего остального. Вагон, в котором Мерсо одолевал половину Европы, служил его прибежищем на грани двух миров. Он вошел в него, ему предстояло его покинуть. Вагон вынес его из одной жизни, память о которой он хотел полностью вытравить из своего сознания, чтобы доставить его к порогу новой жизни, в которой всем станет заправлять только его желание. За время поездки Мерсо ни разу не заскучал. Он сидел в купе, куда редко кто заглядывал, рассматривал свои руки, пейзаж за окном

[50] Не высовываться из окон *(нем., итал., фр.).*

и размышлял, размышлял. Он намеренно продолжил свой путь до Бреслау[51], заставляя себя выходить из вагона лишь для того, чтобы обменять на очередной таможне билет. Ему еще и еще хотелось побыть вдвоем со своей свободой. Усталость была такая, что передвигался Мерсо с трудом. Он собирал в себе мельчайшие крупинки сил и надежд, расставлял их по местам, группировал, перестраивая себя и свою будущую судьбу. Он полюбил эти долгие ночи, в которых поезд словно удирал от кого-то по скользким рельсам, вихрем проносясь мимо полустанков, догадаться о которых можно было только по освещенным станционным часам, и резко тормозил перед заревом городов, вокзалы которых, мелькнув, уже гостеприимно вбирали в себя состав, щедро одаривая его золотистым светом и теплом. Обходчики с молоточками в руках проходили вдоль состава, локомотив фыркал, выпуская клубы пара, железнодорожный служащий заученным жестом опускал красный диск, и Мерсо вновь пускался в бешеную гонку, в которой неусыпными оставались его тревожные мысли о будущем. Купе снова превращалось в кроссворд, разлинованный светом и тенью, на который поочередно ложились то золотые, то черные полосы. Дрезден, Баутцен, Гёрлиц, Лигниц. Впереди одна только долгая ночь, времени достанет на то, чтобы обдумать будущую жизнь и вступить в терпеливую битву с мыслью, которая вдруг вылетит из головы на подъезде к станции, позволяя выводам, из нее вытекающим, увязаться за собой и догнать себя, после чего снова оторвется от преследователей, опережая пляшущие, сверкающие от дождя и света провода. Мерсо искал слово, фразу, которые могли бы сполна выразить надежду, что положила бы конец его мукам. В том состоянии слабости, в котором он пребывал, ему просто необходима была опора на четкие словесные определения. Ночь и день проходили в этой упорной борьбе со словом и образом, которые отныне определили бы его взгляд на жизнь, его мечту о будущем, которую он загадал и которая зависела теперь от того, в какие словесные тона он ее окрасит – умильно-спокойные либо безрадостно-тревожные. Мерсо закрывал глаза. Необходимо время, чтобы жить. Как всякое произведение искусства, жизнь требует, чтобы ей уделяли внимание, думали о ней. Мерсо думал о своей жизни и выпускал на волю свое мятущееся сознание и свою волю к счастью в поезде, бегущем по Европе, сидя в купе, которое на эти дни превратилось для него в одну из тех келий, где человек учится познавать человека, осиливая умом то, что превосходит его.

Наутро второго дня, несмотря на то что путь пролегал по сельской местности, поезд заметно сбавил скорость. До Бреслау оставалось еще несколько часов ходу, день занимался над силезской равниной: одна сплошная непролазная грязь, ни деревца, ни кустика под мрачным, набухшим от дождя небом. На всем пространстве равнины расположились стаи больших птиц с черным блестящим оперением, они то перелетали с места на место в нескольких метрах от земли, то медленно и с натугой кружили, но не удалялись от земли, словно давящее, подобно гробовой плите, небо не позволяло им подняться выше. Порой одна из них отрывалась от стаи и низко-низко лениво парила над землей, почти касаясь ее, едва не сливаясь с нею, а затем все так же неспешно поднималась к начинавшему проясняться небу, постепенно превращаясь в крошечную точку. Мерсо протер руками запотевшее стекло и принялся жадно вглядываться в даль сквозь длинные полосы, оставленные его пальцами. Все это вместе, от безрадостной земли до тусклого, лишенного красок неба, составляло картину непривлекательного мира, в котором он, наконец, начал обретать себя. Здесь, в этом краю, пребывающем в своем первозданном состоянии, где все было сведено к безнадежному простодушию, странник обретал основы собственного существования и, сжав кулак и прижавшись лицом к стеклу, воображал, как вернется к самому себе и к убежденности в дремавшем в нем до поры собственном человеческом величии. Ему хотелось бы бухнуться в эту напоенную дождями грязь, смешаться с нею, проникнуть в земную толщу, пройдя сквозь слой горшечной глины, чтобы потом, встав во весь рост посреди неохватной долины и раскрыв объятия навстречу небосводу, по-преж-

[51] Старое название города Вроцлав. – *Примеч. ред.*

нему затянутому губчатыми, цвета сажи облаками, заявить перед ним, словно перед великолепным и полным отчаяния символом жизни, о своей солидарности с миром во всем, что в нем есть, вплоть до самого отвратительного, и объявить себя причастным к этой жизни и ко всему, чем она полна, вплоть до самых ее ничтожных и низких сторон. Непомерное напряжение, не отпускавшее его с момента отъезда, спало. Мерсо прижался губами к холодному стеклу, слезы хлынули из глаз. Стекло снова затуманилось, равнина исчезла.

Несколькими часами позже он прибыл в Бреслау. Издалека город показался лесом заводских труб и соборных шпилей. Вблизи стало заметно, что он сложен из кирпичей и закопченных камней; по нему неспешно ходили мужчины в кепках. Утренние часы Мерсо, как и они, провел в рабочем кафе. Молодой человек исполнял на губной гармошке добрые непритязательные мелодии, от которых становилось спокойно на душе. Мерсо решил ехать дальше, на юг Европы, но до этого купить расческу. На следующий день он уже был в Вене. Проспал часть дня и всю ночь напролет. А когда проснулся, то почувствовал: болезнь как рукой сняло. Проглотив на завтрак сразу несколько яиц всмятку, напившись сливок, он с тяжестью в желудке вышел в город; погода стояла неустойчивая, солнце то и дело сменялось дождем: Вена была поистине освежающим городом, а вот смотреть там было нечего. Собор Святого Стефана, чрезмерно большой, наводил тоску. Мерсо предпочел кафе напротив, а вечером набрел на небольшой дансинг на берегу канала. Днем он прогуливался по Рыночной площади, среди дорогих витрин и элегантных женщин. Какое-то время наслаждался духом легкомыслия и роскоши, не дающим человеку сосредоточиться на самом себе в самом вычурном из городов мира. Но женщины были хороши собой, цветы в садах роскошны и ярки, а под вечер, толкаясь в блестящей и беззаботной толпе на Рыночной площади, Мерсо созерцал еще и каменных лошадей в их бессмысленном рывке в предзакатное небо. Тут-то он и вспомнил о своих подружках Розе и Клер. Впервые со своего отъезда он написал кому-то письмо. На самом деле на бумагу пролилась переполненная молчанием чаша.

Дети мои,

пишу вам из Вены. Не знаю, как вы и что. Я зарабатываю на жизнь, путешествуя. С горечью в сердце довелось повидать многие прекрасные вещи. Здесь красота уступила место цивилизации. Так спокойнее. Я не посещаю церкви и античные древности. Я просто гуляю по Рыночной площади. А когда вечер опускается на театры и величественные дворцы, слепой порыв каменных коней в красный закат наполняет сердце странной смесью горечи и счастья. По утрам ем яйца всмятку, пью сливки. Встаю поздно, в отеле все очень предупредительны со мной, я ведь тонко чувствую выучку метрдотелей, особенно когда наемся до отвала (о, эти сливки!). Тут есть на что посмотреть в смысле зрелищ и женщин. Не хватает лишь настоящего солнца.

Что поделываете? Расскажите о себе и о солнце несчастному, который подобен перекати-полю и предан вам.

Патрис Мерсо

В этот вечер, написав письмо, Мерсо отправился, уже не в первый раз, в дансинг. Он заранее оплатил услуги одной из тренерш по танцам, некой Хэлен, которая немного знала французский и понимала его плохой немецкий. Покинув дансинг в два часа ночи, он проводил ее до дому, самым корректным образом занимался с нею любовью, а утром лежал голый в чужой постели, прижавшись к женской спине, и со спокойным добродушием созерцал ее длинные ляжки и широкие плечи. Ушел, не разбудив спящую и сунув деньги в одну из ее туфель. Когда Мерсо уже был на пороге, послышалось: «Дорогой, ты ошибся». Он вернулся. Он и впрямь ошибся. Плохо разбираясь в австрийских купюрах, он вместо стошиллинговой оставил банкноту в пятьсот шиллингов. «Да нет, – ответил Мерсо, улыбаясь, – это для тебя. Ты была неподд-

ражаема». Лицо Хэлен, веснушчатое, обрамленное спутанными светлыми волосами, осветилось улыбкой. Она вскочила на постели и расцеловала его. Эти поцелуи, несомненно, первые, которыми она наградила его бескорыстно, от всей души, подняли в душе Мерсо волну эмоций. Он уложил ее, накрыл одеялом, да еще подоткнул его со всех сторон, после чего подошел к двери и с улыбкой оглянулся. «Прощай», – сказал он. Хэлен широко открыла глаза, выглядывавшие из-под одеяла, которым она была укутана по самый нос, и не нашлась что ответить.

Несколько дней спустя Мерсо получил ответ из Алжира:

Дорогой Патрис,

Ваши дети в Алжире. И были бы счастливы с вами повидаться. Если ничто не удерживает вас, приезжайте в Алжир, мы разместим вас у себя. У нас все замечательно. Немного совестно, конечно, но скорее из-за приличий. А также предрассудков. Если вам хочется быть счастливым, приезжайте, попытайте счастья здесь. Это лучше, чем быть отставным унтер-офицером. Подставляем лобики под ваши отеческие поцелуи.

Роза, Клер, Катрин

P. S. Катрин протестует против слова «отеческие». Катрин живет с нами. Она будет, если вы не прочь, вашей третьей дочкой.

Мерсо решил добираться в Алжир через Геную. Как другим требуется побыть в одиночестве перед принятием судьбоносного решения ввязаться в главную партию всей жизни, ему, отравленному одиночеством и обособленностью от людей, было просто необходимо найти прибежище в дружбе и доверительных отношениях и вкусить, пусть даже кажущуюся надежность, перед тем как вступить в свою игру.

В поезде, который мчал его через Северную Италию в Геную, он прислушивался ко множеству голосов внутри себя, которые нашептывали ему о счастье. Стоило появиться первому, прямому, как карандаш, кипарису, стоящему на чистой земле, как что-то зашевелилось внутри его. И слабость, и лихорадка все еще не покидали. Но что-то обмякло, отпустило. Вскоре, по мере того как солнце продвигалось по небосклону и все приближалось море, а с необъятных, сверкающих и подрагивающих в мареве небес на трепетные оливы изливались потоки воздуха и света, ликование, наполнявшее мир, соединилось в его сердце с восторгом. Стук колес, детская воркотня, которой было наполнено забитое до отказа купе, вообще все, что улыбалось и пело вокруг, задавало ритм его внутреннему состоянию и сопровождало его до тех пор, пока Мерсо, долгое время скованный и неподвижный, не пустился на все четыре стороны и не высадился, ликующий и ослепленный, в оглушительной, лопающейся от здоровья на берегу своего залива, под своим небом Генуе – городе, в котором до самого вечера правили бал и воевали друг с другом желание и лень. Его томили жажда, желание любить, наслаждаться, сжимать кого-то в объятиях. Сжигавшие его боги бросили его в море, прямо в порту, где, наплававшись до изнеможения, он надышался запахом смолы и соли. Затем пустился наугад по узким, пахучим улочкам старого города и отдался краскам и звукам окружающего мира, внимая всему: небу, стонущему под тяжестью солнечного диска, котам, забирающимся в помойные баки, а потом, ступив на дорогу, которая идет над Генуей, и морю с его многообразием запахов и световых эффектов. Закрыв глаза, Мерсо сжал руками теплый камень, на который присел, чтобы затем открыть их и окинуть взором этот выдающийся в смысле дурного вкуса город, в котором гудела и била через край жизнь. В последующие дни он полюбил сидеть на лестнице, спускающейся в порт, а в полдень наблюдать за девушками, покидающими на время обеда расположенные в порту конторы. От их голых ног, обутых в сандалии, ярких легких платьев, под которыми угадывалась ничем не стесненная грудь, у него пересыхало в горле, а сердце билось от желания, в котором он обретал и свободу, и оправдание. Вечером по улицам шли те же

женщины, и Мерсо снова провожал их глазами, ощущая, как горячее, исполненное желания существо у него между ног с грозной нежностью шевелится. Два дня горел он нечеловеческим возбуждением. На третий покинул Геную и морем отправился в Алжир.

На протяжении всего путешествия, созерцая игру воды и света по утрам, днем и вечерами, он согласовал биение сердца с медленными ритмами неба и наконец-то пришел в себя. Доверия к выздоровлению иным способом у него не было. Устроившись на палубе, Мерсо размышлял о том, что не следует спать, нужно бодрствовать, быть начеку, имея дело с друзьями, не доверяя душевному и телесному комфорту. Ему еще только предстояло выстроить как свое счастье, так и свое оправдание. И, несомненно, отныне эта задача становилась более выполнимой. Его окутывал странный покой, когда на море спускалась ночная прохлада и первая звезда медленно проступала на небе, где умирал зеленый свет, уступая место желтому, и он чувствовал, что после великого потрясения, которое перенес, все то темное и дурное, что было в нем, отходило на задний план, чтобы уступить место ничем отныне не замутненной душевной субстанции, вернувшейся в свои берега, берега добра и решимости. Теперь многое стало понятно. Его долго грела надежда на женскую любовь. Оказалось, он не создан для любви. В своей прежней жизни, сводившейся к работе, комнате и сну, обедам в кафе и любовнице, Мерсо искал свой собственный путь к счастью, которое в глубине души, как все, считал неосуществимым. Он сыграл в игру под названием: захотеть стать счастливым. Он никогда не хотел счастья сознательно и свободно. Никогда, вплоть до того дня… Начиная с этого момента благодаря одному-единственному, хладнокровно рассчитанному поступку жизнь его переменилась, и счастье стало казаться возможным. Конечно, Мерсо выстрадал в муках это новое существо. Не ценой ли осознания той жалкой комедии, которую он ломал прежде? Ему, к примеру, стало ясно: то, что связывало его с Мартой, в большей степени было тщеславием, чем любовью. Даже чудо ее губ, которые она протягивала ему, было лишь радостным удивлением перед собственным могуществом, которое познается и пробуждается, когда одерживаешь победу. Вся история его любовных отношений сводилась по сути к замене первоначального удивления уверенностью, а несмелой надежды – тщеславием. Он любил прежде всего те вечера, когда они с Мартой шли в кино и все взгляды были устремлены на нее, любил ту минуту, когда предъявлял ее миру, а вовсе не саму Марту. Мерсо любил себя в ней, восторгался своей силой, тешился собственным величием. Даже его влечение к ней, страстное желание обладать ее плотью, возможно, брали начало от его удивления тем, что он владеет этим несравненно-прекрасным телом, что в его власти делать с ним что угодно и даже унижать. Теперь ему было ясно: он создан не для такой любви, а для любви невинной и страшной к черному божеству, которому отныне служил.

Как часто случается, что лучшее в его жизни сосредотачивается вокруг худшего. Клер и ее подружки, Загрей и его собственная воля к счастью, связанная с Мартой. Он знал: теперь его воле к счастью надлежит выступить на первый план. Но понимал, что для этого следует примериться ко времени, что быть хозяином своего времени – одновременно самый восхитительный и самый опасный из жизненных опытов. Праздность пагубно сказывается лишь на посредственностях. Многие даже не способны доказать, что они не посредственности. А он завоевал такое право. Однако предстояло еще утвердиться в этом. Перемена была в одном. Мерсо считал себя свободным по отношению к своему прошлому и тому, что утратил. И желал одного: сосредоточиться на самом себе, закрыться и производить на окружающих впечатление терпеливого и трезвого усердия. Он желал всего лишь держать свою жизнь в собственных руках, как держат горячий хлеб, который только что из печи и который можно мять. Как в те две долгие ночи в поезде, когда он вел долгий разговор с самим собой и готовился к новой жизни. Обсосать свою жизнь, как обсасывают леденец, придать ей новую форму, отточить и, наконец, полюбить. Это и было отныне его главной страстью. Его усилия были сосредоточены на том, чтобы отстаивать перед всеми, кто попадется на дальнейшем пути, свое новое лицо, пусть даже ценой одиночества, которое так трудно вынести, о чем ему было теперь известно.

Мерсо не предаст себя. Все его силы помогали ему, и в той точке, на которую были направлены, – в любви, – они сходились с властным стремлением к жизни.

Морская вода медленно сминалась о борта парохода. Небеса полнились звездами. Мерсо молча стоял на палубе, ощущая в себе небывалую и глубокую способность любить эту жизнь, любоваться ее ликом, то заливаемым слезами, то лучезарным, эту жизнь, солоноватую на вкус, горячую, как камень летним днем, и ему казалось, что если он станет лелеять ее, придут в согласие все его силы любви и отчаяния. В этом его убожество сошлось с его неповторимым богатством. Словно делая ставку на зеро, он начинал партию, но с трезвым осознанием собственных сил, торопившим его перед лицом судьбы.

А потом пароход медленно причаливал к алжирскому берегу с его ослепительным каскадом Касбы, повисшей над морем, холмами и небом, бухтой с раскинутыми руками, домами среди деревьев и запахом близкого порта. И только тут Мерсо поймал себя на мысли, что он ни разу с Вены не вспомнил о Загрее как о человеке, которого убил своими собственными руками. А он, оказывается, и не знал, что способен забывать, что свойственно разве что детям, гениям и блаженным дурачкам. Превратившись от радости в блаженного, Мерсо, наконец, понял, что создан для счастья.

Глава 3

Патрис и Катрин завтракают на террасе, на самом солнцепеке. Катрин – в купальнике, а мальчик, – так зовут Мерсо приятельницы, – в купальных трусах с салфеткой на груди. Они едят помидоры с солью, картофельный салат, мед и в большом количестве фрукты. Персики кладут сначала на лед, чтобы остудить, а когда берут в руки, прежде всего слизывают капли с их бархатистой кожицы. Из винограда выжимают сок и пьют его, задрав голову к солнцу, чтобы загорело лицо (так, во всяком случае, поступает Мерсо, который знает, что ему идет загар).

– Почувствуй солнце, – говорит Патрис, протянув руку Катрин.

Она лижет ее.

– Да-а, – говорит она, – попробуй и ты.

Он делает то же, после чего ложится, поглаживая себя по бокам. Катрин, лежа на животе, опускает купальник до бедер.

– Ничего, что я так делаю?

– Все в порядке, – отвечает «мальчик», не глядя на нее.

Солнце нещадно жарит. Всеми своими слегка увлажненными порами кожи Мерсо вдыхает этот огонь, который насыщает его и усыпляет.

– Хорошо, – со стоном отзывается Катрин, напившись солнечных лучей.

– Да, – вторит он ей.

Дом прилепился на самой верхушке холма, откуда видно бухту. Местные прозвали его домом трех студенток. Подниматься туда приходилось по каменистой дорожке, которая начиналась среди оливковых деревьев и среди них же заканчивалась. Одолев половину пути, изможденный путник мог перевести дух на своеобразной площадке, обнесенной серой стеной, испещренной непристойными рисунками и политическими воззваниями. Потом снова шли оливковые деревья, голубые лоскутки неба в просветах между ветками и запах мастиковых деревьев, тянущийся вдоль порыжевших лужаек, где сушились ткани лилового, желтого и красного цветов. Когда вконец обессилев, в поту, едва дыша, путник толкал синюю калитку, избегая шипов бугенвиллеи, ему предстояло еще взобраться по крутой лестнице, но уже в тени. Роза, Клер, Катрин и «мальчик» окрестили его «Домом, предстоящим Миру». Этот дом на семи ветрах и впрямь был подобен ладье, подвешенной в ослепительном небе над многоцветным и многообразным миром. Казалось, что какой-то порыв подхватывал у самой бухты идеальной формы все, что попадалось на его пути: напоенные солнцем травы, пинии, кипарисы,

оливы и эвкалипты, и взметал их вверх, к подножию дома. В сердце этого дара цвели, в зависимости от времени года, то белый шиповник, то мимоза, то жимолость, увивавшая стены и наполняющая летние вечера своим ароматом. Белое белье на веревках и красные крыши, морская феерия под небом, безукоризненно натянутым от одного края горизонта до другого, – таково было зрелище, представавшее взору из широких окон «Дома, предстоящего Миру». Но вдали линия высоких лиловых гор сходилась с морским заливом своими крайними отрогами и сдерживала эту буйную ярмарку красок и света. И никто не жаловался на крутой подъем и усталость. Радость эта с трудом завоевывалась каждый день.

Четверо обитателей дома, живя вот так, на виду у всего мира, ощущая его как внешнюю силу, с которой нельзя не считаться, видя всякий день, как его лицо то озаряется, то меркнет, чтобы на следующий день возродиться во всей своей юной красе, ясно осознавали его присутствие, он, этот мир, был для них одновременно и судьей, и оправданием. Он превращался в одухотворенное существо, был одним из тех, с кем мы охотно советуемся и в ком бесстрастная соразмерность не убила любви. Они брали его в свидетели.

– Мы с миром порицаем вас, – говаривал Патрис по любому поводу.

Катрин, для которой быть обнаженной означало избавиться от предрассудков, пользовалась отлучками Патриса, чтобы разгуливать по террасе в чем мать родила. Следя за тем, как меняются краски на небе, она с некоторой чувственной гордостью заявляла за столом:

– Я была обнаженной перед миром.

– О да, для женщин так естественно предпочесть свои мысли ощущениям, – изрекал Патрис пренебрежительно.

Катрин взбрыкивала, потому как не желала слыть интеллектуалкой. Роза и Клер увещевали ее:

– Молчи, Катрин, ты неправа.

Само собой разумелось, что она всегда неправа, поскольку ее все любили. Она обладала налитым соблазнительным телом цвета подрумяненной хлебной корки и животным инстинктом того, что наиболее важно в мире. Никто лучше ее не понимал тайного языка деревьев, моря и ветра.

– Наша маленькая Катрин – просто-таки одна из стихий природы, – утверждала Клер, никогда не переставшая жевать.

Потом все шли погреться на солнышке и помолчать. Люди лишают друг друга сил. Мир оставляет силы человека нетронутыми. Роза, Клер, Катрин и Патрис у окон дома, открытого на все четыре стороны света, жили, играя образами, доверяя видимости, соглашаясь на своего рода игру, которую затеяли меж собой, радуясь дружбе и нежности, но, обратившись к созерцанию плясок неба и моря, заново осмысляли тайный цвет своих собственных судеб и в конце концов познавали то, что было самого потаенного в каждом из них. Бывало, к хозяевам присоединялись и кошки. На авансцену выходила вечно разобиженная, с черным вопросом в зеленых глазах, тощая и деликатная, внезапно обуреваемая бешенством и сражающаяся с тенями Гюла. «Все дело в железах внутренней секреции», – утверждала Роза и принималась смеяться, тряся кудряшками и прищурив веселые глазки за круглыми очками; успокаивалась она только тогда, когда Гюла прыгала к ней на колени (знак особого расположения), и Роза перебирала пальцами ее блестящую шерстку, ласковыми поглаживаниями усмиряла животное и сама превращалась в кошечку с нежными глазами. Подобно тому, как для Катрин окном в мир была нагота, для Розы таковым были кошки. Клер больше любила кота – Кали. Он был смирный и такой же глупый, как грязно-белый цвет, цвет его шерсти; он позволял мучить себя. Клер с ее флорентийским личиком проявляла великодушие и отпускала его. Молчаливая и замкнутая, подверженная внезапным приступам, она много ела. Видя, как она набирает вес, Патрис корил ее:

– Вы нам неприятны. Прекрасное существо не имеет права дурнеть.

– Когда вы перестанете притеснять дитя! Ешьте, сестричка, – вступалась за нее Роза.

От рассвета до заката длился день, облетая холмы и море. Смеялись, шутили, строили планы. Делали вид, что подчиняются тому, что лежит на поверхности. Взгляд Патриса переходил с лика мира на серьезные или улыбающиеся лица молодых женщин. Он порой удивлялся этому возникшему вокруг него мирозданию. Доверчивость и дружба, солнце и белые дома, едва уловимые нюансы и недосказанность – все это порождало минуты подлинного счастья, чьи отзвуки он старался поймать и измерить. «Дом, предстоящий Миру, – говорили они между собой, – это не тот дом, в котором веселятся, а тот, в котором счастливы». Патрис остро ощущал это, когда, встречая вечер, они с последним легким ветерком позволяли овладеть собой человеческому и опасному искушению быть ни на кого не похожими.

В этот день после солнечной ванны Катрин отправилась в контору.

– Дорогой Патрис, – произнесла, появившись откуда ни возьмись Роза, – у меня для вас хорошая новость.

Он лежал на диване на террасе с детективом в руках.

– Слушаю вас, дорогая.

– Сегодня ваша очередь готовить.

– Хорошо, – ответил Патрис, не двигаясь.

Роза со своим студенческим ранцем, в котором перцы обычно соседствовали с третьим томом «Истории» Лависса, пошла к выходу. Патрису предстояло приготовить чечевицу; до одиннадцати он бродил по дому, рассматривая огромную комнату с охряными стенами, заставленную диванами и этажерками, увешанную зелеными, желтыми и красными масками, затянутую шелковыми обоями в полоску, затем сварил чечевицу, налил в кастрюлю масла, потушил лук, помидоры, добавил приправы, под конец заспешил и проклял Гюлу и Кали, которые заявили о своем голоде. И это притом что Роза разъяснила им накануне:

– Знайте, летом слишком жарко, чтобы хотеть есть.

Без четверти двенадцать в легком платье и открытых сандалиях вернулась Катрин. Ей необходимо было принять душ и солнечную ванну. Потому она последней пришла к столу.

– Катрин, ты невыносима, – строго выговорила ей Роза.

– Чечевица? У меня есть отличный рецепт… – запыхавшись, с места в карьер начала Клер.

– Знаю-знаю. «Берем сметану…» Потом расскажете, дорогая Клер, – оборвал ее Патрис.

И верно, все рецепты от Клер начинались со сметаны.

– Он прав, – поддержала Патриса вошедшая Роза.

– Еще бы, – отвечал «мальчик». – Все за стол.

Кухня напоминала складское помещение. Чего тут только не было, даже блокнот, чтобы записывать удачные шутки Розы.

– Будем шикарны, но просты, – с этими словами Клер взяла руками кружок колбасы.

С опозданием, впрочем, не таким уж страшным, явилась Катрин, вся какая-то жалкая, измученная, с поблекшими и сонными глазами. У нее в душе еще не скопилось достаточно горечи, чтобы проклинать свою контору и те восемь часов, которые она крадет у мира и у себя, проводя их за пишущей машинкой. Ее подруги относились к ней с пониманием и раздумывали над тем, какой стала бы их жизнь без этих восьми часов. Патрис помалкивал.

– Да, – начала Роза, которая не терпела умильных речей, – по сути этим заполнена твоя жизнь. Ты только и говоришь о конторе. Мы лишаем тебя права голоса.

– Но как же… – попыталась протестовать Катрин.

– В таком случае ставим на голосование. Один, два, три, большинство за, ты в меньшинстве.

– Вот видишь, – констатирует Клер.

Чечевица получилась суховатой, ели молча. Клер, когда наступала ее очередь готовить, снимая за столом пробу, всегда с довольным видом замечала: «Просто превосходно!» Патрис, сохраняя достоинство, предпочел молчать; так длилось до тех пор, пока все не покатились со смеху. Катрин была не в настроении и заявила, что коль скоро хочешь добиться сорокачасовой рабочей недели, нужно обращаться в Конфедерацию труда.

– Делай как хочешь, – махнула Роза рукой, – в конце концов работать-то тебе.

Отчаявшись оправдаться, «природная стихия» растянулась на лежаке на террасе. Вскоре все присоединились к ней. Гладя Катрин по волосам, Клер думала о том, что «этому ребенку» не хватает мужчины. Так уж было заведено в «Доме, предстоящем Миру», что все решали судьбу Катрин, определяли, что именно ей требуется, в каких размерах и какого рода. Конечно, время от времени она огрызалась, мол, уже выросла, не нуждается в их опеке, и т. д., но ее не слушали. «Бедняжка, – вздыхала Роза, – ей нужен любовник».

Лежа на солнцепеке, Катрин, обычно не помнящая зла, рассказывала сплетню, которую услышала на работе, о том, как мадемуазель Перес, высокая блондинка, собравшись замуж, обошла все службы, чтобы собрать необходимые сведения относительно брака, поскольку наслушалась жутких историй от посетителей, и как, вернувшись из отпуска, с улыбкой объявила: «Было не так уж страшно». «Ей уже тридцать», – жалостливо пояснила Катрин.

– Послушай, Катрин, мы ведь здесь все девушки, – отозвалась Роза, порицающая рискованные истории.

В это самое время почтовый самолет описал над городом круг, словно хотел похвастаться своим сверкающим металлическим корпусом. Затем, очертив над бухтой дугу, столь же правильную, как и дуга бухты, ухнул вниз, подняв фонтан голубовато-белой воды. Гюла и Кали спали, вздрагивая от сладострастных грез и приоткрыв свои змеиные пасти, позволяющие видеть розоватые нёба. Небеса, казалось, были больше не в силах удерживать раскаленный и отяжелевший солнечный диск. Закрыв глаза, Катрин ощущала, что долго летит куда-то и в результате припадает к истокам самой себя, где тихонько шевелится зверь, который дышит, как божество.

В следующее воскресенье ожидали гостей. Готовить выпало Клер. Роза почистила овощи, подготовила посуду и стол; Клер следила за тушением овощей, периодически выходя из своей комнаты, где читала. Поскольку Мина из местной мавританской семьи не явилась убирать дом, в третий раз за год сославшись на исчезновение отца, Розе пришлось еще и наводить порядок. И вот гости собрались. Элиан, которую Мерсо зовет идеалисткой. «Почему?» – интересуется Элиан. «Потому что, когда вам рассказывают о чем-то, что было на самом деле, вас это шокирует, и вы говорите: это правда, но дурно». У Элиан доброе сердце, она находит, что схожа с «Юношей с перчаткой», в чем с ней никто не соглашается. Ее комната завешана репродукциями «Юноши с перчаткой». Элиан – студентка. Когда она в первый раз появилась в «Доме, предстоящем Миру», она заявила о том, что очарована «отсутствием предрассудков» у его обитателей. Со временем это стало ей нравиться меньше. Не иметь предрассудков означало без обиняков выпаливать, что история, которой она щегольнула, скучна донельзя, и любезно добавлять при всяком удобном случае: «Элиан, вы – тупица».

Когда Элиан вошла в кухню вместе с Ноэлем, вторым приглашенным, скульптором, она застала Катрин в необычной позе, что было совершенно естественно для нее. Лежа на спине, Катрин одной рукой ела виноград, а второй готовила майонез. Тем временем Роза в большом синем переднике любовалась разумностью Гюлы, которая лакомилась салатом в огороде.

– Только подумайте, до чего умна, – потрясенно повторяла Роза.

– Да, – подхватила Катрин, – сегодня она превзошла самое себя, утром разбила зеленую лампу и цветочную вазу.

Элиан и Ноэль, которым одышка помешала выразить свое недовольство, решились наконец сесть, не дождавшись, когда им это предложат. Тут в кухню заглянула любезная и том-

ная Клер, пожала гостям руки и попробовала буйабес, томящийся на огне. По ее мнению, уже можно было садиться за стол. Как раз подоспел и запоздавший Патрис. Он объяснил Элиан, отчего у него хорошее настроение: оказывается, оттого, что на улицах попадаются хорошенькие женщины. Пора летней жары едва началась, а легкие платья, едва прикрывающие трепетную наготу, уже появились на улицах. У Патриса, по его признанию, от этого пересыхает в горле, стучит в висках и приливает к чреслам. Такие подробности не вызвали у Элиан желания поддержать беседу. Молчание сопровождало и буйабес, которым открылась трапеза. Но только до тех пор, пока Клер не произнесла нарочито четко:

– Буйабес вроде бы отдает горелым луком.

– Вовсе нет, – отозвался Ноэль-добряк.

И вот, чтобы испытать это доброе сердце на прочность, Роза стала просить его купить для них энное количество полезных вещей, таких как горелка, персидский ковер и холодильник. Ноэль посоветовал ей хорошенько помолиться, чтобы он, Ноэль, смог выиграть в лотерею.

– За чем дело стало, мы и за себя можем помолиться, – отвечала практичная Роза.

В воздухе была разлита та густая жара, которая заставляет так ценить ледяное вино и фрукты. За кофе Элиан смело судила о любви. Если бы она полюбила, то вышла бы замуж. Катрин возражала в том смысле, что самое неотложное, что нужно сделать, когда любишь, это переспать с предметом любви; от такого материалистического подхода Элиан передергивает. Прагматичная Роза встала бы на сторону Элиан, если бы «опыт, к несчастью, не доказывал, что брак убивает любовь».

Элиан и Катрин уже схлестнулись в словесном поединке и стали несправедливыми друг к другу, как бывает, когда спорщики наделены темпераментом. Ноэль, привыкший облекать свои мысли в определенные формы, верит в жену, детей и патриархальные истины конкретной семейной жизни. Роза, выведенная из себя криками Элиан и Катрин, воспользовавшись его высказыванием, делает вид, что только теперь поняла причину многочисленных визитов Ноэля.

– Благодарю вас, – говорит она, – я не в силах выразить словами, насколько это открытие меня потрясает. Завтра же поговорю с отцом о нашем с вами «намерении», а вы сможете через несколько дней обсудить его с ним.

– Но… – в замешательстве лепечет Ноэль.

– О, я знаю… – в порыве чувств продолжает Роза. – Но понимаю вас, вам даже не нужно ничего объяснять. Вы из тех, что молчат и ждут, чтобы их поняли. Впрочем, я довольна, что вы объяснились, ибо частота ваших посещений начинала сказываться на моей репутации.

Ноэль заинтригован и слегка встревожен, он заявляет о том, что рад узнать, что его надежды увенчались успехом.

– Не считая того, – вставляет свое слово и Патрис, закуривая, – что вам стоит поторопить события. Состояние Розы принуждает вас к тому.

– Как вы сказали? – переспрашивает Ноэль.

– Бог мой, всего-то второй месяц, – бросает Клер.

– Кроме того, – с нежностью вступает в разговор Катрин, – вы достигли того возраста, в котором бывают счастливы узнать себя в ребенке другого.

Чело Ноэля слегка омрачается, а Клер добродушно прибавляет:

– Это шутка. Отнеситесь к ней с юмором. Перейдем в гостиную.

Разговор на принципиальные темы внезапно иссяк. Однако Роза, которая творит добрые дела тайком, продолжает что-то тихонько внушать Элиан. Патрис подошел к окну, Клер стоит у стола, Катрин легла на циновку. Прочие устроились на диване. Город и порт заволокла густая дымка. Но буксирные суда возобновили свою работу, их протяжные гудки долетают до окон «Дома…» вместе с запахами гудрона и рыбы, не давая забыть о мире красно-черных посу-

дин, ржавых вертикальных шпилей и клейких гирлянд водорослей. Как всегда, это братский и мужественный зов жизни с привкусом силы, чьи прямой призыв и искушение всем внятны.

– Вы в сущности такая же, как я, – с грустью говорит Элиан Розе.

– Нет, – отнекивается Роза, – я просто стараюсь быть счастливой, и, по возможности, как можно больше.

– Но путь к счастью необязательно лежит через любовь, – по-прежнему глядя в окно, изрекает Патрис.

Он по-доброму относится к Элиан и боится, что огорчил ее. Но понимает и Розу в ее стремлении быть счастливой.

– Так себе идеал, – отзывается Элиан.

– Не знаю, может быть, но здоровый. А это, видите ли… – Патрис оставляет свою мысль незаконченной.

Роза прикрыла глаза, Гюла прыгнула к ней на колени, свернулась клубочком и мурлычет, уютно устроившись у нее на коленях. Та гладит ее по голове, и кажется, что этот понятный только двоим союз кошки с полузакрытыми глазами и неподвижно сидящей женщины приводит к тому, что они одними и теми же глазами смотрят на один и тот же мир. Все замолчали, слышны лишь натужные гудки буксиров. Роза закрыла глаза и погрузилась в тишину, наполненную ударами сердца. Кошки днем спят, а с первой звезды и до восхода солнца у них напряженная любовная жизнь. Их сладострастие велико, их сон глух. Им также известно, что у тела есть душа, которая не имеет ничего общего с тем, что обычно подразумевается под этим.

– Да, быть счастливой, и как можно больше, – изрекает Роза, открыв глаза.

А мысли Мерсо, тем временем, сосредоточены на Люсьене Рэналь. Когда чуть раньше он признался, что уж очень хороши женщины на улицах, он имел в виду ее. Он свел с ней знакомство у друзей. Неделю назад они впервые вдвоем отправились на прогулку и от нечего делать бродили по бульварам, вдоль набережных. Было жаркое утро. Она не обронила ни слова, и, проводив ее домой, Мерсо с удивлением для самого себя долго жал ей руку и улыбался. Она была довольно высокой, шляпу не носила, обута была в открытые сандалии и одета в платье из белой холстинки. Когда они гуляли, им в лицо дул легкий ветерок. Люсьена твердо наступала на горячие плиты мостовой, как бы опираясь на них, чтобы преодолевать сопротивление ветра. При этом движении платье обтягивало ее, обрисовывая плоский мускулистый живот. Светлые волосы, зачесанные назад, маленький прямой нос и неподражаемое движение ее устремленной вперед груди – все это делало ее воплощением тайного согласия, существующего между нею и землей и упорядочивающего мир вокруг нее. Когда она, держа сумочку в правой руке, украшенной серебряным браслетом с позвякивающей застежкой, поднимала левую руку над головой, чтобы защититься от солнца, и готова была вот-вот оторвать мысок правой ноги от земли, Патрису казалось, что спутница согласовывает свои движения с целым миром.

Именно тогда он подметил загадочное единодушие своих шагов с шагами Люсьены. Ему не составляло труда подстроиться под нее. Безусловно, этому способствовала плоская подошва сандалий Люсьены. Но в то же время в их согласованной поступи было что-то, наводящее на мысли об общих особенностях – гибкость, высокий рост. Мерсо обратил внимание на ее молчаливость и замкнутость в выражении лица. Ему пришло в голову, что возможно, она не умна, и это только обрадовало его. Есть что-то божественное в красоте, лишенной ума, и Мерсо лучше любого другого был способен это прочувствовать. Все это привело к тому, что однажды он задержал ее пальцы в своей руке, а потом стал часто с нею видеться; они подолгу гуляли, все так же молча, подставив свои загорелые лица солнцу и звездам, но ничего более не требуя друг от друга. Так все и шло до вчерашнего вечера, когда Патрис заново обрел обычное, но потрясшее его до самых основ чудо – чудо ее губ. До сих пор его волновали ее манера цепляться за его одежду, идти рядом, взяв его под руку, беззаботное доверие, затрагивавшее его чувство мужского достоинства. А еще молчаливость, сводившая ее манеру выражать себя к тем дви-

жениям, которые она совершала в данный момент и увеличивавшая ее сходство с семейством кошачьих, а им она и без того была уже обязана серьезностью, которую вкладывала во все, что делала. Вчера после ужина он гулял с ней по набережным. В какой-то миг они остановились у парапета, и Люсьена прильнула к нему. Он ощутил в ночи под своими пальцами ледяные выдающиеся скулы и губы, полные внутреннего жара, в который хотелось погрузиться. И тогда в недрах его существа родилось нечто вроде вопля, бескорыстного и пылкого. Перед ликом сверкающей звездным пологом ночи, перед ликом города, похожего на опрокинутое небо, полное огней, перед мощным горячим дыханием, поднимающимся от порта, им овладели неодолимое желание приникнуть к этому жаркому источнику, безудержная тяга сорвать с этих живых губ весь смысл такого же отрешенного и сонного, как ее молчаливые уста, мира. Мерсо наклонился, было ощущение, что он коснулся устами птицы. Люсьена застонала. Он куснул ее губы, и несколько секунд пил, припав к ее устам, этот жар, который приводил его в полный восторг, словно он сжимал в объятиях целый мир. Она же цеплялась за него, как утопающий, то показываясь на поверхности бездонного омута и отталкивая его губы, то вновь хватаясь за них, идя ко дну, погружаясь в ледяные и черные воды, палящие ее, как способно сделать лишь скопище богов.

…Элиан собралась уходить. Мерсо провел долгие послеобеденные часы в своей комнате, предаваясь размышлениям. За ужином все обитатели «Дома…» хранили молчание. После дружно перешли на террасу. Один день, в конечном итоге, непременно догонит другой. Утро займется над бухтой в дымке и непременно закончится мягким вечером в той же бухте. День движется от моря к горам, потому как небо указывает лишь один путь – от моря к горам. Мир всегда изрекает одно и то же, вначале это вызывает интерес, потом утомляет. Но непременно наступает время, когда он завоевывает нас именно этим своим повторением и удостаивается награды за свою настойчивость. Так дни «Дома, предстоящего Миру», выделанные из роскошной ткани смеха и самых обычных жестов, заканчиваются полными звезд ночами на террасе. К услугам обитателей дома шезлонги, но Катрин предпочитает место на ограде.

С неба, сверкающего и таинственного, смотрит вниз темная ночь. Где-то далеко, в порту, передвигаются огоньки, редеют гудки паровозов. Звезды становятся ярче, меркнут, исчезают и возрождаются, образуя быстро сменяющие друг друга рисунки, как в калейдоскопе. Ночь обретает в тиши плоть и плотность. Полная звездных скольжений, она представляет свои световые затеи обращенным к ней взорам, которые порой заволакивает слезами. И каждый, ныряя в глубины неба, находит в этом крайнем пределе, где сходится все, тайную и задушевную мысль, неповторимую, как неповторима каждая отдельная человеческая жизнь.

Катрин, на которую накатила волна любви, только и может что вздохнуть.

– Вам не холодно? – спрашивает, чувствуя, как изменился ее голос, Патрис.

– Нет, – отвечает вместо нее Роза, – так красиво.

Клер встала, оперлась руками о стену и подняла лицо к небу. Перед тем, что есть в мире наипростейшего, исполненного высшего благородства, она путает жизнь с желанием жить и вписывает надежду в игру звезд.

– В такие дни, когда с доверием относишься к жизни, и от нее получаешь соответствующий ответ, – внезапно обернувшись к Патрису, произносит она.

– Верно, – не глядя на нее, отвечает он.

Вот заскользила по небу падающая звезда. А за ней уже в полной непроглядности ночи вспыхнул и стал все увереннее светить огонек далекого маяка. Послышались шаги поднимающихся в гору людей и их натужное дыхание. Чуть позже донесся аромат цветов.

Мысль, изрекаемая миром, всегда одна и та же. И на этом терпеливом повторении истины, которая летит от звезды к звезде, основывается свобода, вызволяющая нас из тенет самих себя и других; точно так же основывается она и на другой, не менее терпеливо повторяемой миром истины, которая тянется от смерти к смерти. Патрис, Катрин, Роза и Клер прони-

каются счастьем, рождающимся тогда, когда они с доверием полагаются на мир. Если эта ночь и есть явленное им лицо их судьбы, им остается только любоваться тем, что оно в одно и то же время и вполне конкретное, и загадочное и что на нем есть место всему – и слезам, и улыбкам, и ненастью и солнечному свету. Сердце, в котором всему есть место: и радости, и боли, умеет услышать двойной урок, ведущий к счастливой смерти.

Поздно. Уже полночь. На челе этой ночи, которая не что иное, как само отдохновение и мысль мира, глухо ропщут звезды, предвещая скорое пробуждение. В небесах с их мириадами небесных тел забрезжило. Патрис оглядывает своих подруг: Катрин сидит с ногами на ограде, запрокинув голову; Роза утонула в шезлонге, положив руки на спину Гюлы; Клер стоит не шелохнувшись, на ее выпуклом лбу пятно от лунного света. Юные существа, способные испытать счастье, чьи молодые годы проходят в тесном соседстве друг с другом, при том что у каждого есть свое заветное. Он подошел к Катрин и поверх ее плеча – плоти, пропитавшейся солнцем, – устремил взор в свой кусочек неба. Роза тоже придвинулась к ним, и вот уже они вчетвером предстоят Миру. Кажется, будто прохладная ночная роса смывает с их лиц отметки, сделанные одиночеством, и этим несмелым и беглым крещением освобождает их от самих себя, возвращая Вселенной. Когда на небесную поляну высыпали все звезды разом, необъятный немой лик небес запечатлел обитателей «Дома…» такими, какими они были в эту минуту. Патрис поднимает руку и захватывает сноп светящихся точек из потревоженной небесной купели; Алжир раскинулся у его ног, а вокруг них повсюду, куда хватает глаз, погруженный во мрак и поблескивающий плащ, усыпанный каменьями и раковинами.

Глава 4

Рано утром автомобиль Мерсо катил по прибрежному шоссе с зажженными фарами. На выезде из Алжира он обогнал повозку молочника, от которой на него повеяло навозом и конским потом, что сделало более ощутимой утреннюю свежесть. Было еще темно. Последняя звезда медленно таяла в небе, слышался только гул мотора и порой издалека доносился стук лошадиных подков и довольный гомон трущихся друг о друга бидонов, а чуть позже на черной ленте дороги стали четко выделяться и искры, летящие из-под копыт. Потом все глохло в шуме, производимом летящей на большой скорости машиной. Он прибавил скорость, ночь быстро поворачивала на день.

Из глубины ночи, затаившейся между холмов Алжира, автомобиль вырвался на простор дороги, идущей над морем, в котором утро обретало свои округлые очертания. Мерсо выжал предельную скорость. Увеличилось количество соприкосновений колес с влажной от ночной росы дорогой – и соответственно количество звуков, похожих на тот, что производит вантуз. На каждом из многочисленных поворотов шины пронзительно скрежетали, а когда поворотов не было и машина разгонялась, гудение мотора заглушало на время негромкий ропот моря, долетавший снизу. Только в самолете человек испытывает еще большее одиночество, чем в автомобиле. В полной мере владея собой, довольный точностью своих движений, Мерсо мог отдаться размышлениям. В конце дороги ему предстояло встретить начало нового дня. Солнце только вставало над морем, а вместе с ним просыпались поля вдоль дороги, мгновением раньше еще пустынные и вот уже полные птиц и насекомых. Порой сельский житель пересекал поле, Мерсо на полной скорости мог запечатлеть лишь силуэт человека с мешком за плечами, грузно ступающего по жирной и сочной земле. Автомобиль раз за разом взлетал на склон холма, по которому пролегала дорога, и тогда Патрис видел море. Холмы, чей китайский силуэт совсем недавно едва проглядывал, быстро вырастали рядом с ним и вдруг выливали на него в подробностях все свое содержимое: оливковые деревья, пинии, оштукатуренные домики. Следующий поворот бросал машину к морю, которое, еще не очнувшись ото сна, но уже накатывая на берег

с приливом, подавало себя Мерсо как дар. Новый поворот, и машина мчалась к холмам, оставляя море позади; а впереди ждала новая встреча все с тем же морем.

Патрис за месяц известил о своем отъезде «Дом, предстоящий Миру». Он собирался сперва попутешествовать, а потом уж обосноваться в окрестностях города Алжира. Но уже спустя несколько недель вернулся, осознав, что путешествие потеряло для него притягательную силу: бездомность казалась ему созданной для других, тех, кого звала в путь их беспокойная натура. Кроме того, он ощущал в себе непонятную усталость. И спешил осуществить план по покупке домика где-нибудь между морем и горами, в Шенуа, в нескольких километрах от развалин Типасы. По приезде в Алжир он озаботился тем, как будет выглядеть в глазах окружающих. Купил солидный пакет акций немецкой фармацевтической фирмы, нанял управляющего, и таким образом оправдал свои отлучки из Алжира и независимый образ жизни, который вел. Дела фирмы ни шатко ни валко шли, он всегда был готов оказать помощь в сложную минуту, без сожалений идя на расходы, откупаясь тем самым за свою полнейшую свободу. В самом деле, достаточно представить миру лицо, которое ему будет понятно, а лень и трусость сделают остальное. Независимость покупается за несколько доверительных, ничего не стоящих слов. Затем он занялся обустройством судьбы Люсьены.

У нее не было родителей, жила она одна, служила секретаршей в конторе угольной фирмы, питалась фруктами и занималась физкультурой. Мерсо дал ей почитать книги. Она вернула их, не сказав ни слова. На его расспросы отвечала: «Да, интересно» или «Немного грустно». В тот день, когда он решил покинуть Алжир, Мерсо предложил соединить их судьбы, но при этом ей надлежало оставаться в Алжире, бросить работу, а к нему приезжать, когда он об этом попросит. Патрис произнес это достаточно убедительным тоном, чтобы Люсьена не усмотрела в предложении ничего унизительного, да ничего такого и не было. Люсьена всем своим существом проникалась тем, чего не мог понять ее ум. Она согласилась.

– Если вам это важно, могу обещать вам жениться. Но мне кажется, это лишнее, – добавил он.

– Пусть будет так, как вы хотите, – ответила она.

Неделю спустя Мерсо женился на ней и стал готовиться к отъезду. Люсьена тем временем купила себе каноэ оранжевого цвета, чтобы выходить на нем в голубое море.

Патрис резко затормозил, чтобы не задавить курицу, выскочившую на дорогу. Вспомнился разговор с Катрин. Накануне отъезда он покинул «Дом, предстоящий Миру», чтобы провести последнюю ночь в отеле.

Время еще только перевалило за полдень, а поскольку утром прошел дождь, бухта вся целиком была как вымытое стекло, а небо напоминало свежевыстиранную простыню. Мыс, которым оканчивалась дуга бухты, был расположен прямо напротив, на него были направлены солнечные лучи, и он с замечательной четкостью вырисовывался в чистом воздухе, вытянувшись в море подобно длинной змее. Патрис как раз закончил укладывать вещи и, опершись о раму окна, жадно всматривался в новое рождение мира.

– Не понимаю, почему ты уезжаешь, если ты здесь счастлив, – сказала ему Катрин.

– Оставшись, я бы рисковал тем, что меня здесь могут полюбить, Катрин, а это помешало бы моему счастью.

Свернувшись на диване, Катрин чуть свесила голову вниз и смотрела на Патриса своими бездонными неподражаемыми глазами.

– Многие мужчины усложняют свою жизнь и придумывают себе судьбу. У меня все просто. Посмотри… – ответил он, не оборачиваясь.

Мерсо говорил, глядя на мир, Катрин чувствовала себя забытой. Она смотрела на длинные пальцы Патриса, которыми он взялся за оконную раму, на его позу – он, как всегда, перенес вес тела на одно бедро, и хотя ей не были видны его глаза, но она догадывалась, каков его взгляд.

– Чего бы я хотела… – начала Катрин, но осеклась.

Небольшие парусники стали появляться на море, пользуясь штилем. Они пролагали себе путь по воде, наполняли его биением своих крыльев-парусов и внезапно устремлялись на простор, оставляя за собой воздушные и водные борозды, которые ширились и пенились. С того места, где находилась Катрин, они выглядели белыми птицами, взлетающими вокруг головы Патриса. Он словно почувствовал ее молчание и устремленный на него взгляд. Обернулся, взял ее за руки и притянул к себе.

– Никогда ни от чего не отрекайся, Катрин. В тебе столько всего, и самое изумительное – это чувство счастья. Только не дожидайся, когда придет мужчина и наполнит твою жизнь счастьем. Столько женщин совершают эту ошибку. Все в тебе самой.

– Я не жалуюсь, Мерсо, – мягко ответила Катрин, кладя руку ему на плечо. – На сегодняшний день важно только одно. Береги себя.

Тут он почувствовал, как хрупка его уверенность в себе. Но сердце не дрогнуло.

– Тебе не следовало говорить это сейчас.

Он взял чемодан и спустился сначала по крутой лестнице, потом по дороге, пролегавшей среди оливковых деревьев. Ничто не ждало его впереди, кроме Шенуа, древних руин, зарослей полыни, любви без надежды и без отчаяния и воспоминаний о жизни, проходящей под ароматы цветов и кухни. Он обернулся. Катрин стояла неподвижно и провожала его взглядом.

Чуть меньше двух часов ушло у него на то, чтобы добраться до Шенуа. Последние лиловые отблески ночи еще лежали на склонах, уходящих в море, а уж вершины вспыхивали желтыми и красными красками. Казалось, огромная глыба земли, съехавшей со склонов Сахеля, видневшихся на горизонте, превратилась в исполинского мускулистого зверя, свалившегося в воду. Дом, купленный Мерсо, находился на последних отрогах, метрах в ста от моря, в этот утренний час уже приобретавшего золотистые оттенки. Дом был двухэтажный, на втором этаже располагались всего одна жилая комната и ванная. Комната была просторная, окна выходили на сад и на великолепную террасу с видом на залив. Мерсо сразу прошел на террасу. Море уже начинало дымиться и в то же время темнеть, при этом красные плиты, которыми был выложен пол террасы, наоборот, наливались сиянием. Сквозь побеленную балюстраду на террасу проникали первые цветы великолепной ползучей розы. Это был куст белой розы с соцветиями, обращенными к морю, на удивление плотными и пышными. Окно одной из комнат цокольного этажа выходило на ближние холмы Шенуа, сплошь поросшие фруктовыми деревьями, окна двух других – на море и сад. Непомерно длинные и голые стволы двух пиний, росших в саду, устремляли в небо свои порыжевшие кроны. Из дома можно было видеть только пространство, заключенное между этими двумя соснами, включающее в себя и небо, и море. Как раз в этот момент далеко от берега показался пароходик, Мерсо следил за ним все то время, которое ему потребовалось, чтобы добраться от одного ствола сосны до другого.

Отныне ему предстояло жить здесь. Что и говорить, красота была такая, что сердце не могло не отозваться. Из-за нее-то он и купил этот дом. Однако отдохновение, которое Мерсо надеялся здесь обрести, теперь пугало его. А одиночество, к которому он так сознательно стремился, представлялось тем более беспокойным, что Патрис знал, где оно будет протекать. Деревня располагалась неподалеку, в нескольких сотнях метров. Он вышел из дому. Тропинка вела от дороги к морю. Когда он ступил на нее, то впервые заметил стрелку мыса Типасы на той стороне залива. На самой ее оконечности вырисовывались колонны храма, а вокруг них руины в зарослях полыни, которые с большого расстояния смотрелись как поседевшее овечье руно. Июньскими вечерами, подумалось Мерсо, ветер наверняка доносит до Шенуа аромат напитавшихся солнцем полынных зарослей.

Предстояло наладить жизнь на новом месте. Первые дни пролетели незаметно. Он покрасил стены известкой, купил в Алжире занавески, принялся налаживать электропроводку. В этих трудах, прерываемых днем для приема пищи в деревенской гостинице и для морских

купаний, он забывал, зачем оказался здесь и зачем до дрожи в коленях напрягал и утомлял свое тело, заботясь то о том, чтобы хватило краски, то о том, чтобы исправно работала проводка в коридоре. Ночь Мерсо проводил в гостинице и понемногу свел знакомство с местными жителями: с парнями, что по воскресеньям во второй половине дня приходили поиграть в русский бильярд и в пинг-понг (они занимали игровые столы на всю вторую половину дня и при этом лишь раз заказывали выпивку, к великому неудовольствию патрона); с девушками, что вечерами гуляли по дороге, идущей над морем (они держались за руки и перебрасывались словами, нараспев произнося окончания); с Пересом, одноруким рыбаком, который снабжал гостиницу рыбой. Там же он встретил и деревенского доктора Бернара. В тот день, когда все в доме было готово, Мерсо перебрался к себе с вещами и мало-помалу стал осваиваться. Был вечер. Он находился в комнате наверху, за окном два мира оспаривали пространство между двумя соснами. В одном, почти прозрачном, одна за другой вспыхивали звезды. В другом, более плотном и темном, потаенное трепетное дыхание выдавало наличие моря.

До сих пор Патрис мало оставался один, то встречался с рабочими, которые помогали ему по дому, то болтал с хозяином кафе. Но этим вечером он осознал, что ему не с кем видеться, ни завтра, ни вообще когда-либо, и что он один на один с одиночеством, которого так жаждал. Все дело теперь было в том, как дожить до завтра. Однако себя Патрис уверил, что это именно то, чего он добивался: он один, надолго, навсегда, до самого конца. Мерсо решил допоздна не ложиться и курить, но к десяти его сморило. На следующий день встал поздно, к десяти, приготовил завтрак и поел, даже не приведя себя в порядок. Он чувствовал легкую усталость. Не побрился, не причесался. И все же после завтрака, вместо того, чтобы направиться в туалетную комнату, стал бродить по дому, листать какой-то журнал, в конце концов, очень обрадовался, найдя неисправный выключатель, и тут же принялся за работу. В дверь постучали. Это был посыльный из гостиницы, который доставил ему второй завтрак, как и было оговорено накануне. Ленясь приводить себя в порядок, Патрис как был сел за стол, без аппетита поел, чтобы еда не остыла, и, вытянувшись на диване внизу, закурил и незаметно снова уснул. Проснулся он в ярости, когда было уже четыре часа. Он тщательно побрился, наконец-то переоделся и написал два письма, одно Люсьене, другое трем студенткам. Было уже очень поздно. Мерсо все же отправился в деревню, чтобы бросить письма в почтовый ящик, после чего вернулся, никого не встретив. Поднялся наверх и вышел на террасу. Море и ночь переговаривались между собой на прибрежной гальке и в развалинах. Мерсо принялся размышлять. Этот потерянный день отравил ему настроение. Уж вечером-то непременно надо было чем-то заняться, почитать, пройтись. Скрипнула калитка в саду. Принесли ужин. Он проголодался, с аппетитом поел, а после почувствовал, что уже не способен никуда идти. Решил подольше почитать, лежа в постели. Но уже на первых страницах веки его стали слипаться, и Патрис проспал до позднего утра.

В последующие дни он пробовал бороться с навалившимся на него мороком. По мере того, как шли дни, целиком заполненные скрипом калитки и бесчисленными сигаретами, сердце его все сильнее сжималось при мысли о том несоответствии, которое имелось между тем, что привело его к этой жизни, и самой этой жизнью. В один из вечеров Мерсо написал Люсьене, прося ее приехать, таким образом порвав с одиночеством, на которое возлагал надежды. Стоило ему отправить письмо, как тайный стыд одолел его. Однако когда Люсьена приехала, этот стыд растворился без остатка в какой-то глупой и поспешной радости, которая охватила его при виде близкого человека и той легкости бытия, которую сулило присутствие Люсьены. Он заботился о ней, был предупредителен, и она с некоторым удивлением взирала на него, при этом более всего занятая состоянием своих нарядов из белой холстинки, всегда отлично выглаженных.

Мерсо стал выходить на прогулки по округе, но с Люсьеной. Заново ощутил свою сопричастность миру, но только держа руку на плече жены. Так он убегал от своего тайного страха. Однако через два дня Люсьена уже надоела ему. Она выбрала как раз этот момент, чтобы

попроситься жить вместе с ним. Они ужинали, Мерсо недвусмысленно отказал ей, не поднимая глаз от тарелки.

– Ты меня не любишь, – проговорила Люсьена ровным голосом, выдержав паузу.

Патрис поднял голову. Ее глаза были полны слез.

– Но я ведь тебе никогда этого не обещал, котенок, – попробовал он смягчить свой отказ.

– Верно, – ответила она, – это лишь подтверждает мои слова.

Мерсо встал и подошел к окну. Мириады звезд подрагивали в ночи в обрамлении двух сосен. Наверное, еще никогда сердце Патриса не полнилось наряду с тоской таким отвращением к прошедшим здесь дням.

– Ты красивая, Люсьена, – сказал он. – Я не загадываю вперед. Ни о чем тебя не прошу. Того, что есть, довольно для нас обоих.

– Знаю, – проговорила она.

Люсьена сидела спиной к нему и скребла кончиком ножа скатерть. Он подошел к ней и положил руку на ее затылок.

– Поверь мне, не существует непереносимого горя, горького раскаяния, незабываемых воспоминаний. Все забывается, даже большая любовь. В этом и печальная, и радостная сторона жизни. Есть только определенная манера видеть вещи, она возникает время от времени. Вот почему не помешает все же иметь за плечами великую любовь, несчастную страсть. По крайней мере, появляется алиби для мгновений беспричинного отчаяния, которому мы подвержены. – Подумав, Мерсо добавил: – Не знаю, понимаешь ли ты меня.

– Думаю, что понимаю, – ответила Люсьена. Она резко обернулась к нему: – Ты несчастлив.

– Скоро я буду счастливым, – яростно ответил он. – Я должен. Эта ночь, это море, этот затылок под моими пальцами мне помогут.

Он снова повернулся к окну и обхватил пальцами ее шею. Она молчала.

– По крайней мере, есть ли в тебе хоть капля дружбы ко мне? – не глядя на мужа, спросила Люсьена.

Патрис опустился перед ней на колени, куснув ее за предплечье.

– Дружбы, да, как есть во мне дружба по отношению к ночи. Ты – радость моих очей и даже не представляешь себе, какое место может занимать в моем сердце эта радость.

На следующий день она уехала. А еще через день Мерсо, не в состоянии совладать с собой, сам появился в Алжире. Первым делом отправился в «Дом, предстоящий Миру». Подруги пообещали навестить его в конце месяца. После Мерсо захотелось повидать свой квартал.

В его доме было теперь кафе. Он стал расспрашивать о бочаре, но никто не смог сказать о нем ничего определенного. Вроде бы тот отправился в Париж в поисках работы. Мерсо прошелся по кварталу. Селест постарел, впрочем, не так чтобы очень. Рене, как всегда с серьезным видом, сидел на своем месте, занятый своим туберкулезом. Все радовались свиданию с Мерсо, да и он растрогался.

– Мерсо, дружище, а ты совсем не изменился. Все тот же, – сказал Селест.

– Да, – отвечал Мерсо.

Его восхищало любопытное ослепление, в котором пребывают люди, прекрасно осведомленные об изменениях, происходящих в них самих, но навязывающих знакомым тот образ, который раз и навсегда о них сложился. Его судили в соответствии с тем, чем он был раньше. Характер собаки навсегда остается неизменным, значит, и люди смотрят на себе подобных, как на собак. Чем лучше Селест, Рене и прочие знали его в прошлом, тем более чужим и непонятным, словно необитаемая планета, был он теперь для них. Расстались они дружески. А выйдя из кафе, Мерсо столкнулся с Мартой. Увидя ее, он понял, что почти забыл о существовании

этой женщины и в то же время надеялся ее встретить. Она по-прежнему была так же хороша, как богиня с раскрашенным лицом. Его смутно потянуло к ней. Они пошли бок о бок.

– О, Патрис, как я рада! Как ты?

– Да ничего, как видишь. Живу в деревне.

– Классно. Я всегда об этом мечтала. – И помолчав: – Знаешь, я на тебя не в обиде.

– Ну да, – засмеялся Мерсо, – не иначе как утешилась.

Тогда Марта заговорила таким тоном, который был ему внове:

– Не будь злым, ладно? Я прекрасно знала, что этим и кончится. Ты странно себя вел. А я была всего лишь девчонкой, как ты говорил. Ну и когда это случилось, конечно, я бесилась, сам понимаешь. Но в конце концов сказала себе, что ты просто несчастлив. Странно, не знаю, как выразить, но то, что было между нами, впервые в жизни доставило мне и печаль, и радость одновременно.

Мерсо удивленно взглянул на нее. Внезапно ему пришло в голову, что Марта всегда понимала его, была к нему добра. Она приняла его таким, каким он был, и благодаря ей он в какой-то мере избежал одиночества. Он был несправедлив по отношению к ней. Его воображение и тщеславие переоценили ее, но гордыня не позволила оценить ее по-настоящему. Мерсо осознал, как жесток парадокс, согласно которому мы дважды ошибаемся в отношении тех, кого любим, сперва в их пользу, затем наоборот. Теперь-то он понимал, что Марта вела себя с ним естественно, то есть была такой, какая есть, и за это он должен быть ей благодарен. Накрапывало, ровно столько, сколько требуется, чтобы свет уличных фонарей расплывался в пелене. Сквозь капли света и дождя Мерсо видел ставшее вдруг серьезным лицо Марты и ощутил, что его пронзило чувство признательности к ней, желание излить ей свою признательность в многословных выражениях, а также, что это чувство не находит выхода и что прежде он принял бы его за любовь.

– Знаешь, а я ведь тебя люблю. И теперь еще, если бы я мог… – только и выдавил из себя Мерсо.

– Ну что ты, – возразила она с улыбкой, – я молода. И не отказываю себе в радостях жизни.

Он одобрительно кивнул. От него до нее пролегла целая пропасть – притом что они втайне так близки друг другу. Патрис расстался с нею перед ее домом. Она открыла зонтик.

– Надеюсь, еще увидимся.

– Наверное, – отозвался он.

Марта грустно улыбнулась.

– Э, да у тебя, как и прежде, лицо девчонки.

Она стояла под козырьком входной двери и складывала зонт. Патрис протянул ей руку и, в свою очередь, улыбнулся: «Прощай, видение». Она быстро пожала протянутую руку, расцеловала его в обе щеки и бегом бросилась вверх по лестнице. Мерсо, оставшись стоять под дождем, еще ощущал на щеках прикосновение холодного носа и горячих губ Марты. Этот поцелуй, неожиданный и бескорыстный, был таким же чистым, как поцелуй маленькой проститутки с веснушками в Вене.

Ночевать он отправился к Люсьене, а на следующий день предложил ей прогуляться по бульварам. Было около полудня. Оранжевые суденышки обсыхали на берегу, похожие на четвертушки апельсинов. Голуби в сопровождении своих теней то снижались, то, описав дугу, взмывали вверх. Солнце, хотя и ослепительное, не припекало. Мерсо следил за тем, как черно-красный почтовый самолет набирает скорость и заворачивает к полосе света, которая пенилась в месте встречи моря и неба. Для того, кто остается, во всяком расставании есть нечто горькое. «Везет им», – сказала Люсьена. «Да», – ответил Патрис, а сам подумал, что не завидует чужому везению. Для него тоже отъезды и новые начинания сохраняли свою привлекательность. Но он знал, что только ленивые и никчемные люди связывают с ними понятие счастья. Счастье

предполагает выбор, а в основе выбора лежат концентрация воли и предвидение. Он словно слышал слова Загрея: «Не с волей к отречению, но с волей к счастью». Он шел с Люсьеной в обнимку, в его руке покоилась ее теплая и податливая грудь.

В тот же вечер, сидя в автомобиле, несущем его вдоль моря среди то возникающих, то исчезающих холмов Шенуа, Мерсо ощутил, как в его душе воцаряется пустота. Симулируя начала, разбираясь со своей прошлой жизнью, он определил для себя, кем хочет и кем не хочет быть. Дни того наваждения, за которые ему было стыдно, он счел опасными, но необходимыми. Он мог кануть в них насовсем и этим упустить свой шанс оправдаться. К тому же приходилось приспосабливаться ко всему.

Мерсо постепенно проникался истиной, одновременно унизительной и бесценной, что то особенное счастье, которое он искал, сводилось к утренним подъемам, регулярным принятиям морских ванн и гигиеническим навыкам. Он ехал очень быстро, настроенный воспользоваться своим стремлением обосноваться в такой жизни, которая впоследствии не потребовала бы от него больше никаких усилий, и подстроить свое дыхание под глубокий ритм времени и жизни.

На следующее утро Мерсо поднялся рано и спустился к морю. Ночная мгла уже отступила, утро полнилось шорохом крыльев и птичьим писком. Однако солнце не полностью поднялось на небосклон, и когда Патрис вошел в еще по-ночному тусклую воду, ему показалось, что он погрузился в сумерки, правда, вскоре все вокруг загорелось червонного золота цветом. Тогда он вернулся домой. В теле ощущалась легкость и готовность принять все. В последующие дни Мерсо стал выходить из дому незадолго до восхода солнца. Первое утреннее усилие задавало тон всему дню. Однако купания утомляли его. Сочетание утомленности и энергии придавало всему дню привкус счастливой усталости. И все же эти дни казались ему тягучими, нескончаемыми. Он еще не отделил свое время от каркаса привычек, которые служили ему точками отсчета. Ему нечем было заняться, и потому время тянулось согласно собственным законам. Каждая минута обретала ценность чуда, но Патрис еще не признавал ее таковой. Во время путешествия дни казались бесконечными, в конторе, наоборот, время с понедельника до понедельника проскакивало, подобно молнии, теперь же, лишенный своих опор, он пытался снова отыскать их в жизни, которой не было до этого дела. Порой он брал в руки часы и смотрел, как стрелка переходит с одной цифры на другую, дивясь тому, что пять минут тянутся целую вечность. Без сомнений, именно эти наручные часы открыли ему тяжкий и мучительный путь, ведущий к высшему искусству ничегонеделания. Мерсо научился гулять. Иногда во второй половине дня доходил по пляжу до развалин на мысе. Ложился там в полынь и, положив руку на горячий камень, вглядывался широко открытыми глазами и сердцем в невыносимое величие раскаленного неба. Он подстраивал биение крови к яростной пульсации солнца в самый разгар дня и, погруженный в дикие запахи и концерты сморенных жарой цикад, смотрел, как небо меняет цвет, попеременно становясь то белым, то синим, то зеленым и льет свою нежность на еще теплые развалины. Возвращался он рано и заваливался спать. В этом беге от одного дня до другого Мерсо нащупал ритм, чьи медлительность и необычность стали ему столь же необходимыми, как прежде были необходимы контора, кафе и сон. И тогда, и теперь это происходило почти неосознанно. Сейчас, по крайней мере, в минуты прозрения он ощущал, что время принадлежит ему и что в этом коротком мгновении, за которое море из красного превращается в зеленое, вечность воплощена в каждой из секунд. Вне этой кривой, которую описывали дни, он не понимал ни что такое вечность, ни что такое сверхчеловеческое счастье. Счастье было человеческим, а вечность обыденной. Главное состояло в том, чтобы уметь покорно подстроить свое сердце под ритм дней, а не ломать их ритм под кривую собственной надежды.

Точно так же, как нужно уметь вовремя остановиться, когда создаешь произведение искусства, почувствовать наступление момента, когда его нужно оставить в покое, в чем творцу гораздо больше способна помочь интуитивная потребность, чем самые тонкие умозаключения,

так и для того, чтобы увенчать свое существование счастьем, нужен лишь минимальный уровень интеллекта.

По воскресным дням Мерсо играл в бильярд с Пересом, рыбаком, у которого не было одной руки. Она была отнята выше локтя. Он играл необычным образом: склонившись над столом, прижимал кий к груди и поддерживал его культей. А по утрам у Мерсо была возможность полюбоваться ловкостью старого рыбака, который вставал в лодке и, зажав одно весло под мышкой, ворочал им с помощью грудной клетки, при этом другая рука гребла, как обычно. Словом, он и лодка хорошо понимали друг друга. Перес жарил каракатиц в собственном соку и подавал их с пикантной подливой. Мерсо делил с ним трапезу, обмакивая хлеб в черную обжигающую и густую жидкость из покрытой сажей сковородки. Перес-рыбак и сам был как рыба, от него не дождаться было ни слова. Патрис с благодарностью принимал эту особенность. Иногда утром, после купания, он наблюдал, как Перес выходит в море.

– Я с вами, Перес? – подходя, спрашивал он.

– Залазьте, – отвечал тот.

Они крепили весла в уключины и согласованно гребли, следя (Мерсо, по крайней мере) за тем, чтобы ноги не запутались в поводках перемета. В задачу Патриса входило наблюдать за шнуром, сверкающим на поверхности, темным и колеблющимся под водой. Солнечные лучи, падая на воду, разбивались на тысячи осколков, Мерсо вдыхал тяжелый, удушливый запах, похожий на дыхание бездны. Время от времени Перес вытаскивал из воды рыбу, бросал ее обратно и приговаривал: «Плыви-ка ты обратно, к маме». В одиннадцать они возвращались, Мерсо с руками, поблескивающими от рыбной чешуи, и с лицом, распухшим от солнца, шел домой, где было прохладно, как в погребе, а Перес отправлялся к себе и к вечеру готовил рыбное блюдо, которое они вместе съедали. День за днем погружался Мерсо в эту жизнь, как погружаются в воду. Подобно тому, как достаточно слаженной работы рук и воды, которая держит тебя на плаву, Патрису было достаточно нескольких простейших вещей – дотронуться рукой до ствола дерева, пробежаться по пляжу, – чтобы ощутить свою уникальность. Так он приобщался к жизни в ее чистом виде, обретал рай, который дан лишь зверям, наиболее лишенным ума либо в наибольшей степени им одаренным. В той точке, где разум отрицает себя, он подходил к собственной истине, а вместе с нею и к беспредельности своего величия и любви.

Благодаря знакомству с Бернаром Мерсо приобщился к жизни деревни. Он позвал его как-то, почувствовав недомогание, а потом они стали видеться, часто к обоюдному удовольствию. Бернар тоже был молчуном, но, несомненно, человеком умным, правда, ум его был с привкусом горечи, отчего в глазах за черепаховыми очками вспыхивали огоньки. Долгое время проработав в Индокитае, он в сорок лет уединился в этом уголке Алжира, где в течение уже нескольких лет вел мирный образ жизни. Его жена, вьетнамка, с волосами, уложенными в пучок, и в современном костюме, почти не раскрывала рта. Благодаря своей способности ко всем проявлять снисходительность, Бернар мог приноровиться к любой среде. Оттого любил всех, и сам, в свою очередь, был всеми любим. Он без труда ввел Мерсо в местное общество. Тот был уже накоротке с хозяином гостиницы, бывшим тенором, который пел, стоя за стойкой, а между двух арий «Тоски», обещал задать жене взбучку. Патрису предложили вместе с Бернаром войти в комитет, занимавшийся организацией праздников. И в праздничные дни, 14 июля и другие, они прохаживались с трехцветными повязками на рукавах или, собравшись с другими членами комитета за столом, покрытым зеленой, с пятнами от сладких аперитивов клеенкой, обсуждали, должна ли эстрада для выступлений музыкантов быть окружена пальмовыми деревьями или бересклетом. Его чуть было не завлекли в предвыборную историю неприятного толка. Но Мерсо имел возможность заблаговременно свести знакомство с мэром. Тот «держал в своих руках судьбы коммуны» (по его собственному выражению) в течение десяти лет, и эта почти вечность подвигала его к тому, чтобы мнить себя Наполеоном. Разбогатевший винодел, он выстроил себе дом в греческом стиле. Патрис был приглашен полюбоваться им.

Дом был двухэтажным, но с лифтом, видно, хозяин не останавливался ни перед какими затратами. Мерсо и Бернар оценили эту достопримечательность. «Хорошо скользит», – благодушно отозвался о нем Бернар. С этого дня Мерсо преисполнился глубоким уважением к мэру. Они с Бернаром пустили в ход все свое влияние, чтобы тот остался на своем посту, который, безусловно, был им заслужен.

Весной деревушка с красными крышами, зажатая между горами и морем, вся утопала в цветах – чайных розах, гиацинтах, бугенвиллеях – и полнилась жужжанием насекомых. В час сиесты Мерсо выходил на террасу и подолгу смотрел на человеческое жилье, затихшее под немилосердными лучами солнца. Исторические анналы деревни повествовали о соперничестве Моралеса и Бингеса, двух богатых испанских земледельцев-переселенцев, которые благодаря спекулятивным махинациям стали миллионерами. Мания величия поразила обоих. Когда один из них покупал автомобиль, то выбирал непременно самый дорогой. Другой покупал точно такой же, но менял ручки на серебряные. При этом фантазия Моралеса граничила с гениальностью. Его прозвали «король Испании». Он во всем переплюнул Бингеса, которому не хватало воображения. Во время войны Бингес подписался на государственный заем в несколько сотен тысяч франков, а Моралес объявил: «Я сделаю лучше, я пошлю на войну сына». И послал, хотя тот не достиг призывного возраста. В 1925 году Бингес приехал из Алжира на великолепном «бугатти». Две недели спустя Моралес выстроил себе ангар и купил самолет «кодрон». Самолет как поставили в ангар, так он там и стоял. По воскресеньям в ангар допускали посетителей посмотреть на него. Бингес обзывал Моралеса «голодранцем», а тот его «безмозглым поддувалом».

Как-то Бернар привел Мерсо к Моралесу, на большую ферму, полную ос и пропахшую испарениями перебродившего виноградного сока, тот выказал им должное почтение, но принял гостей в эспадрильях и рубашке, поскольку не переносил пиджака и ботинок. Им показали самолет, автомобили, медаль сына, оправленную в рамку и выставленную в гостиной, потом Моралес взялся просвещать Мерсо относительно необходимости выдворять иностранцев из французского Алжира («сам-то я натурализован, но вот, к примеру, этот Бингес…») и повел их смотреть свою недавнюю причуду. Они углубились в виноградник, в самой середке которого была обустроена круглая площадка. На ней, под открытым небом, оказался оборудован салон в духе Людовика XV из предметов мебели самых редких пород дерева, обитых самыми дорогими тканями. Моралес принимал посетителей прямо посреди своих владений. Мерсо вежливо поинтересовался, что же делается со всей этой роскошью в дождливую пору, хозяин, не моргнув, ответил, не вынимая сигары изо рта: «Меняю на другую». Потом они с Бернаром еще не раз навестили Моралеса и обсуждали, чем нувориш отличается от поэта. Моралес, согласно Бернару, являлся поэтом. Мерсо пришло в голову, что из этого нувориша вышел бы неплохой римский император эпохи заката империи.

Некоторое время спустя в Шенуа на несколько дней приехала Люсьена. А в воскресный день утром Мерсо нанесли визит Клер, Роза и Катрин, как и обещали. И хотя Патрис был уже далеко не в том состоянии, которое заставило его вернуться в Алжир после первых дней одинокого пребывания, он был рад их приезду и пошел с Бернаром встречать их на остановку, куда их доставил большой автобус канареечного цвета. День был великолепный, деревню наводнили красные автомобили мясников, повсюду разгуливали люди в одежде светлых тонов, было много цветов. Мерсо с гостьями, по просьбе одной из них, Катрин, заглянули в кафе. Катрин любовалась блеском, жизнью незнакомого ей места, а за стеной, на которую она облокачивалась, угадывала присутствие морской стихии. Когда они собрались уходить, на близлежащей улочке грянула поразительная музыка. Это был, без всяких сомнений, «Марш тореадора» из «Кармен», но инструменты играли так громко и не в лад, что назвать это сборище инструментов оркестром было трудно. «Это оркестр общества гимнастов», – заявил со знанием дела Бернар. И впрямь, два десятка незнакомых музыкантов, безостановочно дующих в духовые инстру-

менты самого разного толка, не заставили себя ждать. Они держали путь к кафе, а за ними в канотье, сдвинутом на затылок, под которым был носовой платок, обмахиваясь рекламным веером, выступал Моралес. Он нанял музыкантов в городе: «С этим кризисом жизнь слишком грустна», пояснил он позже. Ввалившись в ресторан, все расселись согласно его указаниям и закончили исполнять марш. Кафе было битком. Тогда Моралес встал и важно проговорил, обведя присутствующих взглядом: «По моей просьбе оркестр повторно исполнит «Тореадора».

Маленьких тупиц, как их называл Патрис, душил смех. Но, добравшись до дома Мерсо и оказавшись в затемненной прохладе комнат, которая подчеркивала ослепительную белизну стен, полных солнца, проникающего сюда из сада, они притихли, чувствовалось, что им здесь хорошо, а Катрин даже выразила желание принять солнечную ванну на террасе. Мерсо отправился провожать Бернара до дому. Уже второй раз тот становился свидетелем некоторых фактов из личной жизни Патриса. Их отношения нельзя было назвать доверительными, Мерсо понимал, что Бернар несчастлив, а Бернар был слегка обескуражен образом жизни Мерсо. Они расстались, не обменявшись ни словом. Патрис условился с подругами, что завтра спозаранку они все вчетвером отправятся на экскурсию. Высота Шенуа немалая, до вершины добраться – дело непростое. И все же им светило провести незабываемый день, наполненный усталостью и солнцем.

Рассвет застал их на первых крутых склонах Шенуа. Роза и Клер шли первыми, Патрис и Катрин замыкали шествие. Девушки хранили молчание. Шаг за шагом они поднимались все выше над морем, еще окутанным белым утренним туманом. Патрис тоже молчал, слившись с горой, покрытой редкой порослью ершистого безвременника, с ее ледяными ключами, чередованием тени и света, прислушиваясь к своему телу, которое то соглашалось с ним, то восставало. Они сосредоточились на продвижении вперед, вбирая в легкие утренний воздух, режущий как раскаленное железо или отточенная бритва, с головой уйдя в старание превзойти себя, одолеть непокорный склон. Роза и Клер, устав, замедлили шаг. Катрин и Патрис обогнали их и вскоре потеряли из виду.

– Ты как? – спрашивал время от времени Мерсо.

– Хорошо. Красотища! – отзывалась Катрин.

Солнце неуклонно взбиралось по небосводу, становилось все жарче, ожили и застрекотали насекомые. Вскоре Патрис снял рубашку и продолжил путь голый по пояс. Пот катил по его плечам, шелушившимся от солнца. Они пошли по тропинке, которая, как им показалось, огибала гору. Трава, по которой они теперь ступали, была уже гораздо сочнее. Вскоре послышалось журчание воды, повеяло свежестью, из расщелины в скале бил источник. Побрызгавшись друг на друга водой, они немного попили, и Катрин легла в траву, а Патрис, с прилипшими ко лбу и почерневшими от влаги волосами, щурил глаза, глядя на представшую его взору картину с руинами, сверкающими дорогами и солнечными бликами. Затем подсел к Катрин.

– Пока мы одни, Мерсо, скажи, счастлив ли ты?

– Смотри, – ответил он.

В дрожащем над тропой мареве роился целый сонм пылинок всех оттенков и цветов. Патрис улыбался, поглаживая себя по обнаженным плечам.

– Да, но я хотела тебе сказать… Не отвечай, если не хочешь. – Она колебалась. – Любишь ли ты свою жену?

– Это необязательно, – улыбнулся он. Затем, встряхнув головой, повернул Катрин к себе и плеснул ей в лицо водой. – Катрин, ошибочно думать, что нужно выбирать, что нужно делать или что хочешь делать, что существуют какие-то обстоятельства для счастья. Единственное, что имеет значение, видишь ли, это воля к счастью, нечто вроде постоянного, напряженного стремления к нему. Остальное – женщины, произведения искусства, успехи в той или иной области общественной жизни – не более чем предлоги. Канва, дожидающаяся того, что мы по ней вышьем.

– Да, – протянула Катрин, в ее глазах отражалось солнце.

– Для меня важно определенное качество счастья. Я могу вкусить счастья лишь в настойчивой и яростной битве, которую оно ведет со своей противоположностью. Счастлив ли я? Катрин! Известно ли тебе знаменитое высказывание: «Если бы начать жизнь с начала»? Так вот, я бы снова прошел тот же путь. Естественно, тебе не дано понять, что это значит.

– Нет, – подтвердила Катрин.

– Как тебе сказать, малыш… Если я счастлив, то благодаря своей нечистой совести. Мне нужно было уехать, добиться одиночества, при котором я мог свести на очной ставке в самом себе то, что было необходимо свести, то, что являлось солнцем и слезами… Да, по-человечески я счастлив.

На тропе показались Роза и Клер. Дальше путь по-прежнему шел полого, среди буйной растительности. По обеим сторонам тропы росли берберийская смоковница, оливковое дерево и юююба. Навстречу попадались арабы верхом на ослах. Затем начался подъем. Солнце нещадно палило скалы. В полдень, ошалев от зноя, опьянев от запахов и усталости, они побросали свои рюкзаки и отказались от намерения добраться до вершины. Скалистые склоны были сложены из кремня. Привал устроили в тени под невысоким уродливым дубом. Достали провизию и закусили. Вся гора сотрясалась под напором солнечного света и треска цикад. Тень под дубом съеживалась. Патрис повалился ничком на землю и, прижавшись к камням, дышал исходящим от них жаром, всем телом ощущая глухие толчки в недрах горы. Казалось, громада трудилась. Монотонность ударов, одуряющий стрекот насекомых, затаившихся среди раскаленных камней, дикие запахи в конце концов усыпили его.

Проснулся он весь в поту, чувствуя себя разбитым. Было часа три. Подруги куда-то пропали. Но вскоре крики и смех послышались рядом. Жара чуть спала. Пора было начать спуск. Вот тут-то на спуске Мерсо впервые потерял сознание. Когда он очнулся, то увидел очень синее море между тремя склонившимися над ним головками со встревоженными лицами. Они стали спускаться помедленнее. На последнем склоне Мерсо попросил сделать передышку. Море и небо зазеленели, объединившись в одно целое, горизонт задышал. На отрогах, являвшихся продолжением Шенуа, окруживших бухточку, чернели кипарисы. Все молчали.

– Вид у вас усталый, – не выдержала Клер.

– Что делать, малышка.

– Знаете, это не мое дело. Но этот край вам не подходит. Здесь слишком близко к морю, слишком влажно. Почему бы вам не поселиться во Франции, в горах?

– Этот край мне не подходит, Клер, согласен, но я здесь счастлив. Мне здесь хорошо.

– А там вам стало бы совсем хорошо, причем надолго.

– Более-менее долго быть счастливым нельзя. Ты просто счастлив. Точка. А смерть ничему не помеха – это просто несчастный случай, который случился с тобой, когда ты был счастлив.

Все замолчали.

– Меня вы не убедили, – после некоторого раздумья произнесла Роза.

Они добрались до дома, когда уже вечерело.

Катрин вызвалась позвать Бернара. Мерсо сидел в своей комнате, глядя на белое пятно балюстрады, темный холст моря и более светлое пространство над ним – беззвездное небо. Он чувствовал слабость, но в силу какой-то благодетельной тайны от слабости ему легче дышалось и думалось. Когда Бернар постучал в дверь, Патриса как будто кольнуло: сейчас он расскажет ему обо всем. Не то чтобы его секрет тяготил его. Да и секрета никакого не было. Если он и молчал до сих пор, то потому, что в некоторых сообществах свои мысли хранят про себя, зная, что они наткнутся на предрассудки и глупость. Но сегодня, при всей своей телесной немощи и желании исповедаться, Мерсо был подобен художнику, который долго вынашивал свое произведение и наконец понял, что пришло время представить его на суд людской. Патриса не

покидало чувство, что ему нужно выговориться. Не будучи уверенным, что так и поступит, он с нетерпением ожидал прихода Бернара.

Снизу донесся веселый смех, он улыбнулся; в этот момент в комнату вошел Бернар.

– Что случилось? – спросил он, входя.

– Да вот так, – растерянно ответил Мерсо.

Бернар прослушал его. Ничего определенного сказать было нельзя. Посоветовал сделать рентгеновский снимок, если можно.

– Попозже, – ответил Мерсо.

Бернар замолчал и сел.

– Сам я болеть не люблю, – начал он, – я знаю, что это такое. Нет ничего более некрасивого и унизительного, чем болезнь.

Патрис равнодушно слушал. Он приподнялся в кресле, предложил гостю курить, закурил сам и, смеясь, сказал:

– Могу я вам задать вопрос, Бернар?

– Почему нет?

– Вы никогда, я заметил, не купаетесь в море, так почему же вы забрались в эту глушь?

– Сам не знаю. Давно это было. – И добавил после небольшой паузы: – И потом, я всегда поступал наперекор всему. Теперь уж не то. А прежде я хотел стать счастливым, делать то, что положено делать человеку, обосноваться, к примеру, в краю, который был бы мне по сердцу. Но благими намерениями вымощена дорога в ад. Нужно жить как можно проще – не принуждая себя. То, что я говорю, немного цинично. Но такова точка зрения самой прекрасной в мире девушки. В Индокитае я пустился во все тяжкие. Теперь настал черед все обдумать. Все просто, как шар.

– Да, – отозвался Мерсо, не переставая курить, забравшись глубоко в кресло и глядя в потолок. – Но я не уверен, что любые благие намерения столь непродуктивны. Они просто-напросто неразумны. В любом случае единственный опыт, который представляет для меня интерес, тот, результаты которого соответствуют моим ожиданиям.

– Да, судьба по мерке человека, – улыбнулся Бернар.

– Судьба человека, – продолжал Патрис, – всегда увлекательна, коль скоро он обручается с нею со всею страстью. А кое для кого увлекательная судьба – это всегда судьба по его мерке.

– Согласен, – отвечал Бернар. – Он с усилием поднялся и какое-то время вглядывался в ночь, повернувшись спиной к хозяину дома. – Вы и я – единственные в этом краю одиночки. Ваша жена и ваши гостьи не в счет. Мне ясно, что это несерьезно. И все же, мне кажется, вы больше любите жизнь, чем я. – Он обернулся к своему собеседнику. – Потому как для меня любить жизнь – не означает купаться в море. Для меня это означает жить так, чтобы захватывало дух. Тут годится все – женщины, приключения, разные страны. Это, прежде всего, означает действовать, преодолевать сопротивление. Так, чтобы тебя обжигало, чтобы испытывать восторг. Словом, я хочу сказать… Поймите меня. – Он как будто был сконфужен тем, что разговорился. – Я слишком люблю жизнь, чтобы удовольствоваться одной природой.

Бернар принялся сворачивать свой стетоскоп.

– В общем, вы идеалист, – проговорил хозяин дома.

У Мерсо было такое чувство, что в эту минуту, которая длится от рождения до смерти, решается вся его судьба.

– Дело в том, видите ли, – с некоторой грустью сказал гость, – противоположностью идеалиста часто выступает человек, лишенный любви.

– Не верьте этому, – ответил Мерсо, протянув ему руку.

Бернар долго жал ее.

– Так, как вы, – улыбнулся он, – думают только люди, живущие большим отчаянием или большой надеждой.

– Может быть, и тем, и другим.

– Я вас за язык не тяну!

– Я знаю, – серьезно сказал Патрис.

Но когда Бернар был уже на пороге, он позвал его, поддавшись неосознанному порыву.

– Да? – спросил доктор, обернувшись.

– Вы способны презирать кого-нибудь?

– Думаю, да.

– В каких случаях?

– Все очень просто, мне кажется, – подумав, ответил гость. – В том случае, когда человеком двигала корысть, страсть к наживе.

– И в самом деле, просто, – согласился Мерсо, – доброго вечера, Бернар.

– Всего доброго.

Оставшись один, Патрис задумался. В той точке, до какой он дошел, презрение другого человека оставляло его равнодушным. Но он ощущал в Бернаре глубокие отзвуки, которые сближали его с ним. Ему казалось невыносимым, чтобы одна его часть осуждала другую. Был ли его поступок корыстным? Он усвоил тогда главную безнравственную истину, что деньги – один из наиболее надежных и быстрых способов обрести достоинство. Тогда же удалось ему избавиться и от горечи, которая охватывает всякую добродетельную от природы душу, когда она начинает постигать, сколько несправедливого и подлого заложено как в основании, так и в процветании иной удавшейся судьбы. То омерзительное и возмутительное проклятие, лежащее в основе утверждения, что бедные заканчивают в нищете начатую в нищете жизнь, он отбросил, сражаясь за деньги с помощью денег, с ненавистью с помощью ненависти. Из этой битвы зверя со зверем порой ангел являл свой лик, весь в ореоле крыльев и славы, ликующий под теплым морским дыханием. Так вышло, что он ни в чем не признался Бернару, а значит, отныне содеянному им предстояло остаться тайным.

На следующий день к пяти часам пополудни дети, как он их называл, уехали. Стоя на подножке автобуса, Катрин обернулась к морю со словами:

– До свиданья, пляж.

Минуту спустя три улыбающиеся мордашки взирали на Мерсо сквозь задние стекла, желтый автобус, подобный большому золотому жуку, исчез из виду. Погода стояла ясная, но было что-то гнетущее в небесах. В сердце Патриса рядом с чувством освобождения присутствовала грусть. Только сегодня его одиночество становилось реальностью, потому что только сегодня он ощущал себя неотделимым от него. И оттого, что он смирился с ним, осознал себя полным хозяином своих грядущих дней, Мерсо преисполнился меланхолии, сопряженной с величием любого рода.

Вместо того чтобы пойти по дороге, он вернулся к себе тропинкой, идущей среди рожковых деревьев и олив у подножия горы и выводящей на задворки его дома. По пути он раздавил несколько маслин, и тогда только заметил, что тропинка усеяна черными плодами и оттого стала пятнистой. В конце лета над всем Алжиром витает аромат любви, источаемый рожковым деревом, а вечерами или после дождя земля словно отдыхает после того, как отдалась солнцу, вобрав в свое чрево семя с запахом горького миндаля. Целыми днями огромные деревья источали этот тяжелый, удушливый аромат. С наступлением вечера на тропе можно было услышать протяжный вздох предающейся отдыху земли, и аромат становился невесомым, едва уловимым для обоняния – такое же ощущение испытываешь, выйдя с любовницей на улицу в свет уличных фонарей после удушающих послеполуденных часов, когда она смотрит посреди толпы на тебя, прижавшись к тебе плечом.

Дыша этими запахами, давя пахучие плоды, Мерсо понял, что лето подходит к концу. На пороге была зима. Он, как и плоды, созрел, чтобы встретить ее. С тропинки не было видно моря, но можно было заметить легкую красноватую дымку, окутывающую вершину горы и

предвещающую наступление вечера. Пятна света на затененной листвой тропе меркли. Мерсо жадно втянул в себя горький аромат, который праздновал этим вечером свою помолвку с землей. Подобно приливу накатывал на него этот вечер, опускающийся на мир, на тропу между оливковыми и мастиковыми деревьями, на виноградники и красную землю вблизи тихо плещущихся волн моря. Столько вечеров, подобных этому, уже было вобрано им в себя, как обещание счастья, что ощущать как счастье и этот вечер означало измерить путь, который он прошел от надежды к победе. Он принимал это зеленое небо и эту влажную от любовного соития землю с той же дрожью страсти и желания, которые объяли его, когда он убивал Загрея; и тогда, и сейчас его сердце не знало злобы.

Глава 5

В январе зацвели миндальные деревья. В марте грушевые, персиковые и яблоневые. Месяц спустя переполнились, а затем вернулись к обычному состоянию источники воды. В начале мая провели первый сенокос, в последние майские дни сняли урожай овса и ячменя. Стали наливаться абрикосы. В июне в пору жатвы начали созревать ранние сорта груши. Родники пересыхали, становилось все жарче. Но кровь земли, иссякая в одном месте, брала свое в другом – зацвел хлопчатник, виноград накапливал сахар. Случился суховей, высушивший землю, повсюду вспыхнули пожары. А потом как-то разом год повернуло в другую сторону. Второпях завершился сезон сбора винограда. Ливневые дожди с сентября по октябрь умыли землю. А вместе с дождями, едва закончились летние труды, началась посевная, источники вновь наполнились и разразились потоками воды. Под конец года озимые на иных полях уже проросли, на прочих еще только заканчивались подготовительные работы к посеву. Чуть позже миндальные деревья снова накрылись белыми шапками под ледяным голубым небом. Новый год на земле и небе шел своим чередом. Был посеян табак, обработаны серой виноградники, привиты деревья. В том же месяце поспела мушмула. И снова сенокосная страда, жатва и летние труды. На макушке года крупные, сочные, липнущие к пальцам плоды украшали столы: фиги, персики и груши, которые жадно поедались в перерывах во время молотьбы. А как пришло время собирать урожай винограда, небо затянуло тучами. С севера потянулись черные молчаливые стаи скворцов и дроздов. Для них маслины были уже в самый раз. После того, как птицы улетели, маслины собрали. Во второй раз проросли зерна пшеницы. Огромные облака, также пришедшие с севера, прошли над морем и землей, пригладили морскую поверхность и оставили ее ровной и прозрачной, как стекло, под хрустальным небом. В течение нескольких дней по вечерам вдали вспыхивали зарницы. На землю пали первые заморозки.

Тут-то Мерсо и слег впервые. Плеврит продержал его взаперти целый месяц. Когда он поправился, деревья на склонах Шенуа, тянущихся до самого моря, покрылись цветами. Никогда еще ни одна весна так его не трогала. В первую после выздоровления ночь он долго шел по полям до того места, где спала Типаса. В тишине, населенной шелковыми звуками неба, ночь, как молоко, изливалась на мир. Мерсо шагал по прибрежным скалам, проникаясь задумчивым великолепием ночи. Море, полное лунного света, бархатистое, похожее на изворотливого зверя, тихонько посвистывало. Оно виднелось чуть ниже, полное лунного света и бархата, гладкое и податливое, как зверек. В этот час одинокому, безразличному ко всему и к себе самому Мерсо показалось, что он достиг наконец того, что искал, и что наполнявший его покой родился из терпеливого забвения себя самого, которого он добивался и достиг с помощью этого горячего мира, без гнева отвергавшего его. Он легко ступал по земле, шум его собственных шагов казался ему чужим, то есть если и знакомым, то в той же мере, в какой знакомыми были шорохи зверьков в зарослях мастиковых деревьев, шум прибоя или биение ночи в глубинах неба. И точно так же ощущал он свое тело, как бы со стороны, так же как теплое дыхание весенней ночи, запахи соли и гниющих морских водорослей. Его метания по свету,

настоятельные поиски счастья, страшная рана Загрея, эта мешанина из костей и мозга, тихие часы, проведенные в «Доме, предстоящем Миру», жена, собственные надежды и боги, – все это встало перед его внутренним взором, но так, будто это была какая-то история, которой Мерсо неизвестно почему отдал предпочтение, одновременно чужая ему и тайно близкая, любимая книга, которая льстит и подтверждает самое затаенно-сердечное, только вот написанная кем-то другим. Впервые в его ощущениях была дана только одна реальность – реальность страсти к риску, жажда силы, инстинктивное сознание своего родства с миром. Избавившись от гнева и ненависти, он не знал и сожаления. Сидя на скале, чье щербатое лицо Мерсо ощущал под своими пальцами, он смотрел на море, молчаливо вздымающееся в лунном свете. Думал о лице Люсьены, которое ласкал, о ее теплых губах. На ровной поверхности воды, как масло, растекалась долгими блуждающими улыбками луна. Вода, должно быть, была теплой, как губы женщины, податливой и готовой раскрыться навстречу мужчине. По-прежнему сидя на скале, отдавшись молчаливому восторгу, в котором переплелись надежда и отчаяние, неотделимые от человеческой жизни, Мерсо почувствовал вдруг, насколько близки счастье и слезы. Все понимающий изнутри и с внешней стороны, разъедаемый страстью и невозмутимый, Мерсо понимал, что сама его жизнь и судьба завершаются здесь и что все его усилия отныне будут направлены на то, чтобы приспособиться к этому счастью и лицом к лицу столкнуться с его ужасной истиной.

Он почувствовал настоятельную необходимость отдаться морской стихии, потерять себя и заново обрести, поплыть по лунной дороге, пролегающей по теплой воде, чтобы умолк голос прошлого и родился хорал счастья. Мерсо разделся, спустился по скалистому обрыву вниз и шагнул в море. Оно было теплое, как человеческое тело, вода струилась вдоль рук, льнула к ногам, цепко заключая их в плен. Он поплыл под немым живым небом, выбрасывая то одну, то другую руку вперед и чувствуя, как мускулы спины задают ритм его движению. Всякий раз, как Мерсо выбрасывал руку вперед, повсюду разлетались серебряные капли, и он воображал, что это великолепные семена будущего урожая счастья. Затем рука погружалась в воду и, как мощный лемех, трудилась, разламывая надвое воды, чтобы почерпнуть в них новую опору и надежду. Его ноги, молотя по воде, порождали пену и шум, странным образом так отчетливо разносящийся по молчаливой ночи. Чувствуя собственную силу, ритм продвижения, Мерсо испытал восторг, он плыл все быстрее и вскоре был уже далеко от берега, один в ночи и в мире. Но вдруг подумал о бездне, разверзшейся под его ногами, и поплыл медленнее. Все, что было под ним, влекло его, как лик неведомого мира, как продолжение этой ночи, которая возвращала его самому себе, как сердце из воды и соли еще не изученной жизни. Им овладело опасное искушение, с которым Мерсо тут же справился, к большой телесной радости. И поплыл еще быстрее дальше. Испытав блаженную усталость, повернул к берегу. Но в эту минуту попал в холодное течение и был вынужден замедлить темп, лязгая зубами и не справляясь со своим телом. Этот сюрприз, преподнесенный ему морем, восторгал его; ледяной холод пробирал до костей и обжигал, как любовь неведомого бога, лишал сил. С трудом добравшись до берега, Патрис стал одеваться, стуча зубами и смеясь от счастья.

На обратном пути ему стало плохо. С тропинки, которая вела от моря к дому, ему был виден скалистый выступ, гладкие колонны в окружении развалин. Как вдруг все закружилось, и Мерсо оказался лежащим в зарослях мастики, чьи поврежденные листья источали аромат. Шатаясь, добрел он до дома. Его тело, незадолго до того вознесшее хозяина до пределов радости, теперь погружало его в отчаяние. Боль угнездилась в желудке, глаза слипались. Патрис приготовил чай. Но кастрюля, в которой он подогрел воду, оказалась грязной, и чай получился омерзительным. И все же он его выпил, перед тем как лечь. Снимая обувь, Мерсо взглянул на свои руки, от которых отхлынула кровь, и заметил, что у него никогда прежде не было таких ногтей: очень розовых, отросших и загнутых. Они придавали рукам вид чего-то уродливого и нездорового. Его грудь словно сжало тисками. Он закашлялся, слюна была обычного цвета,

хотя во рту остался привкус крови. В постели его затрясло. Мерсо чувствовал, как дрожь пробирается от кончиков пальцев на ногах к плечам и, подобно струйкам ледяной воды, обдает их, зуб не попадал на зуб, простыни казались влажными. Дом как будто раздался, увеличился в размерах, знакомые звуки разносились по нему, уходя в бесконечность, словно на их пути не было препятствий, положивших бы предел их распространению. Он слышал, как море накатывало на гальку, как за окнами шумела ночь, как лаяли на дальних фермах собаки. Ему стало жарко, Патрис отбросил одеяла – затем холодно, он снова накрылся. В этом балансировании на грани между двумя страданиями, в дреме и беспокойстве, не дававшем уснуть, Мерсо вдруг понял, что болен. Страх охватил его при мысли, что он может умереть в этом бессознательном состоянии и не имея возможности посмотреть вперед. Деревенские часы пробили, но он не смог разобрать, сколько раз. Мерсо не желал умирать от болезни. По крайней мере, от болезни, которая была тем, чем она часто является: постепенным умиранием, переходом к смерти. Он неосознанно желал встречи со смертью, но в состоянии владения всеми своими силами. А не встречи смерти с тем, что было почти ее аналогом. Патрис встал, подтащил с трудом кресло к окну и сел, укрывшись одеялами. Сквозь легкие занавески в тех местах, где складки не делали их плотнее, были видны звезды. Он глубоко вдохнул и схватился за подлокотники кресла, чтобы унять дрожь в руках. Важно было не потерять сознание. «Я должен», – думал Мерсо. Мелькнуло в голове, что на кухне не выключен газ. «Я должен», – повторял он. Ясность сознания тоже требовала долготерпения. Всего можно добиться. Он стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Сильным, слабым или волевым не рождаются. Сильным физически или морально становятся. Судьба не в самом человеке, а вокруг него. Тут только он заметил, что плачет. Странная слабость, нечто вроде трусости, порожденной болезнью, возвращала его в детство и к слезам. У него застыли руки, сердце наполнилось огромным отвращением. Мерсо думал о своих ногтях, под ключицей он нащупал лимфатические узлы, показавшиеся ему огромными. А за окном была вся эта красота, изливавшаяся на мир. Патрис не желал расставаться со своей жадностью к жизни. Думал о тех вечерах в Алжире, когда к зеленому небу поднимается гул людей, покидающих фабрики под вой сирены. Из вкуса полыни, диких цветов, выросших среди развалин, вокруг домишек, окруженных кипарисами в Сахеле, ткался образ жизни, в котором красота или счастье заимствовали свое лицо у отчаяния и в котором Мерсо находил нечто вроде мимолетной вечности. Этого он покидать не желал, как и того, что мир будет продолжать существовать без него. До краев преисполненный бунта и жалости, Патрис вдруг увидел лицо Загрея, обращенное к окну. Долго кашлял. Тяжело дышал. Ему было тесно в пижаме. Ему было холодно. Ему было жарко. Его душила не находившая выхода ярость, кровь тяжело стучала в виски, с пустым взглядом, сжав кулаки, он ждал нового приступа, который погрузил бы его снова в лихорадочное забытье. Лихорадка вернулась, ввергла его во влажный и замкнутый мир, в котором глаза его закрылись и погасили бунт зверя, жадно охраняющего свою жажду и голод. Но перед тем как уснуть, Мерсо успел увидеть, как ночь слегка побледнела за занавесками, и услышать, как проснулся мир и раздался яростный зов нежности и надежды, который растапливал его ужас перед смертью, но в то же время заверял, что смысл смерти он обретет в том, что являлось прежде всем смыслом его жизни.

Когда Патрис проснулся, день был уже в разгаре, целый сонм птиц и насекомых распевал на жаре. Он вспомнил, что в этот день должна приехать Люсьена. Сам он был разбит и снова забрался в постель. Во рту господствовал привкус лихорадки, резь в глазах делала окружающее более суровым. Мерсо передал Бернару просьбу прийти. Тот пришел, все такой же молчаливый и деловой, выслушал его, снял очки, чтобы протереть их, и проговорил: «Плохо дело». Сделал два укола. Через секунду Патрис, вообще-то выносливый, потерял сознание. Когда он пришел в себя, то увидел, что Бернар держит его одной рукой за запястье, а в другой у него часы, за движением секундной стрелки которых он наблюдает.

– Видите, – сказал Бернар, – обморок длился пятнадцать минут. Сердце ослабло. Вы можете не выйти из очередного обморока.

Мерсо закрыл глаза. Он был изнурен, губы его побелели, стали сухими, дышал он со свистом.

– Бернар, – позвал он.

– Слушаю вас.

– Я не хочу помереть, не приходя в сознание. Мне нужно оставаться в сознании, понимаете?

– Да, – сказал доктор и дал ему несколько ампул. – Если почувствуете слабость, разбейте и проглотите. Это адреналин.

Выходя из дому, Бернар столкнулся с Люсьеной.

– Вы все так же очаровательны.

– А что, разве Патрис болен?

– Да.

– Это серьезно?

– Нет, он в порядке, – ответил доктор и добавил: – Вот что, один совет, оставляйте его побольше одного, по мере возможности.

– А, так значит, это не страшно, – успокоилась Люсьена.

Весь день Мерсо задыхался. Дважды ощущал назойливый холод, который засасывал его в воронку нового обморока, дважды адреналин вытаскивал его из засасывающей трясины. И весь день он не отводил своих темных глаз от великолепия за окном. К четырем часам на горизонте возникла красная точка и, мало-помалу вырастая, превратилась в большую красную лодку, сверкающую на солнце от брызг и рыбной чешуи. Перес стоял на дне лодки и греб. Быстро наступила ночь. Мерсо закрыл глаза и впервые со вчерашнего дня улыбнулся. Он не разжимал зубов. Люсьена была в другой комнате, но, забеспокоившись, поспешила к нему и бросилась обнимать мужа.

– Садись, – сказал Патрис, – можешь остаться.

– Не разговаривай, это тебя утомляет, – ответила она.

Пришел Бернар, сделал уколы и ушел. Большие красные облака медленно плыли по небу.

– Когда я был ребенком, – с усилием начал Мерсо, утопая в подушках и устремив взгляд на небо, – моя мать говорила, что это души мертвых, возносящиеся в рай. Я был заворожен тем, что и у меня душа красного цвета. Теперь я знаю, что это явление чаще всего обещает ветер. Но и это чудесно.

Наступила ночь. Видения шли одно за другим. Большие фантастические звери покачивали головами среди пустынных пейзажей. Мерсо оттеснил их в глубь беспамятства. Оставил только лицо Загрея. Теперь они стали кровными братьями, породнились. Тот, кто убил, теперь сам умирал. И как тогда, стоя перед убитым им человеком и глядя на его рану, он обратил взгляд на свою жизнь, и это был взгляд мужчины. Жизнь продлилась до этих пор. Теперь можно было и обсудить ее. От того большого порыва, сносящего все на своем пути, владевшего им вначале, от невыразимой и созидательной поэзии жизни ничего не осталось, одна лишь прямолинейная истина, которая является противоположностью поэзии. Из всех тех людей, которых он носил в себе, как и всякий в начале жизни, из тех различных существ, которые переплетались в нем корнями, не смешиваясь, остался один – теперь Мерсо знал, кем он был: тот выбор, который за человека делает судьба, он осуществил сам, сознательно и храбро. Это и составляло все его счастье, как жизни, так и смерти. Эта смерть, на которую Патрис некогда взирал с ужасом животного… Теперь он понимал, что бояться ее означает бояться жизни. Страх смерти оправдывает безграничную привязанность к тому, что имеется в человеке живого. А все те, кто не совершил решительных действий, чтобы приподняться над своей жизнью, все те, кто трусливо прятал голову под крыло, расписывались в беспомощности, все они боялись смерти

по причине той санкции, которую она налагала на их жизнь, прошедшую впустую. Они не насытились жизнью, потому как никогда и не жили. Смерть подобна событию, навсегда лишающему странника возможности утолить свою жажду, не утоленную при жизни. А для кого-то она фатальное и благодетельное событие, которое стирает, отрицает и улыбается и признательности, и бунту. Он провел день и ночь, сидя на кровати, положив руки на ночной столик, а голову на руки. Лежа Мерсо дышать уже не мог. Люсьена сидела рядом и молчала. Иногда он бросал взгляд на нее. Приходило в голову, что когда его не станет, она отдастся первому, кто дотронется до нее. Она подарит себя ему целиком, во всей роскоши своей груди, своих бедер, как дарила себя ему, и мир продолжится в тепле ее полураскрытых губ. Порой Мерсо поднимал голову и обращал ее к окну. Его было не узнать: запавшие, воспаленные, утратившие блеск глаза, небритые щеки бледно-синего цвета.

Взглядом больного кота смотрел он в окно, вздыхал, поворачивался к Люсьене. Улыбался ей. Суровая улыбка помогала внутренне собраться, придавала его расползающемуся во все стороны лицу неожиданную силу, веселую серьезность.

– Все в порядке? – спрашивала жена упавшим голосом.

– Да.

Потом он возвращался во мглу своих мыслей. И впервые именно теперь, дойдя до грани силы и сопротивления, изнутри понял суть улыбки Ролана Загрея, которая приводила его в такое отчаяние в самом начале их знакомства. Его короткое учащенное дыхание оставляло на мраморе ночного столика влажный налет, тепло которого возвращалось к нему. И это нездоровое тепло делало более ощутимым холод, овладевший ступнями ног и пальцами рук. В этой борьбе тепла и холода тоже проявлялась жизнь, с ней он обретал тот самый восторг, который охватил Загрея, благодарящего жизнь за то, что «все еще позволено гореть». Мерсо испытывал братскую яростную любовь к этому человеку, который прежде был ему чужим, и понимал, что, убив его, он связал себя с ним вечными узами. Тяжелые слезы медленно наворачивались на глаза, у них был смешанный вкус жизни и смерти, и было понятно, что эти слезы роднили убийцу с его жертвой. В самой неподвижности Загрея перед лицом смерти Патрис находил тайный и суровый образ своей собственной жизни. Лихорадка помогала ему в этом, а вместе с нею приводящая в восторг уверенность, что ему удастся до конца пребывать в сознании и умереть с открытыми глазами. Загрей тоже в тот день не закрывал глаз, в них тоже скопились слезы. Но то была последняя слабость человека, который не получил от жизни всего. Мерсо не боялся этой слабости. Кренясь под напором крови, пытающейся сломить его, он все еще понимал, что справится с этой слабостью. Ибо он исполнил свое предназначение, единственный долг человека, который только в том и состоит, чтобы быть счастливым. Недолго, разумеется. Но продолжительность тут ни при чем. Время может быть разве что препятствием, или же оно вообще не в счет. Патрис преодолел препятствие, и неважно, сколько продлилось его новое существование – два года или два десятка лет. Счастье в том, что оно было.

Люсьена встала, чтобы укутать плечи мужа, с которых сползло одеяло. Он вздрогнул от ее прикосновения. С того дня, когда Мерсо чихнул на маленькой площади возле виллы Загрея, до сего часа его тело верно служило ему и помогало во взаимоотношениях с миром. Но в то же время продолжало жить своей жизнью, не совпадающей с жизнью человека, вместилищем которому служило. За эти несколько лет в нем, в этом теле, свершился медленный процесс распада. Теперь оно полностью завершило круг своего существования и было готово покинуть Патриса и вернуть его миру. Внезапное содрогание еще раз напомнило о том сообщничестве, которое объединяло Мерсо с его телом и доставляло им обоим столько удовольствий. И на этом основании он принимал содрогание как дарованную ему радость. Пребывать в сознании, только это и было нужно, без обмана, без трусости, оставаться один на один со своим телом, широко раскрыв глаза навстречу смерти. Речь шла о сугубо мужском деле. Ничего, ни привязанности, ни декораций, одна лишь бесконечная пустыня одиночества и счастья, в которой

Мерсо сдавал свои последние карты. И чувствуя, как слабеет дыхание, он втянул в себя воздух, легкие захрипели, как хрипит орган под неумелыми пальцами. Патрис чувствовал: лодыжки совсем застыли, руки онемели. Занималось утро нового дня.

Заря полнилась птичьим гомоном и свежестью. Солнце в один прыжок оказалось на горизонте. Земля облачилась в золото и зной. Небо и море перебрасывались синими и желтыми пятнами света, большими прыгающими зайчиками. Поднялся легкий ветерок, он играючи влетел в окно и обдал ладони Мерсо свежестью. В полдень ветер стих, день лопнул, как перезрелый плод, из него брызнул теплый сок и потек по мировому пространству в сопровождении внезапно грянувшего концерта цикад. Море покрылось этим золотым соком, словно маслом, и дохнуло на землю, раздавленную солнцем, отчего та ожила и принялась источать ароматы полыни, розмарина и горячих камней. Патрис со своей постели увидел это преображение и этот дар и широко открыл глаза на огромное, сверкающее море, населенное улыбками морских богов. Потом вдруг он понял, что не лежит, а сидит на постели и что лицо Люсьены рядом с его лицом. Из чрева медленно поднимался и продвигался к горлу комок. Он дышал все чаще, пользуясь минутами, когда комок ненадолго задерживался. Мерсо взглянул на Люсьену. Улыбнулся, при этом гримаса боли не исказила его лицо, и эта улыбка тоже шла изнутри. Потом откинулся на подушки, комок продолжал свое восхождение. Рядом были полные губы Люсьены, а за ее спиной улыбающаяся земля. На то и другое он посмотрел с одинаковым вожделением.

«Через минуту, через секунду», – подумалось ему. Комок остановился. Камень среди камней, с радостным сердцем он вернулся к истине неподвижных миров.

Посторонний

[52]

[52] © Перевод. Н. Галь, наследники, 2019

Часть первая

I

Сегодня умерла мама. Или, может, вчера, не знаю. Получил телеграмму из дома призрения: «Мать скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезнуем». Не поймешь. Возможно, вчера. Дом призрения находится в Маренго, за восемьдесят километров от Алжира. Выеду двухчасовым автобусом и еще засветло буду на месте. Так что успею побыть ночью у гроба и завтра вечером вернусь. Попросил у патрона отпуск на два дня, и он не мог мне отказать – причина уважительная. Но видно было, что недоволен. Я ему даже сказал: «Я ведь не виноват». Он не ответил. Тогда я подумал – не надо было так говорить. В общем-то мне нечего извиняться. Скорей уж он должен выразить мне сочувствие. Но потом, наверно, еще выразит – послезавтра, когда увидит меня в трауре. А пока еще непохоже, что мама умерла. Вот после похорон все станет ясно и определенно, так сказать – получит официальное признание.

Выехал двухчасовым автобусом. Было очень жарко. Позавтракал, как всегда, в ресторане у Селеста. Там все огорчились за меня, а Селест сказал: «Мать-то у человека одна». Когда я уходил, меня проводили до дверей. Напоследок спохватился, что надо подняться к Эмманюэлю – взять взаймы черный галстук и нарукавную повязку. Он месяца три назад схоронил дядю.

Чуть не упустил автобус, пришлось бежать бегом. Торопился, бежал, да потом еще в автобусе трясло и воняло бензином, дорога и небо слепили глаза, и от всего этого меня сморил сон. Проспал почти до Маренго. А когда проснулся, оказалось – привалился к какому-то солдату, он мне улыбнулся и спросил, издалека ли я. Я сказал «да», разговаривать не хотелось.

От деревни до дома призрения два километра. Пошел пешком. Хотел сейчас же увидеть маму. Но привратник сказал – надо сперва зайти к директору. А он был занят, и я немного подождал. Пока ждал, привратник так и сыпал словами, а потом я увидел директора, он принял меня в кабинете. Это старичок с орденом Почетного легиона. Он посмотрел на меня ясными глазами. Потом пожал мне руку и долго не выпускал, я уж и не знал, как ее отнять. Он заглянул в какую-то папку и сказал:

– Госпожа Мерсо пробыла у нас три года. Вы были ее единственной опорой.

Мне показалось, он меня в чем-то упрекает, и я начал было объясняться. Но он перебил:

– Не надо оправданий, дружок. Я перечитал бумаги вашей матушки. Вы были не в силах ее содержать. Она нуждалась в уходе, в сиделке. Заработки у вас скромные. Если все принять во внимание, у нас ей было лучше.

Я сказал:

– Да, господин директор.

Он прибавил:

– Понимаете ли, здесь ее окружали друзья, люди ее лет. У нее нашлись с ними общие интересы, которых нынешнее поколение не разделяет. А вы молоды, с вами она бы скучала.

Это верно. Когда мама жила со мной, она все время молчала и только неотступно провожала меня глазами. В доме призрения она первые дни часто плакала. Но это просто с непривычки. Через несколько месяцев она стала бы плакать, если бы ее оттуда взяли. Все дело в привычке. Отчасти из-за этого в последний год я там почти не бывал. И еще потому, что надо было тратить воскресный день, уж не говорю – тащиться до остановки, брать билет да два часа трястись в автобусе.

Директор еще что-то говорил. Но я почти не слушал. Потом он сказал:

– Вы, наверно, хотите видеть вашу матушку.

Я ничего не ответил и встал, он повел меня к двери. На лестнице он стал объяснять:

– У нас тут своя небольшая мертвецкая, мы перенесли покойницу туда. Чтобы не тревожить остальных. Каждый раз, как в нашем доме кто-нибудь умирает, остальные на два-три дня теряют душевное равновесие. И тогда затруднительно за ними ухаживать.

Мы пересекли двор, там было много стариков, они собрались кучками и толковали о чем-то. Когда мы проходили мимо, они смолкали. А за спиной у нас опять начиналась болтовня. Будто приглушенно трещали попугаи. У низенькой постройки директор со мной простился:

– Я вас покидаю, господин Мерсо. Но я к вашим услугам, вы всегда найдете меня в кабинете. Погребение назначено на десять часов утра. Мы полагали, что вы захотите провести ночь подле усопшей. И еще одно: говорят, ваша матушка в беседах не раз высказывала желание, чтобы ее похоронили по церковному обряду. Я сам обо всем распорядился, но хочу вас предупредить.

Я поблагодарил. Мама хоть и не была неверующей, но при жизни религией вовсе не интересовалась.

Вхожу. Внутри очень светло, стены выбелены известкой, крыша стеклянная. Обстановка – стулья да деревянные козлы. Посередине, на таких же козлах, закрытый гроб. Доски выкрашены коричневой краской, на крышке выделяются блестящие винты, они еще до конца не ввинчены. У гроба – чернокожая сиделка в белом фартуке, голова повязана ярким платком.

Тут у меня над ухом заговорил привратник. Наверно, он догонял меня бегом.

Он сказал, запыхавшись:

– Гроб закрыт, но мне велели отвинтить крышку, чтоб вам поглядеть на покойницу.

И шагнул к гробу, но я его остановил.

– Не хотите? – спросил он.

– Нет, – сказал я.

Он отступил, и я смутился, не надо было отказываться. Потом он посмотрел на меня и спросил:

– Что ж так?

Не с упреком спросил, а словно из любознательности. Я сказал:

– Не знаю.

Тогда он покрутил седой ус и, не глядя на меня, заявил:

– Понятно.

Глаза у него были красивые, голубые, и красноватый загар. Он подал мне стул, а сам уселся немного сзади. Сиделка поднялась и пошла к двери. Тут привратник сказал мне:

– У нее шанкр.

Я не понял и посмотрел на сиделку, лицо ее пересекала повязка. На том месте, где положено быть носу, повязка была плоская. На лице только и заметна белая повязка.

Когда она вышла, привратник сказал:

– Я вас оставлю одного.

Уж не знаю, верно, я сделал какое-то невольное движение, только он остался. Он стоял у меня за спиной, и мне это мешало. Комнату заливало яркое предвечернее солнце. В стекло с жужжаньем бились два шершня. Меня стало клонить в сон. Не оборачиваясь, я спросил привратника:

– Вы тут давно?

– Пять лет, – мигом ответил он, словно с самого начала ждал, что я про это спрошу.

И пошел трещать. Мол, вот уж никогда не думал, что будет доживать свой век в Маренго, привратником в богадельне. Ему уже шестьдесят четыре, он парижанин. Тут я его перебил:

– А, так вы не здешний?

Потом я вспомнил: прежде чем проводить меня к директору, он говорил про маму. Говорил, что надо хоронить поскорее, тут ведь Алжир, да еще равнина, вон жара какая. Тогда-то он мне и сказал, что прежде жил в Париже и никак не может его забыть. В Париже с покойником

не расстаются три дня, а то и четыре. А здесь нет времени, не успеешь свыкнуться с мыслью, что человек умер, как уже надо поспешать за дрогами. Тут жена его перебила: «Замолчи ты, молодому человеку незачем про это слушать». Старик покраснел и извинился. Тогда я вмешался и сказал: «Нет-нет, ничего». По-моему, все, что он говорил, было верно и интересно.

Потом, в мертвецкой, он мне объяснил, что в дом призрения попал по бедности. Но он еще крепок, вот и вызвался служить привратником. Я заметил – значит, он тоже здешний пансионер. Он возразил – ничего подобного! Меня еще раньше удивило, как он говорил про здешних жителей: «они», «эти», иногда – «старики», а ведь некоторые из них были ничуть не старше его. Но, конечно, это совсем другое дело. Он ведь привратник и в какой-то мере над ними начальство.

Тут вошла сиделка. Неожиданно настал вечер. Над стеклянной крышей вдруг сгустилась тьма. Привратник повернул выключатель, и меня ослепил яркий свет. Потом он предложил мне пойти в столовую пообедать. Но есть не хотелось. Он сказал, что принесет мне чашку кофе с молоком. Я согласился, потому что очень люблю кофе с молоком, и через минуту он вернулся с подносом. Я выпил кофе. Захотелось курить. Сперва я сомневался, можно ли курить возле мамы. А потом подумал, что это не имеет значения. Предложил привратнику сигарету, и мы закурили.

Немного погодя он сказал:

– А знаете, друзья вашей матушки тоже придут посидеть около нее. Такой здесь обычай. Пойду принесу еще стульев и черного кофе.

Я спросил, нельзя ли погасить хоть одну лампу. Яркий свет отражался от побеленных стен, это было утомительно. Привратник сказал – ничего не поделаешь. Так уж тут устроено: либо горят все лампы сразу, либо ни одной. После этого я его почти не замечал. Он вышел, вернулся, расставил стулья. На один стул поставил кофейник и нагромоздил чашки. Потом уселся напротив меня, по ту сторону гроба. Сиделка все время оставалась в глубине комнаты, спиной к нам. Мне не видно было, что она делает. Но по движениям локтей я догадался – наверно, вяжет. Было тихо, я выпил кофе и согрелся, из открытой двери тянуло запахом ночи и цветов. Кажется, я вздремнул.

Меня разбудил шорох. Я успел отвыкнуть от яркого света, и выбеленные стены совсем ослепили меня. Теней не было, каждый предмет, каждый угол и изгиб вырисовывались так четко, что резало глаза. В комнату входили мамины друзья. Их было человек двенадцать, они неслышно скользили в слепящем свете. Они уселись, и ни один стул не скрипнул. Никогда никого я не видел так ясно, до последней морщинки, до последней складки одежды. Однако их совсем не было слышно, просто не верилось, что это живые люди. Почти все женщины были в фартуках, перетянутых в талии шнурком, от этого еще заметней выдавались животы. Никогда прежде я не замечал, что у старух бывает такой большой живот. Мужчины были почти все тощие и опирались на палки. Больше всего меня поразило в их лицах, что я не мог разглядеть глаз, только что-то мерцало в сети морщин.

Когда они уселись, многие посмотрели на меня и неловко наклонили головы; у всех были беззубые, запавшие рты; я не мог понять, то ли они со мной здороваются, то ли головы их трясутся от старости. Наверно, все-таки это они со мной здоровались. Тут я заметил, что все они, качая головами, сидят напротив меня, по обе стороны от привратника. У меня мелькнула нелепая мысль, будто они собрались, чтобы меня судить.

Вскоре одна женщина заплакала. Она сидела во втором ряду, позади другой старухи, и я плохо ее видел. Она плакала на одной ноте, то и дело всхлипывая; казалось, она никогда не перестанет. Другие словно не слышали. Они все как-то обмякли, сидели хмурые, молчаливые. Каждый уставился в одну точку – кто на гроб, кто на собственную палку, на что попало – и уж больше никуда не смотрел. А та женщина все плакала. Очень странно, совсем незнакомая женщина. Мне хотелось, чтобы она замолчала. Но я не решался ей это сказать. Привратник

наклонился к ней, заговорил, но она только мотнула головой, что-то пробормотала и продолжала все так же всхлипывать на одной ноте. Тогда привратник обошел гроб и сел рядом со мной. Долго молчал, потом сказал, не глядя на меня:

– Она была очень привязана к вашей матушке. Она говорит, ваша матушка одна здесь была ей другом, а теперь у нее никого не осталось.

Мы долго так сидели. Понемногу та женщина стала вздыхать и всхлипывать реже. Она еще какое-то время сопела и наконец утихла. Спать больше не хотелось, но я устал, ныла поясница. Теперь меня тяготило, что все они сидят так тихо. Только изредка слышался какой-то странный звук, я не мог разобрать, откуда он. Потом наконец понял: некоторые старики всасывали щеки внутрь, и тогда в беззубом рту странно щелкало. А они этого не замечали, слишком заняты были своими мыслями. Мне даже показалось, что они собрались вокруг покойницы вовсе не ради нее самой. Теперь-то я думаю – это мне просто показалось.

Привратник налил всем кофе, и мы выпили. Что было дальше, не знаю. Миновала ночь. Помню, какую-то минуту я открыл глаза и вижу: все старики спят, обмякнув на стульях, только один не спит – стиснул обеими руками палку, оперся на них подбородком и уставился на меня, словно только того и ждал, чтоб я проснулся. Потом я опять задремал. Проснулся оттого, что у меня все сильнее ныла поясница. Над стеклянной крышей посветлело. Немного погодя проснулся один из стариков и надолго раскашлялся. Он все сплевывал в огромный клетчатый платок, и всякий раз у него словно что-то рвалось внутри. Кашель разбудил остальных, и привратник сказал, что им пора уходить. Они поднялись. После утомительного бдения лица у всех стали серые. Очень странно: уходя, каждый пожал мне руку, будто эта ночь, когда мы не обменялись ни словом, нас сблизила.

Я устал. Привратник проводил меня в сторожку, и я немного привел себя в порядок. Выпил еще чашку кофе с молоком, было очень вкусно. Когда я вышел из сторожки, уже совсем рассвело. Над холмами, которые отгораживают Маренго от моря, небо закраснелось. И ветер доносил из-за холмов соленый запах. Отличный начинался денек. Давно уже я не бывал за городом, и так приятно было бы прогуляться, если бы не мама.

А теперь я ждал во дворе, под платаном. Вдыхал свежий запах земли, и спать больше не хотелось. Вспомнил о сослуживцах. В этот час они встают и собираются на работу – для меня это всегда самое трудное время. Я еще немного подумал обо всем этом, а потом в доме зазвонил колокол и отвлек меня. За окнами началась суета, потом все опять успокоилось. Солнце поднялось немного выше и пригревало мне ноги. Подошел привратник и сказал, что меня ждет директор. Я пошел в кабинет. Директор дал мне подписать какие-то бумаги. На нем был черный сюртук и брюки в полоску. Он взялся за телефон и сказал мне:

– Прибыли люди из похоронного бюро. Сейчас я велю окончательно закрыть гроб. Угодно вам до этого в последний раз посмотреть на вашу матушку?

Я сказал – нет. Понизив голос, он распорядился по телефону:

– Фижак, велите им, пусть приступают.

Потом сказал мне, что и сам будет на похоронах, и я поблагодарил. Он сел за письменный стол, скрестил свои коротенькие ножки. Мы с ним будем одни да еще дежурная сиделка, сказал он. Обитателям дома не полагается присутствовать при погребении. Он только разрешает им посидеть возле покойника ночь.

– Нельзя забывать о человеколюбии, – заметил он.

Но на сей раз он позволил одному пансионеру проводить покойницу.

– Тома Перез – старый друг вашей матушки. – Тут директор улыбнулся. – Понимаете, чувство это немного ребяческое. Но они с вашей матушкой были неразлучны. В доме над ними подшучивали, Переза называли женихом. Он смеялся. Им обоим это было приятно. И надо признать, что смерть госпожи Мерсо для него тяжелый удар. Я не счел нужным ему отказывать. А вот провести ночь у гроба я ему запретил – так посоветовал наш врач.

Потом мы довольно долго молчали. Директор поднялся и выглянул в окно. Чуть погодя он заметил:

– А вот и священник. Даже раньше времени.

И предупредил, что приходская церковь – в самой деревне Маренго и до нее идти по меньшей мере три четверти часа. Мы вышли из кабинета. Перед домом стояли священник и два мальчика-служки; один служка держал кадильницу, а священник, наклонясь, подтягивал серебряную цепочку. Когда мы подошли, он выпрямился. Он назвал меня «сын мой» и сказал мне несколько слов. Потом вошел в мертвецкую; я последовал за ним.

Я тотчас заметил, что теперь винты глубоко ушли в дерево, и увидел четырех человек в черном. Директор сказал, что катафалк уже ждет, и тут священник начал читать молитву. Все пошло очень быстро. Люди в черном с покровом в руках подступили к гробу. Священник, служки, директор и я вышли из мертвецкой. У двери ждала какая-то почтенная женщина, прежде я ее не видел.

– Господин Мерсо, – представил меня директор.

Имени этой женщины я не расслышал, понял только, что она здешняя сиделка. Она поклонилась без улыбки, лицо у нее было длинное и очень худое. Потом мы все посторонились, давая дорогу носильщикам. Они вынесли гроб, и мы вышли вслед за ними из ворот. За воротами ждал катафалк. Длинный, блестящий, лакированный, совсем как пенал. Рядом стояли распорядитель – низенький, нелепо одетый человечек – и старик, которому явно было не по себе. Я понял, что это и есть Перез. На нем была мягкая фетровая шляпа с круглой тульей и широкими полями (когда выносили гроб, он ее снял), костюм не по росту, так что штанины гармошкой свисали на башмаки, на шее – черный бант, чересчур маленький для рубашки с таким широким белым воротничком. Нос угреватый, губы трясутся. Под редкими седыми волосами видны престранные уши – нелепой формы, торчащие и притом багрово-красные, это меня поразило, потому что сам он был мертвенно-бледен. Распорядитель объяснил нам, какой будет порядок. Впереди всех священник, за ним – катафалк. Вокруг катафалка – четверо в черном. Позади – мы с директором, а замыкают шествие сиделка и господин Перез.

Небо наполнилось солнцем. Уже начинало припекать, жара с каждой минутой усиливалась. Не знаю, почему мы так долго не двигались с места. В темном костюме я запарился. Старичок Перез надел было шляпу, но опять снял. Я слегка повернулся в его сторону и слушал, что говорит про него директор. Тот рассказывал, что по вечерам мама с Перезом часто ходили гулять, их сопровождала сиделка, и они доходили до самой деревни. Я поглядел вокруг. Вереницы кипарисов тянулись к холмам у горизонта, меж кипарисами сквозила земля – где зеленая, где рыжая, – отчетливо вырисовывались редкие домики, и я понимал маму. Должно быть, вечер в этом краю – как раздумчивое затишье. А вот сейчас под неукротимым солнцем все вокруг содрогается и в свой черед становится гнетущим и жестоким.

Мы двинулись в путь. И тут я заметил, что Перез прихрамывает. Дроги катили все быстрей, и старик понемногу отставал. Один из тех четверых тоже дал дрогам себя обогнать и пошел рядом со мной. Удивительно, как быстро солнце поднималось все выше. Оказалось, в полях давно уже гудят и жужжат насекомые, шелестит трава. У меня по щекам струился пот. Шляпу я не захватил и обмахивался носовым платком. Служащий похоронного бюро что-то мне сказал, но я не расслышал. Он вытирал лысину платком, платок держал в левой руке, правой приподнимал фуражку. Я переспросил:

– Что?

Он показал на небо и повторил:

– Ну и шпарит.

– Да, – сказал я.

Немного погодя он спросил:

– Вы покойнице кто – сын?

Я опять сказал – да.

– Старая она была?

– В общем, да, – сказал я, потому что не знал точно, сколько ей было лет.

Тогда он замолчал. Я обернулся и увидел, что старик Перез отстал уже метров на пятьдесят. Он торопился как мог, размахивал руками, в одной руке он держал шляпу. Поглядел я и на директора. Он шагал с большим достоинством, не делая ни одного лишнего движения. На лбу его блестели капли пота, но он их не вытирал.

Казалось, процессия понемногу ускоряет шаг. Вокруг сверкала и захлебывалась солнцем все та же однообразная равнина. Небо слепило нестерпимо. Одно время мы шли по участку дороги, который недавно чинили. Солнце расплавило гудрон. Ноги вязли в нем и оставляли раны в его сверкающей плоти. Клеенчатый цилиндр возницы маячил над катафалком, словно тоже сплетенный из этой черной смолы. Я почувствовал себя затерянным между белесой, выгоревшей синевой неба и навязчивой чернотой вокруг: липко чернел разверзшийся гудрон, тускло чернела наша одежда, черным лаком блестел катафалк. Солнце, запах кожи и конского навоза, исходивший от катафалка, запах лака и ладана, усталость после бессонной ночи… от всего этого у меня мутилось в глазах и путались мысли. Я опять обернулся – Перез маячил далеко позади, в знойной дымке, а потом и вовсе пропал из виду. Я стал озираться и увидел: он сошел с дороги и двинулся через поля. Оказалось, впереди дорога описывает дугу. Стало быть, Перез, которому эти места хорошо знакомы, решил срезать напрямик, чтобы нас нагнать. На повороте он к нам присоединился. Потом мы опять его потеряли. Он снова пошел наперерез, полями, и так повторялось несколько раз. Кровь стучала у меня в висках.

Дальше все разыгралось так быстро, слаженно, само собой, что я ничего не запомнил. Разве только одно: когда мы входили в деревню, сиделка со мной заговорила. У нее оказался необыкновенный голос, звучный, трепетный, очень неожиданный при таком лице. Она сказала:

– Медленно идти опасно, может случиться солнечный удар. А если заторопишься, бросает в пот, и тогда в церкви можно простыть.

Да, правда. Выхода не было. В памяти уцелели еще какие-то обрывки этого дня – например, лицо Переза, когда у самой деревни он нас перехватил в последний раз. От усталости и горя по щекам его текли крупные слезы. Но морщины не давали им скатиться. Слезы расплывались и опять стекались и затягивали иссохшее лицо влажной пленкой. Была еще церковь, и деревенские жители на тротуарах, и кладбище, на могилах краснела герань, и Перез упал в обморок (точь-в-точь марионетка, которую уже не дергают за нитки), и красная как кровь земля сыпалась на мамин гроб, мешаясь с белым мясом перерезанных корней, и еще люди, голоса, деревня, ожидание на остановке перед кафе, потом непрестанное урчанье мотора, и как я обрадовался, когда автобус покатил среди огней по улицам Алжира, и я подумал: вот лягу в постель и просплю двенадцать часов кряду.

II

Проснувшись, я понял, отчего у патрона был недовольный вид, когда я просил отпуск на два дня: нынче суббота. Я про это почти забыл, а когда начал вставать – вспомнил. Конечно, патрон сразу подумал, что вместе с воскресеньем у меня выйдет четыре свободных дня, и, понятно, это ему не понравилось. Но, с одной стороны, я не виноват, что маму хоронили вчера, а не сегодня, а с другой стороны, в субботу и воскресенье я бы все равно не работал. Впрочем, я прекрасно понимаю, что патрону это не нравится.

Поднялся я с трудом, потому что накануне устал. Пока брился, думал, как бы провести время, и решил искупаться. Сел в трамвай и поехал в купальни у порта. Кинулся в воду и поплыл. Тут было много молодежи. В воде встретился с Мари Кардона, когда-то она работала у нас в конторе машинисткой, в ту пору я ее хотел. И она, кажется, тоже. Но мы не успели,

она очень быстро уволилась. Сейчас я помог ей взобраться на поплавок и при этом коснулся ее груди. Я еще не вылез из воды, а она уже растянулась на поплавке. И повернулась ко мне. Волосы падали ей на глаза, и она смеялась. Я подтянулся и пристроился с ней рядом. Было славно, я откинулся назад и, точно в шутку, положил голову ей на живот. Она ничего не сказала, и я так и остался лежать. Прямо в глаза мне смотрело просторное небо, синее и золотое. Затылком я чувствовал, как тихонько поднимается и опускается от дыхания живот Мари. Мы долго лежали, полусонные, на поплавке. Когда солнце стало слишком припекать, она нырнула, я за ней. Я догнал ее, обнял за талию, и мы поплыли вместе. Она все время смеялась. На пристани, когда мы сохли, она сказала:

– А я загорела сильней, чем вы.

Я спросил, не пойдет ли она вечером в кино. Она опять засмеялась и сказала, что ей хочется посмотреть картину с Фернанделем. Когда мы оделись, она очень удивилась, что на мне черный галстук, и спросила – разве я в трауре? Я сказал – умерла мама. Она спросила – когда, и я сказал – вчера. Она отступила на шаг, но промолчала. Я хотел было сказать, что я ведь не виноват, да вспомнил, что уже говорил это патрону. Ну, не важно. Все равно, как ни крути, всегда окажешься в чем-нибудь да виноват.

Вечером Мари обо всем забыла. Картина была временами забавная, а в общем, преглупая. Нога Мари прижималась к моей. Я гладил ее грудь. Под конец сеанса я ее поцеловал, но как-то неловко. После кино она пошла ко мне.

Когда я проснулся, Мари уже ушла. Она еще раньше объяснила, что ей надо навестить тетку. Я вспомнил, что нынче воскресенье, и мне стало скучно – не люблю воскресений. Повернулся на другой бок, вдохнул с подушки запах моря от волос Мари и проспал до десяти часов. Потом лежал в постели до двенадцати, курил сигареты. Завтракать, как обычно, у Селеста не хотелось: там, конечно, стали бы расспрашивать, а я этого не люблю. Поджарил себе яичницу и съел прямо со сковородки без хлеба – дома не было ни крошки, а идти покупать не хотелось.

После завтрака мне стало скучновато, и я начал бродить по квартире. При маме тут было удобно. А для одного квартира слишком велика, пришлось перетащить к себе стол из столовой. Так я теперь и живу в одной комнате, тут у меня стоят соломенные стулья, уже немного продавленные, зеркальный шкаф (зеркало пошло желтыми пятнами), туалетный столик и кровать с медными прутьями. Остальное все в забросе. Немного погодя от нечего делать я взял старую газету и стал читать. Вырезал рекламу слабительной соли и наклеил в старую тетрадь, я туда вклеиваю все, что попадется в газетах забавного. Потом вымыл руки и наконец шагнул на балкон.

Моя комната выходит на главную улицу предместья. День стоял погожий. Но накатанная мостовая жирно блестела, прохожих было мало, и почему-то они торопились. Некоторые вышли на прогулку всей семьей. Сперва прошли два мальчугана, будто одеревеневшие в парадных наглаженных матросках и в штанах ниже колен, и девочка с большим розовым бантом, в черных лакированных туфельках. За ними – огромная, толстая мамаша в коричневом шелку и маленький, щуплый папаша, я его знаю в лицо. На нем галстук бабочкой, жесткая соломенная шляпа, в руке трость. Увидав его рядом с женой, я понял, почему в нашем квартале он считается человеком весьма достойным. Немного спустя прошли молодые люди – волосы напомажены, красные галстуки, пиджаки в талию, из нагрудных карманов торчат вышитые платочки, у башмаков квадратные носы. Видно, собрались в город, в кино. Потому они и вышли спозаранку, и спешат к трамваю, и хохочут во все горло.

Потом улица понемногу опустела. Наверно, всюду начались сеансы. На улице остались только лавочники да кошки. Над фикусами, которые растут вдоль домов, небо чистое, но неяркое. Хозяин табачной лавки, что через дорогу, выставил стул на тротуар у входа и уселся верхом, опершись локтями на спинку. Еще недавно трамваи были набиты битком, а сейчас идут

почти пустые. Рядом с табачной лавкой, в маленьком кафе «У Пьеро», безлюдно, официант посыпал пол опилками и подметает. Сразу видно – воскресенье.

Я повернул свой стул и тоже, как торговец табаком, оседлал его – оказывается, так удобнее. Выкурил две сигареты, вернулся в комнату, отломил кусок шоколада, подошел к окну и стал жевать. Вскоре небо нахмурилось, и я подумал, что налетит летняя гроза. Но понемногу опять прояснилось. Однако после того как прошли облака, улица так и осталась хмурой, будто в предчувствии дождя. Я еще долго сидел и смотрел на небо.

В пять часов с грохотом прикатили трамваи. Они везли народ с дальнего стадиона, люди гроздьями висели по бокам и на подножках. Следующие вагоны привезли игроков, я их признал по чемоданчикам. Они орали и пели песни во славу своей непобедимой команды. Некоторые махали мне руками. Один даже крикнул:

– Наша взяла!

И я кивнул в ответ.

После этого потоком хлынули машины.

День еще немного померк. Небо над крышами стало краснеть, и с наступлением вечера улицы оживились. Люди возвращались с прогулки. Среди прочих я узнал достойного отца семейства. Детишки хныкали и едва плелись, их тащили за руку. И сейчас же кинотеатры всего квартала выплеснули на улицу волну зрителей. Молодые люди шагали решительней обычного и энергичней размахивали руками – наверно, фильм был приключенческий. Те, кто ездил в кино в центр города, вернулись позже. Эти держались серьезнее. Иногда они смеялись, но чаще лица у них были усталые и задумчивые. Они не расходились по домам, а прогуливались взад и вперед по тротуару напротив. Девушки с непокрытыми головами гуляли, взявшись под руки. Молодые люди нарочно шли им навстречу и отпускали всякие шуточки, а они со смехом отворачивались. С некоторыми девушками я был знаком, они кивали мне и улыбались.

Внезапно зажглись уличные фонари, и первые проглянувшие в небе звезды побледнели. Оттого, что я долго смотрел на улицу, полную огней и прохожих, у меня зарябило в глазах. Мостовая лоснилась под лучами фонарей, в отсвете проходящих трамваев порой вспыхивали чьи-то волосы, улыбка или серебряный браслет. Понемногу трамваи стали реже, небо над деревьями и фонарями совсем почернело, квартал незаметно опустел, и вот уже совсем безлюдную улицу лениво перебежала первая кошка. Тут я подумал, что надо бы пообедать. Я так долго сидел, опершись на спинку стула, что у меня затекла шея. Я вышел купить хлеба и макарон, сварил макароны и стоя поел. Хотел было выкурить у окна еще сигарету, но потянуло холодом, и мне стало зябко. Я закрыл окно и, отходя от него, увидел в зеркале угол стола и на нем спиртовку и куски хлеба. И подумал – вот и прошло воскресенье, маму похоронили, завтра я пойду на работу, и, в сущности, ничего не изменилось.

III

Сегодня в конторе у меня набралось много дела. Патрон был любезен. Спросил, сильно ли я устал, и тоже поинтересовался, сколько маме было лет. Чтобы не ошибиться, я сказал просто: «Седьмой десяток». И почему-то у него на лице выразилось облегчение, словно он решил, что говорить больше не о чем.

У меня на столе громоздилась куча накладных, надо было все их разобрать. Перед тем как пойти завтракать, я вымыл руки. Среди дня это очень приятно. Вечером мне это меньше нравилось: полотенцем возле умывальника пользуется вся контора, и за день оно становится совсем мокрое. Однажды я сказал об этом патрону, он ответил – да, нехорошо, но, в сущности, это мелочь. Завтракать я пошел немного позже обычного, в половине первого, вместе с Эммануэлем – он служит в экспедиции. Наша контора обращена к морю, и мы минуту-другую помешкали – смотрели на торговые суда в залитой солнцем гавани. Тут, треща выхлоп-

ной трубой и гремя цепями, появился грузовик. Эмманюэль сказал: «Поехали?» – и я кинулся бежать. Грузовик уже прокатил дальше, мы бросились вдогонку. Меня захлестнуло грохотом и пылью. Я уже ничего не видел и не чувствовал, мы мчались очертя голову между лебедок и машин, мимо посудин у причалов, мачты качались и чиркали по небу. Я первым ухватился за борт грузовика и забрался в кузов. Потом помог Эмманюэлю. Мы еле переводили дух, грузовик подскакивал на неровной брусчатке набережной, среди солнца и пыли. Эмманюэль закатывался хохотом.

Взмокшие, потные, мы ввалились к Селесту. Он был тут как тут, толстопузый, в белом переднике и с белыми усами. Он спросил меня: «Ну как, держишься?» Я сказал «да» и еще сказал, что хочу есть. Мигом все съел, выпил кофе. Пошел домой, немного поспал, потому что за завтраком выпил лишнее, а когда проснулся, захотелось курить. Побоялся опоздать и побежал к трамваю. Работал до вечера. В конторе стояла духота, и вечером я с наслаждением, не торопясь, возвращался по набережной пешком. Небо стало зеленое, мне было хорошо и спокойно. Все же я пошел прямо домой, потому что хотел сварить себе картошки.

Поднимаясь по неосвещенной лестнице, я столкнулся со стариком Саламано – мы живем на одной площадке. Он выводил свою собаку. Уже восемь лет они неразлучны. У этого спаниеля какая-то накожная болезнь, лишай наверно, – он весь облезлый, в болячках и в бурой коросте. Старик Саламано ютится со своим псом в тесной комнатенке и за долгие годы сам стал похож на него. Лицо в красноватых струпьях, редкие выцветшие волосы. А пес перенял у хозяина повадку – какой-то он сутулый, шею вытянул, голову повесил. Похоже, что оба одной породы – и, однако, они друг друга ненавидят. Дважды в день, в одиннадцать и в шесть, старик выводит пса на прогулку. За восемь лет маршрут ни разу не менялся. Они идут по Лионской улице, пес изо всех сил натягивает поводок, старик Саламано начинает спотыкаться. Тогда он колотит пса и ругательски его ругает. Струсив, пес приседает и упирается. Теперь уже старик тянет его за собой. Но стоит псу забыться, и он снова тащит хозяина вперед, а тот опять бьет его и ругает. Станут посреди тротуара и смотрят друг на друга – собака со страхом, человек с ненавистью. И так изо дня в день. Когда пес задирает ногу, старик не дает ему времени и тащит вперед, и за собакой остается след – цепочка мелких капель. И если собаке случится напакостить в комнате, на нее снова сыплются побои. Все это длится восемь лет. Селест говорит, что Саламано – негодяй, но ведь никто не знает, как оно на самом деле. Когда я встретил старика на лестнице, он осыпáл пса бранью.

– Сволочь! – говорил он. – Подлюга!

Пес в ответ скулил. Я сказал:

– Добрый вечер!

Но старик все ругался. Тогда я спросил, что пес ему сделал. Саламано не ответил, только повторял:

– Сволочь! Подлюга!

В темноте я едва разглядел, что он наклонился над собакой и как будто поправляет ошейник. Я спросил еще раз, погромче. Тогда он ответил, не оборачиваясь, с еле сдерживаемой яростью:

– Опостылел он мне…

И ушел, волоча за собой пса, а тот скулил и упирался всеми четырьмя лапами.

Тут вошел другой мой сосед по лестничной площадке. В нашем квартале он слывет сутенером. Но когда его спрашивают, чем он занимается, он называет себя кладовщиком. Все его недолюбливают. Однако со мной он часто заговаривает, а иногда на минуту заходит ко мне, потому что я готов его слушать. По-моему, он рассказывает интересно. И у меня нет причин с ним не разговаривать. Зовут его Раймон Синтес. Он небольшого роста, плечи широкие, нос как у боксера. Одет всегда с иголочки. Он тоже сказал мне про Саламано:

– Вот негодяй!

И спросил, не противно ли мне все это, а я сказал – нет.

Мы поднялись по лестнице, я хотел уйти к себе, но он сказал:

– У меня есть вино и кровяная колбаса. Может, присоединитесь?

Я подумал, не придется готовить себе ужин, и согласился. У Раймона, как и у Саламано, только одна комната да темная, без окна, кухня. Над кроватью – бело-розовый гипсовый ангел, фотографии чемпионов, две или три картинки, вырезанные из журнала, – голые женщины. В комнате грязно, постель не прибрана. Раймон первым делом зажег керосиновую лампу, потом вытащил из кармана сомнительной чистоты бинт и стал перевязывать себе правую руку. Я спросил, что с рукой. Он объяснил: пристал к нему один фрукт, вот и пришлось подраться.

– Понимаете, господин Мерсо, я человек незлой, но нрав у меня горячий. Тот фрукт мне говорит: «Выходи из трамвая, если ты мужчина!» Я говорю: «Да ладно, отстань». А он мне: ты, мол, не мужчина. Ну я вышел с ним из вагона и говорю: «Лучше отвяжись, не то получишь». А он отвечает: «Черта с два!» Ну тут я ему врезал. Он свалился. Я хотел его поднять. А он лежит и отбивается ногами. Я ему наподдал коленом и еще по морде – раз, раз! В кровь разбил. Спрашиваю: ну как, мол, хватит с тебя? Он говорит: «Хватит».

Рассказывая, Синтес перевязывал руку. Я сидел на его постели. Он сказал еще:

– Понимаете, я к нему не приставал. Он первый меня оскорбил.

Я согласился, что так оно и выходит. Тогда он заявил, что как раз хотел со мной насчет этого посоветоваться, я-то мужчина, притом человек бывалый, и могу ему помочь, и тогда он станет мне другом-приятелем. Я промолчал; тогда он спросил, хочу ли я стать ему другом. Я сказал, что мне все равно, и он, видно, был доволен. Он вытащил колбасу, поджарил ее на сковородке, расставил стаканы, тарелки, достал ножи, вилки и две бутылки вина. И все это молча. Потом мы сели за стол. За едой он начал рассказывать о своих делах. Сперва он немного мялся.

– Я водил знакомство с одной… собственно говоря, она моя любовница…

Человек, с которым он подрался, – брат этой женщины. Раймон сказал, что содержал ее. Я промолчал, и, однако, он сейчас же прибавил, что знает, какие про него ходят сплетни по всему кварталу, но совесть его чиста, он работает кладовщиком.

– Так вот, – продолжал он, – заметил я, что меня водят за нос.

Он давал любовнице ровно столько, чтоб хватало на жизнь. Сам снимал ей комнату и давал двадцать франков в день на еду.

– Триста франков за комнату, шестьсот на еду, время от времени пара чулок – вот вам тысяча франков. И дамочка не работала. Но вечно уверяла, что этих денег ей никак не хватает. Я ей говорю: «Пошла бы работать на полдня. Избавила бы меня от мелких расходов. Я тебе в этом месяце купил костюм, я тебе даю двадцать франков в день, я плачу за твою комнату, а ты еще среди дня распиваешь с приятельницами кофе. Угощаешь их кофе с сахаром. И все на мои деньги. Я с тобой по-хорошему, а ты как поступаешь?» Но она не работала, только знай твердила, что денег ей никак не хватает, ну под конец я и понял, что меня водят за нос.

И Раймон рассказал мне, что нашел в сумочке у любовницы лотерейный билет, и она не могла объяснить, на какие деньги его купила. Немного позже он нашел у нее квитанцию – оказалось, она заложила в ломбарде два браслета. А он и не подозревал, что у нее есть браслеты.

– Тут-то я ее и раскусил. И тогда я с ней расстался. Но сперва отлупил ее. И выложил начистоту, что я про нее думаю. Ты, говорю, только и знаешь, что забавляешься в постели с кем попало. Понимаете, господин Мерсо, я ей так и сказал, я, говорю, тебя осчастливил, все тебе завидуют, а ты не ценишь. Еще пожалеешь, да поздно будет.

Он избил ее в кровь. Прежде он ее не бил.

– Поколачивал, но только так, любя. Она, бывало, всплакнет, я закрою ставни, и все кончается самым обыкновенным образом. А на этот раз дело серьезное. И, скажу вам, я еще не проучил ее как следует.

Он объяснил, что тут-то ему и нужен мой совет. Потом остановился и поправил фитиль, потому что лампа коптила. Я молчал и слушал. Я выпил чуть не литр вина, и у меня сильно шумело в голове. Я курил сигареты Раймона, своих у меня не осталось. Проходили последние трамваи, унося с собой затихающие отголоски дневного шума. Раймон продолжал рассказывать. Он еще не охладел к этой шлюхе, вот что досадно. Но он непременно ее проучит. Сперва он хотел привести ее куда-нибудь в гостиницу и вызвать полицию нравов: пускай разыграется скандал и она получит желтый билет. Потом обратился к друзьям – у него в этих кругах есть свои люди. Они ничего путного не присоветовали. Что толку после этого водить с ними дружбу, заметил Раймон. Он им так и сказал, и тогда они предложили поставить ей на роже метку. Но ему не это нужно. Он еще поразмыслит. Но сперва он хочет меня кое о чем попросить. Нет, еще прежде того вопрос: что я думаю обо всей этой истории? Я сказал – ничего не думаю, просто это любопытно. А как я думаю, обманывала она его? Да, пожалуй, обманывала. А как я думаю, надо ее проучить? И как бы я поступил на его месте? Я ответил – трудно сказать, но что он хочет ее проучить – это я понимаю. Потом я выпил еще вина. Раймон закурил сигарету и раскрыл мне свой план. Он напишет ей письмо, в котором «даст ей по морде» и в то же время заставит раскаяться. А потом, когда она вернется, он ляжет с ней в постель и «в самую последнюю минуту» плюнет ей в лицо и выгонит вон. Я согласился – да, таким образом она и вправду будет наказана. Но Раймон сказал, что он, пожалуй, не сумеет составить такое письмо, вот он и подумал – может, я напишу за него. Я ничего не ответил, и он предложил, если я не против, заняться этим сейчас же. Я сказал, что не против.

Он выпил стакан вина и поднялся. Отодвинул тарелки и остатки застывшей в жиру колбасы. Старательно вытер клеенку на столе. Вынул из ящика ночного столика лист бумаги в клетку, желтый конверт, красную деревянную ручку и квадратную чернильницу с лиловыми чернилами. Когда он назвал имя женщины, стало ясно, что она мавританка. Я сочинил письмо. Писал отчасти наобум, но старался, чтобы Раймон был доволен, – в сущности, отчего бы и не постараться? Потом прочел ему письмо вслух. Он слушал, курил и качал головой, потом попросил прочесть еще раз. Остался вполне доволен. И сказал мне:

– Я же знал, что ты человек бывалый.

Не сразу я заметил, что он перешел на «ты». Только когда он заявил: «Вот теперь ты мне настоящий друг!» – меня это поразило. Он повторил то же самое еще раз, и я сказал: «Да». Мне все равно, друг так друг, а ему, видно, вправду этого хотелось. Он запечатал письмо, и мы допили вино. Потом посидели молча, покурили. На улице стало совсем тихо, прошуршала шинами одинокая машина. Я сказал:

– Уже поздно.

Раймон тоже так думал. Он сказал – время идет быстро, – и в некотором смысле это верно. Меня клонило ко сну, но я никак не мог подняться. Наверно, у меня был усталый вид, потому что Раймон сказал – не надо вешать нос. Я сперва не понял. Тогда он объяснил: он слышал, что я похоронил маму, но ведь рано или поздно все помрем. Я согласился.

Потом я встал. Раймон крепко пожал мне руку и сказал, что настоящие мужчины всегда поймут друг друга. Я вышел, затворил дверь и минуту постоял в темноте на площадке. Дом спал, снизу по лестнице тянуло чем-то сырым и смутным. Я стоял не шевелясь, но ничего не услышал, только в ушах шумело. Да в комнате старика Саламано глухо проскулил пес.

IV

Всю неделю я много работал. Как-то зашел Раймон и сказал, что отослал то письмо. Два раза я ходил с Эмманюэлем в кино, он часто не понимает, что делается на экране. Надо ему объяснять. Вчера, в субботу, как мы уговорились, приходила Мари. На ней было красивое платье в белую и красную полоску и кожаные сандалии, и я очень ее захотел. Под платьем

угадывались ее крепкие груди, смуглое от загара лицо было как цветок. Мы сели в автобус и поехали за несколько километров от Алжира на маленький пляж – он прячется между скал, а от суши его отгораживают тростники. В четыре часа солнце уже не такое жаркое, но вода теплая. Не спеша поплескивала пологая ленивая волна.

Мари обучила меня игре: когда плывешь, надо втянуть ртом пену с гребня волны, перевернуться на спину и дунуть в небо фонтаном. Брызги рассеиваются в воздухе, точно кружево, или падают на лицо теплым дождем. Но скоро от горько-соленой воды стало жечь во рту. Мари подплыла ближе и в воде прильнула ко мне. Прижалась губами к моим губам, провела по ним языком. Рот у меня перестал гореть, и мы немного покачались на волнах.

Потом мы вышли на песок и стали одеваться. Мари смотрела на меня блестящими глазами. Я обнял ее. После этого мы больше не разговаривали. Я прижал ее к себе, и мы заторопились к автобусу, сразу пошли ко мне и бросились на постель. Я оставил окно настежь. Летняя ночь омывала наши опаленные солнцем тела, и это было славно.

Утром Мари осталась у меня, и я сказал – давай позавтракаем вместе. И вышел купить чего-нибудь поесть. Когда возвращался, услыхал в комнате Раймона женский голос. Немного погодя заворчал на своего пса старик Саламано. По деревянным ступеням зашаркали подошвы, заскребли когти, и послышалось знакомое:

– Сволочь! Подлюга!

Они вышли на улицу. Я рассказал Мари про старика, и она засмеялась. На ней была моя пижама, рукава она подвернула. Когда она засмеялась, я опять ее захотел. Немного погодя она спросила:

– Ты меня любишь?

Я ответил, что это пустые слова, они ничего не значат, но, пожалуй, не люблю. Лицо у нее стало грустное. Но, готовя завтрак, она ни с того ни с сего опять засмеялась так, что я ее обнял. И в эту минуту в комнате Раймона поднялся шум.

Сперва мы услышали пронзительный женский крик, потом голос Раймона:

– Ты меня обманула, да, обманула! Я тебе покажу, как меня обманывать!

Раздались глухие удары, и женщина завопила, да так отчаянно, что на лестницу тотчас выбежали жильцы. Мы с Мари тоже вышли. Женщина все кричала, а Раймон все осыпал ее ударами. Мари сказала – какой ужас. Я не ответил. Она попросила, чтобы я позвал полицию, но я сказал – не люблю полицейских. Однако полицейский пришел, его привел жилец со второго этажа, водопроводчик. Полицейский постучал в дверь, и там все стихло. Он постучал сильнее, и тут женщина заплакала, и Раймон отворил. Он приторно улыбался, в зубах торчала сигарета. Женщина кинулась к двери и крикнула полицейскому, что Раймон ее избил.

– Фамилия? – спросил полицейский.

Раймон ответил.

– Вынь сигарету изо рта, когда со мной разговариваешь, – сказал полицейский.

Раймон замялся, поглядел на меня и сигарету не вынул. Полицейский размахнулся и влепил ему звонкую, увесистую оплеуху. Сигарета отлетела на несколько метров. Раймон переменился в лице, но сразу ничего не сказал, а чуть погодя кротко спросил, можно ли подобрать окурок. Полицейский разрешил и прибавил:

– В другой раз будешь знать, как с полицией шутки шутить.

Все это время женщина плакала и повторяла:

– Он меня излупил. Он кот.

Раймон сказал:

– Господин полицейский, разве по закону позволяется обзывать человека котом?

Но тот велел ему заткнуть глотку. Тогда Раймон обернулся к женщине и сказал:

– Ну погоди, деточка, мы еще встретимся.

Полицейский велел ему заткнуться, и пускай женщина уходит, а он пускай сидит дома и ждет, покуда его вызовут в участок. И прибавил – хоть бы Раймон постыдился, вон до чего пьян, весь трясется! Тут Раймон объяснил:

– Я не пьян, господин полицейский. Просто перед вами я поневоле дрожу.

Он затворил дверь, и все разошлись. Мы с Мари опять принялись готовить завтрак. Но ей не хотелось есть, я почти все съел сам. Через час она ушла, а я опять немного поспал.

Часа в три ко мне постучали, и вошел Раймон. Я все еще лежал. Он присел на край кровати. Он сидел и молчал, и я спросил, как было дело. Он рассказал, что сделал все, как задумал, но она дала ему пощечину, и тогда он ее поколотил. Остальное я и сам видел. Я сказал – по-моему, теперь он ее проучил и может быть доволен. Он был того же мнения и сказал: мол, как бы полицейский ни старался, а тумаков он ей надавал, этого уж никто не изменит. И прибавил, что полицейских он изучил и знает, как с ними обращаться. Потом спросил – наверно, я ждал, что он тоже даст полицейскому по морде. Я сказал: ровным счетом ничего не ждал, а вообще не люблю я полицию. Раймон, видно, был очень доволен. Он спросил, не пойду ли я с ним пройтись. Я поднялся и пригладил волосы. Тут он сказал, что хочет взять меня в свидетели. Мне это было все равно, но я не знал, что надо говорить. Раймон объяснил: довольно будет подтвердить, что эта женщина его обманула. Я согласился выступить свидетелем.

Мы вышли из дому, и Раймон предложил выпить по рюмочке коньяку. После этого ему вздумалось сыграть партию в бильярд, и я немножко проиграл. Потом он звал меня в бордель, но я сказал – нет, потому что я этого не люблю. Тогда мы не спеша повернули обратно. И он все говорил, как он доволен, что проучил свою любовницу. Он был со мной очень мил, и я подумал, мы славно провели время.

Еще издали я увидел на пороге нашего дома старика Саламано, он был чем-то взволнован. Когда мы подошли поближе, оказалось – он без собаки. Он озирался по сторонам, вертелся волчком, вглядывался в темный коридор, бормотал что-то несвязное и вновь принимался воспаленными, красными глазками обшаривать улицу. Раймон спросил, что с ним, но он ответил не сразу. Он все суетился, и я с трудом разобрал, что он ворчит сквозь зубы:

– Сволочь! Подлюга!

Я спросил, где пес.

– Удрал, – отрезал старик и вдруг разразился длинной речью: – Пошел я с ним, как всегда, на площадь. Там ярмарка, у балаганов полно народу. Я остановился поглядеть «Короля-бродягу». Потом собрался идти дальше, хвать, а его и след простыл. Правда, давно надо было купить ему ошейник поуже. Да только не думал я, что эта сволочь вот так возьмет и удерет.

Раймон стал ему толковать, что, может быть, пес просто заблудился и еще вернется. Он приводил разные случаи: сколько раз бывало, что собака пробежит десятки километров, а потом вернется к хозяину. Но старик все не мог успокоиться:

– Поймите, его прикончат. Еще если б кто-нибудь взял его себе. Да нет, кто его возьмет, шелудивого, им все брезгают. Его наверняка сцапают живодеры.

Тогда я посоветовал Саламано пойти на живодерню, пускай заплатит штраф – и собаку вернут. Он спросил, большой ли штраф. Я не знал. Тут он вспылил:

– Еще деньги платить за такую падаль! Да чтоб он сдох, подлый пес!

И разразился бранью. Раймон засмеялся и вошел в дом. Я поплелся за ним, и на площадке мы расстались. Через минуту я услыхал шаги старика, и он постучал ко мне. Я открыл, он потоптался на пороге и сказал:

– Извините… прошу прощенья…

Я пригласил его войти, но он не вошел. Он потупился, его покрытые коростой руки тряслись. Не поднимая глаз, он спросил:

– Скажите, господин Мерсо, у меня его не отнимут? Мне его отдадут? А то что же со мной будет!

Я сказал, на живодерне собаку держат три дня, чтобы хозяин, если пожелает, мог ее забрать, а уж потом распоряжаются ею по своему усмотрению. Он долго молча глядел на меня. Потом сказал:

– Спокойной ночи.

И ушел к себе, я слышал, как он ходил по комнате взад и вперед. Потом заскрипела кровать. Через перегородку донеслись странные глухие звуки, и я понял, что старик плачет. Сам не знаю почему, я подумал о маме. Но назавтра надо было рано вставать. Есть не хотелось, и я лег спать без ужина.

V

Раймон позвонил мне в контору. Он сказал, что один его приятель, которому он про меня рассказывал, приглашает меня на воскресенье за город, у него там домишко, вернее, лачуга. Я сказал, что охотно бы поехал, да обещал провести воскресенье с подружкой. Раймон тотчас объявил: пускай и подружка едет. Жена приятеля только обрадуется, что будет не одна в мужской компании.

Я хотел сразу повесить трубку, патрон не любил, когда нам звонят на службу. Но Раймон сказал – одну минуту, приглашение он мог бы передать и вечером, но хочет меня еще кое о чем попросить. За ним весь день ходят по пятам несколько арабов, в том числе брат его бывшей любовницы.

– Если увидишь его вечером возле дома, когда вернешься, предупреди меня.

Я сказал – непременно.

Немного погодя меня позвали к патрону, и мне стало досадно, я подумал, сейчас он скажет, что надо поменьше разговаривать по телефону и побольше работать. Но оказалось, ничего подобного. Он объявил, что у него есть один план, пока еще неопределенный. И ему любопытно услышать мое мнение. Он намерен открыть в Париже отделение конторы, которое занималось бы делами прямо на месте, вело бы там переговоры с крупными парижскими фирмами, – так вот, не хочу ли я за это взяться? Можно жить в Париже и при этом довольно много разъезжать.

– Вы молоды, и, мне кажется, такая работа должна прийтись вам по вкусу.

Я сказал – пожалуй, хотя, в сущности, мне все равно. Тогда он спросил, неужели мне неинтересно переменить образ жизни. Я сказал, в жизни ничего не переменишь, все одно и то же, а мне и так хорошо. У него стало недовольное лицо, и он сказал, вечно я отвечаю не по существу, нет у меня никакого честолюбия, а это очень плохо для дела. Тогда я опять пошел работать. Неприятно, что он недоволен, но с какой стати я буду менять свою жизнь? Если вдуматься, разве я несчастен? В студенческие годы были у меня всякие честолюбивые мечты. Но когда пришлось бросить ученье, я очень быстро понял, что все это, в сущности, не важно.

Вечером пришла Мари и спросила, хочу ли я, чтобы мы поженились. Я сказал, мне все равно, можно и пожениться, если ей хочется. Тогда она захотела знать, люблю ли я ее. Я ответил, как и в прошлый раз, что это не имеет значения, но, конечно, я ее не люблю.

– Зачем же тогда на мне жениться? – спросила она.

Я объяснил, что это совершенно не важно, – отчего бы и не пожениться, раз ей хочется. Ведь она сама об этом просит, а я только соглашаюсь. Тогда она сказала, что брак – дело серьезное. Я сказал:

– Нет.

Она осеклась и с минуту молча смотрела на меня. Потом опять заговорила. Интересно знать, согласился бы я, если бы мне то же самое предложила другая женщина, с которой я был бы связан такими же отношениями? Я сказал:

– Разумеется.

Мари сказала, что и сама не понимает, любит ли она меня, но этого я уж вовсе не знал. Она опять помолчала, потом пробормотала, что я какой-то чудной, – конечно, за это она меня и любит, но, может быть, когда-нибудь именно из-за этого я стану ей противен. Мне нечего было прибавить, и я молчал; тогда она с улыбкой взяла меня под руку и объявила, что хочет выйти за меня замуж. Я ответил, когда ей угодно, тогда и поженимся, я не против. Потом рассказал ей о предложении патрона, и Мари сказала, что была бы очень рада повидать Париж. Я сказал, что когда-то жил там, и она спросила, какой он, Париж. Я сказал:

– Там грязно. Всюду голуби и закопченные дворы. А кожа у людей белая.

Потом мы вышли из дому и по широким улицам прошли через весь город. Нам встречались красивые женщины, и я спросил Мари, замечает ли она это. Она сказала, что да и что она меня понимает. Некоторое время мы больше не разговаривали. Но я хотел, чтобы она осталась со мной, и сказал: можно пообедать вдвоем у Селеста. Мари ответила, что и рада бы, но она сегодня занята. Мы были уже недалеко от моего дома, и я сказал – до свиданья. Она посмотрела на меня:

– Тебе не любопытно, чем я занята?

Да, было любопытно, но я не догадался сразу спросить, и она, видно, ставила мне это в укор. Наверно, лицо у меня стало смущенное, и она засмеялась, потянулась ко мне всем телом и подставила губы.

Я пообедал у Селеста. Уже принялся за еду, и вдруг вошла какая-то чудачка и спросила, можно ли сесть за мой столик. Можно, разумеется. Она была престранная: маленькая, движения порывистые, лицо как яблочко, глаза блестят. Она сбросила жакет, села и принялась лихорадочно просматривать меню. Подозвала Селеста и тотчас торопливо, но решительно заказала обед. Дожидаясь закуски, открыла сумку, достала листок бумаги и карандаш, заранее все подсчитала, вытащила из кошелька сколько надо, прибавила на чай и положила деньги у прибора. Тут ей подали закуску, и она мигом все уплела. Дожидаясь следующего блюда, опять открыла сумку, вынула синий карандаш и журнал, где печатают программу радиопередач на неделю. И принялась старательно отмечать птичками чуть не все передачи подряд. Программа была разбросана на десятке страниц, так что работы ей хватило на весь обед. Я уже поел, а она все еще усердно ставила птички. Потом поднялась, теми же отчетливыми движениями, как автомат, надела жакет и вышла. Я тоже вышел и от нечего делать двинулся следом. Она устремилась по самому краю тротуара, до неправдоподобия быстро и уверенно, строго по прямой, не отклоняясь и не оглядываясь. В конце концов я потерял ее из виду и повернул назад. Вот чудная, подумал я, но быстро о ней забыл.

Возле моей двери торчал Саламано. Я повел его к себе, и он пожаловался, что пес пропал – на живодерне его не оказалось. Тамошние служащие сказали: возможно, он попал под колеса. Саламано спросил, нельзя ли это узнать точно через полицию. Ему ответили, что таких случаев каждый день хоть пруд пруди и никто их не учитывает. Я сказал – можно завести новую собаку, но старик справедливо заметил, что к своему псу он привык.

Я сидел с ногами на кровати, а Саламано напротив меня, у стола. Руки он уронил на колени. Старой фетровой шляпы не снял. Он вяло жевал обрывки фраз, пожелтевшие усы шевелились. Он мне немного надоел, но делать все равно было нечего и спать не хотелось. Говорить тоже было не о чем, и я стал спрашивать про пса. Старик рассказал, что завел собаку после смерти жены. Женился он поздно. В молодости хотел стать актером, еще в полку играл в солдатских самодельных пьесках. А кончилось тем, что пошел служить на железную дорогу, и не жалеет об этом – ведь ему платят небольшую пенсию. С женой он счастлив не был, но в общем-то сильно к ней привык. Когда она умерла, ему стало очень одиноко. Тогда он выпросил у одного товарища по мастерской собаку. Это был совсем крохотный щенок, пришлось его выкармливать из рожка. Но собачий век короче человеческого, и они состарились вместе.

– У него был скверный характер, – сказал Саламано. – Бывали у нас и нелады. А все-таки он был хороший пес.

Я сказал – да, пес породистый, и старику, видно, это польстило.

– Вы его не знали в ту пору, когда он еще не захворал, – прибавил он. – Шерсть у него была уж так хороша, любо поглядеть.

С тех пор как на пса напала хворь, Саламано каждое утро и каждый вечер натирал его мазью. Но, в сущности, пес был не болен, а просто-напросто стар, так ведь от старости не вылечишь.

Тут я зевнул, и Саламано сказал, что ему пора. Я сказал – пускай еще посидит, досадно, что с его псом приключилась беда; старик поблагодарил. Он сказал, что его пса очень любила моя мама. «Ваша бедная матушка», – сказал он. И затем изрек: уж наверно, смерть мамы для меня страшное несчастье, но я ничего не ответил. Тогда он как будто смутился и скороговоркой прибавил: мол, в нашем квартале меня осуждают за то, что я отдал маму в богадельню, но он-то меня знает и не сомневается, что я маму очень любил. Я ответил, сам не понимаю зачем, мол, первый раз слышу, что меня за это осуждают, мне казалось совершенно естественным устроить маму в дом призрения, ведь у меня не хватало денег на сиделку.

– И потом, – прибавил я, – ей уже давно не о чем было со мной говорить, а одна она скучала.

– Да, – согласился Саламано, – в богадельне можно по крайней мере завести друзей.

Потом он стал прощаться. Пора спать. Жизнь его переменилась, и он еще не понимает, как быть дальше.

Впервые за все годы, что я его знал, он робко протянул мне руку, и я почувствовал, какая она у него шершавая. Уходя, он слабо улыбнулся и сказал:

– Хоть бы собаки ночью не лаяли. Мне все мерещится, что это лает мой пес.

VI

В воскресенье я насилу проснулся. Мари пришлось звать меня и трясти. Завтракать мы не стали, потому что хотели искупаться пораньше. У меня сосало под ложечкой и немного болела голова. Сигарета показалась горькой. Мари посмеивалась и уверяла, что у меня похоронная физиономия. Она надела белое полотняное платье, распустила волосы. Я сказал, что она красивая, и она засмеялась от удовольствия.

Выходя, мы постучали в дверь к Раймону. Он крикнул, что сейчас идет. Оттого, что я не выспался, да еще в комнате мы не поднимали шторы, яркий солнечный свет ошеломил меня, как пощечина. Мари прыгала от радости и все повторяла, какой чудесный день. Я немного оправился и вдруг сообразил, что голоден. Сказал об этом Мари, а она показала мне свою клеенчатую сумку – там лежали только наши купальные костюмы и полотенце. Оставалось одно – ждать; наконец мы услышали, что Раймон запирает свою комнату. Он вышел в синих штанах, в белой рубашке с короткими рукавами. А на голове у него была соломенная шляпа-канотье, и Мари даже засмеялась; руки у него до локтя оказались очень белые, густо заросшие черными волосами. Мне стало немного противно. Спускаясь по лестнице, Раймон насвистывал, вид у него был очень довольный. Он сказал мне:

– Привет, старина!

А Мари назвал «мадемуазель».

Накануне мы с ним ходили в полицию, и я засвидетельствовал, что та особа «обманула» Раймона. Ему сделали предупреждение и отпустили. Мои слова никто не проверял. Сейчас, выйдя на улицу, мы с Раймоном еще об этом поговорили, потом решили сесть в автобус. До пляжа не очень далеко, но так будет быстрее. Раймон сказал – его приятель будет доволен, если мы явимся пораньше. Мы уже хотели идти на остановку, как вдруг Раймон сделал мне знак,

чтобы я поглядел через дорогу. Там, прислонясь к витрине табачной лавки, стояли несколько арабов. Они молча смотрели на нас, но так равнодушно, будто мы были камни или высохшие деревья. Раймон мне сказал, что второй слева и есть тот самый, и лицо у него стало озабоченное. Впрочем, прибавил он, это уже дело прошлое. Мари не поняла и спросила, о чем речь. Я объяснил, что эти арабы злы на Раймона. Она сказала – так пойдем скорей отсюда. Раймон гордо выпрямился, но тут же засмеялся и сказал, что нам и правда надо спешить.

Мы двинулись к остановке автобуса – это недалеко, и Раймон объявил мне, что арабы за нами не пошли. Я обернулся. Они даже не пошевелились и все так же равнодушно смотрели на то место, где мы только что стояли. Мы сели в автобус. У Раймона, видно, стало легче на душе, и он все время подшучивал над Мари. Я понял, что она ему нравится, но на шуточки она почти не отвечала. Только изредка поглядывала на него и смеялась.

Выехали за город. От остановки автобуса до пляжа совсем близко. Надо только пересечь ровное, открытое место на высоком берегу, а дальше отлогий спуск ведет к пляжу. Под ногами валялись желтоватые камни и ярко белели на фоне неба, уже налившегося густой синевой, асфодели. Мари забавлялась – размахивала клеенчатой сумкой, сбивая лепестки асфоделей. Мы шли между рядами загородных дач, обнесенных белыми и зелеными заборами, одни домики вместе с верандами прятались в кустах тамариска, другие стояли совсем голые среди камней. Еще не дойдя до края плоскогорья, мы увидели неподвижное море. Поодаль прозрачную воду разрезал тяжелый сонный мыс. В ясном воздухе слышался слабый стук мотора. Далеко-далеко мы увидели рыбачье суденышко, оно неприметно скользило по сверкающему морю. Мари нашла между камнями несколько ирисов. С пологого склона видно было, что на берегу уже кое-где есть купальщики.

Приятель Раймона жил в деревянном домишке на самом краю пляжа. Домишко прислонился к скале, спереди его подпирали сваи, вокруг плескалась вода. Раймон нас познакомил. Приятеля звали Масон. Он был рослый, плотный, плечистый, а жена его – маленькая, кругленькая, приветливая, по выговору – парижанка. Он сразу сказал, чтоб мы располагались как дома, сейчас он нас угостит жареной рыбой, он сам наловил ее нынче утром. Я сказал – домик у него очень красивый. Он ответил, что проводит здесь каждую субботу и воскресенье и весь отпуск.

– Вместе с женой, понятно, – прибавил он.

Его жена и Мари говорили о чем-то и смеялись. Кажется, впервые я всерьез подумал: пожалуй, и правда надо жениться.

Масон хотел купаться, но его жене и Раймону идти не хотелось. Мы пошли втроем, и Мари сразу бросилась в воду. Мы с Масоном немного посидели на песке. Речь у него была медлительная, и за ним водилась привычка поминутно приговаривать «более того», даже когда он уже ничего не прибавлял к сказанному. Про Мари он сказал:

– Она изумительна, более того – прелестна.

Потом я уже не обращал внимания на эту нелепую присказку, а лежал и наслаждался – было очень приятно греться на солнце. Песок под ногами стал горячий. Я еще помедлил, хотя меня уже тянуло в воду, и наконец сказал Масону:

– Пошли?

И бросился в воду. А он вошел осторожно и поплыл, только когда ноги перестали доставать дно. Плыл он брассом, довольно плохо, так что я его оставил и пустился догонять Мари. Вода была холодная, а плыть приятно. Мы с Мари заплыли далеко, славно было плыть так дружно, в лад, и чувствовать, что нам обоим хорошо.

Отплыв подальше, мы перевернулись на спину, я смотрел в небо, и под солнцем вмиг высохли на лице и на губах соленые брызги. Нам было видно, как Масон вышел из воды и растянулся на припеке. Издали он казался великаном. Мари захотелось поплавать вместе со мной. Я пристроился позади, взял ее за талию, и она поплыла, работая руками, а я помогал, оттал-

киваясь ногами. В тишине утра негромко плескала вокруг вода. А потом я устал, оторвался от Мари и поплыл к берегу, равномерно взмахивая руками и глубоко дыша. Вылез из воды и растянулся на животе рядом с Масоном, лицом в песок. Хорошо, сказал я ему, и он согласился. Немного погодя приплыла Мари. Я повернулся и смотрел, как она выходит на берег. От соленой воды она была вся точно лакированная, волосы откинуты назад. Она вытянулась на песке рядом со мной, от ее жаркого тела и от жаркого солнца я задремал.

Мари потрясла меня за плечо и сказала, что Масон пошел к себе и уже пора завтракать. Я сейчас же поднялся, потому что хотелось есть, но Мари сказала – я с утра еще ни разу ее не поцеловал. И правда, ни разу, а поцеловать хотелось.

– Пойдем окунемся, – сказала она.

Мы вбежали в воду и закачались на прибрежных волнах. Проплыли немного, и Мари прильнула ко мне. Обхватила мои ноги своими, и я ее захотел.

Когда мы подходили к дому, Масон с порога уже звал нас. Я сказал – до чего хочется есть, и он сейчас же заявил своей жене, что я ему нравлюсь. Хлеб был вкусный, я вмиг уплел свою порцию рыбы. Потом было мясо с жареной картошкой. Ели молча. Масон прихлебывал вино и то и дело подливал мне. К тому времени, как подали кофе, голова у меня стала тяжелая, и я начал курить одну сигарету за другой. Мы с Масоном и Раймоном надумали в августе пожить все вместе в складчину здесь, на пляже. И вдруг Мари сказала:

– А знаете, который час? Только половина двенадцатого.

Мы все удивились, но Масон сказал – ну и пускай, поели рано, ничего страшного тут нет: когда проголодаешься, тогда самое время поесть. Не знаю почему, но Мари это очень насмешило. Наверно, она выпила лишнее. Масон спросил – может, я хочу прогуляться с ним по пляжу?

– Жена после еды всегда отдыхает. А я этого не люблю. Мне надо пройтись. Я ей всегда говорю, это куда полезнее для здоровья. Но в конце концов ее воля, пускай делает как знает.

Мари объявила, что останется и поможет госпоже Масон перемыть посуду. Маленькая парижанка сказала – для этого надо выставить мужчин за дверь. И мы трое вышли.

Солнечные лучи падали на песок почти отвесно, и море под ними блестело нестерпимо. На пляже не было ни души. Из домишек, которые лепились на краю высокого берега, нависая над морем, слышался звон посуды, стук ножей и вилок. От раскаленных камней под ногами несло жаром так, что дух захватывало. Раймон с Масоном заговорили о делах и людях, мне незнакомых. Я понял, что они знают друг друга очень давно и даже когда-то жили под одной крышей. Мы шли по кромке песка, вдоль самой воды. Иногда волна побойчее с разбегу обдавала наши парусиновые туфли. Я ни о чем не думал, солнце жгло непокрытую голову, и от этого меня клонило ко сну.

Вдруг Раймон сказал Масону что-то, чего я не расслышал. Но в ту же минуту я увидел далеко впереди, в самом конце пляжа, двух арабов в синем – они шли нам навстречу. Я поглядел на Раймона, и Раймон сказал:

– Это он самый.

Мы шли не останавливаясь. Масон спросил, как же они догадались приехать сюда. Я подумал: должно быть, видели, что мы с пляжной сумкой садились в автобус, – но промолчал.

Арабы не спеша подходили все ближе. Мы не замедляли шаги, но Раймон сказал:

– Если начнется потасовка, ты, Масон, займись вторым. О своем субчике я сам позабочусь. А если явится третий, это уж для тебя, Мерсо.

– Ладно, – сказал я.

Масон заложил руки в карманы. Раскаленный песок мне теперь казался багровым. Размеренно, не торопясь мы шли навстречу арабам. Расстояние сокращалось. Когда нас разделяло уже всего несколько шагов, арабы остановились. Мы с Масоном замедлили шаги. Раймон пошел прямиком к своему врагу. Я не расслышал, что он ему сказал, но тот пригнулся, будто

хотел на него броситься. Тогда Раймон нанес первый удар и тотчас позвал Масона. Масон подошел ко второму арабу и дважды ударил его изо всей силы. Тот плашмя свалился в воду, лицом вниз, и несколько секунд лежал так, а вокруг его головы на воде лопались пузыри. Тем временем Раймон опять ударил противника и разбил ему лицо в кровь. Обернулся ко мне и сказал:

– Сейчас я его изукрашу!

Я крикнул:

– Берегись! Нож!

Но араб уже полоснул его по руке повыше локтя и по губам.

Масон прыгнул вперед. Но второй араб поднялся и стал позади того, с ножом. Мы не смели шевельнуться. Они медленно отступали, не сводя с нас глаз и грозя ножом. А отойдя подальше, пустились бежать, мы же остались под солнцем, будто в землю вросли; Раймон зажимал рану на руке, из нее сочилась кровь.

Масон вспомнил, что тут есть врач. Он по воскресеньям всегда приезжает на дачу. Раймон хотел сейчас же пойти к нему. Но при каждом слове у него на разрезанных губах пузырилась кровь. Мы взяли его под руки и поскорей отвели в домик Масона. Там Раймон заявил, что у него не раны, а царапины, он может и сам пойти к врачу. Они с Масоном ушли, а я стал объяснять женщинам, что случилось. Госпожа Масон плакала, Мари сильно побледнела. Под конец мне надоело с ними толковать. Я замолчал и стал курить, глядя на море.

К половине второго Раймон с Масоном вернулись. Рука у Раймона была на перевязи, угол рта залеплен пластырем. Врач сказал, что это все пустяки, но Раймон был мрачнее тучи. Масон пытался его рассмешить. Но он отмалчивался. Потом заявил, что опять пойдет на пляж, и я спросил – куда. Он ответил – просто подышать воздухом. Мы с Масоном сказали, что тоже пойдем. Он вдруг разозлился и обругал нас. Масон сказал – не надо ему перечить. Но я все-таки пошел за Раймоном.

Мы долго шли по пляжу. Солнце жгло невыносимо. Оно дробилось на песке и на воде в колкие осколки. Мне казалось, Раймон знает, куда идет, но, наверно, я ошибался. В самом конце пляжа мы набрели на родничок, он выбегал из-за большой скалы и струился по песку к морю. Здесь мы увидели тех двух арабов. Они лежали на песке в своих засаленных синих одеждах. С виду они были смирные, даже кроткие. И к нашему появлению отнеслись очень спокойно. Тот, который ударил Раймона ножом, теперь молча смотрел на него. Второй насвистывал на тростниковой дудке, он искоса на нас поглядывал и повторял опять и опять одни и те же три ноты.

Было только солнце и тишина, вполголоса журчал ручей, да выводила одно и то же тростниковая дудка.

Потом Раймон сунул руку в карман за револьвером, но его противник не пошевелился, они в упор смотрели друг на друга. Я заметил, что у того, который играл на дудке, большие пальцы на ногах далеко отставлены от остальных. Но тут Раймон, все не сводя глаз с врага, спросил меня:

– Прикончить его?

Я подумал – если сказать «нет», он взовьется и наверняка выстрелит. И я проговорил только:

– Он еще ни слова не сказал. Было бы свинством стрелять ни с того ни с сего.

Опять стоим в жаре, в тишине, слушаем журчанье родника и дудки. Потом Раймон говорит:

– Тогда я его обругаю, а как ответит – прикончу.

– Ну что ж, – отвечаю. – Только если он не вытащит нож – стрелять не годится.

Раймон понемногу взвинчивался. Второй араб все играл, и оба они следили за каждым движением Раймона.

– Вот что, – сказал я. – Сойдись с ним один на один, а револьвер отдай мне. Если второй вмешается или если этот вытащит нож, я его пристрелю.

Раймон отдал мне револьвер, металл блеснул на солнце. Но мы по-прежнему не шевелились, будто весь мир оцепенел и сковал нас. Мы только глядели в упор на арабов, арабы – на нас, а море, солнце и песок, еле слышная дудка и родник будто замерли. И я подумал – можно стрелять, а можно и не стрелять, какая разница. Но вдруг арабы попятились и скользнули за скалу. Тогда мы с Раймоном повернули назад. Его как будто отпустило, и он сказал – пора к автобусу и домой.

Я проводил его до лачуги Масона, и он стал взбираться по деревянной лестнице, а я остановился внизу: в голове гудело от жары и не хватало пороху одолеть два десятка ступеней да еще разговаривать с женщинами. Но солнце пекло немилосердно, с неба хлестал дождь слепящего света, и оставаться под ним было тоже невмоготу. Остаться тут или идти – в конце концов было все едино. Я постоял минуту, повернулся и зашагал обратно на пляж.

Все так же слепил багровый песок. Море, тяжко дыша и захлебываясь, выплескивало на него мелкие волнишки. Я медленно шел к скалам и чувствовал, как от солнца пухнет голова. Жара давила, стеной вставала поперек дороги, обдавала лицо палящим дыханием. И я опять и опять стискивал зубы, сжимал кулаки в карманах штанов, весь напрягался, силясь побороть солнце и мутное опьянение, которое обволакивало меня и валило с ног. Всякая песчинка, побелевшая от солнца раковина, осколок стекла метали в меня копья света, и я судорожно стискивал зубы. Я шел долго.

Вдалеке завиднелась темная глыба скалы в ослепительном ореоле света и летящей морской пены. Я вспомнил, что за скалой течет прохладный родник. Захотелось опять услышать его журчанье, укрыться от солнца, не напрягать мышц, не видеть женских слез, захотелось, наконец, тени и покоя. Но когда я подошел ближе, оказалось – тот араб, враг Раймона, вернулся.

Он был один. Он лежал на спине, заложив руки под голову, лицо было в тени скалы, а все тело на солнце. В жарких лучах от синего балахона шел пар. Я немного удивился. Я-то думал, с этим делом покончено, и совсем про него позабыл, когда шел сюда.

Завидев меня, араб приподнялся и сунул руку в карман. Понятно, я нащупал в кармане куртки револьвер Раймона. Тогда араб опять откинулся на спину, но руку из кармана не вынул. Я был от него довольно далеко, метров за десять. Порой между полусомкнутыми веками я угадывал его взгляд. Но чаще его черты расплывались передо мной в дрожащем знойном воздухе. Волны плескали еще реже, еще ленивее, чем в полдень. Все то же солнце, тот же сверкающий, слепящий песок, и нет им конца. Вот уже два часа, как день оцепенел, два часа, как он бросил якорь в океане расплавленного металла и не двигается с места. На горизонте шел пароход, я едва заметил краем глаза темную точку, потому что неотрывно смотрел на араба.

Я подумал: стоит только повернуться и пойти прочь – и все кончится. Но весь раскаленный знойный берег словно подталкивал меня вперед. Я ступил к роднику – шаг, другой. Араб не шелохнулся. Все-таки до него было еще довольно далеко. Может быть, оттого, что на лицо его падала тень, казалось – он усмехается. Я помедлил. Солнце жгло мне щеки, на брови каплями стекал пот. Вот так же солнце жгло, когда я хоронил маму, и, как в тот день, мучительней всего ломило лоб и стучало в висках.

Я не мог больше выдержать и подался вперед. Я знал: это глупо, я не избавлюсь от солнца, если сдвинусь на один только шаг. И все-таки я сделал его – один-единственный шаг вперед. Тогда, не поднимаясь, араб вытащил нож и показал мне, выставив на солнце. Оно высекло из стали острый луч, будто длинный искрящийся клинок впился мне в лоб. В тот же миг пот, скопившийся у меня в бровях, потек по векам и затянул их влажным полотнищем. Я ничего не различал за плотной пеленой соли и слез. И ничего больше не чувствовал, только в лоб, как в бубен, било солнце да огненный меч, возникший из стального лезвия, маячил передо мной. Этот жгучий клинок рассекал мне ресницы, вонзался в измученные, воспаленные глаза.

И тогда все закачалось. Море испустило жаркий, тяжелый вздох. Мне почудилось – небо разверзлось во всю ширь, и хлынул огненный дождь. Все во мне напряглось, пальцы стиснули револьвер. Рукоятка была гладкая, отполированная, спусковой крючок поддался – и тут-то, сухим, но оглушительным треском, все и началось. Я стряхнул с себя пот и солнце. Я понял, что разрушил равновесие дня, необычайную тишину песчаного берега, где мне совсем недавно было так хорошо. Тогда я еще четыре раза выстрелил в распростертое тело, пули уходили в него, не оставляя следа. И эти четыре отрывистых удара прозвучали так, словно я стучался в дверь беды.

Часть вторая

I

Сразу же после ареста меня несколько раз допрашивали. Но допросы были недолгие – просто выясняли, кто я такой. В первый раз, в полицейском участке, моим делом, кажется, ровно никто не заинтересовался. Неделю спустя, напротив, судебный следователь смотрел на меня с любопытством. Но для начала он только спросил мое имя и адрес, род занятий, время и место рождения. Потом пожелал узнать, выбрал ли я себе адвоката. Я сказал – нет, а разве это так уж необходимо?

– То есть как? – удивился он.

Я сказал – по-моему, дело мое очень простое.

Он улыбнулся и сказал:

– Можно считать и так. Однако существует закон. Если вы не выберете себе защитника сами, мы вам кого-нибудь назначим.

Я подумал: очень удобно, что правосудие само заботится обо всех мелочах. Так я и сказал следователю. Он согласился и заметил, что законы составлены весьма разумно.

Сначала я не принял его всерьез. Он ждал меня в кабинете с завешенными окнами, горела одна только лампа на письменном столе и освещала кресло, в которое он меня усадил, а сам остался в тени. Я уже читал про такие приемы в книгах, и все это показалось мне игрой. Но когда мы поговорили, я посмотрел на него внимательно – он был высокий, тонкие черты лица, глубоко посаженные голубые глаза, длинные седеющие усы и грива почти совсем белых волос. Он показался мне человеком очень разумным и, в общем, приятным, хотя рот у него как-то нервно подергивался. Уходя, я чуть было не протянул ему руку, да вовремя вспомнил, что ведь я убил человека.

На другой день ко мне в тюрьму пришел адвокат. Он был маленький, кругленький, еще молодой, волосы тщательно прилизаны. Несмотря на жару (я сидел без куртки), на нем был темный костюм, крахмальный воротничок и какой-то необыкновенный галстук в широкую белую и черную полоску. Он водрузил на мою койку портфель, представился и объявил, что внимательно изучил дело. Случай щекотливый, но он не сомневается в успехе, если только я вполне ему доверюсь. Я поблагодарил, и он сказал:

– Перейдем прямо к сути.

Он сел на койку и сообщил, что уже наведены справки о моей личной жизни. Стало ясно, что моя мать недавно умерла в доме призрения. Тогда послали запрос в Маренго. Там следователь сообщил, что в день похорон мамы я «проявил бесчувственность».

– Понимаете, – сказал мой защитник, – мне неловко вас об этом расспрашивать. Но это крайне важно. И обвинение с успехом использует этот довод, если я ничего не сумею возразить.

Он хотел, чтобы я ему помог. Он спросил, горевал ли я в тот день. Я очень удивился, мне кажется, сам я постеснялся бы задать кому-нибудь такой вопрос. Все же я ответил, что несколько отвык разбираться в своих чувствах и затрудняюсь ему что-либо объяснить. Конечно, я любил маму, но какое это имеет значение? Всякий разумный человек так или иначе когда-нибудь желал смерти тем, кого любит. Тут адвокат меня перебил и, кажется, очень разволновался. Он взял с меня слово не говорить так ни на суде, ни у следователя. Все же я ему объяснил, что такой уж я от природы – когда мне физически не по себе, все мои чувства и мысли путаются. В тот день, когда хоронили маму, я очень устал и не выспался. И поэтому плохо соображал, что происходит. Одно могу сказать наверняка: я бы предпочел, чтобы мама была жива. Но защитник, видно, остался недоволен. Он сказал:

– Этого недостаточно.

Он задумался. Потом спросил, может ли он сказать на суде, что в тот день я взял себя в руки и сдержал естественную скорбь. Я сказал:

– Нет, ведь это неправда.

Он странно на меня посмотрел, как будто я был ему немного противен. И сказал почти злобно, что, во всяком случае, директор и служащие дома призрения будут вызваны в качестве свидетелей, «и тогда дело может принять для вас прескверный оборот». Я сказал – это здесь ни при чем, ведь меня судят совсем за другое, но он ответил только – сразу видно, что я никогда не сталкивался с правосудием.

Ушел он сердитый. Мне хотелось его удержать, объяснить, что я был бы рад, если бы он отнесся ко мне по-хорошему – и не потому, что тогда бы он больше старался, защищая меня, а просто так. Главное, я видел: из-за меня ему неспокойно. Он меня не понимал и поэтому немного злился. Мне хотелось растолковать ему, что я такой же, как все люди, в точности такой же. Но все это, в сущности, бесполезно, мне стало лень, и я махнул рукой.

Попозже меня опять отвели к следователю. Было два часа дня, и на этот раз кабинет был залит светом, легкая занавеска его почти не смягчала. Было очень жарко. Следователь предложил мне сесть и весьма любезно сообщил, что мой адвокат не смог прийти – «помешали обстоятельства». Но я имею право не отвечать на вопросы и ждать адвоката. Я сказал, что и один могу отвечать. Он нажал кнопку звонка на столе. Вошел молодой секретарь и сел очень близко позади меня.

Мы со следователем поудобнее устроились в креслах. Начался допрос. Сперва он сказал, что, по общему мнению, я человек молчаливый и замкнутый – а сам я как полагаю? Я ответил:

– Просто мне нечего сказать. Вот я и молчу.

Он, кажется, впервые улыбнулся, согласился, что более веской причины не найдешь, и прибавил:

– Впрочем, это не важно. – Замолчал, посмотрел на меня, вдруг выпрямился и сказал быстро: – Меня интересуете вы сами.

Я не очень понял, о чем это он, и не ответил.

– Есть в вашем поступке что-то для меня неясное, – продолжал он. – Я уверен, вы поможете мне в этом разобраться.

Я сказал – все очень просто. Он попросил, чтобы я еще раз подробно описал ему тот день. Я перебрал заново все то, о чем уже рассказывал ему: Раймон, пляж, купанье, стычка с арабами, опять пляж, родник, солнце и пять выстрелов из револьвера. Он снова и снова приговаривал:

– Так, так.

И когда я дошел до неподвижного тела на песке, он опять одобрил:

– Хорошо.

Мне уже надоело повторять одно и то же, кажется, никогда в жизни я так много не говорил.

Мы помолчали, потом он поднялся и сказал, что хочет мне помочь, что я его заинтересовал и с Божьей помощью он постарается что-нибудь для меня сделать. Но сначала хочет задать мне еще несколько вопросов. И без перехода спросил, любил ли я маму. Я сказал:

– Да, как все люди.

Секретарь, который до сих пор без остановки стучал на машинке, тут, наверно, сбился и ударил не по той клавише: он вдруг замешкался, и ему пришлось вернуться назад. Так же некстати, без видимой связи следователь спросил, стрелял ли я пять раз подряд, без перерыва. Я подумал и вспомнил, что сперва выстрелил один раз, а чуть погодя еще четыре.

– Почему вы ждали после первого выстрела? – спросил он.

Я снова увидел багровый пляж и почувствовал, как солнце жжет лоб. Но на этот раз ничего не ответил. Наступило долгое молчание, следователь как будто заволновался. Он опять сел, взъерошил волосы, облокотился на стол и с каким-то странным видом наклонился ко мне.

– Почему, почему вы стреляли в убитого?

Я опять не знал, что ответить. Следователь провел ладонями по лбу и повторил изменившимся голосом:

– Почему? Скажите мне, это необходимо: почему?

Я все молчал.

Он резко поднялся, большими шагами прошел через весь кабинет к картотеке и открыл ящик. Вытащил оттуда серебряное распятие и, размахивая им, вернулся ко мне. И совсем другим тоном, чуть ли не с дрожью в голосе, воскликнул:

– Да знаете ли вы его?

Я сказал:

– Да, конечно.

Тогда он быстро, с жаром заговорил: он верит в Бога, он убежден, что нет на свете человека столь виновного, чтобы Господь Бог его не простил, но для этого виновный должен раскаяться и стать душою как дитя – открыт и доверчив. Следователь перегнулся над столом. Он махал распятием чуть не над самой моей головой. Сказать по правде, я плохо улавливал нить его мыслей, потому что было очень жарко, да еще по кабинету летали огромные мухи и садились мне на лицо, а кроме того, он меня немного пугал. И однако я понимал, что бояться смешно, ведь, в конце концов, преступник-то я. А он все говорил и говорил. Насколько я понял, в моем признании ему неясно одно – то обстоятельство, что после первого выстрела я выждал и дальше стрелял не сразу. Все остальное его не смущает, а вот этого он понять не может.

Я хотел сказать, что напрасно он упорствует: сразу ли стрелял, не сразу ли – невелика важность. Но он меня перебил и, выпрямившись во весь рост, в последний раз потребовал ответа: верю ли я в Бога. Я сказал – не верю. Он рассердился и сел. И сказал, что этого не может быть, все люди верят в Бога, даже те, кто от него отворачивается. Таково его глубочайшее убеждение, и, если он вынужден будет в этом усомниться, вся его жизнь потеряет смысл.

– Неужели вы хотите, чтобы жизнь моя потеряла смысл? – воскликнул он.

Я рассудил, что меня это не касается, и так ему и сказал. Но он через стол сунул распятие мне чуть не под нос и закричал как одержимый:

– Я христианин! Я молю его отпустить тебе твои грехи! Как ты можешь не верить, что он страдал за тебя?

Конечно, я заметил, что он уже говорит мне, как близкому, «ты», но с меня было довольно. Жара становилась нестерпимой. Как всегда, когда я хочу избавиться от кого-нибудь, кого слушаю через силу, я сделал вид, что со всем согласен. К моему удивлению, следователь возликовал.

– Вот видишь, видишь! – с торжеством заявил он. – Ведь правда, ты веруешь в него и доверишься ему?

Разумеется, я еще раз сказал – нет. Он тяжело опустился в кресло. Лицо у него сделалось очень усталое. Он немного помолчал, а пишущая машинка, которая не переставала трещать во все время нашего разговора, еще достукивала последние слова. Потом следователь посмотрел на меня внимательно и даже печально. И пробормотал:

– Никогда еще я не видел души столь очерствелой, как ваша. Все преступники, сколько их ни проходило через мои руки, плакали перед этим скорбным ликом.

Я хотел ответить – потому и плакали, что они преступники. Но тотчас подумал, что ведь и я такой же. Я никак не мог свыкнуться с этой мыслью. Тут следователь встал, словно в знак того, что допрос окончен. Он только спросил еще, с тем же усталым видом, сожалею ли я о

своем поступке. Я подумал и сказал – не то чтобы жалею, но мне неприятно. Кажется, он не понял. Но в тот день на этом все и кончилось.

Потом я еще часто бывал у этого следователя. Но каждый раз со мною приходил мой защитник. И от меня требовалось только уточнять разные подробности прежних показаний. Или же следователь обсуждал с адвокатом пункты обвинения. Но в эти минуты сам я нисколько их обоих не занимал. Во всяком случае, тон допросов понемногу изменился. По-видимому, для следователя мое дело прояснилось, и он потерял ко мне интерес. Он больше не заговаривал со мной о Боге, и я уже никогда не видал его в таком волнении, как при первой встрече. И поэтому наши разговоры стали более непринужденными. Несколько вопросов, короткая беседа с адвокатом – вот и все. Дело мое, как выражался следователь, двигалось своим чередом. Иногда, если разговор заходил на какую-нибудь общую тему, меня тоже в него втягивали. И я начинал дышать свободнее. В эти часы никто на меня не злился. Все разыгрывалось как по нотам, естественно, размеренно, спокойно, и у меня возникало забавное ощущение, как будто я здесь – член семьи. Следствие длилось одиннадцать месяцев, и под конец мне почти не верилось, что у меня когда-то бывали другие удовольствия, кроме этих редких минут, когда следователь провожал меня до дверей кабинета, похлопывал по плечу и говорил дружески:

– Ну, на сегодня хватит, господин Антихрист!

А затем меня передавали с рук на руки жандармам.

II

Об иных вещах я всегда не любил говорить. И в тюрьме я в первые же дни понял: об этой полосе моей жизни говорить будет неприятно.

Потом я стал думать, что и это чувство ровно ничего не значит. В сущности, на первых порах я еще не был настоящим арестантом, я смутно ждал: вот-вот что-то изменится. Все началось только после первого и единственного посещения Мари. С того дня, как я получил от нее письмо (она писала, что ей больше не разрешают меня навещать, потому что мы не женаты), с того самого дня я почувствовал: теперь камера и есть мой дом и на этом жизнь моя остановилась. Сначала после ареста меня заперли в помещении, где уже сидели несколько заключенных, почти все – арабы. Увидев меня, они стали смеяться. Потом спросили, что я сделал. Я сказал, что убил араба, и они замолчали. Но очень скоро стемнело, и они объяснили мне, как разложить циновку, на которой предстояло спать. Один конец надо скатать валиком вместо подушки. Всю ночь у меня по лицу бегали клопы. Через несколько дней меня перевели в одиночку, там я спал на деревянных нарах. У меня была параша и жестяной таз для умывания. Тюрьма стояла высоко над городом, и в узкое оконце видно было море. Однажды, когда я, ухватясь за прутья решетки, тянулся к свету, вошел надзиратель и сказал, что ко мне пришли. Я подумал – наверно, Мари. И правда, это была она.

В комнату свиданий меня вели длинным коридором, потом по лестнице и наконец еще одним коридором. Я вошел в просторный зал с огромными окнами по одной стене. Две решетчатые перегородки рассекали зал во всю длину на три части. Пустое пространство между решетками, метров восемь или десять, отделяло посетителей от арестантов. Напротив меня стояла Мари, я увидел платье в полоску и загорелое лицо. По ту же сторону, что и я, было еще с десяток заключенных, почти все – арабы. Посетительницы, кроме Мари, тоже были больше мавританки; справа от нее, плотно сжав губы, стояла маленькая старушка в черном, слева – простоволосая толстуха, эта кричала во все горло и размахивала руками. Да и всем заключенным и посетителям приходилось кричать, расстояние между решетками было слишком велико. Гул голосов и резкий свет, лившийся в окна, еще усиливались, отражаясь от голых стен, и, когда я вошел, у меня даже голова закружилась. В камере моей было куда тише и темнее. Не вдруг я освоился. Но потом в ярком свете начал ясно различать лица. В конце прохода

между решетками сидел надзиратель. Многие арестанты-арабы и их родичи присели друг против друга на корточки. Эти не кричали. Несмотря на шум и гам вокруг, они говорили совсем тихо и умудрялись понимать друг друга. Они глухо бормотали внизу, будто гудела басовая струна, сопровождая вопросы и ответы, перелетавшие у них над головой. Все это я заметил очень быстро и направился к Мари. Она уже прильнула к решетке и изо всех сил улыбалась мне. Она показалась мне очень красивой, но я не умел ей это сказать.

– Ну как? – очень громко спросила она.

– Да так.

– Ты здоров, у тебя есть все, что нужно?

– Да, есть.

Мы замолчали, Мари все улыбалась. Толстуха что-то орала моему соседу, рослому детине со светлыми волосами и простодушным взглядом, – наверно, мужу. Разговор этот, видно, начался еще до моего прихода.

– Жанна не хотела его брать! – во всю мочь вопила толстуха.

– Да, да, – повторял муж.

– Я ей сказала, что ты, как выйдешь, опять его заберешь, а она все равно не захотела его взять!

Тут Мари крикнула, что Раймон передает мне привет, и я сказал:

– Спасибо.

Но меня заглушил сосед, крикнув жене:

– А он как, здоров?

Она засмеялась и ответила:

– Лучше всех!

Мой сосед слева – молодой, щуплый, с тонкими руками – все время молчал. Я заметил, что он стоит напротив маленькой старушки и они неотрывно смотрят друг на друга. Но больше я не успел за ними понаблюдать, потому что Мари закричала: надо надеяться на лучшее!

Я сказал:

– Да.

Я смотрел на нее, и мне хотелось сжать ее плечо, прикрытое легким платьем. Мне хотелось этой чудесной плоти, и, право, не знаю, на что еще, кроме этого, стоило надеяться. Но, конечно, то же самое думала и Мари, потому что она все время улыбалась. Теперь я только и видел блеск ее зубов да смеющиеся морщинки у глаз. Она опять закричала:

– Вот выйдешь – и поженимся!

– Ты думаешь? – ответил я, надо ж было что-то сказать.

Она ответила очень быстро и очень громко – да-да, меня оправдают, и мы еще поплаваем. Но толстуха рядом с нею кричала еще громче: она, мол, передала корзинку в тюремную канцелярию – и перечисляла все, что в корзинку положено. И пускай он проверит – ведь все это стоит денег! Второй мой сосед и его мать по-прежнему не сводили глаз друг с друга. Внизу все так же вполголоса переговаривались арабы. На улице яркий свет словно набухал и давил на окна. Он стекал по лицам, точно сок из лопнувшего плода.

Мне нездоровилось, и я рад был бы уйти. От шума ломило виски. И все-таки хотелось, пока можно, видеть Мари. Не знаю, сколько еще времени прошло. Мари стала рассказывать о своей работе, а улыбка все не сходила с ее лица. Бормотанье, крики, разговоры были как перекрестный огонь. Уцелел только один островок тишины – щуплый молодой человек рядом со мной и его старуха мать молча глядели друг на друга. Понемногу арабов начали уводить. Как только первый вышел, почти все в зале умолкли. Старушка напротив придвинулась поближе к решетке, и в эту самую минуту надзиратель сделал знак ее сыну. Тот сказал:

– До свиданья, мама.

А она просунула руку между прутьями и махнула ему долгим, медленным движением.

Она вышла, и сейчас же появился мужчина со шляпой в руке и стал на ее место. Ввели нового арестанта, и они заговорили оживленно, но негромко, потому что в зале теперь все притихли. Надзиратель пришел за другим моим соседом, и жена крикнула ему, будто не замечая, что повышать голос уже незачем:

– Ты поосторожней! Береги себя!

Потом настал мой черед. Мари послала мне воздушный поцелуй. В дверях я оглянулся. Она стояла как вкопанная, прижимаясь лицом к решетке, и улыбалась все той же застывшей, вымученной улыбкой.

Вскоре после этого она мне написала. И тогда же началось многое такое, о чем я всегда не любил говорить. Хотя не надо преувеличивать: мне это давалось легче, чем другим. Однако первое время в тюрьме хуже всего было то, что у меня еще появлялись мысли свободного человека. Например, вдруг захочется полежать на песке, спуститься к морю. Ясно представлялось – всплескивают под ногами первые волны, погружаешься в воду, становится так легко, вольно – и тут вокруг разом смыкаются стены тюрьмы. Но через несколько месяцев это прошло. И уже все мысли были арестантские. Я ждал, когда меня выведут во двор на ежедневную прогулку либо когда придет адвокат. И остальное время научился проводить неплохо. И часто думал: если бы меня заставили жить в стволе высохшего дерева и совсем ничего нельзя было бы делать, только смотреть, как цветет небо над головой, я бы понемногу и к этому привык. Ждал бы, чтоб пролетела птица или наползли облака, все равно как здесь жду, в каком еще диковинном галстуке явится мой адвокат, а в прежней жизни запасался терпеньем до субботы, когда можно будет обнять Мари. Так ведь, если вдуматься, я не сижу в стволе сухого дерева. Есть люди несчастнее меня. Хотя это не моя мысль, а мамина, мама часто повторяла, что в конце концов ко всему привыкаешь. Впрочем, обычно я не заходил так далеко в своих рассуждениях. Первые месяцы давались тяжело. Надо было как-то себя одолевать, но это-то и помогало провести время. К примеру, мучительно хотелось женщину. Это естественно, я молод. Я никогда не думал именно о Мари. Думал просто о женщине, вообще о женщинах, обо всех, кого знал, и о том, когда и как с ними сходился, но думал так много, что вся камера наполнялась их лицами, в ней становилось тесно от моих желаний. В каком-то смысле это выводило из равновесия. Зато так я легче убивал время. Под конец мне стал сочувствовать старший надзиратель, он обычно сопровождал того малого, который приносил с кухни еду. Старший надзиратель и заговорил со мной о женщинах. Он сказал – всем арестантам этого больше всего не хватает. Я сказал – мне тоже, несправедливо так обращаться с людьми.

– Да ведь для того вас и сажают в тюрьму, – сказал он.

– Как так?

– Ну да, свобода это самое и есть. А вас лишают свободы.

Прежде мне такое в голову не приходило. А ведь правильно. Я сказал:

– Да, верно – иначе какое же это было бы наказание?

– Вот-вот, вы-то разбираетесь. А другие нет. Но в конце концов они начинают сами себя утешать.

И он ушел.

Потом – сигареты. В тюрьме у меня сразу отобрали пояс, шнурки от ботинок, галстук и все, что было в карманах, главное – сигареты. Попав в камеру, я попросил, чтобы мне все это вернули. Но мне сказали – это запрещено. Первые дни было очень тяжко. Пожалуй, то, что нельзя курить, угнетало меня больше всего. Я отдирал от нар щепочки и сосал их. Весь день меня мутило. Я не понимал, почему у меня отнимают то, что никому не мешает и не вредит. Позже понял: это тоже часть наказания. Но к тому времени я уже отвык курить, и это больше не было для меня наказанием.

Если не считать этих неприятностей, я был не так уж несчастен. Самое главное, повторяю, убить время. Я научился вспоминать разные разности и с тех пор больше не скучал. Иногда

принимался вспоминать свою комнату, представлять себе – вот я обхожу ее кругом, начинаю вон с того угла и перебираю мысленно каждую мелочь, которая встретится на пути. Сперва этого хватало ненадолго. Но с каждым разом получалось немного дольше. Потому что я вспоминал каждый стул, что где стоит, что лежит в каком ящике, каждый пустяк, все подробности – инкрустацию, щербинку, трещинку, что какого цвета и какое на ощупь. В то же время я старался не сбиться, перебрать все по порядку и ничего не забыть. И через несколько недель у меня уже уходили часы только на то, чтобы перечислить все вещи, сколько их было в моей комнате. Чем больше я вспоминал, тем больше всплывало в памяти разных неприметных мелочей. Вот тогда я понял: если человек жил хотя бы один только день, он потом спокойно может сто лет просидеть в тюрьме. У него будет вдоволь воспоминаний, чтоб не скучать. Если угодно, это тоже утешает.

И еще сон. Вначале я плохо спал по ночам и совсем не спал днем. Понемногу ночью дело наладилось, и я даже научился спать днем. А в последние месяцы я спал по шестнадцать, по восемнадцать часов в сутки. Оставалось убить шесть часов, для этого у меня были завтрак, обед и ужин, естественные нужды, воспоминания да еще история про чеха.

Однажды я нашел на нарах под соломенным тюфяком прилипший к нему обрывок старой газеты – пожелтевший, почти прозрачный. Это был кусок уголовной хроники, начала не хватало, но, по-видимому, дело происходило в Чехословакии. Какой-то человек пустился из родной деревни в дальние края попытать счастья. Через двадцать пять лет, разбогатев, с женой и ребенком он возвратился на родину. Его мать и сестра содержали маленькую деревенскую гостиницу. Он решил их удивить, оставил жену и ребенка где-то в другом месте, пришел к матери – и та его не узнала. Шутки ради он притворился, будто ему нужна комната. Мать и сестра увидели, что у него много денег. Они молотком убили его, ограбили, а труп бросили в реку. Наутро явилась его жена и, ничего не подозревая, открыла, кто был приезжий. Мать повесилась. Сестра бросилась в колодец. Я перечитал эту историю, наверно, тысячу раз. С одной стороны, она была неправдоподобна. С другой – вполне естественна. По-моему, этот человек в какой-то мере заслужил свою участь. Никогда не надо притворяться.

Вот так я часами спал, вспоминал, перечитывал отрывки из этой истории, в камере становилось то светло, то темно – а время шло. Где-то когда-то я вычитал, что в тюрьме человек под конец теряет представление о времени. Но тогда это для меня был звук пустой. Я не понимал, что день может быть сразу и очень длинным, и очень коротким. Конечно, прожить такой день – это долго, но они так растягивались, что в конце концов сливались, один переходил в другой. Они стали безликие, безымянные. Только слова «вчера» и «завтра» еще не потеряли свой смысл.

Однажды надзиратель сказал, что я сижу в тюрьме уже пять месяцев, – и я поверил, но понять не понял. Для меня в камере нескончаемо тянулся все один и тот же день, и забота у меня была все одна и та же. Когда надзиратель ушел, я погляделся, как в зеркало, в жестяной котелок. Мне показалось, мое отражение остается хмурым, даже когда я стараюсь ему улыбаться. Я повертел котелок и так, и эдак. Опять улыбнулся, но отражение оставалось строгим и печальным. Смеркалось, и это был час, о котором мне не хочется говорить, безымянный час, когда со всех этажей тюрьмы безрадостным шествием поднимаются глухие вечерние шумы и медленно замирают. Я подошел к оконцу и в последних сумеречных отсветах еще раз всмотрелся в свое отражение. Оно по-прежнему было серьезное, и что в этом удивительного, раз я и сам теперь был серьезен? Но тут, впервые за столько месяцев, я отчетливо услышал свой голос. Так вот что за голос уже много дней отдавался у меня в ушах: только тут я понял, что все время, сидя в одиночке, разговаривал сам с собой. И вспомнил, что говорила сиделка на похоронах мамы. Да, никакого выхода нет, и никто не может себе представить, что такое вечера в тюрьме.

III

В сущности, лето очень быстро сменилось другим летом. Я заранее знал, что с приходом жары для меня настанет новая полоса. Дело мое должно было слушаться на последней сессии суда присяжных, она заканчивается в июне. Когда процесс начался, на воле все полно было солнцем. Мой защитник уверял, что разбирательство продлится дня два-три, не больше.

– Суд будет спешить, – прибавил он, – потому что ваше дело на этой сессии не самое важное. Есть еще отцеубийство, им займутся сразу после вас.

В половине восьмого утра за мной пришли и в тюремной машине отвезли в здание суда. Два жандарма ввели меня в затхлую каморку, там пахло темнотой. Мы ждали, сидя у двери, а за нею разговаривали, перекликались, двигали стульями – словом, было шумно и суматошно, как на благотворительном вечере, когда после концерта середину зала освобождают для танцев. Жандармы сказали, что заседание еще не начиналось, и один предложил мне сигарету, но я отказался. Немного погодя он спросил, не трушу ли я, и я сказал – нет. В известном смысле мне даже интересно: посмотрю, как это бывает. Никогда еще не случалось попасть в суд.

– Да, – сказал второй жандарм, – но под конец это надоедает.

Немного спустя в комнате звякнул звонок. Тогда с меня сняли наручники. Отворили дверь и подвели меня к скамье подсудимых. В зале набилось полно народу. Шторы спущены, но кое-где пробивается солнце, и дышать уже нечем. Окон не открывали. Я сел, жандармы стали по бокам. И тут я увидел вереницу лиц напротив. Все они смотрели на меня, и я понял – это присяжные. Но я их не различал, они были какие-то одинаковые. Мне казалось, я вошел в трамвай, передо мною сидят в ряд пассажиры – безликие незнакомцы, – и все уставились на меня и стараются подметить, над чем бы посмеяться. Я понимал, что это все глупости: во мне ищут не смешное, а преступное. Но разница не так уж велика – во всяком случае, такое у меня тогда было ощущение.

И еще меня ошеломило множество народу – как сельди в бочке. Я опять оглядел зал, но не различил ни одного лица. Наверно, сперва я не понимал, что вся эта толпа сошлась сюда поглазеть на меня. Обычно люди не обращали на меня внимания. Пришлось сделать усилие, чтобы сообразить, что вся эта суматоха из-за меня. Я сказал жандарму:

– Сколько народу!

Он ответил – это газеты постарались – и показал на кучку людей у стола, пониже скамьи присяжных.

– Вот они, – сказал он.

– Кто? – спросил я.

И он повторил:

– Газеты.

Он увидел знакомого репортера, тот как раз направлялся к нам. Это был человек уже немолодой, с приятным, хотя, пожалуй, чересчур подвижным лицом. Он сердечно пожал жандарму руку. Тут я заметил, что все эти люди раскланивались, перекликались, переговаривались, будто в клубе, где все свои и рады побыть в дружеском кругу. Так вот отчего у меня сперва было это странное ощущение, словно я тут лишний, непрошеный гость. Однако репортер с улыбкой обратился ко мне. Он надеется, сказал он, что для меня все кончится благополучно. Я сказал – спасибо, и он прибавил:

– Знаете, мы немножко раздули ваше дело. Для газет лето – мертвый сезон. Ничего не подвертывалось стоящего, только вот вы да отцеубийца.

Потом он показал на одного из репортеров в группе, от которой он сам отошел, – этот человек напоминал разжиревшего хорька, на носу у него красовались огромные очки в черной оправе, – и сказал, что это специальный корреспондент одной парижской газеты.

– Вообще-то он приехал не ради вас. Он будет писать о процессе отцеубийцы, а уж заодно его попросили рассказать и о вашем деле.

Я чуть не поблагодарил еще раз, да спохватился, что это было бы смешно. Он приветливо махнул мне рукой и отошел. Потом мы еще немного подождали.

Явился мой защитник, в адвокатской мантии, окруженный своими собратьями. Направился к репортерам и стал жать им руки. Они шутили, смеялись и, видно, чувствовали себя как дома, пока в зале не раздался звонок. Тогда все разошлись по местам. Защитник подошел, пожал мне руку и посоветовал на вопросы отвечать кратко, ни о чем не заговаривать первым, а в остальном положиться на него. Слева от меня шумно отодвинули стул, я обернулся – там усаживался высокий сухопарый человек в пенсне, заботливо расправляя красную мантию. Это был прокурор. Судебный пристав объявил, что суд идет. В эту минуту зажужжали два огромных вентилятора. Вошли трое судей – двое в черных мантиях, третий – в красной, у каждого под мышкой папка с бумагами – и быстрым шагом направились к возвышению. Тот, что в красном, сел в кресло посередине, положил свою шапочку перед собой на стол, вытер платком лысину и объявил заседание суда открытым.

Репортеры уже навострили перья. Лица у них были равнодушные и немного насмешливые. Впрочем, один, самый молодой, в сером фланелевом костюме с голубым галстуком, еще не брался за самопишущую ручку, которая лежала перед ним на столе, и только смотрел на меня. В лице его была какая-то неправильность, но я видел только глаза – очень светлые, они пристально изучали меня, однако их выражение я не мог уловить. Очень странно – мне показалось, будто это я сам себя разглядываю. Может, поэтому и еще потому, что мне незнакомы судебные порядки, я плохо понимал, что происходило дальше: отбирали по жребию кандидатов в присяжные, председатель о чем-то спрашивал защитника, прокурора и присяжных (каждый раз головы всех присяжных разом поворачивались в его сторону), скороговоркой читали обвинительный акт (я услыхал знакомые имена и названия знакомых мест), опять задавали вопросы защитнику.

А потом председатель сказал, что сейчас вызовут свидетелей. Пристав громко прочитал имена, они привлекли мое внимание. Из людского сборища, которое перед тем было слитным и безликим, по одному поднимались и затем уходили в боковую дверь директор и привратник дома призрения, старик Тома Перез, Раймон, Масон, Саламано, Мари. Она украдкой тревожно кивнула мне.

Я удивлялся, как это я раньше никого из них не заметил, и вдруг назвали последнее имя, и поднялся Селест. Рядом с ним я увидел ту чудачку, которая в ресторане села за мой столик, и узнал ее жакет, решительное лицо и механические движения. Она смотрела на меня в упор. Но мне некогда было раздумывать, потому что председатель заговорил. Он сказал, что суд переходит к слушанию дела и, надо надеяться, нет нужды призывать публику к тишине и порядку. Его, председателя, долг позаботиться о том, чтобы дело разбиралось со всем беспристрастием и непредвзятостью. Присяжным надлежит вынести приговор в духе истинной справедливости, а кроме всего прочего, если кто-нибудь вздумает нарушить порядок, он, председатель, велит очистить зал.

Становилось все жарче, кое-кто в публике обмахивался газетой. Непрестанно слышалось это бумажное шуршанье. Председатель дал знак приставу, тот принес три плетеных соломенных веера, и судьи сразу пустили их в ход.

И сейчас же меня начали допрашивать. Председатель задавал мне вопросы очень спокойно и даже как бы доброжелательно. Снова потребовалось назвать мое имя, фамилию, возраст и прочее, и, хотя это мне порядком надоело, я подумал: в сущности, это естественно, ведь не шутка, если бы вдруг судили не того, кого надо. Потом председатель снова принялся рассказывать о том, что я сделал, и через каждые два слова переспрашивал меня:

– Так? Правильно?

И я каждый раз отвечал, как научил меня защитник:

– Да, господин председатель.

Это тянулось долго, потому что председатель рассказывал дотошно, со всеми подробностями. И все время репортеры записывали. Я чувствовал на себе взгляд самого молодого из них и той маленькой женщины-автомата. Все пассажиры с трамвайной скамейки смотрели на председателя. Он покашлял, полистал бумаги и, обмахиваясь соломенным веером, повернулся ко мне.

Он сказал, что должен сейчас затронуть вопросы, по видимости не имеющие отношения к моему делу, но, быть может, по существу весьма тесно с ним связанные. Я понял: сейчас он заговорит о маме – и мне стало тошно. Он спросил, почему я отдал маму в дом призрения. Я ответил – потому что у меня не хватало денег на уход за нею и на сиделку. Он спросил, не трудно ли мне было на это решиться, и я ответил – мы с мамой больше ничего друг от друга не ждали, да и ни от кого другого тоже, и оба мы привыкли к новому образу жизни. Тогда председатель сказал, что не стоит больше углубляться в эту тему, и спросил прокурора, нет ли у того ко мне вопросов.

Прокурор, не глядя на меня, через плечо заявил, что, с разрешения председателя, он желал бы узнать, для того ли я один вернулся к роднику, чтобы убить араба.

– Нет, – сказал я.

– Тогда почему же обвиняемый был вооружен и почему он вернулся именно на это место?

Я ответил – это вышло случайно. И прокурор процедил сквозь зубы:

– Пока достаточно.

Дальше пошла какая-то неразбериха, по крайней мере такое у меня было ощущение. А потом судьи пошептались и председатель объявил перерыв; на вечернем заседании, сказал он, будут выслушаны свидетели.

У меня не было времени подумать. Меня вывели из зала, посадили в арестантскую машину и отвезли в тюрьму, там я поел. И очень скоро, как раз когда я почувствовал, что устал, за мной опять пришли; все началось сызнова, я очутился в том же зале, на меня смотрели те же лица. Только стало куда жарче, и, точно по волшебству, в руках у всех присяжных, у прокурора, защитника и некоторых репортеров тоже появились соломенные веера. Молодой журналист и маленькая женщина сидели на прежних местах. Но они не обмахивались веерами и все так же молча смотрели на меня.

Я утирал пот со лба и плохо понимал, где я и что со мной, как вдруг услышал, что вызывают директора дома призрения. Его спросили, жаловалась ли мама на меня, и он сказал – да, но это дело обычное, все обитатели дома вечно жалуются на своих родных. Председатель попросил уточнить, упрекала ли меня мама в том, что я отдал ее в дом призрения, и директор опять сказал – да. Но на этот раз ничего больше не прибавил. На другой вопрос он ответил, что его удивило мое спокойствие в день похорон. Его спросили, что он подразумевает под словом «спокойствие». Директор опустил глаза и сказал, что я не хотел видеть маму в гробу, не пролил ни слезинки и не побыл у могилы, а уехал сразу же после погребения. И еще одно его удивило: служащий похоронного бюро сказал ему, что я не знал точно, сколько моей матери было лет. Минуту все молчали, потом председатель спросил директора, обо мне ли он все это говорил. Тот не понял вопроса, и председатель пояснил: «Так полагается по закону». Потом спросил прокурора, нет ли у того вопросов к свидетелю, и прокурор воскликнул:

– О нет, этого предостаточно!

Он заявил это с таким жаром, так победоносно посмотрел в мою сторону, что впервые за много лет я, как дурак, чуть не заплакал, вдруг ощутив, до чего все эти люди меня ненавидят.

Председатель спросил присяжных и защитника, нет ли у них вопросов, потом вызвал привратника. С ним, как и с остальными, повторилась та же церемония. Выйдя на свидетельское место, он посмотрел на меня и отвел глаза. Ему задавали вопросы, он отвечал. Он сказал,

что я не хотел увидеть маму, что я курил, спал и пил кофе с молоком. Тут я почувствовал, как в зале нарастает волнение, и впервые понял, что виноват. Привратника заставили снова рассказать про кофе с молоком и про сигарету. Прокурор посмотрел на меня с насмешкой. В эту минуту мой адвокат спросил привратника, не курил ли и он со мною. Но прокурор яростно запротестовал:

– Да кто же здесь подсудимый и что за приемы у защиты! Напрасно она пытается очернить свидетелей обвинения, ей не удастся умалить вес их сокрушительных показаний!

Председатель все-таки потребовал, чтобы привратник ответил на вопрос. Старик смутился.

– Верно, я тоже виноватый, – сказал он. – Да только этот господин сам предложил мне сигарету, так отказываться было неловко.

Под конец меня спросили, не хочу ли я что-нибудь прибавить.

– Ничего, – сказал я, – свидетель правильно говорит. Это правда, я предложил ему сигарету.

Привратник поглядел на меня удивленно и как будто даже с благодарностью. Помялся немного и сказал, что он сам предложил мне кофе. Защитник шумно обрадовался и заявил: присяжным следует это учесть. Но в ответ громом раскатился голос прокурора:

– Да, господа присяжные это учтут. И сделают вывод, что посторонний человек мог предложить чашку кофе, а вот сын у бездыханного тела той, которая дала ему жизнь, должен был от этого кофе отказаться.

Привратник вернулся на свое место.

Когда настала очередь старика Переза, приставу пришлось под руку довести его до трибуны. Тома Перез сказал, что он был больше знаком с моей матерью, а меня видел только один раз, в день похорон. Его спросили, что я делал в тот день, и он ответил:

– Понимаете, я был убит горем. Так что я ничего не видел. Я ничего не видел от горя. Потому как для меня это было тяжкое горе. Я даже лишился чувств. Так что я не мог видеть господина Мерсо.

Прокурор спросил – может быть, он по крайней мере видел, что я плакал? Перез ответил – нет, не видел. И прокурор в свой черед сказал:

– Господам присяжным следует это учесть.

Но тут мой защитник вспылил. И спросил Переза, по-моему, чересчур сердито, видел ли он, что я не плакал. Перез сказал:

– Нет.

В зале засмеялись. И защитник, откидывая широкий рукав, громогласно заявил:

– Вот он каков, этот процесс! Все правильно, и все вывернуто наизнанку!

У прокурора стало каменное лицо, он тыкал карандашом в свои бумаги.

Объявили перерыв на пять минут, и защитник успел сказать мне, что все идет хорошо, а после этого вызвали Селеста – свидетеля со стороны защиты. То есть с моей стороны. Селест поглядывал на меня и вертел в руках панаму. Он был в новом костюме, который надевал иногда по воскресеньям, когда мы с ним ходили на скачки. Но, видно, воротничок ему уже не под силу было надеть, и рубашка на шее разъехалась бы, если бы не медная запонка. Селеста спросили, столовался ли я у него, и он сказал – да, но, кроме того, он мой друг. Спросили, какого он обо мне мнения, и он ответил, что я – человек. А как это понимать? Всякий понимает, что это значит, заявил Селест. А замечал ли он, что я замкнутый и скрытный? В ответ Селест сказал только, что я не трепал языком попусту. Прокурор спросил, всегда ли я вовремя платил за стол. Селест засмеялся и сказал:

– Да это пустяки, мы с ним всегда сочтемся.

Его спросили, что он думает о моем преступлении.

Тогда он оперся обеими руками о барьер, и стало ясно: он заранее приготовился на это ответить. Он сказал:

– Я так считаю, это несчастье. Всякий знает, что такое несчастье. Ты перед ним беззащитен. Так вот, я считаю, это было несчастье.

Он хотел продолжать, но председатель сказал – очень хорошо, спасибо. Селест немного растерялся. Но все-таки заявил, что ему надо еще кое-что сказать. Его попросили говорить покороче. Он опять повторил, что со мной случилось несчастье. И председатель сказал:

– Да, понятно. Но мы для того здесь и находимся, чтобы судить такого рода несчастья. Благодарю вас.

Тогда, словно не зная, как быть дальше и чем еще помочь, Селест повернулся ко мне. И мне показалось, глаза у него заблестели и губы дрожат. Он будто спрашивал, что еще можно сделать. А я ничего не сказал и не подал ему никакого знака, но в первый раз за всю мою жизнь мне захотелось обнять мужчину. Председатель опять велел ему уйти со свидетельского места. И Селест пошел и сел среди публики. До самого конца заседания он сидел, наклонясь вперед, локти в колени, панама в руках, и внимательно слушал.

Вошла Мари. Она была в шляпке и все-таки красивая. Но мне она больше нравится с непокрытыми волосами. Я даже издали угадывал, как колышется ее грудь, видел знакомую, всегда немного припухшую нижнюю губу. Казалось, Мари очень волнуется. Ее сразу спросили, давно ли она меня знает. Она сказала – с тех пор, как служила у нас в конторе. Председатель поинтересовался, в каких она со мной отношениях. Мари сказала, что она моя приятельница. А на другой вопрос ответила: да, правда, она собиралась за меня замуж. Прокурор перелистал свои бумаги и вдруг спросил, когда началась наша связь. Мари назвала месяц и число. Прокурор сделал равнодушное лицо и заметил – если он не ошибается, как раз накануне похоронили мою мать. Потом усмехнулся и прибавил, что понимает смущение Мари и рад бы не развивать далее столь деликатную тему, но (тут голос его зазвучал резко) его долг – стать выше условностей. И он потребовал, чтобы Мари описала тот день, когда мы с ней сошлись. Мари не хотела говорить, но прокурор настаивал, и она рассказала, как мы с ней купались и ходили в кино, а потом пошли ко мне домой. Прокурор сказал, что после показаний Мари на следствии он уже поинтересовался, какая в тот день шла картина. Но пускай Мари сама скажет, что за фильм тогда показывали. Мари еле слышно назвала фильм с участием Фернанделя. Когда она умолкла, в зале стояла мертвая тишина. Тут прокурор поднялся, лицо у него было очень серьезное, и в голосе мне послышалось непритворное волнение, он ткнул в мою сторону пальцем и медленно проговорил:

– Господа присяжные заседатели, на другой день после смерти матери этот человек едет на пляж купаться, заводит любовницу и идет в кино на развеселую комедию. Больше мне нечего вам сказать.

Он сел, в зале по-прежнему было тихо. И вдруг Мари громко зарыдала и стала говорить – это все неправда, было совсем по-другому, и ее заставили говорить не то, что она думает, а она меня хорошо знает, и я ничего плохого не делал. Но председатель подал знак приставу, тот ее увел, и заседание продолжалось.

После этого никто уже толком не слушал Масона, который заявил, что я человек честный «и более того – порядочный». И никто не слушал толком старика Саламано, когда он начал рассказывать, как я был добр к его собаке, а на вопрос, как я относился к матери, ответил, что нам с мамой уже не о чем было говорить, поэтому я и отдал ее в богадельню.

– Надо понимать, – твердил Саламано, – надо понимать.

Но, видно, никто не понимал. Его увели.

Потом пришел черед последнего свидетеля – Раймона. Он чуть заметно кивнул мне и сейчас же заявил, что я невиновен. Но председатель сказал – от свидетеля требуются не выводы, а факты. Его дело отвечать на вопросы. В каких отношениях он состоял с убитым арабом?

Раймон воспользовался этим вопросом и сказал, что он-то и есть враг убитого, потому что дал пощечину его сестре – вот брат его и возненавидел. Но председатель спросил, а не имел ли убитый оснований ненавидеть и меня тоже. Раймон сказал – что я очутился на пляже, это чистая случайность. Тогда прокурор спросил, каким образом получилось, что письмо, из-за которого разыгралась вся трагедия, писал я. Раймон опять сказал, это – случайность. Прокурор возразил: в этой истории почему-то случай оказывается главным козлом отпущения. Интересно знать, вот когда Раймон дал своей любовнице пощечину, я не вмешался – это тоже случайно? И свидетелем в полицейский участок пошел случайно? И что своими показаниями я всячески выгораживал Раймона – тоже случайность? Под конец он спросил, на какие средства живет Раймон, тот ответил: «Я кладовщик», и тогда прокурор заявил присяжным: всем известно, что у этого свидетеля особое ремесло, он – сутенер. А я его сообщник и приятель. Итак, тут имел место трагический фарс самого низкого пошиба, и перед судом не заурядный преступник, но выродок без стыда и совести. Раймон хотел оправдываться, и мой защитник тоже запротестовал, но им предложено было помолчать, пока не договорит прокурор. Прокурор сказал:

– Мне почти нечего прибавить. – И спросил Раймона: – Подсудимый был вашим приятелем?

– Да, – сказал Раймон, – он мне друг.

Прокурор и мне задал тот же вопрос, я посмотрел на Раймона, он не отвел глаз. Я сказал:

– Да.

Тогда прокурор повернулся к присяжным и провозгласил:

– Вот человек, который назавтра после смерти родной матери предавался постыдному распутству, и этот же самый человек по ничтожному поводу, лишь бы покончить с грязной, безнравственной сварой, совершил убийство.

И сел. Но мой защитник вышел из терпения, воздел руки к небесам, так что откинулись широкие рукава мантии и стали видны складки крахмальной рубашки, и закричал:

– Да в чем же его наконец обвиняют – что он убил человека или что он похоронил мать?!

В зале поднялся смех. Но прокурор снова выпрямился, запахнулся в мантию и заявил – надо, мол, обладать наивностью почтенного защитника, чтобы не уловить, сколь глубокая, потрясающая, нерасторжимая связь существует между этими двумя разнородными фактами.

– Да! – закричал он с жаром. – Я обвиняю этого человека в том, что на похоронах матери он в сердце своем был уже преступен.

Его слова, видно, произвели большое впечатление на публику. Защитник пожал плечами и утер пот со лба. Но он, кажется, и сам растерялся, и я понял, что дело принимает для меня плохой оборот.

После этого все пошло очень быстро. Заседание закрылось. Когда меня выводили из здания суда и усаживали в тюремную машину, я на минуту вдохнул тепло летнего вечера, почувствовал его запахи и краски. И потом, в темной камере на колесах, сквозь усталость вновь услыхал один за другим знакомые шумы города, который я всегда любил, звуки того часа, когда мне бывало хорошо и спокойно. Дневной гомон спадал, ясно слышались крики газетчиков, затихающий писк сонных птиц в сквере, зазывные вопли торговцев сандвичами, жалобный стон трамвая на крутом повороте и смутный гул, будто с неба льющийся перед тем, как на гавань опрокинется ночь, – по этим приметам я и вслепую узнавал дорогу, которую знал наизусть, когда был свободен. Да, в этот самый час мне бывало прежде хорошо и спокойно. Я знал: впереди – сон без тревог и без сновидений. Но что-то переменилось, и впереди у меня не только предвкушение завтрашнего дня, а еще и одиночная камера. Словно знакомые дорожки, прочерченные в летнем небе, могут привести не только к безмятежным снам, но и за тюремную решетку.

IV

Послушать, что про тебя говорят, интересно, даже когда сидишь на скамье подсудимых. В своих речах прокурор и защитник много рассуждали обо мне – и, пожалуй, больше обо мне самом, чем о моем преступлении. Разница между их речами была не так уж велика. Защитник воздевал руки к небесам и уверял, что я виновен, но заслуживаю снисхождения. Прокурор размахивал руками и гремел, что я виновен и не заслуживаю ни малейшего снисхождения. Только одно меня немного смущало. Как ни поглощен я был своими мыслями, иногда мне хотелось вставить слово, и тогда защитник говорил:

– Молчите! Для вас это будет лучше.

Получалось как-то так, что мое дело разбирают помимо меня. Все происходило без моего участия. Решалась моя судьба – и никто не спрашивал, что я об этом думаю. Иногда мне хотелось прервать их всех и сказать: «Да кто же в конце концов обвиняемый? Это не шутка – когда тебя обвиняют. Мне тоже есть что сказать!» Но если вдуматься, мне нечего было сказать. Притом, хотя, пожалуй, и это любопытное ощущение, когда люди заняты твоей особой, – оно быстро приедается. Скажем, прокурора я очень скоро устал слушать. Лишь изредка я улавливал какой-нибудь обрывок его речи, иная тирада, резкий жест поражали меня или казались стоящими внимания.

Насколько я понял, суть его мысли заключалась в том, что я совершил убийство с заранее обдуманным намерением. По крайней мере он старался это доказать. Он сам так говорил:

– Я это докажу, господа присяжные заседатели, и докажу двумя способами: сначала при ослепительном свете фактов, а затем при том зловещем свете, в котором предстает эта преступная душа, когда исследуешь ее тайные движения.

И он опять перечислил факты – все, что произошло после смерти мамы. Припомнил, какой я был бесчувственный, как не мог сказать, сколько маме было лет, а на другой день купался с женщиной, смотрел в кино комедию и наконец привел Мари к себе домой. Тут я не сразу его понял, потому что он все говорил «любовница», а для меня она – Мари. Потом он перешел к истории с Раймоном. Надо сказать, в его представлении все складывалось в довольно стройную систему. Все, что он говорил, звучало правдоподобно. Я написал письмо по сговору с Раймоном, чтобы заманить его любовницу в ловушку и предать ее в безжалостные руки этого субъекта «сомнительной нравственности». На пляже я первым затеял драку с противниками Раймона. Его ранили. Я взял у него револьвер. И вернулся, чтобы пустить оружие в ход. Я затем и шел, чтобы убить того араба. После первого выстрела я выждал. А потом, «чтобы убедиться, что дело сделано на совесть», выпустил в него еще четыре пули – не спеша, уверенно, по какому-то продуманному плану.

– Так вот, господа, – продолжал прокурор, – я восстановил перед вами ход событий, которые привели этого человека к хладнокровному, предумышленному убийству. Повторяю и настаиваю: тут был умысел. Это не заурядное убийство под влиянием аффекта, не внезапный порыв, для которого вы могли бы найти смягчающие обстоятельства. Перед вами, господа, человек вполне разумный. Вы его слышали, не так ли? Он умеет отвечать на вопросы. Он знает цену словам. И уж никак нельзя сказать, что он действовал, не отдавая себе отчета в своих поступках.

Итак, меня считали разумным. Но я не мог понять, почему же то, что в обыкновенном человеке считается достоинством, оборачивается сокрушительной уликой против обвиняемого. Это меня поразило, и я больше не слушал прокурора, пока до меня не донеслись такие слова:

– Раскаивается ли он по крайней мере? Ничуть не бывало! За все время, пока шло следствие, этот человек ни разу не обнаружил, что хоть сколько-нибудь удручен своим гнусным злодеянием.

Тут он повернулся ко мне и, показывая на меня пальцем, разразился новыми нападками, а почему – право, толком нельзя было понять. Конечно, я не мог не признать, что он отчасти прав. Да, я не слишком жалел о сделанном. Но странно, что он обрушивался на меня с такой яростью. Я охотно попробовал бы ему объяснить, вполне доброжелательно и даже дружески, что никогда я не умел по-настоящему о чем-либо сожалеть. Меня всегда занимает то, что впереди, сегодняшний и завтрашний день. Но, разумеется, когда тебя посадили на скамью подсудимых, уже ни с кем нельзя говорить в таком тоне. Я больше не имел права разговаривать подружески, доброжелательно. И я опять постарался прислушаться, потому что прокурор стал рассуждать о моей душе.

Он говорил, что пристально в нее всмотрелся – и ровно ничего не нашел, господа присяжные заседатели! Поистине, говорил он, у меня вообще нет души, во мне нет ничего человеческого и нравственные принципы, ограждающие человеческое сердце от порока, мне недоступны.

– Без сомнения, – прибавил прокурор, – мы не должны вменять это ему в вину. Нельзя его упрекать в отсутствии того, что он попросту не мог приобрести. Но здесь, в суде, добродетель пассивная – терпимость и снисходительность – должна уступить место добродетели более трудной, но и более высокой, а именно – справедливости. Ибо пустыня, которая открывается нам в сердце этого человека, грозит разверзнуться пропастью и поглотить все, на чем зиждется наше общество.

И тут он заговорил о моем отношении к маме. Он повторил то, что уже высказывал раньше. Но теперь он стал куда многословнее, чем когда говорил о моем преступлении, – он распространялся так долго, что под конец я уже ничего не чувствовал, кроме жары. Во всяком случае, до той минуты, когда прокурор остановился, немного помолчал и вновь заговорил очень тихо и очень проникновенно:

– Господа присяжные, завтра этот же суд будет рассматривать дело о гнуснейшем из злодеяний – убийстве родного отца.

Подобное злодейство, сказал он, невозможно вообразить. Он осмеливается выразить надежду, что людское правосудие сурово покарает преступника. Но он не побоится сказать, продолжал он, что даже это чудовищное преступление едва ли ужасает его сильнее, нежели мое бессердечие. Ибо, как он полагает, тот, кто убил родную мать душевной черствостью, столь же бесповоротно отторгает себя от человечества, как и тот, кто поднял на родителя преступную руку. Во всяком случае, первый открывает путь деяниям второго, в известном смысле предвещает их и узаконивает.

– Я убежден, господа, – продолжал прокурор, возвысив голос, – вы не сочтете мою мысль слишком дерзостной, если я скажу, что человек, сидящий сейчас на скамье подсудимых, виновен также и в убийстве, которое вы будете судить завтра. И соразмерно этой вине его надлежит покарать.

Прокурор отер лоснящееся от пота лицо. И в заключение сказал, что долг его тягостен, но он исполнит этот долг с твердостью. Он заявил, что мне нет места в обществе, чьих важнейших заповедей я не признаю, и я не вправе ждать милосердия, раз мне чужды простейшие движения человеческого сердца.

– Я требую от вас головы преступника, – сказал он, – и требую с чистой совестью. Немалый срок я тружусь на своем поприще, и мне уже случалось требовать смертной казни, но никогда еще я в такой мере не ощущал, что тяжесть этого долга возмещена, уравновешена, озарена сознанием властной и священной необходимости, а также и ужасом, который я испытываю при виде чудовища, в чьих чертах не могу прочесть ничего человеческого.

Когда прокурор сел на свое место, настала долгая минута молчания. Что до меня, я был оглушен жарой и удивлением. Председатель, покашляв, очень тихо спросил, не желаю ли я что-нибудь прибавить. Я поднялся – говорить мне хотелось, – и я сказал (правда, немного бессвязно), что вовсе не собирался убивать того араба. Председатель ответил, что это голословное заявление, до сих пор он плохо понимал, на что опирается моя защита, и прежде чем выслушать моего адвоката, рад был бы от меня самого узнать точнее, какими побуждениями я был движим. Понимая, что это звучит нелепо, я наскоро и довольно сбивчиво объяснил: все вышло из-за солнца. В зале раздались смешки. Мой адвокат пожал плечами, и сейчас же ему дали слово. Но он заявил, что уже поздно, а для его речи понадобится не один час, и попросил отложить ее до вечернего заседания. Суд согласился.

После перерыва огромные вентиляторы все так же перемешивали застоявшийся воздух в зале суда и так же равномерно колыхались маленькие пестрые веера присяжных. Мне казалось, речи защитника не будет конца. В какую-то минуту я все-таки прислушался, потому что он сказал:

– Да, это правда, я убил.

И продолжал в том же духе – речь шла обо мне, а он всякий раз говорил «я». Меня это очень удивило. Я наклонился к жандарму и спросил, почему так. Он велел мне замолчать и через минуту прибавил:

– Адвокаты всегда так говорят.

Мне подумалось, таким образом меня еще больше отстраняют от дела, сводят к нулю и в некотором смысле подменяют. Но, видно, я был уже очень далек от всего, что происходило в этом зале. Да и защитник казался мне смешным. Он наспех упомянул, что я действовал по наущению и подстрекательству, а потом тоже стал рассуждать о моей душе. Но, по-моему, прокурор говорил куда талантливей.

– Я тоже всмотрелся в эту душу, – сказал защитник, – но в отличие от многоуважаемого представителя прокуратуры я там кое-что нашел и могу сказать, что читал в этой душе, как в открытой книге.

Он прочел, что я честный человек, прилежный и неутомимый труженик, верный интересам фирмы, в которой служил, любимый окружающими и отзывчивый к чужому горю. По его мнению, я был примерным сыном и оставался опорой матери до последней возможности, а в дом призрения отдал ее в надежде, что там она обретет покой и уют, какими я при своих скудных средствах не мог ее окружить.

– Меня удивляет, господа присяжные заседатели, – прибавил мой защитник, – что вокруг этого приюта для престарелых поднят такой шум. Ибо, если нужно доказывать полезность и великодушие подобных учреждений, напомню, что их содержит само государство.

Он только не сказал о похоронах, и я почувствовал, что это пробел в его речи. Но от всех этих длинных фраз, от нескончаемых часов, когда толковали о моей душе, все словно затопило мутной водой, и у меня стала кружиться голова.

Помню только, под конец, пока мой защитник все еще что-то говорил, откуда-то с улицы, через все коридоры и залы суда, до меня долетел звук рожка – это проходил со своей тележкой мороженщик. И нахлынули воспоминания о той жизни, которая больше мне не принадлежала и которая прежде приносила мне самые скудные и самые верные радости: запахи лета, любимые улицы, краски вечернего неба, смех Мари, ее платье. Мне стало тошно от бессмысленного, бесполезного торчанья здесь, в этом зале, и хотелось только одного – поскорей бы все кончилось, поскорей бы вернуться в камеру и уснуть. Я едва слышал, как защитник в заключение воскликнул, что присяжные, конечно же, не захотят послать на смерть честного труженика, которого погубило кратковременное помрачение рассудка! Пусть примут они во внимание все смягчающие обстоятельства, ведь самой тяжкой карой для меня навек останутся угрызения

совести. Суд удалился на совещание, а защитник, точно выбившись из сил, опустился на свое место. Но тут коллеги обступили его и начали жать ему руку.

– Великолепно, мой дорогой, – говорили ему.

А один даже призвал меня в свидетели.

– Каково? – сказал он мне.

Я согласился, что речь была великолепная, но не слишком искренне, потому что очень устал.

Между тем на улице день угасал, и в зале тоже стало не так жарко. По иным шумам, долетавшим снаружи, я догадывался, что вечер настает мягкий, прохладный. Все мы сидели и ждали. Но то, чего мы ждали все вместе, касалось одного меня. Я опять посмотрел в зал. Все осталось точно таким же, как в первый день. Я встретил взгляды репортера в сером пиджаке и женщины-автомата. И подумал, что за все время процесса ни разу не поискал глазами Мари. Не потому, что забыл о ней, а просто был слишком занят. Я увидел ее между Селестом и Раймоном. Она чуть кивнула мне, как будто говорила – наконец-то! – и улыбнулась, хотя была, видно, встревожена. Но у меня внутри все закаменело, и я даже не сумел улыбнуться в ответ.

Вернулись судьи. Присяжным наскоро зачитали ряд вопросов. До меня донеслось: «виновен в убийстве…», «подстрекательство…», «смягчающие обстоятельства…» Присяжные вышли, а меня увели в каморку, где я и раньше ожидал заседания. Туда пришел и защитник. Он болтал без умолку и говорил со мной так доверительно и дружелюбно, как никогда прежде. Он полагал, что все сойдет хорошо и я отделаюсь несколькими годами тюрьмы или каторги. Я спросил, есть ли надежда на пересмотр дела, если приговор будет неблагоприятный. Он сказал – нет. Его тактика заключалась в том, чтобы не подсказывать выводов: это лишь ожесточило бы присяжных. Приговор по такому делу, пояснил он, без серьезных оснований никто пересматривать не станет. Это мне показалось совершенно очевидным, и я с ним согласился. Если рассуждать трезво, это вполне разумно. Иначе развелось бы слишком много ненужной писанины.

– Во всяком случае, – сказал защитник, – можно подать прошение о помиловании. Но убежден, исход будет благоприятный.

Мы ждали очень долго, наверно, три четверти часа. Потом зазвенел звонок. Защитник направился к двери.

– Сейчас старшина присяжных зачитывает ответы на вопросы, – сказал он мне, выходя. – Вас введут только тогда, когда объявят приговор.

Где-то захлопали двери. По лестницам – не знаю, далеко или рядом, – бежали люди. Потом в зале послышался глухой голос, он что-то читал. Опять прозвенел звонок, меня повели на скамью подсудимых, и навстречу из зала хлынула тишина – странная, небывалая тишина, и еще меня поразило, что молодой репортер отвел глаза. В сторону Мари я не посмотрел. Я не успел, потому что председатель в каких-то высокопарных выражениях сказал мне, что именем французского народа мне на площади прилюдно отрубят голову. И мне показалось: на всех лицах я читаю одно и то же чувство. Да, конечно, теперь все смотрели на меня с уважением. Жандармы стали очень милы. Адвокат взял меня за руку. Я ни о чем больше не думал. Но председатель суда спросил, не хочу ли я еще что-нибудь прибавить. Я немного подумал. И сказал:

– Нет.

И тогда меня увели.

V

Уже третий раз я отказался принять тюремного священника. Мне нечего ему сказать, и нет охоты с ним говорить, скоро я и так его увижу. А сейчас меня занимает только одно: нельзя

ли ускользнуть от этой машины, вырваться из неизбежности? Меня перевели в другую камеру. Отсюда, когда лежишь, видно небо – и ничего, кроме неба. Все дни напролет я смотрю, как на лице его понемногу блекнут краски, превращая день в ночь. Ложусь, закидываю руки за голову и жду. Уж не знаю, сколько раз я себя спрашивал, бывало ли, чтобы осужденные на смерть ускользали от беспощадного механизма, исчезали до казни, прорывались сквозь цепь охраны. Напрасно я раньше не слушал с должным вниманием рассказов о смертной казни. Такими вещами следует интересоваться. Ведь никогда не знаешь, что может случиться. Как и все, я читал газетные отчеты. Но, уж наверно, есть и специальные труды, и я ни разу не полюбопытствовал в них заглянуть. Быть может, там нашлись бы и рассказы о побегах. Может, я узнал бы, что хоть раз колесо остановилось на полпути, что хоть однажды случай и удача изменили что-то в неотвратимом ходе событий. Хоть однажды! В каком-то смысле, думаю, мне и этого было бы довольно. Сердце само довершило бы остальное. Газеты часто пишут: мол, общество предъявляет преступнику счет. И по счету, мол, надо платить. Но это ничего не говорит воображению. Важно другое – возможность ускользнуть, вырваться из рамок неумолимого обряда, безрассудный побег, открывающий столько надежд. В сущности, надеяться можно только на то, что тебя перехватят на перекрестке и забьют насмерть либо подстрелят на бегу. Но, если трезво все взвесить, мне такая роскошь недоступна, все обращается против меня, от этой машины не уйдешь.

При всем желании я не мог примириться с этой наглой очевидностью. Потому что был какой-то нелепый разрыв между приговором, который ее обусловил, и неотвратимым ее приближением с той минуты, когда приговор огласили. Его зачитали в восемь часов вечера, но могли зачитать и в пять, он мог быть другим, его вынесли люди, которые, как и все на свете, меняют белье, он провозглашен именем чего-то весьма расплывчатого – именем французского народа (а почему не китайского или немецкого?), – все это, казалось мне, делает приговор каким-то несерьезным. И однако я не мог не признать, что с той минуты, как он был оглашен, его действие стало таким же ощутимым и несомненным, как стена, к которой я сейчас прижимался всем телом.

В эти часы я вспоминал одну историю, которую мама рассказывала мне об отце. Отца я не знал. Об этом человеке мне известно, пожалуй, только то, что рассказала тогда мама: однажды он пошел посмотреть на казнь убийцы. Ему тошно было даже думать о том, чтобы пойти туда. И все-таки он пошел, а когда вернулся, его чуть ли не все утро рвало. После этого рассказа мне как-то неприятно было думать об отце. А теперь я его понимаю, это так естественно. Как же я раньше не соображал, – нет на свете ничего важнее смертной казни, в известном смысле только она и заслуживает внимания! Если я когда-нибудь выйду из тюрьмы, всегда буду смотреть, как казнят. Впрочем, напрасно я об этом подумал. Потому что при одной мысли – вот я ранним утром окажусь за цепью охраны, вроде бы по другую сторону, буду просто зрителем, который придет, посмотрит, а потом его может выворачивать наизнанку, – при одной этой мысли к сердцу отравленной волной прихлынула радость. Нет, это неразумно. Напрасно я позволил себе такие предположения, потому что меня тотчас обдало ледяным холодом, и я скорчился под одеялом. Я стучал зубами и никак не мог взять себя в руки.

Но, понятно, не всегда удается сохранить благоразумие. Иногда, например, я обдумывал новые законы. Я перестраивал систему наказаний. По-моему, самое важное – оставить осужденному хоть какую-то надежду. Пусть повезет одному из тысячи – этого довольно. Можно, скажем, составить некое снадобье, убивающее пациента (про себя я так и выражался: пациент) в девяти случаях из десяти. Одно условие – пусть пациент об этом знает. Потому что по зрелом размышлении, спокойно все обдумав и взвесив, я понял, чем плоха гильотина: она не оставляет ни тени надежды. Смерть пациента решена с первой минуты окончательно и бесповоротно. Тут все твердо, незыблемо, установлено раз и навсегда. Неотвратимо. Если каким-то чудом нож заело, все начнут сначала. А потому – досадная нелепость! – осужденный сам вынужден

желать, чтобы машина работала безотказно. Я сказал – это недостаток. В каком-то смысле так оно и есть. Но в другом смысле нельзя не признать, что тут-то и кроется секрет отлично налаженного дела. Осужденный волей-неволей оказывается заодно с теми, кто его казнит. В его же интересах, чтобы все шло без запинки.

И еще я не мог не признать, что прежде у меня были обо всем этом ложные понятия. Я долго думал, не знаю почему, что гильотина стоит на эшафоте и к ней надо подниматься по ступенькам. Наверно, это из-за революции 1789 года, то есть так меня учили в школе и так рисуют на картинках. Но однажды утром я вспомнил фотографию, которую поместили газеты в связи с одной нашумевшей казнью. Никакого помоста нет, гильотина стоит просто-напросто на земле. И она совсем не такая широкая, как мне представлялось. Забавно, что я не знал этого раньше. Механизм на снимке поражал своей законченностью, словно блестящий, безукоризненно точный инструмент. Чего не знаешь, то всегда преувеличиваешь. А теперь, напротив, я убеждаюсь, что все очень просто: машина стоит на одной плоскости с идущим к ней человеком. К ней подходишь, как к знакомому на улице. В каком-то смысле это тоже досадно. Взойти на эшафот, подняться к небу – тут есть за что ухватиться воображению. А здесь все подавляет некая механика – убивают тихо и скромно, чуть пристыженно и очень аккуратно.

Еще две неотвязные мысли преследовали меня: рассвет и просьба о помиловании. Однако я сдерживал себя и старался про это не думать. Растягивался на койке, смотрел в небо и заставлял себя сосредоточиться. Небо стало зеленое – значит, уже вечереет. Я сделал над собой еще усилие: надо думать о чем-то другом. Прислушивался к своему сердцу. Никак не удавалось представить себе, что этот стук, неразлучный со мною с незапамятных времен, вдруг оборвется. Я никогда не отличался живым воображением. И все же пробовал вообразить такую секунду, когда биение сердца уже не будет отдаваться в висках. Но зря я старался. Опять и опять в мыслях моих рассвет или помилование. Под конец я решил – нет смысла себя принуждать.

Они приходят на рассвете, это я знал. И все ночи напролет только тем и занимался, что ждал рассвета. Не люблю, чтобы меня заставали врасплох. Уж если что-то должно случиться, лучше я буду к этому готов. Так что под конец я только урывками спал днем, а ночами терпеливо ждал, пока в небе, как в окне, затеплится свет. Трудней всего давался тот смутный час, когда, как я знал, они обычно принимаются за работу. С полуночи я настораживался и ждал. Никогда прежде мое ухо не различало столько звуков – самых слабых, еле уловимых. Впрочем, мне, нужно сказать, везло – за все время я ни разу не услыхал шагов. Мама часто говорила, что человек никогда не бывает совершенно несчастен. В тюрьме, когда небо наливалось краской и в камеру проскальзывал свет нового дня, я понял – она была права. Ведь шаги могли бы и прозвучать, и тогда, пожалуй, у меня разорвалось бы сердце. Но хотя при малейшем шорохе меня кидало к двери и я прижимался ухом к толстым доскам и ждал долго, исступленно и под конец пугался своего же дыхания, такое оно было громкое, хриплое, точно у загнанного пса, – а все-таки вот и опять сердце не разорвалось, и я выиграл еще двадцать четыре часа.

А весь день на уме просьба о помиловании. Наверно, из этой мысли я извлек все, что только мог. Я ничего не упускал из виду, все до мелочей принимал в расчет, и мои рассуждения приносили отличные плоды. Для начала я всегда предполагал самое худшее: просьба о помиловании отвергнута. Так что же? Значит, я умру. Раньше, чем другие, разумеется. Но ведь всякий знает – жить не стоит труда. В сущности, я прекрасно понимал, что умереть в тридцать лет или в семьдесят – невелика разница, все равно другие мужчины и женщины останутся жить после тебя, и так будет еще тысячи лет. Ясно и понятно, чего проще. Теперь или через двадцать лет – все равно я умру. Сейчас при этом рассуждении меня смущало одно: как подумаю, что можно бы прожить еще двадцать лет, внутри все так и вскинется. Оставалось глушить это чувство, внушать себе, что те же мысли одолевали бы меня и через двадцать лет, когда я все равно очутился бы в таком же положении. Ведь ясно и понятно: смерти не миновать, а когда и как

умрешь – что за важность. Значит (трудней всего было не упустить нить рассуждений, которая вела к этому «значит»), – значит, надо примириться с тем, что мою просьбу могут отвергнуть.

Вот тут, только тут я, так сказать, получал право и в какой-то мере позволял себе допустить другую возможность: меня помилуют. Досадно одно: приходилось обуздывать неистовый порыв крови и плоти, сумасбродную ослепляющую радость. Надо было старательно заглушать этот внутренний крик трезвыми рассуждениями. Надо было освоиться и с этой возможностью, чтобы вернее покориться той, первой. Когда мне это удавалось, я выигрывал час спокойствия. А это все же не пустяк.

Именно в такую минуту я еще раз отказался принять священника. Я лежал на койке и по тому, как бледнело летнее небо, угадывал приближение вечера. Только что я отклонил свою просьбу о помиловании и чувствовал, как спокойно течет кровь по жилам. Мне незачем было видеть священника. Впервые за много дней я подумал о Мари. Она уже давным-давно мне не писала. В тот вечер, поразмыслив, я сказал себе: может быть, ей надоело быть любовницей смертника. А могло случиться и другое – она заболела и умерла. Очень может быть. Откуда мне знать, что произошло, – ведь наши тела теперь врозь, а больше ничего нас не связывало и не напоминало друг о друге. Впрочем, если бы Мари умерла, я вспоминал бы о ней спокойно. Мертвая она бы меня ничуть не занимала. Это вполне естественно, и обо мне тоже, разумеется, забудут, как только я умру. Людям больше не будет до меня дела. Даже не могу сказать, чтобы это меня угнетало. В сущности, нет такой мысли, к которой человеку нельзя привыкнуть.

Вот тут-то и вошел священник. При виде его я слегка вздрогнул. Он это заметил и сказал – не надо бояться. Я сказал – обычно он приходит в другой час. Он ответил, что пришел просто по-дружески меня навестить, просьба о помиловании тут ни при чем, он про нее ничего не знает. Он присел на мою койку и предложил мне сесть рядом. Я отказался. Впрочем, лицо у него было очень доброе.

Некоторое время он сидел, понурясь, облокотясь на колени, и разглядывал свои руки. Они были тонкие и мускулистые, точно два проворных зверька. Он медленно потер их. И застыл с опущенной головой, и не шевелился так долго, что я о нем чуть не забыл.

Но вдруг он вскинул голову и посмотрел на меня в упор:

– Почему вы всегда отказываетесь меня видеть?

Я ответил, что не верю в Бога. Он спросил, вполне ли я в этом уверен, и я сказал – мне незачем себя проверять, ведь это совершенно не важно. Тогда он откинулся назад, прислонился к стене, опустив руки на колени. И словно про себя заметил, что иногда людям кажется, будто они в чем-то уверены, а на самом деле это не так. Я промолчал. Он посмотрел на меня и спросил:

– А как по-вашему?

Я сказал – всяко бывает. Может, я и не знаю наверняка, что меня по-настоящему занимает. Но уж что мне совсем неинтересно – это я знаю твердо. Так вот, то, о чем он говорит, меня ничуть не интересует.

Он отвел глаза и, не меняя позы, спросил – должно быть, я так говорю от крайнего отчаяния? Я объяснил, что вовсе не отчаиваюсь. Только боюсь – а это вполне естественно.

– Господь вам поможет, – заметил он. – В вашем положении все, кого я знал, обращались к Господу.

Я сказал – что ж, это их право. Кроме того, очевидно, у них хватало на это времени. Ну а я не хочу, чтобы мне помогали, и у меня нет времени заниматься тем, что мне неинтересно.

Тут он было с досадой всплеснул руками, но сдержался и начал расправлять складки сутаны. Потом опять заговорил, называя меня «друг мой». Он, мол, так со мной говорит не потому, что я осужден на смерть, – ведь, в сущности, все мы осуждены на смерть. Я перебил его и сказал: это не одно и то же и, уж во всяком случае, это не утешает.

– Да, конечно, – согласился он. – Но если вы не умрете в скором времени, так умрете позже. И тогда перед вами встанет тот же самый вопрос. Как встретите вы это страшное испытание?

Я ответил:

– Точно так же, как встречаю сейчас.

Он поднялся и посмотрел мне прямо в глаза. Эта игра мне знакома. Я часто забавлялся ею с Эмманюэлем и Селестом, и, как правило, первыми глаза отводили они. Я сразу же понял, что и священник тоже хорошо знает эту игру: его взгляд не дрогнул. И голос тоже не дрогнул, когда он сказал:

– Неужели у вас нет никакой надежды? Неужели вы живете с мыслью, что умрете совершенно и ничего от вас не останется?

– Да, – ответил я.

Он опустил голову и опять сел. И сказал, что ему меня жаль. Ему кажется – такое невозможно вынести человеку. А я чувствовал одно: он начинает мне надоедать. Я тоже отвернулся и подошел к окошку. И прислонился плечом к стене. Краем уха я слышал, что он опять задает мне вопросы. В голосе его звучала тревога и настойчивость. Я понял, что он взволнован, и стал слушать внимательней.

Он уверен, говорил он, что мою просьбу о помиловании удовлетворят, но на мне тяготеет грех – и от этого груза надо освободиться. У него выходило, что людской суд ничего не значит, важен только суд Божий. Я сказал: меня-то осудили люди. Он возразил: однако этим не омыт мой грех. Я сказал: а мне неизвестно, что такое грех, мне объявили только, что я виновен. Я виновен и расплачиваюсь по счету, а больше с меня нечего спрашивать. Он снова поднялся, и я подумал – когда хочешь шевельнуться, в этой тесной камере нет выбора, только и можно встать или сесть.

Я смотрел в пол. Он шагнул ко мне и остановился, как будто не смел подойти ближе. Через решетку он посмотрел на небо.

– Вы заблуждаетесь, сын мой, – сказал он. – С вас могли бы спросить больше. А возможно, и спросят.

– Что спросят?

– Чтобы вы увидели.

– А что надо видеть?

Священник огляделся по сторонам, и голос его вдруг показался мне очень усталым:

– Я знаю, здесь каждый камень насквозь пропитан страданием. Не могу без скорби смотреть на эти стены. Но в глубине души знаю: самые несчастные из вас порой видели, как сквозь эти мрачные стены проступал Божественный лик. Вот его-то вы и должны увидеть.

Я немного оживился. И сказал, что уже много месяцев смотрю на эти стены. Я их изучил, как ни одну стену и ни одного человека на свете. Может быть, когда-то я и старался увидеть на них лицо. Но в том лице горят краски солнца и пламя желания – это лицо Мари. И я искал его понапрасну. А теперь с этим покончено. Во всяком случае, ничего я не видел и ничего сквозь эти камни не проступает.

Кажется, он посмотрел на меня с грустью. Теперь я прислонился к стене спиной, свет падал мне на лоб. Священник сказал несколько слов, которых я не расслышал, потом торопливо спросил: можно ему меня обнять?

– Нет, – сказал я.

Он отвернулся, шагнул к стене и провел по ней ладонью.

– Неужели вам так дорого все земное? – тихо спросил он.

Я ничего не ответил.

Он довольно долго стоял отвернувшись. Меня это злило, он был мне в тягость. Я уже хотел сказать – пускай уйдет и оставит меня в покое, как вдруг он обернулся ко мне и закричал с жаром:

– Нет, я не могу вам поверить! Я убежден, вам тоже случалось желать иной жизни.

Я ответил: да, конечно, но это бессмысленно – все равно как если хочешь разбогатеть, или плавать быстрей всех, или чтобы у тебя рот стал красивый. Совершенно одно и то же – пустые мечты. Тут он меня перебил и спросил: а как я себе представляю ту, иную жизнь? И я закричал:

– Так, чтобы вспоминать вот эту жизнь, земную!

И сейчас же прибавил – хватит с меня, надоело! Он хотел еще говорить о Боге, но я подступил к нему ближе и постарался в последний раз объяснить, что у меня осталось слишком мало времени. И я не желаю тратить его на Бога. Он попробовал переменить разговор и спросил, почему я называю его «господин священник», а не «отец мой». Я вспылил и ответил, что он мне не отец: он заодно с теми, кто против меня.

– Нет, сын мой, – сказал он и положил руку мне на плечо. – Я с вами. Но вы не в силах это понять, потому что сердце ваше слепо. Я буду за вас молиться.

Тут, не знаю почему, во мне что-то прорвалось. Я стал орать во все горло и выругал его и сказал – нечего за меня молиться. Я схватил его за воротник сутаны. От гнева и радости меня била дрожь, и я излил на него все, что скопилось в душе, до самого дна. Он с виду такой уверенный и ни в чем не сомневается? Так вот, вся его уверенность не стоит единого женского волоска. Напрасно он уверен, что жив, ведь он живет как мертвец. Вот и я с виду нищий и обездоленный. Но я уверен в себе и во всем, куда уверенней, чем он, я уверен, что жив и что скоро умру. Да, кроме этой уверенности, у меня ничего нет. Но по крайней мере этой истины у меня никто не отнимет. Как и меня у нее не отнять. Я прав и теперь и прежде, всегда был прав. Я жил вот так, а мог бы жить по-другому. Делал то и не делал этого. Поступил так, а не эдак. Ну и что? Как бы там ни было, а выходит – я всегда ждал вот этой минуты, этого рассвета, тут-то и подтвердится моя правота. Все – все равно, все не имеет значения, и я прекрасно знаю почему. И он тоже знает. На протяжении всей моей нелепой жизни, через еще не наступившие годы, из глубины будущего неслось мне навстречу сумрачное дуновение и равняло все на своем пути, и от этого все, что мне сулили и навязывали, становилось столь же призрачным, как те годы, что я прожил на самом деле. Что мне смерть других людей, любовь матери, что мне его Бог, другие пути, которые можно бы предпочесть в жизни, другие судьбы, которые можно избрать, – ведь мне предназначена одна-единственная судьба, мне и еще миллиардам избранных, всем, кто, как и он, называют себя моими братьями. Понятно ли ему, понятно ли наконец? Все люди на свете – избранные. Других не существует. Рано или поздно всех осудят и приговорят. И его тоже. Не все ли равно, если обвиненного в убийстве казнят за то, что он не плакал на похоронах матери? Псу старика Саламано цена не больше и не меньше, чем его жене. Маленькая женщина-автомат столь же виновна, как парижанка, на которой женился Масон, и как Мари, которая хотела стать моей женой. Не все ли равно, если моим приятелем был и Раймон, а не только Селест, который куда лучше Раймона? И не все ли равно, если Мари сегодня подставит губы какому-нибудь другому Мерсо? Так понимает ли он, приговоренный, что из глубины моего будущего… Я выкрикивал все это и задыхался от крика. Но священника уже вырвали у меня из рук, и надзиратели накинулись на меня с угрозами. Однако он их успокоил и минуту молча смотрел на меня. В глазах у него стояли слезы. Он повернулся и исчез.

Как только он вышел, я успокоился. Почувствовал, что очень устал, и бросился на койку. Наверно, я уснул, потому что, когда очнулся, в лицо мне смотрели звезды. До меня доносились звуки с полей. Прохладный запах ночи, земли и моря освежал виски. Чудесное спокойствие спящего лета вливалось в меня, как прибой. Вдруг где-то на краю ночи взвыли пароходные гудки. Они возвещали отплытия и разлуки миру, который стал мне навсегда безразличен. В

первый раз за долгий-долгий срок я подумал о маме. Кажется, я понял, почему в конце жизни она нашла себе «жениха», почему затеяла эту игру, будто все начинается сначала. И там, вокруг дома призрения, где угасали человеческие жизни, там тоже вечер был как раздумчивое затишье. Перед самой смертью мама, должно быть, почувствовала себя освобожденной, готовой все пережить заново. Никто, никто не имел права ее оплакивать. Вот и я – я тоже готов все пережить заново. Как будто неистовый порыв гнева очистил меня от боли, избавил от надежды, и перед этой ночью, полной загадочных знаков и звезд, я впервые раскрываюсь навстречу тихому равнодушию мира. Он так на меня похож, он мне как брат, и от этого я чувствую – я был счастлив, я счастлив и сейчас. Чтобы все завершилось, чтобы не было мне так одиноко, остается только пожелать, чтобы в день моей казни собралось побольше зрителей – и пусть они встретят меня криками ненависти.

Миф о Сизифе

Паскалю Пиа

Душа, не стремись к вечной жизни,
Но постарайся исчерпать то, что возможно.

Пиндар. Пифийская песня III

53

[53] © Перевод. С. Великовский, наследники, 2013

Рассуждение об абсурде

Страницы, следующие ниже, посвящены распыленному в воздухе нашего века абсурдному жизнечувствию, а не собственно философии абсурда, каковой наше время, по сути дела, не знает. Простейшей честностью будет поэтому оговорить с самого начала, сколь многим эти страницы обязаны ряду современных мыслителей. Скрывать это настолько не входило в мои намерения, что их высказывания будут приводиться и комментироваться на протяжении всей работы.

Полезно вместе с тем отметить, что абсурд, до сих пор служивший итогом умозаключений, в настоящем эссе принимается за отправную точку. В этом смысле можно сказать, что в моих соображениях немало предварительного: невозможно судить заранее о позиции, которая бы с неизбежностью из них вытекала. Здесь найдут лишь описание болезни духа в чистом виде. Пока что оно без примеси какой бы то ни было метафизики, каких бы то ни было верований. В этом пределы и единственная заведомая установка книги.

Абсурд и самоубийство

Есть лишь один поистине серьезный философский вопрос – вопрос о самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой или она того не стоит, – это значит ответить на основополагающий вопрос философии. Все прочие вопросы – имеет ли мир три измерения, существует ли девять или двенадцать категорий духа – следуют потом. Они всего лишь игра; сперва необходимо ответить на исходный вопрос. И если верно, что философ, дабы внушить уважение к себе, должен, как хотел того Ницше, служить примером для других, нельзя не уловить важность этого ответа – ведь он предшествует бесповоротному поступку. Для сердца все это непосредственно ощутимые очевидности, однако в них надо вникнуть глубже, чтобы сделать ясными для ума.

Спросив себя, а как можно судить, какой вопрос более настоятелен, чем другие, я отвечу: тот, который обязывает к действию. Мне неведомы случаи, когда бы шли на смерть ради онтологического доказательства. Галилей, обладавший весьма значительной научной истиной, легче легкого отрекся от нее, как только над его жизнью нависла угроза.

В известном смысле он поступил правильно. Истина его не стоила того, чтобы сгореть за нее на костре. Вращается ли Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли – все это глубоко безразлично. Сказать по правде, вопрос этот просто-напросто никчемный. Зато я вижу, как много людей умирает, придя к убеждению, что жизнь не стоит труда быть прожитой. Я вижу других людей, которые парадоксальным образом умирают за идеи или иллюзии, придававшие смысл их жизни (то, что называют смыслом жизни, есть одновременно великолепный смысл смерти). Следовательно, я прихожу к заключению, что смысл жизни и есть неотложнейший из вопросов. Как на него ответить? Когда дело касается вещей сущностных – под ними я разумею те, что чреваты угрозой смерти, как и те, что удесятеряют страстную жажду жить, – у нашей мысли есть только два способа подступиться к ним: способ Ла Палиса и способ Дон Кихота. Лишь сочетание самоочевидных истин с уравновешивающим их сердечным горением может открыть нам доступ одновременно и к душевному волнению и к ясности. Раз предмет рассмотрения так скромен и вместе с тем исполнен патетики, понятно, что ученая классическая диалектика должна уступить место менее притязательной установке ума, который бы пускал в ход совместно здравомыслие и приязнь.

Самоубийство всегда истолковывалось только как явление социального порядка. Здесь, напротив, поначалу речь пойдет об отношении между индивидуальной мыслью и самоубийством. Подобно великим произведениям, оно вызревает в безмолвных недрах сердца. Сам

человек об этом не знает. Однажды вечером он вдруг стреляется или бросается в воду. Как-то мне рассказывали об одном покончившем с собой смотрителе жилых домов, что за пять лет до того он потерял дочь, с тех пор сильно изменился и что эта история его «подточила». Точнее слова нечего и желать. Начать думать – это начать себя подтачивать. К началам такого рода общество не имеет касательства. Червь гнездится в сердце человека. Там-то его и надо искать. Надо проследить и понять смертельную игру, ведущую от ясности относительно бытия к бегству за грань света.

Самоубийство может иметь много разных причин, и самые явные из них чаще всего не самые решающие. Редко кончают с собой в результате размышлений (хотя исключать эту гипотезу нельзя). То, что развязывает кризис, почти никогда контролю не поддается. Газеты обычно упоминают о «душевных огорчениях» или «неизлечимой болезни». Объяснения такого рода правомерны. И все-таки надо бы знать, не разговаривал ли с отчаявшимся равнодушно в тот самый день его друг. Друг этот и виновен в случившемся. Равнодушного тона может быть достаточно, чтобы вызвать обвал накопившихся обид и усталости, которые до поры до времени пребывали как бы в подвешенном состоянии[54].

Но если трудно зафиксировать в точности миг, когда ум поставил на смерть, как и проследить сам изощренный ход мысли в этот миг, то извлечь из поступка заложенное в нем содержание сравнительно легко. Убить себя означает в известном смысле – и так, как это бывает в мелодрамах, – сделать признание. Признание в том, что жизнь тебя подавила или что ее нельзя понять. Не будем заходить в уподоблениях слишком далеко и прибегнем к словам расхожим. Это признание, что жить «не стоит труда». Само собой разумеется, жизнь – дело непростое. Однако по многим причинам, первая из которых – привычка, продолжаешь поступать согласно запросу жизненных обстоятельств. Умереть по своей воле означает признать, пусть и безотчетно, смехотворность этой привычки, отсутствие глубоких оснований жить, нелепицу повседневной суеты и ненужность страдания.

Что же это за нерасчетливое чувство, пробуждающее разум ото сна, необходимого ему для жизни? Когда мир поддается объяснению, хотя бы и не слишком надежному в своих доводах, он для нас родной. Напротив, человек ощущает себя чужаком во вселенной, внезапно избавленной от наших иллюзий и попыток пролить свет на нее. И это изгнанничество неизбывно, коль скоро человек лишен памяти об утраченной родине или надежды на землю обетованную. Разлад между человеком и окружающей его жизнью, между актером и декорациями и дает, собственно, чувство абсурда. Все здоровые люди когда-нибудь да задумывались о самоубийстве, а потому можно без дополнительных пояснений признать, что существует прямая связь между этим чувством и тягой к небытию.

Предметом настоящего эссе как раз и является это отношение между абсурдом и самоубийством, вопрос о том, в какой именно мере самоубийство есть решение задачи, задаваемой абсурдом. Допустимо исходить из принципа, что действия человека, избегающего лукавить с самим собой, направляются истиной, в которую он верит. Вера в абсурдность существования должна, следовательно, определять его поведение. Совершенно законным любопытством будет поэтому спросить внятно и без ложного пафоса, обязывает ли упомянутое умозаключение об абсурде расстаться как можно скорее с обстоятельствами, не поддающимися пониманию. Разумеется, я веду здесь речь о людях, склонных находиться в согласии с собой.

Будучи поставлен ясно, вопрос этот может показаться одновременно простым и неразрешимым. Ошибочно полагают, однако, что на простые вопросы даются не менее простые ответы и очевидность влечет за собой такую же очевидность. Если судить априорно, похоже, что само-

[54] Не упустим случая отметить, что утверждения настоящего эссе отнюдь не безоговорочны. Ведь самоубийство может зависеть и от соображений, заслуживающих большей почтительности. Пример: политические самоубийства в ходе китайской революции, именуемые самоубийствами из протеста. – *Здесь и далее Примеч. автора.*

убийством либо кончают, либо не кончают соответственно двум возможным философским решениям самого вопроса: либо «да», либо «нет». Но это выглядело бы слишком красиво. Надо же учесть еще и тех, кто вечно вопрошает, избегая отвечать. Тут я почти не иронизирую: речь идет о большинстве людей. Я вижу также, что те, кто отвечает «нет», поступают так, будто они думают «да». И действительно, если я принимаю критерий Ницше, они так или иначе думают «да». Наоборот, среди кончающих самоубийством часто встречаются убежденные в том, что жизнь имеет смысл. И с подобными противоречиями сталкиваешься постоянно. Можно даже сказать, что они достигают крайней остроты как раз там, где логика вроде бы особенно желательна. Стало уже общим местом сопоставлять философские учения с поведением тех, кто их исповедует. Но надо сказать прямо, что за исключением Кириллова, принадлежащего литературе, Перегрина из легенды[55] и Жюля Лекье, в случае с которым довольствуются гипотезой, никто из мыслителей, отказывавших жизни в смысле, не заходил в своей логике так далеко, чтобы самому отказаться жить. Нередко шутки ради вспоминают, как Шопенгауэр расточал хвалы самоубийству, сидя за обильным столом. Но тут не повод для смеха. В таком способе не принимать трагическое всерьез особой беды нет, и тем не менее он в конце концов бросает тень на того, кто к нему прибегает.

Перед всеми этими противоречиями и темнотами следует ли думать, что не существует никакой связи между возможным мнением о жизни и тем поступком, посредством которого с ней расстаются? Не будем здесь ничего преувеличивать. В привязанности человека к жизни есть нечто превосходящее все на свете невзгоды. Суждение нашего тела ничуть не менее важно, чем суждение нашего ума, а тело избегает самоуничтожения. Привычка жить складывается раньше привычки мыслить.

И в том каждодневном беге, что понемногу приближает нас к смерти, тело сохраняет это неотъемлемое преимущество. И наконец, самая суть противоречия заключена в том, что я назвал бы уклонением, ибо оно одновременно и меньше, и больше развлечения в паскалевском смысле слова. Гибельное уклонение, составляющее третью тему нашего эссе, – это надежда. Надежда на другую жизнь, каковую надобно «заслужить», – или жульничество тех, кто живет не ради самой жизни, а ради некоей превосходящей ее идеи, возвышающей эту жизнь, сообщающей ей смысл и ее предающей.

Все тогда помогает спутать карты. До сих пор отнюдь не безуспешно предавались игре в слова и делали вид, будто верят, что отказ признать жизнь имеющей смысл непременно влечет за собой заключение, согласно которому она не стоит труда быть прожитой. На самом деле нет никакой обязательной соотнесенности между этими двумя суждениями. Надо только не позволять, чтобы уже упомянутые мною неувязки, путаница, непоследовательность сбивали с толку. Надо все это устранить и обратиться впрямую к действительной сути вопроса. Убивают себя потому, что жизнь не стоит труда быть прожитой, – вот истина несомненная, однако и бесплодная, потому что она трюизм. Но разве оскорбление, наносимое тем самым сущему, разве столь всеохватывающее разоблачение его проистекают из отсутствия в нем смысла? И разве абсурдность жизни требует избавления от нее при помощи надежды или самоубийства – вот на что необходимо пролить свет, вот что надо исследовать и раскрыть, отодвинув в тень все остальное. Понуждает ли абсурд к смерти – этому вопросу следует отдать предпочтение перед всеми прочими, рассмотреть его вне всех сложившихся способов мысли и вне игры непредвзятого ума. Оттенкам, противоречиям, психологическим примесям, всегда привносимым «объективным» умом в существо вопросов, нет места в этом исследовании и страстном поиске. Здесь нужна только беспощадная, то есть логичная мысль. А это непросто. Всегда легко быть логичным. И почти невозможно быть логичным до конца. Люди, накладывающие на себя руки, следуют

[55] Мне доводилось слышать об одном сопернике Перегрина, послевоенном писателе, который, завершив свою первую книгу, покончил с собой, чтобы привлечь к ней внимание. Внимание он и в самом деле привлек, но книгу нашли плохой.

по наклонной своих чувств до самого конца. Размышление о самоубийстве предоставляет мне в таком случае возможность поставить ту единственную проблему, которая меня занимает: логичен ли смертельный исход? Я могу это выяснить не иначе, как продолжив без вносимого страстью беспорядка, единственно в свете очевидности, то размышление, истоки которого я тут обозначил. Его-то я и называю размышлением об абсурде. Многие такое размышление предпринимали. Пока что я не знаю, удалось ли им сохранить верность отправным посылкам.

Когда Карл Ясперс, обнаруживая невозможность воссоздать бытие в его целостности, восклицает: «Это ограничение возвращает меня к самому себе, туда, где я больше не укрываюсь за объективной точкой зрения, а лишь представительствую от нее, туда, где ни я сам, ни существование других не могут стать для меня объектом», – он вслед за множеством своих предшественников вызывает в памяти те пустынные безводные края, где мысль подходит к пределам доступного для нее. Вслед за множеством других – да, конечно же, но как все они спешили оттуда выбраться! К этому последнему повороту, где мысль колеблется в нерешительности, приближались многие, среди них и мыслители, исполненные смирения. Здесь они отрекались от самого дорогого, что у них было, – от собственной жизни. Иные, князья духа, тоже отрекались, только прибегали для этого к самоубийству мысли в разгар самого чистого бунта. Подлинное же усилие, напротив, заключается в том, чтобы как можно дольше удерживать равновесие и рассматривать вблизи причудливую растительность этих краев. Упорство и прозорливость являются привилегированными зрителями того нечеловеческого игрового действа, в ходе которого репликами обмениваются абсурд, надежда и смерть. Дух бывает способен тогда проанализировать фигуры простейшего и вместе с тем изысканного танца, прежде чем самому их воспроизвести и пережить.

Стены абсурда

Глубокие чувства подобны великим произведениям, смысл которых всегда шире высказанного в них осознанно. Постоянство движений души или ее отталкиваний воспроизводится в привычках поведения и ума, а затем преломляется и в таких следствиях, о которых сама душа ничего не ведает. Большие чувства выводят с собой в жизнь целый мир, великолепный или жалкий. Единственный в своем роде мир, где они обретают подходящий им климат, освещается страстью. Существует вселенная ревности, честолюбия, эгоизма или великодушия. Вселенная – то есть своя особая метафизика и свой духовный строй. Но верное относительно отдельных чувств тем более верно относительно переживаний с их основой столь же неопределенной, смутной и одновременно столь же несомненной, столь же отдаленной и столь же «присутствующей», как и все то, чем бывает вызвано в нас ощущение прекрасного или ощущение абсурда.

Чувство абсурда может поразить в лицо любого человека на повороте любой улицы. Само по себе, в своей унылой наготе и тусклом свете, оно неуловимо. Однако сама эта трудность заслуживает обдумывания. Пожалуй, верно, что человек никогда не бывает постигнут нами до конца, в нем всегда сохраняется нечто, упрямо от нас ускользающее. Однако практически я знаю людей и распознаю их по поведению, по совокупности их поступков, по тем следам, какие они оставляют, проходя по жизни. И точно так же обстоит дело с теми иррациональными переживаниями, которые не поддаются анализу, – я могу их практически определить, практически оценить, свести воедино их последствия в умственной деятельности, уловить и обозначить все их обличья, очертить их вселенную. Несомненно, что лично я скорее всего не узнаю актера глубже оттого, что увижу его в сотый раз. Но если я соединю всех героев, в которых он перевоплощался, и скажу, что на сотой учтенной мною роли я узнал о нем немного больше, в этом будет своя доля истины. Потому что этот видимый парадокс есть вместе с тем и притча. Притча со своей моралью. Она учит, что лицедейство человека может сказать о нем ничуть не меньше, чем его искренние порывы. И точно так же обстоит дело на другом уровне – с

переживаниями: нельзя постичь, каковы они в глубине человеческого сердца, однако частично их выдают и поступки, ими вызванные, и настрой ума, ими заданный. Можно, следовательно, почувствовать, как я тем самым определяю некий метод. Правда, можно почувствовать и то, что он – метод анализа, а не метод познания. Как всякий метод, он подразумевает свою метафизику и волей-неволей обнаруживает те конечные заключения, о которых поначалу он как будто и сам порой не подозревает. Так последние страницы книги уже содержатся в ее первых страницах. Увязка такого рода неизбежна. Метод, определяемый мною здесь, откровенно признается в том, что он исходит из посылки о невозможности истинного познания. Возможно лишь перебрать видимости и ощутить климат.

В таком случае нам, быть может, окажутся доступны проявления неуловимого чувства абсурда в столь разных, хотя и родственных, областях, как интеллектуальная деятельность, искусство жить или просто искусство. Климат абсурда присутствует в них с самого начала. В конце же проступают вселенная абсурда и особая установка духа, при которой он на все вокруг проливает свой свет так, чтобы воссиял тот избранный и беспощадный лик, какой он умеет распознать.

Все великие деяния и все великие мысли восходят к ничтожно малым истокам. Великие произведения зачастую рождаются на уличном повороте или в прихожей ресторана. Так и абсурд. Мир абсурда, как никакой другой, извлекает свои достоинства из жалких обстоятельств зарождения. Когда в некоторых ситуациях на вопрос, о чем человек думает, следует ответ: «Ни о чем», – это может быть и притворством. Любящие друг друга люди хорошо об этом знают. Но если ответ искренен, если он передает то особое состояние души, когда пустота красноречива, когда цепочка повседневных поступков вдруг порвалась и сердце тщетно ищет звено, способное снова соединить оборванные концы, – в таких случаях этот ответ может оказаться и первым знаком абсурда.

Бывает, что декорации рушатся. Утреннее вставание, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, еда, трамвай, четыре часа работы, еда, сон, и так все, в том же ритме, в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу. Чаще всего этой дорогой следуют без особых затруднений. Но однажды вдруг возникает вопросительное «зачем?», и все начинается с усталости, подсвеченной удивлением. Начинается – это здесь важно. Усталость одновременно и последнее проявление жизни машинальной, и первое обнаружение того, что сознание пришло в движение. Усталость пробуждает сознание и вызывает все последующее. Последующее может быть либо возвратом к бессознательности, либо окончательным пробуждением. Со временем, на исходе пробуждения, из него вытекает либо самоубийство, либо восстановленное равновесие. В усталости как таковой есть нечто отвратительное. В нашем случае я должен заключить, что она благотворна. Ведь все начинается с осознания и только благодаря ему обретает ценность. Во всех высказанных соображениях нет ничего оригинального. Но в них есть достоинство очевидности, а этого до поры до времени достаточно, чтобы выявить в общих чертах происхождение абсурда. Корнем всего служит простая «озабоченность».

И точно так же в тусклой каждодневной жизни нас всегда несет поток времени. Но рано или поздно наступает момент, когда нам самим приходится взвалить на себя и нести груз времени. Мы живем будущим: «завтра», «позже», «когда ты добьешься положения», «с возрастом ты поймешь». Подобная непоследовательность по-своему восхитительна, ведь в конце концов предстоит умереть. Однако настает день, когда человек говорит вслух или про себя, что ему тридцать лет. Тем самым он утверждает, что еще достаточно молод. Но вместе с тем он располагает себя относительно времени. Он занимает в нем свое место. Он признает, что находится в одной из точек кривой, каковую, по его признанию, он должен пройти. Он принадлежит времени, и по тому ужасу, который мысль об этом ему внушает, он судит, что оно его злейший

враг. Завтрашнего дня, он хотел завтрашнего дня, тогда как всем своим существом он должен бы это завтра отвергнуть. В этом бунте плоти обнаруживает себя абсурд[56].

Еще ступенью ниже нас ждет ощущение нашей чужеродности в мире – мы откроем, до чего он «плотен», заметим, насколько камень нам чужд, как он неподатлив, с какой силой природа, самый пейзаж может нас отрицать. В недрах красоты залегает нечто бесчеловечное, и все вокруг – эти холмы, это ласковое небо, очертания деревьев – внезапно утрачивает иллюзорный смысл, который мы им приписывали, и вот они уже дальше от нас, чем потерянный рай. Первобытная враждебность мира доносится до нас сквозь тысячелетия. В какой-то миг мы перестаем понимать этот мир по той простой причине, что на протяжении веков нам были понятны в нем лишь образы и рисунки, которые мы сами же предварительно в него и вложили, однако с некоторых пор нам не хватает больше духу прибегать к этой противоестественной уловке. Мир ускользает от нас, потому что снова становится самим собой. Декорации, замаскированные нашей привычкой, предстают такими, каковы они на самом деле. Они отдаляются от нас. И точно так же бывают дни, когда, увидев близко знакомое тебе лицо женщины, которую ты любил много месяцев или лет, ты вдруг находишь ее как бы совсем чужой, и тебе, быть может, даже желанно это открытие, заставляющее внезапно ощутить себя таким одиноким. Впрочем, час для этого пока что не пробил. Ясно одно: в этой плотности и этой чуждости мира обнаруживает себя абсурд.

Люди также источают нечто бесчеловечное. Иной раз, в часы особой ясности ума, механичность их жестов, их бессмысленная пантомима делает каким-то дурацким все вокруг них. Человек говорит по телефону за стеклянной перегородкой; его не слышно, зато видна его мимика, лишенная смысла, – и вдруг задаешься вопросом, зачем он живет. Тягостное замешательство перед бесчеловечным в самом человеке, невольная растерянность при виде того, чем мы являемся на самом деле, короче, «тошнота», как назвал все это один современный писатель, тоже обнаруживают абсурд. Равно как напоминает об абсурде и тот чужак, который подчас движется нам навстречу из глубины зеркала, тот родной и, однако, вызывающий в нас тревогу брат, которого мы видим на наших собственных фотографиях.

Я подхожу наконец к смерти и тому, как она нами переживается. По этому поводу все уже сказано, и от патетики подобает воздержаться. Тем не менее никогда не удастся в достаточной мере изумиться тому, что все живут так, как если бы они о смерти «знать не знали». Никто и в самом деле не имеет опыта смерти. Ведь опыт в собственном смысле есть то, что лично испытано и осознано. А в случае со смертью возможно говорить разве что об опыте кого-то другого. Это заменитель опыта, нечто умозрительное и никогда не убеждающее нас вполне. Условные меланхолические сетования не могут внушать доверия. В действительности источником ужаса является математическая непреложность события смерти. Если ход времени нас ужасает, так это тем, что задача сперва излагается, потом решается. Все красноречивые слова о душе получают здесь, по крайней мере на какой-то срок, подтверждение от противного с его новизной. Душа из вот этого недвижимого тела, на котором и пощечина не оставляет следов, куда-то исчезла. Простота и бесповоротность произошедшего и дают содержание чувству абсурда. В смертельном свете этой судьбы проступает ее бесполезность. Никакая мораль и никакие усилия заведомо не имеют оправдания перед кровавой математикой, распоряжающейся человеческим уделом.

Еще раз: все это уже было сказано, и многократно. Я ограничиваюсь здесь беглым перечнем и указанием на самые очевидные темы. Они проходят через все литературы и все философские учения. Служат они пищей и для обыденных разговоров. Не может быть и речи о том, чтобы изобретать их заново. Но следует твердо увериться в этих очевидностях, чтобы затем

[56] Правда, не в своем собственном виде. Ведь речь идет не об определении, а о перечислении чувств, которые могут заключать в себе абсурд. Когда перечисление заканчивается, абсурд вовсе не исчерпан.

задать себе вопрос первостепенной важности. Хочу повторить: меня интересуют не столько открытия абсурда, сколько их следствия. Если сами факты убедительны, то какие заключения надо из них извлечь и как далеко в этом пойти, чтобы ни от чего не уклониться? Надо ли добровольно принять смерть или вопреки всему надеяться? Но прежде всего необходимо произвести такой же беглый учет в плоскости интеллекта.

Первым делом разума является различение истинного и ложного. И однако, как только мысль задумывается о себе самой, она в первую очередь открывает противоречие. Бесполезно стараться здесь убедительно это доказывать. На протяжении веков никто не нашел доказательств яснее и изящнее, чем Аристотель: «Со всеми подобными взглядами необходимо происходит то, что всем известно, – они сами себя опровергают. Действительно, тот, кто утверждает, что все истинно, делает истинным и утверждение, противоположное его собственному, и тем самым делает свое утверждение неистинным (ибо противоположное утверждение отрицает его истинность); а тот, кто утверждает, что все ложно, делает и это свое утверждение ложным. Если же они будут делать исключение – в первом случае для противоположного утверждения, заявляя, что только одно оно не истинно, а во втором – для собственного утверждения, заявляя, что только оно одно не ложно, – то приходится предполагать бесчисленное множество истинных и ложных утверждений, ибо утверждение о том, что истинное утверждение истинно, само истинно, и это может быть продолжено до бесконечности».

Этот порочный круг – только первый в чреде подобных ему, и на каждом из них разум, всматривающийся в самого себя, теряется от головокружительной круговерти. Сама простота этих парадоксов делает их неопровержимыми. Какая бы игра слов и логическая акробатика в ход ни пускались, понять – значит прежде всего прибегнуть к единому мерилу. Глубинное желание разума даже при самых изощренных его операциях смыкается с бессознательным чувством человека перед вселенной – потребностью сделать ее близкой себе, жаждой ясности. Понять мир означает для человека свести его к человеческому, отметить своей печатью. Вселенная кошки – это не вселенная муравья. Трюизм «Всякая мысль антропоморфна» не имеет никакого другого смысла. И точно так же разум, стремящийся постичь действительность, способен испытать удовлетворение только тогда, когда он сведет ее к собственным понятиям. Если бы человек узнал, что вселенная тоже может любить и страдать, он бы почувствовал себя примиренным с судьбой. Если бы мысль открыла в меняющемся зеркале явлений вечные связи, которые способны свести эти явления и одновременно самих себя к единому принципу, тогда можно было бы говорить о ее счастье, сравнительно с которым миф о райском блаженстве выглядит всего лишь смехотворной подделкой. Тоска по единству, жажда абсолюта выражают сущностное движение человеческой драмы. Однако несомненное существование этой тоски отнюдь не подразумевает, что ее надо немедленно утолить. Ведь в том случае, если мы, перенесясь через пропасть между желаемым и достигнутым, признаем вместе с Парменидом действительное бытие Единого (каким бы оно ни было), мы впадем в вызывающее улыбку противоречие разума, который утверждает полнейшее единство сущего, но уже самим этим утверждением доказываем собственное отличие от сущего и множественность мира, которую претендовал устранить. И этого другого порочного круга достаточно, чтобы заглушить наши надежды.

Все это опять-таки очевидности. И снова повторю, что сами по себе они не представляют интереса, интересны те следствия, которые можно из них извлечь. Мне известна и еще одна очевидность, она гласит, что человек смертен. Однако можно перечесть по пальцам тех, кто извлек отсюда все следствия, вплоть до самых крайних. В этом эссе следует принимать за постоянную точку отсчета неизменное расхождение между тем, что мы, как нам кажется, знаем, и тем, что мы знаем действительно, согласие на деле и притворное неведение, из-за чего мы продолжаем жить с такими идеями, которые должны были бы перевернуть всю нашу

жизнь, если бы мы их по-настоящему прочувствовали. Это неустранимое противоречие духа помогает нам осознать поистине в полной мере, какой разрыв отделяет нас от наших собственных созданий. До тех пор пока разум безмолвствует в неподвижном мире своих надежд, все взаимоперекликается и упорядочивается в столь желанном ему единстве. Но при первом же движении весь этот мир трещит и рушится: познанию предлагает себя бесконечное множество мерцающих осколков. Нужно проститься с надеждой когда-нибудь воссоздать из них воспринимаемую нами как нечто родное гладкую поверхность, которая вернула бы покой нашей душе. После стольких веков упорных поисков, после стольких отречений мыслителей мы знаем, что для познавательной деятельности такое прощание правильно. За исключением рационалистов по роду своих занятий, сегодня все отчаялись в возможностях истинного познания. Если бы понадобилось написать поучительную историю человеческой мысли, она была бы историей следующих друг за другом раскаяний и немощных потуг.

Действительно, о чем или о ком я вправе сказать: «Это я знаю»? Я могу ощутить сердце в моей груди и утверждать, что оно существует. Я могу потрогать вещи окружающего меня мира и утверждать, что он существует. Но на этом моя наука кончается, все остальное – лишь построения ума. Ведь попробуй я уловить и кратко определить то «я», в существовании которого я уверен, как оно уподобится воде, утекающей между пальцев. Я могу обрисовать один за другим все лики, какие оно принимает, равно как и все лики, какими его наделяли, полученное им воспитание, его происхождение, пыл и миги безмолвия, величие и низость. Однако нельзя сложить вместе все эти лики. Да и само принадлежащее мне сердце никогда не поддастся определению. Между моей уверенностью в собственном существовании и тем содержанием, которое я пробую в нее вложить, пролегает ров, и его во веки веков не заполнить. Я всегда пребуду чуждым самому себе. В психологии, как и в логике, существуют истины, но нет Истины. «Познай самого себя» Сократа имеет такую же ценность, как и «Будь добродетелен» в устах наших исповедников. В нем различимы одновременно и тоска по знанию, и незнание. Все это бесплодные игры по значительным поводам. Игры, оправданные в той самой мере, в какой они приблизительны.

А вот еще деревья, и я знаю, как шероховата их кора, вот вода, и мне известен ее привкус. Запахи травы и звезд, темная ночь, иные вечера, когда сердце расслабляется, – разве я могу отрицать существование этого мира, силу и мощь которого я ощущаю? Однако вся земная наука не дает ничего, способного уверить меня в том, что этот мир мне принадлежит. Вы мне его описываете и учите меня, как его разложить по полочкам. Вы перечисляете его законы, и я, жаждущий знания, соглашаюсь с тем, что они верны. Вы разбираете его устройство, и моя надежда растет. В конце концов вы мне сообщаете, что этот чудесный пестрый мир может быть сведен к атому и что атом, в свою очередь, сводим к электрону. Все это хорошо, но я жду продолжения. А вы мне говорите о распространяющейся на всю вселенную невидимой системе электронов, которые вращаются вокруг своего ядра. Вы мне объясняете мир при помощи образа. И тогда я констатирую, что вы обратились к поэзии – выходит, у меня никогда не будет знания. Не пришло ли для меня время этим возмутиться? Но вы уже сменили теорию. Значит, наука, которая должна была мне все разъяснить, кончает тем, что выдвигает гипотезу, обещанная ясность оборачивается метафорой, неуверенность воплощается в произведении искусства. Но разве была нужда в стольких усилиях? Мягкие очертания вон тех холмов и вечер, положивший свою руку на мое возбужденное сердце, научат меня гораздо большему. Я вернулся к тому, с чего начинал. Я понимаю, что с помощью науки могу опознать и перечислить явления, но никак не могу освоить мир. Даже если я ощупаю пальцем все извивы его рельефа, я не узнаю о нем больше. Вы же предлагаете мне выбрать между описанием, которое надежно, но ничего мне не проясняет, и гипотезами, которые претендуют чему-то меня научить, но остаются ненадежными. Чуждый самому себе и миру, лишенный всякого подспорья, кроме мысли, которая себя отрицает в тот самый момент, когда она что-то утверждает, –

так что же это за удел, при котором я могу обрести покой не иначе, как отказавшись знать и жить, и где жажда обладания наталкивается на глухие стены, бросающие вызов любой осаде? Хотеть – значит порождать парадоксы. Все устроено так, чтобы возник тот отравленный покой, который приносят беззаботность, сон души и смертельно опасное самоотречение.

Следовательно, интеллект на свой лад говорит мне, что мир абсурден. Слепой рассудок, являющий собой полную противоположность интеллекту, напрасно претендует на то, что все ясно, я ждал доказательств и хотел, чтобы он оказался прав. Несмотря на множество гордившихся собой веков, вопреки стольким красноречивым и умевшим убеждать людям я знаю, что это неправда. По крайней мере в этом отношении счастья нет, раз я не могу знать. Всеобщий разум, практический или моральный – все равно, весь детерминизм и берущиеся объяснить все на свете категории для честного человека не больше, чем повод рассмеяться. Они не имеют ничего общего с умом. Они отрицают его глубинную правду, состоящую в том, что он крепко скован. Отныне в этой необъяснимой и зажатой в собственных рамках вселенной судьба человека обретает свой смысл. Тьма иррациональных вещей громоздится вокруг и сопровождает его до конца дней. Благодаря вернувшейся к нему и теперь избавленной от противоречий прозорливости чувство абсурда проясняется и уточняется. Я говорил, что мир абсурден, но я слишком поспешил. Сам по себе этот мир неразумен – вот все, что можно сказать о нем. Абсурдно же столкновение этой иррациональности с отчаянной жаждой ясности, зов которой раздается в глубинах человеческой души. Абсурд зависит от человека в той же мере, в какой он зависит от мира. В настоящий момент он их единственная связь. Он соединяет их так, как людей может соединять одна только ненависть. И это все, что я могу внятно различить в необъятной вселенной, где протекает приключение моей жизни. Остановимся здесь. Если я принимаю за истину абсурд и он выстраивает мои отношения с жизнью, если я проникаюсь этим чувством, которое охватывает меня перед зрелищем окружающего мира, и сохраняю ту ясность ума, которую принесли мне научные поиски, тогда я должен всем пожертвовать ради этих достоверностей и смотреть на них в упор, дабы их поддерживать. И особенно я должен выверить по ним мое поведение и извлечь из них все следствия. Я говорю сейчас о честности. Но прежде я хочу выяснить, может ли мысль жить в этих пустынных краях.

Я уже знаю, что мысль туда по крайней мере вступила. Она нашла там для себя пищу. И поняла, что до этого довольствовалась призраками. Ее пребывание там дало повод наметить некоторые темы из числа самых неотложных для человеческого осмысления.

С того момента как абсурдность получает признание, она становится мучительнейшей из страстей. Но весь вопрос в том, чтобы уяснить, можно ли жить подобными страстями, можно ли принять глубоко заложенный в них закон, по которому они испепеляют сердце в то самое время, когда повергают его в восторг. Однако это еще не тот вопрос, которым мы сейчас займемся. Он находится в центре описываемого опыта, и у нас будет время к нему вернуться. Прежде постараемся обозреть темы и душевные порывы, рождающиеся в пустыне. Достаточно будет их перечислить. Ведь сегодня они тоже всем известны. Во все времена находились люди, отстаивавшие права иррационального. Традиция мысли, которую можно было бы назвать смиренной, никогда не прерывалась. Критика рационализма предпринималась столько раз, что, по всей видимости, к ней нет смысла возвращаться. Однако в нашу эпоху мы стали очевидцами возрождения парадоксальных философских систем, которые проявляют такую изобретательность в попытках пошатнуть разум, как будто он и впрямь всегда первенствовал. Но все это доказывает не столько действенность разума, сколько живучесть питаемых им надежд. В плане историческом постоянное соперничество двух подходов, иррационалистического и рационалистического, свидетельствует об одной из ведущих страстей человека, раздираемого между тягой к единству и ясным видением обступивших его стен.

Но еще никогда, быть может, атака на разум не была столь напористой, как в наше время. С тех пор как прозвучал громкий возглас Заратустры: «Случилось так, что это самое старин-

ное достоинство на свете. Я вернул его вещам, когда сказал, что над ними нет воления никакой вечной воли», после смертельной болезни Кьеркегора, «болезни, влекущей за собой смерть, за которой уже ничего не следует», знаменательные и мучительные темы абсурдной мысли вереницей тянулись одна за другой. Или, точнее, и этот оттенок весьма важен, мысли иррационалистической и религиозной. От Ясперса до Хайдеггера, от Кьеркегора до Шестова, от феноменологов до Шелера, в области логики и в области морали целое семейство умов, родственных в их ностальгии, противоположных по их методам и целям, упорствовало в том, чтобы перегородить столбовую дорогу разума и отыскать свои прямые пути к истине. Далее я буду исходить из того, что их мысли известны и пережиты. Какими бы ни были сегодня и вчера их устремления, исходной для них всех была не поддающаяся словесному описанию вселенная, где царят противоречия, антиномии, тоскливые страхи и немощь. Общими для них были как раз те темы, которые мы только что выявили. И что особенно важно сказать, они сумели извлечь следствия из своих открытий. Это настолько важно, что придется рассмотреть эти следствия отдельно. Пока же речь пойдет лишь об их открытиях и отправном для них опыте, о том, чтобы установить их сходство. Было бы самонадеянно браться истолковывать здесь сами их философские учения, доступно и, во всяком случае, достаточно дать почувствовать общий для всех них климат.

Хайдеггер хладнокровно рассматривает удел человеческий и заявляет, что мы влачим унизительное существование. Единственная действительность – это «забота» на всех ступенях бытия. Для человека, затерянного в мире среди разного рода отвлекающих занятий, забота – это мимолетная и всякий раз ускользающая боязнь. Но стоит последней осознать себя, и она становится страхом, постоянным климатом ясно мыслящего человека, «в котором существование обретает себя». Бестрепетно и на самом что ни на есть отвлеченном языке этот профессор философии пишет, что «конечность и ограниченность человеческого существования предшествуют самому человеку». Он обращается к Канту, но лишь затем, чтобы признать, что «чистому Разуму» поставлены свои пределы. И чтобы в конце своих анализов заключить: «Мир ничего не может предложить человеку, находящемуся во власти страха». В глазах Хайдеггера забота настолько превосходит по своей подлинности все категории мышления, что он думает и говорит только о ней. Он перечисляет ее виды: досада, когда обыкновенный человек пытается как-то ее уравновесить и заглушить в себе; ужас, когда разум созерцает смерть. Хайдеггер тоже не отделяет сознание от абсурда. Сознание смерти – это зов заботы, когда «существование обращает зов к самому себе через посредство сознания». Это голос самого страха, и голос этот заклинает существование «вернуться к самому себе после утраты себя в безымянном «On»[57]. По Хайдеггеру, тоже не следует погружаться в сон, а надо бодрствовать вплоть до израсходования себя. Он упорно пребывает в мире абсурда и обвиняет мир в тленности. Он ищет свой путь посреди развалин.

Ясперс отчаивается в какой бы то ни было онтологии, потому что хочет, чтобы мы утратили «наивность». Он знает, что нам не дано возвыситься хотя бы в чем-нибудь малом над убийственной игрой видимостей. Он знает, что разум в конце концов терпит поражение. Он подолгу прослеживает те духовные приключения, которые нам поставляет история, и в любой системе безжалостно вскрывает изъяны, спасающую все иллюзию, ничего не могущее скрыть пророчество. В этом опустошенном мире, где невозможность знания доказана, где небытие выглядит единственной действительностью, а беспросветное отчаяние – единственно оправданной позицией, он пробует отыскать Ариаднину нить, которая вела бы к божественным тайнам.

Шестов со своей стороны на протяжении всего своего творчества, отличающегося великолепной монотонностью, постоянно устремленного к одним и тем же истинам, беспрерывно

[57] On (*фр.*) – неопределенно-личное местоимение.

доказывает, что и самое стройное из учений универсального рационализма всякий раз под конец упирается в иррациональность человеческой мысли. От него не ускользают ни один заслуживающий иронии очевидный просчет, ни одно самое ничтожное противоречие, которые обесценивают разум. Единственное, что его занимает, – это исключения из правил, независимо от того, принадлежат ли они к истории душевной или умственной жизни. В опыте приговоренного к смертной казни Достоевского, в отчаянных приключениях духа у Ницше, в проклятиях Гамлета или горьком аристократизме Ибсена он обнаруживает, высвечивает и возвеличивает человеческий бунт против непоправимого. Он отказывает в правах разуму и начинает сколько-нибудь уверенно направлять свои шаги, лишь очутившись посреди обесцвеченной пустыни, где все достоверности обращены в камни.

Самый, быть может, привлекательный из всех, Кьеркегор, по крайней мере на одном из отрезков своей биографии, не просто открывает абсурд, а больше того – им живет. Человек, написавший: «Самое надежное безмолвие возникает не тогда, когда молчат, а тогда, когда говорят», первым делом убеждается в том, что ни одна истина не абсолютна и не в силах сделать удобоваримым существование, которое само по себе есть невозможность. Дон Жуан познания, он множит псевдонимы и противоречия, пишет «Назидательные речи» одновременно с учебником цинического спиритуализма «Дневник соблазнителя». Он отвергает утешения, мораль, самые принципы душевного покоя. Он далек от того, чтобы унимать боль в сердце из-за засевшего там шипа. Напротив, он растравляет эту боль и с отчаянной радостью распятого, довольного своей казнью, постепенно выстраивает категорию демонического из ясности, отрицания, комедиантства. Этот одновременно нежный и ухмыляющийся лик, эти пируэты в сопровождении крика, исторгнутого из недр души, и являют собой дух абсурда в схватке с превосходящей его действительностью. Духовное приключение, подводящее Кьеркегора к столь дорогим ему скандалам бытия, тоже берет свое начало в хаосе опыта, лишенного всяких прикрас, взятого в его первозданной бессвязности.

Совсем в другом плане, в плане метода, Гуссерль и феноменологи возвращают миру его разнообразие и отвергают трансцендирующий разум. Благодаря им духовный мир самым неожиданным образом обогащается. Лепесток розы, километровый столб у дороги или человеческая рука так же важны, как любовь, желание или как законы тяготения. Мыслить не означает пускать в ход единую мерку, делать внешний вид вещей знакомым, заставляя их предстать в обличьях какого-то принципа. Думать – это научиться заново видеть, быть внимательным, направить на что-то свое сознание, возвести, подобно Прусту, в разряд привилегированных каждую идею и каждый образ. Парадокс, но все на свете находится в привилегированном положении. Оправданием для мысли служит ее предельная осознанность. Хотя самый ход поисков Гуссерля более позитивен, чем у Кьеркегора или Шестова, тем не менее он в корне отрицает классический рационализм, подрывает надежду, открывает интуиции и сердцу доступ к разрастающемуся обилию вещей, в котором есть что-то бесчеловечное. Гуссерлианские пути ведут ко всем наукам и ни к одной из них. Другими словами, способ здесь важнее цели. Речь идет только о «познавательной установке», а не о душевном утешении. В очередной раз, по крайней мере на первых порах.

Как не почувствовать глубинное родство всех этих умов! Как не заметить, что все они расположились у того особого и горестного места, где больше нет почвы для надежды?

Я хочу, чтобы мне было разъяснено все или ничего. А разум бессилен откликнуться на этот крик сердца. Дух, разбуженный запросом такого рода, ищет и находит одни только противоречия и несообразности. То, что я не понимаю, неразумно. Мир населен подобными иррациональностями. Он сам есть одна огромная иррациональность, коль скоро я не могу постичь его единый смысл. Сказать бы хоть раз: «Это ясно», – и все было бы спасено. Эти люди наперегонки друг с другом провозглашают: ничто не ясно, все хаос, человеку не остается ничего другого, как сохранять ясность ума и точное знание обступивших его стен.

Все эти виды опыта взаимно перекликаются и соприкасаются. Достигнув последних пределов возможного для него, дух должен извлечь все выводы и вынести приговор. Тут его ждет и вопрос о самоубийстве, и ответ на него. Но я хочу опрокинуть порядок исканий и взять за исходное приключения интеллекта, с тем чтобы прийти к повседневным поступкам.

Упомянутые выше виды опыта рождены в пустыне, которую не следует покидать. По крайней мере надо знать, докуда они продвинулись. На этом рубеже человек оказывается перед иррациональным. Он испытывает желание быть счастливым и постигнуть разумность жизни. Абсурд рождается из столкновения этого человеческого запроса с безмолвным неразумием мира. Вот чего нельзя забывать. Вот за что надо ухватиться, потому что отсюда может воспоследовать решимость жить. Иррациональность, человеческая ностальгия и абсурд, вытекающий из их встречи, – таковы три действующих лица той драмы, которая неминуемо должна покончить со всякой логикой, на какую бытие способно.

Философское самоубийство

Чувство абсурда – это еще не понятие абсурда. Первое служит основанием для второго, не более того. Первое несводимо ко второму, разве что в тот краткий миг, когда выносит свое суждение о вселенной. И затем чувству абсурда надлежит проследовать дальше. Оно живет своей жизнью, а значит, ему суждено рано или поздно умереть или распространиться шире прежнего. И так же обстоит дело с темами, которые были собраны нами вместе. Но повторю еще раз: меня интересуют не сами произведения или умы, критика которых потребовала бы других форм и другого места, а выявление того общего, что есть в их конечных выводах. Пожалуй, никогда еще умы не были так различны. И тем не менее мы обнаруживаем, что они получают толчок к движению в одинаковом духовном пространстве. Как ни разнятся их познания, одинаков и крик, который они издают в самом конце пройденного каждым из них пути. Отчетливо ощутимо, что существует общий для упомянутых умов климат. Не будет слишком вольной игрой слов сказать, что он смертелен. Жизнь под вызывающими удушье небесами понуждает либо с нею расстаться, либо ее продолжить. Речь идет о том, чтобы выяснить в первом случае – как с нею расстаются, во втором – почему ее продолжают. Тем самым я ставлю вопрос о самоубийстве и том интересе, с каким можно отнестись к заключениям экзистенциалистской философии.

Но сначала я хочу ненадолго отклониться от прямой дороги. До сих пор мы описывали абсурд только извне. Можно, однако, задаться вопросом, что в этом понятии ясно, и постараться посредством прямого анализа установить, с одной стороны, каков его смысл, а с другой – каковы вытекающие из него следствия.

Если я обвиню невинного человека в чудовищном преступлении, если я стану уверять добродетельного человека в том, что он вожделеет к своей сестре, он мне ответит, что это абсурдно. Возмущение его имеет свою смешную сторону. Но оно и глубоко обоснованно. Добродетельный человек своим ответом выявляет полнейшую антиномию поступка, который я ему приписываю, и принципов всей его жизни. Слова «это абсурдно» означают: «это невозможно» и вместе с тем: «это противоречиво». Если мне случится увидеть, что человек с холодным оружием в руке нападает на отряд пулеметчиков, я расценю его действия как абсурдные. Они и являются таковыми из-за несоразмерности намерения с действительностью, ему уготованной, из-за улавливаемого мною противоречия между действительными силами этого человека и поставленной им перед собой целью. Так же мы сочтем абсурдным некий приговор, если найдем, что он противоположен тому приговору, который, по всей видимости, должен вытекать из наблюдаемых фактов. И точно так же доказательство от абсурда осуществляется путем сравнения следствий данного рассуждения с действительной логикой, которую нам хотелось бы утвердить. Во всех этих случаях, от простейшего до самого сложного, абсурдность будет тем

разительнее, чем сильнее разница между двумя членами моего сравнения. Бывают абсурдные браки, абсурдный вызов, абсурдное молчание, абсурдные обиды, войны и даже перемирия.

И всякий раз абсурдность вытекает из сравнения. Следовательно, я вправе сказать, что чувство абсурда рождается не из простого рассмотрения единичного факта и не из отдельного впечатления, а высекается при сравнении наличного положения вещей с определенного рода действительностью, действия – с превосходящим его миром. По сути своей абсурд – это разлад. Он не сводится ни к одному из элементов сравнения. Он возникает из их столкновения.

Пребывая в плоскости интеллектуальной, я могу, следовательно, сказать, что абсурд не коренится ни в человеке (если метафора такого рода имеет хоть какой-то смысл), ни в мире, а в их совместном присутствии. В настоящий момент он единственная связующая нить между ними. Желая оставаться на почве очевидностей, я знаю, чего хочет человек, знаю, что ему предлагает мир, и теперь могу сказать, что знаю, чем они соединены. Мне нет нужды углубляться дальше в существо вопроса. Тому, кто ищет, достаточно и одной-единственной достоверности. Речь идет только о том, чтобы извлечь из нее все следствия.

Непосредственное следствие представляет собой одновременно и правило метода. Возникшее в результате триединство особого рода не имеет ничего общего с неожиданно открытой Америкой. Но у него есть сходство с данными опыта, состоящее в том, что это триединство бесконечно просто и в то же время бесконечно сложно. Отсюда первая из его характеристик: его нельзя разъять на части. Убрать одно из его слагаемых – значит разрушить все целиком. Абсурд не может существовать вне человеческого сознания. И потому он, как и все на свете, подвластен гибели. Вместе с тем абсурд не может существовать вне мира. Судя по этому простейшему признаку, понятие абсурда принадлежит к числу основополагающих и может являть собой первую из имеющихся у меня истин. Упомянутое выше правило метода обнаруживает себя на этой стадии. Если я нахожу что-то истинным, я обязан его сберечь. Если я включаюсь в поиски решения какой-то задачи, мне никак нельзя устранить этим решением ни одно из ее слагаемых. Единственная данность для меня – это абсурд. Суть дела в том, чтобы выяснить, как от него избавиться и должно ли быть из него выведено самоубийство. Первое и, в сущности, единственное условие моего поиска заключается в необходимости сохранить то самое, что угрожает меня раздавить, и соответственно отнестись с уважением к тому, что я считаю основным в этой угрозе. Я только что определил это основное как столкновение и непрестанную борьбу.

Доведя логику абсурда до самого ее конца, я должен признать, что эта борьба предполагает отсутствие какой бы то ни было надежды (каковое не имеет ничего общего с отчаянием), постоянное отрицание (каковое не следует смешивать с отречением) и осознанную неудовлетворенность (каковую нельзя путать с юношеским беспокойством). Все, что уничтожает, отменяет или ловко сводит на нет эти требования – а разлад уничтожается в первую очередь согласием, – устраняет абсурд и обесценивает подход, который мог бы быть предложен. Абсурд имеет смысл только в той мере, в какой с ним не соглашаются.

Существует одна очевидность, кажущаяся вполне нравственной, а именно: человек бывает всегда добычей исповедуемых им истин. Однажды признав их своими, он с ними уже не расстается. Ведь за все приходится платить, хотя бы немного. Человек, осознавший абсурд, навсегда к нему привязан. Человек, утративший надежду и осознавший это, перестает принадлежать будущему. И это в порядке вещей. Равно как в порядке вещей и то, что он прилагает усилия бежать из этого мира, им же самим созданного. Все сказанное ранее получает свой смысл как раз в том лишь случае, если этот парадокс принимается во внимание. Ничто не может быть более поучительно в этом отношении, чем попытка рассмотреть теперь, какие следствия извлекали люди из признания климата абсурда в результате критики рационализма.

Когда имеешь дело с философскими учениями экзистенциалистов, нельзя не заметить, что все они без исключений предлагают мне бегство от действительности. Отправляясь от

абсурда, воцарившегося на развалинах разума, в мире, замкнутом и ограниченном пределами доступного человеку, они своими странными рассуждениями обожествляют то, что их подавляет, и находят пищу для надежды в том, что их обездоливает. По самой своей сути эта надсадная надежда у всех них религиозна.

И заслуживает того, чтобы остановиться на ней особо.

Здесь я проанализирую для примера лишь некоторые из тем, показательных для Шестова и Кьеркегора. Но модель такого подхода, доведенную до карикатуры, нам предоставит Ясперс. Благодаря этому все остальное станет яснее. С Ясперсом расстаешься, будучи уверен, что он бессилен осуществить прорыв к трансцендентному, не способен исследовать глубины опыта и отчетливо сознает, насколько все в этом мире обречено на поражение. Пойдет ли он дальше или по крайней мере извлечет ли выводы из этого поражения? Ничего нового он не вносит. В своем опыте он почерпнул лишь подтверждение собственной немощи – и ни малейшего повода к обретению сколько-нибудь удовлетворительного опорного принципа. И тем не менее, хотя у него нет для этого никаких обоснований, в чем он признается сам, он одним махом приходит к утверждению сразу и трансцендентного начала, и бытийной значимости своего опыта, и сверхчеловеческого смысла жизни, когда пишет: «Разве поражение не свидетельствует, независимо от любых объяснений и любых возможных толкований, в пользу отнюдь не отсутствия, а, напротив, бытия трансцендентного?» Это бытие, внезапно и вслепую полагаемое человеческим доверием, объясняет все на свете; Ясперс определяет его как «непостижимое единство общего и частного». Так абсурд становится Богом (в самом широком смысле этого слова), а бессилие понять – освещающим все бытием. Ничто не подводит к этому умозаключению логически. Я вправе назвать его прыжком. Парадоксально, но теперь понятны упорство и бесконечное терпение, с какими Ясперс настаивает на неосуществимости опыта приобщения к трансценденции. Ибо чем мимолетнее приближение к ней, тем все более тщетными оказываются попытки ее определить и тем она сама реальнее для Ясперса – ведь страсть, вкладываемая им в утверждение трансцендентного, прямо пропорциональна разрыву между его возможностями объяснения и иррациональностью мира и опыта. В результате выясняется, что Ясперс тем ожесточеннее крушит предрассудки разума, чем радикальнее объясняет мир. Апостол смиренной мысли, он находит в самом крайнем смирении то, благодаря чему бытие возрождается во всей его глубине.

Мистическая мысль приучила нас к подобным примерам. Они так же правомерны, как и любая другая установка ума. Но сейчас я поступаю так, как если бы я принимал некую проблему всерьез. Не предрешая вопроса относительно общей ценности этого подхода, его поучительности, я хочу только рассмотреть, отвечает ли он условиям, которые я себе поставил, достоин ли занимающего меня конфликта. Так я возвращаюсь к Шестову. Один из комментаторов Шестова передает его высказывание, заслуживающее интереса. «Единственно истинный выход, – говорил он, – находится как раз там, где, согласно человеческому суждению, выхода нет. В противном случае разве мы испытывали бы потребность в Боге? К Богу затем только и обращаются, чтобы получить невозможное. Что же касается возможного, то для него достаточно людей». Если философия Шестова существует, я могу уверенно сказать, что она вместилась целиком в это краткое высказывание. Ведь когда Шестов в итоге своих страстных разборов открывает основополагающую абсурдность всего сущего, он не говорит: «Вот абсурд», но: «Вот Бог, ему-то и надлежит вверить себя, пусть он и не соответствует ни одной из наших рациональных категорий». И чтобы исключить путаницу, русский философ внушает, что Бог может быть ненавидящим и ненавистным, непонятным и противоречивым; но он тем решительнее утверждает свое всемогущество, чем отвратительнее его лик. Его величие в его непоследовательности. Доказательство его существования – в его бесчеловечности. Надо совершить прыжок к нему и этим прыжком избавиться от рационалистических иллюзий. Так для Шестова принятие абсурда совпадает по времени с самим абсурдом. По Шестову, констатировать абсурд

– значит его принять, и все логические усилия его ума сводятся к тому, чтобы пролить на это свет и тем помочь забить ключу огромной надежды. Повторю еще раз: такой подход правомерен. Но здесь я упорствую в рассмотрении одной-единственной проблемы и всех ее следствий. Я не собираюсь обсуждать патетичность чьей-то мысли или поступка во имя веры. Я могу заниматься этим весь остаток моей жизни. Я знаю, что у рационалиста подход Шестова вызывает раздражение. Но я чувствую и то, что Шестов прав в споре с рационалистом, и единственное, что мне хотелось бы выяснить, – это вопрос: остается ли он верным предписаниям абсурда?

Итак, принимая во внимание противоположность абсурда и надежды, нельзя не заметить, что экзистенциалистская мысль, согласно Шестову, подразумевает абсурд, но доказывает его существование только затем, чтобы его развеять. Изощренность мысли тут не что иное, как захватывающий фокус жонглера. С другой стороны, когда Шестов противопоставляет абсурд расхожей морали и разуму, он называет его истиной и искуплением. Следовательно, в самой основе и определении абсурда у Шестова присутствует одобрение. Если признать, что все возможности этого понятия заключены в том, как оно сталкивается с нашими простейшими надеждами, если проникнуться чувством, что залогом сохранения абсурда является несогласие с ним, тогда будет видно, что он утрачивает у Шестова свой подлинный облик, свою человечность и относительность, дабы перейти в разряд вечного, которое непостижимо и вместе с тем приносит удовлетворение. Если абсурд существует, то лишь в мире человеческом. С той минуты, как это понятие превращается в трамплин для прыжка к вечности, оно теряет связь с ясным человеческим сознанием. Абсурд перестает быть очевидностью, которую человек констатирует, но с которой он не соглашается. От борьбы уклоняются. Человек вбирает абсурд в свое сознание и этим причащением устраняет из абсурда самое в нем основное – противостояние, разрыв, разлад. Прыжок такого рода есть увертка. Шестов, охотно приводящий слова Гамлета «The time is out of joint»[58], пишет их с какой-то свирепой надеждой, которую позволительно отнести на его собственный счет. Ведь ни Гамлет их так не произносит, ни Шекспир их так не написал. Опьянение иррациональным и тяга к душевным восторгам заставляют ясный ум отвернуться от абсурда. Для Шестова разум бесплоден, но есть нечто превыше разума. Для человека абсурда разум бесплоден и нет ничего превыше разума.

Упомянутый прыжок может по крайней мере немного прояснить подлинную природу абсурда. Мы знаем, что его нет без равновесия, что он заключен в сравнении, а не в одном из членов этого сравнения. Шестов же переносит упор именно на один из членов и нарушает равновесие. Наша жажда понять, наша тоска по абсолюту объяснимы лишь постольку, поскольку мы можем многое понять и объяснить. Напрасно вовсе отрицать разум. Существует круг явлений, внутри которого он действенен. Это как раз все то, что принадлежит к человеческому опыту. Именно поэтому нам хочется пролить свет на все сущее. И раз мы не можем этого сделать, то возникает абсурд; рождение его происходит при встрече действенного, однако ограниченного разума со вновь и вновь воспроизводящейся иррациональностью. Когда же Шестов сердится на Гегеля за суждения вроде следующего: «Движения Солнечной системы происходят согласно неизменным законам, и эти законы являют собой ее разум», когда он вкладывает всю свою страсть в изничтожение рационализма Спинозы, он приходит к выводу о тщете всякого разума. Отсюда естественный и безосновательный возврат к превосходству иррационального[59]. Однако оправданность такого хода мысли отнюдь не очевидна. Ибо здесь-то и могут быть введены понятия предела и плана. Законы природы могут быть действительны до определенного предела, после которого они оборачиваются против самих себя и порождают абсурд. Или еще: они могут быть правомерны в плане описания без того, чтобы оказаться по этой причине истинными и в плане объяснения. Когда все приносится в жертву иррациональному

[58] Распалась связь времен (*англ.*). – *Перевод Б. Пастернака*.

[59] В частности, в споре с Аристотелем по поводу понятия «исключение».

и потребность в ясности незаметно устранена, абсурд исчезает вместе с одним из членов сравнения. Человек абсурда, напротив, к такому устранению не прибегает. Он признает борьбу, не относится с полным презрением к разуму и допускает иррациональное. В круге своего зрения он удерживает все данные опыта и мало расположен прыгать до того, как узнает, куда именно. Единственное его знание сводится к тому, что в рамках чутко внемлющего всему сознания нет места надежде.

То, что чувствуется у Льва Шестова, еще ощутимее, пожалуй, у Кьеркегора. Конечно, у столь уклончивого автора трудно нащупать отчетливые суждения. Но, несмотря на то что его писания, по всей видимости, противоречат друг другу, за множеством псевдонимов, розыгрышей и усмешек во всем его творчестве дает о себе знать как бы предчувствие (и одновременно усвоение) истины, которая в конце концов громко прозвучит в последних работах Кьеркегора: он тоже делает прыжок. Христианство, так пугавшее его в детстве, под конец снова возвращает себе у Кьеркегора свой самый суровый облик. Для него тоже антиномия и парадокс становятся критериями религиозного. То самое, что заставляло его отчаиваться в смысле и глубине жизни, со временем превращается в источник ее истины и ясности. Христианство – это скандал, и Кьеркегор требует ни больше ни меньше, как третьей жертвы, на которой некогда настаивал Игнатий Лойола и которая радует Бога сильнее всего: «жертвы Интеллекта»[60]. Это весьма странное следствие «прыжка», но оно не должно нас больше удивлять. Кьеркегор делает абсурд критерием другого, потустороннего мира, тогда как это выжимка опыта, полученного в мире посюстороннем. «В своем поражении, – говорит он, – верующий обретает свое торжество».

Я не собираюсь задаваться вопросом, с каким волнующим пророчеством соотносится эта позиция. Я только спрошу себя, оправдывают ли такую позицию зрелище и особенности абсурда. В том, что касается этого пункта, я знаю, что это не так. Рассматривая снова содержание абсурда, можно лучше понять метод, которым вдохновляется Кьеркегор. Он не поддерживает равновесия между иррациональным в мире и бунтующей ностальгией абсурда. Он не соблюдает отношения, которое и составляет чувство абсурда в собственном смысле слова. Убежденный в том, что ему не избавиться от иррационального, он хочет отделаться по крайней мере от проникнутой отчаянием ностальгии, которая представляется ему бесплодной и никчемной. Но если он может быть прав в своем суждении об этом, он никак не прав в своем отрицании. Едва он заменяет бунтарский клич неистовым приятием, как неминуемо приходит к игнорированию абсурда, который освещал ему путь до сих пор, и к обожествлению единственного, в чем он еще остается уверен, – иррациональности. Важно не столько вылечиться, говорил аббат Гальяни госпоже д'Эпине, сколько научиться жить со своими болезнями. Кьеркегор хочет вылечиться. Вылечиться – в этом его яростное желание, им проникнут весь его дневник. Все усилия его ума направлены на то, чтобы ускользнуть от двойственности человеческого удела. Усилия тем более отчаянные, что время от времени его озаряет мысль об их тщетности, например, когда он рассказывает о себе, как ни страх перед Богом, ни благоговение пред ним не были способны принести ему душевный покой.

В результате он при помощи мучительных уловок придает иррациональному некую личину, а своему Богу – признаки несправедливого, непоследовательного, непостижимого абсурда. Ум пробует в одиночку задушить в Кьеркегоре глубинные домогательства человеческого сердца. Коль скоро ничего не доказано, может быть доказано все, что угодно.

Сам Кьеркегор раскрывает нам пройденную им дорогу. Здесь я не хочу ничего привносить от себя, но как не заметить в его сочинениях признаки почти намеренного уродования души перед лицом уродства покорности абсурду? Это лейтмотив «Дневника». «Чего во мне

[60] Можно подумать, что я пренебрег здесь самым существенным вопросом – вопросом о вере. Но я не рассматриваю философию Кьеркегора, или Шестова, или, дальше, Гуссерля, для этого нужно другое место и другой настрой ума, я беру у них одну тему и смотрю, может ли ее развитие отвечать обозначенным выше правилам. Речь идет только об упорстве в стремлении к цели.

недостает, так это животного начала, которое ведь составляет одно из слагаемых человеческой судьбы… Но дайте же мне наконец тело». И дальше: «О, чего бы я не отдал, особенно в юные годы, за счастье быть мужчиной хотя бы шесть месяцев… в сущности, мне не хватает тела и физических предпосылок существования». В другом месте тот же самый человек присоединяется тем не менее к великому кличу надежды, которая была пронесена через столько веков и вдохновила столько сердец, за исключением сердца человека абсурда. «Но для христианина смерть отнюдь не конец всего и предполагает гораздо большую надежду, чем та, которую дает нам жизнь, даже пышущая здоровьем и силой». Примирение через скандал – это все равно примирение. Оно позволяет, быть может, извлечь надежду, как мы это видели, из ее противоположности, каковой является смерть. Но даже и тогда, когда симпатия побуждает склониться к этой позиции, следует все же сказать, что превышение меры ничего не оправдывает. Подчас говорят: это превосходит человеческую меру, а значит, должно быть сверхчеловечно. Но это «значит» тут лишнее. Здесь нет логически выводимой уверенности. Нет даже экспериментальной вероятности. Это действительно превосходит мою меру – вот все, что я вправе сказать. И если я не вывожу отсюда отрицания, то по крайней мере не хочу и ничего основывать на непостижимом. Я хочу знать, могу ли я жить с тем, что я знаю, и только с тем, что знаю. Еще мне говорят, что интеллект должен пожертвовать своей гордыней и разум должен себя смирить. Но если я полагаю, что у разума есть свои пределы, я тем самым вовсе его не отрицаю, а признаю его относительные возможности. Я только хочу держаться того срединного пути, где ум может оставаться ясным. И если в этом его гордыня, то я не вижу достаточных причин от нее отказываться. Скажем, нет ничего глубже, чем взгляд Кьеркегора, согласно которому отчаяние есть не событие, а состояние – само состояние греховности. Ведь грех – это то, что удаляет от Бога. Абсурд, являющийся метафизическим состоянием сознательного человека, не ведет к Богу[61]. Быть может, это понятие станет яснее, если я отважусь на такое чудовищное заявление: абсурд – это грех без Бога.

Все дело в том, чтобы в состоянии абсурда жить. Я знаю, на чем оно основано: подпирающие друг друга, однако не могущие слиться в объятиях человеческий ум и мир. Я задаюсь вопросом о правилах жизни в этом состоянии, но то, что мне предлагают, пренебрегает самой их основой, отрицает один из членов мучительного противостояния, повелевает мне сдаться. Я спрашиваю, каковы следствия участи, которую я считаю моей, знаю, что она предполагает неведение и темноту, а меня уверяют, будто это неведение все объясняет и будто тьма ночная как раз и есть мой свет. Но тут нет ответа на мой вопрос, и возбужденным словоизлиянием не скрыть от меня парадокс. Надо, стало быть, отвернуться. Кьеркегор может сколько угодно восклицать, предупреждать: «Если бы человек не обладал сознанием вечности, если бы в глубинах всех на свете вещей не было ничего, кроме дикой бурлящей мощи, которая в вихре темных страстей производила бы все сущее, от великого до ничтожно малого, если бы за вещами пряталась ничем не заполнимая бездонная пустота, чем бы была тогда жизнь, как не отчаянием?» В этом крике нет ничего способного остановить человека абсурда. Искать истину не то же самое, что искать желательное нам. Если ради избавления от проникнутого тоскливым страхом вопроса «Чем была бы тогда жизнь?» надо, подобно ослу, кормиться розами иллюзий, то ум человека абсурда вместо того, чтобы смириться с ложью, предпочитает бестрепетно принять ответ Кьеркегора: «отчаянием». Исполненная решимости душа, взвесив все как следует, всегда сумеет с этим ужиться.

Я беру на себя смелость назвать здесь экзистенциалистскую позицию философским самоубийством. Но в этом нет никакой оценки. Просто это удобный способ обозначить такой ход мысли, при котором она отрицает сама себя и старается себя превзойти в том, что является ее отрицанием. Для экзистенциалистов отрицание и есть их Бог. Сказать точно, Бог этот поддер-

[61] Я не сказал «исключает Бога», это было бы утверждением.

живает себя только отрицанием человеческого разума[62]. Но, как и самоубийство, Бог у каждого человека свой. Есть множество способов прыгать, важен самый прыжок. Эти искупительные отрицания, эти заключительные противоречия, отрицающие не преодоленную пока преграду, с равным успехом (на этот парадокс и нацелено настоящее рассуждение) могут быть порождены как религиозным вдохновением определенного толка, так и соображениями рационального порядка. Все они претендуют на достижение вечного – собственно, в этом и состоит прыжок.

Следует снова сказать, что разворачиваемое в настоящем эссе рассуждение оставляет целиком в стороне самую распространенную в наш просвещенный век духовную позицию – ту, что исходит из принципа, согласно которому все сущее есть разум, и преследует цель объяснить мир. Естественно постараться дать о мире ясное представление, коль скоро отправляешься от допущения, что он должен быть ясен. Это было бы вполне оправдано, однако не имеет касательства к тому рассуждению, которое мы здесь продолжаем. Действительно, задача его в том, чтобы осветить ход мысли, при котором она, начав с философии отсутствия смысла в мире, в конце концов обнаруживает в нем и смысл, и глубину. Самое патетичное в этом ходе мысли имеет религиозную природу – недаром мысль эта особенно усердно разрабатывает тему иррационального. Но самое парадоксальное и самое знаменательное проступает тогда, когда мир получает разумное обоснование-оправдание, хотя поначалу его рисовали себе лишенным какого бы то ни было ведущего принципа. Во всяком случае, нельзя приступить к занимающим нас следствиям, не дав предварительно представления об этом новом приобретении охваченного ностальгией духа.

Я рассмотрю только тему «интенциональности», вошедшую в моду благодаря Гуссерлю и феноменологам. Намек на это был уже сделан раньше. Попросту сказать, гуссерлианский метод отвергает приемы классического рационализма. Повторим еще раз. Мыслить – не означает подводить все под единую мерку, придавать вещам знакомый вид посредством отсылки к обличью одного большого принципа. Мыслить – означает заново научиться смотреть, направлять сознание на предметы, ставить каждый очередной образ в привилегированное положение. Другими словами, феноменология отказывается объяснять мир, она хочет быть только описанием пережитого. Она присоединяется к абсурдной мысли в исходном для них обеих утверждении, что истины нет, есть только истины.

У каждой вещи своя истина, будь то вечерний ветерок или чья-то рука на моем плече. Сознание и высвечивает эту истину, направив на нее внимание. Сознание не образует предмета познания, оно лишь на чем-нибудь сосредоточивается, само есть акт внимания и похоже, если позаимствовать образ у Бергсона, на проекционный фонарь, внезапно останавливающий на каком-то образе свои лучи. Разница в том, что связного сценария нет, есть лишь сменяющие один другой и лишенные последовательности кадры. Для этого волшебного фонаря все образы привилегированные. В порядке опыта сознание заставляет застыть в подвешенном состоянии предметы своего внимания. Чудом своей сосредоточенности на них оно их изолирует. И тогда они находятся вне каких бы то ни было суждений. Это и есть «интенциональность», характеризующая сознание. Только слово на сей раз не подразумевает никакой устремленности к цели; оно взято в значении «направленность на» и имеет сугубо топографический смысл.

На первый взгляд тут вроде бы ничто не противоречит духу абсурда. Явная скромность мысли, ограничивающей себя описанием того, что она отказывается объяснять, добровольная дисциплина, из которой парадоксально вытекает глубокое обогащение опыта и возрождение мира в его изобилии, – все это присуще и абсурдному подходу. По крайней мере на первый взгляд. Ведь все способы мышления, как в данном случае, так и во всех других, имеют всегда два аспекта – психологический и метафизический[63]. Тем самым за ними кроются две истины.

---

[62] Уточним еще раз: под вопрос здесь поставлено не само утверждение бытия Бога, а ведущая к этому логика.

[63] Даже самые строгие эпистемологические учения предполагают всякий раз свою метафизику.И при этом настолько, что

Если тема интенциональности претендует продемонстрировать только психологическую установку, согласно которой действительность можно исчерпать, но нельзя объяснить, ничто и в самом деле не разделяет эту установку и дух абсурда. Дух этот нацелен на перебирание того, что он не в силах трансцендировать. Он утверждает только, что при отсутствии принципа единства мысль может тем не менее обрести радость в том, чтобы описывать и понимать каждое проявление опыта. Истина, о которой в таком случае заходит речь применительно к каждому из этих проявлений, истина психологическая. Она свидетельствует о том «интересе», какой может вызывать действительность. Это способ разбудить дремлющий мир и таким ожившим явить его духу. Но если хотят распространить и рационально обосновать само понятие истины, если таким путем претендуют открыть «сущность» каждого предмета познания, то восстанавливают глубину опыта. Духу абсурда это непонятно. В результате именно колебание между скромностью и самоуверенностью ощутимо в интенциональной установке, и это мерцание феноменологической мысли может послужить лучшей иллюстрацией к рассуждению об абсурде.

Ибо Гуссерль тоже говорит о выявляемых интенцией «вневременных сущностях», и тогда кажется, что слышишь Платона. Вещи объясняются не какой-то одной сущностью, а многими. Я не вижу тут разницы. Конечно, никто не хочет, чтобы эти идеи или сущности, которым сознание помогает «состояться» к концу каждого описания, были идеальными моделями. Однако утверждается, что они прямо присутствуют в каждом слагаемом восприятия. Нет больше одной-единственной идеи, объясняющей все на свете, есть бесконечное число сущностей, придающих смысл бесконечному числу предметов. Хотя мир и освещается, он застывает в неподвижности. Платоновский реализм становится интуитивистским, но это по-прежнему реализм. Кьеркегор растворялся в Боге, Парменид низвергался мыслью в пучину Единого. Здесь же мысль ударяется в абстрактный политеизм. Больше того, галлюцинации и вымыслы тоже принадлежат к «вневременным сущностям». В этом новом мире идей категория кентавра сотрудничает с более скромной категорией столичного города.

Для человека абсурда была своя правота, как одновременно и своя горечь, в чисто психологическом мнении о том, что все лики мира привилегированны. Сказать: все привилегированно – то же самое, что сказать: все равнозначно. Однако метафизический аспект этой истины заводит так далеко, что в силу простейшей реакции чувствуешь себя, пожалуй, ближе к Платону. И действительно, преподносимый тут урок сводится к тому, что каждый образ предполагает равно привилегированную сущность. В этом идеальном мире без иерархии армия состоит из одних генералов. Конечно, трансценденция здесь упразднена. Однако резкий поворот мысли снова вносит в мир своего рода раздробленную имманентность, которая возвращает вселенной ее глубину.

Не должен ли я опасаться, что зашел слишком далеко в истолковании темы, с которой ее создатели обращаются гораздо осторожнее? Но я просто читаю следующие утверждения Гуссерля, и, хотя внешне они парадоксальны, однако, учтя сказанное выше, нельзя не почувствовать их строгую логику: «То, что истинно, истинно абсолютно, в себе; истина едина; она тождественна самой себе, кто бы ее ни воспринимал – люди, чудовища, ангелы или боги». Разум торжествует и звонко трубит здесь о своей победе – не могу этого отрицать. Но что может означать самоутверждение Разума в абсурдном мире? Восприятие, присущее ангелам или Богу, не имеет для меня ни малейшего смысла. Геометрическое пространство, где Божественный разум одобрял бы суждения моего разума, для меня непостижимо во веки веков. Здесь я опять распознаю прыжок, и хотя он совершается где-то среди абстракций, тем не менее он отнюдь не означает для меня забвения того, что я как раз не хочу забывать. Когда Гуссерль дальше восклицает: «Если бы все тела, подвластные закону притяжения, вдруг исчезли, закон притяжения не был бы упразднен, а просто остался без возможного приложения», – я знаю, что передо

метафизика многих мыслителей нашего времени состоит в том, чтобы не иметь ничего, кроме эпистемологии.

мной метафизика утешения. И если я хочу обнаружить тот поворот, где мысль покидает дорогу очевидностей, мне достаточно перечитать другое подобное рассуждение Гуссерля по поводу духовной деятельности: «Если бы мы могли отчетливо наблюдать точные законы психических процессов, они бы предстали нам в равной степени вечными и неизменными, подобно фундаментальным законам теоретического естествознания. И следовательно, они остались бы в силе даже при полном отсутствии психических процессов». Даже если бы духовной деятельности не было, ее законы существовали бы! В таком случае я понимаю, что Гуссерль претендует превратить психологическую истину в рациональное правило: отвергнув объединяющую власть человеческого разума, он таким окольным путем перепрыгивает к вечному Разуму.

Гуссерлианская тема «конкретного мира» не может меня тогда удивить. Сказать мне, что не все сущности формальны, а есть среди них и материальные, что первые являются предметом логики, а вторые – предметом науки, – все это исключительно вопрос определения. Абстрактное, уверяют меня, указывает лишь на бесплотную часть конкретно универсального. Но уже отмеченное выше колебание позволяет мне прояснить путаницу этих понятий. Ведь сказанное может означать, что конкретный предмет моего внимания – вот это небо, вот эти брызги воды на поле моего пальто – сохраняет сам по себе достоинство быть той действительностью, которую мой интерес выделяет в мире. И я не стану этого отрицать. Но сказанное может также означать, что само это пальто универсально, имеет свою особую и самодостаточную сущность, принадлежит к миру форм. Тогда я понимаю, что изменен только порядок следования. Здешний мир больше не отражается в мире высшем, а небо форм запечатлелось в бесконечном множестве земных образов. Для меня тут ничего не меняется. Во всем этом я нахожу не вкус к конкретному, не ощущение удела человеческого, а довольно разнузданный интеллектуализм, превращающий само конкретное во всеобщее.

Напрасно было бы удивляться тому видимому парадоксу, что мысль приходит к самоотрицанию двумя противоположными путями – как через смиренный разум, так и через разум торжествующий. От абстрактного Бога Гуссерля до ослепительно сияющего Бога Кьеркегора не так уж далеко. И разум, и иррациональное ведут к одной и той же проповеди. Потому что дорога, по сути дела, не так уж важна, достаточно воли к чему-то прийти. Отвлеченный философ и философ религиозный начинают с одинакового смятения и пребывают в одинаковой тоске. Но самое главное для них обоих – объяснить. Ностальгия тут сильнее, чем наука. Знаменательно, что мысль нашей эпохи так проникнута философией отсутствия смысла в мире и вместе с тем так разорвана в своих умозаключениях. Она беспрестанно колеблется между крайней рационализацией действительности, побуждающей дробить эту действительность на рассудочные модели, и столь же крайней иррационализацией действительности, заставляющей обожествлять эту последнюю. Расхождение между этими двумя установками лишь кажущееся. В обоих случаях речь идет о примирении с бытием, а для этого достаточно прыжка. Всегда ошибочно думают, будто понятие разума однозначно. На самом деле, сколь бы строгим оно ни старалось выглядеть, оно ничуть не менее подвижно, чем любое другое. Вид у разума вполне человеческий, однако разум умеет повернуться лицом и к Божественному. Со времен Плотина, который первым сумел примирить разум с климатом вечности, разум научился отворачиваться от самого дорогого ему принципа – принципа противоречия, чтобы вобрать в себя принцип самый странный, магический – принцип причастности[64]. Разум – это инструмент мысли, а не сама мысль. В первую очередь мысль человека есть его ностальгия.

---

[64] А. В те времена разум должен был либо приспособиться, либо умереть. Он приспосабливался. У Плотина он из логического превращается в эстетический. Метафора замещает силлогизм.Б. Впрочем, это не единственный вклад Плотина в феноменологию. Весь этот подход был уже заключен в столь дорогом александрийскому мыслителю соображении, что существует не только идея человека, но и идея Сократа.

Точно так же, как разум сумел утолить меланхолию Плотина, он предоставляет и современному тоскливому страху средства успокоения среди знакомых декораций вечности. Духу абсурда повезло меньше. Мир для него не столь же рационален и не в такой же степени иррационален. Он не разумен, только и всего. Разум у Гуссерля, в конце концов, не ведает никаких ограничений. Напротив, абсурд устанавливает для себя пределы, потому что он не в силах унять свой тоскливый страх. С другой стороны, Кьеркегор утверждает, что одного-единственного предела достаточно для того, чтобы отрицать разум. Но абсурд не заходит так далеко. Для него этот предел имеет в виду только притязания разума. Тема иррационального, как она понимается экзистенциалистами, – это разум, который приходит в замешательство и упраздняет себя в самоотрицании. Абсурд же – это ясный разум, осознающий свои пределы.

В самом конце своего трудного пути человек абсурда осознает свои истинные побуждения. Сравнивая свой глубокий запрос с тем, что ему предлагается, он внезапно чувствует, что вскоре от всего этого отвернется. В мире Гуссерля сущее прояснено, и владевшая человеческим сердцем жажда близкого знакомства с вещами становится бесполезной. В апокалипсической вселенной Кьеркегора это желание ясности должно от себя отречься ради собственного удовлетворения. Грех не столько в знании (в этом отношении невинны все), сколько в желании знать. Как раз это единственный грех, в котором человек абсурда может чувствовать себя и виноватым, и невиновным. Ему предлагается решение, при котором все былые противоречия не более чем полемические игры. Но он-то их ощутил совсем не такими. Их истина, состоящая в том, что им нет удовлетворения, должна быть сохранена. Он не желает впадать в проповедничество.

Мое рассуждение хочет остаться верным той очевидности, которой оно было разбужено. Эта очевидность – абсурд. То есть разрыв между взыскующим духом и разочаровывающим миром, между тоской по единству и распыленной вселенной и связывающее все это вместе противоречие. Кьеркегор устраняет мою тоску, а Гуссерль собирает мир воедино. Я ждал совсем не этого. Задача была в том, чтобы жить и думать посреди этого мучительного разлада, выяснить, следует ли его принять или отвергнуть. Не могло быть и речи о том, чтобы скрыть очевидность, устранить абсурд, убрав одно из слагаемых этого уравнения. Надо знать, можно ли в абсурде жить или логика предписывает умереть. Ведь меня занимает не философское самоубийство, а просто самоубийство. Я хочу только очистить его от содержащихся в нем эмоций и понять, в чем тут логика и в чем честность. Любая другая позиция подразумевает для абсурдного ума сокрытие правды и отступление от того, на что он сам пролил свет. Гуссерль говорит о необходимости повиноваться желанию избегать «укоренившейся привычки жить и мыслить в некоторых хорошо знакомых и удобных условиях существования», однако заключительный прыжок восстанавливает у него вечность с ее удобствами. Сам прыжок не является крайней опасностью, как на том настаивал Кьеркегор. Напротив, гибелью грозит трудноуловимый миг перед самым прыжком. Суметь удержаться на этой головокружительной горной гряде – вот в чем честность, все прочее – увертки. Еще я знаю, что немощь никогда не вдохновляла на столь волнующие созвучия, как у Кьеркегора. Но если немощи принадлежит свое место в безучастных просторах истории, то ей не найти места в рассуждении, запрос которого теперь известен.

Абсурдная свобода

Теперь главное сделано. У меня есть несколько очевидностей, с которыми я не могу расстаться. То, что я знаю, в чем твердо убежден, чего не могу ни отрицать, ни отбросить, – вот что важно. Я могу отвергнуть всю живущую смутной ностальгией часть меня самого, кроме моего желания единства, моей жажды найти решение, моего запроса в ясности и упорядоченности. Я могу все отринуть в окружающем меня мире, который меня ущемляет или приводит в восторг, кроме его хаоса, царящего в нем случая и того Божественного всеуравнивания, что порожда-

ется анархией. Я не знаю, есть ли у этого мира превосходящий его смысл. Но я знаю, что мне этот смысл неведом и что сейчас у меня нет возможности его постичь. Что значит для меня это значение, находящееся за пределами того, что мне доступно? Я могу понимать не иначе, как с помощью человеческих понятий. То, к чему я прикасаюсь, что мне сопротивляется, – вот это я понимаю. И еще я знаю, что не могу примирить две мои уверенности – мою жажду абсолюта и единства, с одной стороны, и несводимость мира к рациональному и разумному принципу, с другой. Какую еще истину могу я признать, не вмешивая в дело надежду, которой у меня нет и которая ничего не означает в рамках моей участи?

Будь я деревом среди деревьев, кошкой среди животных, эта жизнь имела бы смысл или, точнее, сама эта проблема не имела бы смысла, ведь я составлял бы частицу мира. Я *был бы* этим миром, которому я сейчас противостою всем моим сознанием и всей моей потребностью сблизиться с сущим. Как бы смехотворно мал ни был мой разум, именно он противополагает меня вселенной. Я не могу ее отменить одним росчерком пера. Следовательно, я должен беречь то, что считаю истинным. Даже вопреки себе я должен поддерживать то, что нахожу столь очевидным.

И что, как не мое сознание, лежит в основе этого конфликта, этой трещины между миром и моим духом? А значит, если я хочу сохранить этот конфликт, то не иначе, как благодаря постоянному осознаванию, всякий раз возобновляемому, всегда пребывающему в напряженности. Вот что мне в настоящий момент надо держать в уме. В этот момент абсурд, одновременно столь очевидный и с таким трудом поддающийся попыткам им овладеть, возвращается в жизнь человека и обретает там свою родину. И еще в этот момент ум имеет возможность покинуть выжженную бесплодную дорогу своих трезво осмысленных стараний. Теперь эта дорога приводит к повседневной жизни. Она позволяет вернуться к существованию в безымянном людском множестве, только отныне человек оказывается там вместе со своим бунтом и ясным видением вещей. Он разучился надеяться. Ад настоящего – это и есть в конце концов его царство. Все проблемы снова обретают свою остроту. Отвлеченная очевидность отступает перед лиризмом форм и красок. Духовные конфликты воплощаются заново и находят себе жалкое и великолепное прибежище в сердце человеческом. Ни один из них не получил разрешения. Но все они преобразились. Предстоит ли умереть, выскользнуть благодаря прыжку, заново построить дом идей и форм по собственной мерке? Предстоит ли, наоборот, держать мучительное и дивное пари с абсурдом? Сделаем в этой связи последнее усилие и извлечем все выводы до конца. Тело, нежность, творчество, действие, человеческое благородство опять займут свое место в этом лишенном смысла мире. Человеку станут, наконец, доступны вино абсурда и хлеб безучастности, которыми он вскармливает свое величие.

Настойчиво подтвердим еще раз метод: он в том, чтобы упорно стоять на своем. В определенной точке своего пути человек абсурда подвергается искусу. История не страдает от нехватки религий и пророков, даже и тех, кто без Бога. Человеку абсурда предлагают совершить прыжок. Единственно возможный для него ответ сводится к тому, что он как следует не понимает, что необходимость прыжка для него вовсе не очевидна. Он же как раз хочет делать лишь то, что хорошо понимает. Его заверяют, что это грех гордыни, – но понятие греха для него непостижимо; что в конце пути его может ждать ад, – но ему не хватает воображения, чтобы представить себе столь странное будущее; что он утрачивает право на вечную жизнь, – но это кажется ему сущим пустяком. Его хотели бы заставить признать свою вину. Он же чувствует себя невиновным. Сказать по правде, он не чувствует ничего, кроме своей неистребимой невиновности. Она-то ему все и позволяет. В результате он заставляет самого себя жить *исключительно* тем, что ему известно, обходиться тем, что есть, и не допускать вмешательства того, в чем нет уверенности. Ему отвечают, что ее ничто не внушает. Но по крайней мере существует эта достоверность. С ней он и имеет дело: он хочет знать, возможно ли жить без зова свыше.

Теперь я могу заняться впрямую понятием самоубийства. Выше уже было дано почувствовать, как мог бы решаться этот вопрос. Но сейчас сама проблема перевернута. Прежде речь шла о том, чтобы выяснить, должна ли жизнь иметь смысл, чтобы быть прожитой. Сейчас же, наоборот, обнаруживается, что она будет прожита тем лучше, чем полнее в ней будет отсутствовать смысл. Пережить и испытать то, что тебе положено судьбой, – значит всецело ее принять. Но, зная, что судьба абсурдна, ее испытаний не пережить, если не сделать все возможное, чтобы поддерживать этот выявленный сознанием абсурд. Опустить одну из сторон противостояния, которым живешь, означает от него бежать. Упразднить осознанный абсурд означает уклониться от проблемы. Тема перманентной революции переносится, таким образом, в индивидуальный опыт. Жить означает поддерживать жизнь абсурда. Поддерживать жизнь абсурда означает прежде всего смотреть на него в упор.

В противовес Эвридике абсурд умирает только тогда, когда от него отворачиваются. Одной из самых последовательных философских установок является поэтому бунт. Он представляет собой постоянное столкновение человека с собственным неведением. Он есть требование невозможной прозрачности сущего.

В каждый очередной миг он ставит мир под вопрос. Подобно тому, как опасность служит человеку незаменимым поводом уловить существо бунта, так и метафизический бунт распространяет осознание на весь опыт. Бунтом человек удостоверяет самому себе свое постоянное присутствие. Он отнюдь не упование, в нем нет надежды. Бунт есть убежденность в давящем гнете судьбы за вычетом смирения, которое должно было бы этой убежденности сопутствовать.

Здесь-то и становится видно, как далеко опыт абсурда отстоит от самоубийства. Можно подумать, что самоубийство следует за бунтом. Но это ошибка. Потому что самоубийство вовсе не является логическим следствием бунта. Оно как раз противоположно бунту, поскольку предполагает согласие. Самоубийство, как и прыжок, – это полнейшее приятие сущего. Все исчерпано до конца, человек возвращается к сути своей судьбы. Он прозревает свое будущее, свое единственное и трагическое будущее, – и устремляется ему навстречу. На свой лад самоубийство служит абсурду разрешением. Оно увлекает абсурд к той же смерти. Но я знаю, что абсурд, дабы сохранить себя, не может себе позволить разрешения. Он избегает самоубийства в той мере, в какой он одновременно и осознание смерти, и ее неприятие. Он выглядит тем самым шнурком от ботинка, который приговоренный к смерти вопреки всему вдруг замечает в нескольких метрах от себя на исходе своей самой последней мысли, перед своим головокружительным падением. Прямая противоположность самоубийцы – это как раз приговоренный к смерти.

Такой бунт придает жизни ценность. Когда он распространяется на чью-то жизнь целиком, он возвращает ей величие. Для человека без шор нет зрелища прекраснее, чем разум в схватке с превосходящей его действительностью. Зрелище человеческой гордости ни с чем не сравнимо. Тщетны попытки ее умалить. Дисциплина, которую дух предписывает себе, всецело им самим выкованная воля, поединок лицом к лицу – во всем этом есть мощь и самобытность. Обеднить действительность, которая своим бесчеловечием питает величие человека, – значит обеднить самого человека. И я понимаю, почему учения, берущиеся объяснить мне все на свете, тем самым меня ослабляют. Они облегчают груз моей жизни, тогда как необходимо, чтобы я сам его нес. Но в таком случае я никак не могу допустить, чтобы скептическая метафизика соединилась с моралью отречения.

Сознание и бунт – оба эти вида неприятия действительности противоположны отречению. Наоборот, их одухотворяет собой все то, что в сердце человеческом проникнуто непокорством и страстью. Суть дела в том, чтобы умереть непримиренным, а не по собственной воле. Самоубийство – это самоуничижение. Человек абсурда может лишь все исчерпать и исчерпать самого себя. Абсурд – это предельное напряжение, которое он постоянно поддерживает своим

одиноким усилием, потому что знает: своим сознанием и бунтом изо дня в день он свидетельствует о своей единственной правде, которой является вызов. И это первое следствие.

Если я продолжаю придерживаться согласованной ранее установки на то, чтобы извлекать все следствия (и ничего, кроме них), вытекающие из открытого мною понятия, то я оказываюсь перед вторым парадоксом. Коль скоро я верен этому методу, мне нечего делать с проблемой метафизической свободы. Меня не интересует, свободен человек или нет. Мне доступен лишь опыт моей собственной свободы. О ней я не могу иметь общих понятий, а только некоторые отчетливые соображения. Проблема «свободы в себе» лишена смысла. Ибо она на свой особый лад связана с проблемой Бога. Чтобы выяснить, свободен ли человек, необходимо выяснить предварительно, может ли над ним быть хозяин. Особая абсурдность этой проблемы имеет своей причиной то обстоятельство, что само понятие, делающее возможной проблему свободы, вместе с тем лишает ее всякого смысла. Ибо перед лицом Бога существует не столько проблема свободы, сколько проблема зла. Известна альтернатива: либо мы не свободны и всемогущий Бог несет ответственность за зло, либо мы свободны и несем ответственность сами, а Бог не всемогущ. И все ухищрения философских школ ничуть не прибавили и не убавили разительности этому парадоксу.

Вот почему я не могу позволить себе погрузиться в восхваление или просто определение понятия, которое ускользает от меня и утрачивает свой смысл, едва оно выходит за рамки лично моего опыта. Я не могу взять в толк, что такое свобода, дарованная мне высшим существом. Я потерял представление об иерархии. О свободе я могу иметь лишь то понятие, какое существует у заключенного в тюрьме или у подданного современного государства. Единственная ведомая мне свобода – это свобода мысли и действия. Абсурд сводит к нулю все мои шансы на вечную свободу, зато возвращает мне свободу поступков и на нее воодушевляет. Лишение надежды и будущего означает рост готовности человека к действию.

До встречи с абсурдом обычный человек живет, имея свои цели, свои заботы о будущем или об оправданности своего существования (сейчас вопрос не в том, по отношению к чему или к кому). Он взвешивает свои шансы, рассчитывает на будущее, на свой уход на пенсию или на работу своих сыновей. Он еще верит, что кое-что в его жизни управляемо. По сути, он поступает так, как если бы был свободен, даже тогда, когда все факты словно взялись противоречить этой свободе. После встречи с абсурдом все оказывается потрясено. Мысль, что «я есмь», мой способ действовать так, будто все имеет смысл (пусть бы я при случае и говорил, что его нет ни в чем), – все это головокружительно опровергается абсурдностью возможной смерти. Думать о завтрашнем дне, намечать себе цель, иметь предпочтения – все это подразумевает веру в свободу, даже если иной раз и утверждают, что свободными себя не чувствуют. Но в момент открытия абсурда я твердо знаю, что высшей свободы, свободы *быть*, единственно могущей послужить основанием для истины, не существует. Смерть присутствует где-то рядом как единственная действительность. После нее все будет кончено. К тому же я не волен продолжать жить, а являюсь рабом, рабом без надежды на вечную революцию, даже без возможности прибегнуть к презрению. И кто может без революции и без презрения оставаться рабом? Какая свобода в полном смысле этого слова может существовать без уверенности в вечной жизни?

Но в то же время человек абсурда понимает, что до сих пор он был связан с постулатом о свободе, иллюзией которой он жил.

В известном смысле это его сковывало. В той мере, в какой он выдвигал перед своей жизнью цель, он сообразовывал свои поступки с требованиями преследуемой им цели и становился рабом своей свободы. Так, я смогу в дальнейшем поступать не иначе, как отец семейства (или инженер, или народный вождь, или сверхштатный почтовый служащий), которым я готовлюсь стать. Я верю, что могу выбрать, быть ли мне вот этим, а не тем. Правда, я верю в это бессознательно. Но одновременно я придерживаюсь моего постулата и относительно верований тех, кто меня окружает (иные из них так уверены в своей свободе, и простодушие их

так заразительно!), относительно предрассудков моей среды. Как бы далеко от моральных и социальных предрассудков им ни удавалось держаться, частично их влияние испытывают, а с лучшими из них (предрассудки бывают и хорошими, и дурными) даже сообразуют свою жизнь. Так человек абсурда понимает, что в действительности он не был свободен. Сказать яснее, я втискиваю мою жизнь между изготовленными мною загородками в той мере, в какой я питаю надежду, или беспокоюсь о моей личной правде, о том или ином способе жить и творить, в той, наконец, мере, в какой я стараюсь упорядочить мою жизнь и тем самым допускаю, что у нее есть смысл. Я поступаю подобно стольким внушающим мне отвращение чиновникам сердца и ума, которые заняты, теперь я это отлично вижу, исключительно тем, что принимают свободу человека всерьез.

Абсурд просвещает меня на этот счет: завтрашнего дня нет. Вот в чем отныне причина моей внутренней свободы. Приведу здесь два сопоставления. Прежде всего сошлюсь на мистиков, которые находят свободу в отречении от себя. Растворившись в Боге, сделав своими его правила, они, в свою очередь, становятся тайно свободными. В непроизвольно принятом рабстве они обретают глубокую независимость. Но что означает эта свобода? Можно особо подчеркнуть, что они *чувствуют* себя свободными относительно самих себя и скорее освобожденными, чем свободными. Точно так же человек абсурда, всецело повернувшись лицом к смерти (понимаемой в данном случае как очевиднейший из абсурдов), чувствует себя избавленным от всего, что не есть это кристаллизующееся в нем страстное внимание. Он наслаждается свободой от общепринятых правил. Здесь видно, что исходные темы экзистенциалистской философии сохраняют всю свою ценность. Возврат к отчетливому сознанию, бегство от повседневного сна являются первоначальными посылками абсурдной свободы. Зато на прицел берутся экзистенциалистская *проповедь* и вместе с ней духовный прыжок, в основе своей бессознательный. Подобным же образом (и это мое второе сопоставление) рабы в древности не принадлежали самим себе. Но им был знаком тот вид свободы, который состоит в отсутствии чувства ответственности[65]. У смерти тоже руки патрициев – они подавляют, но и избавляют.

Погрузиться в столь бездонную уверенность, почувствовать себя с этого момента в достаточной мере посторонним собственной жизни, чтобы укрупнить ее очертания и окинуть беглым взглядом, не страдающим близорукостью влюбленного, – тут проявляет себя принцип освобождения. Как и всякая свобода действий, эта новая независимость имеет свой временной предел. Чека на вечность у нее нет. Но она заменяет собой иллюзии *свободы*, которым в час смерти приходит конец. Божественная готовность ко всему, присущая осужденному на казнь, когда однажды ранним утром перед ним распахиваются двери тюрьмы, его невероятное безразличие ко всему, кроме чистого пламени жизни, – смерть и абсурд предстают здесь, это отчетливо ощутимо, принципами единственно разумной свободы: той, которую дано испытать сердцу человеческому и которой оно может жить. Таково второе следствие. В результате взору человека абсурда открывается объятая огнем и скованная льдом, прозрачная и ограниченная в своих пределах вселенная, где все невозможно, однако все дано и вне которой нет ничего, кроме гибели и небытия. И тогда он может решиться принять существование в такой вселенной и черпать в этом свои силы, свой отказ от надежды и упрямое свидетельство жизни без утешения.

Но что означает жить в такой вселенной? Пока что ничего, кроме безразличия к будущему и страстной жажды исчерпать все, что дано. Вера в смысл жизни всегда предполагает иерархию ценностей, выбор, наши предпочтения одного другому. Вера в абсурд, как он был нами определен, учит обратному. Но на этом стоит остановиться особо.

Выяснить, возможно ли жить без зова свыше, – вот все, что меня занимает. Я вовсе не хочу выходить за границы этой площадки. Могу ли я приспособиться к жизни в том ее виде,

[65] Речь идет о действительном сходстве, а не о хвалах покорности. Человек абсурда противоположен человеку покорному.

в каком она мне дана? В свете этой особой заботы вера в абсурд равносильна замене качества опыта его количеством. Если я убежден, что эта жизнь есть не что иное, как абсурд, если я испытал, что все ее равновесие держится на постоянном противоборстве между моим осознанным бунтом и той темнотой, где он барахтается, если я согласился с тем, что моя свобода имеет смысл лишь относительно своей ограниченной участи, – в таком случае я должен сказать, что важно не прожить как можно лучше, а пережить как можно больше. Мне нет необходимости задаваться вопросом, вульгарно это или отвратительно, изящно или достойно сожалений. Ценностные суждения тут раз и навсегда вытеснены суждениями констатирующими. Я должен лишь извлекать следствия из того, что сумел увидеть, и ни в чем не полагаться на то, что гипотетично. Если же предположить, что так жить нечестно, то подлинная честность предписывала бы мне быть бесчестным.

Пережить как можно больше – при широком толковании этого жизненного правила оно ничего не означает. Нужно его уточнить.

И прежде всего кажется, что в само понятие количества вникли недостаточно глубоко. Ведь посредством этого понятия возможно дать отчет о весьма значительной части человеческого опыта. Нравственность человека, его шкала ценностей получают свой смысл лишь благодаря количеству и разнообразию опыта, который ему довелось накопить. Условия современной жизни таковы, что большинство людей наделено одинаковым количеством опыта и, стало быть, опытом одинаковой глубины. Конечно, следует также принять в расчет непроизвольный вклад самого индивида, то, что ему «даровано». Но судить об этом я не могу, а мое правило здесь, напомню еще раз, состоит в том, чтобы довольствоваться непосредственными очевидностями. И в таком случае я вижу, что свойства общепринятой морали зависят не столько от идеальной значимости питающих ее принципов, сколько от нормы поддающегося измерению опыта. Слегка заостряя, допустимо сказать, что у древних греков существовала мораль досуга так же, как у нас существует мораль восьмичасового рабочего дня. Но уже многие из людей весьма трагической судьбы заронили в нас предчувствие, что более обширный опыт меняет и саму таблицу ценностей. Они побуждают нас вообразить себе некоего авантюриста повседневности, который по количеству своего опыта побил бы все рекорды (я намеренно употребляю спортивный термин) и тем самым заполучил выигрыш в виде своей собственной морали[66]. Будем, однако, держаться подальше от романтизма и только спросим себя, что может означать этот подход для человека, исполненного решимости не отступаться от заключенного им пари и строго соблюдать то, что он считает правилом игры.

Побить все рекорды – это прежде всего и единственно противостоять миру как можно чаще. Как этого достичь, не впадая в противоречия и не прибегая к игре слов? Ведь абсурд, с одной стороны, учит, что все виды опыта равнозначны, а с другой – побуждает иметь как можно больше опыта. Как в таком случае не поступить подобно стольким людям, о которых шла речь выше, не выбрать себе образ жизни так, чтобы она приносила как можно больше человеческого опыта, и тем самым не ввести снова ту саму иерархию ценностей, которую претендовали, наоборот, отбросить?

Но и тут абсурд и его противоречивое бытие в очередной раз преподают нам свои уроки. Ибо ошибочно думать, будто количество опыта зависит от обстоятельств нашей жизни, тогда как оно зависит исключительно от нас самих. Тут надо подойти к делу упрощенно. Двум людям, живущим одинаковое число лет, мир всегда предоставляет возможности получить одинаковый по своим размерам опыт. И кому, как не нам, следует отдавать себе в этом твердый отчет. Прочувствовать свою жизнь, свой бунт, свою свободу, и как можно сильнее, – зна-

[66] Иногда количество дает качество. Согласно последним заключениям научной теории, всякая материя образована энергетическими центрами. Большее или меньшее их количество сказывается в ее более или менее отчетливой специфичности. Разница между миллиардом ионов и одним ионом не только количественная, но и качественная. Легко подобрать аналогии этому в человеческом опыте.

чит пережить как можно больше. Там, где царит ясность, иерархия ценностей бесполезна. Еще упростим и скажем, что единственное препятствие, единственный «упущенный выигрыш» имеют своей причиной преждевременную смерть. Намеченный здесь в своих очертаниях мир живет лишь своей противоположностью тому постоянному исключению из правил, каким является смерть. В результате никакая глубина испытанного, никакие треволнения, никакая страсть или жертва не могут уравнять в глазах человека абсурда (даже если бы он того захотел) сорок лет осмысленной жизни и продлившуюся шестьдесят лет ясность ума[67]. Что, по его мнению, действительно непоправимо, так это безумие и смерть. Сам человек не выбирает. Абсурд и то, что дополнительно привносится им в жизнь, *зависят, следовательно, не от воли человека,* а от противостоящей ей смерти[68]. Как следует взвесив слова, скажем, что речь идет исключительно о везении. Надо уметь с этим смириться. Двадцать лет жизни и опыта никогда не будут возмещены.

Со странной для столь искушенного народа непоследовательностью древние греки уверяли, что люди, умирающие молодыми, любимы богами. И это верно только в том случае, если хотят убедить, что вступить в ничтожный до смешного мир богов означает утратить навсегда самую чистую радость, состоящую в том, чтобы чувствовать – и чувствовать себя находящимся на этой земле. Настоящий момент и непрерывное следование настоящих моментов перед постоянно бодрствующей душой – вот идеал человека абсурда. Впрочем, само слово «идеал» звучит здесь ложно. Это даже не призвание человека абсурда, а лишь третье следствие, извлекаемое из рассуждения о нем. Отправляясь от проникнутого тоскливыми страхами осознания бесчеловечности мира, раздумье об абсурде завершает свой путь в самом средоточии полыхающего страстью человеческого бунта[69].

Таким образом, я извлекаю из абсурда три следствия – мой бунт, мою свободу и мою страсть. Посредством одной только работы ума я обращаю в правило жизни то, что было приглашением к смерти, и отвергаю самоубийство. Разумеется, я знаю, что какой-то глухой отзвук слышится в последние дни. По этому поводу могу сказать лишь одно: он необходим. Когда Ницше пишет: «Представляется ясным, что самое главное в небесах и на земле состоит в долгом и однонаправленном *повиновении:* со временем это дает нечто, ради чего стоит жить на белом свете, например, добродетель, искусство, музыку, танец, разум, дух, нечто могущее преобразить жизнь, нечто изысканное, безумное или Божественное», – он выявляет правило морали самой высокой пробы. Но он же указывает и дорогу человеку абсурда. Повиноваться пламени – это одновременно и крайне легко, и крайне трудно. Тем не менее хорошо, что человек иногда, чтобы вынести суждение о себе, поверяет себя трудностями. Он единственное существо на земле, способное это делать.

«Молитва, – говорит Ален, – это когда на мысль опускается ночь». «Дух должен, однако, встречаться с ночью», – отвечают мистики и экзистенциалисты. Да, конечно, но только не с той ночью, что возникает исключительно по воле самого человека в зажмуренных им глазах, – мрачной беспросветной ночью, которую порождает дух, чтобы в ней же и потеряться. Если он

---

[67] То же размышление приложимо и к совсем другому понятию – к идее небытия. Оно ничего не добавляет к действительности и ничего от нее не убавляет. В психологическом переживании небытия наше собственное небытие обретает свой истинный смысл лишь в зависимости от соображений о том, что случится в ближайшие две тысячи лет. Одна из граней небытия образована как раз совокупностью будущих жизней, среди которых нет нашей жизни.

[68] Воля здесь лишь движущая сила: она тяготеет к тому, чтобы поддерживать ясное сознание. Она вносит в жизнь дисциплину, а это весьма ценно.

[69] Что важно, так это последовательность. Тут за отправную точку было взято согласие с мироустройством. Однако восточная мысль учит, что те же логические выкладки могут исходить из выбора в пользу противостояния миру. Это ничуть не менее правомерно и задает настоящему эссе как возможные перспективы, так и пределы. Но когда отрицание мира проводится столь же строго, то зачастую (как в некоторых ведических учениях) получают похожие результаты в том, что касается, например, равнозначности произведений. В своей весьма значительной книге «Выбор» Жан Гренье обосновывает таким путем настоящую «философию безразличия».

должен встретиться с ночью, то пусть это будет ночь сохраняющего ясность отчаяния, полярная ночь, бодрствование духа, могущее стать источником чистого белого сияния, которое обрисует очертания всех предметов в свете разума. На этой стадии всеобщая равноценность вызывает страстное понимание. В таком случае больше не ставится даже вопрос об оценке экзистенциалистского прыжка. Последний занимает принадлежащее ему место в многовековой фреске установок человеческого ума. Для зрителя, если он наделен ясным сознанием, такой прыжок, в свою очередь, абсурден.

В той мере, в какой он думает, будто ему удалось разрешить парадокс, он этот парадокс всецело восстанавливает. В этом отношении он по-своему трогателен. В этом отношении все возвращается на свои места, и абсурдный мир возрождается во всем его великолепии и разнообразии.

Однако было бы дурно на этом и остановиться, трудно довольствоваться одним-единственным срезом рассмотрения, лишить себя противоречия – самого, быть может, изощренного орудия духа. Все предшествующее определяет только способ мышления. Теперь речь пойдет о жизни.

Человек абсурда

Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что не верует.
«Бесы»

«Мое поприще, – сказал Гёте, – это время». Вот поистине слова человека абсурда.

В самом деле, кто он такой? Он тот, кто ничего не делает ради вечности, хотя и не отрицает ее. Не то чтобы тоска по вечному была ему чужда. Но он предпочитает ей мужество и здравомыслие. Первое учит его жить без зова свыше и довольствоваться тем, что у него есть, второе уведомляет о поставленных ему пределах. Убежденный в том, что его свобода ограничена во времени, что у его бунта нет будущего и его сознание бренно, он проживает приключение своей жизни в отпущенные на нее сроки. Тут его поприще, тут поле его деятельности, изъятой им из-под чьего бы то ни было суда, кроме его собственного. Жизнь более долгая не может означать для него другой жизни. Это было бы нечестно. Я уж не говорю о той смехотворной вечности, которую именуют жизнью в памяти потомков. Госпожа Ролан вверяла себя этой памяти. За такую опрометчивость ей был преподан урок. Потомки охотно приводят ее слова, но забывают высказать о них свое суждение. Память потомков равнодушна к госпоже Ролан.

Не может быть и речи о том, чтобы рассуждать здесь о морали. Я видел, как люди, преисполненные моральных добродетелей, поступают дурно, и я ежедневно убеждаюсь, что порядочность не нуждается в правилах. Существует только одна мораль, которую человек абсурда мог бы принять, – та, что неотделима от Бога, что продиктована свыше. Но он как раз живет без Бога. Что же касается других видов морали (я подразумеваю также и имморализм), то человек абсурда не усматривает в них ничего, кроме различных способов самооправдания, а ему не в чем оправдываться. Я исхожу из посылки о его невиновности.

Это грозная невиновность. «Все позволено», – восклицает Иван Карамазов. Его слова, в свою очередь, отдают абсурдом. Правда, при условии, что их не воспринимают вульгарно. Не знаю, было ли толком замечено: речь идет не о возгласе освобождения и радости, а о горькой констатации? Уверенность в Боге, придающая жизни смысл, намного привлекательней безнаказанной возможности поступать дурно. Тут выбирать нетрудно. Но ведь выбора нет, отсюда и горечь. Абсурд не освобождает, он связывает. Он не дает разрешения на любые поступки. «Все позволено» не означает, будто ничто не запрещено. Абсурд только делает равноценными последствия поступков. Он не советует поступать преступно, это было бы ребячеством, однако он обрекает на бесполезность угрызения совести. И к тому же, если все виды опыта равноценны, исполнение своего долга столь же законно, как и все прочее. Можно быть добродетельным из прихоти.

Любая мораль основывается на мысли, что поступок имеет свои последствия, которые его оправдывают или перечеркивают. Дух, проникнутый абсурдом, ограничивается мнением, что об этих последствиях надлежит судить спокойно. Он готов за все расплачиваться. Другими словами, для него нет виновных, есть только несущие ответственность. Самое большее, на что он согласен, так это использовать прошлый опыт при обосновании будущих поступков. Время вызывает к жизни время, жизнь служит жизни. На поприще, одновременно ограниченном и изобилующем возможностями, все, кроме собственной ясности, кажется ему непредвиденным. Какое правило может быть выведено из этого неразумного порядка? Единственная истина, могущая показаться поучительной, ни в коем случае не умозрительна: она зарождается и раскрывает себя в людях. Поэтому дух абсурда стремится к тому, чтобы его рассуждения увенчивались в конце не правилами нравственности, а иллюстрациями и чтобы от них веяло дыханием человеческих жизней. Несколько примеров, приводимых далее, принадлежат к таким

иллюстрациям. Они продолжают рассуждение об абсурде, придавая отвлеченным выкладкам наглядность и жизненное тепло.

Нужно ли мне было останавливаться на том, что пример – необязательно образец для подражания, тем паче в мире абсурда, и что приводимые мною иллюстрации вовсе не являются такими образцами? Превращают себя в посмешище, когда, невзирая на необходимость иметь соответствующее призвание и при всех оговорках, черпают у Руссо совет ходить на четвереньках, а из Ницше – призыв грубо обходиться с собственной матерью. «Надо быть абсурдным, не надо быть одураченным», – пишет один из современных авторов. Установки, о которых пойдет речь, могут обрести весь свой смысл лишь тогда, когда учитываются противоположные им установки. Сверхштатный служащий почтового ведомства равен завоевателю, если у них одинаковое сознание. В этом отношении все виды опыта равнозначны. Есть среди них такие, что служат человеку, есть и такие, что причиняют ему ущерб. Они ему служат, если у него ясное сознание. В противном случае все это не важно: за поражения человека суду подлежат не обстоятельства, а он сам.

Мой выбор приходится только на людей, которые преследуют цель исчерпать себя до конца или относительно которых я уверен, что они стараются себя исчерпать. Дальше этого дело не заходит. Пока что разговор коснется лишь такого мира, где мысли, как и жизни, лишены будущего. Все то, что побуждает человека работать и действовать, использует надежду. Поэтому единственная мысль, свободная ото лжи, – это мысль бесплодная.

В мире абсурда ценность любого понятия и любой жизни измеряется их бесплодием.

Донжуанство

Если бы можно было довольствоваться любовью, все было бы слишком просто. Чем больше любят, тем прочнее утверждается абсурд. Дон Жуан переходит от женщины к женщине вовсе не из-за недостатка любви. Смешно представлять его себе искателем совершенной любви, вдохновленным чудесным озарением. Как раз потому, что он их любит всегда с одинаковой страстью и ото всей души, ему приходится вновь и вновь повторять это принесение себя в дар и погружаться в глубины чувств. Потому-то каждая из его возлюбленных надеется дать ему то, чего никогда и никто ему не доставлял. Каждый раз они глубоко заблуждаются и им удается лишь внушить ему потребность в таком повторении. «Наконец-то, – восклицает одна из них, – я принесла тебе любовь». Стоит ли удивляться, что у Дон Жуана это вызывает смех. «Наконец-то? – говорит он. – Нет, в очередной раз». И почему, собственно, надо влюбляться редко, чтобы любить сильно?

Печален ли Дон Жуан? На правду это не похоже. Достаточно хотя бы мельком обратиться к самой хронике. Его смех, его победная дерзость, озорные выходки и вкус к театральности – все это светло и радостно. Каждое здоровое существо тяготеет к тому, чтобы умножить самого себя. Таков Дон Жуан. Кроме того, печали предаются по двум причинам: по неведению или из надежды. Дон Жуан знает и не надеется. Он наводит на мысль о тех художниках, которым известны пределы доступного им, и они никогда их не переступают, а в тот не слишком надежный промежуток времени, когда их дух обретает устойчивость, привлекают чудесной непринужденностью мэтров. В этом-то и состоит талант: ум, знающий свои границы. Вплоть до самого порога своей физической смерти Дон Жуан не испытывает печали. С той минуты, когда к нему пришло знание, он громко смеется, и за это ему все прощается. Печальным он бывал тогда, когда питал надежду. Ныне же он снова ощущает на губах очередной женщины горьковатый живительный привкус единственно подлинной науки. Горьковатый? Чуть-чуть: то самое необходимое несовершенство, без которого счастья не прочувствуешь.

Весьма обманчивы попытки усмотреть в Дон Жуане человека, вскормленного мудростью Екклесиаста. Ибо для него ничто не суетно, кроме надежд и на загробную жизнь.

И он это доказывает тем, что ставит ее на карту в игре против самих небес. Сожаления об утрате желания в ходе его утоления, эта расхожая банальность людей бессильных, ему совсем не присущи. Скорее уж они свойственны Фаусту, который в достаточной мере верил в Бога, чтобы продать свою душу дьяволу. Для Дон Жуана все гораздо проще. «Обольститель» Тирсо де Молины, когда ему угрожают адом, неизменно отвечает: «Да будет мне дана отсрочка подольше». То, что случится после смерти, совершенно не важно, зато какая длинная вереница дней впереди у того, кто умеет быть в живых. Фауст настойчиво просил о благах мира сего – несчастный, ему было достаточно протянуть руку. Не уметь возвеселиться душой уже само по себе значит ее продать. Напротив, Дон Жуан наводит порядок и в самом пресыщении. И если он бросает женщину, так это совсем не потому, что больше не испытывает к ней желания. Красивая женщина всегда желанна. Просто он желает теперь другую, а это совсем не одно и то же.

Посюсторонняя жизнь удовлетворяет его полностью, нет ничего хуже, чем ее потерять. Этот безумец – великий мудрец. Но люди, живущие надеждой, плохо приноравливаются к этому миру, где доброта уступает место великодушию, нежность – мужественному безмолвию, общность – одинокой отваге. А все только и твердят: «Это был слабый человек, или идеалист, или святой». Надо же как-то проглотить оскорбляющее тебя величие другого.

Достаточно много возмущались (или пускали в ход особую заговорщическую усмешку, предназначенную унизить то самое, чем восторгаются) речами Дон Жуана и вечно одной и той же его фразой, которой он пользуется в разговоре со всеми женщинами. Но для того, кто гонится за количеством радостей, в счет идет только действенность. Какой смысл усложнять слова, доказавшие, что они и так служат надежным пропуском? Никто – ни мужчина, ни женщина – в них не вслушивается, а вслушивается скорее в произносящий их голос. Они одновременно и правило, и условность, и проявление вежливости. Их проговаривают, а после этого остается сделать самое главное. Дон Жуан к этому уже готовится.

С какой стати будет он выдвигать перед собой проблему морали? Ведь он навлекает на себя проклятие не из-за желания сделаться святым, как Маньяра у Милоша. Ад для него – это результат брошенного небесам вызова. Есть только один ответ на гнев Божий: он в утверждении человеческой чести. «Я человек чести, – говорит он Командору, – и выполню мое обещание, потому что я рыцарь». Но было бы большой ошибкой и делать из него имморалиста. В этом отношении он «похож на всех»: его мораль коренится в его симпатиях и антипатиях. Дон Жуана можно толком понять, лишь имея постоянно в виду то, что он символизирует в расхожем мнении: обыкновенный соблазнитель и поклонник женского пола. Да, он обыкновенный соблазнитель[70].

С той только разницей, что он отчетливо это сознает, и как раз поэтому он человек абсурда. Но когда соблазнитель обретает ясность ума, он не так уж меняется. Соблазнять – в этом его всегдашнее состояние. Ведь это только в романах изменяют свое жизненное состояние и делаются лучше. Однако можно сказать и так: ничего не изменилось и в то же время все преобразилось. Дон Жуан претворяет в поступки этику количественную в противовес святому, тяготеющему к качеству. Человеку абсурда свойственно не верить в глубокий смысл вещей. Он окидывает беглым взглядом все эти излучающие тепло или восхищенные лица, складывает их про запас и без задержки спешит дальше. Время движется вместе с ним. Человек абсурда не отделяет себя от времени. Дон Жуан помышляет не о том, чтобы «коллекционировать» женщин. Он старается исчерпать их множество и тем самым исчерпывает свои собственные шансы на жизнь. Коллекционировать – это быть способным жить своим прошлым. Он же отвергает сожаления как другой вид все той же надежды. Он не умеет разглядывать портреты.

[70] В полном смысле слова и со всеми подобающими недостатками. Здоровая жизненная позиция всегда имеет *также* и свои недостатки.

Такой ли уж он эгоист? На свой лад – пожалуй. Но и тут надо договориться, что понимать под этим словом. Есть люди, созданные для жизни, и люди, созданные для любви. Во всяком случае, Дон Жуан охотно бы так сказал. Но сделать свой выбор он может не иначе, как избегая вникать в частности. Потому что любовь, о которой здесь речь, разукрашена иллюзиями вечности. А все знатоки страсти учат нас, что любовь бывает вечной только тогда, когда ей чинят препятствия. Страсть без борьбы почти не встречается. Подобная любовь приходит к своему концу, лишь сталкиваясь с самым последним своим препятствием – со смертью. Надо быть Вертером – или ничем. Да и тогда существует множество способов покончить с собой, один из которых заключается в самозабвенном принесении себя в жертву. Дон Жуан, как и все, знает, что это может быть трогательно. Но он один из немногих, знающих, что не в этом самое существенное. И еще он твердо знает: те, кого великая любовь заставляет отвернуться от их собственной жизни, быть может, обогащают себя, однако наверняка обедняют тех, кто оказался избранником их любви. У матери, у страстной женщины сердце непременно иссушено, ибо оно отвернулось от мира. Одно-единственное чувство, одно-единственное живое существо, одно-единственное лицо, а все остальное истреблено. Дон Жуан потрясен совсем другой любовью – любовью-освободительницей. Она приносит с собой все лики мира, и ее трепет проистекает из того, что она знает о своей смертности. Дон Жуан выбрал быть ничем.

Для него все дело в том, чтобы видеть ясно. Нашу привязанность к некоторым людям мы называем любовью только потому, что тем самым отсылаем к определенному коллективному виденью вещей, за которое ответственность несут книги и легенды. Сам же я знаю о любви лишь то, что она есть связывающая меня с таким-то существом смесь желания, нежности и взаимного понимания.

С другими меня может связывать совсем другая по своему составу смесь. Я не вправе охватывать одним и тем же словом столь разные чувства. И это избавляет меня от необходимости вкладывать их в одинаковые поступки. Человек абсурда и тут умножает разнообразие всего того, что он не может подогнать под одну мерку. Так он открывает другой способ жить, освобождающий его самого по крайней мере в той же степени, в какой он освобождает тех, кто с ним сближается. Великодушна только та любовь, которая знает о себе, что она преходяща и неповторима. Все эти умирания и все эти возрождения собираются в пучок жизни Дон Жуана. Это его способ давать и побуждать жить. Судите сами, можно ли в данном случае говорить об эгоизме.

Я думаю теперь о всех тех, кто хочет, чтобы Дон Жуан был непременно наказан. И не только в загробной жизни, а еще и в этой, земной. Я думаю о множестве сказаний, легенд и насмешек над постаревшим Дон Жуаном. Но Дон Жуан к этому уже готов. Для человека с ясным сознанием ни старость, ни то, что она предвещает, не являются неожиданностью. Он обладает таким сознанием как раз в той мере, в какой не скрывает от себя предстоящего ему ужаса. В Афинах был храм, посвященный старости. Туда водили детей. Что же касается Дон Жуана, то чем больше над ним смеются, тем четче вырисовывается его облик. И тем самым отвергается облик, приписанный ему романтиками. Над Дон Жуаном, измученным и жалким, никто не захочет смеяться. Его жалеют, вопрошая: уж не искупит ли его грехи само небо? Но все тут совсем по-другому. Во вселенной, которая открывается взору Дон Жуана, смешное *тоже* встречает понимание. Он счел бы естественными ниспосланные ему кары. Это правило игры. А его великодушие в том и состоит, чтобы принять все правила игры. Он-то знает, что он прав и что не должно быть и речи о карах. Судьба – это ведь не наказание.

Таково его преступление, и понятно, что приверженцы вечного призывают на его голову кары. Он овладел знанием, свободным от иллюзий, и оно отрицает все, что они исповедуют. Любить и обладать, завоевывать и исчерпывать – вот его способ познавать (среди значений этого излюбленного Писанием слова есть и такое, согласно которому «познать» – это совершить любовный акт). Он худший их враг постольку, поскольку он о них ведать не ведает. Один

из летописцев рассказывает, что настоящий «Обольститель» был убит монахами-францисканцами, решившими «положить конец бесчинствам и нечестивым выходкам Дон Жуана, которому его происхождение обеспечивало безнаказанность». Потом они заявили, что он был сражен молнией небесной. Никто не доказал, что у него действительно был столь странный конец. Но никто не доказал и обратного. Однако, не задаваясь вопросом о правдоподобии такого конца, могу сказать, что он вполне логичен. Хочу только выделить слово «происхождение» и обыграть сходство звучаний: само прохождение по жизни обеспечивало ему невинность. В одной лишь смерти почерпнул он чувство вины, вошедшей ныне в легенду.

Что, как не это, знаменует собой каменный Командор – холодная статуя, пришедшая в движение, чтобы покарать кровь и мужество, осмелившиеся мыслить? В нем сжато воплощены все силы вечного Разума, порядка, общезначимой морали, все отчужденное величие Бога, подверженного приступам гнева. Этот громадный бездушный камень символизирует могущество, власть которого Дон Жуан навсегда отринул. Но на этом миссия Командора кончается. Гром и молния могут вернуться на поддельное небо, откуда их призвали. Подлинная трагедия разыгрывается без них. Нет, Дон Жуан принял смерть не от каменной руки. Я охотно верю в его легендарную браваду, в безумный смех здорового человека, бросающего вызов Богу, которого не существует. Но особенно я верю, что в тот вечер, когда Дон Жуан ждал у доньи Анны, Командор так и не пришел и что после того, как пробило полночь, нечестивец испытал ужасную горечь тех, кто оказывается прав. Еще охотнее я принимаю рассказ, согласно которому он под конец жизни удалился в монастырь. Не то чтобы назидательный поворот этой истории был правдоподобен. Какого убежища идти просить у Бога? Но такой конец скорее всего мог бы вполне логично увенчать собой жизнь, насквозь проникнутую абсурдом, послужить суровой развязкой существования, обращенного к радостям жизни, у которых нет завтрашнего дня. Наслаждение завершается тут аскезой. Надо понять, что они могут быть как бы двумя ликами одной и той же обездоленности. Какого еще более жуткого образа можно пожелать: человека предательски не слушается его тело, и он, не сподобившись умереть вовремя, в ожидании конца доигрывает комедию перед лицом Бога, которого не чтит, однако служит ему так же, как до этого служил жизни; он преклонил колена перед пустотой и простер руки к немотствующему небу, еще и лишенному, как он знает, глубины.

Я вижу Дон Жуана в келье одного из затерянных среди холмов испанских монастырей. И если он во что-нибудь всматривается через раскаленную прорезь в стене, то это не призраки канувших в прошлое возлюбленных, а, быть может, замершая в молчании равнина Испании, великолепная и бездушная земля, в которой он распознает сходство с ним самим. Да, на этом печальном и лучезарном образе и следует остановиться. Самым же концом, ожидаемым, но никогда не желанным, самым последним концом можно пренебречь.

Театральное представление

«Зрелище – петля, – говорит Гамлет, – чтобы поймать сознанье короля». Отлично сказано: поймать. Ведь сознание либо стремительно движется, либо замыкается в себе. Его приходится ловить на лету, в тот едва различимый миг, когда оно окидывает самого себя беглым взглядом. Обыкновенный человек не очень-то любит медлить. Напротив, его все торопит. Но с другой стороны, ничто не занимает его больше, чем он сам, в особенности то, кем он мог бы быть. Отсюда его пристрастие к театру, к зрелищу, где ему предлагается столько судеб, поэзию которых он вбирает в себя, не страдая при этом от заключенной в них горечи. По крайней мере в таких случаях можно наблюдать бессознательно живущего человека и то, как он спешит навстречу невесть какой надежде. Человек абсурда начинается там, где кончается человек, питающий надежды, где дух, перестав восхищаться игрой со стороны, хочет сам в нее вступить. Проникнуть в чужие жизни, самому испытать все их разнообразие – это и есть, собственно, их

сыграть. Я не утверждаю, что актеры обычно повинуются этому зову, что они люди абсурда, но я полагаю, что их судьба абсурдна и может соблазнить и привлечь к себе прозорливые души. Необходимо сказать об этом твердо, чтобы дальнейшее воспринималось без недоразумений.

Актер царит в мире преходящего. Известно, что из всех видов славы его слава самая эфемерная. Во всяком случае, это признают даже в разговорах. Однако и все другие виды славы эфемерны. Если взирать с Сириуса, произведения Гёте через десять тысяч лет будут лежать во прахе, а его имя забыто. Какие-нибудь археологи, возможно, будут искать «свидетельства» о нашем времени. Мысль эта всегда была поучительна. Если хорошенько ее обдумать, она обращает все наши треволнения в глубокое достоинство, обретаемое в безразличии. И в особенности она направляет нашу озабоченность на самое надежное, то есть на данное нам непосредственно. Из всех видов славы наименее обманчива та, которая переживается сейчас.

Следовательно, актер выбрал многоликую славу, славу, которая сама себя признает и подвергает проверке. Он лучше других извлек следствия из того факта, что рано или поздно все должно погибнуть. Актер либо имеет успех, либо нет. Писатель сохраняет надежду, даже если он не добился признания. Он предполагает, что его сочинения послужат свидетельствами того, каким он был. Актер оставляет после себя в лучшем случае фотографию, и до нас не доходит ничего из того, что было им самим, его жестами и паузами молчания, дыханием затрудненным и дыханием во время любовных признаний. Пребывать в безвестности означает для него не играть, а не играть – это стократно умереть вместе со всеми существами, которых бы он одухотворил или воскресил.

Стоит ли удивляться, обнаруживая, что преходящая слава имеет своей опорой самые эфемерные из человеческих творений? У актера есть три часа на то, чтобы быть Яго или Альцестом, Федрой или Глостером. В этот краткий отрезок времени, на площадке в пятьдесят квадратных метров он вызывает их к жизни и заставляет умереть. Никогда еще абсурд не демонстрировался так хорошо и так долго. Поразительные жизни, неповторимые и вполне законченные судьбы, которые развертываются и завершаются за несколько часов в замкнутом стенами пространстве – какого еще более показательного изображения в миниатюре можно желать? Сойдя с подмостков, Сехисмундо больше ничего собой не представляет. Два часа спустя его можно видеть ужинающим в городе. Тогда-то, пожалуй, жизнь и становится сном. Но после Сехисмундо приходит другой. Страдающего от неуверенности героя сменяет человек, вопящий после свершения мести. Так, переносясь из века в век и перевоплощаясь из одного действующего лица в другое, представляя человека таким, каким он должен быть, или таким, каков он есть, актер бывает близок другому персонажу абсурда – путешественнику. Как и путешественник, он исчерпывает очередную задачу и непрестанно пребывает в дороге. Он путешественник во времени и преимущественно путешественник в погоне за душами. И если количественной морали удавалось где-нибудь находить себе пищу, то прежде всего на этой странной сцене. Трудно сказать, какую пользу для себя извлекает актер из своих персонажей. Но не это важно. Суть только в том, чтобы выяснить, в какой мере он отождествляет собственную жизнь с этими неповторимыми жизнями. Случается и в самом деле, что он носит их в себе, и тогда они легко выходят за рамки времени и места своего рождения. Они сопровождают актера, которому не так-то просто расстаться с самим собой, каким он был однажды. Бывает, что он, собираясь выпить рюмку, воспроизводит жест Гамлета, подносящего к губам чашу. Нет, совсем не велико расстояние, отделяющее его от существ, в которых он вдохнул жизнь. И тогда он на протяжении многих дней и месяцев щедро подтверждает ту весьма плодотворную истину, что нет жесткой границы между тем, чем человек хочет быть, и тем, что он есть. Неизменно озабоченный тем, чтобы как можно лучше изображать других, он наглядно свидетельствует, в какой мере казаться – это быть. Ведь его искусство в том-то и состоит, чтобы полностью притвориться, как можно глубже погрузиться в жизни, не являющиеся его собственной жизнью. К концу этих усилий проясняется его призвание: постараться ото всей души быть ничем или

быть многоликим. Чем у́же пределы, поставленные ему, чтобы воссоздать внутри их тот или иной характер, тем больше необходимость иметь для этого талант. Через три часа он умрет в том облике, который на сегодня стал его собственным. За три часа надо пережить и выразить исключительную судьбу. Это и называется потерять себя, чтобы себя обрести. В эти три часа он пройдет до конца безысходный путь, на который зрителю из партера нужна целая жизнь.

Подражатель преходящего, актер осуществляет и совершенствует себя в том, что относится к внешнему облику. Условность театра сводится к тому, что сердце в нем выражает и раскрывает себя не иначе, как через жест и тело, – или посредством голоса, который принадлежит душе в той же мере, что и телу. Закон этого искусства требует, чтобы все в нем было укрупнено и пропущено через плоть. Если бы на сцене любили так же, как в жизни, изъяснялись единственным в своем роде голосом сердца, взирали на все так же, как рассматривают обычно, наш язык остался бы зашифрован. Само молчание тут должно быть слышным. Любовь же высказана громче, и даже неподвижность зрелищна. Во всем тут царствует тело. Не все то «театрально», что хочет таковым считаться, и само это слово, напрасно лишенное уважительного оттенка, заключает в себе целую эстетику и целую мораль. Половина жизни человека приходится на время, когда он что-то подразумевает, от чего-то намеренно отворачивается, о чем-то умалчивает. Актер во все это своевольно вторгается. Он снимает заклятие со скованной души, и страсти наконец-то выплескиваются на подмостки. Они сквозят в каждом жесте, обретают жизнь не иначе, как в крике. Так актер создает своих персонажей, чтобы выставить их напоказ. Он их рисует или лепит. Он вливает себя в воображаемые формы и отдает этим призракам собственную кровь. Разумеется, я веду речь о великом театре – о том, где актеру предоставлена возможность физически воплотить свою судьбу. Возьмите Шекспира.

В этом театре непосредственных порывов всем заправляют неистовые вожделения тела. Они все объясняют. Без них все рушится. Король Лир ни в коем случае не отправится на свидание с безумием, не сделав предварительно грубого жеста, изгоняющего Корделию и осуждающего Эдгара. И тогда вполне оправдано, что эта трагедия развертывается под знаком безумия. Души служат добычей для демонов и вовлечены в их пляску. По крайней мере четверо безумцев: один в силу своего ремесла шута, второй по собственной воле, двое остальных из-за перенесенных мук, – четыре беспорядочно ведущих себя тела, четыре неописуемых обличья одной и той же участи.

Самого по себе человеческого тела бывает недостаточно. Маска и котурны, грим, который сводит лицо к самым существенным чертам и их заостряет, преувеличивающие и упрощающие костюмы – в этом мире все приносится в жертву внешности и предназначено для глаз. Благодаря абсурдному чуду тело тоже поставляет знание. Я никогда не пойму по-настоящему Яго, пока его не сыграю. Мало слышать его, я улавливаю, каков он, только тогда, когда вижу. Следовательно, от персонажа абсурда актеру досталась монотонность – проступающий во всех его героях неповторимый, упрямо напоминающий о себе, одновременно странный и знакомый силуэт. Крупное театральное произведение еще и благодаря этому достигает единства тона[71]. И здесь актер сам себе противоречит: один и тот же и, однако, такой разный, множество душ в одном теле. Но этот индивид, желающий всего достичь и все пережить, это тщетное старание и безуспешное упорство и есть само абсурдное противоречие. Вещи, всегда противостоящие друг другу, в нем тем не менее соединены. Соединение происходит там, где дух и тело встречаются и тесно прижимаются друг к другу, где дух, устав от неудач, снова обращается к своему самому верному союзнику. «Благословен, чьи кровь и разум так отрадно слиты, – говорит Гамлет, – что он не дудка в пальцах у Фортуны, на нем играющей».

---

[71] Тут я думаю об Альцесте у Мольера. Все там просто, очевидно, крупно. Альцест против Филинта, Селимена против Элианты, весь сюжет сводится к абсурдным последствиям характера, во всем идущего до конца, и даже самый стих, «плохой стих», с едва обозначенным размером, подобен монотонности характера.

Разве церковь могла не осудить подобное занятие в лице актера? Она отвергала в этом искусстве еретическое умножение душ, разгул чувств, скандальное домогательство духа, который отказывается иметь лишь одну судьбу и предается всяческой распущенности. Она подвергала гонениям вкус к настоящему и торжество Протея, которые были отрицанием всего, чему она учила. Вечность не игра. Дух, настолько безумный, чтобы предпочесть вечности театр, теряет надежду на спасение. Между «везде» и «всегда» компромисс невозможен. Отсюда и проистекает, что столь мало ценимое занятие смогло послужить почвой для безмерного духовного конфликта. «Важна, – говорит Ницше, – не вечная жизнь, а вечная живость». Вся драма и впрямь в этом выборе.

Адриенна Лекуврер на смертном одре пожелала исповедоваться и причаститься, но отказалась отречься от своей профессии. Она утратила тем самым блага, приносимые исповедью. В самом деле, чем, собственно, был этот выбор, как не предпочтением, оказанным своей глубокой страсти перед Богом?

И эта женщина в агонии, отказывающаяся со слезами на глазах отречься от того, что она называла своим искусством, свидетельствовала о таком величии, какого она никогда не достигала перед рампой. То была ее лучшая роль – и самая трудная для исполнения. Выбрать между небом и смехотворной верностью, предпочесть себя вечности или самоотвержению в Боге – это вековая трагедия, в которой каждому надлежит отстоять свое место.

Актеры в те времена знали о своем отлучении от церкви. Посвятить себя их профессии означало выбрать ад. И церковь усматривала в них своих худших врагов. Иные литераторы негодовали: «Как, отказать Мольеру в обряде соборования!» Но это было справедливо, в особенности по отношению к тому, кто умер на сцене и загримированным закончил жизнь, всецело посвященную рассеиванию единого. По поводу Мольера взывают еще к гениальности, которая будто бы все извиняет. Но она ничего не извиняет как раз потому, что отказывается просить об извинениях.

Актер тогда знал, какое наказание его ждет. Но разве могли иметь значение столь неопределенные угрозы сравнительно с последним возмездием, уготованным ему самой жизнью? Тем самым, которое он испытывал заранее и всецело принимал. Для актера как человека абсурда преждевременная смерть непоправима. Ничто не может возместить множество веков и лиц, которые он перебрал бы в противном случае. Но ведь все равно предстоит умереть. Несомненно, где бы ни находился актер, его увлекает за собой время и накладывает на него свой отпечаток.

Достаточно в таком случае немного воображения, чтобы почувствовать, что знаменует собой судьба актера. Своих персонажей он создает и располагает во времени. Во времени же он учится над ними властвовать. Чем больше различных жизней он прожил, тем легче он с ними расстается. Приходит время умереть на сцене или где-нибудь еще. Прожитое им находится перед ним. Он ясно все видит. Он чувствует, сколь мучительно и неповторимо приключение его жизни. Он это знает и теперь может принять смерть. Для престарелых актеров существуют дома призрения.

Завоевание

«Нет, – говорит завоеватель, – не думайте, будто из-за любви к действию я разучился мыслить. Напротив, я прекрасно могу определить, во что я верю. Потому что моя вера крепка, а зрение надежно и ясно. Не слушайте тех, кто говорит: «Вот это я знаю слишком хорошо, чтобы суметь выразить». Если они этого не могут, так это оттого, что не знают или из лени не пошли дальше поверхности вещей.

У меня не так уж много мнений по разным поводам. К концу жизни человек замечает, что он потратил долгие годы на то, чтобы убедиться в одной-единственной истине. Но и одной

истины, если она очевидна, достаточно, чтобы направлять наше существование. Что касается меня, то мне решительно есть что сказать о человеке. Говорить о нем следует жестко, а если понадобится, то и с подобающим презрением.

Человек является человеком в большей степени благодаря тому, о чем он умалчивает, чем тому, что он высказывает. О многом я промолчу. Но я твердо верю, что все выносившие свои суждения об индивиде опирались на гораздо меньший опыт, чем тот, что служит основой для моих суждений. Ум, трогательный ум уже угадывает, вероятно, то, что следует засвидетельствовать. Однако наша эпоха с ее развалинами и кровопролитиями поставляет нам достаточно примеров. У древних народов, как и народов сравнительно недавних, однако живших до наших механических времен, была возможность взвешивать для сравнения добродетели индивида и общества, выясняя, что чему должно служить. Это было возможно прежде всего по причине прочно укоренившегося в душах заблуждения, согласно которому живые существа появились на свет для того, чтобы находиться в услужении или иметь в услужении других. Это было возможно еще и потому, что ни общество, ни индивид пока не обнаружили до конца, на что они способны.

Мне случалось видеть, как простодушные умы восхищались шедеврами голландской живописи, созданными в разгар кровопролитных войн во Фландрии, или как они взволнованно воспринимали моления силезских мистиков времен ужасной Тридцатилетней войны. В их изумленных глазах вечные ценности парят над мирской суетой. Но с тех пор время ушло вперед. Сегодняшние живописцы лишены той безмятежности. Даже если у них в груди сердце, какое и должны иметь творцы, я хочу сказать – сердце бесстрастное, оно им ни к чему, ибо все, в том числе и сами святые, ныне призваны под знамена. Вот, пожалуй, то, что я прочувствовал глубже всего. Вечное утрачено, по крайней мере частично, всем тем, что недоношенным появилось на свет в окопах, каждым расплющенным под тяжестью железа мазком кисти, метафорой или молитвой. Осознавая, что я не могу отделить себя от моего времени, я решил слиться с ним воедино. Вот почему я дорожу индивидом, коль скоро он до смешного мал и унижен. Зная, что не существует сражений выигранных, я обзавелся вкусом к сражениям проигранным: они требуют от нас всей души, умеющей подняться вровень и с поражениями, и с преходящими победами. Для того, кто чувствует себя солидарным с судьбой этого мира, в столкновениях цивилизаций есть нечто устрашающее. Я сделал моим собственным этот страх, и одновременно я решил включиться в происходящее вокруг меня. Между историей и вечностью я выбрал историю, потому что люблю иметь дело с тем, что внушает уверенность. В существовании истории я по крайней мере уверен, да и как отрицать силу, которая тебя подавляет?

Рано или поздно приходит время, когда надо выбирать между созерцанием и действием. Это и называется стать мужчиной. Душевные терзания в таких случаях бывают ужасны. Но для гордого человека не существует срединного пути. Бог или время, этот вот крест или этот меч. Либо у мира есть смысл, превосходящий повседневные треволнения, либо нет ничего истинного, кроме этих треволнений. Надо или жить во времени и в нем умирать, или изъять себя из него ради жизни, над ним возвышающейся. Я знаю, что возможно вступить с ним в сделку, жить в своем веке и веровать в вечное. Это называется смириться с положением вещей. Но мне этот выход внушает отвращение, я хочу иметь все или не иметь ничего. Если я выбираю действие, не подумайте, будто созерцание мне вовсе неведомо. Но оно не может дать всего, и, будучи лишен вечного, я желаю вступить в союз со временем. Я не хочу обременять себя ни тоской по вечности, ни горечью – я только хочу смотреть на все ясно. Я уже сказал вам: завтра вас призовут под знамена. И для вас, и для меня это освобождение. Индивид не может ничего, и, однако, он может все. Имея в виду такую его чудесную готовность ко всему, вы поймете, почему я одновременно и восхищаюсь им, и его подавляю. Но это сам мир наваливается на него своим гнетом, я же его освобождаю. Я предоставляю ему все права.

Завоеватели знают, что действие само по себе бесполезно. Существует лишь один вид полезного действия – действие, которое переделало бы человека и жизнь на земле. Я никогда не переделаю людей. Но надо поступать «как если бы…». Ибо дорога борьбы подводит меня ко встрече с плотью. Плоть, пусть униженная, – это единственное, в чем я уверен. Только благодаря ей я могу жить. Тварное бытие – такова моя родина. Вот почему я выбрал абсурдные безрезультатные усилия. Вот почему я принял сторону борющихся. Эпоха, как я уже сказал, к этому предрасполагает. До сих пор величие завоевателя зависело от географической стороны дела. Оно измерялось размерами покоренной территории. Недаром теперь само это слово изменило свой смысл и перестало обозначать победителя-военачальника. Величие перешло из одного стана в другой. Оно теперь в протесте и безысходной жертве. Только и на сей раз вовсе не из вкуса к поражению. Победа по-прежнему желательна. Но есть лишь один вид победы – победа навеки. Ее-то мне и не суждено добиться. Здесь я во что-то упираюсь и за что-то цепляюсь. Революция всегда, начиная с первого из современных завоевателей, Прометея, бывала направлена против богов. Она есть протест человека против своей судьбы – протест бедноты бывал тут лишь предлогом. Я могу уловить дух протеста лишь в его историческом самоосуществлении, и именно здесь я к протесту присоединяюсь. Не думайте, однако, что я нахожу в этом особое удовольствие: перед лицом противоречия сущностного я поддерживаю мое человеческое противоречие. Я располагаюсь с моей ясностью среди того, что ее отрицает. Я превозношу человека вопреки тому, что его подавляет, и тогда моя свобода, мой бунт и моя страсть соединяются в этой напряженности, прозорливости и бессчетном повторении себя.

Да, человек для себя есть самоцель. Единственная цель. И если он хочет кем-нибудь стать, то в посюсторонней жизни. Теперь я твердо это знаю. Завоеватели иногда говорят о том, чтобы победить и превзойти. Под этим они всегда подразумевают «превзойти себя». Вы прекрасно знаете, что это значит. Каждый человек в какие-то моменты своей жизни чувствует себя богоравным. Во всяком случае, именно так принято говорить. Но это происходит оттого, что однажды в каком-то озарении он ощутил поразительное величие человеческого духа. К завоевателям относятся только те из людей, кто чувствует достаточно сил, чтобы быть уверенным в своей способности жить постоянно на этих высотах и полностью осознавать свое величие. Вопрос этот сугубо арифметический – в большей или меньшей степени. Завоеватели могут особенно много. Однако не больше того, что может человек, когда он того хочет. Потому-то они не перестают быть людьми и тогда, когда попадают в раскаленное пекло революций.

Там они встречают изуродованную человеческую породу, но там же находят и единственные ценности, которые ими любимы и вызывают их восхищение, – человека и его безмолвие. В этом одновременно и их нищета, и их богатство. Для них существует только одна роскошь – роскошь человеческих взаимоотношений. Разве можно не понять, что в этом уязвимом мире все, что человечно и только человечно, обретает еще более жгучий смысл? Напряженно застывшие лица, братство под угрозой, такая крепкая и такая целомудренная мужская дружба – вот они, подлинные богатства, подверженные гибели. Среди них дух лучше всего чувствует и свои возможности, и свои пределы. То есть свою действенность. Кое-кто заговорил бы о гении. Однако «гений» – это сказано слишком поспешно, я предпочитаю говорить «ум». Надо признать, что он бывает великолепен. Он освещает пустыню окрест себя и над ней господствует. Он знает о своей несвободе и ее не скрывает. Он умрет вместе с телом. Но знание об этом и есть свобода.

Для нас не секрет, что все церкви против нас. Сердце, пребывающее в таком настрое, избегает вечного, а все церкви, вероисповедные или политические, претендуют на обладание вечным. Счастье и мужество, воздаяние и справедливость – все это для них второстепенные цели. Они выдвигают свои учения, и этих учений надлежит придерживаться. Мне же нечего делать ни с идеями, ни с вечностью. До истин, соразмерных со мною, можно дотронуться рукой.

Вот почему я не могу закладывать основы чего бы то ни было: от завоевателя не остается ничего, даже его учений.

В конце же, несмотря ни на что, нас ждет смерть. Мы это знаем. И мы знаем также, что с ней все кончается. Вот почему так отвратительны кладбища, разбросанные по всей Европе и ставшие для некоторых из нас неотвязным наваждением ума. Украшают только то, что любят, а смерть нас отталкивает и утомляет. Ее тоже приходится завоевывать. Последний из рода Каррара, пленник в Падуе, опустошенной чумой и осажденной венецианцами, со стенаниями метался по залам своего пустынного дворца, призывая дьявола и прося у него смерти. То был один из способов ее превозмочь. И признаком отваги, присущей Западу, является то, что он придал столь уродливый вид тем местам, где смерть вроде бы окружена почитанием. В мире бунтаря смерть усугубляет несправедливость. Она есть худшее из злоупотреблений.

Другие столь же безоговорочно сделали выбор в пользу вечного и изобличили мир в том, что он призрачен. Их кладбища излучают улыбки посреди изобилия цветов и птиц. Завоевателю это подходит и дает ясное представление о том, что он отверг. Он же, напротив, выбрал себе черную чугунную ограду или безымянный ров. Лучшие из приверженцев вечного иной раз чувствуют, как их охватывает проникнутый уважением и жалостью ужас перед людьми, способными жить с такими представлениями о своей смерти. И тем не менее эти люди извлекают отсюда свою силу и свое оправдание. Наша судьба перед нами, и ей мы бросаем вызов. Не столько из гордыни, сколько из сознания бесплодности нашего удела. Порой мы тоже испытываем жалость к себе. Это единственный вид сострадания, представляющийся нам приемлемым, – чувство, которое вы, пожалуй, едва ли поймете и которое покажется вам не очень-то мужественным. Однако оно ведомо как раз самым отважным из нас. Но ведь мы называем мужественными тех, чей ум ясен, и нам не нужна сила, разлученная с проницательностью.

Еще раз повторю: все эти образы не предлагают кодексов морали и не обязывают выносить о них суждение – нет, это всего только зарисовки. Они лишь изображают в лицах определенный стиль жизни. Любовник, актер или авантюрист разыгрывают представление об абсурде. Но с таким же успехом это могли бы быть при желании девственник, чиновник или президент республики. Достаточно знать и ничего не скрывать. В итальянских музеях иногда можно увидеть разрисованные дощечки – священник держал их перед глазами осужденных на казнь, чтобы заслонить от них эшафот. Прыжок во всех его видах, стремительное погружение в Божественное или вечное, бегство в иллюзии повседневности или какой-то идеи – все эти дощечки заслоняют от нас абсурд. Однако существуют ведь и чиновники без дощечек, о них-то я и намерен вести разговор.

Я отобрал крайние случаи. На этом уровне абсурд дает царскую власть. Правда, цари тут без царств. Но у них есть то преимущество перед другими, что они знают: все царства призрачны. Они знают – в этом все их величие, и было бы тщетно говорить в связи с ними о затаенном горе или о прахе утраченных иллюзий. Лишиться надежды еще не значит отчаяться. Языки земного пламени ничуть не хуже небесных благовоний. Ни я, ни кто бы то ни было не вправе здесь их судить. Они не стремятся быть лучше, чем они есть, они пробуют быть последовательными. Если слово «мудрец» приложимо к человеку, живущему тем, что у него есть, и не предающемуся умствованиям о том, чего у него нет, – в таком случае они мудрецы. Один из них, завоеватель – но в области духа, Дон Жуан – но в области познания, актер – но в области интеллекта, знает все это лучше других. Не заслужил никакой привилегии ни на земле, ни на небесах тот, кто довел до совершенства свою драгоценную баранью кротость: ведь он тем не менее продолжает быть всего лишь милым смешным барашком с рогами, и никем больше, – даже если предположить, что он не лопается при этом от тщеславия и не вызывает скандала попытками встать в позу судьи.

Во всяком случае, нужно было воплотить рассуждение об абсурде в лицах, от которых исходило бы больше тепла. Воображение может добавить к тем, что уже есть, множество дру-

гих, не отделимых от их времени и места изгнания и тоже умеющих жить, без будущего и без уступок, в лад со вселенной. Этот лишенный Бога мир абсурда населен людьми, ясно мыслящими и ни на что не возлагающими надежд. Но я еще не говорил о самом абсурдном из персонажей – о творце.

Абсурдное творчество

Философия и роман

Все эти жизни, протекающие в разреженном воздухе абсурда, угасли бы, не вдохни в них свою силу какая-нибудь глубокая и постоянная мысль. На сей раз это не что иное, как особое чувство верности. Бывали ясно мыслящие люди, которые выполняли свою задачу посреди самых нелепых войн, и при этом им в голову не приходило, что они вступают в противоречие с самими собой. Потому что для них было важно ни от чего не уклониться. Подобным же образом метафизическое счастье состоит в том, чтобы поддерживать абсурдность мира. Завоевание или игра, бесчисленные любовные увлечения, абсурдный бунт – все это почести, которые человек воздает собственному достоинству в ходе войны, заведомо несущей ему поражение.

Важно только не нарушать правил сражения. Мысли этой может быть достаточно, чтобы напитать дух, ведь на ней держались и держатся целые цивилизации. Войну невозможно отрицать. На войне либо гибнут, либо выживают. Так и с абсурдом: приходится им дышать, признавать его уроки и облекать их в плоть.

В этом смысле творчество есть наивысшая радость абсурда. «Искусство, и ничего, кроме искусства, – говорит Ницше. – Искусство дано нам, чтобы мы не умерли от правды».

В опыте, который я пытаюсь описать и на разные лады передать, несомненно одно: очередная мука возникает в тот самый миг, когда кончается предыдущая. Ребяческий поиск забытья, призыв довольствоваться тем, что есть, отныне остаются без отклика. Но постоянное напряжение, поддерживающее человека в его противостоянии миру, упорядоченная горячка, побуждающая его все принимать, повергают его в другую лихорадку. И тогда произведение искусства оказывается единственной в этом мире возможностью утвердить свое сознание и зафиксировать его приключения. Творить – это жить дважды. Тревожный поиск на ощупь, ведущийся Прустом, кропотливое собирание им цветов, рисунков на обоях и тоскливых наваждений не означает ничего другого. И в то же время этот поиск дает ничуть не больше, чем то постоянное и бесценное творчество, какому на протяжении всей их жизни каждодневно предаются актер, завоеватель и все другие люди абсурда. Все они стараются изобразить, повторить и воспроизвести действительность, в которой живут. В конце концов мы всегда принимаем облик наших истин. Человеком, отвернувшимся от вечности, сущее воспринимается как нескончаемая грандиозная пантомима, исполняемая в маске абсурда. Творчество – это великое мимическое представление.

Прежде всего эти люди обладают знанием, и все их последующие усилия сводятся к тому, чтобы обследовать, увеличить и обогатить тот остров без будущего, к которому они только что причалили. Но сначала надо знать. Ибо открытие абсурда по времени совпадает с передышкой, когда вырастают и подбирают себе оправдание грядущие страсти. Даже у людей, живущих без Евангелия, бывает своя Масличная гора. И на ней тоже не следует спать. Задача человека абсурда не в том, чтобы находить объяснения и решения, а в том, чтобы самому испытать и описать. Все начинается с прозорливого безразличия.

Описывать – устремления абсурдной мысли дальше этого не простираются. Ведь и наука, покончив со своими парадоксами, перестает что бы то ни было предлагать и довольствуется тем, что наблюдает и обрисовывает вечно девственный внешний вид явлений. Тогда-то сердце и узнает, что волнение, охватывающее нас при созерцании ликов земли, зависит не от глубины нашего проникновения, а от их разнообразия. Объяснение тщетно, зато ощущение остается, а с ним и беспрестанные зовы, исходящие от количественно неисчерпаемого мира. Понятно в таком случае место, принадлежащее произведениям искусства.

Каждое из них знаменует собой одновременно смерть определенного опыта и его приумножение. Произведение является как бы повторением, однообразным и страстным, уже оркестрованных миром мотивов: тело, без конца воспроизводимое на фронтонах храмов, формы и краски, число и скорбь. Поэтому, завершая настоящее эссе, не лишено смысла проследить основные его темы в великолепном и по-детски наивном мире творца. Было бы ошибкой усматривать в произведении искусства символ и полагать, будто оно может в конечном счете рассматриваться как прибежище абсурда. Оно само по себе есть феномен абсурда, и задача сводится лишь к его описанию. Произведение не служит отдушиной для болезни духа. Напротив, оно один из признаков этой болезни, накладывающей свой отпечаток на все мышление человека. Но оно впервые выводит дух вовне и помещает его перед другими людьми – не для того, чтобы повергнуть их в растерянность, а чтобы точно указать тот безысходный путь, по которому все мы движемся. В ходе рассуждения об абсурде творчество следует за безразличием и открытиями. Оно отмечает точку, откуда берут начало абсурдные страсти и где рассуждение останавливается. Так получает оправдание место абсурдного творчества в настоящем эссе.

Достаточно будет пролить свет на некоторые общие для творца и для мыслителя темы, чтобы обнаружить в произведении искусства все противоречия мысли, вовлеченной в абсурд. Действительно родственными различные интеллекты делает не столько тождество заключений, сколько общность противоречий. Именно так обстоит дело с мыслью и творчеством. Вряд ли мне надо задерживаться на том, что в обоих случаях к этим занятиям человека подталкивает одно и то же страдание. В этом они и совпадают на первых порах. Но я уже видел, что из всех направлений мысли, принимающих абсурд за отправную точку, немногие удерживаются в заданных им пределах. Как раз по отклонениям и непоследовательностям я лучше всего выявлял то, что принадлежит только абсурду. А вместе с тем мне следует поставить перед собой вопрос: возможно ли вообще абсурдное произведение?

Не будет излишним подчеркнуть: давнее противопоставление искусства и философии произвольно. В строгом смысле слова оно наверняка ошибочно. Если же хотят сказать, что у каждого из этих видов человеческой деятельности есть свой особый климат, это, разумеется, верно, однако чересчур расплывчато. Единственно приемлемый довод состоит в ссылке на разницу между философом, пребывающим внутри своего учения, и художником, находящимся перед своим произведением. Однако это справедливо лишь относительно искусства и философии определенного рода, каковой мы здесь считаем второстепенным. Представление, согласно которому искусство отделено от своего творца, не просто старомодно. Оно ложно. Обычно указывают на то, что ни один философ в отличие от художника не создавал несколько учений. Но это верно в той самой мере, в какой допустимо сказать, что никто из художников никогда не выходил за рамки выражения одного и того же в различных обличьях. Совершенствование искусства раз от разу, необходимость его обновления – все эти истины основаны на предрассудке. Ведь произведение искусства – это тоже сооружение, и каждый знает, насколько однообразными могли быть великие творцы. Художник так же, как и мыслитель, вкладывает себя в свое произведение и в нем самоосуществляется. Это взаимопроникновение выдвигает перед нами одну из самых существенных эстетических проблем. Да и кроме того, для тех, кто убежден в единстве целей духа, нет ничего бесполезнее различений в зависимости от его предметов и методов достижения этих целей. Нет перегородок между теми видами умственной деятельности, к которым человек прибегает ради понимания и любви. Все эти виды взаимно переплетены, и их объединяет общая тревога.

Необходимо сказать это с самого начала. Чтобы абсурдное произведение стало возможно, должна быть приведена в действие предельно ясная мысль. Но вместе с тем нужно, чтобы она проявила себя исключительно как упорядочивающий интеллект. Этот парадокс объясним в

свете абсурда. Произведение искусства рождается из отказа разума предаваться рассуждениям о конкретном. Оно знаменует собой торжество плотского начала.

К жизни оно вызвано ясной мыслью, но, сделав это, мысль тем самым себя же и отвергает. Она не поддается искушению добавить к описанному более глубокий смысл, не считая такой смысл правомерным. Произведение искусства воплощает драму интеллекта, однако свидетельствует о ней окольно. Абсурдное произведение предполагает художника, осознающего пределы своих возможностей, и искусство, в котором конкретное не означает ничего, кроме самого себя. Такое произведение не может служить для жизни целью, смыслом и утешением. Творить или не творить – это ничего не меняет. Абсурдный творец не дорожит своим произведением. Он мог бы от него отречься – и иногда отрекается. Достаточно отправиться в Абиссинию.

А вместе с тем можно усмотреть во всем этом еще и правило эстетики. Подлинное произведение искусства всегда скроено по мерке человеческой. По существу, в нем высказывается меньше, чем подразумевается. Есть определенная связь между всем опытом художника и отражающим его произведением, между «Вильгельмом Мейстером» и зрелостью Гёте. Когда весь опыт хотят уместить на узорчатой бумаге, образчике объясняющей литературы, – это дурная связь, а добротная связь – это когда произведение представляет собой только вырезку из опыта, грань алмаза, внутреннее свечение которого присутствует в ее вспышках сжато, но нестесненно. В первом случае налицо излишек и претензия на вечность. Во втором случае произведение щедро плодоносит благодаря подразумеваемому в нем опыту, богатство которого угадывается. Задача абсурдного художника в том, чтобы умение жить превосходило у него умение писать. В конечном счете великий художник с этой точки зрения есть прежде всего мастер жить, если под словом «жить» разуметь способность самому испытывать, равно как и размышлять. Произведение воплощает, следовательно, драму интеллекта. Абсурдное произведение свидетельствует об отказе мысли от ее преимуществ и ее согласие быть лишь интеллектуальной силой, которая приводит в действие внешний вид вещей и претворяет в образы то, в чем нет смысла. Будь мир ясен, искусства могло бы не быть.

Я уж не говорю здесь об искусстве пластических форм и красок, где безраздельно царит описание во всем его скромном великолепии[72]. Выразительность начинается там, где кончается мысль. Вся философия этих юношей с пустыми глазами, населяющих храмы и музеи, вложена в жесты. Для человека абсурда она более поучительна, чем целые библиотеки. На свой лад, но, в сущности, так же обстоит дело и с музыкой. Если какое-нибудь искусство свободно от назидательности, то прежде всего это музыка. Она слишком близка к математике, чтобы не позаимствовать у нее бесцельность. Эта игра духа с самим собой согласно условным и тщательно взвешенным правилам протекает в принадлежащем нам звуковом пространстве, вне которого звуковые колебания сопрягаются друг с другом уже в какой-то бесчеловечной вселенной. Нет ощущений чище. Подобрать тут примеры – дело слишком легкое. Человек абсурда признает своими эти формы и созвучия.

Но мне хотелось бы здесь поговорить о произведениях, в которых особенно велик соблазн объяснений, где иллюзия есть нечто само собой разумеющееся, а умозаключения почти неминуемы. Я имею в виду романное повествование. И задаюсь вопросом, может ли абсурд найти там себе надежное место.

Мыслить означает в первую очередь хотеть создать некий мир (или отграничить свой собственный мир, что то же самое). Это означает отправляться от основополагающего разрыва между человеком и его опытом, чтобы найти площадку для их взыскуемого согласия, отыскать мир, затянутый в одежды вразумительных причин и высвеченный подобиями, – тот мир, где дано преодолеть невыносимый разлад. Философ, даже если это Кант, выступает как творец. У

[72] Любопытно заметить, что самая интеллектуальная живопись, то есть живопись, старающаяся свести действительность к самым основным первоэлементам, в пределе своем есть просто наслаждение для глаз. От мира в ней сохранены одни краски.

него есть свои персонажи, свои символы и свое скрытое действие. Он находит свои развязки. И наоборот, главенство романа над поэзией и эссеистикой свидетельствует, как далеко вопреки всем внешним приметам продвинулась интеллектуализация искусства. Договоримся: речь пойдет только о самых великих книгах. О плодотворности и достоинствах жанра иной раз судят по его неудачным образцам. Нельзя из-за плохих романов забывать о ценности лучших. В них-то как раз и возникают целые миры. В романе есть своя логика, своя цепь рассуждений, свои интуитивные прозрения и свои постулаты. Ему присуща также своя потребность в ясности[73].

Классическое противопоставление, о котором я говорил выше, еще менее правомерно в этом особом случае. Оно было оправдано в те времена, когда не составляло труда отделить философское учение от его создателя. Сегодня же, когда мысль больше не претендует на универсальность, когда лучшей историей философии была бы история ее раскаяний, мы знаем, что любое стоящее учение неотделимо от своего создателя. В известном смысле сама «Этика» есть не что иное, как долгая последовательная исповедь. Отвлеченная мысль наконец-то соединяется со своей телесной опорой. И точно так же романическая игра страстей и плоти все жестче подчиняется императивам того или иного видения мира. Сейчас больше не рассказывают «историй», а создают собственную вселенную. Великие романисты – это романисты-философы, то есть противоположность сочинителям тенденциозных повествований, иллюстрирующих какую-нибудь идею. Таковы среди многих других Бальзак, Сад, Мелвилл, Стендаль, Достоевский, Пруст, Мальро, Кафка.

Но как раз предпочтение, отданное ими письму в образах перед письмом в рассуждениях, показательно для общей им всем убежденности в том, что установка на объяснение бесполезна и урок сам собой вытекает из чувственно ощутимого внешнего обличья вещей. Все они рассматривают произведение одновременно и как конец, и как начало. Оно является завершением зачастую не высказанной прямо философии, ее зримым подтверждением и увенчанием. Но оно состоялось лишь благодаря этой подразумеваемой философии. И тем самым доказывает правоту одной из версий старинного утверждения о том, что размышления удаляют от действительности, когда их мало, и приближают к ней, когда их много. Не будучи в силах возвысить жизнь, мысль довольствуется тем, что ее изображает. Роман, о котором ведется речь, есть инструмент познания, относительного и одновременно неисчерпаемого – и тем похожего на любовь. Романическое творчество роднит с любовью и первоначальное восхищение сущим, и плодотворное вынашивание замысла.

По крайней мере таковы достоинства, которые я с самого начала признаю за этим творчеством. Но я признавал их и за теми князьями смиренной мысли, чье самоубийство я мог затем наблюдать. Что меня действительно занимает, так это постижение и описание той силы, которая толкает их на проторенную дорогу иллюзий. Поэтому все тот же метод послужит мне и здесь. То обстоятельство, что я им уже пользовался, позволит мне сделать мое рассуждение короче и сжато изложить самую суть, не задерживаясь на примерах. Я хочу знать, возможно ли, согласившись жить без зова свыше, точно так же без зова свыше работать и творить и какой путь ведет к подобной свободе. Я хочу избавить мой мир от призрачных теней и населить его истинами во плоти, чье присутствие отрицать невозможно. Я могу создавать абсурдное произведение, предпочесть творческую установку всем прочим установкам. Но для того чтобы абсурдная установка таковой и осталась, в ней должно быть сохранено сознание своей бесцельности. Так и с произведением. Если предписания абсурда в нем не соблюдены, если оно не

[73] Здесь стоит поразмыслить: ведь это объясняет и появление худших романов. Почти все люди считают себя способными мыслить и в известной мере действительно мыслят, хорошо или плохо. Напротив, очень немногие могут представить себя поэтами и мастерами слова. Но с того момента, как мысль сделалась важнее стиля, роман подвергся нашествию толпы.Это не такое уж большое зло, как о том говорят. Лучшие вынуждены предъявлять к себе более строгие требования. Что же касается тех, кто этих требований не выдерживает, они и не заслуживают выживания.

свидетельствует о разладе и бунте, если в нем приносятся жертвы иллюзиям и оно пробуждает надежду, оно не бесцельно. И я не могу отделить от него самого себя. Моя жизнь может обрести в нем свой смысл, а это смехотворно. Оно перестает быть тем проявлением отрешенности и страсти, каким увенчивается великолепие и бесполезность человеческой жизни.

В том виде творчества, где соблазн заняться объяснениями особенно силен, можно ли с ним все-таки справиться? В вымышленном мире, где особенно сильно сказывается осознание мира действительного, могу ли я сохранить верность абсурду, не поддавшись желанию сделать конечные выводы? Вот сколько вопросов нужно рассмотреть напоследок. Сразу же понятно, что они означают. Это последние сомнения ума, которому страшно поступиться своим трудным первоначальным заветом ради заключительной иллюзии. Что верно применительно к творчеству, понятому как *одна* из возможных установок человека, осознавшего абсурд, верно и применительно ко всем другим доступным ему стилям жизни. Завоеватель или актер, творец или Дон Жуан могут и забыть, что невозможно вести их жизнь без осознания ее нелепости. Ведь привыкают так быстро. Кто-то хочет подзаработать денег, чтобы стать счастливым, и все силы, лучшая часть жизни отводятся зарабатыванию денег. И вот уже о счастье забыто, средство принимается за цель. Точно так же все старания завоевателя могут быть поставлены на службу честолюбию, которое изначально было лишь путем к более полной жизни. Со своей стороны Дон Жуан тоже примиряется с выпавшей ему судьбой, довольствуется своим существованием, которому только бунт придает величие. У одного все дело в сознании, у другого – в бунте, но в обоих случаях абсурд исчезает. Упрямая надежда пустила корни в человеческом сердце. Даже самые обездоленные люди порой кончают тем, что предаются иллюзиям. Подобное одобрение жизни, внушенное потребностью в душевном покое, является внутренним двойником экзистенциалистского приятия мира. Существуют, стало быть, боги света и идолы грязи. Но важно найти тот срединный путь, что ведет к лицам человеческим.

До сих пор о том, что такое абсурдный запрос, нас лучше всего осведомляли его неудачи. Подобным же образом, чтобы составить представление о писательском творчестве, достаточно заметить, что оно может являть собой такую же двусмыслицу, как и иные философские учения. Я могу, следовательно, выбрать в качестве примера произведение, где были бы соединены все особенности абсурдного сознания, включая ясность отправных посылок и прозрачность всей атмосферы. Результаты разбора скажут нам о многом. Если требования абсурда там не соблюдены, мы узнаем, каким путем туда проникает иллюзия. Это будет такой же анализ, какой однажды уже был проделан более пространно.

Я рассмотрю одну излюбленную тему Достоевского. С тем же успехом я мог бы остановиться на других произведениях[74]. Но у Достоевского проблема обсуждается впрямую, величественно и взволнованно, как и в экзистенциалистских учениях, о которых шла речь выше. И это сходство служит моей цели.

Кириллов

Все герои Достоевского задаются вопросом о смысле жизни. Как раз в этом они современны – они не боятся выглядеть смешными. Жизнечувствие современное тем и отличается от жизнечувствия классического, что пищей последнему служат проблемы моральные, тогда как пища первого – проблемы метафизические. В романах Достоевского вопросы ставятся с такой степенью напряженности, что неизменно влекут за собой крайние решения. Жизнь являет собой ложь – или она вечна. Довольствуйся Достоевский рассмотрением этого вопроса, он был бы философом. Но он изображает, какие следствия в жизни человека могут иметь такие игры

[74] Например, на произведениях Мальро. Но тогда пришлось бы затронуть еще и социальную проблему, которая и в самом деле не может быть обойдена абсурдной мыслью (хотя последняя может предложить ряд весьма различных ее решений). Однако следует себя ограничивать.

ума, и в этом он художник. Среди подобных следствий он особенно сосредоточен на самом крайнем – на том, которое он в «Дневнике писателя» назвал «логическим самоубийством». Действительно, в декабрьском выпуске 1876 года он мысленно выстраивает рассуждения, ведущие к «логическому самоубийству». Убедившись в том, что человеческое существование есть полнейший абсурд для того, кто не верит в бессмертие души, отчаявшийся человек приходит к следующим заключениям:

«Так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе, как в гармонии целого, которой я не понимаю и, очевидно для меня, и понять никогда не в силах…

Так как, наконец, при таком порядке я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупою, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унизительным…

То, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, – вместе со мною к уничтожению…»

В этой позиции есть и своя малая доля юмора. Самоубийца кончает с собой потому, что он в метафизическом плане уязвлен. В известном смысле он мстит за себя. Это его способ доказать, что «с ним это не пройдет». Известно вместе с тем, что тот же мотив воплощен, на сей раз с восхитительной полнотой, в Кириллове, одном из действующих лиц «Бесов», приверженном, в свою очередь, к логическому самоубийству. Инженер Кириллов где-то провозглашает, что он хочет лишить себя жизни, потому что «такая у него мысль». Понятно, что слова эти следует воспринимать буквально. Он готовится к смерти именно ради идеи, ради некой мысли. Это самоубийство высшего порядка. Постепенно, по мере следования сцен, в которых малопомалу освещается маска Кириллова, раскрывается и чреватая смертью мысль, которая его воодушевляет. Инженер действительно делает своими рассуждения из «Дневника». Он чувствует, что Бог необходим и надо, чтобы он существовал. Но он знает, что Бога нет и не может быть. «Неужели ты не понимаешь, – восклицает он, – что из-за этого только одного можно застрелить себя». Из безразличия он соглашается с тем, чтобы его самоубийство было использовано во благо презираемому им делу. «Я определил в эту ночь, что мне все равно». В конечном счете он готовит свой поступок со смешанным чувством бунта и свободы. «Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою». Тут уже не месть, тут бунт. Следовательно, Кириллов – это персонаж абсурда, с той только существенной разницей, что он себя убивает. Однако он сам объясняет это противоречие, да так, что одновременно раскрывает тайну абсурда во всей ее чистоте. В самом деле, он добавляет к своей смертоносной логике еще и выходящее из ряда вон домогательство, в свете которого нам и явлен этот персонаж: он хочет себя убить, чтобы стать богом.

Умозаключение классически ясное. Если Бога нет, Кириллов – бог. Если Бога нет, Кириллов должен себя убить. Следовательно, Кириллов должен себя убить, чтобы стать богом. Логика абсурдна, но это и требовалось. Однако интересно установить, в чем смысл этого низведенного на землю божества. А это значит прояснить посылку «Если Бога нет, то я бог», которая пока что продолжает быть достаточно темной. Важно прежде всего заметить, что человек, выдвигающий столь безумное домогательство, вполне от мира сего. По утрам он делает гимнастику, чтобы поддержать свое здоровье. Он взволнован радостью Шатова, который снова обретает жену. На листке бумаги, который обнаружат после его смерти, Кириллову хочется намалевать рожу, показывающую «им» язык. Он по-детски простодушен и гневлив, страстен, последователен и чувствителен. От сверхчеловека у него только логика и навязчивая идея, весь остальной набор свойств – от человека. Однако это он сам говорит о своем божественном достоинстве. Он не безумец – либо безумен сам Достоевский. И следовательно, он движим

не бредом, вызванным манией величия. На сей раз буквально воспринимать слова было бы смешно.

Сам Кириллов помогает нам лучше его понять. В ответ на вопрос Ставрогина он уточняет, что ведет речь не о богочеловеке. Можно было бы подумать, что он заботится о том, чтобы отличаться от Христа. Но на самом деле он помышляет присоединить Христа к себе. Действительно, Кириллов в какой-то миг мысленно представляет себе, что умерший Христос не *очутился в раю*. Он узнал тогда, что муки Его были напрасны. «Законы природы, – говорит инженер, – заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь». Только в этом смысле Иисус служит воплощением всей человеческой трагедии. Он совершеннейший из людей, ибо Он тот, кто своей жизнью осуществил самый абсурдный удел. Он не Богочеловек, а человекобог. Подобно Ему, каждый из нас может быть распят и обманут, а в какой-то степени это с каждым и случилось.

Божество, о котором идет речь, является, следовательно, вполне земным. «Я три года искал атрибут божества моего, – говорит Кириллов, – и нашел: атрибут божества моего – Своеволие». Теперь проступает смысл посылки Кириллова «Если Бога нет, то я бог». Стать богом – это просто-напросто быть свободным на земле, а не находиться в услужении у бессмертного существа. И в особенности, разумеется, извлечь все заключения из этого мучительного своеволия. Если Бог существует, все зависит от него и против его воли мы не можем ничего. Если же его нет, то все зависит от нас самих. Для Кириллова, как и для Ницше, умертвить Бога означает самому стать богом, на самой земле осуществить ту вечную жизнь, о которой сказано в Евангелии[75].

Но если метафизического преступления человеку достаточно, чтобы вполне состояться самому, то зачем добавлять к этому еще и самоубийство? Зачем кончать с собой, покидать здешний мир после того, как свобода завоевана? Тут есть противоречие. Кириллов хорошо это знает, недаром он добавляет: «Если сознаешь – ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе». Но люди этого не ведают. Они «этого» не чувствуют. Как и во времена Прометея, они питают слепые надежды[76]. Они нуждаются в том, чтобы им указали путь, и не могут обойтись без проповеди. Следовательно, Кириллов должен убить себя из любви к человечеству. Он должен указать братьям трудный царский путь, пройти по нему первым. Это педагогическое самоубийство. В результате Кириллов приносит себя в жертву. Но если он распят, то не обманут. Он остается человекобогом и убежден, что после смерти ничего нет, проникнут евангельской печалью. «Я несчастен, – говорит он, – ибо *обязан* заявить своеволие». Но когда он будет мертв и люди наконец просветятся, землю населят цари и воссияет слава человека. Своим выстрелом из пистолета Кириллов подаст сигнал к самой последней революции. Таким образом, к смерти его толкает не отчаяние, а бескорыстная любовь к ближним. Перед кровавым завершением своего неслыханного духовного приключения Кириллов произносит слова столь же древние, как и сами человеческие страдания: «Все хорошо».

Тема самоубийства у Достоевского является, следовательно, одной из тем абсурда. Заметим только, прежде чем пойти дальше, что Кириллов проступает в других персонажах, которые, в свою очередь, влекут за собой другие темы абсурда. Ставрогин и Иван Карамазов применяют в своих жизненных поступках истины абсурда. Они и есть те, кого освобождает смерть Кириллова. Они пробуют быть царями. Ставрогин ведет «ироническую» жизнь – какую именно, хорошо известно. Вокруг себя он сеет ненависть. И однако ключевые слова к его жизни содержатся в его прощальном письме: «Я ничего не мог возненавидеть». Он царь безразличия. Иван, со своей стороны, отказывается отречься от царственной власти разума. Тем, кто, подобно его брату, доказывают собственной жизнью, что вера нуждается в смирении, Иван мог

---

[75] Ставрогин: «Вы стали верить в будущую вечную жизнь?» Кириллов: «Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную».

[76] Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы не убить себя; в этом вся всемирная история до сих пор.

бы ответить, что находит это условие недостойным. Его ключевые слова – «все позволено», произносимые с подобающим оттенком печали. Понятно, что он кончает безумием, подобно Ницше, самому прославленному из убийц Бога. Но это неизбежный риск, и перед столь трагическим завершением самое главное для абсурдного разума сводится к тому, чтобы спросить: «И что это доказывает?»

Итак, романы, как и «Дневник писателя», ставят вопрос об абсурде. Они учреждают логику, ведущую вплоть до самой смерти, и еще восторг, «ужасающую» свободу, славу царей, ставшую славой людей. «Все хорошо», «все позволено», «ничто не заслуживает презрения» – все это суждения абсурдного толка. Но какое же творческое чудо заставило выглядеть эти существа из пламени и льда такими нам близкими! Страстный мир равнодушия, громыхающий в их сердцах, ничуть не кажется нам чудовищным. Мы встречаем там наши повседневные страхи. И никто, конечно же, не сумел придать абсурдному миру таких знакомых нам и таких мучительных достоинств, как это сделал Достоевский.

Каково же, однако, заключение? Две выдержки покажут метафизическое опрокидывание, которое ведет писателя к другим откровениям. Умозаключения логического самоубийцы вызвали протесты критиков, и Достоевский в последующих выпусках «Дневника» развивает свои мысли, приходя в конце концов к следующему: «Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого (что без него человек приходит к мысли о самоубийстве), то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и само бессмертие души человеческой *существует несомненно*». С другой стороны, на последних страницах последнего романа Достоевского, к самому концу этого грандиозного сражения с Богом, дети спрашивают у Алеши: «Карамазов, неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга?» И Алеша отвечает: «Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было».

Стало быть, Кириллов, Ставрогин и Иван потерпели поражение. «Братья Карамазовы» отвечают «Бесам». И это действительно конечный вывод. Случай с Алешей не так двусмыслен, как случай с князем Мышкиным. Больной князь живет в вечном настоящем, то расцвеченном улыбками, то источающем безразличие, и это блаженное состояние могло бы быть той вечной жизнью, о которой он говорит. Напротив, Алеша высказывается определенно: «непременно встретимся». Больше нет речи о самоубийстве и безумии. Зачем они тому, кто уверен в бессмертии души и его радостях? Человек обменивает свое божественное достоинство на счастье. «Весело, радостно расскажем друг другу все, что было». Значит, пистолетный выстрел Кириллова раздался где-то в России, но мир продолжал тешиться своими слепыми надеждами. Люди «этого» не поняли.

Выходит, с нами ведет разговор романист не абсурдный, а экзистенциалистский. И здесь тоже прыжок нас волнует, придает величие вдохновившему на него искусству. Приятие сущего здесь трогательно, проникнуто сомнениями и неуверенностью, но пылко. По поводу «Карамазовых» Достоевский писал: «Главный вопрос, который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно или бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие». Трудно поверить, чтобы одного романа оказалось достаточно для претворения муки всей жизни в радостную несомненность. Один из комментаторов[77] справедливо замечает: у Достоевского немало общего с Иваном Карамазовым, недаром утверждающие по своему духу главы потребовали от него трех месяцев упорной работы, тогда как то, что он называл «богохульством», написано за три недели в порыве вдохновения. У Достоевского нет ни одного персонажа, в ком не засела бы эта заноза, кто бы не растравлял себя ею или не искал спасения в чувственности или безнравственности[78]. Во всяком случае, останемся при этой догадке. Вот

[77] Борис де Шлёцер.

[78] Любопытное и проницательное наблюдение Андре Жида: почти все персонажи Достоевского полигамны.

перед нами творчество, в светотени которого сражение человека с собственными надеждами вырисовывается еще более выпукло, чем при дневном свете. Подойдя к концу, творец делает свой выбор в противовес своим же героям. И это противоречие позволяет нам уточнить: в данном случае мы имеем дело не с абсурдным творчеством, а с творчеством, в котором ставится вопрос об абсурде.

Ответ Достоевского – уничижение, «стыд» согласно Ставрогину. Напротив, абсурдное произведение не дает никакого ответа. Заметим под конец: абсурду в этом творчестве противостоит не христианский дух, а то, что здесь провозглашается вера в загробную жизнь. Можно быть христианином и человеком абсурда. Встречаются христиане, не верящие в загробную жизнь. Есть возможность, следовательно, уточнить одно из направлений анализа художественного произведения с позиций абсурда, нащупанное уже на предыдущих страницах. Оно ведет к постановке вопроса относительно «абсурдности Евангелия». Оно проливает свет на ту плодотворную в своих последующих преломлениях мысль, что твердость убеждений безверию не помеха. Совсем наоборот, по «Бесам» можно видеть, что их автор, которому пути абсурда близко знакомы, в конце концов предпочитает совсем другую дорогу. Поразительный ответ творца своим героям, Достоевского – Кириллову, можно и на самом деле вкратце выразить следующими словами: жизнь есть ложь, и она вечна.

Творчество без будущего

Итак, здесь я замечаю, что надежду нельзя устранить навсегда и что она может осаждать именно тех, кто хотел бы от нее избавиться. В этом причина моего интереса к произведениям, о которых шла речь до сих пор. Я мог бы перечислить немало произведений действительно абсурдных, во всяком случае, из числа тех, что относятся к разряду художественных[79]. Но все должно иметь свое начало. Предметом настоящего исследования является определенного рода верность. Церковь обходилась так жестоко с еретиками потому, что считала худшими врагами своих заблудших детей. Правда, история гностических дерзаний и живучесть манихейских течений дали больше для выработки ортодоксальной догматики, чем все молитвы, вместе взятые. При всех необходимых оговорках можно тем не менее сказать, что так же обстоит дело и с абсурдом. Нужный путь распознают, обследуя дороги, уводящие от него в сторону. К самому концу рассуждения об абсурде, приняв одну из установок, подсказанных его логикой, вовсе не безразлично снова обнаружить надежду, возвращающуюся в одном из самых своих волнующих обличий. Это показывает, как трудна абсурдная аскеза. И в особенности это показывает, как необходимо сознанию быть постоянно в работе, а следовательно, вписывается в общие рамки настоящего эссе.

Но если вопрос о перечне произведений абсурдного толка пока что не стоит, можно тем не менее позволить себе вывод относительно творческой установки – одной из тех, что могут сделать абсурдное существование полнее. Столь добрую службу искусству способна сослужить лишь негативная мысль. Вникнуть в ее таинственный и смиренный ход так же необходимо для понимания крупных произведений, как белое необходимо для понимания черного. Трудиться и творить «ни для чего», ваять из праха, знать, что у созданного тобой нет будущего, видеть, как в один прекрасный день оно подвергнется разрушению, и сознавать при этом, что, в сущности, это так же не важно, как и строить на века, – вот трудная мудрость, одобряемая абсурдной мыслью. Преследовать две цели сразу, отвергать, с одной стороны, и славить – с другой, – таков путь, открывающийся перед абсурдным творцом. Он должен придать окраску пустоте.

Сказанное ведет к особой концепции произведения искусства. Творчество художника слишком часто рассматривают как ряд изолированных друг от друга свидетельств. Но в таком

[79] «Моби Дик» Мелвилла, например.

случае смешивают художника и литератора. Глубокая мысль пребывает в постоянном становлении, проникается жизненным опытом и его лепит. И точно так же единое творчество человека крепнет в чреде своих многочисленных проявлений – отдельных произведений. Они дополняют, поправляют и возмещают упущения друг друга, а то и вступают между собой в противоречия. Если у творчества бывает завершение, то это вовсе не лжепобедный возглас ослепленного художника: «Я все сказал!» – а смерть самого творца, которая кладет конец его опыту и книге, куда он вложил свой дар.

Усилия творца, его сверхчеловеческое самосознание не обязательно видны читателю. В человеческом творчестве нет никакой тайны. Чудо свершается благодаря воле. И все-таки нет настоящего творчества без своего секрета. Разумеется, ряд произведений может быть не чем иным, как вереницей приближений к одной и той же мысли. Но можно себе представить и творцов иного склада, больше тяготеющих к сопоставлению. Может показаться, что между их произведениями нет связи, что в известной степени они даже противоположны друг другу. Но, будучи помещены в общую последовательность, они выдают соединяющий их подспудный порядок. Окончательный смысл им придает, следовательно, смерть их создателя. А самый яркий свет на них проливает его жизнь. К часу его смерти ряд его произведений есть не что иное, как собрание поражений. Но если у всех этих поражений одинаковый отзвук, значит, творец сумел многократно повторить образ собственного удела, заставил звучать ту бесплодную тайну, которой он владел.

Усилия властвовать над материалом и собой здесь значительны. Но человеческий ум способен и на гораздо большее. Он демонстрирует лишь волевой аспект творчества. В другом месте я уже высказал мысль о том, что у человеческой воли нет другой задачи, кроме поддержки сознания в деятельном настрое. Но это невозможно без дисциплины. Творчество – самая результативная школа терпения и ясности. Оно является к тому же потрясающим свидетельством единственного достоинства человека – его упрямого бунта против своего удела, постоянства в усилиях, полагаемых бесплодными. Творчество требует повседневного труда, самообладания, точной оценки пределов истинного, меры и силы. Оно представляет собой аскезу. И все это «ни для чего», чтобы повторяться и топтаться на месте. Но может быть, великое произведение искусства значимо не столько само по себе, сколько тем испытанием, которому оно подвергает человека, и предоставляемым человеку случаем возобладать над своими наваждениями и немного приблизиться к голой действительности.

Не ошибемся в выборе эстетики. Разговор здесь вовсе не о терпеливой передаче сведений, не о нескончаемом и бесплодном иллюстрировании какого-нибудь тезиса. Нет, о прямо противоположном, если я объяснился внятно. Роман, доказывающий тезис, самое ненавистное из всех произведений, чаще всего имеет источником вдохновения самодовольную мысль. Когда бывают уверены, что обладают истиной, ее просто-напросто демонстрируют. Но в таких случаях в ход идут идеи, а они есть нечто противоположное мысли. Их создатели – стыдливые философы. Те же, о ком я веду речь или кого рисую себе в воображении, – это, напротив, ясные умом мыслители. Там, где мысль отказывается от себя самой, они воздвигают образы своих произведений как очевидные символы ограниченной, смертной и бунтующей мысли.

Возможно, эти образы что-то доказывают. Но романисты приводят подобные доказательства скорее себе, чем другим. Главное же в том, что поприщем их торжества служит конкретное, и в этом их величие. Торжество сугубо плотского начала подготовлено мыслью, абстрагирующие возможности которой приглушены. Когда же они упраздняются вовсе, плоть помогает творению озариться всем своим абсурдным светом. Произведения, исполненные страсти, создаются ироническими философами.

Всякая мысль, отвергающая единство, превозносит многообразие. А многообразие – это почва искусства. Дух освобождает только та мысль, которая оставляет его наедине с самим

собой, убежденным в своей ограниченности, в предстоящей ему смерти. Никакая доктрина его не соблазняет. Он ждет, чтобы созрели и произведение, и жизнь. Отделившись от него, произведение позволит расслышать еще раз слегка приглушенный голос души, навеки избавившейся от надежды. Или оно ничего не позволит расслышать, если творец, устав от своего занятия, захочет отвернуться. Но это все равно.

Таким образом, я жду от абсурдного творчества того же самого, чего я требовал от мысли, – бунта, свободы и многообразия. Затем оно обнаружит свою полнейшую бесполезность. В том повседневном усилии, при котором ум и страсть соединяются и поддерживают друг друга, человек абсурда открывает дисциплину как свою главную силу. Нужные для этого усердие, упорство и прозорливость близки в результате установкам завоевателя. Следовательно, творить – значит придавать форму своей судьбе. Все упоминавшиеся персонажи определяются творчеством по меньшей мере настолько же, насколько они его определяют. Актер уже научил нас: между «быть» и «казаться» нет границы.

Повторим. Ничто из всего сказанного не имеет реального смысла. И есть куда продвинуться дальше по пути свободы. Последнее усилие родственных умов, творца или завоевателя, состоит в том, чтобы суметь освободиться еще и от дела своей жизни: допустить, что созданного ими – в завоевании ли, в любви или в творчестве – могло бы и не существовать, проникнуться мыслью о полной бесполезности любой отдельной жизни. Им самим это даже придает большую легкость при осуществлении задуманного, подобно тому как открытие абсурдности жизни позволяет окунуться в нее со всей безудержностью.

Что остается, так это судьба, в которой фатально только одно – исход. Вне этой единственной фатальности смерти все – радость или счастье – являет собой свободу. Остается мир, единственный хозяин которого – человек. Раньше его сковывала иллюзия потустороннего мира. Назначение его мысли больше не в том, чтобы отречься от себя, а в том, чтобы вспыхнуть россыпью образов. Мысль резвится, конечно же, в мифах – но в тех мифах, у которых нет другой глубины, кроме глубины человеческого страдания, и столь же неисчерпаемых. Нет, это не та Божественная притча, что тешит нас и ослепляет, а земные лик, жест, драма, и в них вложена трудная мудрость и страсть без будущего.

Миф о Сизифе

Боги обрекли Сизифа вечно вкатывать на вершину горы огромный камень, откуда он под собственной тяжестью вновь и вновь низвергался обратно к подножию. Боги не без оснований полагали, что нет кары ужаснее, чем нескончаемая работа без пользы и без надежд впереди.

Если верить Гомеру, Сизиф был мудрейшим и осторожнейшим из смертных. Согласно другому преданию, он, напротив, был склонен к разбойным делам. Лично я не вижу здесь противоречия. Просто различны взгляды на причины, из-за которых он оказался бесполезным тружеником преисподней. Его винят прежде всего в непозволительно вольном обращении с богами. Он будто бы разглашал их тайны. Эгина, дочь Асопа, была похищена Зевсом. Отец, ошеломленный ее исчезновением, рассказал о своем горе Сизифу. Последний, зная о похищении, пообещал Асопу раскрыть секрет, если тот пустит воду в крепость Коринф. Грому и молниям небесным Сизиф предпочел благословение водой. За это он был наказан в преисподней. Гомер также повествует, что Сизиф заковал Смерть. Плутон не мог вынести зрелища своего опустевшего безмолвного царства мертвых. Он послал бога войны, который освободил Смерть из-под власти ее победителя.

А еще рассказывают, что Сизиф перед самой смертью неосторожно захотел подвергнуть испытанию любовь своей жены. Он велел ей бросить его тело прямо на городской площади, без погребальных обрядов. Вскоре Сизиф очутился в подземном царстве теней. Рассерженный послушанием, столь противным человеческой любви, он получил от Плутона разрешение вернуться на землю, чтобы покарать супругу. Но когда он снова увидел дневной мир, снова отведал воды, насладился сиянием солнца, теплом нагретых камней и свежестью моря, он не пожелал возвратиться во мрак преисподней. Напоминания, гнев, угрозы – ничто не помогало. Еще много лет прожил он у сверкающего морского залива, посреди улыбок прибрежной земли. Понадобилось особое постановление богов. Гермес спустился, чтобы схватить строптивца за шиворот и, оторвав его от радостей, насильно доставить в преисподнюю, где Сизифа ждал уготованный ему обломок скалы.

Довольно сказанного, чтобы уже понять: Сизиф и есть герой абсурда. По своим пристрастиям столь же, сколь и по своим мучениям. Презрение к богам, ненависть к смерти, жажда жизни стоили ему несказанных мук, когда человеческое существо заставляют заниматься делом, которому нет конца. И это расплата за земные привязанности. Никаких рассказов о Сизифе в преисподней нет. Но ведь мифы и складываются для того, чтобы их оживило наше воображение. Что до мифа о Сизифе, то можно лишь представить себе предельное напряжение мышц, необходимое, чтобы сдвинуть огромный камень, покатить его вверх и карабкаться вслед за ним по склону, стократ все повторяя сызнова; можно представить себе застывшее в судороге лицо, щеку, прилипшую к камню, плечо, которым подперта глыба, обмазанная глиной, ногу, поставленную вместо клина, перехватывающие ладони, особую человеческую уверенность двух рук, испачканных землей. В самом конце долгих усилий, измеряемых пространством без неба над головой и временем без глубины, цель достигнута. И тогда Сизиф видит, как камень за несколько мгновений пролетает расстояние до самого низа, откуда надо снова поднимать его к вершине. Сизиф спускается в долину.

Как раз во время спуска, этой краткой передышки, Сизиф меня и занимает. Ведь застывшее от натуги лицо рядом с камнем само уже камень! Я вижу, как этот человек спускается шагом тяжелым, но ровным навстречу мукам, которым не будет конца. Час, когда можно вздохнуть облегченно и который возобновляется столь же неминуемо, как и само страдание, есть час просветления ума. В каждое из мгновений после того, как Сизиф покинул вершину и постепенно спускается к обиталищам богов, он возвышается духом над своей судьбой. Он крепче обломка скалы.

Если этот миф трагичен, то все дело в сознательности героя. Действительно, разве его тяготы были бы такими же, если бы его при каждом шаге поддерживала надежда когда-нибудь преуспеть? Сегодня рабочий ради того же самого трудится каждодневно на протяжении всей жизни, и его судьба ничуть не менее абсурдна. Но он трагичен только в редкие минуты, когда его посещает ясное сознание. Сизиф, пролетарий богов, бессильный и возмущенный, знает сполна все ничтожество человеческого удела – именно об этом он думает, спускаясь вниз. Ясность ума, которая должна бы стать для него мукой, одновременно обеспечивает ему победу. И нет такой судьбы, над которой нельзя было бы возвыситься с помощью презрения.

Итак, если в иные дни спуск происходит в страдании, он может происходить и в радости. Слово это вполне уместно. Я воображаю себе Сизифа, когда он возвращается к обломку скалы. Вначале было страдание. Когда воспоминания о земной жизни слишком сильны, когда зов счастья слишком настойчив, тогда, случается, печаль всплывает в сердце этого человека, и это – победа камня, тогда человек сам – камень. Скорбь слишком огромна и тягостна, невыносима. У каждого из нас бывает своя ночь в Гефсиманском саду. Но гнетущие истины рассеиваются, когда их опознают и признают. Так, Эдип сперва повиновался судьбе, сам того не ведая. Трагедия его начинается лишь с момента прозрения. Но в тот же самый момент он, ослепший и повергнутый в отчаяние, узнает, что единственная нить между ним и миром – это прохладная ручонка дочери. И тогда он произносит из ряда вон выходящие слова: «Моя старость и величие моего духа побуждают меня, невзирая на столькие испытания, признать, что все – хорошо». Эдип Софокла, подобно Кириллову Достоевского, находит формулу абсурдной победы. Древняя мудрость смыкается с новейшим героизмом.

Открытию абсурда непременно сопутствует искус написать учебник счастья. «Позвольте, столь узкими тропами?..» Но ведь существует только один мир. Счастье и абсурд – дети одной и той же матери-земли. Они неразлучны. Ошибочно было бы утверждать, будто счастье обязательно вытекает из открытия абсурда. Тем не менее бывает, что чувство абсурда рождается от полноты счастья. «Я признаю, что все – хорошо», – говорит Эдип, и эти слова священны. Они отдаются эхом в суровой и замкнутой вселенной человека. Они учат, что не все исчерпано, не все было исчерпано. Они изгоняют из здешнего мира Бога, который сюда проник вместе с неудовлетворенностью и вкусом к бесполезному страданию. Они обращают судьбу в дело сугубо человеческое, которое людям и надлежит улаживать самим.

Здесь-то и коренится молчаливая радость Сизифа. Его судьба принадлежит ему самому. Обломок скалы – его собственная забота. Созерцая свои терзания, человек абсурда заставляет смолкнуть всех идолов. И тогда-то во вселенной, которая внезапно обрела свое безмолвие, становятся различимыми тысячи тонких чудесных земных голосов. Загадочные невнятные зовы, приветы, излучаемые каждым лицом, – все это неизбежно приносит с собой победа, есть награда за нее. Нет солнечного света без мрака, и ночь надо изведать. Человек абсурда говорит «да», и отныне его усилиям несть конца. Если существует личная судьба, то высшей судьбы не существует, или в крайнем случае существует только одна судьба, которую человек абсурда полагает неизбывной и презренной. В остальном он ощущает себя хозяином своих дней. В тот мимолетный миг, когда человек окидывает взглядом все им прожитое, Сизиф, возвращаясь к своему камню, созерцает чреду бессвязных действий, которая и стала его судьбой, сотворенной им самим, спаянной воедино его собственной памятью и скрепленной печатью его слишком быстро наступившей смерти.

И так, уверенный в человеческом происхождении всего человеческого, подобный слепцу, жаждущему прозреть и твердо знающему, что его ночь бесконечна, Сизиф шагает во веки веков. Обломок скалы катится по сей день.

Я покидаю Сизифа у подножия горы. От собственной ноши не отделаешься. Но Сизиф учит высшей верности, которая отрицает богов и поднимает обломки скал. Сизиф тоже признает, что все – хорошо. Отныне эта вселенная, где нет хозяина, не кажется ему ни бесплодной,

ни никчемной. Каждая песчинка камня, каждый вспыхивающий в ночи отблеск руды, вкрапленной в гору, сами по себе образуют целые миры. Одного восхождения к вершине достаточно, чтобы наполнить до краев сердце человека. Надо представлять себе Сизифа счастливым.

Калигула

[80]

Пьеса в четырех действиях

Действующие лица
Калигула
Цезония
Геликон
Сципион
Херея
Сенект, старый патриций
Управитель
Метелл
Луций
Лепид
Октавий
Мерейя
Муций
Первый стражник
Второй стражник
Первый служитель
Второй служитель
Третий служитель
Жена Муция
Первый поэт
Второй поэт
Третий поэт
Четвертый поэт
Пятый поэт
Шестой поэт
Седьмой поэт

Первое, третье и четвертое действия происходят во дворце Калигулы; второе – в доме Хереи.

Между первым и последующими действиями проходит три года.

[80] © Перевод. Ю. Гинзбург, наследники, 2017

Действие первое

Сцена первая

В дворцовом зале собрались патриции, один из них очень стар, они явно нервничают.

Первый патриций. Никаких известий.

Старый патриций. Ни утром, ни вечером.

Второй патриций. Уже три дня никаких известий.

Старый патриций. Посыльные уезжают и возвращаются. Они качают головой и говорят: «Никаких известий».

Второй патриций. Обшарили все окрестности, больше делать нечего.

Первый патриций. Зачем беспокоиться раньше времени? Подождем. Может быть, он как ушел, так и вернется.

Старый патриций. Я видел, как он уходил из дворца. Взгляд у него был странный.

Первый патриций. Я тоже там был и спросил его, что с ним такое.

Второй патриций. А он ответил?

Первый патриций. Он сказал одно слово: «Ничего».

Пауза. Входит Геликон, жуя луковицу.

Второй патриций *(по-прежнему нервничает).* Очень тревожно.

Первый патриций. Ну, в молодости все такие.

Старый патриций. Конечно, с годами это проходит.

Второй патриций. Вы думаете?

Первый патриций. Будем надеяться, что он забудет.

Старый патриций. Разумеется! Одну потерял, десятерых найдет.

Геликон. С чего вы взяли, что тут дело в любви?

Первый патриций. А в чем же еще?

Геликон. Может быть, печень разболелась. Или просто опротивело каждый день вас видеть. Окружающих было бы гораздо легче выносить, если бы они могли время от времени менять физиономии. Но увы, меню постоянное. Всегда одно и то же рагу.

Первый патриций. Мне хочется думать, что дело в любви. Так трогательнее.

Геликон. И утешительней, главное, гораздо утешительней. Это такая болезнь, что не щадит ни умных, ни дураков.

Первый патриций. Как бы то ни было, горести, к счастью, не вечны. Вы способны страдать больше года?

Второй патриций. Я – нет.

Первый патриций. Никто этого не может.

Старый патриций. Иначе было бы и жить нельзя.

Первый патриций. Вот видите! Знаете, в прошлом году я потерял жену. Я много плакал, а потом забыл. Иногда мне грустно. Но в общем, это ничего.

Старый патриций. Природа все мудро устроила.

Геликон. Когда я смотрю на вас, мне начинает казаться, что у нее бывают и неудачи.

Входит Херея.

Первый патриций. Ну что?

Херея. По-прежнему никаких известий.

Геликон. Спокойно, спокойно, господа. Будем вести себя прилично. Римская империя – это мы. Если мы потеряем лицо, Империя потеряет голову. Сейчас не время, нет, не время! А для начала отправимся завтракать, Империи это пойдет на пользу.

Старый патриций. Правильно, не стоит из-за всяких химер забывать о насущном.

Херея. Не нравится мне это. Но все шло слишком уж хорошо. Он был идеальный император.

Второй патриций. Да, как раз то, что нужно: совестливый и неискушенный.

Первый патриций. Да что с вами такое, к чему эти стенания? Почему бы ему не продолжать в том же духе? Конечно, он любил Друзиллу. Но в конце концов, она была его сестрой. Довольно и того, что он с ней спал. А уж будоражить весь Рим из-за того, что она умерла, – это переходит все границы.

Херея. Все равно. Мне это не нравится, и его бегство мне непонятно.

Старый патриций. Да, нет дыма без огня.

Первый патриций. Во всяком случае, в интересах государства нельзя допускать, чтобы кровосмешение принимало трагический оборот. Так уж и быть, пускай кровосмешение, но потихоньку.

Геликон. Видите ли, кровосмешение неизбежно создает какой-то шум. Кровать скрипит, если можно так выразиться. Впрочем, кто вам сказал, что тут дело в Друзилле?

Второй патриций. А в чем же тогда?

Геликон. Догадайтесь. Понимаете, несчастье – как женитьба. Ты думаешь, что выбираешь сам, а оказывается, это тебя выбрали. Тут уж ничего не поделаешь. Наш Калигула несчастен, но, может быть, он и сам не знает почему! Наверно, он почувствовал, что его приперли к стенке, оттого и убежал. И мы с вами поступили бы так же на его месте. Вот я, к примеру, – дай мне возможность выбирать себе отца, я бы не родился.

Входит Сципион.

Сцена вторая

Херея. Есть новости?

Сципион. Пока нет. Какие-то крестьяне говорят, что видели, как он пробегал тут неподалеку вчера ночью, в грозу.

Херея возвращается к сенаторам.

Сципион идет за ним.

Херея. Уже три дня прошло, Сципион?

Сципион. Да. Я был при нем, как обычно, и все видел. Он подошел к телу Друзиллы. Дотронулся до него кончиками пальцев. Потом как будто подумал, повернулся кругом и вышел твердой походкой. С тех пор его ищут.

Херея *(качая головой).* Этот юноша слишком любил литературу.

Второй патриций. Естественно в его возрасте.

Херея. Но не в его положении. Император-художник – это не укладывается в голове. Конечно, раз-другой у нас были такие. Всюду есть паршивые овцы. Но у прочих хватало вкуса оставаться чиновниками.

Первый патриций. Так было спокойнее.

Старый патриций. Каждому свое ремесло.

Сципион. Что можно сделать, Херея?

Херея. Ничего.

Второй патриций. Обождем. Если он не вернется, придется его заменить. Между нами говоря, императоров у нас хватает.

Первый патриций. Да, не хватает у нас только настоящих людей.

Херея. А если он вернется в опасном расположении духа?

Первый патриций. Поверьте, он еще ребенок, мы его наставим на путь истинный.

Херея. А если он не пожелает слушать наши наставления?

Первый патриций *(смеется).* Что ж! Разве не я написал когда-то трактат о государственном перевороте?

Херея. Конечно, если понадобится! Но я предпочел бы, чтобы меня не отрывали от моих книг.

Сципион. Прошу меня извинить. *(Уходит.)*

Херея. Он оскорбился.

Старый патриций. Он мальчишка. Молодые люди все заодно.

Геликон. Заодно они или нет, все равно они состарятся.

Появляется стражник с сообщением:
Калигулу видели в дворцовом саду.

Все уходят.

Сцена третья

Несколько секунд сцена пуста. Слева, крадучись, входит Калигула. Вид у него потерянный, одежда перепачкана, волосы мокрые, ноги забрызганы грязью. Он несколько раз подносит ладонь ко рту. Идет к зеркалу и останавливается, увидев собственное отражение. Неразборчиво что-то бормочет, потом идет направо, садится, свесив руки между раздвинутыми коленями. Слева входит Геликон. Заметив Калигулу, останавливается в углу сцены и молча на него смотрит. Калигула оборачивается и видит его. Пауза.

Сцена четвертая

Геликон *(через всю сцену).* Здравствуй, Гай.
Калигула *(просто).* Здравствуй, Геликон.

Молчание.

Геликон. Ты как будто устал?
Калигула. Я много ходил.
Геликон. Да, тебя долго не было.

Молчание.

Калигула. Было трудно найти.
Геликон. Найти что?
Калигула. То, что я хотел.
Геликон. А что ты хотел?
Калигула *(так же просто).* Луну.

Геликон. Что?

Калигула. Да, я хотел луну.

Геликон. А! *(Молчание. Подходит поближе.)* Зачем?

Калигула. Так… Это одна из тех вещей, которых у меня нет.

Геликон. Понятно. А теперь все в порядке?

Калигула. Нет, я не смог ее достать.

Геликон. Досадно.

Калигула. Да, потому я и устал. *(Пауза.)* Геликон!

Геликон. Да, Гай.

Калигула. Ты думаешь, я сошел с ума.

Геликон. Ты прекрасно знаешь, что я вообще никогда не думаю. Я недостаточно глуп для этого.

Калигула. Да. И все-таки я не сошел с ума, наоборот, я рассудителен как никогда. Просто я внезапно почувствовал, что мне нужно невозможное. *(Пауза.)* На мой взгляд, существующий порядок вещей никуда не годится.

Геликон. Весьма распространенный взгляд.

Калигула. Верно. Но я до сих пор этого не знал. Теперь я знаю. *(Все так же просто.)* Этот мир, такой, как он есть, выносить нельзя. Поэтому мне нужна луна, или счастье, или бессмертие, что-нибудь пускай безумное, но только не из этого мира.

Геликон. Рассуждение последовательное. Но мало кто умеет быть абсолютно последовательным.

Калигула *(вставая, но так же просто).* Ты ничего в этом не понимаешь. Потому и нельзя ничего добиться, что люди не бывают абсолютно последовательны. Но может быть, только и надо, что оставаться логичным до конца. *(Смотрит на Геликона.)* Я знаю, о чем ты думаешь. Сколько шуму из-за смерти одной женщины! Нет, дело не в этом. Правда, я как будто припоминаю, что несколько дней назад умерла женщина, которую я любил. Но что такое любовь? Пустяк. Эта смерть тут ни при чем, клянусь тебе; она только обозначила истину, из-за которой луна стала мне необходима. Это очень простая и очень ясная истина, немного нелепая, но ее трудно открывать для себя и тяжело выносить.

Геликон. Что же это за истина, Гай?

Калигула *(отвернувшись, невыразительным голосом).* Люди умирают, и они несчастны.

Геликон *(помолчав).* Послушай, Гай, к этой истине можно отлично приспособиться. Взгляни вокруг себя. Аппетита она у людей не отбивает.

Калигула *(внезапно взрывается).* Значит, вокруг меня все ложь, а я хочу, чтобы они жили в истине! И у меня как раз есть средство заставить их жить в истине. Я ведь знаю, чего им не хватает, Геликон. У них нет знаний, и им не хватает учителя, который понимал бы, о чем говорит.

Геликон. Не обижайся на то, что я тебе скажу, Гай, но сначала тебе надо бы отдохнуть.

Калигула *(садится и говорит мягко).* Не могу, Геликон, этого я никогда больше не смогу.

Геликон. Почему же?

Калигула. Если я буду спать, кто мне даст луну?

Геликон *(помолчав).* Это верно.

Калигула встает с явным усилием.

Калигула. Послушай, Геликон. Там шаги и голоса. Молчи и забудь, что ты только что меня видел.

Геликон. Понял.

Калигула направляется к выходу. Оборачивается.

Калигула. И пожалуйста, помогай мне с этих пор.

Геликон. У меня нет причин этого не делать, Гай. Но я много чего знаю, и мало что меня занимает. В чем я могу тебе помочь?

Калигула. В невозможном.

Геликон. Я постараюсь.

Калигула уходит. Торопливо входят Сципион и Цезония.

Сцена пятая

Сципион. Никого. Ты его не видел, Геликон?

Геликон. Нет.

Цезония. Геликон, он действительно ничего не сказал перед тем, как убежал?

Геликон. Я для него не наперсник, а зритель. Это разумнее.

Цезония. Прошу тебя.

Геликон. Милая Цезония, Гай идеалист, это всем известно. Иначе говоря, он еще не понял. А я понял, вот почему я ни во что не вмешиваюсь. Но если Гай начнет понимать – он, с его добрым сердечком, наоборот, может вмешаться во все. И одному Богу ведомо, во что это нам обойдется. Но прошу прощения – время завтракать! *(Уходит.)*

Сцена шестая

Цезония устало садится.

Цезония. Стражник видел, как он тут прошел. Но весь Рим повсюду видит Калигулу. А Калигула на самом деле видит только свою идею.

Сципион. Какую идею?

Цезония. Откуда мне знать, Сципион?

Сципион. Друзилла?

Цезония. Кто может сказать? Но он ее и вправду любил. Это и вправду горько – видеть, как сегодня умирает женщина, которую вчера сжимал в объятьях.

Сципион *(робко).* А ты?

Цезония. Я? Я – старая любовница.

Сципион. Цезония, его надо спасти.

Цезония. Значит, ты его любишь?

Сципион. Я его люблю. Он был добр ко мне. Он вливал в меня бодрость. Какие-то его слова я помню. Он говорил, что жизнь нелегка, но что нам даны в ней религия, искусство, любовь. Он часто повторял, что заблуждается только тот, кто причиняет страдание другому. Он хотел быть праведником.

Цезония *(вставая).* Он был ребенок. *(Подходит к зеркалу и смотрится в него.)* У меня никогда не было другого бога, кроме собственного тела. Вот этому богу я и помолюсь сегодня, чтобы мне вернули Гая.

Входит Калигула. Заметив Цезонию и Сципиона, он в нерешительности отступает назад. В ту же минуту с противоположной стороны входят патриции и дворцовый управитель. Они останавливаются в растерянности. Цезония оборачивается. Вместе со Сципионом она бросается к Калигуле. Он останавливает их движением руки.

Сцена седьмая

Управитель *(неуверенно).* Мы… мы тебя искали, цезарь.

Калигула *(отрывистым, изменившимся голосом).* Я вижу.

Управитель. Мы… То есть…

Калигула *(резко).* Что вам надо?

Управитель. Мы беспокоились, цезарь.

Калигула *(наступая на него).* С какой стати?

Управитель. Э-э-э… М-м-м… *(Внезапно его осенило; быстро выпаливает.)* Но ты ведь знаешь, что должен решить кое-какие вопросы относительно государственной казны.

Калигула *(его разбирает неудержимый смех).* Казна? Ну как же, конечно, казна – это дело серьезное.

Управитель. Разумеется, цезарь.

Калигула *(смеясь, Цезонии).* Не правда ли, дорогая, казна – это очень важно?

Цезония. Нет, Калигула, казна – дело второстепенное.

Калигула. Ты просто ничего в этом не понимаешь. Казна имеет огромное значение. Все важно: финансы, общественная мораль, внешняя политика, снабжение армии и аграрные законы. Говорю тебе, все очень серьезно. И все одинаково важно: величие Рима и приступы твоего артрита. Да! Я всем этим займусь. Послушай-ка, управитель…

Патриции подходят поближе.

Калигула. Ты мне верен, не правда ли?

Управитель *(укоризненным тоном).* Цезарь!

Калигула. Так вот, у меня есть для тебя план. Мы перевернем всю политическую экономию в два хода. Я тебе все объясню, управитель… когда патриции уйдут.

Патриции уходят.

Сцена восьмая

Калигула усаживается рядом с Цезонией и обнимает ее за талию.

Калигула. Слушай внимательно. Ход первый: все патриции, все лица в Империи, владеющие каким-то состоянием – большим или маленьким, это совершенно одно и то же, – принудительно обязываются лишить наследства своих детей и немедленно завещать все государству.

Управитель. Но, цезарь…

Калигула. Я тебе еще не давал слова. По мере наших надобностей мы будем убивать этих лиц в порядке списка, составленного произвольно. При случае мы сможем изменить этот порядок, опять-таки произвольно. И мы все унаследуем.

Цезония *(отстраняясь).* Что это на тебя нашло?

Калигула *(невозмутимо).* Порядок казней действительно не важен. Вернее, все казни одинаково важны, из чего следует, что они не важны вовсе. Впрочем, что те, что другие – все виновны. Заметьте, кстати, что грабить граждан напрямую не более безнравственно, чем вводить косвенные налоги через цены на предметы первой необходимости. Управлять – значит грабить, это всем известно. Только способы есть разные. Я буду грабить открыто. Это высвободит низший персонал. *(Управителю, резко.)* Ты исполнишь этот приказ без промедления. Все

римляне подпишут завещания сегодня вечером, а жители провинций – самое позднее через месяц. Разошли гонцов.

Управитель. Цезарь, ты не отдаешь себе отчета…

Калигула. Слушай меня хорошенько, тупица. Если казна имеет значение, тогда человеческая жизнь его не имеет. Это ясно. Все те, кто думает, как ты, должны согласиться с этим рассуждением и полагать, что их жизнь – ничто, коль скоро деньги для них – все. А пока я решил быть логичным, и, поскольку власть принадлежит мне, вы увидите, во что вам обойдется эта логика. Я искореню противоречия и противоречащих. Если надо, начну с тебя.

Управитель. Цезарь, моя добрая воля не подлежит сомнению, клянусь тебе.

Калигула. И моя тоже, можешь мне поверить. Доказательство – что я готов стать на твою точку зрения и счесть государственную казну предметом, достойным размышления. Одним словом, будь мне благодарен, ведь я принимаю твою игру и играю твоими картами. *(Помолчав, спокойно.)* К тому же мой план гениален своей простотой, поэтому прения прекращаются. У тебя есть три секунды, чтобы исчезнуть. Считаю: раз…

Управитель исчезает.

Сцена девятая

Цезония. Я тебя не узнаю! Что это, шутка?

Калигула. Не совсем так, Цезония. Это педагогический прием.

Сципион. Но это невозможно, Гай!

Калигула. Вот именно!

Сципион. Я тебя не понимаю.

Калигула. Вот именно! Речь как раз идет о невозможном, вернее, о том, чтобы сделать возможным невозможное.

Сципион. Но в такой игре нельзя остановиться. Это развлечение безумца.

Калигула. Нет, Сципион, это призвание императора. *(Откидывается назад с выражением усталости на лице.)* Наконец-то я понял, в чем польза власти. Она дает кое-какие шансы невозможному. Отныне и на все грядущие времена моя свобода безгранична.

Цезония *(грустно).* Надо ли этому радоваться, Гай, я не знаю.

Калигула. Я тоже. Но я думаю, что с этим надо жить.

Входит Херея.

Сцена десятая

Херея. Я узнал, что ты вернулся. Молю богов о твоем здоровье.

Калигула. Мое здоровье благодарит тебя. *(Помолчав, внезапно.)* Уходи, Херея, я не хочу тебя больше видеть.

Херея. Я удивлен, Гай.

Калигула. Не удивляйся. Я не люблю литераторов и не выношу их вранья. Они говорят, чтобы не слышать себя. Если бы они себя слышали, то поняли бы, какие они ничтожества, и замолчали. Нет, хватит, лжесвидетели мне отвратительны.

Херея. Если мы и лжем, то чаще всего непреднамеренно. Я не признаю себя виновным.

Калигула. Ложь не бывает невинной. А ваша ложь приписывает какое-то значение людям и вещам. Вот чего я не могу вам простить.

Херея. И все же следует выступать в защиту этого мира, коль скоро мы хотим в нем жить.

Калигула. Не надо защиты, слушанье дела закончено. Этот мир не имеет значения, и кто это понимает – обретает свободу. *(Встает.)* Потому-то я вас и ненавижу, что вы несвободны. Во всей Римской империи свободен я один. Радуйтесь, наконец-то у вас появился император, который вас обучит свободе. Уходи, Херея, и ты тоже, Сципион, дружба мне смешна. Возвестите Риму, что ему наконец возвращена свобода и что вместе с ней наступает великое испытание.

Они уходят.

Калигула отворачивается.

Сцена одиннадцатая

Цезония. Ты плачешь?

Калигула. Да, Цезония.

Цезония. Да что, в сущности, изменилось? Ты любил Друзиллу, правда, но одновременно ты любил и меня, и многих других женщин. Ее смерть для тебя – не причина метаться три дня и три ночи под открытым небом и возвращаться назад с таким чужим лицом.

Калигула *(оборачивается).* Кто тебе говорит о Друзилле, глупая? Ты не можешь представить себе, чтобы человек плакал из-за чего-нибудь, кроме любви?

Цезония. Прости, Гай. Но я пытаюсь понять.

Калигула. Люди плачут оттого, что все идет не так, как им хочется.

Она подходит к нему.

Оставь, Цезония.

Она отступает.

Но побудь со мной.

Цезония. Я сделаю все, что ты пожелаешь. *(Садится.)* В моем возрасте знают, что жизнь не очень-то к нам ласкова. Но если уж есть зло на этой земле, зачем самому стараться его приумножать?

Калигула. Ты не понимаешь. Не важно. Может быть, я выберусь из этого. Но я чувствую, как просыпаются во мне какие-то безымянные существа. Что мне с ними делать? *(Поворачивается к ней.)* Ах, Цезония, я знал, что люди впадают в отчаянье, но не понимал, что значит это слово. Я думал, как и все, что это болезнь души. Нет, это тело страдает. У меня болит кожа, и грудь, и ноги. Меня тошнит, голова кружится. Но самое ужасное – это вкус во рту. Вкус не крови, не смерти, не лихорадки, а всего этого вместе. Стоит мне шевельнуть языком, как все вокруг чернеет. И люди делаются мне омерзительны. Как трудно, как горько становиться человеком!

Цезония. Надо заснуть, спать долго, расслабиться и ни о чем не думать. Я посижу с тобой, пока ты будешь спать. А когда проснешься, мир обретет для тебя прежний вкус. И постарайся употребить свою власть на любовь к тому, что еще стоит любить. Ведь возможное тоже должно получить свой шанс.

Калигула. Но нужно заснуть, нужно забыться, а на это я не способен.

Цезония. Тебе так кажется потому, что ты слишком устал. Пройдет время, и у тебя снова будет твердая рука.

Калигула. Только надо знать, к чему ее приложить. И зачем мне твердая рука, для чего мне это неслыханное могущество, если я не могу изменить миропорядка, не могу сделать так,

чтобы солнце садилось на востоке, чтобы страдание исчезло и люди больше не умирали? Нет, Цезония, не все ли равно, спать или бодрствовать, если у меня нет власти над миропорядком.

Цезония. Ты, значит, хочешь сравняться с богами. Я не знаю более страшного безумия.

Калигула. И ты, ты тоже считаешь меня помешанным. Да кто такой этот Бог, чтобы я хотел с ним равняться? То, к чему я теперь стремлюсь изо всех сил, превыше всяких богов. Я берусь управлять державой, в которой царствует невозможное.

Цезония. Ты не можешь сделать так, чтобы небо перестало быть небом, чтобы прекрасное лицо превратилось в безобразное, чтобы человеческое сердце стало бесчувственным.

Калигула *(все больше воодушевляясь).* Я хочу перемешать небо и море, красоту сплавить с безобразием, из страдания высечь брызги смеха.

Цезония *(становится перед ним, умоляя).* Но ведь есть добро и зло, величие и низость, праведность и беззаконие. Поверь мне, это все останется неизменным.

Калигула *(все так же возбужденно).* А я желаю это все изменить. Я принесу в дар нашему веку равенство. И когда все выравняется, невозможное придет наконец на землю и луна – ко мне в руки, тогда, быть может, настанет час преображения для меня и вместе со мной для всего мира, и тогда люди наконец перестанут умирать и будут счастливы.

Цезония *(на крике).* Ты не сможешь отвергнуть любовь.

Калигула *(взрываясь бешенством).* Любовь, Цезония! *(Хватает ее за плечи и трясет.)* Я понял, что это вздор. Важно совсем другое: государственная казна! Ты ведь слышала, правда? С этого все и начинается. Теперь-то я наконец буду жить! Жить, Цезония, жить; а жизнь и любовь – вещи противоположные. Это я тебе говорю. И я приглашаю тебя на невиданный праздник, на вселенский судебный процесс, на прекраснейшее из зрелищ. Но мне нужны люди, зрители, жертвы и виновные.

Он бросается к гонгу и начинает бить в него, безостановочно и изо всех сил.

Калигула *(ударяя в гонг).* Введите виновных. Мне нужны виновные. А виновны все. *(Бьет в гонг.)* Я хочу, чтобы ввели приговоренных к смерти. Публика, где моя публика? Судьи, свидетели, обвиняемые, все осуждены заранее! О, Цезония, я им покажу то, чего они никогда не видели: единственного свободного человека в этом государстве!

При громовых раскатах гонга дворец наполняется звуками, они растут и приближаются.

Голоса, бряцанье оружия, шаги и топот.

Калигула смеется и продолжает бить в гонг.

Появляются стражники и, постояв, уходят.

Калигула *(бьет в гонг).* А ты, Цезония, будешь мне повиноваться. Ты будешь мне помогать. Это будет чудесно. Поклянись помогать мне, Цезония.

Цезония *(оглушенная, между двумя ударами гонга).* Зачем мне клясться, ведь я люблю тебя.

Калигула *(бьет в гонг).* Ты сделаешь все, что я скажу.

Цезония *(в промежутке между ударами).* Все, что захочешь, Калигула, только перестань.

Калигула *(бьет в гонг).* Ты будешь жестокая.

Цезония *(плача).* Жестокая.

Калигула *(бьет в гонг).* Холодная и неумолимая.

Цезония. Неумолимая.

Калигула *(бьет в гонг).* И ты будешь страдать.

Цезония. Хорошо, Калигула, но я схожу с ума!

Вбегают ошеломленные патриции и с ними дворцовые служители. Калигула ударяет в гонг последний раз, поднимает молоток, оборачивается и подзывает их.

Калигула *(вне себя).* Подойдите все. Ближе. Я вам приказываю подойти ближе. *(Топает ногами.)* Император вам приказывает подойти ближе.

Все в страхе приближаются.

Быстрей. А теперь подойди ты, Цезония.

Он берет ее за руку, подводит к зеркалу и исступленно пытается стереть молотком отражение с отшлифованной поверхности.

Калигула *(смеется).* Вот и все, видишь? Нет больше воспоминаний, все лица испарились! Пустота. А знаешь, кто остался? Подойди еще ближе. Смотри. И вы подойдите. Смотрите. *(Он становится перед зеркалом в безумной позе.)*

Цезония *(глядя в зеркало, со страхом).* Калигула!

Калигула *(меняет выражение лица, прижимает палец к стеклу и с внезапно остановившимся взглядом произносит торжествующе).* Калигула.

Занавес

Действие второе

Сцена первая

В доме Хереи собрались патриции.

Первый патриций. Он оскорбляет наше достоинство.

Муций. Вот уже три года!

Старый патриций. Он меня называет женушкой! Он делает из меня посмешище! Смерть ему!

Муций. Вот уже три года!

Первый патриций. Каждый вечер, отправляясь на загородную прогулку, он заставляет нас бежать за его носилками!

Второй патриций. И говорит, что бег полезен для здоровья.

Муций. Вот уже три года!

Старый патриций. Этому нет оправданий.

Третий патриций. Да, этого простить нельзя.

Первый патриций. Корнелий, он конфисковал твое имущество; Сципион, он убил твоего отца; Октавий, он похитил твою жену и отдал ее в лупанарий; Лепид, он убил твоего сына. Вы собираетесь это терпеть? А мой выбор сделан. У меня нет колебаний, предпочесть ли возможный риск нынешней невыносимой жизни в страхе и бессилии.

Сципион. Убив моего отца, он решил за меня.

Первый патриций. А вы еще колеблетесь?

Третий патриций. Мы с тобой. Он отдал народу наши места в цирке и вынудил нас драться с плебеями, чтобы потом потяжелее нас наказать.

Старый патриций. Он трус.

Второй патриций. Циник.

Третий патриций. Комедиант.

Старый патриций. Он импотент.

Четвертый патриций. Вот уже три года!

Беспорядочные возгласы. Лязгает оружие.

Один из факелов падает, стол опрокидывается.

Все спешат к выходу. Но тут входит Херея, совершенно невозмутимый. Он останавливает этот взволнованный порыв.

Сцена вторая

Херея. Куда это вы так торопитесь?

Третий патриций. Во дворец.

Херея. Я так и понял. И вы думаете, вас впустят?

Первый патриций. Мы не собираемся просить разрешения.

Херея. Как вы вдруг осмелели! Вы хотя бы позволите мне присесть в моем собственном доме?

Дверь закрывают. Херея подходит к опрокинутому столу и присаживается на краешек, остальные его окружают.

Херея. Это не так просто, как вам кажется, друзья мои. Страх, который вы сейчас испытываете, не заменяет мужества и хладнокровия. Все это преждевременно.

Третий патриций. Если ты не с нами, уходи, но попридержи язык.

Херея. Я все-таки думаю, что я с вами. Но по другим причинам.

Третий патриций. Хватит болтовни!

Херея *(вставая)*. Да, хватит болтовни. Я хочу, чтобы все было ясно. Если я и с вами, то не за вас. Вот почему ваша тактика мне кажется неудачной. Вы не поняли вашего врага по-настоящему, вы приписываете ему мелочные замыслы. А у него нет иных замыслов, кроме грандиозных, и вы спешите навстречу собственной гибели. Научитесь сначала видеть его таким, какой он есть, тогда вы сможете лучше с ним бороться.

Третий патриций. Мы видим его таким, какой он есть: самым бесноватым из тиранов!

Херея. Не уверен. Безумные императоры у нас бывали. Но этот недостаточно безумен. Я его ненавижу за то, что он знает, чего хочет.

Первый патриций. Он хочет нас всех убить.

Херея. Нет, это для него задача побочная. Его могущество служит страсти более высокой и более губительной. Он угрожает тому, что для нас важнее всего. Конечно, не впервые у нас кто-то располагает безграничной властью, но впервые ею пользуются безгранично, до полного отрицания человека и мира. Вот что меня в нем пугает и с чем я хочу бороться. Расставаться с жизнью не страшно, на это у меня хватит мужества, когда понадобится. Но смотреть, как тает смысл нашей жизни, как мы теряем основания существовать, – невыносимо. Нельзя жить, не имея на то оснований.

Первый патриций. Месть – чем не основание для жизни?

Херея. Согласен. И хочу присоединиться к вам в этом. Но поймите, я так поступаю не из сочувствия к вашим ничтожным обидам, а для того, чтобы сразиться с великой идеей, победа которой означала бы конец света. Я могу примириться с тем, что вас выставляют на посмешище, но не могу допустить, чтобы Калигуле удалось то, о чем он мечтает, все, о чем он мечтает. Он свою философию претворяет в трупы, и, к несчастью, эта философия неопровержима. Когда нечего возразить, надо браться за оружие.

Третий патриций. Значит, надо действовать.

Херея. Надо действовать. Но вы не сокрушите эту преступную власть в открытом бою, пока она полна сил. Сражаться можно с тиранией, с бескорыстным злом надо хитрить. Надо помогать ему созреть, дожидаться, пока его логика перерастет в абсурд. Все это я говорю просто из честности и повторяю еще раз: поймите, я с вами только на время. А потом я не стану служить вашим целям; все, что мне нужно, – это вновь обрести душевное спокойствие в мире, который вновь обретет былую цельность. Я ничего не добиваюсь для себя. Меня побуждает действовать другое – страх, страх разума перед этой нечеловеческой бурей чувств, обращающей мою жизнь в ничто.

Первый патриций *(выступая вперед)*. Кажется, я тебя понял, хотя, возможно, и не до конца. Но главное – ты, как и все мы, полагаешь, что основы нашего общества потрясены. Ведь для нас дело прежде всего в морали, не так ли? Семейные устои шатаются, исчезает уважение к труду, вся страна предается богохульству. Добродетель зовет нас на помощь, неужели мы останемся глухи к ее голосу? Друзья, неужели вы допустите, чтобы патрициев каждый вечер заставляли бежать за носилками цезаря?

Старый патриций. Вы позволите, чтобы их называли «душка»?

Третий патриций. Чтобы у них отнимали жен?

Второй патриций. И детей?

Муций. И деньги?

Пятый патриций. Нет!

Первый патриций. Херея, ты хорошо говорил. И ты правильно сделал, что удержал нас. Время действовать еще не пришло: сегодня народ был бы против нас. Готов ты вместе с нами дожидаться подходящего момента?

Херея. Да, предоставим Калигуле и впредь идти своим путем. Более того, будем его подталкивать все дальше. Будем пестовать его безумие. Настанет день, когда он окажется один на один со страной, населенной мертвецами и родными мертвецов.

Возгласы всеобщего одобрения.

Снаружи доносятся звуки труб. Наступает молчание.

Затем из уст в уста передается имя: «Калигула».

Сцена третья

Входят Калигула и Цезония в сопровождении Геликона и солдат. Немая сцена. Калигула останавливается и смотрит на заговорщиков. Молча их обходит, у одного поправляет пряжку, перед другим отступает, чтобы получше разглядеть, еще раз окидывает их взглядом, закрывает глаза рукой и выходит, не сказав ни слова.

Сцена четвертая

Цезония *(указывая на следы беспорядка, с иронией).* Вы сражались?

Херея. Мы сражались.

Цезония *(тем же тоном).* Из-за чего же вы сражались?

Херея. Мы сражались просто так.

Цезония. Значит, это неправда.

Херея. Что – неправда?

Цезония. Вы не сражались.

Херея. Значит, мы не сражались.

Цезония *(улыбаясь).* Наверно, лучше бы здесь прибрать. Калигула терпеть не может беспорядка.

Геликон *(старому патрицию).* Кончится тем, что вы его выведете из себя!

Старый патриций. Да что мы ему сделали?

Геликон. В том-то и дело, что ничего. Уму непостижимо, как можно быть такими ничтожествами. Это становится невыносимо! Поставьте себя на место Калигулы. *(Пауза.)* Вы тут, конечно, замышляли заговорчик? Не так ли?

Старый патриций. Это неправда, поверь мне. Почему он так думает?

Геликон. Он не думает, он знает. Но я предполагаю, что в глубине души он чуть-чуть этому радуется. Ну, давайте приведем все в порядок.

Все занимаются уборкой.

Входит Калигула и наблюдает за ними.

Сцена пятая

Калигула *(старому патрицию).* Здравствуй, душка! *(К остальным.)* Херея, я решил немного отдохнуть у тебя. Муций, я позволил себе пригласить твою жену.

Управитель хлопает в ладоши.

Появляется раб, но Калигула его останавливает.

Калигула. Минутку! Господа, вам известно: финансы нашего государства держатся только потому, что давно приобрели такую привычку. Но со вчерашнего дня уже и привычка не помогает. Поэтому я поставлен перед прискорбной необходимостью прибегнуть к сокращению персонала. В духе самоотверженности, который вы, без сомнения, сумеете оценить, я решил урезать расходы двора, отпустить кое-кого из рабов и взять вас на их место. Потрудитесь расставить и накрыть столы.

Сенаторы переглядываются в замешательстве.

Геликон. Ну, господа, проявите же немного доброй воли. К тому же спускаться по социальной лестнице легче, чем подниматься, вы в этом убедитесь.

Сенаторы нерешительно покидают свои места.

Калигула *(Цезонии).* Как наказывают нерадивых рабов?
Цезония. Думаю, бьют кнутом.

Сенаторы бросаются торопливо и неумело расставлять столы.

Калигула. Старайтесь, старайтесь! В каждом деле главное – порядок! *(Геликону.)* По-моему, они утратили сноровку.

Геликон. Правду сказать, какая у них была сноровка? Разве что мечом махать или отдавать приказания. Надо набраться терпения, вот и все. Сенатора можно сделать из человека за один день, а работника – лет за десять.

Калигула. А чтобы сделать работника из сенатора, боюсь, потребуются все двадцать лет.

Геликон. Но все-таки что-то у них получается. По-моему, у них есть призвание к этому делу! Они просто созданы для рабства.

Один из сенаторов обтирает себе лицо.

Смотри, их даже в пот бросило. Это уже кое-что.

Калигула. Прекрасно. Не надо требовать слишком многого. Могло быть и хуже. И потом, позволить себе минутку справедливости всегда приятно. Кстати о справедливости, нам надо торопиться: у меня на сегодня еще казнь. Да, Руфию повезло, что я вдруг проголодался. *(Доверительно.)* Руфий – это всадник, который должен умереть. *(Пауза.)* Вы не спрашиваете у меня, почему он должен умереть?

Все молчат. Тем временем рабы принесли кушанья.

Калигула *(добродушно).* Ну, я вижу, вы поумнели. *(Жует оливку.)* Наконец-то вы поняли: чтобы умереть, вовсе не обязательно чем-то провиниться. Солдаты, я доволен вами. Верно, Геликон? *(Перестает жевать и с издевкой смотрит на сотрапезников.)*

Геликон. Конечно! Какое войско! Но если хочешь знать мое мнение, они теперь стали слишком умные и не захотят больше сражаться. Если они сделают еще бóльшие успехи, Империя рухнет!

Калигула. Чудесно. А теперь отдохнем. Рассаживайтесь как попало, забудем о правилах этикета. А все-таки этому Руфию повезло. Ручаюсь, он не оценит этой маленькой оттяжки. Между тем несколько часов, выигранных у смерти, – что может быть дороже?

Он принимается за еду, остальные тоже. Становится очевидно, что он не умеет вести себя за столом. Он мог бы не кидать косточки от оливок в тарелки ближайших соседей, не выплевывать недожеванные кусочки мяса на блюдо, равно как и не ковырять в зубах ногтем и не скрести с такой яростью голову. Тем не менее все это он проделывает во время еды, совершенно не смущаясь. Но внезапно он перестает есть и останавливает пристальный взгляд на одном из сотрапезников, Лепиде.

Калигула *(резко).* Ты как будто расстроен. Это потому, что я велел убить твоего сына, Лепид?

Лепид *(у него комок в горле).* Что ты, Гай, напротив.

Калигула *(в восторге).* Напротив! Ах, как мне нравится, когда лицо не выдает, что делается в сердце. У тебя лицо грустное. А сердце? Напротив, Лепид, не так ли?

Лепид *(решительно).* Напротив, цезарь.

Калигула *(еще радостнее).* Ах, Лепид, никого я так не люблю, как тебя. Давай посмеемся вместе. Расскажи мне какую-нибудь веселую историю.

Лепид *(переоценивший свои силы).* Гай!

Калигула. Ну хорошо, тогда я расскажу. Но ты будешь смеяться, да, Лепид? *(Зловещий взгляд.)* Хотя бы ради твоего второго сына. *(Снова весело.)* К тому же ты ведь ничем не расстроен. *(Отпивает глоток и подсказывает.)* На… Напро… Ну, Лепид!

Лепид *(устало).* Напротив, Гай.

Калигула. Отлично. *(Пьет.)* А теперь слушай. *(Мечтательно.)* Жил на свете бедный император, которого никто не любил. А он любил Лепида и велел убить его младшего сына, чтобы вырвать эту любовь из своего сердца. *(Изменившимся тоном.)* Разумеется, это неправда. Разве не забавно? Ты не смеешься? И никто не смеется? Тогда слушайте. *(С яростным гневом.)* Я хочу, чтобы все смеялись. Ты, Лепид, и все остальные. Встаньте и смейтесь. *(Стучит кулаком по столу.)* Слышите, я хочу посмотреть, как вы смеетесь.

Все встают. Дальше эту сцену актеры, кроме Калигулы и Цезонии, могут играть как марионетки.

Калигула *(охваченный неудержимым смехом, в восторге падает на ложе).* Нет, ты посмотри на них, Цезония. Ничего уже не осталось. Честь, достоинство, доброе имя, вековая мудрость – все это ничего больше не значит. Все исчезает перед страхом. Да, страх, Цезония, вот высокое чувство, без всяких примесей, чистое и бескорыстное, одно из немногих благородных утробных чувств. *(Он потирает себе лоб рукой и пьет. Дружелюбно.)* Теперь поговорим о другом. Херея, ты что-то молчалив.

Херея. Я буду говорить, Гай, как только ты мне это позволишь.

Калигула. Прекрасно. Тогда молчи. Я с удовольствием послушал бы нашего друга Муция.

Муций *(через силу).* К твоим услугам, Гай.

Калигула. Ну, расскажи нам о своей жене. А для начала вели ей сесть вот сюда, слева от меня.

Жена Муция подходит к Калигуле.

Муций *(растерянно).* Моя жена? Я ее люблю.

Все смеются.

Калигула. Разумеется, разумеется, мой друг. Но как это по́шло! *(Женщина уже рядом с ним. Он рассеянно лижет ей левое плечо. Еще непринужденней.)* Кстати, когда я вошел, вы тут что-то замышляли, да? Наверно, составляли заговорчик?

Старый патриций. Калигула, как ты можешь?..

Калигула. Пустяки, моя прелесть. Старость должна перебеситься. Все это действительно пустяки. Вы не способны на мужественный поступок. Я просто вдруг вспомнил, что должен еще уладить кое-какие государственные дела. Но сначала отдадим дань неодолимым потребностям, заложенным в нас природой. *(Встает и уводит жену Муция в соседнюю комнату.)*

Сцена шестая

Муций делает попытку встать.

Цезония *(любезно).* Муций, я бы выпила еще немного этого чудесного вина.

Муций, покорившись, молча наливает ей вина.

Всем не по себе. Сиденья поскрипывают. Последующий разговор идет несколько натужно.

Цезония. Да, Херея! Не расскажешь ли теперь, из-за чего вы тут сражались только что?

Херея *(холодно).* Все произошло оттого, милая Цезония, что мы заспорили, следует ли поэзии быть смертоносной или нет.

Цезония. Как интересно. Конечно, это выше моего женского понимания. Но меня поражает ваша готовность драться друг с другом из-за страсти к искусству.

Херея *(тем же тоном).* Разумеется. Калигула говорил мне, что в настоящей страсти обязательно должна быть капля жестокости.

Геликон. А в любви – чуточку насилия.

Цезония *(жуя).* В этом есть доля истины. А как думают остальные?

Старый патриций. Калигула – глубокий психолог.

Первый патриций. Он очень красноречиво говорил нам о храбрости.

Второй патриций. Ему следовало бы собрать и записать все свои мысли. Это была бы бесценная книга.

Херея. Не говоря о том, что это могло бы его занять. Ведь очевидно, что он нуждается в развлечениях.

Цезония *(продолжая есть).* Вы будете рады узнать, что он об этом подумал и как раз сейчас пишет большой трактат.

Сцена седьмая

Входят Калигула и жена Муция.

Калигула. Муций, возвращаю тебе жену. Она снова твоя. Но прошу прощения, я должен дать кое-какие указания.

Сцена восьмая

Цезония *(Муцию, который остался стоять).* Мы не сомневаемся, Муций, что этот трактат превзойдет самые знаменитые сочинения.

Муций *(глядя на дверь, в которой исчез Калигула).* А о чем там речь, Цезония?

Цезония *(равнодушно).* О, этого я не понимаю.

Херея. Из чего можно заключить, что в нем говорится о смертоносной силе поэзии.

Цезония. Кажется, именно так.

Старый патриций *(радостно).* Что ж! Это может его занять, как сказал Херея.

Цезония. Да, моя прелесть. Но боюсь, что название трактата вас может смутить.

Херея. Как же он называется?

Цезония. «Меч».

Сцена девятая

Быстро входит Калигула.

Калигула. Извините меня, но государственные дела тоже не терпят отлагательств. Управитель, ты прикажешь запереть житницы. Декрет об этом я только что подписал. Ты найдешь его в спальне.

Управитель. Но…

Калигула. С завтрашнего дня начинается голод.

Управитель. Но народ будет роптать.

Калигула *(со всей резкостью и определенностью).* Я сказал, что с завтрашнего дня начинается голод. Что такое голод, всем известно: это национальное бедствие. Национальное бедствие начинается завтра… Я прекращу его, когда мне заблагорассудится. *(Объясняет присутствующим.)* В конце концов, у меня не так уж много способов доказать, что я свободен. Свободны всегда за чей-то счет. Это прискорбно, но в порядке вещей. *(Бросает взгляд на Муция.)* Возьмите, к примеру, ревность, и вы убедитесь, что я прав. *(Задумчиво.)* Хотя ревность – это так некрасиво! Страдать из-за самолюбия и слишком живого воображения! Представлять себе, как твоя жена…

Муций сжимает кулаки и хочет что-то сказать.

Калигула *(очень быстро).* За стол, господа. Известно ли вам, что мы с Геликоном работаем не покладая рук? Мы заканчиваем небольшой трактат о смертной казни, и вы скажете, что вы о нем думаете.

Геликон. В том случае, если вашего мнения спросят.

Калигула. Будем великодушны, Геликон! Откроем им наши маленькие тайны. Итак, раздел третий, параграф первый.

Геликон *(встает и декламирует механически).* «Смертная казнь приносит облегчение и освобождение. Это мера всеобъемлющая, бодрящая и справедливая как в своем применении, так и в своих целях. Люди умирают потому, что они виновны. Люди виновны потому, что они подданные Калигулы. Подданными Калигулы являются все. Следовательно, все виновны. Из чего вытекает, что все умрут. Это вопрос времени и терпения».

Калигула *(смеясь).* Что скажете? Терпение, вот драгоценная находка! Если хотите, это то, что меня больше всего в вас восхищает. А теперь, господа, вы свободны. Херея вас больше не задерживает. Но Цезония пусть останется. И Лепид, и Октавий! А также Мерейя. Я хотел бы обсудить с вами, как идут дела в моем лупанарии. Меня это очень беспокоит.

Остальные медленно уходят.

Калигула провожает глазами Муция.

Сцена десятая

Херея. К твоим услугам, Гай. Что там не ладится? Персонал плохо работает?

Калигула. Да нет, но выручка мала.

Мерейя. Надо поднять расценки.

Калигула. Мерейя, ты упустил случай помолчать. В твоем возрасте такие вещи уже неинтересны, и я твоего мнения не спрашиваю.

Мерейя. Тогда зачем ты велел мне остаться?

Калигула. Потому что мне вскоре понадобится беспристрастный совет.

Херея. Если позволишь, Гай, я дам свой пристрастный совет и скажу, что расценки менять не стоит.

Калигула. Разумеется. Но нужно же нам поправить наши финансовые дела. Я уже объяснил свой план Цезонии, она вам его изложит. А я слишком много выпил, меня клонит ко сну. *(Ложится и закрывает глаза.)*

Цезония. Все очень просто. Калигула учреждает новый орден.

Херея. Не вижу связи.

Цезония. А между тем она есть. Это будет орден «За гражданский подвиг». Его получат те граждане, которые будут чаще всех посещать лупанарий Калигулы.

Херея. Блестящая мысль.

Цезония. Мне тоже так кажется. Я забыла сказать, что эта награда будет присуждаться каждый месяц после подсчета входных билетов; гражданин, не получивший награды по истечении двенадцати месяцев, будет изгнан или казнен.

Лепид. Почему «или казнен»?

Цезония. Потому что Калигула говорит, что это не имеет значения. Важно, чтобы он мог выбирать.

Херея. Браво. Теперь казна пополнится.

Геликон. А главное – обратите внимание, каким высоконравственным способом. В конце концов, лучше взимать налог с порока, чем платить за добродетель, как делается в республиканских государствах.

Калигула приоткрывает глаза и смотрит на старика Мерейю, который, стоя в сторонке, достает какую-то скляночку и отпивает из нее глоток.

Калигула *(лежа).* Что ты пьешь, Мерейя?

Мерейя. Это от астмы, Гай.

Калигула *(подходит к нему, заставляя остальных расступиться, и принюхивается).* Нет, это противоядие.

Мерейя. Да нет, Гай. Ты шутишь. Я задыхаюсь по ночам и давно лечусь.

Калигула. Значит, ты боишься отравы?

Мерейя. Моя астма…

Калигула. Нет. Назовем вещи своими именами: ты боишься, что я тебя отравлю. Ты меня подозреваешь. Ты следишь за мной.

Мерейя. Да нет же, клянусь всеми богами!

Калигула. Ты мне не доверяешь. Так или иначе, ты защищаешься от меня.

Мерейя. Гай!

Калигула *(грубо).* Отвечай. *(С математической неопровержимостью.)* Если ты принимаешь противоядие, следовательно, ты приписываешь мне намерение отравить тебя.

Мерейя. Да… то есть… нет.

Калигула. И полагая, будто я принял решение отравить тебя, ты делаешь все, чтобы воспротивиться моей воле.

Наступает молчание. Цезония и Херея отошли в глубь сцены с началом этого разговора; один Лепид с тревогой к нему прислушивается.

Калигула *(рассуждает еще более последовательно).* Итак, у нас два преступления и альтернатива, которой ты не сможешь избежать: либо я не хотел тебя убивать, и ты меня подозреваешь несправедливо, меня, твоего императора. Либо я этого хотел, и ты, козявка, противишься моим замыслам. *(Пауза. Калигула смотрит на старика с удовлетворением.)* Ну, Мерейя, как тебе такая логика?

Мерейя. Она… она безупречна, Гай. Но к моему случаю она неприложима.

Калигула. И третье преступление: ты считаешь меня идиотом. Теперь слушай. Из этих трех преступлений одно – второе – делает тебе честь. Коль скоро ты предполагаешь, что я принял какое-то решение, и противодействуешь ему, значит, ты бунтовщик. Ты предводитель восстания, революционер. Это прекрасно. *(С грустью.)* Я очень люблю тебя, Мерейя. Поэтому ты будешь осужден за свое второе преступление, а не за остальные. Ты умрешь как мужчина – за бунт.

Во время этой речи Мерейя все больше съеживается в своем кресле.

Калигула. Не благодари меня. Это вполне естественно. Возьми. *(Протягивает ему флакон и предлагает любезно.)* Выпей этот яд.

Мерейя трясется от рыданий и отчаянно мотает головой.

Калигула *(теряя терпение).* Ну же, скорей.

Мерейя пытается убежать. Калигула одним тигриным прыжком настигает его на середине сцены, бросает на низенькую скамеечку и после нескольких секунд борьбы протискивает ему флакон между зубами и разбивает флакон кулаком. Подергавшись в судорогах, Мерейя умирает; его лицо залито слезами и кровью. Калигула встает и машинально отирает руки.

Калигула *(Цезонии, подавая ей осколок склянки, которую носил с собой Мерейя).* Что это такое? Противоядие?

Цезония *(спокойно).* Нет, Калигула. Лекарство от астмы.

Калигула *(помолчав, глядя на Мерейю).* Все равно. Какая разница? Немного раньше, немного позже…

Внезапно уходит – с озабоченным видом, не переставая вытирать руки.

Сцена одиннадцатая

Лепид *(совершенно подавленный).* Что теперь делать?

Цезония *(просто).* Я думаю, прежде всего убрать тело. Уж очень оно безобразно!

Херея и Лепид поднимают тело и уносят его за кулисы.

Лепид *(Херее).* Надо спешить.

Херея. Нас должно набраться человек двести.

Входит Сципион. Заметив Цезонию, делает шаг к выходу.

Сцена двенадцатая

Цезония. Иди сюда.

Сципион. Что тебе нужно?

Цезония. Подойди поближе. *(Берет его за подбородок и смотрит ему в глаза. Пауза. Холодно.)* Он убил твоего отца?

Сципион. Да.

Цезония. Ты его ненавидишь?

Сципион. Да.

Цезония. Ты хочешь его убить?

Сципион. Да.

Цезония *(отпуская его).* Тогда почему ты мне это говоришь?

Сципион. Потому что я никого не боюсь. Убить его или погибнуть самому – это только разные способы со всем покончить. И потом, ты меня не выдашь.

Цезония. Ты прав, я тебя не выдам. Но я хочу тебе кое-что сказать – вернее, я хотела бы поговорить с тем, что есть лучшего в тебе.

Сципион. Лучшее во мне – моя ненависть.

Цезония. И все же выслушай меня. То, что я хочу тебе сказать, одновременно и непостижимо, и очевидно. Но будь это слово услышано по-настоящему, оно совершило бы ту единственную революцию, которая способна окончательно перевернуть этот мир.

Сципион. Так скажи его.

Цезония. Не сразу. Подумай сначала о перекошенном болью лице твоего отца, когда у него вырывали язык. Подумай об этом рте, наполненном кровью, об этом крике терзаемого животного.

Сципион. Да.

Цезония. Теперь подумай о Калигуле.

Сципион *(со всей ненавистью в голосе).* Да…

Цезония. А теперь слушай: попытайся его понять. *(Уходит, оставив Сципиона в растерянности.)*

Входит Геликон.

Сцена тринадцатая

Геликон. Калигула идет сюда. Вы не собираетесь обедать, поэт?

Сципион. Геликон! Помоги мне.

Геликон. Это небезопасно, голубка моя. К тому же я ничего не понимаю в стихах.

Сципион. Ты мог бы мне помочь. Ты так много знаешь.

Геликон. Я знаю, что дни уходят и что надо торопиться поесть. Еще я знаю, что ты мог бы убить Калигулу… и что он был бы не против.

Входит Калигула. Геликон уходит.

Сцена четырнадцатая

Калигула. А, это ты. *(Останавливается в нерешительности, не зная, как себя держать.)* Я давно тебя не видел. *(Медленно идет к нему.)* Что поделываешь? Не бросил писать? Покажешь мне свои последние сочинения?

Сципион *(ему тоже не по себе; его раздирают между собой ненависть и какое-то другое, непонятное ему самому чувство).* Я написал несколько стихотворений, цезарь.

Калигула. О чем?

Сципион. Не знаю, цезарь. Наверное, о природе.

Калигула *(свободнее).* Прекрасный сюжет. И обширный. Что тебе дает природа?

Сципион *(берет себя в руки, саркастично и зло).* Она утешает меня в том, что я не цезарь.

Калигула. А! Как по-твоему, она могла бы утешить меня в том, что я цезарь?

Сципион *(тем же тоном).* Право же, она излечивала и более глубокие раны.

Калигула *(удивительно просто).* Раны? Ты сказал это со злобой. Это потому, что я убил твоего отца? Но если бы ты знал, какое это точное слово. Рана! *(Другим тоном.)* Только ненависть делает людей умнее.

Сципион *(ледяным голосом).* Я ответил на твой вопрос о природе.

Калигула садится, смотрит на Сципиона, потом вдруг берет его за руки и с силой притягивает к себе, усаживая у своих ног.

Сжимает его лицо в ладонях.

Калигула. Прочти мне свое стихотворение.

Сципион. Нет, цезарь, прошу тебя.

Калигула. Почему?

Сципион. У меня его нет с собой.

Калигула. Ты его не помнишь наизусть?

Сципион. Нет.

Калигула. Скажи хотя бы, о чем оно.

Сципион *(так же напряженно и словно нехотя).* Я в нем говорил…

Калигула. Да?

Сципион. Нет, не помню…

Калигула. Попробуй…

Сципион. Я говорил о тайном согласии между землей…

Калигула *(перебивает, будто погруженный в свои мысли).* …между землей и ступнями…

Сципион *(он озадачен; поколебавшись, продолжает).* Да, пожалуй, так…

Калигула. Продолжай.

Сципион. …и об очертаниях римских холмов, и о том быстротечном и щемящем умиротворении, что приносит с собой вечер…

Калигула. …о криках стрижей в зеленом небе.

Сципион *(понемногу оттаивая).* Да, и об этом.

Калигула. Дальше.

Сципион. И о хрупком миге, когда небо, еще все в золоте, внезапно поворачивается и открывает нам обратную свою сторону, усеянную сверкающими звездами.

Калигула. О том запахе дыма, деревьев и реки, что земля шлет тогда навстречу ночи…

Сципион *(в экстазе).* …звенят цикады, дневной жар спадает, и собаки, и скрип запоздалых повозок, и голоса крестьян…

Калигула. …и дороги покрываются тенью под самшитом и оливами…

Сципион. Да-да, все верно! Но почему ты догадался?

Калигула *(прижимает Сципиона к себе).* Не знаю. Может быть, потому, что нам до́роги одни и те же истины.

Сципион *(вздрагивает и прячет лицо на груди Калигулы).* Ах, не все ли равно, если я повсюду вижу один только лик любви!

Калигула *(гладя его по голове).* Это свойственно великим сердцам, Сципион! Если б мне было дано познать такую незамутненность души! Но я слишком хорошо знаю, как сильна моя жадность к жизни, природа ее не утолит. Ты не можешь этого понять. Ты из другого мира. Ты без остатка принадлежишь добру, как я – злу.

Сципион. Я могу понять.

Калигула. Нет. Во мне что-то такое – безмолвный омут, гниющие водоросли… *(Внезапно изменившимся голосом.)* Наверно, твое стихотворение прекрасно. Но если хочешь знать мое мнение…

Сципион *(в той же позе).* Да.

Калигула. Все это страдает малокровием.

Сципион резко откидывается назад и с ужасом смотрит на Калигулу. Он говорит глухим голосом, отстраняясь все дальше от Калигулы и напряженно в него вглядываясь.

Сципион. О чудовище, гнусное чудовище. Ты опять ломал комедию. Ты ломал комедию только что, да? И ты собой доволен?

Калигула *(с легкой грустью).* В том, что ты говоришь, есть правда. Я ломал комедию.

Сципион *(тем же тоном).* Какое у тебя, наверно, подлое и кровавое сердце. Столько злобы и ненависти – как они, наверно, тебя терзают!

Калигула *(мягко).* Довольно, замолчи.

Сципион. Как мне тебя жалко и как я тебя ненавижу!

Калигула *(с гневом).* Замолчи.

Сципион. И в каком же мерзком одиночестве ты, наверно, живешь!

Калигула *(взорвавшись, бросается на него, хватает за шиворот и трясет).* Одиночество! Разве ты его испытал? Одиночество поэтов и худосочных. Одиночество? Какое? Ты не знаешь, что человек никогда не остается один! Что весь груз будущего и прошлого повсюду с нами! С нами те, кого мы убили. И это еще не самое трудное. Но с нами и те, кого мы любили, кого не любили и кто любил нас, раскаянье, желания, горечь и нежность, шлюхи и вся шайка богов. *(Отпускает его и возвращается на свое место.)* Побыть одному! О, если бы я только мог погрузиться в одиночество, но не в мое, отравленное присутствием других, а в настоящее, в тишину и трепет дерева! *(Садится, внезапно охваченный усталостью.)* Одиночество! Нет, Сципион. Оно пронизано скрежетом зубовным и все звенит умолкнувшими звуками и голосами. И подле женщин, которых я ласкаю, когда нас окутывает ночь и я, отделившись от своей наконец-то насытившейся плоти, надеюсь между жизнью и смертью побыть хоть немного самим собой, мое одиночество заполняется до краев едким запахом наслаждения под мышками у женщины, дремлющей рядом со мной.

Он как будто выдохся. Долгое молчание.

Сципион заходит Калигуле за спину и неуверенно приближается к нему. Протягивает к Калигуле руку и кладет ему на плечо. Калигула, не оборачиваясь, накрывает его руку своей.

Сципион. У каждого человека есть какая-то отрада в жизни. Она не дает все бросить. Ее зовут на помощь, когда выбиваются из сил.

Калигула. Это правда, Сципион.

Сципион. Неужели в твоей жизни нет ничего такого? Закипающих слез, тихого убежища?
Калигула. Пожалуй, есть.
Сципион. Что же это?
Калигула *(медленно).* Презрение.

Занавес

Действие третье

Сцена первая

За закрытым занавесом звуки барабана и тарелок. Занавес поднимается, открывая что-то вроде ярмарочного балагана. В центре задернутая занавеска; перед ней на небольшом помосте Геликон и Цезония. По обе стороны от них музыканты с инструментами. На скамьях спиной к зрителям сидят несколько сенаторов и Сципион.

Геликон *(голосом ярмарочного зазывалы).* Подходите! Подходите!

Тарелки.

Боги снова спустились на землю. Гай, цезарь и бог, известный под именем Калигулы, ссудил им свое человеческое обличье. Подходите, обыкновенные смертные, священное чудо совершается на ваших глазах. По особой милости к благословенному царствованию Калигулы божественные тайны открываются всем и каждому.

Тарелки.

Цезония. Подходите, господа! Поклоняйтесь и платите сколько можете. Небесная мистерия сегодня всем по карману.

Тарелки.

Геликон. Олимп и его закулисная жизнь, его интриги и слезы, его обитатели запросто, по-домашнему. Подходите! Подходите! Вся правда о ваших богах!

Тарелки.

Цезония. Поклоняйтесь и платите деньги. Подходите, господа! Представление начинается.

Тарелки. Рабы бегают взад и вперед, вынося на помост разные предметы.

Геликон. Потрясающее воссоздание истины, предпринятое впервые. Силы небесные показываются здесь, на земле, во всем их великолепии, захватывающее, невиданное зрелище: молния *(рабы зажигают греческий огонь),* гром *(катят бочонок с камнями),* сама судьба в своем триумфальном шествии! Подходите и смотрите!

Отдергивает занавеску, за которой предстает Калигула на пьедестале, переодетый шутовской Венерой.

Калигула *(любезно).* Сегодня я – Венера.
Цезония. Обряд поклонения начинается. На колени.

Все, кроме Сципиона, опускаются на колени.

И повторяйте за мной священную молитву Калигуле-Венере: Богиня скорби и пляски…

Патриции. Богиня скорби и пляски…

Цезония. Рожденная из волн, вся липкая и горькая от соли и пены морской…

Патриции. Рожденная из волн, вся липкая и горькая от соли и пены морской…

Цезония. Ты, подобная улыбке и сожалению…

Патриции. Ты, подобная улыбке и сожалению…

Цезония. …обиде и восторгу…

Патриции. …обиде и восторгу…

Цезония. Научи нас равнодушию, возрождающему любовь…

Патриции. Научи нас равнодушию, возрождающему любовь…

Цезония. Наставь нас в истине этого мира, гласящей, что ее в нем нет…

Патриции. Наставь нас в истине этого мира, гласящей, что ее в нем нет…

Цезония. И ниспошли нам силы жить достойно этой несравненной истины…

Патриции. И ниспошли нам силы жить достойно этой несравненной истины…

Цезония. Пауза!

Патриции. Пауза!

Цезония *(продолжает).* Осыпь нас своими дарами, осени наши лица своей беспристрастной жестокостью, своей непредвзятой ненавистью, кидай нам в глаза полные пригоршни цветов и убийств.

Патриции. …полные пригоршни цветов и убийств.

Цезония. Прими своих заблудших чад. Впусти их в суровый приют своей равнодушной и мучительной любви. Надели нас своими страстями без предмета, печалями без причины и радостями без будущего…

Патриции. …и радостями без будущего…

Цезония *(очень громко).* О ты, такая опустошенная и палящая, бесчеловечная, но земная, опои нас вином своего безразличия и заключи нас навеки в свое мрачное и грязное сердце.

Патриции. Опои нас вином своего безразличия и заключи нас навеки в свое мрачное и грязное сердце.

Когда патриции заканчивают последнюю фразу, Калигула, до того неподвижный, громко фыркает и возглашает трубным голосом.

Калигула. Да будет так, дети мои, ваши молитвы исполнятся.

Садится по-турецки на пьедестале. Патриции по очереди преклоняют перед ним колени и протягивают монету; потом собираются в правом углу сцены, прежде чем уйти. Последний из них в смятении забывает дать монетку и отходит. Но Калигула рывком вскакивает на ноги.

Калигула. Эй! Эй! Поди-ка сюда, мой мальчик. Поклоняться – это прекрасно, но давать деньги – еще лучше. Спасибо. Вот и хорошо. Если бы боги не имели других сокровищ, кроме любви смертных, они были бы так же бедны, как бедный Калигула. А теперь, господа, вы можете разойтись и поведать городу об удивительном чуде, при котором вам довелось присутствовать. Вы видели Венеру, в прямом смысле слова видели, своими плотскими очами, и Венера говорила с вами. Идите, господа.

Патриции собираются уходить.

Минутку! Идите через левый выход. У правого я поставил солдат, им приказано вас убить.

Патриции поспешно уходят беспорядочной толпой.

Рабы и музыканты исчезают со сцены.

Сцена вторая

Геликон грозит Сципиону пальцем.

Геликон. Так ты еще и анархист, Сципион!

Сципион. Ты совершил кощунство, Гай.

Геликон. Что бы это могло значить?

Сципион. Ты залил кровью землю, а теперь пачкаешь грязью небо.

Геликон. Этот молодой человек обожает громкие слова. *(Растягивается на кушетке.)*

Цезония *(очень спокойно).* Какой ты горячий, мой мальчик. В эту минуту в Риме люди умирают за выражения куда менее красноречивые.

Сципион. Я решился сказать Гаю правду.

Цезония. Что ж, Калигула, моралист – как раз этого благородного персонажа твоему царствованию не хватало.

Калигула *(заинтересован).* Значит, ты веришь в богов, Сципион?

Сципион. Нет.

Калигула. Тогда я не понимаю, почему ты так пылко обличаешь кощунство.

Сципион. Я могу не разделять каких-то убеждений, но это не значит, что я обязан их осквернять или отнимать у других право их иметь.

Калигула. Вот это называется скромность, настоящая скромность! Ах, дорогой Сципион, как я рад за тебя. И знаешь, немножко завидую. Ведь это единственное свойство, которого у меня, наверно, никогда не будет.

Сципион. Ты завидуешь не мне, а самим богам.

Калигула. Если позволишь, это останется великой тайной моего царствования. Все, в чем меня сегодня можно упрекнуть, – это в том, что я еще немного продвинулся на пути к могуществу и свободе. Человека, который любит власть, соперничество богов раздражает. Я с ним покончил. Я доказал этим мнимым богам, что если у человека есть воля, то он может справиться с их жалким ремеслом без подготовки.

Сципион. Это и есть кощунство, Гай.

Калигула. Нет, Сципион, это прозорливость. Я просто понял, что есть только один способ сравняться с богами: достаточно быть столь же жестоким.

Сципион. Достаточно стать тираном.

Калигула. Что такое тиран?

Сципион. Слепая душа.

Калигула. Это еще надо доказать, Сципион. Тиран – это тот, кто приносит целые народы в жертву своим идеалам или своему честолюбию. Идеалов у меня нет, а что касается почестей и власти, то тут мне больше нечего домогаться. Властью я пользуюсь, чтобы вознаградить себя.

Сципион. За что?

Калигула. За тупость и злобу богов.

Сципион. Злоба не может вознаградить за злобу. Власть таких задач не решает. А я знаю только одно средство противостоять враждебности мира.

Калигула. Какое же?

Сципион. Бедность.

Калигула *(обстригая себе ногти на ногах).* Надо будет и его попробовать.

Сципион. А пока множество людей умирает вокруг тебя.

Калигула. На самом деле совсем немного, Сципион. Ты знаешь, от скольких войн я отказался?

Сципион. Нет.

Калигула. От трех. А знаешь, почему я отказался?

Сципион. Потому что тебе наплевать на величие Рима.

Калигула. Нет, потому что я уважаю человеческую жизнь.

Сципион. Ты издеваешься надо мной, Гай.

Калигула. Или по крайней мере я уважаю ее больше, чем лавры завоевателя. Правда, чужую жизнь я уважаю не больше, чем свою собственную. И если мне легко убивать, то потому, что мне и умереть нетрудно. Нет, чем больше я об этом размышляю, тем больше убеждаюсь, что я не тиран.

Сципион. Какая разница, будь ты тираном, нам это обошлось бы не дороже.

Калигула *(начинает терять терпение).* Если бы ты умел считать, то сообразил бы, что самая ничтожная война, затеянная здравомыслящим тираном, обошлась бы вам в тысячу раз дороже моих причуд.

Сципион. Но она была бы доступна здравому смыслу. А главное – это чтобы можно было понять.

Калигула. Судьбу понять нельзя, вот почему я и решил сам занять место судьбы. Я принял тупое и непостижимое обличье богов. Этому твои недавние сотоварищи и учились только что поклоняться.

Сципион. Это и есть кощунство, Гай.

Калигула. Нет, Сципион, это драматическое искусство. Ошибка всех этих людей состоит в том, что они недостаточно верят в театр. Иначе они бы знали, что разыгрывать небесные трагедии и превращаться в бога позволено каждому. Надо только вырвать всякую жалость из сердца.

Сципион. Возможно, так оно и есть, Гай. Но если это правда, тогда, я думаю, ты сделал все необходимое для того, чтобы однажды вокруг тебя поднялись легионы таких же неумолимых земных богов и утопили в крови твое собственное божество на час.

Цезония. Сципион!

Калигула *(отрывисто и резко).* Оставь, Цезония. Ты сам не знаешь, как верно ты сказал, Сципион: я сделал все необходимое. Я с трудом представляю себе тот миг, о котором ты говоришь. Но иногда я о нем мечтаю. И во всех лицах, которые выступают из глубины этой горькой ночи, в их искаженных ненавистью и тревогой чертах я и вправду с восторгом узнаю того единственного бога, которому поклонялся на этой земле: бога жалкого и подлого, как человеческое сердце. *(Раздраженно.)* А теперь уходи. Ты и так сказал слишком много. *(Другим тоном.)* А мне еще надо покрасить ногти на ногах. Это нельзя откладывать.

Все уходят, кроме Геликона, который бродит вокруг Калигулы, сосредоточенно красящего себе ногти.

Сцена третья

Калигула. Геликон!

Геликон. Что?

Калигула. Продвигается твоя работа?

Геликон. Какая работа?

Калигула. Как! А луна!

Геликон. Двигается понемногу. Надо только потерпеть. Но я хотел с тобой поговорить.

Калигула. Терпения у меня, может быть, и хватит, но не времени. Надо спешить, Геликон.

Геликон. Я же сказал тебе, что буду стараться. Но сначала мне надо сообщить тебе важные вещи.

Калигула *(как будто не слыша).* Заметь, что она уже была моей.

Геликон. Кто?

Калигула. Луна.

Геликон. Ну да, конечно. Ты знаешь, что готовится покушение на твою жизнь?

Калигула. Она была совсем моей. Правда, только два или три раза. Но все-таки она была моей.

Геликон. Я уже давно пытаюсь с тобой поговорить.

Калигула. Это было прошлым летом. Я смотрел на нее и ласкал ее на колоннах сада, и она наконец поняла.

Геликон. Оставим эти игры, Гай. Пускай ты не желаешь меня слушать, все равно, мое дело – сказать. Если ты не обращаешь внимания, тем хуже.

Калигула *(продолжает тщательно красить ногти на ногах).* Этот лак никуда не годится. Да, так вернемся к луне. Это случилось в чудесную августовскую ночь.

Геликон с досадой отворачивается и молчит, застыв на месте.

Сперва она немного пококетничала. Я уже лег. Сначала она была совершенно кровавая и стояла прямо над горизонтом. Потом начала подниматься все быстрее и становилась все легче. Чем выше она поднималась, тем делалась светлее. Она была как молочно-белое озеро во тьме, полной мерцающих звезд. И наконец она явилась в жарком дыхании ночи, нежная, легкая и нагая. Она миновала порог спальни, неспешно и уверенно приблизилась к моей постели и заструилась в нее, обливая меня своей улыбкой и своим сиянием. Этот лак решительно никуда не годится. Вот видишь, Геликон, я могу сказать, не хвастая, что она была моей.

Геликон. Хочешь ты меня выслушать и узнать, что тебе угрожает?

Калигула *(перестает красить ногти и пристально смотрит на него).* Я хочу только луну, Геликон. Я знаю заранее, откуда придет смерть. Но я еще не исчерпал всего, что заставляет меня жить. Поэтому я хочу луну. И не появляйся здесь, пока не достанешь мне ее.

Геликон. Что ж, я исполню свой долг и скажу то, что обязан сказать. Против тебя составлен заговор. Во главе его Херея. Мне удалось перехватить эту табличку, из которой ты можешь узнать самое главное. Я кладу ее вот сюда.

Геликон кладет восковую табличку на кресло и идет к выходу.

Калигула. Куда ты, Геликон?

Геликон *(с порога).* За луной для тебя.

Сцена четвертая

Кто-то скребется в другую дверь.

Калигула резко поворачивается и замечает старого патриция.

Старый патриций *(нерешительно).* Можно, Гай?

Калигула *(нетерпеливо).* Ну, входи. *(Глядя на него.)* Значит, мы пришли еще раз посмотреть на Венеру, моя прелесть?

Старый патриций. Нет, дело не в этом. Тсс! О, прости, Гай… Я хочу сказать… Ты знаешь, как я тебя люблю… И потом, единственное, чего я прошу, – это спокойно дожить свои дни…

Калигула. Короче! Короче!

Старый патриций. Да, хорошо. Итак… *(Скороговоркой.)* Это очень серьезно, вот и все.

Калигула. Нет, это не очень серьезно.

Старый патриций. Что несерьезно, Гай?

Калигула. А о чем мы говорим, радость моя?

Старый патриций *(озираясь).* О том… *(Мнется и наконец выпаливает.)* Против тебя заговор…

Калигула. Вот видишь, я же говорил, что это вовсе не серьезно.

Старый патриций. Гай, они хотят тебя убить.

Калигула *(подходит к нему и берет его за плечи).* Знаешь, почему я не могу тебе поверить?

Старый патриций *(с клятвенным жестом).* Призываю всех богов, Гай…

Калигула *(мягко, потихоньку подталкивая его к выходу).* Не клянись, главное, не клянись. Лучше послушай. Если то, что ты говоришь, правда, то я должен предположить, что ты предаешь своих друзей, не так ли?

Старый патриций *(немного растерян).* Но моя любовь к тебе, Гай…

Калигула *(тем же тоном).* А я не могу этого предположить. Я так презираю всякую подлость, что не смогу удержаться и непременно велю казнить предателя. Я-то хорошо знаю, что ты за человек. Конечно, ты не намерен ни предавать, ни умирать.

Старый патриций. Конечно, конечно, Гай!

Калигула. Вот видишь, я был прав, что тебе не поверил. Ты ведь не подлец, правда?

Старый патриций. О нет…

Калигула. И не предатель?

Старый патриций. Это само собой разумеется, Гай.

Калигула. И следовательно, никакого заговора нет. Это была просто шутка, скажи?

Старый патриций *(сбитый с толку).* Шутка, обыкновенная шутка…

Калигула. По всей очевидности, никто не собирается меня убивать?

Старый патриций. Никто, конечно, никто.

Калигула *(глубоко вздыхает и продолжает медленно).* Тогда исчезни, моя прелесть. Человек чести – такое редкое животное в этом мире, что слишком долго лицезреть его мне трудно. Мне нужно побыть одному, чтобы прочувствовать как следует этот чудесный миг.

Сцена пятая

Какое-то время Калигула, не двигаясь, глядит на табличку. Потом берет ее и читает. Переводит дыхание и зовет стражника.

Калигула. Приведи Херею.

Стражник идет к выходу.

Постой.

Стражник останавливается.

Будь с ним почтителен.

Стражник уходит.

Калигула меряет зал шагами. Потом идет к зеркалу.

Калигула. Ты решил быть логичным, идиот. Остается только узнать, до какого предела. *(С иронией.)* Если бы тебе принесли луну, все бы изменилось, да? Невозможное стало бы возможно, и все преобразилось бы разом, в один миг. Почему бы и нет, Калигула? Как знать? *(Озирается кругом.)* Все меньше людей вокруг меня, как странно. *(Глядя в зеркало, глухим голосом.)* Слишком много мертвых, слишком много мертвых. Какая от этого пустота! Даже если бы мне принесли луну, я уже не мог бы вернуться назад. Даже если мертвые снова зашевелились бы под ласками солнца, убийства оттого не ушли бы обратно под землю. *(С яростью.)* Логика, Калигула, надо твердо держаться логики. Безграничная власть, безграничная верность своей судьбе. Нет, назад не возвращаются, надо идти до конца!

Входит Херея.

Сцена шестая

Калигула, туго завернувшись в плащ, откидывается на спинку кресла. Вид у него измученный.

Херея. Ты меня звал, Гай?
Калигула *(слабым голосом).* Да, Херея. Стража! Факелов!

Молчание.

Херея. Ты хотел мне что-то сказать?
Калигула. Нет, Херея.

Молчание.

Херея *(чуть раздраженно).* Ты уверен, что мое присутствие необходимо?
Калигула. Совершенно уверен, Херея. *(Снова молчание. Потом неожиданно торопливо.)* Извини меня. Я рассеян и плохо тебя принимаю. Садись вот сюда, в это кресло, и побеседуем по-дружески. Мне нужно поговорить немного с умным человеком.

Херея садится. Едва ли не впервые с начала пьесы он держится непринужденно.

Как ты думаешь, Херея, могут два человека, равные духом и гордостью, хоть однажды в жизни поговорить с открытым сердцем, словно обнажившись друг перед другом, сбросив с себя всю ложь, все предрассудки, все тайные расчеты, которыми живут?
Херея. Я считаю, что это возможно, Гай. Но думаю, ты на это не способен.
Калигула. Ты прав. Я только хотел узнать, сходимся ли мы во мнениях. Что ж, наденем маски. Вооружимся каждый своей ложью. Покроемся для беседы, как для боя, щитами и латами. Херея, почему ты меня не любишь?
Херея. Потому что тебя не за что любить, Гай. Потому что в таких вещах приказывать бесполезно. И еще потому, что я слишком хорошо тебя понимаю. Нельзя любить ту часть своей души, которую стараешься утаить от себя самого.
Калигула. За что ты меня ненавидишь?
Херея. Тут ты ошибаешься, Гай. Ненависти к тебе у меня нет. Я считаю тебя опасным и жестоким, эгоистичным и тщеславным. Но я не могу тебя ненавидеть, потому что ты не кажешься мне счастливым. И я не могу тебя презирать, потому что знаю – ты не трус.
Калигула. Тогда почему ты хочешь меня убить?

Херея. Я уже сказал: я считаю тебя опасным. Мне дорого и необходимо надежное благополучие. Большинство людей устроено так же. Они не способны жить в таком мире, где самая бредовая идея может в любую минуту стать явью и войти в их жизнь – а чаще всего и входит, как нож в сердце. Я тоже не хочу жить в таком мире. Предпочитаю твердую почву под ногами.

Калигула. Благополучие не в ладах с логикой.

Херея. Согласен. Это взгляд не логичный, зато здоровый.

Калигула. Продолжай.

Херея. Мне больше нечего сказать. Я не хочу вникать в твою логику. У меня другие понятия о своем человеческом долге. Я знаю, что большинство твоих подданных думают так же, как я. Ты всем мешаешь. Значит, ты должен исчезнуть.

Калигула. Очень ясно и вполне оправданно. Для большинства людей это просто самоочевидно. Но не для тебя. Ты многое понимаешь, а за понимание надо дорого платить – или отказаться от него. Я плачу́. Почему же ты и не отказываешься, и не хочешь платить?

Херея. Потому что я хочу жить и быть счастливым. А ни того, ни другого не добиться, если доводить логику до абсурда со всеми его последствиями. Я обыкновенный человек. Порой это меня тяготит, и тогда я желаю смерти тем, кого люблю, страстно мечтаю о женщинах, которые для меня запретны по законам семьи или дружбы. Если быть логичным, я должен в таких случаях убивать и брать женщин. Но я считаю, что эти смутные порывы значения не имеют. Если бы все принялись их осуществлять, мы не могли бы ни жить, ни быть счастливыми. А для меня, повторяю, имеет значение именно это.

Калигула. Тогда ты должен верить в высокие идеалы.

Херея. Я верю в то, что одни поступки благороднее других.

Калигула. А по мне, они все равноценны.

Херея. Я знаю, Гай, поэтому и не могу тебя ненавидеть. Но ты мешаешь и должен исчезнуть.

Калигула. Справедливо. Только зачем объявлять мне об этом и рисковать своей жизнью?

Херея. Затем, что другие встанут на мое место, и затем, что я не люблю лгать.

Молчание.

Калигула. Херея!

Херея. Да, Гай.

Калигула. Как ты думаешь, могут два человека, равные духом и гордостью, хоть однажды в жизни поговорить с открытым сердцем?

Херея. Я думаю, это мы с тобой и сделали только что.

Калигула. Да, Херея. А ведь ты считал, что я на это не способен.

Херея. Я был неправ, Гай, сознаюсь и благодарю тебя. А теперь я жду твоего приговора.

Калигула *(рассеянно).* Моего приговора? А! Ты имеешь в виду… *(Достает табличку из-под плаща.)* Ты знаешь, что это такое, Херея?

Херея. Я знал, что она в твоих руках.

Калигула *(пылко).* Да, ты знал, Херея, и сама твоя прямота была притворством. Два человека так и не поговорили с открытым сердцем. Впрочем, это не важно. А теперь отбросим игру в откровенность и снова будем жить как раньше. Тебе предстоит еще попытаться понять, что я скажу, и вытерпеть мои оскорбления и капризы. Слушай, Херея. Эта табличка – единственное доказательство.

Херея. Я ухожу, Гай. Все это зловещее кривлянье мне надоело. Я его слишком хорошо знаю и больше не хочу на него смотреть.

Калигула *(столь же пылко и настойчиво).* Погоди. Это единственное доказательство, так?

Херея. Едва ли тебе нужны доказательства, чтобы отправить человека на казнь.

Калигула. Верно. Но на сей раз я хочу изменить себе. Это никому не помешает. А изменить себе время от времени так приятно. Это дает отдых. Я нуждаюсь в отдыхе, Херея.

Херея. Не понимаю, и вообще я не ценитель таких изгибов.

Калигула. Разумеется. Ты-то, Херея, человек здоровый. У тебя нет непомерных желаний! *(Заливаясь смехом.)* Ты хочешь жить и быть счастливым. Всего-навсего!

Херея. Думаю, нам лучше на этом кончить.

Калигула. Нет еще. Чуточку терпения, хорошо? Смотри, вот я держу это доказательство. Я воображаю, что без него не могу вас казнить. В этом моя прихоть и мой отдых. А теперь гляди, во что обращаются доказательства в руках императора.

Подносит табличку к факелу. Херея подходит ближе.

Между ними факел.

Табличка тает.

Калигула. Видишь, заговорщик! Она тает, и, по мере того как исчезает это доказательство, заря невинности занимается на твоем лице. У тебя чудесные, чистые черты, Херея. Как прекрасен невинный человек, как прекрасен! Оцени мое могущество. Самим богам не дано возвращать невинность, не послав сначала кары. А твоему императору потребовался только язычок пламени, чтобы сделать тебя снова безгрешным и бесстрашным. Продолжай, Херея, доведи до конца великолепные рассуждения, которые я от тебя услышал. Твой император ждет отдыха. Это его собственный способ жить и быть счастливым.

Херея тупо смотрит на Калигулу. Делает едва заметное движение, словно понял, открывает рот, чтобы заговорить, – и внезапно уходит. Калигула все держит табличку над огнем и, улыбаясь, провожает Херею взглядом.

Занавес

Действие четвертое

Сцена первая

Сцена погружена в полумрак.

Входят Херея и Сципион. Херея идет направо, потом налево и возвращается к Сципиону.

Сципион *(с замкнутым выражением).* Чего ты от меня хочешь?

Херея. Время торопит. Мы должны быть тверды в том, что задумали.

Сципион. Кто тебе сказал, что я нетверд?

Херея. Ты не пришел на нашу вчерашнюю встречу.

Сципион *(отворачиваясь).* Это правда, Херея.

Херея. Сципион, я старше тебя и не привык просить помощи. Но ты мне действительно нужен. Ответственность за такое убийство должны взять на себя люди, достойные уважения. В этой возне уязвленных самолюбий и низких страхов чистые побуждения только у нас с тобой. Я знаю, если ты нас и покинешь, то ничего не выдашь. Но не в этом дело. Я хочу, чтобы ты был с нами.

Сципион. Понимаю. Но клянусь тебе, я не могу.

Херея. Значит, ты с ним?

Сципион. Нет. Но я не могу быть против него. *(Молчит, потом глухо.)* Если бы я его убил, мое сердце все равно осталось бы с ним.

Херея. Ведь он убил твоего отца!

Сципион. Да, с этого все начинается. Но на этом все и кончается.

Херея. Он отрицает то, что ты признаешь. Он глумится над тем, чему ты поклоняешься.

Сципион. Это правда, Херея. Но во мне есть что-то похожее на него. Одно и то же пламя сжигает нам душу.

Херея. Бывают минуты, когда надо выбирать. Я заставил замолчать в себе то, что могло быть на него похоже.

Сципион. Я не могу выбирать, потому что, кроме своей боли, я чувствую еще и его боль. Несчастье мое в том, что я все понимаю.

Херея. Значит, твой выбор – признать его правым.

Сципион *(на крике).* О, поверь, Херея, я больше никого, никого никогда не признаю правым!

Пауза. Смотрят друг на друга.

Херея *(с волнением, подходя к Сципиону).* Пожалуй, я ненавижу его еще сильнее за то, что он с тобой сделал.

Сципион. Он научил меня требовать бесконечного.

Херея. Нет, Сципион, он отнял у тебя надежду. А отнимать надежду у юной души – преступление тяжелее всех, что он совершил до сих пор. Клянусь тебе, этого одного мне достаточно, чтобы дать волю гневу и убить его. *(Направляется к выходу.)*

Входит Геликон.

Сцена вторая

Геликон. Я тебя искал, Херея. Калигула устраивает здесь вечеринку для друзей. Ты должен на ней присутствовать. *(Поворачивается к Сципиону.)* А ты не нужен, голубочек. Можешь идти.

Сципион *(уходя, оборачивается к Херее).* Херея!

Херея *(очень мягко).* Да, Сципион.

Сципион. Попытайся понять.

Херея *(очень мягко).* Нет, Сципион.

Сципион и Геликон уходят.

Сцена третья

Лязг оружия за кулисами. Справа появляются два стражника.

Они ведут старого патриция и первого патриция, которые выказывают все признаки страха.

Первый патриций *(стражнику, стараясь придать своему голосу твердость).* Но чего, в конце концов, от нас хотят в такой поздний час?

Стражник *(указывая на кресла с правой стороны).* Садись сюда.

Первый патриций. Если нас хотят казнить, как прочих, то такие сложные приготовления ни к чему.

Стражник. Садись сюда, старый осел.

Старый патриций. Сядем. Этот человек ничего не знает, это ясно.

Стражник. Да, моя прелесть, это ясно. *(Уходит.)*

Первый патриций. Ведь я же знал, что надо спешить. А теперь нас ждет пытка.

Сцена четвертая

Херея *(спокойно усаживаясь в кресло).* Что тут происходит?

Первый патриций и Старый патриций *(хором).* Заговор раскрыт.

Херея. И что же?

Старый патриций *(дрожа).* Это значит – пытка.

Херея *(невозмутимо).* Я припоминаю, что Калигула дал восемьдесят одну тысячу сестерциев воришке-рабу, который не сознался под пыткой.

Первый патриций. До чего же мы дошли.

Херея. Нет, это просто доказывает, что он ценит мужество. Вы должны были это иметь в виду. *(Старому патрицию.)* Если нетрудно, перестань так стучать зубами. Я не выношу этот звук.

Старый патриций. Но я…

Первый патриций. Ну, довольно. Мы рискуем жизнью.

Херея *(невозмутимо).* Вы знаете любимую присказку Калигулы?

Старый патриций *(чуть не плача).* Да. Он говорит палачу: «Убивай помедленней, пусть он почувствует, что умирает».

Херея. Нет, еще лучше. Поглядев на казнь, он зевает и говорит совершенно серьезно: «Чем я больше всего восхищаюсь, так это своей бесчувственностью».

Первый патриций. Вы слышите?

Лязгает оружие.

Херея. Эти словечки выдают его слабость.
Старый патриций. Если нетрудно, перестань разводить философию. Я этого не выношу.

В глубине сцены показался раб.
Он принес мечи и раскладывает их на скамейке.

Херея *(этого не видевший).* Во всяком случае, приходится признать, что этот человек оказывает несомненное воздействие на других. Он заставляет думать. Он всех заставляет думать. Неуверенность – вот что побуждает к размышлениям. И вот почему у стольких людей он вызывает ненависть.
Старый патриций *(дрожа).* Посмотри.
Херея *(замечает мечи; его голос немного меняется).* Возможно, ты был прав.
Первый патриций. Надо было торопиться. Мы слишком долго ждали.
Херея. Да. Этот урок немного запоздал.
Старый патриций. Но это нелепость. Я не хочу умирать.

Встает и пытается сбежать. Тут же появляются два стражника, дают ему пару затрещин и силой водворяют на место. Первый патриций съеживается в своем кресле. Херея произносит несколько слов, но их не слышно. Внезапно в глубине сцены раздаются пронзительные, отрывистые звуки странной музыки, грохочут тарелки и погремушки. Патриции замолкают и смотрят в глубь сцены. Там на занавесе, как в театре теней, появляется силуэт Калигулы в коротенькой тунике танцовщицы, с венком на голове. Он проделывает несколько гротескных балетных па и исчезает. И сразу же один из стражников торжественно возглашает: «Представление окончено». Тем временем неслышно вошла Цезония и стала позади зрителей. Она говорит ровным голосом, от которого, однако, они вздрагивают.

Сцена пятая

Цезония. Калигула поручил мне вам сказать, что до сих пор он вас созывал ради государственных дел, но сегодня пригласил разделить с ним эстетическое наслаждение. *(Помолчав, продолжает тем же тоном.)* Правда, он добавил, что тому, кто не пожелает наслаждаться, отрубят голову.

Они молчат.

Прошу извинить мою назойливость. Но я должна спросить: показался ли вам этот танец прекрасным?
Первый патриций (*поколебавшись).* Он был прекрасен, Цезония.
Старый патриций *(преисполненный благодарности).* О да, Цезония.
Цезония. А тебе, Херея?
Херея *(холодно).* Это было большое искусство.
Цезония. Отлично. Итак, я могу сообщить об этом Калигуле.

Сцена шестая

Входит Геликон.

Геликон. Скажи, Херея, это действительно было большое искусство?

Херея. В каком-то смысле – да.

Геликон. Понимаю. Ты очень сильный, Херея. Фальшивый, как всякий порядочный человек. Но сильный, ничего не скажешь. Я не такой сильный. И все-таки я не дам вам дотронуться до Калигулы, даже если он сам того хочет.

Херея. Я ничего не понял из этого монолога. Но должен похвалить тебя за такую преданность. Я люблю верных слуг.

Геликон. Какого гордеца строишь, а? Да, я служу сумасшедшему. А ты чему служишь? Добродетели? Я тебе выложу, что думаю по этому поводу. Я родился в рабстве. Так вот, порядочный человек, сперва под эту песенку о добродетели меня заставлял плясать кнут. А Гай не говорил мне красивых слов. Он меня освободил и взял к себе во дворец. Тут-то я и смог поглядеть на вашего брата, добродетельных. И я увидел, что у вас грязные рожи и скверный запах, пресный запах людей, не познавших ни страданий, ни риска. Я видел красивые одежды, а сердца были потухшие, лица алчные, руки дрожащие. И это вы – судьи? Вы, кто торгуете добродетелью в розницу, мечтаете о благополучном существовании, как девчонка мечтает о любви, но умираете в страхе, даже не поняв, что лгали всю жизнь, вы беретесь судить того, кто страдал бесконечно, кто каждый день истекает кровью от тысячи новых ран? Сначала вам придется иметь дело со мной, попомни это! Презирай раба, Херея! Он выше твоей добродетели, потому что он еще умеет любить своего несчастного хозяина и будет его защищать от вашей благородной лжи, от ваших вероломных речей…

Херея. Милый Геликон, ты ударился в риторику. Честное слово, когда-то у тебя был вкус получше.

Геликон. Каюсь, увы. Вот что значит слишком долго с вами общаться. У старых супругов волосков в ушах поровну, так они становятся похожи под конец. Но я исправлюсь, не беспокойся, исправлюсь. Одно только… Смотри, видишь ты это лицо? Так. Смотри хорошенько. Прекрасно. Теперь ты видел своего врага. *(Уходит.)*

Сцена седьмая

Херея. А теперь надо торопиться. Останьтесь здесь оба. Сегодня к вечеру нас будет сотня. *(Уходит.)*

Старый патриций. Останьтесь, останьтесь! Я-то предпочел бы уйти. *(Втягивает носом воздух.)* Здесь пахнет смертью.

Первый патриций. Или ложью. *(Грустно.)* Я сказал, что этот танец прекрасен.

Старый патриций *(утешая).* В каком-то смысле так и есть. Так и есть.

Стремительно вбегают несколько патрициев и всадников.

Сцена восьмая

Второй патриций. Что тут такое? Вы знаете? Император велел нас созвать.

Старый патриций *(рассеянно).* Это, наверно, на танец.

Второй патриций. Какой танец?

Старый патриций. Ну да, эстетическое наслаждение.

Третий патриций. Мне сказали, что Калигула очень болен.

Первый патриций. Так и есть.

Третий патриций. А что с ним? *(С восторгом.)* Боги мои, неужели он умирает?

Первый патриций. Не думаю. Его болезнь смертельна только для других.

Старый патриций. Если можно так выразиться.

Второй патриций. Я тебя понял. Но нет ли у него еще какой-нибудь болезни, менее серьезной и более благоприятной для нас?

Первый патриций. Нет, эта болезнь не терпит соперниц. Но если позволите, мне нужно поговорить с Хереей. *(Уходит.)*

Входит Цезония. Короткая пауза.

Сцена девятая

Цезония *(равнодушно).* У Калигулы желудочное заболевание. Его рвало кровью.

Патриции толпятся вокруг нее.

Второй патриций. О всемогущие боги, даю обет: если он выздоровеет, я пожертвую двести тысяч сестерциев в казну.

Третий патриций *(слишком пылко).* Юпитер, возьми взамен его жизни мою.

Калигула уже несколько минут как вошел и слушает.

Калигула *(подходя ко второму патрицию).* Я принимаю твой дар, Луций. Благодарю тебя. Мой казначей явится к тебе завтра. *(Подходит к третьему патрицию и обнимает его.)* Ты не можешь представить себе, как я взволнован. *(Помолчав, с нежностью.)* Так ты меня любишь?

Третий патриций *(растроганно).* Ах, цезарь, чего бы я не отдал за тебя не раздумывая!

Калигула *(держит его в объятьях).* Ах, это слишком, Кассий, я не заслужил такой любви. *(Кассий делает протестующий жест.)* Нет, нет, говорю тебе. Я недостоин. *(Подзывает двух стражников.)* Уведите его. *(Кассию, мягко.)* Иди, друг. И помни, что сердце Калигулы с тобой.

Третий патриций *(слегка встревожен).* Но куда они меня ведут?

Калигула. Как куда? На смерть. Ты отдал свою жизнь за мою. Я почувствовал себя лучше. У меня даже нет больше этого противного вкуса крови во рту. Ты меня исцелил. Кассий, ты счастлив, что мог отдать свою жизнь за другого и что этого другого зовут Калигула? Вот я и снова могу наслаждаться всеми радостями.

Стражники волокут третьего патриция.

Он сопротивляется и вопит.

Третий патриций. Но я не хочу! Это была шутка!

Калигула *(между его воплями, мечтательно).* Скоро дороги над морем покроются цветущей мимозой. Женщины наденут платья из легкой ткани. Высокое небо, такое свежее и чистое, Кассий! Улыбки жизни!

Кассий уже у выхода.

Цезония легонько его подталкивает.

Калигула *(поворачиваясь, неожиданно серьезно).* Жизнь, друг мой! Если бы ты любил ее как следует, то не стал бы так неосторожно ею играть.

Кассия выволакивают.

Калигула *(возвращаясь к столу).* А когда проигрываешь, непременно надо платить. *(Пауза.)* Подойди сюда, Цезония. *(Поворачивается к остальным.)* Кстати, мне пришла в голову прекрасная мысль, которой я хочу с вами поделиться. Мое царствование до сих пор было слишком счастливым. Ни повальной чумы, ни жестоких религиозных обрядов, ни даже государственного переворота, короче, ничего, что может оставить вас в памяти потомков. Так вот, отчасти поэтому я и пытаюсь возместить бережность судьбы. Я хочу сказать… Не знаю, поняли ли вы меня. *(Со смешком.)* Одним словом, я подменяю собой чуму. *(Другим тоном.)* А теперь молчите. Вот и Херея. Займись им ты, Цезония. *(Уходит.)*

Входят Херея и первый патриций.

Сцена десятая

Цезония торопливо подходит к Херее.

Цезония. Калигула умер.

Отворачивается, притворяясь, что плачет, и пристально смотрит на остальных.
Те молчат.
Вид у всех удрученный, но по иной причине.

Первый патриций. Ты… ты уверена в этом несчастье? Это невозможно, он же только что танцевал.
Цезония. Вот именно. Это напряжение сил оказалось для него смертельным.

Херея быстрыми шагами обходит присутствующих, одного за другим, и возвращается к Цезонии.
Все хранят молчание.

Цезония *(медленно).* Ты ничего не сказал, Херея.
Херея *(столь же медленно).* Это большое несчастье, Цезония.

Внезапно входит Калигула и направляется к Херее.

Калигула. Хорошо сыграно, Херея. *(Поворачивается кругом и смотрит на остальных. С юмором.)* Ну что ж! Не вышло. *(Цезонии.)* Не забудь, что я тебе сказал. *(Уходит.)*

Сцена одиннадцатая

Цезония молча смотрит ему вслед.

Старый патриций *(ему придает сил неослабевающая надежда).* Он действительно болен, Цезония?
Цезония *(глядя на него с ненавистью).* Нет, моя прелесть, но тебе не все известно. Тебе неизвестно, что он спит по два часа каждую ночь, а остальное время бродит по галереям дворца и не может забыться. Тебе неизвестно, да ты и не задумываешься, какие мысли одолевают этого человека в томительные часы между серединой ночи и возвращением солнца. Болен? Нет, он не болен. Разве что ты найдешь название и лекарство для тех язв, которыми покрыта его душа.
Херея *(как будто тронут).* Ты права, Цезония. Нам известно, что Гай…

Цезония *(живее).* Да, вам это известно. Но как все, у кого нет души, вы не можете выносить тех, у кого ее слишком много. Слишком много души! Это мешает, правда? И тогда это называют болезнью, а высоколобые болваны остаются при своей чистой совести и своем самодовольстве. *(Другим тоном.)* Ты когда-нибудь умел любить, Херея?

Херея *(вновь становясь самим собой).* Мы теперь уже слишком стары, чтобы учиться таким вещам, Цезония. К тому же Калигула едва ли даст нам на это время.

Цезония *(взяв себя в руки).* Это верно. *(Садится.)* А я чуть не забыла о поручении Калигулы. Вы знаете, что нынешний день посвящен искусству?

Старый патриций. По календарю?

Цезония. Нет, по Калигуле. Он созвал несколько поэтов и предложит им сымпровизировать на заданную тему. Среди вас тоже есть поэты; он желает, чтобы они непременно приняли участие в состязании. Он особо назвал юного Сципиона и Метелла.

Метелл. Но мы не готовы.

Цезония *(словно не слыша, ровным голосом).* Естественно, предусмотрены награды. А также наказания.

Все отшатываются.

Между нами, могу вам сказать, что наказания не слишком тяжелые.

Входит Калигула. Он мрачен как никогда.

Сцена двенадцатая

Калигула. Все готово?
Цезония. Все. *(Стражнику.)* Приведите поэтов.

Человек двенадцать поэтов входят парами и маршируют направо.

Калигула. А остальные?
Цезония. Сципион и Метелл!

Эти двое присоединяются к поэтам, Калигула с Цезонией и патрициями усаживаются слева, в глубине. Короткая пауза.

Калигула. Тема – смерть. Время – минута.

Поэты торопливо пишут на своих табличках.

Старый патриций. А кто будет в жюри?
Калигула. Я. Разве этого недостаточно?
Старый патриций. О да, совершенно достаточно.
Херея. А ты примешь участие в состязании, Гай?
Калигула. Мне незачем. Я уже давно написал сочинение на эту тему.
Старый патриций *(торопясь).* А где его можно достать?
Калигула. Я его по-своему декламирую каждый день.

Цезония смотрит на него с тревогой.

Калигула *(грубо).* Тебе не нравится моя физиономия?

Цезония *(мягко).* Прости меня.

Калигула. О, пожалуйста, не надо смирения. Только не смирение. Тебя и так трудно выносить, но твое смирение!..

Цезония пытается взять себя в руки.

Калигула *(Херее).* Так вот. Кроме этого сочинения, я ничего не написал. Но оно доказывает, что я единственный художник за всю историю Рима, понимаешь, Херея, единственный, кто согласует свою мысль со своими поступками.

Херея. Это только вопрос власти.

Калигула. Верно. Остальные творят за неимением власти. А у меня нет нужды в творчестве: я живу. *(Грубо.)* Ну, что вы там, готовы?

Метелл. Мне кажется, готовы.

Все. Да.

Калигула. Тогда слушайте меня хорошенько. Вы будете выходить вперед по очереди. Я свистну. Первый начнет читать. По моему свистку он остановится, а следующий начнет. И так далее. Победителем, естественно, будет тот, чье чтение мой свисток не прервет. Готовьтесь. *(Наклоняется к Херее, доверительно.)* Во всем нужен твердый порядок, даже в искусстве.

Свисток.

Первый поэт. Смерть, когда из-за черного брега…

Свисток. Поэт отходит налево. Остальные будут проделывать то же самое. Сцена играется механически.

Второй поэт. Три парки в пещере своей…

Свисток.

Третий поэт. Зову тебя, о смерть…

Сердитый свисток.

Четвертый поэт выступает вперед и становится в позу декламатора.

Свисток раздается прежде, чем он успевает что-то сказать.

Пятый поэт. Когда младенцем я…

Калигула *(вопит).* Нет! Какое отношение имеет младенчество какого-то идиота к этой теме? Можешь ты мне сказать – какое?

Пятый поэт. Но, Гай, я еще не кончил…

Пронзительный свисток.

Шестой поэт *(выступает вперед, откашливаясь).* Безжалостная, шествует она…

Свисток.

Седьмой поэт *(таинственно).* Неясная и смутная молитва…

Прерывистый свисток.
Сципион выступает вперед без табличек.

Калигула. Твоя очередь, Сципион. Ты без табличек?
Сципион. Мне они не нужны.
Калигула. Ну-ка. *(Покусывает свой свисток.)*
Сципион *(стоя совсем рядом с Калигулой, но не глядя на него и как-то устало).*

Погоня за счастьем, что очищает людей,
Небо, где льется солнце,
Несравненные, дикие празднества, мой бред без надежды!..

Калигула *(мягко).* Довольно, прошу тебя. *(Сципиону.)* Ты слишком молод, чтобы усваивать истинные уроки смерти.

Сципион *(глядя Калигуле в глаза).* Я был слишком молод, чтобы потерять отца.

Калигула *(резко отворачиваясь).* А вы, остальные, станьте в строй. Плохой поэт – слишком тяжкое испытание для моего вкуса. До сих пор я в мыслях видел вас своими союзниками, иногда я воображал, что вы составите для меня последнюю линию обороны. Но напрасно, теперь я буду числить вас своими врагами. Поэты против меня – это, могу сказать, конец. Шагом марш! Вы пройдете передо мной и при этом будете лизать ваши таблички, чтобы стереть с них следы ваших мерзостей. Внимание! Вперед!

Свистки раздаются в такт шагам.
Поэты маршируют к правому выходу и лижут на ходу свои бессмертные таблички.

Калигула *(очень тихо).* Уходите все.

У дверей Херея останавливает первого патриция, взяв его за плечо.

Херея. Час настал.

Сципион это слышал.
Он медлит на пороге и возвращается к Калигуле.

Калигула *(злобно).* Ты не мог бы оставить меня в покое? Твой отец уже так и поступил.

Сцена тринадцатая

Сципион. Не надо, Гай, все это ни к чему. Я уже знаю, что ты сделал свой выбор.

Калигула. Оставь меня.

Сципион. Я и в самом деле тебя оставлю, потому что, мне кажется, я тебя понял. Ни для тебя, ни для меня, так на тебя похожего, выхода больше нет. Я отправляюсь очень далеко искать объяснение всему этому. *(Пауза, смотрит на Калигулу. С чувством.)* Прощай, дорогой Гай. Когда все будет кончено, не забудь, что я тебя любил. *(Уходит.)*

Калигула смотрит ему вслед и делает какое-то движение, но усилием воли справляется с волнением и возвращается к Цезонии.

Цезония. Что он сказал?

Калигула. Это выше твоего понимания.

Цезония. О чем ты думаешь?

Калигула. О нем. И о тебе. Впрочем, это одно и то же.

Цезония. Что случилось?

Калигула *(глядя на нее).* Сципион ушел. С дружбой я покончил. А ты – я спрашиваю себя, почему ты еще здесь…

Цезония. Потому что я тебе нравлюсь.

Калигула. Нет. Если бы я тебя убил, то понял бы, наверно.

Цезония. Что ж, это мысль. Осуществи ее. Но ты не можешь хоть на минуту расслабиться и пожить свободно?

Калигула. Я уже несколько лет тем и занимаюсь, что живу свободно.

Цезония. Я другое имею в виду. Пойми меня. Это может быть так хорошо – жить и любить в чистоте душевной.

Калигула. Каждый добивается чистоты как умеет. Я это делаю в поисках самого главного. Но как бы то ни было, все равно я могу тебя убить. *(Смеется.)* Это было бы достойным увенчанием моего пути.

Калигула встает и поворачивает зеркало.

Кружит вдоль стен, как зверь; руки его свисают почти неподвижно.

Как странно. Когда я не убиваю, то чувствую себя одиноким. Живые не могут заселить вселенную и разогнать скуку. Когда вы все со мной, я ощущаю вокруг бескрайнюю пустоту, застилающую мне глаза. Мне хорошо только с моими мертвецами. *(Стоит лицом к зрителям, немного наклонившись вперед. О Цезонии он забыл.)* Они-то настоящие. Такие, как я. Они меня ждут и торопят. *(Качает головой.)* Я веду долгие разговоры то с тем, то с другим, кто кричал, прося у меня пощады, а я велел вырвать у него язык.

Цезония. Иди сюда. Приляг рядом со мной. Положи голову мне на колени.

Калигула так и поступает.

Тебе хорошо. Все тихо.

Калигула. Все тихо! Ты преувеличиваешь. Разве не слышишь, как звякает оружие?

Доносятся эти звуки.

Не замечаешь тысячи шорохов, выдающих, что ненависть сидит в засаде?

Смутный ропот.

Цезония. Никто не посмеет…

Калигула. Кроме глупости.

Цезония. Она не убивает. Она делает людей осторожными.

Калигула. Она несет смерть, Цезония. Она несет смерть, когда считает себя оскорбленной. О, меня убьют не те, кого я лишил сына или отца. Эти поняли. Они со мной, у них тот же вкус во рту. Но другие, те, над кем я издевался, кого выставил на посмешище, – от их уязвленного самолюбия у меня нет защиты.

Цезония *(горячо).* Мы защитим тебя, нас еще много, тех, кто тебя любит.

Калигула. Вас остается все меньше. Что было нужно для этого, я сделал. И потом, призна́ем справедливости ради: против меня не только глупость, но и верность, и мужество тех, кто хочет быть счастлив.

Цезония *(тем же тоном).* Нет, они тебя не убьют. Или какая-нибудь молния сверкнет с небес и испепелит их прежде, чем они тебя коснутся.

Калигула. С небес! Нет никаких небес, бедняжка. *(Садится.)* Но почему вдруг столько любви? Это в наш уговор не входило.

Цезония *(она встала и принялась ходить).* Значит, мало мне видеть, как ты убиваешь других, я должна еще знать, что тебя самого убьют? Мало, что ты приходишь ко мне жестокий и истерзанный, что, когда ты ложишься со мной, от тебя пахнет убийством? Я каждый день смотрю, как умирает в тебе понемногу все человеческое. *(Оборачивается к нему.)* Я стара и скоро стану безобразна, я знаю. Но в моей душе не осталось больше ничего, кроме мыслей о тебе, и уже не важно, любишь ты меня или нет. Я хочу только одного: увидеть, что ты исцелился. Ведь ты еще ребенок. У тебя вся жизнь впереди! Чего ты можешь желать большего, чем целая жизнь?

Калигула *(встает и смотрит на нее).* Как давно ты здесь.

Цезония. Да. Но ты меня не прогонишь, правда?

Калигула. Не знаю. Знаю только, почему ты здесь. Потому, что были все эти ночи, дарившие мне наслаждение, острое и безрадостное, потому, что ты столько обо мне знаешь. *(Обнимает ее и чуть-чуть запрокидывает ей голову назад.)* Мне двадцать девять лет. Немного. Но в этот час, когда моя жизнь кажется мне такой длинной, так тяжело нагруженной останками прошлого, такой законченной, ты остаешься последним свидетелем. И я не могу противиться постыдной нежности к той старой женщине, кем ты скоро станешь.

Цезония. Скажи, что ты меня не прогонишь!

Калигула. Не знаю. Я понимаю только – вот самое ужасное, – что эта постыдная нежность и есть единственное чистое чувство, которое дала мне жизнь.

Цезония высвобождается из его объятий, Калигула идет за ней. Она прижимается к нему спиной, он обвивает ее руками.

Калигула. Не лучше ли, чтобы последний свидетель исчез?

Цезония. Мне все равно. Я счастлива тем, что ты сказал. Но почему я не могу поделиться с тобой этим счастьем?

Калигула. Кто тебе сказал, что я не счастлив?

Цезония. Счастье великодушно. Оно не истребляет других, чтобы жить.

Калигула. Значит, есть два вида счастья. Я выбрал тот, который смертоносен. И я счастлив. Было время, когда я думал, что дошел до пределов страдания. Но нет, можно идти еще дальше. За рубежами страны отчаянья лежит счастье, бесплодное и величественное. Смотри на меня.

Она оборачивается к нему.

Я смеюсь, Цезония, когда вспоминаю, что не один год весь Рим избегал произносить имя Друзиллы. Рим не один год заблуждался. Любви мне мало, я это понял тогда. Сегодня я по-прежнему так думаю, глядя на тебя. Любить кого-то – значит согласиться стареть вместе. Я не способен на такую любовь. Старая Друзилла – это гораздо хуже, чем Друзилла мертвая. Вам кажется, человек страдает потому, что любимое существо умирает нежданно. Нет, настоящее страдание – не этот вздор. Оно наступает, когда замечаешь, что и горю приходит конец. Даже сама скорбь лишена смысла.

Вот видишь, оправданий для меня не найти ни в чем – ни в тени любви, ни в горечи грусти. У меня нет алиби. Но сегодня я еще свободней, чем был все эти годы. Я освободился от воспоминаний и от иллюзий. *(Яростно смеется.)* Я знаю, что всему приходит конец! Какое открытие! Нас было двое-трое во всей истории, кто испробовал его на деле, кто испытал это сумасшедшее счастье. Цезония, ты досмотрела прелюбопытную трагедию до самой развязки. Пора опустить перед тобой занавес.

Он снова становится позади Цезонии и обхватывает рукой ее шею.

Цезония *(со страхом).* Такая ужасная свобода – это и есть счастье?

Калигула *(все сильнее сжимая ее горло).* Это оно и есть, Цезония. Без него я был бы довольным и сытым. А благодаря ему я обрел богоравное ясновидение одиночек.

Возбуждение его растет, пока он медленно душит Цезонию.
Она не пытается бороться, только робко протягивает вперед руки.
Он говорит, наклоняясь к ее уху.

Я живу, я убиваю, я обладаю головокружительным могуществом разрушителя, рядом с которым могущество творца кажется жалкой пародией. Это и значит быть счастливым. Это и есть счастье – невыносимое освобождение, презрение ко всему на свете, и кровь, и ненависть вокруг, несравненное уединение человека, окидывающего взглядом всю свою жизнь, необъятная радость безнаказанного убийцы, неумолимая логика, которая перемалывает человеческие жизни *(смеется),* и твою тоже, Цезония, чтобы для меня настало наконец вожделенное одиночество во веки веков.

Цезония *(слабо сопротивляясь).* Гай!

Калигула *(вне себя).* Нет, никакой нежности. С этим надо кончать, время не ждет. Время не ждет, дорогая Цезония!

Цезония хрипит.
Калигула волочит ее и бросает на ложе.

Калигула *(смотрит на нее; взгляд у него блуждающий, голос сдавленный).* И ты, ты тоже была виновна. Но убийством ничего нельзя решить.

Сцена четырнадцатая

Калигула *(поворачивается и идет к зеркалу, как в бреду).* Калигула! И ты тоже, и ты тоже виновен. Что ж, немного больше, немного меньше, какая разница! Кто осмелится вынести мне приговор в этом мире, где нет ни судьи, ни невинных! *(С глубоким отчаяньем, прижавшись к зеркалу.)* Вот видишь, Геликон не пришел. Луны я не получу. Как это трудно – собственная правота и долг идти до конца. Я боюсь конца. Мечи звенят! Это невинность готовит свое торжество. Отчего я не на той стороне! Мне страшно. Какая мерзость – сначала презирать других, а потом ощутить такую же трусость в своей душе. Но это не важно. Страху тоже придет конец. И вокруг меня снова будет великая пустота, в которой сердце обретает покой.

Делает шаг назад, возвращается к зеркалу.
Он как будто немного успокоился.
Когда он снова начинает говорить, голос его звучит тише и сдержаннее.

Все кажется таким сложным. А на самом деле все просто. Если бы я получил луну, если бы любви мне было довольно, все бы переменилось. Но чем утолить мою жажду? Какое сердце, какое божество бездонно, как озеро, чтобы напоить меня? *(Опускается на колени и плачет.)* Ни в этом мире, ни в ином нет ничего мне соразмерного. А ведь я знаю, и ты знаешь тоже *(плача, протягивает руки к зеркалу),* что мне нужно только одно: невозможное. Невозможное! Я искал его на границах мира, на краю своей души. Я протягивал руки *(кричит),* я протягиваю руки и натыкаюсь на тебя, передо мной всегда только ты, а я полон ненависти к тебе. Я пошел не той дорогой, она никуда не ведет. Моя свобода – ложная. Геликон! Геликон! Нет, и тут – ничего. О, как тяжела эта ночь! Геликон не придет: мы навеки останемся виновны. Эта ночь тяжела, как страдание человеческое.

За кулисами слышится шепот и лязг оружия.

Геликон *(внезапно появляется в глубине сцены).* Берегись, Гай! Берегись!

Невидимая рука пронзает Геликона кинжалом.

Калигула встает, берет в руки табурет и, тяжело дыша, подходит к зеркалу. Смотрит на себя, изображает прыжок вперед и в ответ на такое же движение своего двойника в зеркале с воплем запускает в него табуретом.

Калигула. В историю, Калигула, в историю.

Зеркало разбивается, и в ту же минуту из всех дверей вбегают вооруженные заговорщики. Калигула поворачивается им навстречу с безумным смехом. Старый патриций наносит ему удар в спину, Херея – в лицо. Смех Калигулы переходит в предсмертную икоту. Удары сыплются на него со всех сторон. Смеясь и хрипя, в последнем всхлипе Калигула выкрикивает:

Я еще жив!

Занавес

Недоразумение

81

Пьеса в трех действиях

Действующие лица
Марта
Мария
Мать
Ян
Старый слуга

81 © Перевод. М. Ваксмахер, наследники, 2019

Предисловие

«Недоразумение», бесспорно, пьеса мрачная. Она была написана в 1943 году, в окруженной и оккупированной стране, вдали от всего, что я любил. Она окрашена в цвета изгнания. Но я не считаю, что она внушает безнадежность. У несчастья всего одно средство перебороть самое себя, и это средство – трагизм. «Трагизм, – говорит Лоуренс, – должен быть чем-то вроде хорошего пинка под зад несчастью». «Недоразумение», построенное на современном материале, подхватывает древнюю тему рока. Удалась ли такая перестановка – судить публике. Но, прочтя эту трагедию, было бы неверно делать вывод, что она учит смириться с судьбой. Пьеса зовет к бунту, а кроме того, может преподать урок искренности. Если человек стремится к признанию, ему нужно просто признаться, кто он такой. А если он хранит молчание или лжет, ему суждено умирать в одиночку, и тогда все вокруг него обречено на несчастье. Если же он говорит правду, ему, безусловно, тоже приходится умирать, но лишь после того, как он помог жить другим и самому себе.

А.

Действие первое

Полдень. Зала в гостинице, светлая и чистая.
В обстановке ничего лишнего.

Сцена первая

Мать. Он вернется.

Марта. Он вам это сказал?

Мать. Да. Когда ты вышла.

Марта. Вернется один?

Мать. Не знаю.

Марта. Он богат?

Мать. О цене он не спрашивал.

Марта. Что ж, если богат, тем лучше. Но нужно еще, чтобы он был одинок.

Мать *(устало).* Одинок и богат, да-да. И нам надо будет опять приниматься за старое.

Марта. Конечно. Мы и примемся. И получим сполна за свой труд. *(Пауза. Смотрит на мать.)* Вы какая-то странная, мать. Я с трудом узнаю вас последнее время.

Мать. Дочь моя, я устала, больше ничего. Мне хочется отдохнуть.

Марта. Я могу взять на себя работу по дому, которая еще осталась за вами. И вы сможете полностью распоряжаться своим временем.

Мать. Я не о таком отдыхе говорю. Нет, это просто мечта старой женщины. Я стремлюсь только к покою, к тому, чтобы хоть ненадолго избавиться от забот. *(Едва слышно смеется.)* Это звучит глупо, Марта, но бывают вечера, когда я чувствую в себе чуть ли не склонность к религии.

Марта. Вы еще не настолько одряхлели, чтобы думать об этом. У вас есть дела и поважнее.

Мать. Ты ведь понимаешь, что я шучу. Да и какая в этом беда? К концу жизни можно себе позволить немного расслабиться. Негоже быть всегда сухарем, Марта, и вечно держать себя в узде, как это делаешь ты. Я знаю многих девушек, твоих сверстниц, у которых на уме одни безрассудства.

Марта. Все их безрассудства – сущий пустяк по сравнению с нашими, вы это сами отлично знаете.

Мать. Не будем об этом.

Марта *(медленно).* Можно подумать, что некоторые слова обжигают теперь вам рот.

Мать. Почему это так тебя заботит? Я ведь не отказываюсь от наших дел. Что тут такого? Я только хотела сказать, что была бы рада увидеть хоть раз, как ты улыбаешься.

Марта. Клянусь вам, это со мною бывает.

Мать. Я никогда не видела тебя улыбающейся.

Марта. Потому что я улыбаюсь у себя в комнате, когда бываю одна.

Мать *(пристально вглядываясь в нее).* Какое суровое у тебя лицо, Марта!

Марта *(подходя ближе, спокойно).* Значит, оно не нравится вам?

Мать *(так же вглядываясь. После паузы).* Нет, пожалуй, все-таки нравится.

Марта *(возбужденно).* Ах, мать! Когда мы накопим много денег и сможем покинуть эти убогие земли, когда позади останется и эта жалкая гостиница, и этот пасмурный город, и мы забудем этот дождливый край, – в день, когда мы окажемся наконец перед морем, о котором я столько мечтала, – в этот день вы увидите, что я улыбаюсь. Но нужны немалые деньги, чтобы жить безбедно у моря. Вот почему не надо бояться слов. Вот ради чего нам нужно заняться

человеком, который сейчас придет. Если он достаточно богат, моя свобода начнется, быть может, с него. Он долго говорил с вами, мать?

Мать. Нет, фразы две, не больше.

Марта. Какой у него был вид, когда он просил у вас комнату?

Мать. Не знаю. Я плохо вижу и не рассмотрела его. Я по опыту знаю, что лучше на них не смотреть. Легче убивать тех, кого ты не знаешь. *(Пауза.)* Ну вот, можешь радоваться, я не боюсь теперь слов.

Марта. Так оно лучше. Терпеть не могу недомолвок. Убийство есть убийство, надо знать, чего хочешь. И мне кажется, что вы тоже это знали, что вы сами об этом подумали, когда ответили путнику.

Мать. Нет, об этом я не подумала. Я ответила по привычке.

Марта. По привычке? Но ведь удобные случаи выпадали так редко!

Мать. Конечно. Но привычка начинается уже со второго убийства. С первым убийством еще ничего не начинается, с ним только что-то заканчивается. И потом, если удобные случаи выпадали и редко, они растягивались на долгие годы, и привычка укреплялась за счет воспоминания. Да, привычка, это она заставила меня ответить, это она мне шепнула, чтобы я не глядела на этого человека, это она подтвердила мне, что у него лицо жертвы.

Марта. Мать, его надо убить.

Мать *(немного тише).* Разумеется, его надо убить.

Марта. Вы как-то странно говорите об этом.

Мать. Я в самом деле устала, и мне бы хотелось, чтобы этот человек оказался последним. Ужасно утомительно – убивать. Мне все равно, где я умру, возле моря или среди этих равнин, но я очень хочу, чтобы мы уехали отсюда вместе с тобой.

Марта. Мы уедем вместе отсюда, и это будет наш звездный час! Соберитесь с силами, мать, осталось сделать немногое. Вы ведь знаете, речь даже не о том, чтобы его убивать. Он выпьет свой чай и уснет, и еще живого мы отнесем его к реке. Его отыщут не скоро, он прибьется к плотине вместе с другими горемыками, кому в жизни тоже не повезло и кто с открытыми глазами бросается в воду. В тот день, когда мы с вами смотрели, как чистят плотину, вы мне сами сказали, мать, что наши страдают меньше других и что жизнь еще более жестока, чем мы. Так соберитесь же с силами, вы обретете желанный покой, и мы наконец убежим отсюда.

Мать. Да, я соберусь с силами. Иногда меня и вправду утешает мысль, что наши совсем не страдали. Это даже не убийство, а просто вмешательство, небольшая помощь, которую мы оказываем незнакомым нам жизням. В самом деле, жизнь гораздо более жестока, чем мы. Должно быть, потому-то мне и трудно считать себя виноватой.

Входит старый слуга. Он молча садится за конторкой.

До конца сцены он ни разу не шевельнется.

Марта. В какой комнате мы его поселим?

Мать. Не важно в какой, лишь бы только не высоко.

Марта. Да, в последний раз мы намаялись из-за этих двух этажей. *(Впервые за все время садится.)* Мать, а правда, что там на пляжах песок обжигает ноги?

Мать. Я никогда там не была, ты ведь знаешь. Но мне говорили, что солнце там сжигает все вокруг.

Марта. В одной книге я прочитала, что оно пожирает в человеке все, даже душу, и тело становится сверкающим, легким, но внутри пустым.

Мать. Об этом ты и мечтаешь, Марта?

Марта. Да, мне надоело все время носить в себе душу, я хочу найти поскорее страну, где солнце убивает сомнения и вопросы. Мой дом не здесь.

Мать. Но прежде нам, увы, предстоит еще многое сделать. Если все сойдет благополучно, я, конечно, отправлюсь вместе с тобой. И все же у меня нет ощущения, что это будет путь к моему дому. Когда ты стар, на земле уже нет жилища, где бы ждал тебя отдых; хорошо уже то, что я сумела своими руками сложить из кирпичей этот жалкий, захламленный воспоминаниями дом, в котором мне иногда удается заснуть. Было бы, однако, еще лучше, если бы вместе с забвением я обрела бы и сон. *(Встает и направляется к двери.)* Подготовь все, что нужно, Марта. *(Пауза.)* Если это дело вообще стоит труда.

Марта смотрит ей вслед. Потом уходит в другую дверь.

Сцена вторая

Старый слуга идет к окну, замечает Яна и Марию и встает так, чтобы они его не увидели. Несколько секунд старик остается на сцене один. Входит Ян. Он останавливается, оглядывает залу, замечает старика, стоящего у окна.

Ян. Есть тут кто-нибудь?

Старик глядит на него, идет через сцену и уходит.

Сцена третья

Входит Мария. Ян резко оборачивается.

Ян. Ты следила за мной.

Мария. Прости, но я не могла по-другому. Может быть, я сразу же и уйду. Но позволь мне увидеть место, где я тебя оставляю.

Ян. Сюда могут войти, и то, что я хочу сделать, окажется невозможным.

Мария. Тогда по крайней мере мы используем шанс: вдруг кто-то входит, и я делаю так, что тебя узнают, хоть ты этого и не хочешь.

Он отворачивается. Пауза.

Мария *(оглядывая залу).* Это здесь?

Ян. Да, это здесь. В эту дверь я ушел двадцать лет назад. Моя сестра была маленькой девочкой. Она играла в этом углу. Моя мать не пришла обнять меня на прощание. Тогда мне казалось, что мне это безразлично.

Мария. Ян, я не могу поверить, что они тебя сейчас не узнали. Мать всегда узнаёт своего сына.

Ян. Она не видела меня двадцать лет. Я был подростком, можно сказать, ребенком. Мать постарела, зрение у нее ослабло. Я сам с трудом ее узнал.

Мария *(нетерпеливо).* Все это я уже знаю: ты вошел, поздоровался, сел. И ничего вокруг не узнавал.

Ян. Моя память оказалась неточной. Женщины не проронили ни слова. Они подали мне пиво, когда я его заказал. Они на меня смотрели, но меня не видели. Все получилось гораздо сложнее, чем я думал.

Мария. Ты прекрасно знаешь, что ничего сложного не было и что тебе достаточно было заговорить. В таких случаях говорят: «Это я» – и все становится на свои места.

Ян. Да, конечно, но меня подвело воображение. В глубине души я все время надеялся, что они устроят пир по случаю возвращения блудного сына, а мне подали пиво за мои же деньги. Я был так потрясен, что ничего не мог сказать.

Мария. Хватило бы одного только слова.

Ян. Я его не нашел. Но все это пустяки, мне некуда торопиться. Я пришел сюда, чтобы поделиться с ними своим богатством, а если смогу, дать им счастье. Когда я узнал о смерти отца, я понял, что на мне – ответственность за этих женщин, а поняв это, я делаю то, что должен делать. Но оказалось, возвратиться в свой дом вовсе не просто, и требуется время, чтобы посторонний стал сыном.

Мария. Но почему ты не объявил им о своем возвращении? Бывают обстоятельства, когда мы обязаны поступать, как все люди. Если хочешь, чтобы тебя узнали, ты себя называешь, это же очевидно! А начнешь выдавать себя за кого-то другого – неизбежно все испортишь. Как они могут не считать тебя посторонним, если ты ведешь себя в доме как посторонний? Нет, нет, это все ненормально.

Ян. Ну, полно, Мария, ничего ужасного не произошло. К тому же это на руку моим планам. Я смогу увидеть их со стороны. И мне будет легче понять, как устроить их счастье. А позже я придумаю какой-нибудь способ, чтобы они узнали меня. Главное – найти нужное слово.

Мария. Есть один только способ: сделать так, как сделал бы каждый на твоем месте, – сказать: «Вот и я», а дальше пусть говорит твое сердце.

Ян. Сердце – тоже вещь не очень простая.

Мария. Но слова у него простые. И было совсем не трудно сказать: «Я ваш сын, вот моя жена. Я жил с ней в стране, которую мы любили, в краю моря и солнца. Но там я не был полностью счастлив и для полного счастья нуждаюсь сегодня в вас».

Ян. Это не так, Мария. Я в них не нуждаюсь, но я понял, что они, наверно, нуждаются во мне и что человек не должен жить в отрыве от своих корней.

Пауза. Мария отворачивается.

Мария. Должно быть, ты прав, прости меня. Но мне повсюду чудится угроза – с первого часа, как я ступила на землю этой страны, где я тщетно пытаюсь найти хотя бы одно счастливое лицо. Европа оказалась такой унылой! С той поры, как мы здесь, я уже не слышу твоего смеха, да и сама начинаю на все смотреть с подозрением. О, зачем ты заставил меня покинуть мой край? Ян, уедем отсюда, нам не видать здесь счастья.

Ян. Мы не за счастьем сюда явились. Счастье у нас есть.

Мария (*с горячностью).* Почему же нам не довольствоваться им?

Ян. Счастье – это не все, у каждого есть еще долг. Мой состоит в том, чтобы обрести свою мать, свою родину.

Мария делает движение к нему. Ян останавливает ее.

Слышатся шаги. Перед окном проходит старый слуга.

Ян. Сюда идут. Уходи, Мария, прошу тебя.

Мария. Но только не так. Так – невозможно.

Ян *(шаги тем временем приближаются).* Укройся вот здесь.

Подталкивает ее к задней двери.

Сцена четвертая

Задняя дверь открывается. Старик пересекает залу, не замечая Марии, и выходит в наружную дверь.

Ян. А теперь быстрей уходи. Видишь, фортуна на моей стороне.

Мария. Я хочу остаться. Я буду молча сидеть рядом и ждать, когда тебя узнают.

Ян. Нет, ты меня выдашь.

Она отворачивается, потом снова подходит к нему и смотрит в лицо.

Мария. Пять лет, как мы женаты, Ян.

Ян. Скоро пять лет.

Мария *(опустив голову).* В эту ночь мы впервые будем не вместе. *(Он молчит, она опять глядит на него.)* Я всегда в тебе все любила, даже то, чего я не понимала, и, если говорить честно, мне и не хотелось, чтобы ты был другим. Я не из тех жен, которые перечат мужьям. Но тут мне страшно, я боюсь одинокой постели, в которую ты выпроваживаешь меня, боюсь, когда ты меня покидаешь.

Ян. Ты не должна сомневаться в моей любви.

Мария. О, в ней я не сомневаюсь! Но, кроме твоей любви, у тебя еще есть твои мечты – или твой долг, что то же самое. Ты так часто от меня ускользаешь. Как будто тебе надо от меня отдохнуть. А я не хочу от тебя отдыхать, и нынешний вечер *(она с плачем бросается к нему),* нынешний вечер… я не вынесу его.

Ян *(прижимая ее к себе).* Это ребячество.

Мария. Конечно, ребячество. Но там мы с тобой были счастливы, и моя ли вина, если в этой стране вечера внушают мне страх. Не хочу, чтобы ты оставлял меня одну.

Ян. Я оставлю тебя ненадолго. Пойми, Мария, я должен сдержать слово.

Мария. Какое слово?

Ян. Которое я дал себе в тот день, когда понял, что мать нуждается во мне.

Мария. Ты должен сдержать и другое слово.

Ян. Какое?

Мария. Которое ты дал мне в тот день, когда обещал жить со мной вместе.

Ян. Я надеюсь, что смогу все это примирить. Ведь то, о чем я тебя прошу, – такая малость. Пойми, это не каприз. Дай мне один вечер и одну ночь, чтобы я попытался себе уяснить, на каком я свете, и лучше понял этих двух женщин, которых люблю, и узнал, как мне сделать их счастливыми.

Мария *(качая головой).* Разлука всегда удручает того, кто по-настоящему любит.

Ян. Дикарка! Ты прекрасно знаешь, что я тебя по-настоящему люблю.

Мария. Нет, мужчины никогда не знают, как нужно любить. Они ничем не бывают довольны. Единственное, что они умеют, это витать в облаках, придумывать себе все время новые обязанности и долги, стремиться на поиски новых стран и новых жилищ. Но мы, женщины, знаем, что в любви ничего нельзя откладывать на завтра, нужно делить с любимым ложе, крепко держаться за руки, остерегаться разлук. Когда любишь, ни о чем другом не мечтаешь.

Ян. Ну чего ты добиваешься? Речь идет лишь о том, чтобы я встретился с родной своей матерью, помог ей, сделал ее счастливой. А что до моих мечтаний или моих обязанностей, нужно принимать их такими, каковы они есть. Без них я ничего бы не стоил, и ты сама бы меня меньше любила, если б у меня их не было.

Мария *(резко поворачивается к нему спиной).* Я знаю, что твои доводы всегда один лучше другого и тебе ничего не стоит меня убедить. Но я тебя больше не слушаю, я затыкаю уши, когда ты начинаешь говорить этим голосом. Я хорошо его знаю. Это голос твоего одиночества, это не голос любви.

Ян *(встает позади нее).* Довольно об этом, Мария. Я хочу, чтобы ты меня оставила здесь одного. Мне нужно как следует во всем разобраться. В этом нет ничего страшного, не такое уж большое дело – переночевать под одной крышей с собственной матерью. Остальное решит Господь. Но Господу ведомо и то, что за всеми этими заботами я не забываю о тебе. Только не может человек быть счастлив в изгнании или в забвении. Нельзя всегда быть посторонним. Я хочу вновь обрести свою родину, дать счастье всем, кого я люблю. О дальнейшем я пока не задумываюсь.

Мария. Ты бы мог все это сделать, если бы заговорил с ними простым языком. А твой способ вряд ли хорош.

Ян. Он хорош, поскольку благодаря ему я узнаю, обманули меня мои мечты или нет.

Мария. Я от души желаю, чтобы они тебя не обманули и чтобы ты оказался прав. А у меня одна только мечта – о стране, где мы с тобой были счастливы, и один только долг – ты.

Ян *(прижимая ее к себе).* Позволь мне пойти. Я найду в конечном счете слова, которые все уладят.

Мария *(оттаивая).* О, продолжай же и дальше мечтать. Ничто мне не страшно, если со мною твоя любовь! Обычно я не могу быть несчастлива, когда я с тобой. Я набираюсь терпения, жду, когда ты устанешь витать в облаках, – тогда начинается мое время. А сегодня я несчастлива лишь потому, что я уверена в твоей любви, а ты меня гонишь. Вот почему любовь мужчин надрывает нам сердце. Они не в силах совладать с искушением отказаться от того, что им дорого.

Ян *(берет ее лицо в ладони и улыбается).* Это правда, Мария. Но посмотри на меня, мне не грозит никакая опасность. Я действую по своей воле и с чистым сердцем. Ты на одну ночь вверяешь меня моей матери и сестре, это вовсе не так страшно.

Мария *(отрываясь от него).* Что ж, прощай, и да хранит тебя моя любовь. *(Идет к двери и показывает ему свои пустые руки.)* Гляди, у меня ничего больше нет. Ты отправляешься на разведку и оставляешь меня в мучительном ожидании.

Она стоит в нерешительности. Потом уходит.

Сцена пятая

Ян садится. Входит старый слуга, оставляя дверь открытой, чтобы пропустить Марту, и выходит.

Ян. Добрый день. Я пришел по поводу комнаты.

Марта. Я знаю. Ее для вас готовят. Я должна записать вас в реестр.

Она идет за регистрационной книгой и возвращается.

Ян. У вас очень странный слуга.

Марта. К нам до сих пор никто еще не обращался с жалобой на него. Он всегда аккуратно выполняет все то, что ему положено выполнять.

Ян. О, это не жалоба. Просто он не похож на других, ничего больше. Он что, немой?

Марта. Нет, здесь другое.

Ян. Значит, он все же говорит?

Марта. Очень мало и только самое главное.

Ян. Во всяком случае, он как будто не слышит, что ему говорят.

Марта. Нельзя сказать, что совсем не слышит. Слышит, но плохо. Однако мне нужно записать вашу фамилию и имя.

Ян. Гашек, Карл.

Марта. Карл – и все?

Ян. И все.

Марта. Дата и место рождения?

Ян. Мне тридцать восемь лет.

Марта. Где вы родились?

Ян. В Богемии.

Марта. Ваша профессия?

Ян. У меня нет профессии.

Марта. Нужно быть или очень богатым, или очень бедным, чтобы жить, не имея в руках ремесла.

Ян *(улыбается).* Не могу сказать, что я очень беден, но в силу ряда причин меня это радует.

Марта *(другим тоном).* Вы, разумеется, чех?

Ян. Разумеется.

Марта. Ваше постоянное место жительства?

Ян. Богемия.

Марта. Вы и приехали оттуда?

Ян. Нет, я приехал из Африки. *(Она как будто не понимает.)* С другой стороны моря.

Марта. Я знаю. *(Пауза.)* Вы туда ездите часто?

Ян. Довольно часто.

Марта *(несколько мгновений грезит наяву, потом спохватывается).* Куда вы направляетесь?

Ян. Не знаю. Это будет зависеть от целого ряда вещей.

Марта. Вы намереваетесь здесь остаться?

Ян. Не знаю. Смотря по тому, что я здесь найду.

Марта. Впрочем, это не имеет значения. Но никто вас не ждет?

Ян. Нет, в принципе никто.

Марта. Полагаю, у вас есть какой-нибудь документ?

Ян. Да, могу вам его предъявить.

Марта. Спасибо, не беспокойтесь. Мне достаточно указать, паспорт это или удостоверение личности.

Ян *(колеблется).* Паспорт. Вот он. Хотите взглянуть?

Она берет паспорт и собирается его прочесть, но в раме дверей возникает старый слуга.

Марта. Нет, я тебя не звала. (*Старик выходит. Марта рассеянно возвращает Яну паспорт, так и не прочитав его.)* Когда вы туда приезжаете, вы живете у моря?

Ян. Да.

Она встает и как будто собирается закрыть тетрадь; потом, спохватившись, оставляет ее открытой.

Марта *(неожиданно строго).* Да, забыла! У вас есть семья?

Ян. Была. Но я давно покинул ее.

Марта. Нет, я хочу спросить – вы женаты?

Ян. Почему вы об этом спрашиваете? Ни в одной гостинице мне не задавали такого вопроса.

Марта. Он значится в вопроснике, который раздает нам администрация нашего кантона.

Ян. Очень странно. Да, я женат. Вы должны были, впрочем, заметить мое обручальное кольцо.

Марта. Я его не заметила. Можете ли вы дать мне адрес вашей жены?

Ян. Она осталась на родине.

Марта. Что ж, прекрасно. *(Закрывает реестр.)* Может быть, я предложу вам что-нибудь выпить, пока вам готовят комнату?

Ян. Нет, я лучше просто здесь подожду. Надеюсь, я вас не стесню.

Марта. Как вы можете меня стеснить? Эта зала для того и существует, чтобы принимать в ней клиентов.

Ян. Да, но когда клиент всего лишь один, он стесняет порою больше, чем толпа посетителей.

Марта *(приводя залу в порядок).* Отчего ж? Я думаю, вы не собираетесь морочить мне голову всякими глупостями. Я ничего не могу предложить тем, кто приходит сюда позубоскалить. Это давно уже поняли в нашей округе. И вы скоро увидите, что остановились в спокойной гостинице. Сюда мало кто заходит.

Ян. Вряд ли это способствует успеху в ваших делах.

Марта. Какую-то долю выручки мы на этом теряем, но зато обретаем покой. А покой никакими деньгами не купишь. К тому же один хороший клиент куда лучше шумной компании. Хороший клиент – вот что, в сущности, нам нужно.

Ян. Но… *(колеблется)* но, должно быть, жизнь здесь у вас у обеих не слишком веселая. Вы не чувствуете себя одинокими?

Марта *(резко поворачивается к нему лицом).* Послушайте, я вижу, пора вас предостеречь. Так вот, войдя сюда, вы пользуетесь только правами клиента. Пользуетесь ими в полной мере. Вы будете хорошо обслужены, и, могу вас заверить, вам не придется жаловаться на наш прием. Но вам не следует беспокоиться по поводу нашего одиночества, равно как не стоит заботиться о том, чтобы нас не стеснить или чтобы ваше появление в зале не застало нас врасплох. Вам предоставлено место клиента, располагайтесь в нем как можно удобнее, оно ваше по праву. Но не выходите за эти рамки.

Ян. Прошу меня простить. Я хотел выразить вам свою симпатию, в мои намерения не входило вас сердить. Просто мне показалось, что мы с вами не совсем посторонние друг другу люди.

Марта. Вижу, мне снова придется повторить вам, что речь вообще не о том, сержусь я или не сержусь. Мне кажется, вы упорно стремитесь продолжать разговор в тоне, который явно вам не подходит, что я и пытаюсь вам показать. И делаю это, поверьте, без всякого раздражения. Ведь нам обоим будет только на пользу, если ни вы, ни я не станем допускать фамильярности. Если же вы по-прежнему намерены говорить языком, не подобающим клиенту, все решится довольно просто: мы откажемся вас принять. Но если вы, на что я надеюсь, поймете, что две женщины, которые сдали вам комнату, ничуть не обязаны при этом допускать более близкие отношения с вами, тогда все будет в полном порядке.

Ян. Ничуть в этом не сомневаюсь. С моей стороны было непростительно дерзко дать вам повод подумать, что я заблуждаюсь на сей счет.

Марта. Невелика беда. Не вы первый пытаетесь перейти на такой тон. Но я всегда выражаюсь достаточно ясно, чтобы с самого начала исключить возможность ошибки.

Ян. Вы в самом деле выражаетесь ясно, и я признаю, что мне нечего больше сказать… пока что.

Марта. Почему нечего? Вам ничто не мешает перейти на язык наших клиентов.

Ян. Что же это за язык?

Марта. Большинство из них беседовали с нами о своих путешествиях, о политике – словом, обо всем, но только не обо мне и не о моей матери. Именно об этом мы вас и просим. Бывало даже, некоторые нам рассказывали про свою собственную жизнь, про то, кто они такие. Все это в порядке вещей. В круг обязанностей, за которые мы получаем деньги, входит в конечном счете и обязанность выслушивать клиента. Но плата за пансион не может, разумеется, включать в себя обязанность хозяев гостиницы отвечать на вопросы клиентов. Моя мать иногда отвечает – по причине своего полного безразличия, но я отказываюсь – из принципа. Если вы это хорошо себе уясните, мы не только придем к согласию, но вы скоро обнаружите, что еще о многом можете нам рассказать и что человек получает порой удовольствие оттого, что его кто-то слушает, когда он начинает говорить о себе.

Ян. К сожалению, я не умею интересно рассказывать о себе. Да это, впрочем, и ни к чему. Если я остановлюсь у вас на короткое время, зачем вам знать обо мне? А если останусь надолго, у вас и без моих рассказов будет возможность понять, кто я такой.

Марта. Надеюсь только, что вы не станете таить на меня обиду за то, что я вам сейчас сказала. Я всегда считала полезным показывать вещи такими, каковы они есть, и не могла позволить вам продолжать разговор в манере, которая в конце концов испортила бы наши отношения. Мои слова продиктованы здравым смыслом. Поскольку до этого дня у нас не было ничего общего с вами, нет никаких оснований и для того, чтобы между нами сразу возникла душевная близость.

Ян. Я уже все вам простил. В самом деле, я и сам знаю, что близость не возникает внезапно.

Входит мать.

Сцена шестая

Мать. Здравствуйте, сударь. Комната для вас готова.

Ян. Весьма вам благодарен, сударыня.

Мать садится.

Мать *(Марте).* Ты заполнила регистрационный лист?

Марта. Да.

Мать. Можно взглянуть? Прошу извинить меня, сударь, полиция на сей счет очень придирчива. Да вот, пожалуйста, моя дочь не указала причину вашего прибытия – состояние здоровья, деловая цель или туристическая поездка.

Ян. Скорее всего речь здесь может идти о туризме.

Мать. Вероятно, из-за монастыря? О нашем монастыре говорят много хорошего.

Ян. Да, я об этом действительно слышал. Но мне захотелось еще раз увидеть край, который я некогда знал и о котором у меня сохранились самые теплые воспоминания.

Марта. Вы тут жили?

Ян. Нет, но когда-то, очень давно, я случайно оказался здесь проездом. И не забыл об этом.

Мать. Но у нас ведь просто крохотная деревенька.

Ян. Конечно. Но мне она очень нравится. С первых минут я чувствую себя так, будто оказался в родном доме.

Мать. Вы собираетесь остаться надолго?

Ян. Не знаю. Это может, наверно, показаться странным. Но я в самом деле не знаю. Чтобы где-то остаться, нужны серьезные поводы, нужно, чтобы отыскались друзья, чтобы какие-то люди питали к вам нежные чувства. Без этого нет никаких причин оставаться именно здесь, а не в любом другом месте. И поскольку трудно заранее знать, как тебя примут, вполне естественно, что мне и самому неизвестно, как я поступлю.

Марта. Все это не слишком понятно.

Ян. Да, но я не умею объяснить вам понятнее.

Мать. Помилуйте, да вам здесь все быстро наскучит.

Ян. Нет, у меня верное сердце, и я быстро могу все вспомнить – если представится случай.

Марта *(с раздражением).* Сердце тут ни при чем.

Ян *(как будто не слышит; обращаясь к матери).* У вас очень утомленный вид. Стало быть, вы давно поселились в этой гостинице?

Мать. С той поры прошли годы и годы. Столько лет утекло, что я уж больше не знаю, когда это все началось, и даже забыла, какой тогда я была. А это моя дочь.

Марта. Мать, вам незачем толковать об этих вещах.

Мать. Ты права, Марта.

Ян *(очень живо).* Почему же? Я очень хорошо понимаю ваши чувства, сударыня. Чувства, к которым человек приходит в конце долгой жизни, наполненной непрерывным трудом. Но может быть, все бы переменилось, будь вам оказана поддержка, какую надлежит оказывать всякой женщине, поддержка сильной мужской руки.

Мать. Ах, когда-то она поддерживала меня, но работы было все равно слишком много. Мы с мужем едва с ней справлялись. У нас даже не было времени друг о друге подумать, и мне кажется, я забыла о нем еще до того, как он умер.

Ян. Да, мне понятно все это. Но… *(на мгновение он в нерешительности замолкает)*… но если бы руку помощи протянул вам сын… уж его-то, наверно, вы не забыли?

Марта. Мать, нам еще многое надо сделать.

Мать. Сын! Ах, я очень старая женщина! Старые женщины разучаются любить даже сына! Сердце, сударь, дряхлеет.

Ян. Это правда. Но я знаю, что сын никогда не может забыть.

Марта *(встает между ними; решительно).* Сын, который вошел бы сюда, был бы здесь встречен точно так же, как и всякий другой клиент: с доброжелательным равнодушием. Все, кого мы у себя принимали, с этим свыкались. Они оплачивали стоимость комнаты и получали ключ от нее. О своем сердце они не рассуждали. *(Пауза.)* Это облегчало нам нашу работу.

Мать. Довольно об этом.

Ян *(размышляя).* И надолго они у вас оставались?

Марта. Некоторые очень надолго. Мы делали все необходимое, чтобы они остались. Другие же, те, что были не слишком богаты, съезжали на следующий день. Для них мы не делали ничего.

Ян. У меня много денег, и я желаю задержаться в этой гостинице на какое-то время, если вы готовы меня принять. Забыл вам сказать, что мог бы оплатить все заранее.

Мать. О, нам нужно другое!

Марта. Если вы богаты, это хорошо. Только не говорите больше о своем сердце. Ему мы ничем не можем помочь. Еще немного, и я попросила бы вас уйти, настолько утомил меня ваш тон. Возьмите свой ключ, удостоверьтесь, что комната устраивает вас. Но знайте, что вы находитесь в доме, который не обладает никакими средствами для помощи сердцу. Слишком много томительных лет пролетело над этой захолустной деревней и над нами. Они постепенно выстудили этот дом. Они отняли у нас охоту к сочувствию. Еще раз говорю вам, вы не найдете здесь ничего, что походило бы на задушевность. Вы найдете здесь только то, что мы всегда припасаем для своих постояльцев, а то, что мы припасаем для них, не имеет ничего общего с

порывами сердца. Берите ваш ключ *(протягивает ему ключ)* и не забывайте: мы принимаем вас лишь ради выгоды, спокойно и тихо. И если мы оставим вас у себя надолго, это будет тоже сделано ради выгоды – и тоже спокойно и тихо.

Он берет ключ, она выходит, он смотрит ей вслед.

Мать. Не обращайте внимания, сударь. И впрямь есть сюжеты, которые всегда были ей ненавистны. *(Она встает, и он хочет ей помочь.)* Не надо, мой сын, я не калека. Взгляните на эти руки, они еще сильные. Они могли бы поддерживать ноги мужчины. *(Пауза. Он смотрит на ключ.)* Это из-за моих слов вы задумались?

Ян. Нет, простите меня. Я их даже почти не слышал. Но почему вы назвали меня «мой сын»?

Мать. О, я весьма смущена. Поверьте, это не было фамильярностью с моей стороны. Я просто неудачно выразилась.

Ян. Понимаю. *(Пауза.)* Могу ли я подняться в свою комнату?

Мать. Ступайте, сударь. Наш старый слуга ждет вас в коридоре. *(Он смотрит на нее. Он хочет все ей сказать.)* Вам что-нибудь нужно?

Ян *(в нерешительности).* Нет, сударыня. Но… я благодарен вам за радушный прием.

Сцена седьмая

Мать одна.

Она снова садится, кладет руки на стол и смотрит на них.

Мать. Зачем было говорить ему про свои руки? А ведь если бы он на них посмотрел, он, возможно бы, понял, о чем ему толковала Марта. Он бы понял, он бы ушел. Но он не понимает. Он хочет умереть. А я бы одного лишь хотела: чтобы он ушел, и тогда я могла бы еще вечером лечь и уснуть. Слишком стара! Я слишком стара, чтобы снова сцеплять свои руки у него на лодыжках и не давать его телу раскачиваться, пока мы будем нести его по этой долгой дороге, ведущей к реке. Я слишком стара для последнего усилия, которое потребуется от меня, чтобы бросить его в воду, после чего я буду стоять с повисшими, как плети, руками и, ловя ртом воздух, стоять со сведенными мышцами, не имея даже сил вытереть с лица воду, когда она плеснет на берег под тяжестью спящего человека. Я слишком стара! Да полно мне, полно! Жертва просто отборная! Ей-то я и отдам свой собственный сон, ночной сон, о котором я так мечтала. И это…

Входит порывисто Марта.

Сцена восьмая

Марта. О чем вы опять размечтались? Вы забыли, что нам еще надо многое сделать?

Мать. Я думала об этом человеке. А вернее сказать, о себе.

Марта. Лучше бы подумали о завтрашнем дне. Будьте благоразумны.

Мать. Узнаю словечко твоего отца, Марта. Но мне хотелось бы верить, что сегодня в последний раз нам нужно заботиться о благоразумии. Как странно! Твой отец говорил мне про благоразумие, чтобы развеять свой страх перед жандармом, а ты употребляешь его словечко, чтобы развеять желание быть честной, которое вдруг неожиданно нашло на меня.

Марта. То, что вы называете желанием быть честной, не что иное, как просто желание спать. Отложите усталость на завтра, а там расслабляйтесь себе на здоровье.

Мать. Я знаю, что ты права. Но все же признайся, что этот путешественник не похож на других.

Марта. Да, он слишком рассеян, слишком подчеркивает свое простодушие. Во что превратится мир, если приговоренные к смерти начнут поверять палачам свои сердечные горести? В этом есть что-то порочное. Кроме того, меня раздражает его болтливость. Я хочу положить этому конец.

Мать. Вот тут-то как раз и есть что-то порочное. Раньше мы не вкладывали в нашу работу ни гнева, ни сострадания; мы действовали с полным равнодушием. Сегодня я устала, а ты раздражена. И если обстоятельства складываются неблагоприятно, нужно ли так упорствовать и лезть на рожон ради того, чтобы добыть еще немного денег?

Марта. Нет, не ради денег, а ради того, чтобы навсегда забыть эту страну, и ради дома у моря. Если вы просто устали от своей жизни, то лично мне до смерти надоел этот угрюмый горизонт, я чувствую, что не смогу здесь прожить и месяцем дольше. Мы обе сыты по горло этой гостиницей. Но вам, женщине старой, хотелось бы только закрыть глаза и обо всем забыть. А у меня в сердце еще живы желания моих двадцати лет, я хочу сделать так, чтобы можно было навсегда отсюда уйти, даже если для этого надо еще глубже погрязнуть в той самой жизни, которую мы хотим забыть и отринуть. И вы должны мне в этом помочь, ибо вы моя мать, вы произвели меня на свет в стране серых туч, а не на залитой солнцем земле!

Мать. Не знаю, Марта, быть может, для меня было бы даже лучше оказаться забытой, как забыл меня твой брат, чем слушать разговоры в таком тоне.

Марта. Вы прекрасно знаете, что я не хотела вас огорчить. *(После паузы, с горячностью.)* Что я делала бы, если б вас не было рядом, чем бы я стала вдали от вас? Уж я-то, во всяком случае, вас не могла бы забыть, и если под бременем этой жизни я не оказываю вам порой должного уважения, прошу вас, простите меня.

Мать. Ты хорошая дочь, и я вполне могу себе представить, что старую женщину бывает трудно понять. Но, пользуясь случаем, я хочу наконец сказать тебе, что я вот уже час безуспешно пытаюсь тебе сказать: только не в этот вечер…

Марта. Как! Ждать до завтра? Вам отлично известно, что мы никогда так не делали, что нельзя оставлять ему время повидаться с людьми и что нужно действовать незамедлительно, пока он тут, под рукой.

Мать. Не знаю, не знаю. Но только не в этот вечер. Дадим ему эту ночь. Предоставим ему отсрочку. Быть может, благодаря ему мы спасемся.

Марта. Мы как раз все и делаем ради этого, чтобы спастись. Ваши речи просто смешны. Вам можно надеяться лишь на одно: потрудившись как следует в сегодняшний вечер, получить потом право спокойно уснуть.

Мать. Когда я говорила «спастись», я именно это имела в виду: уснуть.

Марта. Тогда, клянусь вам, спасение в наших руках. Мать, нам нужно решиться. Это будет нынешним вечером – или не будет уже никогда.

Занавес

Действие второе

Сцена первая

Гостиничный номер. В комнату начинают вползать сумерки.
Ян смотрит в окно.

Ян. Мария права, это тяжелый час. *(Пауза.)* Что она сейчас делает, о чем думает у себя в номере, со стесненным сердцем, с сухими глазами, съежившись в кресле? Там, у нас, вечера – это всегда обещание счастья. А здесь все наоборот… *(Оглядывает комнату.)* Ну, ну, не надо, моя тревога беспочвенна. Человек должен знать, чего хочет. В этой комнате будет все решено.

Внезапный стук в дверь. Входит Марта.

Марта. Сударь, надеюсь, я не потревожила вас. Я хотела сменить вам полотенца и воду.
Ян. Я полагал, что все уже сделано.
Марта. Нет, наш старый слуга иногда довольно забывчив.
Ян. Не имеет значения. Но я теперь уже боюсь вам сказать, что вы ничуть меня не потревожили.
Марта. Почему?
Ян. Я не уверен, что это будет соответствовать нашему уговору.
Марта. Теперь вы сами видите, что не можете ответить, как все люди.
Ян *(улыбаясь).* Я непременно привыкну. Дайте мне какое-то время.
Марта *(работая).* Вы скоро уйдете отсюда. У вас не будет времени уже ни на что. *(Он отворачивается и смотрит в окно. Она внимательно глядит на него. Он по-прежнему стоит к ней спиной. Она говорит, продолжая работать.)* Я сожалею, сударь, что эта комната не обладает удобствами, на которые вы, должно быть, рассчитывали.
Ян. Она чистая, это самое главное. Впрочем, вы недавно ее переделали, правда?
Марта. Да. Как вы это заметили?
Ян. По некоторым мелочам.
Марта. Во всяком случае, многие постояльцы жаловались на отсутствие водопровода, и, честно говоря, их нельзя за это винить. Мы давно собирались повесить и лампочку над кроватью. Тем, кто читает в постели, не слишком приятно вставать, когда надо выключить свет.
Ян *(поворачиваясь к ней).* Да, в самом деле, а я и не заметил. Но это не столь уж большая беда.
Марта. Вы очень неприхотливы. Я рада, что недостатки нашей гостиницы, а их здесь довольно много, вас не трогают. Я знаю немало людей, для кого все эти неудобства послужили поводом отсюда сбежать.
Ян. Позвольте мне вам сказать, несмотря на наш уговор, что вы поступаете довольно странно. Мне, право же, кажется, что в амплуа владельцев гостиницы не входит реклама изъянов собственного заведения. Можно подумать, будто вы стараетесь убедить меня отсюда уйти.
Марта. Это не входит в мои намерения. *(Приняв решение.)* Но моя мать и я, мы в самом деле долго колебались, принимать ли вас.
Ян. Во всяком случае, я мог заметить, что вы не прилагали слишком больших усилий, чтобы меня удержать. Но мне непонятно почему. В моей платежеспособности вы можете не сомневаться, и, как мне кажется, я не произвожу впечатление человека, чья совесть отягощена злодеяниями.

Марта. Нет, дело не в этом. На злоумышленника вы не похожи. Здесь причина в другом. Нам нужно покинуть эту гостиницу, и с недавнего времени мы чуть ли не каждый день собираемся закрыть наконец наше заведение и начать готовиться к отъезду. Это довольно легко: клиенты у нас появляются редко. Но только с вашим приходом мы окончательно поняли, как чужда нам теперь мысль заниматься прежним своим ремеслом.

Ян. Значит, вы бы хотели, чтоб я ушел?

Марта. Я вам уже сказала, мы обе колеблемся, и колеблюсь главным образом я. Все, в сущности, зависит от меня, а я так и не знаю, на что мне решиться.

Ян. Я не хочу быть вам в тягость; прошу вас, не забывайте об этом; я поступлю так, как вы захотите. Должен, однако, сказать, что меня бы устроило остаться еще на один-два дня. У меня есть дела, которые, прежде чем снова отправиться в путь, мне надо уладить, и я надеюсь найти у вас мир и покой, в которых я так нуждаюсь.

Марта. Поверьте, ваше желание мне понятно, и, если вы хотите, я еще немного подумаю. *(Пауза. Делает неуверенный шаг к двери.)* Значит, вы снова вернетесь в страну, из которой вы к нам приехали?

Ян. Очень возможно.

Марта. И это прекрасная страна, ведь правда?

Ян *(смотрит в окно).* Да, это прекрасная страна.

Марта. Говорят, в тех краях есть совсем пустынные пляжи?

Ян. Да, это верно. Ничто не напоминает там о присутствии человека. Ранним утром можно увидеть на песке следы, оставленные лапами морских птиц. Это единственные признаки жизни. А вечера там…

Он умолкает.

Марта *(мягко).* А вечера там, сударь?

Ян. Они переворачивают вам душу. Да, это прекрасная страна.

Марта *(с новой интонацией).* Я про нее часто думала. Мне говорили о ней путешественники, и, что могла, я про нее прочитала. Часто, вот так, как сегодня, в самый разгар здешней унылой весны, я думаю о тамошнем море и о цветах. *(Пауза, потом глухо.)* И эти картины делают меня слепой ко всему, что меня здесь окружает.

Он внимательно на нее смотрит, тихо садится перед ней.

Ян. Мне это понятно. Весна там хватает тебя за сердце, тысячи цветов распускаются над белыми стенами. Стоит хотя бы час погулять по холмам, окружающим город, и в складках своей одежды ты приносишь медвяные запахи желтых роз.

Она тоже садится.

Марта. Удивительно! А то, что мы здесь называем весной, это всего одна роза да две почки, которые проклюнулись в монастырском саду. *(Презрительно.)* Чего, однако, вполне достаточно, чтобы местные жители пришли в сильное возбуждение. Но их сердце похоже на эту чахлую розу. Под дуновением более сильным они увядают. Они имеют весну, которую заслужили.

Ян. Вы не совсем справедливы. Ибо у вас бывает еще и осень.

Марта. При чем тут осень?

Ян. Вторая весна, когда все листья словно превращаются в цветы. *(В упор глядит на нее.)* Быть может, то же произойдет и с людьми, и вы увидите, как они расцветают. Вам только нужно помочь им своим терпением.

Марта. У меня уже истощились все запасы терпения в этой Европе, где осень напяливает на себя маску весны, а от весны отдает нищетой. Но я с радостью думаю про ту, про другую страну, где лето испепеляет все живое, где зимним дождем затопляются города и где, наконец, вещи представляют собой то, что они в самом деле собой представляют.

Пауза. Он глядит на нее с возрастающим интересом.

Она замечает это и резко встает.

Марта. Почему вы так смотрите на меня?

Ян. Прошу меня простить, но поскольку мы сейчас оставили в стороне параграфы нашего уговора, я могу вам вот что сказать: мне кажется, вы впервые заговорили со мной человеческим языком.

Марта *(с необузданной силой).* Вы наверняка ошибаетесь. Но даже если то, что вы сказали, было бы верно, у вас нет никаких причин этому радоваться. То человеческое, что во мне еще есть, – оно далеко не самое лучшее. То человеческое, что во мне еще есть, – это то, чего я хочу, а чтобы добиться того, чего я хочу, я все на своем пути уничтожу.

Ян *(улыбаясь).* Вашу неистовость можно понять. Мне нечего ее бояться, поскольку я на вашем пути не препятствие. Ничто не побуждает меня противиться вашим желаниям.

Марта. У вас нет никаких оснований противиться им, это верно. Но точно так же у вас нет оснований идти им навстречу, а это в некоторых случаях ускоряет ход событий.

Ян. Но кто вам сказал, что у меня нет оснований идти им навстречу?

Марта. Мой здравый смысл и мое намерение держать вас в стороне от моих замыслов.

Ян. Если я правильно понял, вот мы и вернулись к тем же параграфам нашего уговора.

Марта. Да, и мы неправильно поступили, когда от них отошли, теперь вы сами в этом убедились. И все же я вам благодарна, что вы рассказали мне о краях, где вы побывали, и я прошу меня извинить, что я отняла у вас время. *(Она уже у двери.)*

Должна вам, однако, сказать, что лично для меня это время не прошло даром. Оно пробудило во мне желания, которые, быть может, дремали. Если вам действительно нужно здесь задержаться, вы, сами о том не подозревая, выиграли свое дело. Я уже почти решила просить вас уйти, но видите, вы обратились к моим человеческим чувствам, и теперь мне желательно, чтобы вы остались. Мое пристрастие к морю и к солнечным берегам в конечном счете взяло верх.

Он молча смотрит на нее.

Ян *(медленно).* Вы изъясняетесь очень странно. Но я останусь у вас, если вы мне разрешите и если ваша матушка тоже не станет против этого возражать.

Марта. Моя матушка не может обладать желаниями столь же властными, как мои, это естественно. Поэтому у нее нет тех оснований, которые есть у меня, чтобы желать вашего присутствия здесь. Ее тяга к морю и к диким пляжам не так уж сильна, чтобы она согласилась вас здесь оставить. Это основание имеет цену лишь для меня. Но в то же время у нее нет сколько-нибудь серьезных причин мне противиться, и этого достаточно, чтобы вопрос был улажен.

Ян. Насколько я понимаю, одна из вас готова принять меня из корысти, а другая – из равнодушия?

Марта. Может ли путешественник требовать большего?

Она открывает дверь.

Ян. Значит, мне нужно всему этому радоваться. Но вы, я надеюсь, понимаете, что здесь мне все кажется необычным – и язык, и люди. Этот дом в самом деле какой-то странный.

Марта. Может быть, это происходит потому, что вы сами ведете себя в нем странно.

Она уходит.

Сцена вторая

Ян *(глядя на дверь).* Может быть, в самом деле… *(Подходит к кровати и садится на нее.)* Но при виде этой девушки мне одного только хочется – уйти, обрести поскорее Марию и снова почувствовать себя счастливым. Все получается как-то глупо. Что я вообще тут делаю? Но нет, на мне лежит ответственность за мать и сестру. Я их слишком надолго забыл. *(Встает.)* Да, в этой комнате все решится.

Но как в ней холодно! Я уже ничего тут не узнаю, все переделано заново. Она похожа теперь на все гостиничные номера в чужих городах, куда каждую ночь приходят одинокие мужчины. Я тоже изведал такое. Мне казалось тогда, что я непременно должен найти там ответ на свои вопросы. Возможно, я получу его здесь. *(Смотрит в окно.)* Небо хмурится. И опять она тут как тут, моя давняя тоска, она сидит у меня где-то здесь, в глубине тела, как незажившая рана, и ноет при каждом моем движении. Я знаю ее имя. Это – боязнь вечного одиночества, страх, что ответа нет и не будет. Да и кто тебе может ответить в гостиничном номере?

Он подходит к звонку. Колеблется, потом звонит. Никакого ответа. Несколько секунд тишина, потом шаги. Один удар в дверь. Дверь распахивается. В ней возникает старый слуга. Он застыл неподвижно и молчит.

Ян. Нет-нет, ничего. Извините меня. Я только хотел узнать, отзовется ли кто-нибудь, работает ли звонок.

Старик глядит на него, потом затворяет дверь. Шаги удаляются.

Сцена третья

Ян. Звонок работает, но старик молчит. Это не ответ. *(Глядит на небо.)* Что же мне делать?

Два удара в дверь. Входит Марта с подносом в руках.

Сцена четвертая

Ян. Что это у вас?

Марта. Чай, который вы просили.

Ян. Я ничего не просил.

Марта. Да? Старик не расслышал. Он часто понимает лишь наполовину. *(Ставит поднос на стол. Ян делает неопределенный жест.)* Должна ли я унести его обратно?

Ян. Нет-нет, напротив, я вам благодарен.

Она глядит на него и уходит.

Сцена пятая

Он берет чашку, смотрит на нее, ставит обратно на поднос.

Ян. Стакан пива, но за мои деньги; чашка чаю, но по ошибке. *(Берет чашку и молча держит ее в руке. Потом говорит глухим голосом.)* О мой Боже! Помогите мне найти нужные слова или сделайте, Господи, так, чтобы я отказался от этой напрасной затеи и снова обрел любовь Марии. И дайте мне тогда силу выбрать то, что я предпочту, и силу до конца держаться этого выбора. *(Смеется.)* Что ж, воздадим должное пиршеству в честь возвращения блудного сына!

Пьет. Сильный стук в дверь.

Ян. Ну что там еще?

Дверь отворяется. Входит мать.

Сцена шестая

Мать. Простите, сударь, дочь мне сказала, что она подала вам чай.

Ян. Как видите.

Мать. Вы его выпили?

Ян. Да, но почему вы спрашиваете?

Мать. Извините меня, я хочу убрать поднос.

Ян *(улыбается).* Жаль, что мне пришлось вас побеспокоить.

Мать. Какое уж тут беспокойство. На самом-то деле этот чай предназначался не вам.

Ян. Ах вот, значит, как! Ваша дочь принесла мне его, хотя я ничего не заказывал.

Мать (*с некоторой долей усталости).* Да, именно так. Было бы, наверно, лучше…

Ян *(удивленно).* Поверьте, я весьма сожалею, но ваша дочь, несмотря ни на что, захотела мне его оставить, и я не подумал…

Мать. Я тоже об этом сожалею. Но вам не за что извиняться. Речь идет всего лишь о маленькой ошибке.

Она забирает поднос и собирается выйти.

Ян. Сударыня!

Мать. Слушаю вас.

Ян. Я только что принял решение: вечером, сразу после ужина, я уйду. За комнату я, разумеется, уплачу. *(Она молча смотрит на него.)* Понимаю, вас это должно удивить. И главное, не считайте себя ни в чем виноватой. Я испытываю к вам только симпатию, даже большую симпатию. Но если говорить откровенно, тут мне как-то не по себе, я предпочел бы больше у вас не задерживаться.

Мать *(медленно).* Это пустяки, сударь. В принципе вы совершенно свободны. Но после ужина ваши намерения могут перемениться. Мы повинуемся порой первому впечатлению, а потом все само собою улаживается, и в конце концов мы привыкаем…

Ян. Вряд ли, сударыня. Но мне бы, однако, не хотелось, чтобы вы думали, будто я ухожу недовольным. Напротив, я вам очень признателен за то, как вы меня приняли. *(Колеблется.)* Мне показалось, что я чувствую ваше доброе ко мне отношение.

Мать. Это вполне естественно, сударь. У меня не было никаких причин выказывать вам враждебность.

Ян *(стараясь сдержать свои чувства).* В самом деле, так оно, наверно, и есть. Но я вам об этом говорю только лишь потому, что хочу с вами расстаться по-доброму. Быть может, через какое-то время я снова сюда вернусь. Я даже в этом уверен. Но у меня сейчас такое ощущение, что я ошибся и что мне здесь нечего делать. Если быть до конца откровенным, я охвачен сейчас мучительным чувством, что это не мой дом.

Она по-прежнему глядит на него.

Мать. Да, разумеется. Но обычно такие вещи мы чувствуем с первого взгляда.

Ян. Вы правы. Но, видите ли, я немного рассеян. И потом, ведь не так это просто – вернуться в страну, которую ты давно покинул. Надеюсь, вы понимаете это.

Мать. Я понимаю вас, сударь, и очень хотела бы, чтобы у вас все уладилось. Но тут мы, пожалуй, бессильны что-либо сделать.

Ян. О, несомненно, и я вас ни в чем не упрекаю. Просто вы оказались первыми, с кем я встретился в этих краях сразу после своего возвращения, и совершенно естественно, что именно у вас в доме я ощутил все те трудности, которые меня тут ожидают. Дело, разумеется, только во мне, я еще не освоился с обстановкой.

Мать. Когда в делах что-то начинает не ладиться, с этим невозможно бороться. Мне тоже в каком-то смысле досадно, что вы решили от нас уйти. Но я утешаюсь тем, что не следует придавать этому слишком большого значения.

Ян. Для меня ценно уже то, что вы разделяете со мною мою досаду и делаете усилие, чтобы меня понять. Не знаю, смогу ли я выразить вам, до какой степени меня обрадовали и тронули ваши слова. *(Делает движение к ней.)* Видите ли…

Мать. Наша профессиональная обязанность – быть любезными со всеми клиентами.

Ян *(упавшим голосом).* Вы правы. *(Пауза.)* Короче говоря, мне остается лишь принести вам свои извинения, а также, если вы сочтете это уместным, возместить понесенные вами убытки. *(Проводит рукою по лбу. Он выглядит более утомленным. И говорит с некоторым трудом.)* Вам, должно быть, пришлось сделать какие-то приготовления, произвести дополнительные траты, и будет совершенно справедливо, если…

Мать. Мы, разумеется, не станем требовать от вас никакого возмещения. Выражая сожаление по поводу вашей нерешительности, я имела в виду не наши интересы, а ваши.

Ян *(опираясь о стол).* Ах, все это пустяки. Главное – что мы с вами пришли к доброму согласию и что вы не станете поминать меня лихом. Я не забуду вашего дома, можете мне поверить, и надеюсь, что в тот день, когда я приду сюда снова, я предстану перед вами в более ровном расположении духа.

Ни слова не говоря, мать идет к двери.

Сударыня!

Она оборачивается. Он говорит с трудом, но завершает свои слова более непринужденно, чем начал.

Мне бы хотелось… *(Замолкает.)* Прошу меня простить, но путешествие утомило меня. *(Садится на кровать.)* Мне бы хотелось, по крайней мере, поблагодарить вас… Мне очень важно, чтобы вы знали, что не как равнодушный постоялец покидаю я этот дом.

Мать. Всегда к вашим услугам, сударь.

Уходит.

Сцена седьмая

Он смотрит ей вслед. Делает неопределенный жест, выказывая при этом признаки сильного утомления. Не в силах бороться с усталостью, облокачивается на подушку.

Ян. Я вернусь завтра вместе с Марией и скажу: «Это я». Я сделаю их счастливыми. Все это естественно и очевидно. Мария была права. *(Вздыхает, откидывается полулежа на кровать.)* Ох, не по себе мне в этот вечер, все словно уходит куда-то вдаль. *(Вытягивается на кровати и продолжает что-то говорить еле слышным голосом, но слов разобрать нельзя.)* Да или нет?

Он еще немного ворочается и засыпает. На сцене почти полная тьма. Долгая пауза. Дверь открывается. Входят обе женщины с лампой. Следом за ними – старый слуга.

Сцена восьмая

Марта *(освещает лампой тело и говорит приглушенным голосом).* Он спит.

Мать *(таким же голосом, но постепенно все громче и громче).* Нет, Марта! Мне такая манера не нравится, я не люблю, когда меня принуждают. Ты насильно втягиваешь меня в это дело. Ты все начинаешь сама в расчете на то, что заканчивать буду я. Я продолжаю еще колебаться, но тебе на это плевать. Мне такая манера не нравится.

Марта. Но зато это все упрощает. При том смятении, в котором вы пребывали, действовать пришлось мне.

Мать. Я прекрасно знаю, что с этим надо было как-то кончать. И тем не менее. Я этого не люблю.

Марта. Да полно вам! Подумали бы лучше про завтрашний день. Нам нужно поторапливаться.

Она шарит в пиджаке, вынимает бумажник и пересчитывает находящиеся там банкноты. Опустошает карманы спящего.

Во время этой операции за кровать падает паспорт. Старый слуга незаметно для женщин подбирает его и уходит.

Марта. Так. Все готово. Через минуту вода начнет прибывать. Спустимся вниз. Мы вернемся за ним, когда услышим, как вода хлынула через плотину. Пошли!

Мать *(спокойно).* Нет, нам и здесь хорошо.

Она садится.

Марта. Но… *(Смотрит на мать, потом с вызовом.)* Не думайте, что меня это пугает. Подождем здесь.

Мать. Конечно, подождем. Ждать – хорошо, ждать – успокаивает. Сейчас нам придется тащить его по дороге до самой реки. И я заранее от этого устала, устала такой давней усталостью, что моя кровь уже больше не в силах ее выносить. *(Покачивается, словно засыпает.)* А он сейчас ни о чем не подозревает. Он спит. Он с этим миром покончил. Отныне для него все будет легко и просто. Он лишь перейдет из сна, полного смутных образов, в сон без сновиде-

ний. И то, что для других – ужас, ужас быть насильственно выдернутым из жизни, для него обернется лишь долгим сном.

Марта (*с вызовом).* Так будем же этому рады! У меня нет никаких причин его ненавидеть, и я счастлива, что он не страдал. Но… вода как будто уже начала подниматься. *(Слушает, потом с улыбкой.)* Мать, скоро все будет кончено.

Мать *(с той же игрой).* Да, все будет кончено. Вода уже поднимается. А он ни о чем не подозревает. Он спит. Он больше не будет знать усталости от работы, на которую надо решиться, от работы, которую надо довести до конца. Он спит, ему больше не нужно собираться с силами, заставлять себя, требовать от себя сделать то, чего он сделать не может. Он больше не несет на своих плечах крест прозябания в четырех стенах, когда человек запрещает себе малейшую слабость… Он спит и ни о чем больше не думает, у него больше нет ни долгов, ни обязанностей, у него их нет, нет, и я, усталая старая женщина, ему завидую, потому что он сейчас спит и скоро умрет. *(Пауза.)* Ты что-то сказала, Марта?

Марта. Нет. Я слушаю. Я слышу, как шумит вода.

Мать. Через мгновенье. Не раньше, чем через мгновенье. Да, еще одно мгновенье. В этих пределах времени счастье еще возможно.

Марта. Счастье станет возможным после. Не до, а после.

Мать. Марта, ты знала, что он хотел уйти сегодня вечером?

Марта. Нет, этого я не знала. Но даже если бы знала, поступила бы так же. Я так решила.

Мать. Он мне только что об этом сказал, и я не знала, что ему ответить.

Марта. Значит, вы его видели?

Мать. Я поднялась сюда, чтобы помешать ему выпить. Но было уже поздно.

Марта. Да, было уже поздно! И я вам даже скажу, что он сам заставил меня решиться. Я колебалась. Но он стал говорить мне о странах, которые я так жажду увидеть, и, затронув во мне эти струны, вложил мне в руки оружие против него. И мое нежелание совершить зло было вознаграждено.

Мать. И все-таки, Марта, он в конце концов понял. Он мне сказал: он чувствует, что это – не его дом.

Марта *(нетерпеливо и яростно).* И это действительно не его дом, но этот дом в то же время – ничей. И никто никогда не обретет в нем тепла и покоя. Пойми он это раньше, он и себя бы сберег, и нас бы избавил от необходимости втолковывать ему, что эта комната сотворена для того, чтобы в ней спали, а весь этот мир – для того, чтобы в нем умирали. А теперь довольно об этом, мы… *(Вдалеке слышен шум воды.)* Прислушайтесь, вода хлынула через плотину. Идемте, мать, и ради любви к Господу, к которому вы порою взываете, покончим скорей с этим делом.

Мать делает шаг к кровати.

Мать. Пойдем! Но мне кажется, что рассвет никогда не наступит.

Занавес

Действие третье

Сцена первая

На сцене мать, Марта и старый слуга. Старик метет и прибирает залу. За конторкой Марта стягивает на затылке волосы в пучок. Мать пересекает сцену, направляясь к двери.

Марта. Видите, рассвет наступил.

Мать. Да. Завтра я, наверно, смогу ощутить, как это прекрасно, что мы довели дело до конца. Сейчас я не чувствую ничего, кроме усталости.

Марта. Нынче утром я впервые за долгие годы дышу. Мне даже кажется, что я уже слышу, как рокочет море. Во мне поселилась огромная радость, от которой мне хочется кричать.

Мать. Тем лучше, Марта, тем лучше. Но я чувствую себя сейчас такой старой, что ничего не могу с тобой разделить, даже твою радость. Завтра, должно быть, у меня все пойдет веселее.

Марта. Да, завтра пойдет веселее, я на это надеюсь. Но прекратите, прошу вас, бесконечные ваши сетования, дайте мне насладиться моим счастьем. Я опять становлюсь молодой, как когда-то. Тело опять пылает огнем, мне хочется взапуски бегать. О, скажите мне только…

Она замолкает.

Мать. Что с тобой, Марта? Я тебя просто не узнаю.

Марта. Мать… *(Колеблется, потом с воодушевлением.)* Я все еще красивая?

Мать. Да, ты сегодня красивая. Убийство красит человека.

Марта. Плевать мне теперь на убийство! Я второй раз рождаюсь на свет, я поеду в страну, где буду счастливой.

Мать. Прекрасно. Я иду отдыхать. Но мне приятно знать, что для тебя начнется наконец жизнь.

Старый слуга спускается по лестнице к Марте, протягивает ей паспорт и молча уходит. Марта раскрывает паспорт и читает его; на ее лице ничего не отражается.

Мать. Чего там у тебя?

Марта *(спокойным голосом).* Его паспорт. Прочтите.

Мать. Ты знаешь, что у меня слабые глаза.

Марта. Прочтите! Вы узнаете его имя.

Мать берет паспорт, садится у стола, раскрывает паспорт и читает. Потом долго смотрит на него.

Мать *(тусклым голосом).* Ведь я же знала, что в один прекрасный день все именно так обернется и надо будет с этим кончать.

Марта *(она зашла за конторку).* Мать!

Мать *(так же).* Оставь, Марта, я достаточно пожила на этом свете. Гораздо дольше, чем мой сын. Я его не узнала, и я его убила. Теперь я могу лечь с ним рядом на дно этой реки, где водоросли уже покрывают его лицо.

Марта. Мать! Вы же не оставите меня одну?

Мать. Ты в самом деле помогла мне, Марта, и мне жаль тебя покидать. Если в этом есть еще какой-то смысл, я должна признать, что на свой лад ты была хорошей дочерью. Ты всегда оказывала мне уважение, какое подобает оказывать матери. Но теперь я устала, и мое старое сердце, которому казалось, что оно уже от всего отрешилось, вновь познало великую скорбь. С нею я уже не смогу совладать. Во всяком случае, если мать не способна узнать своего собственного сына, значит, окончена ее роль на этой земле.

Марта. Нет, не окончена, если ей еще предстоит создать счастье собственной дочери. До меня не доходит то, что вы мне сейчас говорите. Я не узнаю ваших слов. Разве вы не учили меня ни с чем не считаться, ничего не щадить?

Мать *(тем же равнодушным тоном).* Да, но теперь мне открылось, что я была неправа и что на этой земле, где все так зыбко и шатко, у каждого человека все же есть нечто такое, в чем он твердо уверен. *(С горечью.)* Любовь матери к сыну – вот в чем сегодня я твердо уверена.

Марта. А в том, что мать может любить свою дочь, вы уже не уверены?

Мать. Мне бы сейчас не хотелось причинять тебе боль, Марта, но это действительно разные вещи. Это менее сильно. Как я могла жить без любви моего сына?

Марта *(с яростью).* Прекрасная любовь, которая забыла вас на целых двадцать лет!

Мать. Да, прекрасная любовь, которая осталась жива после целых двадцати лет молчания. Но что мне до всего этого! Эта любовь для меня прекрасна, поскольку я не могу без нее жить.

Она встает.

Марта. Возможно ли, чтобы вы говорили это без малейшего возмущения и вовсе не думали о своей дочери?

Мать. Я уже не в состоянии вообще о чем-либо думать, и уж меньше всего возмущаться. Это мне наказание, Марта, и, наверно, для всех убийц наступает когда-нибудь час, когда они оказываются опустошенными, ненужными, лишенными всякого будущего. И их уничтожают, потому что они ни на что не пригодны.

Марта. Вы заговорили языком, который для меня ненавистен, мне невыносимо слышать, как вы рассуждаете о преступлении и наказании.

Мать. Я говорю только то, что срывается с языка, и ничего больше. О, я утратила свою свободу, для меня начался уже ад!

Марта *(подходит к ней, с яростью).* Раньше вы так не говорили. И все эти годы вы продолжали быть рядом со мной, и ваши руки, не дрогнув, продолжали придерживать за ноги тех, кто должен был умереть. Тогда вы не думали ни про свободу, ни про ад. Вы свое продолжали. Что же изменилось с приходом вашего сына?

Мать. Я продолжала, что верно, то верно. Но как мертвая, по привычке. Достаточно было почувствовать боль, чтобы все сразу стало другим. Вот что изменилось с приходом моего сына. *(Марта пытается что-то сказать.)* Я знаю, Марта, что это неблагоразумно. Разве может преступница чувствовать боль? А ведь это еще не настоящая боль, я ведь ни разу пока не закричала. Это всего лишь страдание, охватывающее тебя оттого, что ты снова можешь любить. Но даже на это мне уже не хватает сил. Я знаю, даже и эта боль – она тоже неблагоразумна. *(С новой интонацией.)* Но неблагоразумен вообще весь наш мир, я могу утверждать это с полной уверенностью, ибо я в этой жизни изведала все – и творение, и разрушение.

Она решительно направляется к выходу, но Марта опережает ее и встает перед дверью.

Марта. Нет, мать, не покидайте меня. Не забывайте, что я осталась, а он уехал, что я всю жизнь была с вами рядом, а он вас бросил и не подавал о себе вестей. Это должно быть оплачено. Это должно быть поставлено в счет. И вернуться вы должны ко мне.

Мать *(тихо).* Все это верно, Марта, но его я убила!

Марта слегка отворачивается и, откинув голову назад, будто смотрит на дверь.

Марта *(после паузы, со все возрастающей страстностью).* Все, что жизнь может дать человеку, было ему дано. Он покинул эту страну. Он узнал другие края, море, свободных людей. А я осталась здесь. Осталась, маленькая и угрюмая, в тоске и скуке, увязнувшая в самой сердцевине континента, в душной тесноте обступивших меня земель. Никто не целовал моих губ, и даже вы не видели меня без одежды. Мать, клянусь вам, это должно быть оплачено. И вы не должны, под ничтожным предлогом, что какой-то человек мертв, малодушно уйти именно тогда, когда все, что мне причиталось, уже само идет мне в руки. Поймите, что человеку, который пожил в свое удовольствие, не страшно умереть. Мы можем забыть про моего брата и вашего сына. То, что произошло с ним, не имеет никакого значения: он все в жизни испробовал и познал. А меня вы лишаете буквально всего, отбираете у меня то, чем он сполна насладился. Значит, нужно, чтобы он отнял у меня еще и любовь моей матери, чтобы он навсегда утащил вас в свою холодную реку?

Они молча глядят друг на друга. Марта опускает глаза.

Марта *(очень тихо).* Я бы удовольствовалась совсем малым. Мать, есть слова, которых я никогда не умела произнести, но мне кажется, было бы так славно, если б мы с вами опять смогли зажить нашей обычной, будничной жизнью.

Мать подошла к ней ближе.

Мать. Ты его узнала?

Марта *(резко вскидывая голову).* Нет! Я его не узнала. У меня не сохранилось о нем никаких воспоминаний, все произошло так, как должно было произойти. Вы ведь сами мне говорили: этот мир лишен благоразумия. Но вы не так уж неправы, задавая мне этот вопрос. Ибо если б я даже его и узнала, я понимаю теперь, что это бы ровным счетом ничего не изменило.

Мать. Мне хотелось бы думать, что это неправда. Даже у самого закоренелого убийцы бывают минуты, когда он чувствует себя неспособным убить.

Марта. У меня они тоже бывают. Но уж не перед братом, мне совсем незнакомым и ко мне безразличным, склонила бы я голову.

Мать. Перед кем же тогда?

Марта склоняет голову.

Марта. Перед вами.

Пауза.

Мать *(медленно).* Слишком поздно, Марта. Я уже больше ничего не могу для тебя сделать. *(Поворачивается к дочери лицом.)* Ты плачешь, Марта? Нет, ты не умеешь плакать. Помнишь ли ты, чтоб я когда-нибудь тебя обняла?

Марта. Нет, мать, не помню.

Мать. Ты права. Это было давно, и я очень быстро отвыкла протягивать к тебе руки. Но я не переставала тебя любить. *(Она мягко теснит Марту, которая постепенно освобождает ей проход.)* Я это знаю теперь, потому что мое сердце заговорило; я снова живу – когда я больше не могу выносить жизнь.

Проход свободен.

Марта *(пряча лицо в ладони).* Но что же может для вас быть сильнее, чем отчаянье собственной дочери?

Мать. Быть может, усталость и стремление отдохнуть.

Она уходит, и дочь не препятствует ей.

Сцена вторая

Марта подбегает к двери, захлопывает ее, прижимается к ней.
И разражается дикими воплями.

Марта. Нет! Я не обязана была сидеть нянькой при своем брате, и все же я теперь изгнанница в своей собственной стране; моя мать сама отвергла меня. Но я не обязана была сидеть нянькой при своем брате, это несправедливо, я ни в чем не виновата. И вот он теперь добился того, чего он хотел, а я осталась одна, вдали от желанного моря, к которому так стремилась. О, как я его ненавижу, этого брата! Вся моя жизнь прошла в ожидании волны, которая бы меня унесла, и вот я знаю теперь, что она уже не придет! Я должна оставаться здесь, где справа и слева, сзади и спереди несметной толпой обступают меня племена и народы, равнины и горы, преграждая дорогу ветрам, прилетающим с моря, и заглушая своим гулом и своей болтовней его многократный призыв. *(Чуть тише.)* Другим-то больше везет. Есть места, хоть и отстоящие далеко от моря, но вечерний ветер приносит туда временами запахи водорослей. Он рассказывает там о влажных пляжах, звенящих криками чаек, о золотистом песке на морском берегу под бескрайним вечерним небом. Но ветер выдыхается и теряет силу, не успев долететь сюда к нам; никогда уж не получить мне того, что мне причиталось. Если я даже приникну ухом к земле, я все равно не услышу, как бьются о берег холодные волны или как дышит спокойно и мерно счастливое море. Я живу чересчур далеко от всего, что люблю, и эту мою удаленность уже не уменьшить. Я ненавижу его, я ненавижу его, он добился, чего он хотел! А мне на долю досталась моя неизбывная родина – это глухое, тоскливое захолустье, где под небом нет горизонта, где я свой голод могу утолить только местными кислыми сливами, а жажду свою – только кровью, которую я пролила. Вот цена, какую надо платить за ласковость матери!

Так пусть же она умирает, если не любит меня! Пусть захлопнутся передо мною все двери! Пусть она оставляет меня в лапах праведного моего гнева! Ибо я, умирая, не обращу к небесам умоляющих взоров. Там, в том дальнем краю, где можно спастись, избавиться от всех пут, прижать свое тело к другому, прыгнуть в волну, в той защищенной морем стране боги на берег не выходят. Но здесь, где на каждом шагу взгляд всякий раз во что-то упрется, здесь вся земля расчерчена так, что лицо невольно обращается к небу и взгляд выражает мольбу. О, ненавижу я этот мир, где мы все в подчинении у Бога. Но я, жертва вопиющей несправедливости, я, чьей просьбой пренебрегли, на колени не встану. И, лишенная места на этой земле, отвергнутая собственной матерью, я покину сей мир, не примиренная с ним.

В дверь стучат.

Сцена третья

Марта. Кто там?

Мария. Путешественница.

Марта. Мы больше не принимаем постояльцев.

Мария. Я пришла к своему мужу.

Она входит.

Марта *(смотрит на нее).* Кто ваш муж?

Мария. Он прибыл сюда вчера и должен был присоединиться ко мне сегодня утром. Меня удивляет, что его до сих пор нет.

Марта. Он сказал, что его жена за границей.

Мария. У него есть причины так говорить. Но мы должны были встретиться в этот час.

Марта *(по-прежнему не спуская с нее глаз).* Вам будет трудно это сделать. Вашего мужа больше здесь нет.

Мария. Что вы хотите этим сказать? Разве он не снял у вас комнату?

Марта. Комнату он снял, но ночью покинул ее.

Мария. Я не могу в это поверить, мне известны все те причины, из-за которых он должен остаться в этом доме. Но ваш тон меня встревожил. Скажите мне все начистоту.

Марта. Мне нечего вам сказать, кроме того, что вашего мужа больше здесь нет.

Мария. Он не мог уехать без меня, я вас не понимаю. Он вас окончательно покинул или сказал, что еще вернется?

Марта. Он покинул нас окончательно.

Мария. Послушайте. Со вчерашнего дня я нахожусь в этой чужой мне стране в непрерывном ожидании, и у меня нет больше сил это выдерживать. Меня привела к вам ужасная тревога, и я отсюда не уйду, пока не увижу своего мужа или пока не узнаю, где мне его найти.

Марта. Мне до этого нет никакого дела.

Мария. Вы заблуждаетесь. Это и ваше дело. Не знаю, одобрит ли мой муж то, что я вам сейчас скажу, но все эти сложности мне уже надоели. Человек, который пришел к вам вчера утром, – это ваш брат, в течение долгих лет не подававший о себе вестей.

Марта. Ничего нового вы мне не сообщили.

Мария *(гневно).* В таком случае что же произошло? Почему вашего брата нет в этом доме? Вы с матерью его не узнали и не были рады его возвращению?

Марта. Вашего мужа больше здесь нет, потому что он умер.

Мария вздрагивает и, ничего не говоря, секунду смотрит на Марту. Потом делает движение, словно собираясь подойти к ней поближе, и улыбается.

Мария. Вы ведь шутите, правда? Ян часто говорил мне, что еще девочкой вы любили озадачить людей. Мы почти сестры, и я…

Марта. Не прикасайтесь ко мне. Стойте там, где стоите. У меня с вами нет ничего общего. *(Пауза.)* Ваш муж этой ночью умер. Можете мне поверить, что я не шучу. Вам здесь больше нечего делать.

Мария. Вы просто сумасшедшая. Вас нужно связать! На меня все это свалилось слишком внезапно, я не могу вам поверить. Где он? Дайте мне увидеть его мертвым, только тогда я поверю в то, о чем даже помыслить не в силах.

Марта. Это невозможно. Там, где он сейчас находится, его никто увидеть не может. *(Мария делает движение в ее сторону.)* Не прикасайтесь ко мне и оставайтесь там, где стоите… Он на дне реки, куда мы с матерью отнесли его этой ночью, после того как усыпили его. Он не мучился, но тем не менее он мертв, и именно мы, моя мать и я, убили его.

Мария *(пятится назад).* Нет, нет… это я сошла с ума и слышу слова, которые еще никогда не раздавались на этой земле. Я знала, что ничего хорошего меня здесь не ждет, но к такому безумию я не готова. Я не понимаю, я вас не понимаю…

Марта. В мою задачу не входит вас убеждать, я вас только информирую. Вы сами придете к признанию этой очевидности.

Мария *(с некоторой долей рассеянности).* Почему, почему вы это сделали?

Марта. Во имя чего задаете вы мне этот вопрос?

Мария *(кричит).* Во имя своей любви!

Марта. Что означает это слово?

Мария. Оно означает все то, что рвет сейчас мою душу, что кусает и жалит меня, оно означает весь этот бред, который толкает меня на убийство. Если бы не мое упорное нежелание вам поверить, за которое еще цепляется мое сердце, вы бы у меня быстро поняли, безумная вы баба, что означает это слово, чувствуя, как мои ногти вонзаются вам в лицо.

Марта. Определенно вы прибегаете к языку, которого я не понимаю. Слова о любви, о радости или муке – для меня пустой звук.

Мария *(с большим усилием).* Послушайте, пора прекратить эту игру, если это, конечно, игра. Мы заблудились в бесплодных словесах. Прежде чем бросить меня на произвол судьбы, скажите мне четко и ясно все то, что я хочу четко и ясно знать.

Марта. Трудно сказать яснее, чем я уже вам сказала. Этой ночью мы убили вашего мужа, чтобы завладеть его деньгами, как мы не раз уже делали с другими постояльцами.

Мария. Значит, его мать и сестра были преступницы?

Марта. Да.

Мария *(так же с усилием).* Вы уже знали, что он ваш брат?

Марта. Могу вам признаться, произошло недоразумение. И если вам довелось хоть немного соприкасаться с жизнью, вас это не удивит.

Мария *(повернувшись к столу, прижав кулаки к груди, глухим голосом).* О Боже, я знала, что эта комедия обернется кровавым финалом и что мы оба с ним будем наказаны за то, что ввязались в нее. Несчастье было предначертано небесами. *(Останавливается перед столом и говорит, не глядя на Марту.)* Он хотел, чтобы вы его узнали, хотел обрести родной дом, хотел принести вам счастье, но он не умел найти нужных слов. И пока он эти слова искал, его убили. *(Начинает плакать.)* А вы, две полоумные, стояли точно слепые перед удивительным сыном, который к вам возвратился… ибо он был удивительным сыном, и вам невдомек, какое благородное сердце, какую чистую душу вы сегодня убили! Он бы мог стать вашей гордостью, как он был и моей. Но, к сожалению, вы оказались ему недругом, вы и сейчас его недруг, если можете с таким ледяным спокойствием говорить о том, что должно было исторгнуть звериные вопли из вашей груди!

Марта. Не судите о том, чего вы не знаете. В этот час моя мать присоединилась к своему сыну. Волны уже начинают глодать их тела. Скоро их обнаружат, и они снова встретятся в одной и той же земле. Но я и здесь не вижу причины для воплей. У меня совсем иное представление о человеческом сердце, и, если говорить все до конца, ваши слезы мне просто противны.

Мария *(повернувшись к ней, с ненавистью).* Это слезы навеки утраченной радости. Они для вас все-таки лучше, чем то горе без слез, которое скоро охватит меня, и тогда я без колебания вас убью.

Марта. Нашли чем пугать. Поверьте, для меня это сущий пустяк. Я тоже навидалась и наслушалась такого, что в свой черед решила умереть. Но путаться с ними двумя не желаю.

Что мне в их компании делать? Пусть уж милуются без меня, пусть без меня предаются своим унылым нежностям. Ни вам и ни мне места возле них уже не найдется, они останутся нам навсегда неверны. К счастью, у меня еще есть моя комната, где я смогу умереть без свидетелей.

Мария. Ах, умирайте, если вам нужно, и пускай весь мир летит в тартарары, – я потеряла того, кого я люблю. Мне предстоит теперь жить в одиночестве, и память об этом кошмаре – еще одна пытка.

Марта подходит к ней сзади и говорит поверх ее головы.

Марта. Не будем преувеличивать. Вы потеряли мужа, а я потеряла мать. Так что мы квиты. Но вы его потеряли всего только раз, после долгих лет обладания им, и он вас никогда не отвергал. А меня мать отвергла. Теперь она мертва, и я потеряла ее дважды.

Мария. Он хотел отдать вам свое состояние, сделать вас обеих счастливыми. Об этом он думал, один в своем номере, в ту минуту, когда вы готовили ему смерть.

Марта *(внезапно тоном безнадежности).* Я сквиталась и с вашим мужем, ибо я познала его тоску. Я, как и он, полагала, что у меня есть дом. Я воображала, что злодеяние было нашим семейным очагом и что оно соединило нас обеих, мать и меня, навсегда. К кому в целом свете я могла обратиться, если не к ней, убивавшей одновременно со мной? Но я ошиблась. Преступление – тоже одиночество, даже если ты вступаешь в сговор с другими, чтобы его совершить. И вполне справедливо, что я умираю одна, после того как жила и убивала одна.

Мария, вся в слезах, оборачивается к ней.

Марта *(отступая и вновь жестким тоном.)* Не прикасайтесь ко мне, я вам уже говорила. При одной только мысли, что человеческая рука может навязать мне, прежде чем я умру, ненавистное мне тепло, при одной только мысли, что нечто, не знаю, что именно, но похожее на отвратительную нежность людей, может преследовать меня до самого порога смерти, – я чувствую, как кровь с неистовой яростью приливает у меня к вискам.

Они стоят вплотную, лицом друг к другу.

Мария. Не бойтесь. Я предоставлю вам умереть, как вы того хотите. Я ослепла, я вас больше не вижу! И ваша мать, и вы сами останетесь для меня лишь мимолетными ликами, промелькнувшими и сгинувшими в ходе бесконечной, неизбывной трагедии. Я к вам не чувствую ни злобы, ни сострадания. Я никого больше не могу ни любить, ни ненавидеть. *(Прячет лицо в ладони.)* Ведь у меня даже не было времени ощутить боль или возмутиться. Несчастье оказалось большим, чем я сама.

Марта, которая повернулась спиной и сделала уже несколько шагов к двери, возвращается вновь к Марии.

Марта. Но еще не настолько большим, чтобы отнять у вас слезы. И прежде чем покинуть вас навсегда, мне остается, я вижу, еще кое-что сделать. Мне остается привести вас в отчаяние.

Мария (с *ужасом глядя на нее).* О, оставьте меня, убирайтесь прочь и оставьте меня в покое!

Марта. Я вас, конечно, оставлю, это будет облегчением и для меня, я плохо переношу вашу любовь и ваши рыдания. Но я не могу умереть, оставив вас в убеждении, что вы правы и что любовь не напрасна и все случившееся с вами – случайность. Ибо теперь все встало на свои места, и вновь восстановился порядок. Нужно вас в этом убедить.

Мария. Какой порядок?

Марта. Тот, при котором никто никогда не бывает признан.

Мария *(плохо соображая).* Какое мне до всего этого дело! Я вас едва понимаю. Мое сердце разрывается от боли. Все мои мысли стремятся только к нему, к тому, кого вы убили.

Марта *(яростно).* Замолчите! Я больше не желаю про него слышать, я ненавижу его. Он для вас уже ничто. Он вошел-таки в горестный дом, из которого его навсегда изгнали. Глупец! Он имеет то, чего хотел, он обрел ту, кого искал. И все мы в полном порядке. Поймите же, что ни для него, ни для нас, ни в жизни, ни в смерти нет ни отечества, ни покоя. *(С презрительным смехом.)* Не называть же отечеством эту плотную, лишенную света землю, куда все мы уходим на прокорм слепым тварям.

Мария *(в слезах).* О Боже, я не могу, не могу вынести этот язык. Он тоже не мог бы его вынести. Ради другого отечества пустился он в путь.

Марта *(уже дойдя до дверей, она резко оборачивается).* За это свое безумие он уже заплатил. Скоро и вы заплатите за свое. *(С тем же презрительным смехом.)* Мы обворованы, я вам говорю. К чему этот великий порыв человеческого существа, это смятение душ? Зачем взывать к морю или к любви? Это все смехотворно. Ваш муж теперь знает ответ, он теперь знает этот внушающий ужас дом, куда мы все в конечном счете сойдем, тесно прижавшись друг к другу. *(Со злобой.)* Вы его тоже узнаете и тогда будете, если сможете, с величайшей отрадой вспоминать этот день, который сегодня представляется вам вратами мучительного изгнания. Поймите же, ваша боль ничто в сравнении с несправедливостью, которая учиняется над человеком, и вот вам в заключение мой совет. Я ведь должна дать вам совет, не правда ли, поскольку я убила вашего мужа.

Молитесь же вашему Богу, чтобы он сделал вас подобием камня. Это – счастье, которое он приберегает для себя самого, единственное подлинное счастье. Поступайте, как он, станьте глухой ко всяким призывам, сделайтесь каменной, пока есть время. Но если вы слишком трусливы, чтобы войти в это царство безмолвия и покоя, тогда милости просим к нам, в наш общий дом. Прощайте, сестра моя! Все очень легко, вы увидите. Вам только следует выбрать: или безмозглое счастье булыжников – или липкое ложе, на котором мы будем вас ждать.

Она выходит, и Мария, в замешательстве слушавшая ее, стоит, раскачиваясь, с протянутыми вперед руками.

Мария *(кричит).* О Боже! Я не могу жить в этой пустыне. Я к вам обращаюсь, к вам, и я сумею найти слова. *(Падает на колени.)* Да, я полагаюсь только на вас. Имейте жалость ко мне, обратите ко мне свой лик. Услышьте меня, дайте мне вашу руку! Имейте жалость, Господи, к тем, кто любит друг друга и кого разлучили.

Распахивается дверь, появляется старый слуга.

Сцена четвертая

Старик *(голосом отчетливым и непреклонным).* Вы меня звали?

Мария *(поворачивается к нему).* О, я не знаю! Но помогите же мне, ибо мне нужна помощь. Имейте жалость и согласитесь помочь мне!

Старик *(тем же голосом).* Нет!

Занавес

Записные книжки. Май 1935 – февраль 1942

[82]

[82] © Перевод. О. Гринберг, наследники, 2019

Тетрадь № I. Май 1935 года – сентябрь 1937 года

Май 1935 г.

Вот что я хочу сказать:

Что можно чувствовать – не будучи романтиком – тоску по утраченной бедности. Годы, прожитые в нищете, определяют строй чувств. В данном случае *строй чувств исчерпывается* странным отношением сына к матери. Самые разные проявления этих чувств вполне объясняются подспудной, вещественной памятью детства (неотъемлемой частью нашего *я*).

Отсюда – для того, кто это замечает, – узнавание и, следовательно, угрызения совести. Отсюда же, по аналогии, чувство утраченного богатства, если человек попадает в другую среду. Для людей богатых райское блаженство, дарованное в придачу к земным благам, – вещь сама собой разумеющаяся. Для людей бедных небеса обретают свое исконное значение величайшей милости.

Угрызения совести вынуждают к признанию. Произведение есть признание; я обязан дать показания. По правде говоря, сказать я хочу одну-единственную вещь. Именно в этой нищенской жизни, среди этих людей, смиренных либо тщеславных, мне удалось глубже всего постичь то, что кажется мне истинным смыслом жизни. Произведений искусства для этого недостаточно. Искусство для меня не все. Пусть оно будет хотя бы средством.

Не надо забывать и о ложном стыде, малодушии, безотчетном уважении к другому миру (миру денег). Я думаю, мир бедняков – редкий, если не единственный мир, замкнутый в себе, отъединенный от остального общества, как остров. Здесь хорошо играть в Робинзонов. Тот, кто окунается в эту жизнь, начинает говорить о квартире врача, находящейся в двух шагах, «там, у них».

Все это должно быть выражено в рассказе о матери и сыне.

Это в общих чертах.

Уточнения связаны со сложностями:

1) Окружение. Квартал и его жители.

2) Мать и ее поступки.

3) Отношение сына к матери.

Какой выход. Мать? Последняя глава: символическое значение, переданное тоской сына???

Гренье: мы вечно себя недооцениваем. Но приходят бедность, болезнь, одиночество: мы осознаем свое бессмертие. «Когда нас припрут к стенке».

Так оно и есть, ни больше ни меньше.

Бессмысленное слово «опытность». Опытность не зависит от опыта. Ее не приобретают. Она приходит сама. Не столько опытность, сколько терпение. Мы терпим – вернее, претерпеваем.

Всякая практика: опыт делает человека не мудрым, а сведущим. Но в чем?

Две подруги: обе очень больны. Но у одной нервы: выздоровление все же возможно. У другой – поздняя стадия туберкулеза. Никакой надежды.

Как-то днем. Больная туберкулезом у постели подруги.

Та говорит:

– Знаешь, до сих пор даже во время самых страшных приступов у меня не было чувства, что все потеряно. Еще теплилась надежда на спасение. Сегодня мне кажется, что надеяться больше не на что. Я так обессилела, что, наверно, уже не оправлюсь.

В глазах обреченной мелькает дикая радость; она берет подругу за руку: «О! Мы отправимся в дальний путь вместе!»

Те же – умирающая от туберкулеза и ее выздоравливающая подруга. Она вернулась из Франции, где прошла курс лечения по новому методу.

И обреченная упрекает ее в этом. Вслух она корит подругу за то, что та ее бросила. На самом же деле умирающая страдает оттого, что видит подругу здоровой. В душе ее теплилась безумная надежда, что она умрет не одна – что удастся увлечь с собой самую близкую подругу. А придется умереть в одиночестве. Поэтому в ее сердце закрадывается черная ненависть к подруге.

Грозовое небо в августе. Знойные ветры. Черные тучи. А на востоке голубая полоска, тонкая, прозрачная. На нее больно смотреть. Ее появление – пытка для глаз и души. Ибо зрелище красоты нестерпимо. Красота приводит нас в отчаяние, она – вечность, длящаяся мгновение, а мы хотели бы продлить ее навсегда.

Искренность дается ему без труда. Большая редкость.

Важна также тема комедии. От самых страшных мук нас спасает чувство, что мы одиноки и всеми покинуты, однако не настолько одиноки, чтобы «другие» не уважали нас в нашем несчастье. Именно в этом смысле мы испытываем порой счастливые мгновения, когда в безысходной печали чувство заброшенности переполняет и возвышает нас. В этом же смысле счастье часто есть не что иное, как чувство сострадания к собственному несчастью.

Поразительно у бедняков: Господь поместил рядом с отчаянием самолюбование, словно лекарство рядом с болезнью.

В молодости я требовал от людей больше, чем они могли дать: постоянства в дружбе, верности в чувствах.

Теперь я научился требовать от них меньше, чем они могут дать: быть рядом и молчать. И на их чувства, на их дружбу, на их благородные поступки я всегда смотрю как на настоящее чудо – как на дар Божий.

…Они успели слишком много выпить и хотели есть. Но дело было под Рождество, и в зале не было мест. Получив вежливый отказ, они не унялись. Их выставили за дверь. Они стали пинать ногами беременную хозяйку. Тогда хозяин, тщедушный молодой блондин, схватил ружье и выстрелил. Пуля попала в правый висок. Убитый лежал на полу, голова его свесилась набок, так что раны не было видно. Товарищ его, пьяный от вина и ужаса, начал плясать вокруг тела.

Ничем не примечательное происшествие, которое должно было завершиться заметкой в завтрашней газете. Но пока что в этом отдаленном уголке квартала тусклый свет, льющийся на мостовую, грязную и осклизлую после недавнего дождя, не смолкающее шуршание мокрых шин, звонки проезжающих время от времени ярко освещенных трамваев придавали этой потусторонней сцене нечто тревожное: неотвязная сусальная картинка – этот квартал под вечер, когда улицы заполняются тенями, вернее, когда порой является здесь одна-единственная тень, безымянная, угадываемая по глухому шарканью и невнятным речам, залитая кровавым светом красного аптечного фонаря.

Январь 1936 г.

За окном сад, но я вижу только его ограду. Да редкую листву, сквозь которую струится свет. Выше тоже листва. Еще выше – солнце. Я не вижу, как ликует на дворе ветерок, не

вижу этой радости, разлитой в мире, я вижу только тени листьев, пляшущие на белых занавесках. Да еще пяток солнечных лучей, которые постепенно наполняют комнату светлым запахом сена. Порыв ветерка, и тени на занавеске приходят в движение. Стоит солнцу зайти за тучу, а затем выглянуть снова – и из тени ярко-желтым пятном выплывает ваза с мимозами. Довольно одного этого проблеска – и меня уже переполняет смутное дурманящее чувство радости.

Пленник пещеры, я остался один на один с тенью мира. Январский день. Правда, по-прежнему холодно. Все подернуто солнечной пленкой – она тонка и непрочна, но озаряет все вокруг вечной улыбкой. Кто я и что мне делать – разве что вступить в игру листвы и света. Быть этим солнечным лучом, сжигающим мою сигарету, этой нежностью и этой сдержанной страстью, которой дышит воздух. Если я стараюсь найти себя, то ищу в самой глуби этого света. А если я пытаюсь постичь и вкусить этот дивный сок, выдающий тайну мира, то в глубине мирозданья я обретаю самого себя. Себя, то есть это наивысшее чувство, которое очищает от всего внешнего, наносного. Скоро меня вновь обступят другие вещи и люди. Но дайте мне вырвать это мгновение из ткани времен и сохранить его в памяти, как другие хранят цветок в книге. Они прячут между страниц прогулку, где к ним пришла любовь. Я тоже гуляю, но меня ласкает божество. Жизнь коротка, и грешно терять время. Я теряю время целыми днями, а люди говорят, что я весьма деятелен. Сегодня передышка – сердце мое идет навстречу самому себе.

Тоска снова охватывает меня, оттого что я чувствую, как этот неуловимый миг выскальзывает из рук, словно шарики ртути. Не мешайте же тем, кто хочет отгородиться от мира. Я уже не жалуюсь, ибо наблюдаю за собственным рождением. Я счастлив в этом мире, ибо мое царство от мира сего. Облако уплывает, мгновение тает. Я умираю для себя самого. Книга раскрывается на любимой странице. Как ничтожна сегодня эта страница по сравнению с книгой мира. Какое имеет значение, страдал я или нет, если страдание пьянит меня, ибо оно – в этом солнце и этих тенях, в этом тепле и в этом холоде, идущем откуда-то издалека, из глубины морозного воздуха. К чему мне гадать, умирает ли что-нибудь в людях и страдают ли они, – ведь все написано в этом окне, куда врывается бескрайнее небо. Я могу сказать и сразу скажу, что важно быть человечным, простым. Нет, важно быть самим собой, это включает в себя и человечность, и простоту. А когда я становлюсь самим собой, когда я становлюсь чист и прозрачен, как не тогда, когда я сливаюсь с миром?

Миг восхитительной тишины. Люди молчат. Но раздается песнь мира, и все мои желания, желания человека, обреченного влачить жизнь в глубокой пещере, сбываются прежде, чем я успел их загадать. Вот она, вечность, на которую я уповал. Теперь я могу говорить. Не знаю, что может быть лучше, чем это постоянное присутствие во мне моего подлинного «я». Теперь я жажду не счастья, но лишь осознания. Человек мнит себя отрезанным от мира, но стоит оливе подняться в золотящейся пыли, стоит слепящему утреннему солнцу осветить песчаные отмели – и человек чувствует, как его непреклонность смягчается. Так и со мной. Я осознаю возможности, за которые несу ответственность. В жизни каждая минута таит в себе чудо и вечную юность.

Мыслить можно только образами. Если хочешь быть философом, пиши романы.

Абсурдность Ясность

Бескорыстная игра
Сила и доброта

остерегаться приобретать
тщеславия упорство

Свят.: Молчать. Действовать. Социализм.
Приобретение и осуществление.
По сути: героические качества.

II часть
А. в настоящем
Б. в прошлом
Гл. $А_1$ – Дом перед лицом Мира. Знакомство.
Гл. $Б_1$ – Его воспоминания. Связь с Люсьеной.
Гл. $А_2$ – Дом перед лицом Мира. Его юность.
Гл. $Б_2$ – Люсьена рассказывает о своих изменах.
Гл. $А_3$ – Дом перед лицом Мира. Приглашение.
Гл. $Б_4$ – Сексуальная ревность. Зальцбург. Прага.
Гл. $А_4$ – Дом перед лицом Мира. Солнце.
Гл. $Б_5$ – Бегство (письмо). Алжир. Простуда, болезнь.
Гл. $А_5$ – Ночь под звездами. Катрин.

Патрис рассказывает свою историю об осужденном на смерть: «Я его вижу, этого человека. Он во мне. И каждое слово, которое он произносит, сжимает мне сердце. Он живой, он дышит, когда дышу я. Ему страшно, когда страшно мне.

…И тот, другой, который хочет смягчить его. Я вижу и его тоже. Он во мне. Я каждый день посылаю к нему священника, чтобы увещевать его.

Теперь я знаю, о чем буду писать. Приходит время, когда дерево после долгих страданий должно принести плоды. Зима всегда заканчивается весной. Мне нужно дать показания. Потом все начнется сначала.

…Я не стану говорить ни о чем, кроме своей любви к жизни. Но я расскажу о ней по-своему…

Другие пишут под диктовку неудовлетворенных желаний. Из каждого своего разочарования они создают произведение искусства, ложь, сотканную из обманов, наполняющих их жизнь. Но мои писания явятся плодом счастливых мгновений моей жизни. Хотя они будут жестокими. Мне необходимо писать, как необходимо плавать: этого требует мое тело».

III часть (все в настоящем).

Гл. I – «Катрин, – говорит Патрис, – я знаю, теперь я буду писать. Историю осужденного на смерть. Я вернулся к моему истинному призванию, оно заключается в том, чтобы писать».

Гл. II – Путь из Дома перед лицом Мира вниз, в порт и т. д. Тяга к смерти и солнцу. Любовь к жизни.

Шесть историй:
История блестящей игры. Роскошь.
История бедного квартала. Смерть матери.
История Дома перед лицом Мира.
История сексуальной ревности.
История осужденного на смерть.
История пути к солнцу.

На Балеарских островах: Прошлым летом.

Ценность путешествию придает страх. Потому что в какой-то момент, вдали от родной страны, родного языка (французская газета на вес золота. А вечера в кафе, когда стараешься ощутить локоть соседа!), нас охватывает смутный страх и инстинктивное желание вернуться к спасительным старым привычкам. Это самая очевидная польза путешествий. В это время мы лихорадочно возбуждены, впитываем все, как губка. Ничтожнейшее событие потрясает нас до глубины души. В луче света мы прозреваем вечность. Поэтому не следует говорить, что люди путешествуют для собственного удовольствия. Путешествие вовсе не приносит удовольствия. Я скорее склонен видеть в нем аскезу. Люди путешествуют ради культуры, если понимать под культурой извлечение из-под спуда самого глубокого нашего чувства – чувства вечности. Удовольствия отдаляют нас от себя самих, как у Паскаля развлечения отдаляют нас от Бога. Путешествие как самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя.

Балеарские острова.
Бухта.
Сан-Франциско – монастырь.
Бельвер.
Богатый квартал (тень и старые женщины).
Бедный квартал (окно).
Собор (дурной вкус и шедевр).
Кафешантан.
Берег Мирамара.
Вальдемоза и террасы.
Соллер и юг.
Сан-Антонио (монастырь). Феланитикс.
Полленса: город. Монастырь. Пансион.
Ивиса: бухта.
Ла-Пенья: оборонительные сооружения.
Сан-Эулалия: пляж. Праздник.
Кафе на пристани.
Деревни: каменные стены и мельницы.

13 февраля 1936 г.

Я требую от людей больше, чем они могут мне дать. Бессмысленно утверждать обратное. Но какое заблуждение и какая безысходность. Да и я сам, быть может…

Искать связей. Всяких связей. Если я хочу писать о людях, мыслимо ли отворачиваться от пейзажа? А если меня притягивают небо или свет, разве забуду я глаза и голоса тех, кого люблю? Каждый раз мне дарят кусочки дружбы, клочки чувства, и никогда – все чувство, всю дружбу.

Иду к другу, который старше меня, чтобы рассказать ему обо всем. По крайней мере о том, что камнем лежит на сердце.

Но он торопится. Разговор обо всем и ни о чем. Время идет.

И вот я еще более одинок и более опустошен, чем прежде.

Эта шаткая мудрость, которую я пытаюсь сколотить, может рухнуть от любого слова, случайно оброненного спешащим другом! «Non ridere, non lugere»[83]… И сомнения в себе и в других.

Март

День то облачный, то солнечный. Мороз в желтых блестках.

Мне стоило бы вести дневник погоды. Вчера солнце сияло так ясно. Бухта дрожала, залитая светом, словно влажные губы. А я весь день работал.

Заглавие: Надежда мира.

Гренье о коммунизме: «Весь вопрос вот в чем: надо ли во имя идеала справедливости соглашаться с глупостями?» Можно ответить «да» – это прекрасно. Можно ответить «нет» – это честно.

При всех различиях: проблема христианства. Смущают ли верующего противоречия в евангелиях и черные дела церковников? Что значит верить в Бога: значит ли это верить в Ноев ковчег – и защищать Инквизицию или суд, осудивший Галилея?

Но, с другой стороны, как примирить коммунизм с чувством отвращения? Если я впадаю в крайности, доходящие до абсурда и не приносящие пользы, я отрицаю коммунизм. А тут еще религия…

В смерти игра и героизм обретают свой подлинный смысл.

Вчера. Освещенные солнцем набережные, арабские акробаты и сияющий порт. Можно подумать, что на прощание этот край расцвел и решил щедро одарить меня. Эта чудная зима искрится морозом и солнцем. Голубым морозом.

Трезвое опьянение и улыбающаяся нищета – отчаянное мужество греческих стел, принимающих жизнь как она есть. Зачем мне писать и творить, любить и страдать? Утраченное мною в жизни, по сути, не самое главное. Все теряет смысл.

Мне кажется, что перед лицом этого неба и исходящего от него жаркого света ни отчаяние, ни радость ничего не значат.

16 мая

Долгая прогулка. Холмы на фоне моря. И ласковое солнце.

Белые соцветия шиповника. Крупные, насыщенно-лиловые цветы. И возвращение, сладость женской дружбы. Серьезные и улыбающиеся лица молодых женщин. Улыбки, шутки, планы. Игра начинается вновь. И все делают вид, будто подчиняются ее правилам, с улыбкой принимая их на веру. Ни одной фальшивой ноты. Всеми своими движениями я связан с миром, всеми своими чувствами я связан с людьми. С вершины холмов видно, как после недавних дождей под лучами солнца над землей поднимается туман. Даже спускаясь вниз по лесистому склону и погружаясь в это ватное марево, среди которого чернели деревья, я чувствовал, что этот чудесный день озарен солнцем. Доверие и дружба, солнце и белые домики, едва различи-

[83] Не смеяться, не плакать *(лат.)*.

мые оттенки. О, мгновения полного счастья, которые уже далеко и не могут рассеять меланхолию, одолевающую меня по вечерам; теперь они значат для меня не больше, чем улыбка молодой женщины или умный взгляд понимающего друга.

Время течет так быстро из-за отсутствия ориентиров. То же и с луной в зените и на горизонте. Годы юности тянутся так медленно потому, что они полны событий, годы старости бегут так стремительно оттого, что заранее предопределены. Отметить, например, что почти невозможно смотреть на стрелку часов в течение пяти минут – так это долго и безысходно.

Март

Серое небо. Но свет все же просачивается. Только что упали несколько капель. Там, внизу, бухта уже заволакивается дымкой. Зажигаются огни. Счастье и те, кто счастливы. Они имеют лишь то, что заслуживают.

Март

Радость моя безгранична.

Dolorem exprimit quia movit amorem.

Март

Клиника над Алжиром. Довольно сильный ветер бежит по склону, взъерошивая траву, освещенную солнцем. И весь этот нежный и светлый порыв стихает, не доходя до гребня холма, у подножия черных кипарисов, которые, сомкнув ряды, штурмуют вершину. С неба льется дивный свет. Внизу морская гладь сверкает синезубой улыбкой. Под солнцем, которое греет мне только одну половину лица, я стою на ветру и, не в силах вымолвить ни слова, смотрю, как текут эти неповторимые мгновения. Но появляется сумасшедший в сопровождении санитара. Он держит под мышкой коробку, выражение лица – самое серьезное.

– Добрый день, мадемуазель (обращаясь к молодой женщине, стоящей рядом со мной).

Затем ко мне:

– Разрешите представиться: господин Амброзино.

– Господин Камю.

– А! Я знавал одного Каму. Грузовые перевозки в Мостаганеме. Наверно, ваш родственник.

– Нет.

– Не важно. Позвольте мне немного побыть с вами. Мне каждый день разрешают выходить на полчаса. Но приходится ползать на брюхе перед санитаром, чтобы он согласился меня сопровождать. Вы родственник мадемуазель?

– Да, сударь.

– А! Тогда я объявляю вам, что на Пасху мы обручимся. Моя жена согласна. Мадемуазель, примите этот маленький букет. И письмо, оно тоже вам. Посидите со мной. У меня только полчаса.

– Нам пора уходить, господин Амброзино.

– Уже! Но когда же я вас снова увижу?

– Завтра.

– Ах! Ведь у меня всего полчаса, и я пришел, чтобы немного помузицировать.

Мы уходим. На дороге чудесно сверкают красные герани. Сумасшедший достал из коробки тростинку с продольной прорезью, затянутой тонкой резиной. Он извлекает из нее странную музыку, жалобную и задушевную: «Дорога под дождем…» Мы слышим музыку,

идя мимо гераней, мимо больших клумб, покрытых маргаритками, вдоль моря, улыбающегося своей невозмутимой улыбкой.

Я открыл письмо. В нем были рекламные объявления, вырезанные и аккуратно пронумерованные карандашом.

М. – Каждый вечер он клал это оружие на стол. Закончив работу, он убирал бумаги, брался за револьвер и приставлял его ко лбу, он терся об него висками, прижимался к холодному металлу горящими щеками. Он долго сидел так, водя пальцами по гашетке, ощупывая стопорный вырез, пока все вокруг не затихало и он не задремывал, ощущая только одно – холодный солоноватый металл, несущий смерть.

Тот, кто не убивает себя, должен молчать о жизни. И, просыпаясь с горькой слюной во рту, он лизал ствол револьвера, всовывал в него язык и, хрипя от бездонного счастья, с восхищением повторял: «Радость моя безбрежна».

М. – 2-я часть.

Цепь катастроф – его мужество – жизнь его соткана из несчастий. Он обживает это скорбное существование, он весь день ждет, когда же наступит вечер и он вернется наконец домой, к своему одиночеству, недоверию, отвращению. Его считают твердым и стойким. Если присмотреться, дела идут как нельзя лучше. Однажды случается пустяк: приятель невнимательно слушает его и отвечает рассеянно. Он возвращается домой. Он кончает с собой.

31 марта

У меня такое чувство, будто я постепенно поднимаюсь со дна.

Нежная и сдержанная дружба женщин.

Социальный вопрос решен. Равновесие восстановлено. Через две недели я поставлю точку. Ни на секунду не забывать о книге. Не откладывая, начать работу прямо с воскресенья.

После долгого периода беспокойства и отчаяния переделать все заново. Наконец-то вышло солнце, и тело мое оживает. Молчать – верить самому себе.

Апрель

Первые жаркие дни. Духота. Все живое в полном изнеможении. Когда день клонится к закату, над городом какой-то странный воздух. Звуки поднимаются и исчезают в вышине, как воздушные шары. Деревья и люди неподвижны. Мавританки болтают на террасах, ожидая, когда наступит вечер. В воздухе стоит запах жареного кофе. Нежная и безнадежная пора. Не к чему прижаться губами. Не перед кем броситься на колени в порыве благодарности.

Жара на набережных – страшная, изнуряющая, от нее перехватывает дыхание. Тяжелый запах гудрона дерет горло. Упадок сил и желание смерти. Вот подлинная атмосфера трагедии, а вовсе не ночь, как принято считать.

Чувства и мир. Желания смешиваются. Сжимать в объятиях тело женщины – то же, что вбирать в себя странную радость, которая с неба нисходит к морю.

Солнце и смерть. Грузчик со сломанной ногой. Капли крови, тянущиеся по пылающим камням набережной. Похрустывание камешков. В кафе он рассказывает мне свою жизнь. Все разошлись, на столе остались шесть стаканов. Домик в пригороде. Жил один, возвращался к себе только под вечер, чтобы приготовить еду. Собака, кот, кошка, шестеро котят. У кошки нет молока. Котята умирают один за другим. Каждый вечер окоченевший дохлый котенок и нечистоты. А также смесь двух запахов: мочи и мертвечины. Вчера вечером (он потихоньку

вытягивает руки, медленно отодвигая стаканы на край стола) подох последний котенок. Но мать сожрала половину. Значит, полкотенка! И как всегда нечистоты. Возле дома воет ветер. Где-то очень далеко играют на рояле. Он сидит среди развалин и нищеты. И весь смысл существования вдруг комом подступает к горлу. (Стаканы падают один за другим, а он все продолжает раздвигать руки.) Сидит так несколько часов, сотрясаясь от бешеной ярости, без слов, с мокрыми от мочи руками и думает о том, что пора варить обед.

Все стаканы разбиты. А он улыбается. «Ничего, – успокаивает он хозяина, – мы за все заплатим».

Сломанная нога грузчика. В углу молодой мужчина молча улыбается.

«Это пустяки. Больше всего зла мне всегда причиняли общие идеи». Погоня за грузовиком, скорость, пыль, скрежет. Безумный ритм лебедок и механизмов, танец мачт на горизонте, бортовая качка судов. На грузовике: тряска по булыжникам набережной. Гигантская и фантастическая декорация порта, солнце и кровь, белая меловая пыль, а в ней – двое молодых людей удаляются на полной скорости и хохочут как безумные.

Май

Не отгораживаться от мира. Когда живешь на виду, нет опасности, что жизнь сложится неудачно. В любой ситуации, в несчастье, в разочарованиях я прежде всего стараюсь восстановить контакты. И даже в печали своей я полон желания любить и испытываю упоение при одном только виде холма в вечерней дымке.

Контакты с истиной, прежде всего с природой, потом с искусством посвященных, и мое собственное искусство, если я способен его создавать. В противном случае ничто не коснется меня: ни свет, ни вода, ни упоение, ни влажные от желания губы.

Улыбка отчаяния. Безысходного, но тщетно пытающегося подчинить меня себе. Главное: не потерять себя и не потерять то сокровенное, что дремлет в мире.

Май

Все контакты – культ моего «я»? Нет.

Культ «я» предполагает любительство или оптимизм. И то и другое вздор. Не выбирать свою жизнь, но расширять ее.

Внимание: Кьеркегор, источник наших бед – это сравнение.

Отрезать себе путь к отступлению. Затем в равной мере принять и «да», и «нет».

Май

Как красивы женщины в Алжире на склоне дня.

Май

На пределе. И сверх того: игра. Я говорю «нет», я труслив и слаб, а поступаю так, как если бы я говорил «да», как если бы я был силен и смел. Вопрос воли = доводить абсурд до конца = я способен на…

Следовательно, воспринимать ход игры трагически, а ее результат (который, пожалуй, безразличен) комически.

Но не терять на это времени. Искать высший опыт в одиночестве. Совершенствовать игру завоеванием самого себя – зная, что это абсурдно.

Примирение мудрого индуса и западного героя.

«Больше всего зла мне всегда причиняли общие идеи».

От этого высшего опыта всегда следует отказываться во имя дружбы. Чтобы затем продолжить. Рука дружбы – редкость.

Бог – Средиземное море: постройки – ничего природного.
Природа = равновесие.

Против нового промаха и слабости: усилие – внимание.
Демон: культура – тело
воля – труд (фил.)
Но с другой стороны: заступники —
каждый день
мое произведение
(эмоции)
высший опыт.
Философское произведение: абсурд.
Литературное произведение: сила, любовь и смерть под знаком завоевания.
И там, и тут смешивать оба жанра, сохраняя особое звучание. Написать однажды книгу, которая даст разъяснение.
И об этом умственном напряжении: бесстрастие – презирать сравнение.

Эссе о смерти и философии – Мальро. Индия.
Эссе о химии.

Май
То, что жизнь сильнее всего, – истина, но она лежит в основе всех подлостей. Нужно открыто утверждать противоположное.

И вот они уже вопят: я имморалист.
Смысл: я должен прочесть себе мораль. Признай же это, глупец. Я тоже.

Другой неудачник: надо быть простым, надо быть самим собой, долой литературу – надо принимать жизнь и отдаваться ей. Да ведь мы только это и делаем.
Если вы закоренели в своем отчаянии, поступайте так, как если бы вы не утратили надежды, – или убейте себя. Страдание не дает никаких прав.

Интеллектуал? Да. И никогда не отступаться. Интеллектуал – тот, кто раздваивается. Это мне по душе. Мне приятно, что во мне два человека. «Могут ли они слиться воедино?» Практический вопрос. Надо попробовать. «Я презираю интеллигентность» на самом деле означает: «Я не в силах выносить свои сомнения».
Я предпочитаю ни на что не закрывать глаза.

Ноябрь
Повидать Грецию. Дух и чувство, любовь к выражению как доказательства упадка. Греческая скульптура приходит в упадок, когда появляются улыбка и взгляд. Итальянская живопись тоже, включая XVI век «колористов».
Парадокс – судьба грека, ставшего великим художником поневоле. Дорические Аполлоны восхитительны, потому что лишены выражения. Только живопись (к сожалению) привнесла выражение. – Но живопись «проходит», а шедевр остается.

Национальности возникают как знак распада. Едва нарушилось религиозное единство Священной Римской империи – национальности.

Восток хранит цельность. Интернационализм пытается вернуть Западу его истинное значение и призвание. Но основа уже не христианская – греческая.

Нынешний гуманизм: он лишь усугубляет пропасть между Востоком и Западом (вспомним Мальро). Но он восстанавливает силу.

Протестантизм. Нюанс. В теории позиции, достойные восхищения:
Лютер, Кьеркегор. А на практике?

Январь

Калигула, или Смысл смерти. 4 действия.
I а) Приход к власти. Радость. Добродетельная речь (ср. Светония).
б) Зеркало.
II а) Его сестры и Друзилла.
б) Презрение к великим.
в) Смерть Друзиллы.
Бегство Калигулы.
III
Конец: Калигула раздвигает занавес и выходит на авансцену: «Нет, Калигула не умер. Он тут и там. Он в каждом из нас. Если бы у вас была власть, если бы у вас было гордое сердце, если бы вы любили жизнь, вы увидели бы, как распоясывается это чудовище или ангел, которого вы носите в себе. Наша эпоха умирает оттого, что верила в нравственные ценности, верила, что все может быть прекрасным и неабсурдным. Прощайте, я возвращаюсь в Историю, где меня уже давно замуровали те, кто боится слишком сильно любить».

Январь

Эссе: Дом перед лицом Мира.
– В округе его называли домом трех студентов.
– Его покидают, чтобы жить затворником.
– Дом перед лицом Мира не дом, где развлекаются, это дом, где живут счастливо.

– Здесь одни девушки, – произносит М. в ответ на грубости, которые говорит Х.
М. и любовь:
– Вы вступили в возраст, когда радуются, узнавая себя в чужом ребенке.
– Ему надо изучить теорию относительности Эйнштейна – тогда он сможет заниматься любовью.
– Боже меня упаси, – говорит М.

Февраль

Цивилизация заключается не в большей или меньшей утонченности. Но в сознании, общем для целого народа. И это сознание никогда не бывает утонченным. Наоборот, оно вполне здравое. Представлять цивилизацию творением элиты – значит отождествлять ее с культурой, меж тем как это совершенно разные вещи. Существует средиземноморская культура. Но существует также и средиземноморская цивилизация. С другой стороны, не надо путать цивилизацию и народ.

Гастроли (театр)

Утренняя нежность и эфемерность окрестностей Орана, таких суровых и резких в солнечном свете дня: сверкающие русла пересохших рек, окаймленные олеандрами, почти неправдоподобные краски неба в лучах восходящего солнца, лиловые горы с розовым обрамлением. Все предвещает лучезарный день. Но чувствуется, что сдержанность и мягкость уже на исходе.

Апрель 1937 г.

Любопытно: Неумение оставаться в одиночестве, неумение быть на людях. Соглашаешься и на то, и на другое. И то, и другое приносит пользу.

Самый опасный соблазн: не походить ни на кого.

Касба: всегда наступает момент, когда человек отгораживается от самого себя. Угольки в костре, который потрескивает посреди темной грязной улочки.

Безумие – прекрасная декорация восхитительного утра – солнце. Небо и скелеты. Музыка. Палец по оконному стеклу.

Стремление всегда быть правым – признак вульгарного ума.

Рассказ: человек, который не хочет оправдываться. Он предпочитает мнение, которое о нем сложилось. Он умирает, так и не открыв никому правды о себе. Слабое утешение.

Апрель

Женщины, которые предпочитают мысли ощущениям.

Для эссе о развалинах:
Суховей – старый человек, высохший, как олива Сахеля.
1) Эссе о развалинах: ветер в развалинах или смерть на солнце.
2) Вернуться к теме «смерть в душе». Предчувствие.
3) Дом перед лицом Мира.
4) Роман – работать над ним.
5) Эссе о Мальро.
6) Диссертация.

В чужой стране солнце золотит дома на холме. Впечатление более сильное, чем от такого же зрелища в родной стране. Солнце здесь другое. Уж я-то доподлинно знаю, что солнце здесь другое.

Вечером мир над бухтой ласков. Бывают дни, когда мир лжет, и дни, когда он говорит правду. Сегодня вечером он говорит правду – и как настойчиво, печально и прекрасно.

Май

Психология, сводящаяся к копанию в мелочах, ошибочна. Люди ищут себя, изучают. Чтобы познать себя, чтобы самоутвердиться. Психология есть действие, а не самокопание. Человек пребывает в поиске в течение всей жизни. Познать себя до конца – значит умереть.

1) Чарующая поэзия, предвестница любви.
2) Человек, который был лишен всего, даже возможности умереть.

3) В молодости легче сживаешься с пейзажем, чем с человеком. Потому что пейзаж позволяет фантазировать.

Май

Набросок предисловия к «Изнанке и лицу».

В своем теперешнем виде эти эссе по преимуществу бесформенны.

Что происходит не от удобного для автора презрения к форме, но единственно от недостаточной зрелости. От читателей, которые примут эти страницы за то, чем они являются на самом деле, а именно за эссе, можно требовать лишь одного – чтобы они следили за их постепенным развитием. Быть может, если читать их подряд, удастся заметить подспудное движение мысли, которое их объединяет, я бы сказал – оправдывает, если бы оправдание не казалось мне бессмысленным и если бы я не знал, что люди всегда предпочитают верить не человеку, а представлению, которое о нем сложилось.

Писать – значит действовать бескорыстно. Некоторая отрешенность в искусстве. Переписывать. Усилие всегда оборачивается большей или меньшей выгодой. Если ты потерпел неудачу, виновата лень.

Лютер: «В тысячу раз важнее твердо верить в отпущение грехов, чем быть его достойным. Эта вера делает вас достойным и приносит истинное удовлетворение».

(Проповедь об оправдании верой, прочитанная в Лейпциге в 1519 году.)

Июнь

Священник каждый день навещает осужденного на смерть. При мысли о том, что ему отрежут голову, колени подгибаются, губы пытаются произнести имя, всем существом овладевает безумное желание броситься на землю и укрыться в «Господи, Господи!».

Но каждый раз человек сопротивляется, не хочет этой легкости и хочет подавить весь свой страх. Он умирает молча, с глазами, полными слез.

Философии значат столько, сколько значат философы. Чем больше величия в человеке, тем больше истины в его философии.

Цивилизация против культуры.

Империализм есть чистая цивилизация. Ср. Сесил Родс. «Экспансия – это все» – цивилизации суть островки – культура неизбежно превращается в цивилизацию (ср. Шпенглер).

Культура: вопль человека перед лицом судьбы.

Цивилизация, ее упадок: жадность человека перед лицом богатств. Ослепление.

О политической теории касательно Средиземноморья.

«Я говорю о том, что знаю».

1) Экономические очевидности (марксизм).

2) Духовные очевидности (Священная Римская империя).

Трагическая борьба страждущего мира. Никчемность проблемы бессмертия. Нас волнует прежде всего наша судьба, да.

Но не «после» – «*до*».

Утешительная сила Ада.

1) С одной стороны, бесконечное страдание непостижимо для нас – мы воображаем передышки.

2) Мы нечувствительны к слову «вечность». Оно для нас – абстракция. Разве что в той мере, в какой мы говорим о «вечном мгновении».

3) Ад – это жизнь с этим телом, которая все же лучше, чем небытие.

Логическое правило: единичное имеет значение универсального.

Алогическое: трагическое противоречиво.

Практическое: человек может быть умен в какой-то одной области и глуп в других.

Быть глубоким благодаря неискренности.

«Крошка» глазами Марселя. «Ее муж в этом деле не мастак.

Как-то раз она мне говорит: “С мужем все совсем не так”».

Сражение под Шарлеруа глазами Марселя.

«Нам, зуавам, велели растянуться цепью. Командир говорит: «Вперед!» Мы спустились в какой-то овраг с деревьями. Говорят: «Вперед!» А впереди никого не видать. И мы идем себе, идем. Вдруг пулеметы как начали по нас строчить. Все попадали друг на друга. Столько было раненых и убитых, на дно оврага столько натекло крови, что хоть на лодке плыви. Вот тут кое-кто закричал «Мама!», так было страшно».

– О Марсель, сколько у тебя медалей, где же ты все это заработал?

– Где заработал? Да на войне.

– Как на войне?

– Тебе что, грамоты принести, где про это написано? Хочешь прочесть своими глазами? Ты что же думаешь?

Приносит «грамоты».

«Грамоты» выписаны на весь полк, в котором служил Марсель.

Марсель. Мы люди небогатые, но едим вдоволь. Видишь моего внука – ест больше отца. Его отцу хватает фунта хлеба, а этому целый килограмм подавай. И знай себе уплетает за обе щеки, знай себе наворачивает. Как проглотит, отдышится и ест дальше.

Июль

Вид квартала Мадлен. Красота, пробуждающая любовь к бедности. Я так далек от моего лихорадочного возбуждения – я почти не способен ничем гордиться, кроме своей любви. Держаться поодаль. Надо высказать, и высказать поскорее, что у меня на сердце.

«Никакого отношения». Настоящий роман. Ревностный поборник веры. Его мать умирает. Он от всего отказывается. Но вера его не пошатнулась. Никакого отношения, в этом-то все и дело.

Гидросамолет: величие металла, сверкающего в бухте и среди голубого неба.

Сосны, желтизна пыльцы и зелень листьев.

Христианство, как и Жид, требует от человека смирения страстей. Но Жид видит в этом лишь удовольствие. Христианство же считает это умерщвлением плоти. В этом смысле оно

более «естественно», чем интеллектуал Жид. Но менее естественно, чем народ, который утоляет жажду из источников и знает, что удовольствие кончается пресыщением («Апология пресыщения»).

Прага. Бегство от себя.
– Я хотел бы комнату.
– Разумеется. На одну ночь?
– Нет. Не знаю.
– У нас есть номера по 18, 25 и 30 крон.
(Никакого ответа.)
– Какой номер вы желаете, месье?
– Любой (смотрит на улицу).
– Портье, отнесите вещи в номер 12.
(Очнувшись.)
– Сколько стоит этот номер?
– Тридцать крон.
– Это слишком дорого. Я хотел бы номер за 18 крон.
– Портье, номер 34.

1) В поезде, который уносил его в «…», Х. рассматривал свои руки.
2) Тип, который постоянно торчит там. Но это просто совпадение.

Лион.
Форарльберг-Халле.
Купштейн. Часовня и поля вдоль Инна в дождь. Все более и более глухие места.
Зальцбург. Ильдерман. – Кладбище Святого Петра. Сад Мирабель и его гордость. Дожди, флоксы – озеро и горы – поход на плато.
Линц. Дунай и рабочие предместья. Врач.
Бутвайс. Предместье. Маленький готический монастырь. Глушь.
Прага. Первые четыре дня. Монастырь в стиле барокко. Еврейское кладбище. Барочные церкви. Посещение ресторана. Голод. Безденежье. Покойник. Огурец в уксусе. Однорукий человек играет на аккордеоне, подложив его ремень под задницу.
Дрезден. Живопись.
Баутцен. Готическое кладбище. Герань и множество солнц в кирпичных арочках.
Бреслау. Моросящий дождь. Церкви и заводские трубы. Трагический пейзаж.
Равнины Силезии. Безжалостные и неблагодарные – дюны – стая птиц, пролетающая промозглым утром над слякотной землей.
Ольмюц. Ласковые и спокойные равнины Моравии. Кислые сливы и волнующие дали.
Брно. Бедные кварталы.
Вена. Цивилизация – пышные громады в окружении садов. Сокровенная тоска, которая прячется в этих шелковых складках.

Италия.
Церкви вызывают особое чувство: Ср. Андреа дель Сарто.
Живопись: суровый и застывший мир, доверие и т. д.
Отметить: итальянская живопись и ее упадок.

Интеллектуал перед выбором: присоединиться или нет (фрагмент).

Июль

Что невыносимо для женщин в привязанности без любви, которой жалует их мужчина. Для мужчины – горькая нежность.

Супружеские пары: мужчина пытается перед кем-нибудь блеснуть. Жена тут же: «А сам-то ты…» – и старается его принизить, выставить такой же посредственностью, как и она сама.

В поезде. Мать говорит ребенку:

– Не соси пальцы, грязнуля.

Или: – Если не перестанешь, ты у меня получишь.

То же. Супружеские пары: жена в переполненном поезде встает с места.

– Дай, – говорит она.

Муж роется в кармане и протягивает ей клочок бумаги, который она просит.

Июль 1937 г.

Для Романа об игроке.

Ср. «Плеяды»: захватывающий ритм. Вести игру.

Душа, созданная для роскоши. Искатель приключений.

Июль 1937 г.

Игрок. Революция, слава, любовь и смерть. Разве стоят они того, что есть во мне, такое важное и неподдельное?

– Что же?

– Груз подступающих слез, – говорит он, – питающих мою любовь к смерти.

Июль 1937 г.

Искатель приключений. Отчетливо чувствует, что в искусстве делать уже нечего. Ничто великое, ничто новое не возможно – во всяком случае, в западной культуре. Остается только действовать. Но тот, в ком есть величие души, начнет действовать не иначе, как с отчаянием.

Июль

Когда аскеза добровольна, можно поститься шесть недель, обходясь одной водой. Когда она вынужденна (голод), то не больше десяти дней.

Запас истинной жизненной силы.

Система дыхания тибетских йогов. Следовало бы привнести в подобные опыты нашу позитивную методологию. Иметь «откровения», в которые сам не веришь. *Что мне нравится:* сохранять трезвость ума даже в исступлении.

Женщины на улице. Зверь, сгорающий от желания, уютно расположился в лоне и ступает мягко, как дикое животное.

Август

Парижское шоссе: кровь стучит в висках, мир и люди внезапно и странно отдаляются. Бороться со своим телом. Я сидел на ветру, опустошенный, выпотрошенный, и все время думал о К. Мэнсфилд, об этой длинной трогательной и горестной истории борьбы с болезнью. В Альпах наряду с одиночеством и с мыслью о том, что я приехал лечиться, меня ждет *сознание*, что я болен.

Идти до конца – значит не только сопротивляться, но также дать себе волю. Мне необходимо чувствовать свою личность постольку, поскольку в ней живет ощущение того, что выше меня. Иногда мне необходимо писать вещи, которые от меня ускользают – но именно они и доказывают, что есть во мне что-то сильнее меня.

Август

Приветливость и волнение Парижа. Кошки, дети, всеобщая непринужденность. Серые тона, небо, большой парад камня и воды.

Арль.

Август 1937 г.

Он каждый день уходил в горы и возвращался, не говоря ни слова, с запутавшимися в волосах травинками, весь в царапинах. И каждый раз повторялось одно и то же: покорение без обольщения. Мало-помалу он преодолевал сопротивление этого неприветливого края. Ему удавалось слиться с круглыми белыми облаками, на фоне которых над гребнем возвышалась одинокая пихта, слиться с полями розоватого кипрея, с рябиной и колокольчиками. Он врастал в этот благоуханный каменистый мир. Когда он взбирался на далекую вершину и перед ним внезапно открывался величественный пейзаж, он не чувствовал в душе умиротворения любви, он заключал с этой чужой природой своего рода договор – то было перемирие между двумя заклятыми врагами, столкновение двух противников, а не дружеское общение двух старых знакомых.

Умиротворенность Савойи.

Август 1939 г.

Человек, который искал жизнь в том, в чем ее видят обычно (женитьба, положение в обществе и т. д.), и который, листая каталог модных вещей, вдруг обнаруживает, насколько ему чужда эта жизнь (такая, какой она предстает в каталоге модных вещей).

I часть. Его жизнь до этого момента.

II часть. Игра.

III часть. Отказ от компромиссов и правда в природе.

Август 1937 г.

Последняя глава? Париж – Марсель. Путь к Средиземному морю.

И он вошел в воду и смыл с себя черные уродливые отпечатки, оставленные миром. Вдруг, играя мускулами, он вновь почувствовал запах собственной кожи. Быть может, он никогда так не ощущал своего единения с природой, согласованности своего бега с бегом солнца. В этот час, когда тьма полнилась звездами, движения его явственно вырисовывались на фоне безмолвного лика неба. Шевельнув рукой, он очерчивает пространство, отделяющее это сверкающее светило от того, которое временами исчезает из виду, он увлекает за собой снопы звезд, шлейф облаков. И вот – небесная влага, плещущаяся под его рукой, и город вокруг него, словно плащ с переливчатыми ракушками.

Два героя. Самоубийство одного из них?

Август 1937 г.

Игрок.

– Это будет трудно, очень трудно. Но это не повод.

– Конечно, – говорит Катрин, поднимая глаза к солнцу.

Игрок.

Госпожа Х., вообще-то старая дура, была прирожденной музыкантшей.

Для романа.

I часть: передвижной театр. Кино. История большой Любви (коллеж Сент-Шанталь).

Август 1937 г.

Проект плана. Сочетать игру и жизнь.

I часть.

А – Бегство от себя.

Б – М. и бедность (все в настоящем времени). Главы серии А описывают игрока. Главы серии Б – жизнь до смерти матери (смерть Маргариты – различные занятия: маклерство, автодетали, префектура и т. д.).

Последняя глава: Путь к солнцу и смерть (самоубийство – естественная смерть).

II часть.

Наоборот. А в настоящем: вновь обретенная радость. Дом перед лицом Мира. Связь с Катрин.

Б в прошлом. Обманут. Сексуальная ревность. Бегство.

III часть.

Все в настоящем. Любовь и солнце. Нет, говорит мальчик.

Август 1937 г.

Всякий раз, как я слышу или читаю политические выступления тех, кто нами руководит, я с ужасом обнаруживаю, что в них нет ни единого человеческого слова. Вечно одни и те же фразы, повторяющие одну и ту же ложь. И если люди к этому привыкают, если народ еще не растерзал марионеток, это, по моему убеждению, доказывает только одно: люди ни в грош не ставят свое правительство и превращают в игру – да-да, именно в игру – немалую часть своей жизни и своих так называемых жизненных интересов.

$А_2$ или $А_5$ части I.

Я в отчаянии от того, какое огромное значение люди придают душевным порывам. Если вы меланхолик, жизнь вдвоем становится невыносимой. Ибо, если вы родились с благородным сердцем, вам не снести бесчисленных вопросов, которыми вас засыпают. А ведь это может значить для вас почти так же много, как голод или желание…

Август 1937 г.

План. Три части.

I часть: А в настоящем.

Б в прошлом.

Гл. $А_1$ – день г-на Мерсо, взгляд со стороны.

Гл. $Б_1$ – Бедный квартал Парижа. Лавка, где торгуют кониной. Патрис и его семья. Немой. Бабушка.

Гл. $А_2$ – Беседа и парадоксы. Гренье. Кино.

Гл. $Б_2$ – Болезнь Патриса. Доктор. «Эта высшая точка…»

Гл. $А_3$ – Месяц передвижного театра.

Гл. $Б_3$ – Занятия (маклерство, автодетали, префектура).

Гл. $А_4$ – История великой любви: «С вами такого больше не случалось?» – «Случилось, сударыня, когда я увидел вас». Тема револьвера.

Гл. $Б_4$ – Смерть матери.

Гл. $А_5$ – Встреча с Раймондой.

Или:

I А – Сексуальная ревность.

Б – Бедный квартал – мать.

II А – Дом перед лицом Мира – звезды.

Б – Бьющая через край жизнь.

III Бегство – Катрин, которую он не любит.

Сокращать и уплотнять. История сексуальной ревности, которая приводит к отъезду в чужие края. Возвращение к жизни.

«Мудрость, за которой он ездил так далеко, сохраняла, конечно, свою ценность, но только по возвращении в царство света».

Приезд в Прагу – до самого отъезда – болезнь.

Объяснение – Люсиль – Бегство.

Август

Отсутствие испанских философов.

Роман: человек, понявший, что для того, чтобы жить, надо быть богатым, всецело предается погоне за деньгами, добивается успеха, живет и умирает *счастливым*.

Сентябрь

Тот август был чем-то вроде затишья – глубокий вдох, прежде чем неистовым усилием все разрешить. Прованс и что-то во мне, чему приходит конец. Прованс подобен женщине, которая опирается на вашу руку.

Надо жить и созидать. Жить до слез – как перед этим крытым круглой черепицей домом с синими ставнями, который стоит на поросшем кипарисами склоне.

Монтерлан: Со мной всегда что-нибудь случается.

В Марселе, счастье и грусть – я на пределе. Любимый мною живой город. Но в то же время – горечь одиночества.

8 сентября

Марсель, гостиничный номер. Обои – желтые цветы на сером фоне. География грязных пятен. Загаженные, закопченные углы позади огромного радиатора. Кровать с сеткой, разбитый выключатель… Та свобода, которую чувствуешь при виде чего-то сомнительного и подозрительного.

М. 8 сентября

Долгий заход ослепительного солнца. Цветущие олеандры в Монако и Генуе. Синие вечера на лигурийском побережье. Моя усталость и подступающие к горлу слезы. Одиночество и жажда любить. Наконец Пиза, живая и строгая, ее зелено-желтые дворцы, ее купола и дивные берега сурового Арно. Сколько благородства в этом отказе распахнуть свою душу. Город стыдливый и чувствительный. На безлюдных ночных улицах он совсем рядом со мной – и,

гуляя один, я даю наконец волю слезам. Какая-то незаживающая рана в моей душе начинает зарубцовываться.

На стенах Пизы: Alberto fa l'amore con la mia sorella[84].

Четверг 9

Пиза и ее жители, отдыхающие на площади перед Дуомо. Кампо Санто с его прямыми линиями и кипарисами по углам. Становятся понятными распри XV и XVI веков. Каждый город здесь имеет свое лицо и свою сокровенную правду.

Нет другой жизни, кроме той, чье уединение нарушал мерный звук моих шагов по берегу Арно. А также той, что волновала меня в поезде, идущем во Флоренцию. Женщины с такими серьезными лицами вдруг разражались смехом. Особенно хохотала одна, с длинным носом и горделивым ртом. В Пизе я долго предавался лени на поросшей травой Пьяцца дель Дуомо. Я пил из фонтанчиков, и вода была тепловатой, но бежала так быстро. По пути во Флоренцию я подолгу любовался лицами, упивался улыбками. Счастлив я или несчастен? Не важно. Я живу так яростно.

Вещи, живые существа ждут меня, и я, конечно, тоже жду их и тянусь к ним всеми силами моей печальной души. Но здесь я добываю себе средства к существованию, храня молчание и тайну.

Как чудесно, когда не нужно говорить о себе.

Гоццоли и Ветхий завет (костюмированный).

Фрески Джотто в церкви Санта-Кроче. Потаенная улыбка святого Франциска, любящего природу и жизнь. Он оправдывает тех, кто стремится к счастью. Мягкий нежный свет над Флоренцией. Небо набухает, медля пролиться дождем. «Положение во гроб» Джоттино: Мария скорбит, сжав зубы.

Флоренция. На углу возле каждой церкви горы цветов с плотными блестящими лепестками, в капельках росы, таких простодушных.

Mostra Giottesca[85].

Требуется время, чтобы заметить, что ранние флорентийские мастера изображали лица, которые каждый день встречаются на улицах. Потому что мы утратили привычку видеть в лице главное. Мы уже не смотрим на своих современников, мы лишь берем от них то, что помогает нам ориентироваться (во всех смыслах). Раннехристианские мастера не искажают, они «воплощают».

Над монастырским кладбищем Сантиссима-Аннунциата серое небо с нависшими тучами; архитектура строгая, но ничто здесь не напоминает о смерти. Есть надгробные плиты и надписи: этот был нежным отцом и верным мужем, тот был лучшим из супругов и предприимчивым торговцем, молодая женщина, образец всех добродетелей, говорила по-французски и по-английски, si come il nativo[86]. (Все ревностно исполняли свой долг, а сегодня на плитах, призванных увековечить их совершенства, дети играют в чехарду.) Вон там лежит девушка,

[84] Альберто занимается любовью с моей сестрой *(ит.)*.

[85] Выставка Джотто *(ит.)*.

[86] Как на своем родном языке *(ит.)*.

бывшая единственной надеждой своих родных. Ma la gioia e pellegrina sulla terra[87]. Однако все это меня не убеждает. Почти все, судя по надписям, покорились вышней воле, вероятно, оттого, что ревностно выполняли свой долг в этом, как и во всем прочем. Я не покорюсь. Я буду безмолвно протестовать до конца. Нечего говорить «надо». Я прав в своем бунте, и я буду шаг за шагом идти к радости, этой вечной страннице на земле.

Тучи сгущаются, и ночь постепенно погружает во мрак надгробные плиты, на которых высечена мораль, приписанная мертвым. Если бы я был моралистом и писал книгу, то из сотни страниц девяносто девять оставил бы чистыми. На последней я написал бы: «Я знаю только один долг – любить». Никаких других *я не признаю*. Решительно не признаю. Плиты утверждают, что это бесполезно и что жизнь идет. Col sol levante, col sol cadente?[88] Но бесполезность нимало не ослабляет моего бунта, наоборот, она его разжигает.

Я сидел на земле, прислонившись к колонне, и думал об этом, а дети смеялись и резвились. Священник улыбнулся мне. Женщины смотрели на меня с любопытством. В церкви глухо играл орган, и его мягкий звук доносился порой сквозь крики детей. Смерть! Если продолжать в том же духе, я мог бы умереть счастливым. Я растранжирил бы всю свою надежду.

Сентябрь

Если вы говорите: «Я не понимаю христианства, мне нужны утешения», значит, вы человек ограниченный и пристрастный.

Но если, живя без утешения, вы говорите: «Я понимаю позицию христианства и восхищаюсь ею», значит, вы легкомысленный дилетант. Что до меня, я начинаю утрачивать чувствительность к общественному мнению.

Монастырь Сан-Марко. Солнце среди цветов.

Раннее Возрождение в Сиене и Флоренции. Художники постоянно изображали здания маленькими, а людей большими, не потому, что не знали законов перспективы, но потому, что упорно верили в человека и святых, которых изображали. Брать с них пример в работе над театральными декорациями.

Поздние розы в монастыре Санта-Мария-Новелла и флорентийские женщины в это воскресное утро. Пышные груди, глаза и губы, от которых у вас начинает сильнее биться сердце, пересыхает во рту и по всему телу разливается жар.

Фьезоле.

Приходится вести трудную жизнь. Не всегда удается поступать так, как того требует мой взгляд на вещи. (И стоит мне только завидеть абрис моей судьбы, как он уже ускользает от моего взгляда.) Приходится упорно трудиться и бороться за то, чтобы вновь обрести одиночество. Но в один прекрасный день земля озаряется своей первозданной и наивной улыбкой. Тогда борьба и жизнь в нас сразу словно бы затихают. Миллионы глаз созерцали этот пейзаж, а для меня он словно первая улыбка мира. Он выводит меня из себя в глубинном смысле слова. Он убеждает меня, что вне моей любви все бесполезно и даже любовь моя, если она утратила невинность и беспредметность, бессильна. Он отказывает мне в индивидуальности и не откликается на мои страдания. Мир прекрасен, и в этом все дело. Он терпеливо разъясняет нам великую истину, состоявшую в том, что ум и даже сердце – ничто. А камень, согретый солн-

[87] Но радость – странница на земле *(ит.)*.

[88] Жизнь то возвышает нас, то губит *(ит.)*.

цем, или кипарис, который кажется еще выше на фоне ясного неба, очерчивают единственный мир, где понятие «быть правым» обретает смысл, – природу без человека. Этот мир меня уничтожает. Он стирает меня с лица земли. Он отрицает меня без гнева. А я, смирившийся и побежденный, устремляюсь на поиски мудрости, которой все уже подвластно, – только бы слезы не застилали мне взор и только бы громкое рыдание поэзии, распирающее мне грудь, не заставило меня забыть о правде мира.

13 сентября

Запах лавра, который растет во Фьезоле на каждом шагу.

15 сентября

В монастыре Сан-Франческо во Фьезоле есть маленький дворик, окруженный аркадами, полный красных цветов, солнца и черно-желтых пчел. В углу стоит зеленая лейка. Повсюду жужжат мухи. Маленький садик тихо курится под палящим солнцем. Я сижу на земле, думаю о францисканцах, чьи кельи только что видел, чьи вдохновенные порывы мне теперь понятны, и отчетливо сознаю, что если они правы, то и я прав. Я знаю, что за стеной, к которой прислоняюсь, есть холм, а у подножия его раскинулась, как дар Божий, вся Флоренция с ее кипарисами. Но великолепие мира словно бы оправдывает этих людей. Я призываю на помощь всю мою гордость, чтобы уверовать, что оно оправдывает и меня, и всех подобных мне – тех, кто знает, что крайняя бедность всегда смыкается с роскошью и богатством мира. Если мы сбрасываем покровы, то лишь для более достойной (а не для иной) жизни. Это единственный смысл, который я вкладываю в слово «голь» (de2nuement). «Быть голым» всегда означает физическую свободу, близость руки к цветам, любовное согласие земли и человека, освободившегося от человеческих свойств, – ах, я несомненно уверовал бы во все это теперь, если бы это уже не произошло прежде.

Нынче я чувствую себя свободным по отношению к своему прошлому и к тому, что я утратил. Я жажду лишь этой сосредоточенности да замкнутого пространства – этого ясного и терпеливого горения. Я хочу одного: держать свою жизнь в руках, как тесто, которое изо всех сил мнут и месят, прежде чем посадить хлебы в печь, – и уподобиться людям, сумевшим провести всю жизнь между цветами и колоннами. То же и эти долгие ночи в поезде, когда можно разговаривать с самим собой, наедине с собой строить планы и с восхитительным терпением возвращаться к уже обдуманному, останавливать свои мысли на бегу, затем снова гнать их вперед. Сосать свою жизнь, как леденец, лепить, оттачивать, наконец, любить ее – так подыскивают окончательное слово, образ, фразу, заключительные, западающие в память, те, что мы уносим с собой и что будут отныне определять наш угол зрения. Можно на том и остановиться и положить конец целому году мятежной и изнурительной жизни. Я силюсь довести свое присутствие в себе самом до конца, сохранить его во всей моей многоликой жизни – даже ценой одиночества, нестерпимость которого я теперь узнал. Главное – не поддаваться. Не соглашаться, не предавать. Все мое исступление помогает мне в этом, и в точке, куда оно несет меня, я обретаю мою любовь, а вместе с нею – неистовую страсть жить, которая составляет смысл моего существования.

Всякий раз, когда человек («Я») уступает своему тщеславию, всякий раз, когда человек думает и живет, чтобы «казаться», он совершает предательство. Желание «казаться» – это большое несчастье, которое всегда принижало меня перед лицом истины. Нет необходимости открывать душу всем, откроем ее лишь тем, кого мы любим. Ибо в этом случае мы желаем не казаться, а лишь дарить. Сильный человек – тот, кто умеет казаться только тогда, когда надо. Идти до конца – значит уметь хранить свою тайну. Я страдал от одиночества, но, чтобы сохранить свою тайну, я преодолел страдание, причиняемое одиночеством. И сегодня я убежден, что самая большая заслуга человека в том, чтобы жить в одиночестве и безвестности. Писать –

вот что приносит мне глубокую радость! Жить в согласии с миром и наслаждаться – но только быть при этом голым и босым. Я не был бы достоин любить наготу пляжей, если бы не умел оставаться нагим наедине с собой. Впервые слово «счастье» не кажется мне двусмысленным. Пожалуй, я понимаю под ним не совсем то, что обычно имеют в виду люди, говорящие: «Я счастлив».

Некоторое постоянство в отчаянии рано или поздно рождает радость. И у каждого из тех, кто в монастыре Сан-Франческо окружили себя красными цветами, стоит в келье череп, дающий пищу для размышлений. За окном Флоренция, а на столе смерть. Что до меня, то если я чувствую, что в жизни моей происходит перелом, то не благодаря тому, что я приобрел, а благодаря тому, что утратил. Я чувствую в себе необъятные, глубокие силы. Именно они позволяют мне жить так, как я считаю нужным. Если сегодня я так далек от всего, то вот почему: у меня есть силы только на любовь и восхищение. Мне кажется, я готов приложить все силы любви и отчаяния, чтобы лелеять жизнь с ее залитым слезами или сияющим лицом, жизнь без соли и раскаленного камня, жизнь, как я ее люблю и понимаю. Сегодня не похоже на перевалочный пункт между «да» и «нет». Оно – и «да», и «нет». «Нет» – и бунт против всего, что не есть слезы и солнце. «Да» – моей жизни, которая впервые сулит мне что-то хорошее впереди. Кончаются бурный, мятежный год и Италия; грядущее неопределенно, но я совершенно свободен по отношению к прошлому и к себе самому. Вот моя бедность и мое единственное богатство. Я как бы начинаю все сначала – не более и не менее. Но с сознанием собственных сил, с презрением к собственному тщеславию, с ясным, хоть и возбужденным умом, который торопит меня навстречу судьбе.

15 сентября 1937 г.

Тетрадь № II. Сентябрь 1937 года – апрель 1939 года

22 сентября

«Счастливая смерть»

– Видите ли, Клер, это довольно трудно объяснить. Важно одно: знать, чего ты стоишь. Но для этого надо выбросить из головы Сократа. Чтобы узнать себя, надо действовать, хотя это вовсе не значит, что человек сможет понять себя до конца. Культ «я»! Не смешите меня. Какое «я» и какая личность? Когда я смотрю на свою жизнь и ее сокровенный лик, существо мое сотрясается от рыданий. Я – и эти губы, которые я целовал, и эти ночи в «Доме перед лицом Мира», я – этот бедный ребенок и эта безумная жажда жизни и власти, которая охватывает меня в иные моменты. Многие из тех, кто меня знает, порой не узнают меня. А я чувствую себя во всем похожим на этот бесчеловечный мир, сколком которого является моя собственная жизнь.

– Да, – говорит Клер, – вы играете в двух планах одновременно.

– Вероятно. Но когда мне было двадцать лет, я, как все, читал о том, что жизнь может обернуться комедией и т. д. Но я не об этом. Несколько жизней, несколько планов – да, конечно. Но когда актер на сцене, он принимает условия игры. Нет, Клер, мы прекрасно знаем, что это всерьез, – что-то подсказывает нам это.

– Почему? – спрашивает Клер.

– Потому что, если бы актер играл, не зная, что он играет пьесу, его слезы были бы настоящими слезами, а жизнь – настоящей жизнью. И всякий раз, когда я думаю о том, какой путь проходят во мне боль и радость, я понимаю, и еще как понимаю, что моя роль самая серьезная и волнующая.

А я хочу быть этим превосходным актером. Я отказываюсь от своей индивидуальности и не желаю ее развивать. Я хочу быть тем, что делает из меня моя жизнь, а не превращать эту жизнь в эксперимент. Я сам – эксперимент, а жизнь лепит и ведет меня. Я знаю, до какой идеальной безликости я дошел бы, как силен был бы мой порыв к деятельному небытию, если бы у меня достало силы и терпения. Что меня всегда останавливало, так это мое тщеславие. Сегодня я понимаю, что действовать, любить, страдать – это и значит жить настоящей жизнью, но жить в той мере, в какой это означает абсолютную чистоту и приятие своей судьбы как единственного отражения радуги радостей и страстей.

Путь и т. д. …

Но для этого нужно время: оно у меня теперь есть.

Клер долго молчала, затем взглянула Патрису в лицо и медленно произнесла:

– Много горестей ждет тех, кто вас любит.

В глазах Патриса промелькнуло отчаяние, он встал и отрезал:

– Я ничем не обязан тем, кто любит меня.

– Вы правы, – сказала Клер. – И тем не менее это факт. (Однажды вы останетесь один.)

23 сентября. К<ьеркегор> в ФП (Философских пустяках).

«Язык, подчеркивающий в слове «страсть» его родство со страданием, прав, хотя в повседневном употреблении, говоря «страсть», мы подразумеваем скорее судорожный порыв, удивляющий нас, и забываем, что речь идет о душевном страдании (гордыня – вызов)».

Там же. Превосходный актер (в жизни) есть тот, кто «претерпевает действие» – и сознает это – пассивная страсть.

«Он проснулся в поту, ничего не соображая, вскочил и побродил по квартире. Потом зажег сигарету и стал тупо разглядывать складки на своих помятых брюках. Во рту скопилась горечь сна и сигареты. Вокруг него хлюпал мягкий и влажный, словно болотная тина, день».

Рамакришна по поводу торгашей:
«Истинный мудрец не брезгает ничем».
Не путать слабоумие и святость.

23 сентября
Уединение, роскошь богачей.

26 сентября
1) Поместить перед романом отрывки из дневника (конец).
2) Сохранять трезвость ума даже в исступлении.
Подробное описание: Исчезновение друзей.
Трамваи (в конце рабочего дня?).
Идеи – лейтмотив.
Он все больше и больше погружался в молчание, замыкался в себе…
…Дошел до точки, где ясность ума может помрачиться. Гигантское усилие: возвращается к жизни – капли пота – думает о раздвинутых ногах женщины – идет к балкону и извергает семя в мир плоти и огней. «Это полезно для здоровья».
Затем принимает душ и делает упражнения с эспандером.

(«Теолого-политический трактат».)

У Жоржа Сореля. Это следовало бы посвятить «левым гуманистам», которые выдают нам Гельвеция, Дидро и Гольбаха за вершину французской литературы.
Идея прогресса, которая отравляет рабочие движения, – идея буржуазная, ведущая свое начало от XVIII века. «Мы должны всеми силами стараться помешать буржуазным идеям отравлять сознание становящегося класса: поэтому надо любой ценой разорвать всякую связь между народом и литературой XVIII века» («Иллюзия прогресса», с. 285 и 286).

30 сентября
Рано или поздно мне всегда удается изучить человека досконально. Надо только не жалеть времени. Всегда наступает момент, когда я чувствую разлад. Любопытно, что это происходит в ту минуту, когда мое внимание что-то отвлекает и мне становится «неинтересно».

Диалог.
– А чем вы занимаетесь в жизни?
– Я считаю, месье.
– Что?
– Я считаю. Я говорю: один, море, два, небо (ах, какая красота!), три, женщины, четыре, цветы (ах, какая прелесть!).
– Получается довольно глупо.
– Боже мой, ваше мнение совпадает с мнением вашей утренней газеты. А мое мнение совпадает с мнением мира. Вы думаете, как «Эко де Пари», а я думаю, как мир. Когда он залит светом, когда припекает солнце, меня охватывает желание любить и обнимать, сливаться с телами и светом, принимать плотские и солнечные ванны. Когда мир хмур, я полон меланхо-

лии и нежности. Я чувствую, что становлюсь лучше, что могу влюбиться всей душой и даже жениться. Впрочем, ни то ни другое не имеет значения.

После его ухода:

1) – Это дурак.

2) – Человек с претензиями.

3) – Циник.

– Нет, – говорит учительница, – он балованный ребенок; это же сразу видно. Маменькин сынок, который не знает жизни.

(Поскольку все больше и больше утверждается мнение, что считать жизнь легкой и прекрасной может лишь тот, кто ее не знает.)

30 сентября

Люди хотят поскорее прославиться и потому не желают переписывать.

Достойно презрения. Начать сначала.

2 октября

«Он шел не останавливаясь по грязным улицам; моросил дождь. В нескольких шагах уже ничего не было видно. Но он продолжал идти в полном одиночестве по этому городку, такому далекому от всего. От всего и от него самого. Нет, это было невыносимо. Плакать перед собакой, на виду у всех. Он имел право на счастье. Он не заслужил этого».

4 октября

«До последних дней я жил с убеждением, что надо что-то делать в жизни, в частности – что бедняку надо зарабатывать на жизнь, приобрести положение, устроиться. Должно быть, мысль эта, которую я пока еще не решаюсь назвать предрассудком, крепко укоренилась во мне, она не оставляла меня, сколько бы я ни иронизировал и ни принимал окончательные решения. Так вот, как только я получил назначение в Бель-Аббес, все вдруг нахлынуло снова – так значителен был этот шаг. Я отказался от назначения – вероятно, благополучие не имело для меня цены в сравнении с надеждами на подлинную жизнь. Я отступил перед унылым оцепенением такого существования. Если бы я переждал несколько дней, я бы, конечно, согласился. Но тут-то и крылась опасность. Я испугался одиночества и определенности. Я по сей день не знаю, сила или слабость двигала мной, когда я отверг эту жизнь, закрыл себе путь к тому, что называют «будущим», обрек себя на безвестность и бедность. Но я по крайней мере знаю, что если я веду борьбу, то за дело, которое того стоит. Хотя, если как следует посмотреть… Нет! Вероятно, я бежал не просто от определенности, но от определенности уродливой.

А вообще-то способен ли я быть, как говорят люди, «серьезным»? Может, я лентяй? Не думаю, и я это себе доказал. Но имеет ли человек право отказываться от работы под тем предлогом, что она ему не нравится? Я полагаю, что праздность разлагает только тех, кому не хватает темперамента. И если бы мне его не хватало, у меня оставался бы только один выход».

10 октября

Иметь значение или не иметь. Созидать или не созидать.

В первом случае все оправданно. Все, без исключения. Во втором случае – полный Абсурд. Остается выбрать наиболее эстетичное самоубийство: женитьба + покаянные молитвы или револьвер.

По дороге к кварталу Мадлен – снова эта жажда все отринуть перед лицом природы – такой прекрасной.

15 октября

Жироду (в кои-то веки): «Невинность существа есть полная приспособленность к миру, в котором он живет».

Напр.: невинность волка.

Невинен тот, кто ничего не стремится доказать.

17 октября

На дорогах, поднимающихся от города Блида, ночь разливает молоко и покой, даруя благость и сосредоточенность. Утро на горе с ее коротко остриженной шевелюрой, взъерошенной безвременниками, – сверкающие источники – тень и солнце – мое тело, сначала всеприемлющее, затем отвергающее. Сосредоточенное усилие при ходьбе, воздух режет легкие, как раскаленный железный прут или острая бритва, – упорные попытки превзойти себя и одолеть склон – или познать себя, познав свое тело. Тело, истинный путь культуры, показывает нам предел наших возможностей.

Деревушки жмутся к возвышенностям и живут каждая своей жизнью. Мужчины в длинных белых одеждах – их простые и точные движения вырисовываются на фоне вечно голубого неба. Дорожки обсажены фиговыми деревьями, оливами, цератониями и юбами. По пути нам встречаются ослы, груженные маслинами. У погонщиков лица смуглые, а глаза светлые. И между человеком и деревом, между жестом и горой рождается своего рода согласие, трогательное и радостное разом. Греция? Нет, Кабилия. Кажется, будто вся Эллада перенеслась сюда через века и возродилась в своем античном великолепии между морем и горами, и лишь лень да почтение к судьбе выдают в этом краю соседство с Востоком.

18 октября

В сентябре над всем Алжиром плывет запах любви, источаемый цератониями, – кажется, будто вся земля отдыхает после совокупления с солнцем и лоно ее увлажнено семенем, благоухающим миндалем.

На этой дороге, ведущей в Сиди-Брахим, после дождя от цератоний исходит запах любви, тяжелый и гнетущий, давящий всем своим водяным грузом. Потом, когда солнце откачивает воду, краски снова расцветают и запах любви становится легким, едва уловимым ноздрями. Кажется, будто, проведя целый день в духоте, вы выходите на улицу вместе с любовницей и она смотрит на вас, прижимаясь к вам плечом, среди огней и толпы.

Хаксли: «В конечном счете достойнее быть хорошим буржуа, не лучше и не хуже других, чем плохим художником, или псевдоаристократом, или второсортным интеллектуалом…»

20 октября

Потребность в счастье и его терпеливый поиск. Нет нужды изгонять меланхолию, но есть необходимость изжить в себе пристрастие к трудному и роковому. Радоваться общению с друзьями, пребывать в согласии с миром и добиваться счастья, следуя путем, который, впрочем, ведет к смерти.

«Вы будете в страхе ожидать смерти».

«Да, но я неукоснительно выполню свою миссию, а моя миссия – жить». Не соглашаться с условностями, не соглашаться на сидение в конторе. Никогда не сдаваться – всегда требовать большего. И сохранять ясный ум, даже просиживая долгие часы в конторе. Стремиться к наготе, к которой мир возвращает нас, как только мы оказываемся с ним наедине. Но прежде всего не стараться казаться, а только – быть.

21 октября

Тому, кто путешествует очень скромно, нужно гораздо больше энергии, чем тому, кто строит из себя торопливого путешественника. Плыть на палубе, прибывать к месту назначения усталым и опустошенным, долго ехать третьим классом, зачастую есть всего один раз в день, считать каждый грош и каждую минуту бояться, что какой-нибудь несчастный случай вдруг задержит вас в пути, и без того тяжелом, – все это требует мужества и воли, поэтому невозможно принимать всерьез проповеди о «перемене мест». Путешествовать – занятие не из веселых и не из легких. И надо не бояться трудностей и любить неизвестность, чтобы осуществить свою мечту о путешествии, когда ты беден и не имеешь денег. Но если посмотреть как следует, безденежье предостерегает от дилетантства. Конечно, я не стану утверждать, что Жид и Монтерлан много потеряли оттого, что не ездили по железной дороге со скидкой и не застревали в каждом городе на неделю в ожидании билета. Но я хорошо знаю, что в глубинном смысле не могу смотреть на вещи, как Монтерлан или Жид, – ибо езжу по железной дороге со скидкой.

25 октября

Что невыносимо и постыдно, так это суесловие.

5 ноября

Кладбище в Эль-Кеттар. Хмурое небо и бурное море у подножия холмов, усеянных белыми могилами. Мокрые деревья и земля. Голуби меж белых плит. Одинокий розово-красный куст герани и безмерная, безнадежная и немая печаль, которая роднит нас с прекрасным чистым ликом смерти.

6 ноября

Дорога к кварталу Мадлен. Деревья, кусочек земли и небо. Ах! Как далеко до этой первой звезды, которая ожидала нас на обратном пути, но какое тайное согласие царит между нею и моими движениями.

7 ноября

Персонаж, А.М. калека – ампутированы обе ноги – одна сторона парализована.

«Мне помогают справлять мои естественные потребности. Меня умывают. Меня вытирают. Я почти ничего не слышу. Но при этом я никогда не сделаю ни единого движения, чтобы сократить жизнь, в которую я так верю. Я согласился бы и на худшее. Быть слепым и лишенным всякой чувствительности, быть немым и не иметь контактов с внешним миром – только ради того, чтобы чувствовать в себе этот мрачный сжигающий меня огонь, ибо он и есть я, я живой – благодарный жизни за то, что она позволила мне гореть».

8 ноября

В ближайшем кинотеатре продают мятные конфеты с надписями: «Вы на мне женитесь?», «Вы меня любите?». И там же ответы: «Сегодня вечером», «Очень» и т. д. Их передают соседке, и она отвечает тем же манером. Совместная жизнь начинается с обмена конфетами.

13 ноября

Квиклински: «Я всегда действовал под влиянием минуты. Теперь потихоньку переучиваюсь. Действовать так, чтобы быть счастливым? Если мне суждено где-то обосноваться, почему бы не сделать это в той стране, которая мне по душе? Но, предвосхищая свои чувства, мы всегда ошибаемся – всегда. Так что надо жить так, как легче. Не принуждать себя, даже если

это кого-то шокирует. Это немного цинично, но так же рассуждает и самая красивая девушка в мире».

Все так, но я не уверен, что, предвосхищая свои чувства, мы обязательно ошибаемся. Мы просто поступаем неразумно. Во всяком случае, единственный эксперимент, который меня интересует, это тот, где абсолютно все ожидания оправдались бы. *Сделать что-либо, чтобы быть счастливым и действительно стать таковым.* Меня привлекает связь между миром и мной, двойное отражение, позволяющее моему сердцу вмешаться и даровать мне счастье, которое, однако, за определенной чертой полностью зависит от мира, властного либо довершить это счастье, либо его разрушить. Aedificabo et destruam[89], сказал Монтерлан. Мне ближе другое: Aedificabo et destruat[90]. Цикл не исчерпывается мной одним. В цикле существует взаимосвязь между мной и миром. Все дело в том, чтобы знать свое место.

16 ноября

Он говорит: «В жизни должна быть любовь – одна великая любовь за всю жизнь, это оправдывает беспричинные приступы отчаяния, которым мы подвержены».

17 ноября

«Воля к счастью».

3-я часть. Достижение счастья.

Несколько лет. Смена времен года, и ничего больше.

1-я часть (конец). Калека говорит Мерсо: «Деньги. Пытаться убедить себя, что можно быть счастливым, не имея денег, – своего рода духовный снобизм».

По пути домой М. рассматривает события своей жизни в новом свете. Ответ: «Да».

Для человека «благороднорожденного» быть счастливым – значит разделять судьбу всего человечества не из стремления к самоотречению, но из стремления к счастью. Чтобы быть счастливым, нужно время, много времени. Ведь счастье – это тоже терпение. А нужда в деньгах крадет у нас время. Время покупается. Все покупается. Быть богатым – значит иметь время быть счастливым, если вы того достойны.

22 ноября

Совершенно естественно пожертвовать небольшой частью своей жизни, чтобы не потерять ее целиком. Шесть или восемь часов в день, чтобы не подохнуть с голоду. Да и вообще, все идет на пользу тому, кто этой пользы ищет.

Декабрь

Густой, как масло, дождь на стеклах, глухой стук лошадиных копыт и глухой шум затяжного ливня – все принимало облик прошлого, и мрачная печаль проникала в сердце Мерсо, как вода проникала в его башмаки, а холод – в колени, плохо защищенные тонкой тканью. Из самых недр неба одна за другой набегали черные тучи, быстро уплывая и уступая место новым. Эта невесомая вода, которая лилась вниз, не похожая ни на туман, ни на дождь, легким прикосновением освежала лицо М. и промывала его глаза, обведенные большими кругами. Складка на его брюках исчезла, а с нею теплота и доверие, с которым нормальный человек смотрит на мир, созданный для него.

(В Зальцбурге.)

Иронизирует над Мартой – расстается с ней.

---

[89] Я построю и разрушу *(лат.)*.

[90] Я построю, и он разрушит *(лат.)*.

Человек, который подавал большие надежды, а теперь работает в конторе. Больше он ничего не делает, вернувшись домой, ложится и покуривает в ожидании ужина, затем снова ложится и спит до следующего дня. По воскресеньям он встает очень поздно и садится у окна, глядя на дождь или на солнце, на прохожих или на тишину. И так весь год. Он ждет. Ждет смерти. Что толку в надеждах, если все равно…

Политика страны и судьбы людей находятся в руках личностей, лишенных идеала и благородства. Те, в ком есть благородство, политикой не занимаются. И так во всем. Но теперь необходимо воспитать в себе нового человека. Необходимо, чтобы люди действия имели идеалы, а поэты были промышленниками. Необходимо воплощать мечты в жизнь – приводить их в действие. Прежде от них отрекались или в них погружались. Не надо ни погружаться, ни отрекаться.

У нас не хватает времени быть самими собой. У нас хватает времени только на то, чтобы быть счастливыми.

Освальд Шпенглер («Закат Европы»):

I. Форма и реальность:

«Понимать мир значит для меня быть его достойным».

«Тот, кто дает определения, не ведает судьбы».

«Помимо причинной необходимости – которую я буду называть логикой пространства – в жизни существует также органическая необходимость судьбы – логика времени…»

Отсутствие исторического чувства у греков. «История от древности до персидских войн есть продукт мысли, по сути своей мифической».

Изначально египетская колонна была каменной, дорическая колонна – деревянной. Таким образом аттическая душа выражала свою глубинную неприязнь к долговечности. «Египетская культура – воплощение заботы о будущем». Греки, счастливый народ, не имеют истории.

Миф и его антипсихологическое значение. Духовная история Запада, напротив, начинается с самоанализа внутренней жизни – это западная Vita nuova[91]. (Ср. наоборот: фрагменты мифов о Геракле; таковые же от Гомера до трагедий Сенеки. Тысячелетие. То есть древнее – нынешнее.)

Напр.: «Немцы изобрели механические часы, грозный символ быстротекущего времени, и бой их, денно и нощно раздававшийся с бесчисленных башен Западной Европы, является, быть может, самым грандиозным выражением исторического чувства во всем мироздании».

«Мы, люди западноевропейской культуры, наделенные историческим чувством, являем собой не правило, а исключение».

Бессмысленность схемы: Античность – Средние века – Новое время.

«Что означает тип сверхчеловека для мусульманского мира?»

«Удел культуры – цивилизация. На смену эллину приходит римлянин. Греческая *душа* и римский *ум*. Переход от культуры к цивилизации совершился в древности в IV веке, на Западе в XIX веке.

Наша литература и наша музыка – цивилизация для горожан.

А единственным предметом всякой философии становится у нас История философии.

Главный вопрос:

противопоставление истории и природы

[91] Новая жизнь *(лат.)*.

Математика История.
и картины (обдумать дополнительно).

Декабрь

Его волновала ее манера цепляться за его одежду, идти рядом, сжимая его руку, ее непринужденность и доверчивость – все это трогало его и возбуждало. А еще ее молчание, благодаря которому она вкладывала всю себя в каждое свое движение, и в этом, а равно и в серьезности, которой были исполнены ее поцелуи, чудилось что-то кошачье.

Ночью он почувствовал под пальцами выдающиеся скулы, холодные, как лед, и мягкие, дышащие теплом губы. И глубины его существа потряс вопль, отрешенный и страстный. Перед лицом ночи, усеянной звездами, и города, полного рукотворных огней и похожего на опрокинутое небо, под горячим и глубоким дыханием порта, которому он подставлял лицо, им овладело влечение к этому теплому источнику, неистовое желание прильнуть к этим живым губам, чтобы постичь весь смысл мира, жестокого и сонного, как немота, сковавшая ее уста. Он наклонился, и ему почудилось, будто он приник губами к птице. Марта застонала. Он впился в ее губы и несколько минут не отрываясь вдыхал эту теплоту, пьянившую его так, словно он сжимал в объятиях весь мир. А она при этом цеплялась за него, как утопающая, и, вынырнув на мгновение из своей бездонной пропасти и оттолкнув его губы, затем ловила их вновь и вновь, погружалась в черные ледяные воды, которые обжигали ее, как сонм богов.

Декабрь

Тому, кто создан для игры, всегда хорошо в женском обществе. Женщины – благодарная публика.

Вещи утомительные всегда утомляют поначалу. Дальше смерть. «Такая жизнь не для меня», но, живя этой жизнью, мы в конце концов смиряемся с нею.

Роман. I ч. Карточная партия («марьяж»). Разговоры.
«Мы, зуавы…»
«С моим мужем…»
Черномазый: «Ты мне противен. Ты мне противен. Счас узнаешь почему. Потому что ты зануда. А я не люблю зануд. *Ты не умеешь жить*».
(Парк Сен-Рафаэль.)
Роман. Заглавия: Чистое сердце.
Счастливцы на земле.
Золотой луч.

– Много ли вы знаете «любящих» мужчин, которые отказались бы от красивой и доступной женщины? А если кто и откажется, значит, ему недостает темперамента.
– Вы называете темпераментом отсутствие всякого серьезного чувства?
– Именно. (Во всяком случае, в том смысле, какой вы вкладываете в слово «серьезный».)

Роман. I ч.
Жилище Загрея в пригороде. Убийство. В комнате жарко натоплено. У Мерсо горят уши, он задыхается. Выйдя на улицу, он простужается (отсюда болезнь, которая его подкосит).
Гл. IV: разговор с З. начинается с «общих соображений».
– Да, – говорит З., – но вы не можете этим заниматься, работая.
– Нет, потому что все во мне восстает, и это плохо.
… – В сущности, – говорит М., – я человек взбалмошный и потому опасный.

Роман. IV ч. Пассивная женщина.

«Неправда, – говорит М., – что надо выбирать, что надо делать то, что хочешь, что существуют условия счастья. Счастье либо есть, либо нет. Важна воля к счастью. Своего рода глубокое убеждение, никогда не покидающее нас. Все остальное: женщины, искусство, успехи в обществе – не более чем повод. Канва, по которой нам предстоит вышивать».

Роман. III ч.

Через некоторое время Мерсо объявил о своем отъезде. Он собирался сначала попутешествовать, а затем обосноваться в окрестностях Алжира. Через месяц он вернулся, убедившись, что путешествия для него заказаны. Путешествие казалось ему тем, чем оно, в сущности, и является: неспокойным счастьем. М. стремился к другому, он искал осознанного блаженства. Вдобавок он чувствовал себя больным и знал, чего он хочет. Он готовился вторично покинуть Дом у моря.

Февраль 1938 г.

Здесь люди чувствуют судьбу. Это их и отличает.

Страдание оттого, что не все общее, и несчастье оттого, что все общее.

Февраль 1938 г.

Весь революционный дух заключается в протесте человека против условий человеческого существования. В этом смысле он является в той или иной форме единственной вечной темой искусства и религии. Революция всегда направлена против Богов – начиная с революции Прометея. Это протест человека против судьбы, а буржуазные паяцы и тираны – не более чем предлог.

И вероятно, можно уловить революционный дух в его историческом проявлении. Но тогда требуется вся эмоциональность Мальро, чтобы избежать соблазна приводить доказательства. Проще отыскать этот дух в его сути и судьбе. Поэтому произведение искусства, которое изображало бы завоевание счастья, было бы произведением революционным.

Открыть чрезмерность в умеренности.

Апрель 1938 г.

Сколько гнусности и ничтожества в существовании работающего человека и в цивилизации, базирующейся на людях работающих.

Но тут все дело в том, чтобы устоять и не сдаваться. Естественная реакция – в нерабочее время всегда разбрасываться, искать легкого успеха, публику, предлог для малодушия и паясничанья (по большей части люди для того и живут вместе). Другая неизбежная реакция заключается в том, чтобы разглагольствовать. Впрочем, одно не исключает другого, особенно если учесть плотскую распущенность, отсутствие физической культуры и слабоволие.

Все дело в том, чтобы молчать – упразднить публику и научиться судить себя. Сочетать в равной мере заботу о своем теле с заботой об осознанном существовании. Отбросить всякие претензии и отдаться двойной работе по освобождению от власти денег и от собственного тщеславия и малодушия. Жить упорядоченно. Не жалко потратить два года на размышления над одним-единственным вопросом. Надо покончить со всеми прежними занятиями и постараться ничего не забыть, а потом приняться терпеливо запоминать.

Поступив так, вы имеете один шанс из десяти избежать самого гнусного и ничтожного из существований – существования человека работающего.

Апрель

Отправить два эссе. «Калигула». Ни малейшей значительности. Недостаточно зрело. Издать в Алжире.

Продолжить занятия: философия и культура. Ради этого все бросить: диссертация.

Или биология + экзамен на право преподавания в институте, или Индокитай.

Каждый день делать записи в этой тетради: через два года написать *книгу*.

Апрель 1938 г.

Мелвилл ищет приключений и кончает жизнь конторским служащим. Он умирает в бедности и безвестности. Если человек живет одиноко и обособленно (это не одно и то же), даже завистники и клеветники в конце концов унимаются и оставляют его в покое. Но надо ежесекундно пресекать зависть и клевету в себе.

Май

Ницше. Осуждение Реформации, освобождающей христианство от принципов жизни и любви, которые прививал ему Цезарь Борджиа. Борджиа, ставший папой, оправдал наконец христианство.

В любой идее меня привлекает прежде всего ее острота и оригинальность – новизна и внешний блеск. Надо честно признаться.

С. строит из себя обольстителя, он раздает направо и налево обещания, которые никогда не держит. Он испытывает потребность покорять, завоевывать любовь и дружбу, сам не будучи способен ни на то ни на другое. Прекрасный персонаж для романа и безотрадный пример друга.

Сцена: муж, жена и зрители.

Муж не лишен достоинств и любит блеснуть в обществе. Жена молчит, но короткими сухими репликами разрушает все потуги обожаемого супруга. Таким образом она постоянно выказывает свое превосходство. Он сдерживает себя, но страдает от унижения – так рождается ненависть.

Напр.: С улыбкой: «Не выставляйте себя большим глупцом, чем вы есть, друг мой».

Зрители мнутся и смущенно улыбаются. Муж краснеет, подходит к жене, с улыбкой целует ей руку: «Вы правы, дорогая».

Приличия соблюдены, а ненависть растет.

Я до сих пор не могу забыть приступ отчаяния, который охватил меня, когда мать объявила мне, что «я уже вырос и буду теперь получать к Новому году полезные подарки». Меня до сих пор коробит, когда мне дарят подарки такого рода. Конечно, я прекрасно знал, что ее устами говорит любовь, но почему любовь избирает порой столь жалкий язык?

Об одной и той же вещи утром мы думаем одно, вечером – другое. Но где истина – в ночных думах или в дневных размышлениях? Два ответа, два типа людей.

Май

В богадельне умирает старая женщина. Подруга ее, с которой она познакомилась три года назад, плачет, «потому что у нее никого не осталось». Сторож маленького морга – парижанин, живет здесь вместе с женой. «Кто бы мог подумать, что в семьдесят четыре года придется доживать свой век в богадельне в Маренго!» Сын его – человек с положением. Старики при-

ехали из Парижа. Невестка их невзлюбила. Скандалы. Старик не выдержал и «поднял на нее руку». Вот сын и отправил их в богадельню. Могильщик дружил с покойной. По вечерам они иногда ходили в деревню. Маленький старичок обязательно хотел проводить гроб в церковь и на кладбище (два километра). Он калека, ему трудно поспеть за катафалком, и он идет метрах в двадцати позади всех. Но он знает местность и идет самым коротким путем, поэтому два или три раза он нагоняет процессию и идет вместе со всеми, покуда снова не отстанет.

У сиделки-мавританки, которая заколачивает гроб, язва на носу, поэтому она никогда не снимает повязки.

Друзья покойной: маленькие старички-мифотворцы. Как славно жилось в доброе старое время! Старичок – старушке: «Ваша дочь вам не писала?» – «Нет». – «Могла бы вспомнить, что у нее есть мать».

Смерть одного обитателя богадельни – сигнал и предупреждение для всех остальных.

Июнь

Для «Счастливой смерти»: несколько прощальных писем. Старая песня: хочу порвать, потому что слишком сильно тебя люблю.

И последнее письмо: шедевр трезвости. Но и тут не обошлось без притворства.

Конец. Мерсо пьет.

«Ну! – говорит Селест, вытирая стойку. – Ты стареешь, Мерсо».

Мерсо вздрогнул и поставил стакан. Он поглядел на себя в зеркало позади стойки. Так и есть.

Лето в Алжире.

По чью душу эта стая черных птиц в зеленом небе? Постепенно наступает слепое и глухое лето и проясняет, что стоит за призывами стрижей и криками разносчиков газет.

Июнь

На лето:

1) Закончить Флоренцию и Алжир.
2) Калигула.
3) Летний экспромт.
4) Эссе о театре.
5) Эссе о покаянных молитвах.
6) Переписать Роман.
7) Абсурд.

Для летнего экспромта:

– Зритель!
– Ну!
– Зритель!
– Ну!
– Ты редкость, зритель.
– Как редкость? (Оборачивается.)
– Конечно, редкость! Таких, как ты, немного. Такие, как ты, наперечет.
– Уж какой есть.
– Конечно. Ты нам подходишь.

Роман.

– Что греха таить, есть у меня серьезные недостатки, – говорит Бернар. – Например, я лжец.

– ?

– О! Я это прекрасно знаю. Одни недостатки люди тщательно скрывают. Другие с легкостью за собой признают. Разумеется, с притворным смирением! «Да, я вспыльчив, да, я люблю поесть». В каком-то смысле это им льстит. Но лживость, тщеславие, зависть – в этом не признаются. Этим грешит кто угодно, только не мы. К тому же признание в своей вспыльчивости помогает избежать разговора обо всем прочем. Вы ведь не станете искать в человеке, который сам повинился в своих грехах, еще каких-то недостатков?

У меня нет заслуг. Я принимаю себя таким как есть. Поэтому все так просто.

Калигула: «Вы никак не поймете, что я человек простой».

Эссе о покаянных молитвах.

У нас в семье: работа по десять часов в день. Сон. Воскресенье – понедельник. – Безработица: человек плачет. Вся беда человека в том, что ему приходится плакать и молить о том, что его унижает (помощь).

Нынче много говорят о достоинствах труда, о его необходимости. Г-н Жинью, в частности, имеет весьма определенное мнение на этот счет.

Но это обман. Достойным может быть только добровольный труд. Одна праздность имеет нравственную ценность, ибо она позволяет судить о людях. Она пагубна лишь для посредственностей. В этом ее урок и ее величие. Труд, наоборот, одинаково губителен для всех. Он не развивает способность суждения. Он пускает в ход метафизику унижения. Лучшие люди не способны нести бремя этого рабского труда, навязываемого им обществом благонамеренных людей.

Я предлагаю перевернуть классическую формулу и сделать труд плодом праздности. Достойный труд заключается в игре в «бочонок» по выходным. Здесь труд смыкается с игрой, а игра, подчиненная технике, поднимается до произведения искусства и творчества в самом широком смысле слова…

Одних это приводит в восторг, других – в негодование.

Что ж такого! Мои работники зарабатывают по сорок франков в день…

В конце месяца мать с ободряющей улыбкой говорит: «Сегодня вечером будем пить кофе с молоком. День на день не приходится…»

Но по крайней мере они смогут там заниматься любовью…

Единственное возможное в наше время братство, единственное, какое нам предлагают и позволяют, – это гнусное и сомнительное солдатское братство перед лицом смерти.

Июнь

В кино молоденькая жительница Орана плачет горючими слезами, глядя на несчастья героя. Муж умоляет ее перестать. Она говорит сквозь слезы: «Дай же мне, в конце концов, всласть поплакать».

«Счастливая смерть»:

В поезде Загрей сидит напротив него. Только вместо черного шейного платка, который он обычно носил, на нем очень светлый летний галстук. (После убийства возвращается в свою квартиру. Ничего в ней не меняет. Только вешает новое зеркало.)

Искушение, одолевающее все умы: цинизм.

Ничтожество и величие этого мира: в нем совсем нет истин, только любовь.
Царство Абсурда, спасение от которого – в любви.

Романы-фельетоны не грешат против психологии. Но психология здесь великодушна. Она не считается с деталями. Она строится на доверии. И тем самым грешит против истины.

Старая женщина в ответ на новогодние пожелания: мне много не надо: работы да здоровья.

Удивительно, как тщеславен человек, который хочет внушить себе и другим, что он стремится к истине, меж тем как он жаждет любви.

Нелегко прийти к заключению, что можно быть выше многих, не будучи при этом существом высшим. И что истинное превосходство…

Август
Комната окнами во двор – из нее дверь в другую комнату, в которой нет окна, но, в свою очередь, есть дверь в третью, где окна также нет. В этой последней комнате три матраса. Три спящих человека. Но, поскольку ширина комнаты меньше длины матраса, концы матрасов загнуты кверху и, люди спят, согнувшись в три погибели.

Два слепца выходят на улицу между часом и четырьмя ночи. Потому что они уверены, что никого не встретят на улицах. Если они наткнутся на фонарь, они смогут всласть посмеяться. А днем чужая жалость мешает им веселиться.
«Писать, – говорит один из слепцов. – Но это никого не трогает. Трогает в книге только отпечаток волнующей жизни. А с нами ничего волнующего не случается».

Пишущему лучше недоговорить, чем сказать лишнее. Во всяком случае, никакой болтовни.
«Реальное» переживание одиночества более чем далеко от литературы – оно совершенно не похоже на то, которое описывают в книгах.
Ср. унизительность любых страданий. Не дать себе докатиться до полной опустошенности. Пытаться преодолеть и «заполнить». Время – не терять его.

Единственная возможная свобода есть свобода по отношению к смерти. Истинно свободный человек – тот, кто, приемля смерть как таковую, приемлет при этом и ее последствия, то есть переоценку всех традиционных жизненных ценностей. «Все дозволено» Ивана Карамазова – единственное последовательное выражение свободы. Но надо постичь суть этой формулы.

21 августа 1938 г.
«Только тот, кто познал «настоящее», понимает, что такое ад» (Якоб Вассерман).

Закон Ману:
«Уста женщины, грудь юной девы, молитва ребенка, жертвенный огонь всегда чисты».

Об осознании смерти, ср. Ницше. «Сумерки кумиров», с. 203.

Ницше: «Самые мучительные трагедии суждено пережить существам самым одухотворенным, при условии, что они обладают самым большим мужеством. Но именно оттого, что жизнь обходится с ними самым жестоким образом, они питают к ней почтение» («Сумерки кумиров»).

Ницше: «Чего же мы желаем, если говорить о красоте? Быть красивым. Мы воображаем, что красота приносит много счастья, но это заблуждение» («Человеческое, слишком человеческое»).

Воздух населен жестокими и страшными птицами.

Чем больше счастья в жизни человека, тем трагичнее его свидетельские показания. Подлинно трагическим произведением искусства (если считать произведение искусства свидетельским показанием) окажется произведение человека счастливого. Потому что оно будет полностью сметено с лица земли смертью.

Метеорологический метод. Температура меняется каждую минуту. Это слишком зыбкие данные, чтобы вывести математическую формулу. Наблюдателю здесь доступен произвольный срез реальности. И только понятие среднего арифметического позволяет создать образ этой реальности.

Работы об этрусках:
А. Гренье: Этрусские изыскания в «Ревю дез Этюд Ансьен», IX, 1935–219 и сл.
Б. Ногара: Этруски и их цивилизация – Париж, 1936.
Фр. де Рюит: Харон, этрусский демон смерти. (Выходные данные?)

Белькур.

Молодая женщина охраняет послеобеденный сон мужа, не позволяя детям шуметь. Две комнаты. Она стелет на пол в столовой одеяло и бесшумно забавляет детей, чтобы дать мужчине поспать. Жарко, и она оставляет дверь на лестницу открытой. Временами ее одолевает дремота, и, проходя мимо, можно увидеть, как она лежит, а вокруг тихо играют дети, поглядывая на ее легонько вздымающуюся грудь.

Белькур.

Уволен. Не решается ей сказать. Говорит.

– Ну что ж, будем по вечерам пить кофе. День на день не приходится.

Он смотрит на нее. Он часто читал истории о том, как женщина «мужественно переносит бедность». Она не улыбнулась. И снова ушла на кухню. Мужественно? Нет, смиренно.

Бывший боксер потерял сына. «Что мы значим на земле? А все суетимся, суетимся».

Белькур.

История Р. «Я знал одну даму… она была, так сказать, моя любовница… Я заметил, что дело тут нечисто: история с лотерейными билетами (Ты купила мне лотерейный билет?). История с костюмом и с сестрой. История с браслетами и «Уликой».

Трачу 1300 франков. А ей все мало. «Почему бы тебе не работать полдня? Ты бы избавила меня от всех этих мелочей. Я купил тебе костюм, я даю тебе по 20 франков в день, я плачу за

комнату, а ты распиваешь кофе с подружками. Подаешь им и кофе и сахар. А деньги тебе даю я. Я тебе делал только добро, а ты мне платишь злом».

Просит совета. Он по-прежнему «не прочь спать с ней». Он хочет послать ей такое письмо, чтоб она «знала свое место» и чтоб она «пожалела о том, что было».

Напр.: «Ты думаешь только о своих забавах, и все дела». А дальше: «Я-то думал, что…» и т. д.

«Ты не видишь, что все завидуют твоему счастью».

«Я ее поколачивал, но, так сказать, легонько. Она кричала, я закрывал ставни».

То же самое и с подружкой.

Он хочет, чтобы она сдалась. Он трагичен в своем стремлении унизить обманщицу. Он поведет ее в гостиницу и вызовет «полицию нравов».

История с друзьями и пивом. «Вы говорите, что вы по этой части». «Они сказали, что, если я захочу, они ее запишут как проститутку».

История с пальто. История со спичками.

«Ты поймешь, как тебе было хорошо со мной».

Эта женщина – арабка.

Тема: мир смерти. Трагическое произведение – удавшееся произведение.

… – Но, судя по вашему тону, эта жизнь вам не по душе, Мерсо.

– Она мне не по душе, потому что скоро я лишусь ее – вернее, она мне слишком по душе, поэтому я чувствую весь ужас предстоящей утраты.

– Не понимаю.

– Не хотите понять.

– Быть может.

Патрису пора уходить.

– Но, Патрис, а как же любовь?

Он оборачивается, лицо его искажено отчаянием.

– Любовь существует, – говорит Патрис, – но ведь она принадлежит этому миру.

Богадельня для стариков (старик идет полем напрямик). Похороны. Солнце расплавляет гудрон на дороге – ноги вязнут и оставляют черные вмятины. Открывается сходство между этой черной грязью и клеенчатой шляпой кучера. И вся эта чернота, липкая чернота расплавленного гудрона, тусклая чернота одежды, блестящая чернота катафалка – солнце, запах кожи и лошадиного навоза, лака, ладана. Усталость. А тот идет напрямик через поля.

Он идет на похороны, потому что покойница была единственным близким ему человеком. В богадельне им говорили, как детям: «Жених и невеста». И он смеялся. Ему было приятно.

Персонажи.

А) Этьен, «физический» персонаж; его внимание к собственному телу:

1) арбуз

2) болезнь (колики)

3) естественные потребности – хорошо – тепло и т. д.

4) он смеется от радости, когда ест что-то вкусное.

Б) Мари К. Ее родственник, и их совместная жизнь, «он платит за жилье».

В) Мари Эс. Детство, роль в семье. Ее непорочность, о которой все толкуют. Святой Франциск Ассизский. Страдание и унижение.

Г) Госпожа Лека. Ср. выше.

Д) Марсель, шофер – и старуха из кафе.

Чувства, которые мы испытываем, не преображают нас, но подсказывают нам мысль о преображении. Так любовь не избавляет нас от эгоизма, но заставляет нас его осознать и напоминает нам о далекой родине, где этому эгоизму нет места.

Вернуться к работе над Плотином.

Тема: ум у Плотина.

1) Ум – понятие неоднозначное.

Интересно рассмотреть его положение в истории в тот момент, когда ему предстоит либо приспособиться, либо погибнуть.

Ср. Диплом.

Это тот же самый ум, но и не совсем тот же.

Ибо есть два ума:

один этический, другой эстетический.

Тщательно изучить: плотиновский образ как силлогизм этого эстетического ума.

Образ подобен притче: это попытка выразить непостижимость чувства в очевидной непостижимости конкретного.

Как во всех описательных науках (статистика, которая коллекционирует факты), главная проблема в метеорологии есть проблема практическая: проблема замены недостающих наблюдений. Поэтому при восполнении пробела всегда прибегают к понятию среднего арифметического, для чего необходимо обобщение и осмысление опыта, разумное содержание которого как раз и нуждается в выявлении.

Белькур. Торговец, спекулирующий сахаром, кончает с собой в туалете.

Немецкая семья в 14-м году. Четыре месяца передышки. Потом за отцом приходят. Концлагерь. Четыре года нет вестей. Жизнь в течение этих четырех лет. Он возвращается в 19-м году. У него туберкулез. Через несколько месяцев он умирает.

Дочки в школе.

Художник и произведение искусства. Подлинное произведение искусства сдержанно. Существует некоторое соотношение между опытом художника в целом, его мыслью + его жизнью (в каком-то смысле его системой – исключая все, что это слово подразумевает систематического) – и произведением, которое отражает этот опыт. Это соотношение неверно, когда в произведении искусства воплощается весь жизненный опыт автора в некотором литературном обрамлении. Это соотношение верно, когда произведение искусства есть часть, отсеченная от опыта, алмазная грань, вбирающая в себя весь внутренний блеск без остатка. В первом случае произведение громоздко и литературно. Во втором – жизнеспособно, ибо за ним угадывается богатейший опыт.

Проблема заключается в том, чтобы приобрести житейскую мудрость (вернее, жизненный опыт), которая глубже мудрости писательской. В конечном счете великий художник прежде всего тот, кто постиг великое искусство (при условии, что в понятие жизни входит и ее осмысление – и, более того, едва уловимое соотношение между опытом и его осознанием).

Чистая любовь – мертвая любовь, если понимать под любовью любовную жизнь, создание определенного жизненного уклада, – в такой жизни чистая любовь превращается в постоянную отсылку к чему-то иному, о чем и нужно условиться.

Мысль всегда впереди. Она видит слишком далеко, дальше, чем тело, не выходящее за рамки настоящего.

Лишить человека надежды – значит свести мысль к телу. А телу суждено сгнить.

Лежа, он смущенно улыбнулся, и глаза его сверкнули. Она почувствовала, как вся ее любовь подступила к горлу, а на глаза навернулись слезы. Она впилась в его губы и омочила своими слезами его лицо. Ее слезы текли ему в рот, и он пил из этих соленых губ всю горечь их любви.

Черствое сердце творца.

«Если бы я хотя бы умела читать! Ведь вечерами, при свете я не могу вязать. Поэтому я лежу и жду. Долго, часа два лежу вот так. Ах! Была бы со мной внучка, я бы с ней разговаривала. Но я слишком стара. Может, от меня плохо пахнет. Внучка никогда ко мне не приходит. Вот так и живу совсем одна».

2-я ч.

Сегодня умерла мама. Или, может, вчера, не знаю. Получил телеграмму из дома призрения: «Мать скончалась. Похороны завтра, искренне соболезнуем». Не поймешь. Возможно, вчера…

Как говорил привратник: «На равнине жарко. Стараются похоронить побыстрее. Особенно здесь». Он рассказал, что сам он родом из Парижа и с трудом привык. Потому что в Париже покойника хоронят через два, а то и через три дня. А здесь нет времени, не успеешь свыкнуться с мыслью, что человек умер, как уже надо поспешать за дрогами».

Вот процессия и торопилась что есть сил. Только солнце заходило со сволочной быстротой. Верно заметила сиделка, которую отрядили на похороны: «Медленно идти опасно, может случиться солнечный удар. А если заторопишься, бросает в пот, и тогда в церкви можно простыть». Она была права. Положение безвыходное.

Служащий похоронного бюро что-то мне сказал, но я не расслышал.

Одной рукой он приподнял шляпу, а другой вытирал лысину носовым платком. Я спросил его: «Что-что?» Он повторил, показывая на небо: «Ну и шпарит». – «Да», – сказал я. Немного погодя он спросил: «Вы покойнице кто – сын?» Я опять сказал: «Да». – «Старая она была?» – «В общем, да», – сказал я, потому что не знал точно, сколько ей было лет. Тогда он замолчал.

Декабрь 1938 г.

Для «Калигулы»: анахронизм – самое неудачное, что можно придумать для театра. Поэтому Калигула не произносит в пьесе ту единственную разумную фразу, какую мог бы произнести: «Стал мыслить лишь один – и мир весь опустел».

Калигула: «Мне нужно, чтобы все вокруг молчали. Мне нужно, чтобы замолчали люди и чтобы затихли ужасные сердечные смуты».

15 декабря

Каторга. Ср. репортаж.

На митинге. Старый железнодорожник, опрятный, гладко выбритый, с перекинутым через руку плащом, тщательно сложенным клетчатой подкладкой вверх, в начищенных башма-

ках, спрашивает, «не здесь ли состоится собрание», и говорит, как он волнуется, когда думает о судьбе рабочих.

В больнице. Больной туберкулезом; врач сказал, что через пять дней он умрет. Он решает выиграть время и перерезает себе горло бритвой. Он не может ждать пять дней, это очевидно.

«Не пишите об этом в ваших газетах, – говорит санитар журналисту. – Он и так настрадался».

Он любит *здесь, на земле,* а она любит его с уверенностью, что они соединятся в вечности. Их любовь нельзя мерить одной меркой.

Смерть и творчество. На пороге смерти он просит почитать ему вслух его последнее произведение. Это не совсем то, что он хотел сказать. Он просит сжечь его. И умирает без утешения – что-то оборвалось у него в груди, словно лопнула струна.

Воскресенье.

Ветер бушевал в горах и мешал нам идти вперед, не давал говорить, свистел в ушах. Весь лес снизу доверху извивается. От горы к горе над долинами летят красные листья папоротника. И эта прекрасная птица, рыжая, как апельсин.

История солдата Иностранного легиона, который убивает свою любовницу в служебной комнате. Потом берет тело за волосы и тащит его в зал, а оттуда на улицу, где его и арестовывают. Хозяин кафе-ресторана взял его в долю, но запретил ему приводить любовницу. А она возьми да и приди. Он велел ей убираться. Она не захотела. Поэтому он ее убил.

Пара в поезде. Оба некрасивы. Она льнет к нему, хохочет, кокетничает, завлекает его. Он хмурится, он смущен: все видят, что его любит женщина, которой он стыдится.

Светское общество или два старых журналиста, которые бранятся в комиссариате, на радость полицейским. Старческая ярость двух мужчин, не имеющих сил для драки, выливается в сплошной поток ругани: «Дерьмо – Рогач – Мудак – Скотина – Сутенер».

– Я человек чистый!

– Ты себя со мной не равняй!

– Ни за что! Ведь ты последний мудак.

– Заткнись, не то я тебе так двину по роже – от тебя мокрое место останется!

– На такого силача, как ты, я кладу с прибором! Потому что я человек чистый.

Испания. Член партии. Хочет пойти добровольцем в армию. При опросе выясняется, что причина – семейные неприятности. *Его не берут.*

В жизни всякого человека мало великих чувств и много мелких. Если совершаешь выбор – две жизни и две литературы.

Но *на самом деле* это два чудовища.

Удовольствие, которое приносит общение мужчины с мужчиной. То самое, мимолетное, которое испытываешь, когда даешь прикурить или просишь об этом, – сообщничество, масонское братство курильщиков.

П. заявляет, что может предложить «миниатюру с изображением беременной девы в рамке из ключиц тореадора».

Плакат на казарме: «Алкоголь усыпляет человека и будит зверя» – чтобы люди знали, почему они любят выпить.

«Земля была бы великолепной клеткой для животных, чуждых всего человеческого».

Среди самых чистых моих радостей многие связаны с Жанной. Она частенько говорила мне: «Глупыш». Это было ее выражение, она произносила его со смехом, но как раз в эти минуты она любила меня сильнее всего. Оба мы из бедных семей. Она жила через несколько улиц, в центре. Ни она, ни я никогда не покидали родного квартала, где прошла вся наша жизнь. И у нее и у меня дома было одинаково тоскливо и гадко. Наша встреча была попыткой от всего этого освободиться. Но когда теперь, через столько лет, я вспоминаю ее лицо усталого ребенка, я понимаю, что нам не удавалось освободиться от этого убогого существования и что наша любовь доставляла нам радость, какую не купишь ни за какие деньги, именно потому, что мы любили друг друга среди этого мрака.

Наверно, я очень страдал, когда она ушла. И все же я не устраивал сцен. Потому что никогда не чувствовал себя победителем. Мне и сейчас кажется более естественным сожалеть об упущенном. И хотя я не заблуждаюсь на собственный счет, я всегда считал, что Жанна больше принадлежит мне в такой день, как сегодня, чем когда она вставала на цыпочки, чтобы дотянуться до моей шеи и обвить ее руками. Я уже не помню, как я с ней познакомился. Но помню, что повадился ходить к ней. И что ее отец и мать посмеивались, глядя на нас. Ее отец был железнодорожником, в свободные часы он обычно сидел в уголке и задумчиво смотрел в окно, положив на колени свои огромные лапищи. Мать с утра до ночи хлопотала по хозяйству. Жанна ей помогала, но делала это так легко и весело, что, глядя на нее, я забывал, что она работает. Она была среднего роста, но рядом со мной казалась маленькой. Когда я видел, как она, такая тоненькая, такая легкая, переходит улицу перед грузовиками, сердце у меня сжималось. Теперь я понимаю, что ума у нее, конечно, было немного. Но в то время я не задавался подобными вопросами. Она умела так неподражаемо разыгрывать обиду, что восхищала меня до слез. А это неуловимое движение, каким она оборачивалась ко мне и бросалась в мои объятия, если я умолял ее простить меня, – даже теперь, через столько лет, оно не может оставить равнодушным мое сердце, ставшее бесчувственным к стольким вещам. Я уже не помню, желал ли я ее. Я помню, что все перемешалось. Помню, что все мои переживания разрешались нежностью. Если я и желал ее, то забыл об этом в первый же раз, когда в коридоре она подставила мне губы в благодарность за крошечную брошку, которую я ей подарил. Со своими зачесанными назад волосами, зубастым ртом неправильной формы и часто кривящимися губками, ясными глазами и прямым носиком, она предстала мне в этот вечер ребенком, которому я подарил жизнь для ласк этого мира. Я надолго сохранил это чувство; Жанна поддерживала его, неизменно называя меня «старшим другом».

У нас были свои радости. Когда мы решили пожениться, мне было двадцать два года, ей – восемнадцать. Больше всего радовала нас и настраивала на серьезный лад узаконенность нашей любви. Жанна пришла к нам в дом, мама поцеловала ее и назвала: «Моя девочка» – все это приводило нас в щенячий восторг, которого мы и не думали скрывать. Но воспоминание о Жанне связано для меня с ощущением, которое я до сих пор не могу объяснить. Я каждый раз испытываю его, когда мне грустно и я иду по улице и вдруг встречаю трогательное женское личико, а потом вижу красиво украшенную витрину – тут у меня перед глазами встает лицо Жанны, живое, знакомое до боли, и она оборачивается ко мне со словами: «До чего ж красиво!» Это бывало в праздники. Магазины в нашем квартале ярко светились огнями. Мы

останавливались перед витринами кондитерских. Шоколадные человечки, гирлянды из серебряной и золотой фольги, снежные хлопья из ваты, позолоченные тарелки и пирожные всех цветов радуги – все восхищало нас. Мне было немного стыдно. Но я не мог сдержать радости, переполнявшей меня и блестевшей в глазах Жанны.

Когда я сегодня пытаюсь понять это странное чувство, я различаю в нем многое. Конечно, больше всего я радовался присутствию рядом Жанны – запаху ее духов, ее руке, сжимавшей мое запястье, ее надутым губкам. Но я радовался еще и витринам, внезапно засиявшим в квартале, где обычно так темно, торопливым прохожим, нагруженным покупками, детям, весело играющим на улицах, – всему, что помогало нам вырваться из нашего пустынного мира. Серебристые фантики шоколадных конфет были знаком, что для простых людей наступает еще неясное, но шумное и золотое время, и мы с Жанной теснее прижимались друг к другу. Быть может, мы смутно испытывали тогда особое счастье, какое испытывает человек, видящий, что жизнь оправдывает его ожидания. Обычно зачарованную пустыню нашей любви окружал мир, где нет места любви. А в эти дни нам казалось, что огонь, который вспыхивает в нас, когда руки наши соединяются, – тот же самый, что пляшет в витринах, в сердцах рабочих, глядящих на своих детей, и в вышине ясного и морозного декабрьского неба.

Декабрь

Фауст наоборот. Молодой человек просит у черта богатств этого мира. Черт (который носит спортивный костюм и не скрывает, что цинизм – великое искушение для ума) мягко замечает ему: «Ведь богатства этого мира тебе и так принадлежат. Того, чего тебе не хватает, ты должен просить у Бога. Ты заключишь сделку с Богом и за богатства мира иного продашь ему свое тело».

Помолчав, дьявол закуривает английскую сигарету и добавляет: «И это будет тебе вечной карой».

Петер Вольф. Сбегает из концлагеря, убивает часового и переходит границу. Скрывается в Праге, где пытается начать новую жизнь. После Мюнхенского сговора пражское правительство выдает его нацистам. Осужден на смерть. Через несколько часов ему отрубают голову.

На двери записка: «Входите. Я повесился». Входят – так и есть. (Он говорит «я», но его «я» уже не существует.)

Яванские танцы. Неспешность, принцип индийского танца.

Постепенное развертывание. В общем движении не пропадает ни одна деталь. Детали играют такую же важную роль, как в архитектуре. Жестов становится все больше. Все разворачивается постепенно, неторопливо. Не поступки и не жесты. Причастность.

Наряду с этим в некоторых жестоких танцах – прорывы в трагизм. Использование пауз в аккомпанементе (который, впрочем, есть лишь призрак музыки). Здесь музыка не следует рисунку танца. Она составляет его основу. Она включает в себя и жест и звук. Она обтекает тела и их бесчувственную геометрию.

(Отелло в танце голов.)

Для окончания «Бракосочетаний».

Земля! Это гигантский храм, покинутый богами, и задача человека – населить его идолами по своему образу и подобию, неописуемыми, с влюбленными лицами и глиняными ногами.

…эти чудовищные идолы радости, с влюбленными лицами и глиняными ногами.

Депутат от Константины, избранный в третий раз. В день выборов, в полдень, он умирает. К вечеру у его дома собирается толпа, чтобы приветствовать его. Жена выходит на балкон и говорит, что он слегка нездоров. Вскоре труп избран депутатом.

Этого и добивались.

Об Абсурде?

Есть только один случай чистого отчаяния. Это отчаяние приговоренного к смерти (да будет нам позволено прибегнуть к сравнению). Можно спросить у безнадежно влюбленного, хочет ли он, чтобы завтра его гильотинировали, и он ответит «нет». Из-за ужаса перед казнью. Да. Но ужас проистекает здесь из уверенности – вернее, из математической составляющей, лежащей в основе этой уверенности. Абсурд здесь налицо. Это противоположность иррациональному. Он имеет все признаки очевидности. Что иррационально, что было бы иррационально, так это мимолетная надежда, что опасность минует и смерти можно будет избежать. Но это не абсурд. Очевидность в том, что ему, находящемуся в здравом уме и твердой памяти, отрубят голову – более того, весь его здравый ум сосредоточивается на том факте, что ему ее отрубят.

Кириллов прав. Убить себя – значит доказать свою свободу. А проблема свободы решается просто. У людей есть иллюзия, что они свободны. У осужденных на смерть этой иллюзии нет.

Вся проблема в том, насколько эта иллюзия реальна.

До: «Никак не удавалось представить себе, что этот стук, неразлучный со мною с незапамятных времен, вдруг оборвется, а главное – как представить себе сердце в ту самую секунду, когда…»

«Ах, каторга, какая благодать!»

(Мать: «А теперь они мне его возвращают… Вот что они с ним сделали… Они отдают мне его разрубленным на части».)

«В конце концов я стал спать совсем понемногу, среди дня, и все ночи напролет только тем и занимался, что ждал рассвета, ждал, чтобы с ним воссияла истина нового дня. Я знал, когда *они* обычно приходят, и в эту тревожную пору я был… словно зверь… Когда это кончалось, я понимал, что у меня есть еще день…

Я хотел все рассчитать. Я пытался взять себя в руки. Я послал просьбу о помиловании. И всегда предполагал самое худшее: она отвергнута. Значит, я умру. Раньше, чем другие, разумеется. Но жизнь столько раз казалась мне абсурдной, когда я вспоминал о смерти. Раз все равно суждено умереть, то какая разница, как и когда. Значит, надо смириться. И только тогда я *получал право* допустить другую возможность. Я помилован. Я пытался укротить бурный ток крови, разливавшийся по всему телу и ударявший мне в голову. Я заглушал этот крик, старался не придавать ему значения, чтобы вернее покориться той, первой возможности. Но зачем? Приходил рассвет, а вместе с ним тревожная пора…

И вот они пришли. Но ведь еще совсем темно. Они пришли раньше времени. Меня обокрали. Говорю вам, меня обокрали…

…Бежать. Все поломать. Но нет, я остаюсь. Сигарета? Почему бы и нет. Лишнее время. Но в то же время он отрезает воротник от моей рубашки. В то же время. Это то же самое время. Я не выиграл времени. Говорю же вам, меня обкрадывают.

…Какой длинный коридор, но как быстро идут эти люди… Пусть их будет много, пусть они встретят меня криками ненависти. Пусть их будет много и мне не будет так одиноко…

…Мне холодно. Как холодно! Почему меня оставили без пиджака? Правда, все это уже не имеет значения. Болезни мне уже не грозят. Я потерял право на рай страдания, я теряю

его, теряю счастливую возможность харкать кровью или угасать от рака под взглядом близкого существа.

…И это небо без звезд, эти окна без огней, и эта кишащая народом улица, и этот человек в первом ряду, и нога этого человека, который…»

Конец

Абсурд. Гурвич. Трактат о надежде. Могущество предводителей…

Мерсо.

Калигула.

Специальный номер журнала «Риваж», посвященный театру. Вернуться к постановкам. Комментарий к плану Микеля. Оформление. Все, что имеет отношение к театру.

Сад Мирабель в Зальцбурге.

Группа уехала на гастроли в Бордж-бу-Аррериджа.

1939 г.

Гореть для меня отдых. Огонь горит в душе, не только когда нам выпадает радость. Но также и когда нас ждет постоянство в труде, браке или желании.

Порядок работы:
Лекция о театре.
Абсурд в чтении.
Калигула.
Мерсо.
Театр.
«Риваж» – в понедельник у Шарло.
Урок.
Газета.

Февраль

Жизни, которые смерть не захватывает врасплох. Которые готовы к ней. Которые ее учли.

Когда умирает писатель, начинают переоценивать его творчество. Точно так же, когда умирает человек, начинают переоценивать его роль среди нас. Значит, прошлое полностью сотворено смертью, которая населяет его иллюзиями.

Любовь, которая не выдерживает столкновения с реальностью, – это не любовь. Но в таком случае неспособность любить – привилегия благородных сердец.

Роман. Эти ночные разговоры, эти бесконечные признания вслух…

«И эта жизнь в постоянном ожидании. Я жду ужина, жду сна. Я думаю о пробуждении со смутной надеждой – на что? Не знаю. Пробуждение наступает, и я жду обеда. И так весь день… Без конца говорить себе: сейчас он у себя в конторе, он завтракает, он у себя в конторе, он свободен – и эта дыра в его жизни, которую надо заполнить с помощью воображения, и ты напрягаешь воображение, едва не крича от боли…»

«…Испытать радость, чтобы завтра снова проститься с ней – и до чего же отчаяние близко к радости! Мысленно возвращаюсь к этим двум дням. Они были прекрасны и утопают в слезах».

Алжир, страна одновременно соразмерная и несоразмерная. Соразмерные линии, несоразмерный свет.

Смерть «Капрала». Ср. документ.

Сумасшедший в книжной лавке. Ср. документ.

Трагедия – замкнутый мир, где люди спотыкаются, сталкиваются друг с другом. В театре она должна рождаться и гибнуть на узком пространстве сцены.

Ср. Стюарт Милль: «Лучше быть недовольным Сократом, чем довольной свиньей».

Это солнечное утро: теплые улицы, на которых полно женщин. На каждом углу продают цветы. А девушки улыбаются.

Март

«Когда я оказался в купе первого класса, освещенном, натопленном, я закрыл за собой дверь и опустил все шторы. Я уселся, и вот тут, во внезапно наступившей тишине, почувствовал себя свободным. Свободным в первую очередь от последних суматошных дней, от судорожных попыток подчинить себе свою жизнь, от всех этих треволнений. Было тихо. Вагон мягко покачивался. И когда за окном, в ночи, слышался шорох дождя, он тоже казался мне тишиной. Несколько дней я мог ни о чем не думать, а просто ехать и ехать. Я был пленником расписаний, гостиниц, своего человеческого призвания. Наконец-то я принадлежал себе, не принадлежа себе. И я с наслаждением закрыл глаза, чувствуя, как разливается покой вместе с только что родившимся миром безмятежности без тирании, без любви, без меня».

Оран. Мерс-эль-Кебирская бухта за садиком, где растут красные герани и ирисы. Погода не очень хорошая: то тучи, то солнце. Край с абсолютным слухом. Достаточно большого просвета на небе – и напряжение снимается, в сердце возвращается покой.

Апрель 1939 г.

В Оране «сюфоко» – худшее оскорбление. Сюфоко нельзя стерпеть. Надо требовать удовлетворения, и немедленно. У оранцев горячая кровь.

Великолепие пейзажа необязательно предполагает его величие. Более того, его может лишить величия какой-нибудь пустяк. Так, алжирскую бухту лишает величия избыток красоты. Мерс-эль-Кебир, увиденный из Санта-Круса, наоборот, дает полное представление о том, что есть величие. Великолепен и неласков.

В ближнем предместье Орана сразу за последними домами открываются нескончаемые просторы невозделанной земли, где в эту пору цветут яркие дроки. За ними первое поселение колонистов. Бездушное, пересеченное единственной улицей, с возвышающейся посередине символической эстрадой для уличного оркестра.

Высокие плато и Джебель-Надор.

Нескончаемые просторы пшеничных полей, ни деревьев, ни людей. Редкие хижины, да на горизонте шагает поеживающаяся от холода фигурка. Несколько ворон и тишина. Нигде нет прибежища – нигде нет зацепки ни для радости, ни для меланхолии, которая могла бы принести плоды. Эти земли рождают только тоску и бесплодность.

В Тиарете несколько преподавателей сказали мне, что им все «осточертело».

– И что же вы делаете, когда чувствуете, что вам все осточертело?

– Мы надираемся.

– А потом?

– Идем в бордель.

Я пошел с ними в бордель. Шел мелкий снег, он забивался всюду. Все они были навеселе. Сторож потребовал с меня два франка за вход. Огромный, прямоугольный зал, стены в косую черно-желтую полоску. Танцы под патефон. Девицы не красотки и не дурнушки.

Одна говорила: «Ну, ты идешь со мной?»

Мужчина вяло отбивался.

– Я, – не унималась девица, – очень хочу, чтоб ты сделал это со мной.

Когда мы уходили, по-прежнему шел снег. Временами снегопад стихал, и тогда можно было разглядеть окрестности. Все те же унылые просторы, но на сей раз белые.

В Трезеле – мавританское кафе. Чай с мятой, разговоры. Улица проституток называется «Улицей Правды». Такса три франка.

Толпа и драки.

«Я человек не злой, но нрав у меня горячий. Тот фрукт мне говорит: “Выходи из трамвая, если ты мужчина”. Я говорю: “Да ладно, отстань”. А он мне: “Ты, мол, не мужчина”. Ну, я вышел с ним из вагона и говорю: “Лучше отвяжись, не то получишь”. А он отвечает: “Черта с два!” Ну, тут я ему врезал. Он свалился. Я хотел его поднять. А он лежит и отбивается ногами. Я ему наподдал коленом и еще по морде – раз, раз! В кровь разбил. Спрашиваю: “Ну как, мол, хватит с тебя?” Он говорит: “Хватит”».

Мобилизация.

Старший сын идет на фронт. Он сидит против матери и говорит:

«Это ничего». Мать не отвечает. Она берет со стола газету. Складывает ее вдвое, потом еще раз вдвое, потом еще.

На вокзале толпа провожающих. Битком набитые вагоны. Какая-то женщина плачет. «Я никогда не думала, что такое возможно, что может быть так плохо». Другая: «Поразительно, как все торопятся на верную смерть». Девушка плачет, прижавшись к жениху. Он стоит серьезный, молчаливый. Дым, крики, толкотня. Поезд трогается.

Лица женщин, наслаждение солнцем и водой, вот чему грозит смерть. И если мы не приемлем убийство, мы должны выстоять. Наша жизнь состоит из противоречий. Вся эпоха задыхается, тонет в противоречиях, не в силах проронить ни единой слезы, несущей избавление. Нет не только решений, нет и проблем.

Тетрадь № III. Апрель 1939 года – февраль 1942 года

В Провансе и в Италии кипарисы выделяются на фоне неба черными пятнами, а здесь, на кладбище Эль-Кеттар, кипарис золотился на солнце и сочился светом. Казалось, кипящий в его черном сердце золотой сок переливается через край коротких ветвей и стекает длинными золотистыми струями на зеленую листву.

…Словно книги, где подчеркнуто столько фраз, что начинаешь поневоле сомневаться в уме и вкусе читателя.

Диалог между Европой и Исламом.

– Когда мы смотрим на ваши кладбища и на то, во что вы их превратили, нас охватывает смесь восхищения и жалости, почтительный ужас перед людьми, которые живут, имея такое представление о смерти…

– …Нам тоже случается жалеть себя. Это чувство помогает нам жить. Вам оно совершенно неведомо, вы, пожалуй, сочли бы его малодушным. Меж тем его испытывают даже самые мужественные из нас. Ибо мы называем мужественными тех, кто трезво смотрит на вещи, мы против силы, которая слепа. Вы же, наоборот, возводите в добродетель слепое послушание.

На войне. Люди, рассуждающие о степени опасности того или иного фронта. «Я воевал на самом страшном участке фронта». Все рушится, а они устанавливают иерархию. Такими они возвращаются.

– Да, – говорит ассенизатор, – видели бы вы туалеты, которые «они» себе отгрохали внизу, в Морском ведомстве! Обидно отдавать такие туалеты таким людям!

Женщина живет со своим мужем, ни о чем не задумываясь.

Однажды он произносит речь по радио. Она наблюдает за ним через застекленную дверь. Слов не слышно. Ей видны только жесты. Она открывает в нем не только существо из плоти и крови, но и паяца, каковым он и является.

Она бросает его. «И эта марионетка каждую ночь на меня ложится!»

Сюжет для пьесы. Человек в маске.

После долгого путешествия он возвращается домой в маске. Он никогда ее не снимает. Почему? Таков сюжет.

В конце концов он снимает маску. Он надел ее просто так. Чтобы смотреть на мир из-под маски. Он еще долго бы ее не снимал. Он был счастлив, если это слово имеет смысл. Но страдания жены побуждают его открыть лицо.

«До сих пор я любил тебя всем своим «я», а теперь буду любить тебя всего-навсего так, как ты того хочешь. Но похоже, тебе легче сносить мое презрение, чем любить, не понимая. Это разные вещи».

(Или разные женщины. Одна любит его в маске, потому что он ее интригует. Когда он снимает маску, любовь ее проходит. «Ты любила меня умом. Надо было любить меня *еще* и нутром». Другая любит его *несмотря* на маску и продолжает любить и без нее.)

Своеобразный, хотя и естественный механизм: она объясняла страдания человека, которого любила, как раз теми обстоятельствами, которые были для нее наиболее мучительны.

Она так свыклась с безнадежностью, что, когда пыталась понять жизнь этого человека, всегда видела в ней только то, что было не в ее пользу. А его как раз это и раздражало.

Исторический ум и ум вечный. Один наделен чувством прекрасного. Другой – чувством бесконечного.

Ле Корбюзье: «Видите ли, художника отличает то, что в его жизни бывают минуты, когда он ощущает себя больше чем человеком».

Пиа и документы, которые пропадут. Добровольное исчезновение. Перед лицом небытия – гедонизм и постоянные разъезды. Исторический ум превращается таким образом в географический.

В трамвае. Ко мне пристает какой-то метис. «Если ты мужчина, дай мне двадцать су. Ты ведь мужчина. Видишь ли, я вышел из госпиталя. Я даже не знаю, где мне сегодня ночевать. Но если ты настоящий мужчина, я пойду пропущу стаканчик и обо всем забуду. Горе мне, у меня никого нет».

Я даю ему пять франков. Он берет меня за руку, глядит на меня, бросается мне на грудь и разражается рыданиями. «Ты славный парень. Ты меня понимаешь. У меня никого нет, понимаешь, никого». Я выхожу, трамвай трогается, а он остается внутри, растерянный и все еще плачущий.

Человек, много лет живущий один, усыновляет ребенка. Он обрушивает на него все свое одинокое прошлое. И в своем замкнутом мирке, один на один с этим существом он чувствует себя хозяином ребенка и великолепного царства, находящегося в его власти. Он его тиранит, пугает, сводит с ума своими фантазиями и придирками. В конце концов ребенок убегает, и он снова остается в одиночестве, плача и сгорая от любви к утраченной игрушке.

«Я ждал момента, когда мы выйдем на улицу и она обернется ко мне. И когда это случилось, я увидел бледное сияющее лицо, с которого поцелуи стерли косметику и едва ли не выражение.

Ее лицо было незащищенным. После долгих часов борьбы и вожделения я видел ее. Мое любовное терпение было наконец вознаграждено. Мои губы вытащили на свет из оболочки косметики и улыбок это лицо с побледневшими губами и белыми скулами, и тогда мне открылась ее глубинная суть».

Эдгар По и четыре условия счастья:
1) Жизнь на свежем воздухе
2) Сознание, что тебя любят
3) Отказ от всякого честолюбия
4) Созидание

Бодлер: «В Декларации прав человека забыты два права: право противоречить себе и право уходить из жизни».

То же: «Бывают такие сильные соблазны, которые поневоле превращаются в добродетели».

Госпожа дю Барри на эшафоте: «Подождите минутку, господин палач».

14 июля 1939 г. Прошел год.

На пляже человек, раскинувший руки, – распятый на солнце.

У Пьера сквернословие – форма отчаяния.

«Эти ужасные годы сомнений, когда он ждал женитьбы или еще чего-нибудь – когда он уже обдумывал философию отрешенности, которая оправдала бы его поражение и малодушие».

«Со своей женой. Вставал вопрос о том, может ли такой человек, как он, хранить достоинство, живя с этой изолгавшейся женщиной».

Август

1) Эдип побеждает сфинкса и рассеивает тайны благодаря своему знанию человека. Греческое мироздание ясно.

2) Но судьба, слепая судьба с безжалостной логикой зверски растаптывает этого же самого человека. Незамутненная ясность трагического и тленного.

См. Эпикур (эссе).

Грот Аглавры на Акрополе. Статуя Минервы, раз в год сбрасывающая одежды. Возможно, другие статуи тоже были одеты. Греческая нагота – плод нашего воображения.

В Афинах был храм, посвященный старости. Туда водили детей.

Корес и Каллироя (пьеса).

Приносит себя в жертву вместо нее. Она закалывается, видя это доказательство любви.

Легенды о божествах, переодетых нищими, призывали к милосердию. Оно несвойственно человеку от природы.

В Меконе Прометей обманул Зевса. Две бычьи шкуры, одна наполнена мясом, другая – костями. Зевс выбрал вторую. Потому-то он и отнял у людей огонь. Из низкой мстительности.

Дочь горшечника Дибутада увидела на стене тень своего возлюбленного и обвела его профиль кинжалом. Благодаря этому рисунку ее отец изобрел стиль росписи, украшающей греческие вазы. В основе всех вещей лежит любовь.

В Коринфе рядом стоят два храма: храм силы и храм нужды.

Диметос питал преступную страсть к своей племяннице. Девушка повесилась. Однажды волны выбросили на песчаную отмель тело красивой молодой женщины. Увидев его, Диметос пал на колени, сгорая от любви. Но на его глазах это восхитительное тело начало разлагаться, и Диметос сошел с ума. Такова была месть его племянницы. Это и символ существования, которому следовало бы дать определение.

В Паллантионе, в Аркадии, есть жертвенник «Чистым богам».

«Я с радостью умру за нее, – сказал П. – Но пусть она не требует от меня, чтобы я продолжал жить».

Сентябрь 1939 г. Война.

Люди срочно ложатся на операцию к известному алжирскому врачу, опасаясь, что его могут отправить на фронт.

Гастон: «Главное – *выкрутиться*, пока меня не мобилизовали».

На перроне вокзала мать – молодому (тридцатилетнему) запаснику: «Будь осторожен».

В трамвае: – А Польша-то не поддается.
– Пакту крышка.
– Гитлеру палец в рот не клади.
На рынке: – Вы знаете, в субботу будет ответ.
– Какой ответ?
– Ответ Гитлера.
– И что?
– И мы узнаем, будет война или нет.
– Какое безобразие!
На вокзале запасники дают оплеухи служащим: «Тыловые крысы!»

Война разразилась. В чем война? Где, кроме сводок новостей, которым приходится верить, да плакатов, которые приходится читать, искать проявлений этого абсурдного события? В этом синем небе над синим морем, в этом звоне стрекоз, в кипарисах на холмах ее нет. Нет ее и в пляшущих солнечных бликах на улицах Алжира.

Люди стремятся поверить в нее. Ищут ее лицо, но она прячется от нас. Вокруг царит жизнь с ее великолепными лицами.

Прожить всю жизнь в ненависти к этой твари, а теперь, когда она перед нами, не узнавать ее. Так мало произошло изменений. Позже, конечно, придут грязь, кровь и страшное омерзение. Но пока люди видят лишь одно: начало войны похоже на начало мира – ни окружающий мир, ни сердце ничего не замечают.

…Вспоминать о первых днях войны, приносящей, наверное, столько же бедствий, сколько счастья приносят мирные дни, – странный и поучительный удел… Я пытаюсь оправдать свой бунт, который пока не имеет никакого фактического обоснования.

Одни созданы для того, чтобы любить, другие – для того, чтобы жить.

Мы всегда преувеличиваем важность жизни отдельного человека. Есть множество людей, не знающих, что делать с жизнью, – не так уж безнравственно лишить их ее. С другой стороны, все приобретает новое значение. Но это уже известно. То, что эта катастрофа абсурдна по своей сути, ничего в ней не меняет. Ее абсурдность – часть еще более абсурдной жизни. Абсурдность жизни делается благодаря ей более явной и более насущной. Если нынешняя война повлияет на человечество, то влияние это будет следующим: люди укрепятся в своих представлениях о жизни и в своем о ней мнении. Как только война становится реальностью, всякое мнение, не берущее ее в расчет, начинает звучать неверно. Человек мыслящий занимается обычно тем, что старается сообразовать свое представление о вещах с новыми фактами, которые его опровергают. В этом-то сдвиге, в этой-то изменчивости мыслей, в этой сознательной поправке и заключается истина, то есть урок, преподаваемый жизнью. Поэтому, как ни отвратительна нынешняя война, невозможно оставаться непричастным к ней. Невозможно ни мне – это разумеется само собой и с самого начала – я могу рисковать жизнью и без страха смотреть в лицо

смерти, – ни всем тем, безымянным и покорным, что идут на эту непростительную бойню, – в ком я чувствую своих братьев.

В окно дует холодный ветер.
Мама: – Погода начинает меняться.
– Да.
– Что ж теперь, всю войну свет будет таким тусклым?
– Да, наверно.
– Зимой-то как будет худо.
– Да.

Все предали: те, кто подстрекал к сопротивлению, и те, кто проповедовал мир. Они все налицо, такие же послушные и более виновные, чем остальные. И никогда отдельный человек не был более одинок перед машиной, фабрикующей ложь. Он еще может презирать и бороться с помощью своего презрения. Если у него нет права быть в стороне и презирать, он сохраняет право судить. Никому не дано порвать с человечеством, с толпой. Думать иначе было бы предательством. Каждый умирает в одиночку. Всем предстоит умереть в одиночку. Пусть по крайней мере отдельный человек сохранит способность презирать и выбирать в ужасном испытании то, что прибавляет ему человеческого величия.

Пойти на испытание и принять все, что с ним связано. Но поклясться совершать на самом неблагородном поприще только самые благородные поступки. В основе благородства (подлинного, идущего от сердца) – презрение, храбрость и полное безразличие.

Быть созданным, чтобы творить, любить и побеждать, – значит быть созданным, чтобы жить в мире. Но война учит все проигрывать и становиться тем, чем мы не были. Теперь все дело в стиле.

Я мечтал, как мы с победой войдем в Рим. И размышлял о вторжении варваров в Вечный город. Но сам я был одним из варваров.

Совмещать в произведении описание и объяснение. Придать описанию его истинный смысл. Само по себе оно восхитительно, но ничего не несет с собой. В таком случае достаточно дать почувствовать, что мы намеренно остаемся в границах описания. Границы рушатся, и произведение начинает «звучать».

«С одной стороны, – говорит освобожденный от воинской повинности, вызванный на медицинскую комиссию, – мне все это осточертело. Но с другой стороны – я то и дело слышу всякие шуточки. «Ты еще не на фронте?» – «Ты все еще тут?» В нашем доме больше сорока мужчин. Остался я один. Вот и приходится возвращаться поздно ночью и уходить рано утром».

Другой запасник, которому сделали рентген желудка: «Они влили в меня литра три известки, не меньше. Раньше дерьмо у меня было черное, а теперь – белое. Вот она, война».

7 сентября

Люди все хотели понять, где война – и что в ней гнусного.

И вот они замечают, что знают, где она, что она в них самих, что она в этой неловкости, в этой необходимости выбирать, которая заставляет их идти на фронт и при этом терзаться, что не хватило духу остаться дома, или оставаться дома и при этом терзаться, что они не пошли на смерть вместе с другими.

Вот она, она здесь, а мы искали ее в синем небе и в равнодушном окружающем мире. Она в страшном одиночестве того, кто сражается, и того, кто остается в тылу, в позорном отчаянии, охватившем всех, и в нравственном падении, которое со временем проступает на лицах. Наступило царствие зверей.

В людях начинают пробуждаться ненависть и сила. В них не осталось ничего чистого. Ничего неповторимого. Каждый думает, как все. Кругом одни звери, звериные лица европейцев. Омерзительный мир, всеобъемлющая трусость, насмешка над храбростью, мнимое величие, упадок чести.

Ошеломительное зрелище: видеть, с какой легкостью рушится достоинство некоторых людей. Но если как следует подумать, ничего странного тут нет, ведь достоинство, о котором идет речь, держалось в них только за счет неустанной борьбы с их собственной природой.

Неизбежно только одно: смерть, всего остального можно избежать. Во временно́м пространстве, которое отделяет рождение от смерти, нет ничего предопределенного: все можно изменить и можно даже прекратить войну и жить в мире, если желать этого как следует – очень сильно и долго.

Правило: в каждом человеке видеть прежде всего то, что в нем есть хорошего.

Ср. Гретюизен по поводу Дильтея: «Таким образом, признав фрагментарный характер нашего существования и наличие в каждой отдельной жизни массы случайного и ограниченного, мы будем искать то, чего не находим в себе, в совокупности жизней».

Если верно, что абсурд дошел до предела (вернее, его беспредельность стала очевидной), то верно и то, что никакой опыт сам по себе не имеет цены и что все поступки в равной мере поучительны. Воля – ничто. Смирение – все. При условии, что человек «всегда готов» к любому унижению и мучению и претерпит их, не слагая оружия, призвав на помощь всю свою трезвость.

Стремление отгородиться – от глупости ли, от жестокости ли других – всегда бессмысленно. Невозможно сказать: «Я об этом ничего не знаю». Приходится либо сотрудничать, либо бороться. Нет ничего менее простительного, чем война и призыв к ненависти между народами. Но если уж война началась, бессмысленно и малодушно оставаться в стороне под тем предлогом, что не мы в ней виноваты. Башни из слоновой кости рухнули. Никакой снисходительности ни к себе, ни к другим.

Судить событие извне невозможно и безнравственно. Только находясь в лоне этого абсурдного бедствия, мы сохраняем право презирать его.

Реакция одного человека сама по себе не имеет никакого значения. От нее может быть какой-нибудь прок, но она ничего не оправдывает. Дилетантское желание парить над схваткой и порвать со своим окружением есть самое смехотворное применение свободной воли. Вот почему я стремился на фронт. А если меня не берут, мне надо смириться с положением тыловой крысы. В обоих случаях мое мнение может остаться непреложным, а отвращение – безоговорочным. В обоих случаях я не уклоняюсь от войны и имею право судить о ней. Судить и действовать.

Смиряться. И видеть, например, хорошее в дурном. Если меня не берут на фронт, значит, мне суждено вечно оставаться в стороне. И именно эта борьба за то, чтобы оставаться

нормальным человеком в исключительных условиях, всегда давала мне больше всего сил и позволяла приносить больше всего пользы.

Гёте (Эккерману): «Дай я себе волю, я очень скоро разорился бы сам и разорил всех своих близких…» Самое важное – научиться владеть собой.

О Гёте: «Он терпим без снисходительности».

Прометей как революционный идеал.
«Все, что не убивает меня, придает мне силы» (Ницше).

«Педантизм есть нехватка преданности» («Сумерки кумиров»).

«Трагический артист – не пессимист. Он говорит «да» всему неясному и ужасному» («Сумерки кумиров»).

Что такое война? Ничто. Совершенно все равно – быть штатским или военным, вести войну или бороться с ней.

Человек глазами Ницше («Сумерки кумиров»).

«Г. представлял себе, каким должен быть человек: сильный, развитый, закаленный, прекрасно владеющий собой, уважающий собственную индивидуальность, не боящийся развернуться в полную силу, показывая все свои природные дарования, способный познать свободу; терпимый не от слабости, а от силы, ибо наделен умением извлекать пользу даже из того, что было бы пагубно для натур заурядных, не знающий ничего запретного, кроме одной только вещи – слабости, как бы она ни называлась: пороком или добродетелью… Такой ум, обретя свободу, является в центре вселенной, полный счастливой и доверчивой надежды на судьбу, верящий, что осуждению подлежит лишь то, что существует обособленно, и что, подходя к миру как к целому, можно разрешить любую проблему и утвердить любую истину. *Он уже не отрицает…*»

Преодолеть еще и это? Придется. Но эти бесконечные усилия оставляют горький осадок. Неужели нельзя было избавить нас хотя бы от этого? Но и усталость тоже необходимо преодолеть. И это тоже не пройдет бесследно. Однажды вечером, подойдя к зеркалу, мы обнаруживаем, что морщина, кривящая уголки губ, стала чуть глубже. Что это? Это результат моей борьбы за счастье.

У Жарри перед смертью спросили, чего он хочет. «Зубочистку». Ему ее дали, он поднес ее ко рту и умер довольный. Жалкие люди, вы смеетесь над этим и не извлекаете ужасного урока. Всего-навсего зубочистка, только зубочистка, обычная зубочистка – вот цена этой пленяющей нас жизни.

«Но этот малыш очень болен, – сказал лейтенант. – Мы не можем его взять». Мне двадцать шесть лет, я прожил целую жизнь и знаю, чего хочу.

Куча людей, а за ними и Полан на страницах «Нувель ревю франсез», поражаются, что война 1939 г. началась не в такой обстановке, как война 14-го г. Наивные люди, они думают, что ужас всегда имеет одно лицо, наивные люди, они не могут расстаться с запасом привычных образов.

Весна в Париже: предвестие ее – почки на каштане, и сердце замирает. В Алжире переход более резкий. Здесь однажды утром у нас захватывает дух не от одного бутона розы, а от тысячи розовых бутонов. И не мимолетное волнение ощущаем мы, а мощный и отчетливый наплыв тысячи ароматов и тысячи ярких красок. Это не пробуждение чувств, но покорение тела.

Ноябрь 1939 г.

Что помогает вести войну?

1) то, что общеизвестно

2) отчаяние тех, кто не хочет воевать

3) самолюбие тех, кто идут на фронт по доброй воле, чтобы не отстать от других

4) голод тех, кто идут на фронт, потому что утратили положение в обществе

5) множество благородных чувств, таких как:

а) солидарность в страдании

б) молчаливое презрение

в) отсутствие ненависти.

Всем этим подло пользуются, и все это ведет к смерти.

Смерть Людовика XVI. Он написал жене письмо и просит человека, который ведет его на казнь, передать его ей. В ответ он слышит: «Я здесь не для того, чтобы выполнять ваши поручения, я здесь для того, чтобы вести вас на эшафот».

В итальянских музеях есть маленькие расписные экранчики, которые священник держал перед лицом осужденных, чтобы загородить от них эшафот.

Экзистенциальный скачок – это маленький экранчик.

Письмо к отчаявшемуся человеку.

Вы пишете, что война вас удручает, что вы готовы умереть, но не в силах выносить вселенскую глупость, жестокую трусость и преступную наивность людей, которые все еще верят, что кровь может разрешить все встающие перед человечеством проблемы.

Я читаю ваше письмо и понимаю вас. Мне хорошо понятен ваш выбор и противоречие между вашей готовностью умереть и вашим отвращением при виде того, как умирают другие. Значит, вы человек достойный. Это ставит вас в ряд тех, с кем можно говорить. И правда, как не впасть в отчаяние? Не один раз судьба тех, кого мы любим, оказывалась под угрозой. Болезнь, смерть, безумие, но оставались мы, и оставалось то, во что мы верили! Не один раз ценности, которыми мы жили, оказывались на грани крушения. Но никогда еще гибель не грозила одновременно и всем нашим близким, и всем нашим ценностям без исключения. Никогда мы не были обречены на поголовное уничтожение.

Я понимаю вас, но не разделяю ваших чувств, когда вы собираетесь сделать свое отчаяние правилом жизни и, решив, что все бесполезно, замыкаетесь в своем отвращении. Ибо отчаяние есть чувство, а не состояние. Жизнь не может сводиться к отчаянию. И чувство не должно вытеснять трезвый взгляд на вещи.

Вы говорите: «А как же быть? И что я могу?» Но изначально вопрос стоит не так. Вы, конечно, еще не утратили веру в отдельную личность, потому что прекрасно чувствуете, сколько хорошего есть в тех, кто вас окружает, и в вас самом. Но эти отдельные люди бессильны – и вы отчаиваетесь в обществе. Учтите, однако, что вы уже порвали с этим обществом задолго до катастрофы, что вы и я знали, что это общество неизбежно придет к войне, что вы и я выступали против нее и, наконец, что мы чувствовали полную свою несовместимость с этим обществом. С тех пор оно не изменилось. Оно пришло к своему естественному концу. И,

право, если посмотреть на вещи беспристрастно, нынче у вас не больше поводов для отчаяния, чем было в 1928 г. Да, у вас их ровно столько же.

А если как следует все взвесить, у тех, кто воевал в 1914 г., было больше причин для отчаяния, потому что они хуже понимали, что происходит. Вы скажете: какой мне прок знать, что в 1928 г. было столько же поводов для отчаяния, сколько в 1939-м? И будете неправы. Ибо в 1928 г. отчаяние ваше не было беспросветным, меж тем как теперь все вам кажется напрасным. Если ничто не изменилось, значит, суждение ваше неверно. Оно неверно, как и всегда, когда правда, вместо того чтобы явиться нам в итоге размышлений, предстает во плоти жизни. Вы предвидели войну, но надеялись ее предотвратить. И потому отчаяние ваше не было беспросветным. Сегодня вы думаете, что ничего уже не способны предотвратить. В этом все дело.

Но прежде всего следует спросить вас, все ли вы сделали, чтобы предотвратить войну? Если да, то война могла бы показаться вам неизбежной и вы могли бы рассудить, что тут уже ничего не поделаешь. Но я уверен, что вы сделали не все, что никто из нас не сделал всего, что надо. Предотвратить войну было не в ваших силах? Нет, это не так. Нынешняя война, как вы знаете, не была неизбежной. Достаточно было вовремя пересмотреть Версальский договор. Он пересмотрен не был. Вот и все, вы сами видите, что дела могли пойти совсем по-иному. Но этот договор, или что-либо другое, еще можно пересмотреть. Еще можно добиться, чтобы Гитлер отступил от своего слова. Еще можно отказаться от этих несправедливостей, вызвавших ответные несправедливости, и потребовать, чтобы те также были уничтожены. Есть еще полезное дело, которое предстоит выполнить. Вы полагаете, что ваша роль отдельного человека практически сводится к нулю. Но на это я скажу вам, возвращаясь к моему предыдущему рассуждению, что она осталась такой же, какой была в 1928 г. Впрочем, я знаю, что вы не слишком держитесь за понятие бесполезности. Ибо я думаю, что вы вряд ли одобряете отказ от военной службы по религиозно-этическим соображениям. И не потому, что у вас не хватает смелости выступить в его защиту. Просто вы не видите в таком отказе никакой пользы. Значит, некоторую долю полезности вы уже допускаете, и это позволяет вам следить за моей мыслью.

Вам есть, что делать, не беспокойтесь. У всякого человека есть более или менее широкая сфера влияния. Этому способствуют и его недостатки, и его достоинства. Как бы там ни было, влияние существует, и его можно незамедлительно использовать. Никого не подстрекайте к бунту. Надо беречь чужую кровь и свободу. Но вы можете убедить десять, двадцать, тридцать человек, что эта война не была неизбежной и не является таковой и поныне, что существуют средства прекратить ее, которые до сих пор еще не пущены в ход, что об этом надо говорить, когда можно, писать, если потребуется – кричать. Десять или тридцать человек, которых вы убедите, в свою очередь, скажут об этом десятку других, те передадут дальше. Если им помешает лень, тем хуже, начните все сначала с другими людьми. Вот когда вы сделаете то, что должны сделать, в своей сфере, на своем участке, тогда можете предаваться отчаянию сколько угодно. Поймите, что можно отчаяться в смысле жизни *вообще*, но не в ее отдельных проявлениях, можно отчаяться в существовании, потому что мы не имеем над ним власти, но не в истории, где отдельный человек может все. Ведь на смерть нас сегодня посылают отдельные люди. Почему же отдельным людям не постараться подарить миру мир? Надо только начать, не замахиваясь на столь великие дела. Поймите же, что в войне участвует не только энтузиазм тех, кто ее приветствует, но и отчаяние тех, кто ненавидит ее всей душой.

Выражение, процитированное Грином в его «Дневнике»: «Не надо бояться смерти – слишком много чести для нее».

Грин и его «Дневник».

Записывает много снов. Пересказ снов всегда наводит на меня тоску.

Смерть Лепуатвена, друга Флобера.
«Закройте окно! Это слишком прекрасно».

Собор в Бордо. В уголке:
«Святой Павел, сделай так, чтобы я попала в первую десятку!»
«Святой Павел, сделай так, чтобы он пришел на свидание!»

Монтерлан поставил эпиграфом к «Бесполезному служению» замечательные слова монсеньора Дарбуа: «Напрасно вы думаете, что человек создан, чтобы что-нибудь сделать на земле». И он извлекает отсюда замечательные и горькие уроки героизма. Но отсюда же можно извлечь и прямо противоположный урок, оправдывающий Диогена и Эрнеста Ренана. Только великие мысли способны на такую противоречивую плодотворность.

Я не устаю поражаться «развеселому» виду, который принимает в Алжире все, что имеет отношение к смерти. Ничто не кажется мне более оправданным. Что может быть смехотворнее события, обычное сопровождение которого – бульканье воды в горле и пот градом. Что может быть глупее благоговейного отношения к этому событию. Нет ничего презреннее, чем уважение, основанное на страхе. Отсюда следует, что смерть достойна не большего почтения, чем император Нерон или полицейский комиссар моего округа.

Лоуренс: «Трагическое должно быть как крепкий пинок несчастью» (ср. его аристократический коммунизм).

Там же: «Революцию надо совершать не ради того, чтобы дать власть какому-то классу, но ради того, чтобы пробудить в жизни надежду».

М. «Мужчины мне не ровня. Они на меня смотрят и меня судят; те, кто мне ровня, любят меня не глядя, они любят меня несмотря ни на что, любят меня, несмотря на низости, подлость, предательство, меня, а не то, что я делаю или сделаю, они готовы любить до тех пор, пока я сама буду себя любить – вплоть до самоубийства включительно».
…«только с ней (Мей) меня роднит эта любовь, то мучительная, то нет, как других роднят общие дети, которые больны и могут умереть».

Абсурдные персонажи.
Калигула. Меч и кинжал.
«Я полагаю, меня недостаточно хорошо поняли третьего дня, когда я убил жреца палкой, которой он должен был забить телку. А между тем все очень просто. В кои-то веки мне захотелось изменить порядок вещей – по правде говоря, просто для того, чтобы посмотреть, что будет. И я увидел, что ничего не изменилось. Немного удивления и ужаса у зрителей. А солнце все равно зашло в урочный час. Отсюда я заключил, что менять порядок вещей или не менять его – все едино».
Но почему бы солнцу не взойти однажды на западе?

Там же (Птолемей): Я приказал убить его, потому что он не имел оснований щеголять в более красивом плаще, чем я. Безусловно, не имел. Разумеется, и я не имел оснований рассчитывать, что мой плащ будет самым красивым. Но он этого не сознавал, и, поскольку я был единственным, кто вникнул в суть дела, преимущество, естественно, было на моей стороне.

Дон Кихот и Ла Палис.

Ла Палис: За четверть часа до смерти я был еще жив. Это меня и прославило. Но славу мою отняли самозванцы. Истинная моя философия заключается в том, что через четверть часа после смерти я уже не буду жив.

Дон Кихот: Да, я сражался с ветряными мельницами. Ибо совершенно все равно, сражаться с ветряными мельницами или с великанами. Настолько все равно, что их можно перепутать. Моя метафизика – метафизика близорукого.

Веды. О чем человек думает, тем он и становится.

Жизель и война. «Нет, я газет не читаю. Единственное, что меня интересует, – это погода. В воскресенье я собираюсь за город».

«Знаете, Фонтан, что меня больше всего поражает? Что сила бессильна что-либо создать. В мире есть только два владыки – меч и дух. И в конце концов дух всегда одерживает победу над мечом». Наполеон.

Людовик XIV. «Дитя мое, вы станете великим королем; не повторяйте моей ошибки, старайтесь поменьше воевать. Попробуйте облегчить жизнь вашему народу… Мое несчастье в том, что я не смог этого сделать».

Оран.

Тлелат как преддверие Орана. Нагота и свобода перед тем, как окунуться в мир чувственности, сосредоточение перед тем, как спуститься в сладостный ад.

В Оран можно ехать дневным или ночным поездом. Дневным я не ездил. Но когда едешь ночью, то под утро приезжаешь в Сент-Барб-дю-Тлелат, минуя дрожащие эвкалипты Перрего в тот час, когда утро еще не наступило, а ночь уже кончилась. В Тлелате есть маленький вокзал с зелеными ставнями, с большими башенными часами…

…Теперь о Тлелате во время дождя…

…Святая Варвара Тлелатская, воплощенное безразличие, уравновешенность и воля, охрани нас от слишком поспешного выбора и оставь нам эту неограниченную свободу, именуемую бедностью. Через несколько минут мы приедем в Оран, где на нас обрушится бремя плотской, безнадежной жизни. Неподвижная громада Санта-Крус и запах анисовки на улицах Мерс-эль-Кебира. Нас ждет «Вьей кюр», который в кафе «Сентра» подают со льдом, – и оранские женщины с толстоватыми лодыжками, вечно ходящие с непокрытой головой. Святая Варвара, храни оранских женщин до старости и приведи им на смену множество таких же оранок, которые будут так же прогуливаться под деревьями старой префектуры. Святая Варвара, отведи мысли оранок от Алжира и Парижа и научи их правде этого мира, которая заключается в том, что правды в нем нет. Святая Варвара, ты, подобная перрону, где мы, погрузившись в мечтания, курим сигарету в ожидании свистка, который вернет нас к земным пейзажам, ты знаешь, что я редко бываю религиозен. Но ты знаешь, что, если это со мной случается, мне не нужен Бог, что религиозность моя – лишь игра, длящаяся до той поры, пока поезд не тронется с места, и молитва моя мимолетна. Святая Варвара, ты, являющаяся точкой в пространстве на пути из Орана в Алжир, ближе к Орану, совсем рядом с Ораном, и остановкой во времени, которое приближает меня к Орану, ты, такая плотская и ясная, такая земная и надежная, стань на несколько секунд святой безбожника и наставницей простака.

Оран. Экстравагантный город, где обувные лавки выставляют напоказ страшные муляжи уродливых ног, где игрушки с сюрпризом соседствуют в витринах с трехцветными бумажниками, где еще встречаются необыкновенные кафе со стойкой, отполированной жиром и усеянной лапками и крылышками мух, кафе, где все стаканы щербатые. Благословенные кафе благословенного края, где маленькая чашечка кофе стоит 12 су, а большая –18. В антикварном магазине вам с наглым видом улыбается деревянная Дева Мария – скверное творение безымянной знаменитости. Под ней хозяева на всякий случай повесили табличку: «Деревянная Дева Мария, работы «майя». В витринах фотоателье выставлены странные физиономии, начиная с оранского моряка, облокотившегося на столик с гнутыми ножками, и кончая барышней на выданье в немыслимом наряде, красующейся на фоне леса; достойную компанию им составляет молодой красавец с прилизанными волосами и оскалом, вызывающим в памяти траншею.

Город, не имеющий себе равных, доступный, полный неоформившихся девушек, на которых нельзя смотреть без волнения, город с лицом без грима, не умеющий скрывать чувства, так неловко изображающий кокетство, что хитрость тотчас выходит наружу.

Кафе «Аполлон», кафе «У Мило», маленькие бары, похожие на лодочки, трамваи, пастели XVIII века рядом с заводным плюшевым осликом, прованская водичка для приготовления зеленых оливок, патриотические букеты цветов – Оран, Чикаго нашей абсурдной Европы!

Вырастающая из скалы крепость Санта-Крус, горы, морская гладь, сильный ветер и солнце, большие подъемные краны и гигантские сходни, взбирающиеся на утес, где стоит город, трамваи, мосты и ангары – что ни говори, во всем этом чувствуется величие.

Я часто слышал, как оранцы жалуются на свой город: «Нет интересного общества!» Но, черт возьми, вы сами виноваты.

Есть род величия, не способствующий возвышению. Оно по сути своей неплодотворно. Оно делает человека зависимым от его положения. Так что оставьте общество и выходите на улицу (но Оран не создан для оранцев).

Оран. Канастель и неподвижное море у подножия красных скал. Два дремлющих массивных мыса в прозрачной воде. Приближающийся глухой рокот мотора. И корабль береговой охраны, который незаметно плывет вперед в сверкающем море, омываемый ярким светом. Избыток безразличия и красоты – призыв нечеловеческих сил. На плато растут безвременники – изысканные цветы на волокнистых стеблях.

Мерс-эль-Кебирская бухта и дорога под цветущими миндальными деревьями; совершенный рисунок бухты – ее *средняя* протяженность – вода, словно голубая металлическая пластина. Безразличие.

То же над черепичной фабрикой. Красное и голубое. Прозрачность вещей. Безразличие.

Ноябрь

Перед Борджиа, избранным папой, трижды зажигают паклю, чтобы напомнить этому владыке мира, что мирская слава недолговечна. Он вершил суд «достойным восхищения» образом (Бурхард).

Иннокентий VIII, которому медиум-еврей дал выпить женского молока, смешанного с кровью мужчины.

Фердинанд Неапольский, бальзамирующий трупы своих казненных врагов, чтобы «украшать ими свои покои».

Александр и Лукреция Борджиа всегда покровительствовали евреям. Александр делит мир между испанцами и португальцами, проведя прямую линию от Азорских островов до Южного полюса. Большего мир не стоит.

По Бурхарду.

После убийства герцога Ганди, его сына.

Александр VI оцепенел от страшного горя. Он вперил взор в недвижные окровавленные останки, потом заперся в своей спальне, откуда доносились его рыдания.

Не ел и не пил с четверга до субботы и не спал до воскресенья.

Цезарь Борджиа. Крепкий, был подвержен «приступам хвори», страдал нарывами и не вставал с постели, «скорбные предчувствия омрачали жизнь этого славного юноши». И он исступленно предавался развлечениям. Днем спал – ночью трудился. Aut Caesar, aut nihil[92].

Роман. У него ничего не получается и не получится, потому что он разбрасывается, потому что он не умеет выбирать между своими обязанностями, а произведение искусства невозможно создать, если не… Все дело в его привычках. Самая пагубная – валяться в постели. Это сильнее его. А влечет его, манит и восхищает противоположное. Он хочет, чтобы произведение родилось из отступления от привычки, – и принимает решения.

29 ноября

Прославление разнообразия, изобилия, в частности чувственной жизни, и призыв отдаться порыву страсти оправданны только в том случае, если человек доказал свое бескорыстие по отношению к предмету этой страсти.

Существенно также погружение в материю – ведь множество людей прославляют чувственность только потому, что они ее рабы. Здесь также прячется корысть.

Отсюда железная необходимость пройти испытание, например испытание целомудрием, обращаться с самим собой по всей строгости. Перед тем, как начать какое бы то ни было теоретическое предприятие, имеющее целью прославление сиюминутного, нужен месяц полной аскезы.

Сексуальное целомудрие.

Целомудрие в мыслях – не давать желаниям сбиваться с пути истинного, мыслям – рассеиваться.

Единственный, постоянный предмет размышлений – отказаться от остального.

Трудиться по часам, не прерываясь, не отвлекаясь и т. д. и т. п. (нравственная аскеза также).

Одно-единственное отклонение – и все пропало: практика и теория.

В Ферраре дворец Скифаноя, построенный Альберто д'Эсте, чтобы «спастись от скуки».

Род Эсте.

Ипполито приказывает вырвать глаза своему брату Джулио, потому что женщина, которую он любит, сказала, что «глаза Джулио ей милее, чем тело Ипполито».

Джулио и Фернандо хотят убить Ипполито и Альфонсо д'Эсте. Заговор раскрыт, они осуждены на смерть, затем садистски помилованы на эшафоте. Однако Фернандо проводит в тюрьме тридцать пять лет и умирает в темнице, а Джулио остается в заключении пятьдесят четыре года и выходит на свободу с помутившимся рассудком.

Альфонсо д'Эсте приказывает расплавить статую Юлия II работы Микеланджело и отлить из нее пушку.

---

[92] Или Цезарь, или ничто (*лат.*).

Ср. Гонзаг Трюк. «Они строили только для себя и, вместо того чтобы склонить голову перед творением искусства, вместо того чтобы смиренно отыскать ему место в таинственном мироздании (?), напитать его вечными ценностями (?), они осуждали его на немедленное исчезновение. От них самих до нас дошли только высокомерные и проклятые имена». *Вот именно*.

Библиография по Борджиа.
Луи де Вильфосс («Макиавелли и мы», 1937).
Рафаэль Сабатини («Цезарь Борджиа», 1937).
Фред Беренс («Лукреция Борджиа», 1937).
Габ, Брюне («Живые тени», 1936).
Л. Коллисон-Морлей («История рода Борджиа»).
Шарль Бенуа («Макиавелли»).
«Дневник» Иоганна Бурхарда (изд. «Тюрмель», 1933) и т. д.

1940 г.

Вечера на террасе Двух Чудес. Дыхание моря, которое угадывается в ночи. Трепет олив и испарения, поднимающиеся от земли.

Скалы в море, усеянные белыми чайками. Их серая громада, освещенная белыми крыльями, словно сверкающее плавучее кладбище.

Роман.

Эта история началась под палящим солнцем на голубом пляже: загорелые тела двух молодых существ – купание, игры в воде и на солнце, – летние вечера на дорогах вдоль пляжей, напоенные ароматом фруктов и испарениями, поднимающимися в глубокой тени, – расслабившееся тело в легких одеждах. Влечение, тихое тайное упоение в сердце семнадцатилетнего юноши.

Закончилась в Париже: холод или серое небо, голуби на черных камнях Пале-Руаяля, город и его огни, торопливые поцелуи, нервная беспокойная нежность, желание и благоразумие, овладевающее сердцем двадцатичетырехлетнего мужчины, – «останемся друзьями».

Там же. Другая история, начавшаяся холодной ненастной ночью, на земле среди кипарисов, перед лицом неба, испещренного звездами и облаками; продолжавшаяся на алжирских холмах или в виду таинственного и широкого порта.

Касба – жалкая и величественная, кладбище Эль-Кеттар, низвергающее свои могилы в море, горячие мягкие губы среди цветов граната над какой-то могилой – деревья, холмы, подъем к высохшей и чистой Бузареа и возвращение к морю, вкус губ и сияние солнца в глазах.

Все начинается не с любви, но с желания жить. Далеко ли до любви, когда в большом квадратном доме над морем два тела, поднявшиеся сюда, в эту оторванную от мира комнату, под завывание ветра и глухое дыхание моря, слышные во тьме, приникают друг к другу и сливаются воедино? Чудесная ночь, когда надежда на рождение любви неотделима от дождя, неба и безмолвия земли. Точка равновесия двух существ, соединившихся телесно и породнившихся душевно благодаря общему безразличию ко всему в мире, кроме этого мига.

И этот миг, что-то вроде танца, она в стильном платье, он в костюме танцора.

Первые миндальные деревья в цвету на дороге, у моря. Всего за одну ночь они покрылись этим белоснежным покровом, таким хрупким, что не верится, как он может выдержать холод и дождь, который мочит все лепестки.

В троллейбусе.

Старая дама с лицом сводни, меж едва заметных грудей у нее болтается крест:

«Порядочные женщины умеют себя блюсти. Не то что эти, для которых от войны – одни выгоды. Муж на фронте, а она получает пособие и изменяет ему. Я одну такую знаю, она мне говорит: «Хоть бы он там подох. Дома был злой как пес! Не война же его исправит». Я ее убеждаю: «Теперь, когда он на фронте, надо его простить». Никакого толку. Нет, месье, этих женщин не исправишь. Это у них в крови, говорю вам, это у них в крови».

Февраль

Оран. Издалека, от Вальми, из поезда видна гора Санта-Крус, глубоко вросшая в землю, и сам собор, словно каменный перст, устремленный в синее небо.

В десять утра нужно непременно отправиться на бульвар Галлиени к чистильщику обуви. Свежий ветерок, яркое солнце, спешащие мужчины и женщины и необычайное довольство, которое ощущаешь, забравшись в высокое кресло и наблюдая за работой чистильщика. Дело сделано, все вычищено, отполировано, доведено до совершенства. В какой-то момент, видя, как чистильщик манипулирует мягкими щетками, и любуясь безукоризненным глянцем башмаков, думаешь, что изумительная операция закончена. Но тут неугомонная рука снова проходится по сверкающей поверхности, снимает с нее блеск, трет ее, яростно втирает ваксу внутрь, и из-под щетки начинает бить двойной и в самом деле безукоризненный блеск, исторгнутый из глубин кожи.

Дом колониста – воплощенная метафизика, мораль и эстетика. Торт, увенчанный египетским пскентом. Занятная мозаика, неведомо почему в византийском стиле, где очаровательные сестры милосердия в сандалиях несут корзины винограда, а длинная вереница рабов, одетых на античный манер, спешит к добродетельному колонисту в колониальном шлеме и в галстуке бабочкой.

Аустерлицкая улица и ее столетние евреи. Что ни разговор, то забавная сценка.

Такие костюмы, как от Мари-Кристин, «not only fashio-nable, but always up to date»[93]. Слабительные «только на крайний случай. Насилие над кишечником – это не дело».

С дороги, тянущейся высоко в горах, скалы кажутся натыканными так густо, что пейзаж кажется вычурным и почти нереальным – человеку в нем совершенно нет места, ибо его тяжеловесная красота выглядит потусторонней.

Маленькая площадь Перл, где в два часа дня играют дети. Мечеть, минареты, скамейки, кусочек неба. Дребезжащий голос испанского радио. Я люблю эту площадь не в этот час, а в другой – я его хорошо себе представляю, – когда летнее небо уже не пышет жаром и на маленькой площади становится легче дышать; по ней прогуливаются женщины в обществе военных, мужчины, привлекаемые запахом анисовки, спешат в бары.

Женский роман. Единственная тема – искренность.

[93] Не только модно, но всегда к сроку (*англ.*).

«Не пытай бессмертия, милая душа, – обопри на себя лишь посильное» (Пиндар – Третья Пифийская песнь)[94].

Персонажи.
Старик и его собака. Восемь лет ненависти.
Другой человек и его привычка говорить: «Он был прелестен, более того, приятен».
«Оглушительный, более того, умопомрачительный шум».
«Это черта вечная, более того, общечеловеческая». А.Т.Р.

Солнечное утро и голые тела. Душ, потом жара и свет.

Февраль
Это флорентийское лицо, говорящее о том, что его любовь и его прошлое были несчастными. Какова здесь доля игры? Какова доля волнения, такого сильного, такого потрясающего в одни моменты и такого сдержанного в другие?

М. – подобная душе Парижа. Это солнечное утро и город, полный света, – ее глаза, подобные городу и этой легкой жизни. «O dolore dei tyoi martiri, o diletto del tuo amore»[95].

«Она являет собой не любовь, но надежду на удачу, – все, что не является изгнанием, все, что является приятием жизни. И никогда еще надежда не имела такого волнующего лица. Кто может быть уверен, что любит? Но волнение все узнают сразу. Эта песня, это лицо, этот гибкий грудной голос, эта наполненная и независимая жизнь – вот все, чего я жду, на что уповаю. И если я откажусь от своих чаяний, они все равно останутся как обещания освобождения и как тот образ меня самого, с которым я не могу расстаться».

Март
Что означает это внезапное пробуждение – посреди этой темной комнаты, в шуме города, ставшего вдруг чужим? И все мне чужое, все, нет нигде близкого существа и негде залечить рану. Что я делаю здесь, к чему эти жесты, эти улыбки? Я не из этих краев – и не из других. И окружающий мир – всего лишь незнакомый пейзаж, где сердце мое уже не находит опоры.
Посторонний, могущий понять, что значит это слово.

Чуждо, признать, что все мне чуждо.
Теперь, когда все стало ясно, ждать и ничего не жалеть.
Во всяком случае, работать так, чтобы научиться до конца и молчать и творить. Все прочее, все прочее в любом случае не важно.

Вечер: События. Люди. Индивидуальные реакции.

Трувиль. У моря – плато, поросшее асфоделями. Маленькие виллы с верандами за зелеными или белыми заборами – одни спрятаны в зарослях тамариска, другие стоят открыто среди камней. Море тихо рокочет внизу. Но солнце, легкий ветерок, белизна асфоделей, яркая синь неба – все дает представление о лете, о его золотой поре, о загорелых девочках и мальчиках, зарождающихся страстях, долгих часах под солнцем и неожиданной мягкости вечеров. Какой

[94] Перевод М. Л. Гаспарова.

[95] О, горечь причиняемых тобою мук, о, наслаждение твоей любви (*ит.*).

еще смысл искать в нашей жизни, если не этот, и какой урок, если не урок этого плато: рождение и смерть, а между ними красота и меланхолия.

Р.С. Один из тех типов, которые, как говорится, стесняются пойти в туалет у всех на виду, но потом оказывается, что у них такая теория и, согласно этой теории, величие человека – в том, чтобы сознавать свою униженность. И тут уже выходит, что привередливы не они, а мы.

С. Хочет написать дневник романа, который не написал его автор.

Единственной реакцией на человеческое общество все чаще и чаще становится индивидуализм. Человек сам себе цель. Все, что пытаются сделать ради общего блага, оканчивается провалом. А тому, кто все-таки хочет сделать попытку, подобает делать ее с нарочитым презрением. Полностью устраниться и блюсти собственные интересы. (Идиот.)

Мужчина получает письмо от мужа своей любовницы. В этом письме муж вопиет о своей любви и говорит, что, прежде чем дать волю ярости, он хочет поговорить непосредственно со своим соперником. Ярости-то любовник и боится больше всего на свете. Поэтому великодушие мужа приводит его в восхищение.

И чем сильнее он боится, тем громче говорит о своем восхищении. Он без устали твердит об этом и, значит, с виду преисполнен благородства. Он готов отказаться от всего, хотя бы из признательности мужу за его великодушие, он готов принести себя в жертву – безропотно, он не стоит своего соперника. Впрочем, во все это он верит лишь отчасти. Ведь немалую роль играет тут и страх получить по физиономии.

Собака на вилле. С. взял ее в дом, несмотря на протест матери. Собака крадет двух анчоусов. Видя, как мать гонится за убегающей в страхе собакой, С. кричит: «Стой, стой! Не сходи с ума».

Потом С.: Бедный пес, он уже верил в райскую жизнь.

Мать: Я тоже верила в райскую жизнь, но сроду ее не видела.

С.: Да, но он-то успел побывать в раю.

Спуск к морю над Мерс-эль-Кебиром. Цепь холмов и скал, окружающих бухту. Закрытое сердце.

Марсель. Ярмарка: «Жизнь? Небытие? Иллюзии? И все-таки правда». Большой барабан. Бум, бум, входите в Небытие.

На заре нового времени: «Совершилось!» Ладно, тогда начинаем жить.

Париж, март 1940 г.

Что отвратительно в Париже: нежность, чувство, мерзкая сентиментальность, которая называет прекрасное хорошеньким, а хорошенькое прекрасным. Нежность и отчаяние этого хмурого неба, мокрых блестящих крыш, этого бесконечного дождя.

Что замечательно: страшное одиночество. Словно лекарство от жизни в обществе: большой город. Теперь это единственная настоящая пустыня. Тело здесь уже не в цене, оно скрыто, запрятано под бесформенными шкурами. Только душа, душа со всеми ее порывами, хмелем, чересчур слезливыми переживаниями и прочим. Но еще и со своим единственным величием: молчаливым одиночеством. Когда смотришь на Париж с вершины Холма, он кажется ужасной, запотевшей под дождем серой, бесформенной опухолью, вспучившей землю, если же повернуться к церкви Святого Петра на Монмартре, чувствуешь единство страны, искусства и рели-

гии. Все прожилки этих камней дрожат, все распятые и подвергшиеся бичеванию тела ввергают душу в такое же беспамятство и скверну, как и сам город.

Но с другой стороны – душа никогда не бывает права, и здесь она неправа особенно. Ибо самые великолепные лица, которые она подарила этой религии, столь пекущейся о душе, высечены из камня по образу лиц из плоти и крови. И здешний Бог трогает нас прежде всего своим человеческим лицом. Странная ограниченность человеческого существования, которая мешает ему выйти за пределы человеческого, которая являет в плотском обличье символы, отрицающие тело. Они отрицают его, но пользуются его очарованием. Только тело великодушно. Римский легионер выглядит как живой благодаря огромному носу или сгорбленной спине, Пилат – благодаря выражению беспредельной скуки, которое увековечено в камне.

Христианство это поняло. И если оно тронуло нас так давно, то именно благодаря тому, что его Бог принял облик человека. Но правда и величие этого Бога кончаются на кресте, в тот миг, когда он вопиет о своей покинутости. Вырвем последние страницы из Евангелия, и перед нами окажется человеческая религия, культ одиночества и величия. Конечно, она невыносимо горька. Но в этом ее правда, а все остальное – ложь.

Отсюда следует, что целый год одинокой жизни в убогой каморке в Париже учит человека большему, чем сотня литературных салонов и сорок лет опыта «парижской жизни». Это существование суровое, страшное, порой мучительное, постоянно балансирующее на грани безумия. Но это соседство должно либо закалить и укрепить мужество человека, либо сломить его. Впрочем, если мужество оставит вас, значит, оно не было жизнестойким.

Эйзенштейн и празднества Смерти в Мексике. Мрачные маски на забаву детям, сахарные черепа, которыми они с наслаждением хрустят. Смерть смешит детей, она веселая, сладкая, сахарная. Отсюда «покойнички». И в конце – «Наша подружка Смерть».

Париж.

Женщина с верхнего этажа покончила с собой, выбросившись из окна. Ей был тридцать один год, сказал один из жильцов, – этого довольно, и если она успела пожить, то можно и умереть. В доме еще бродит тень драмы. Иногда она спускалась и просила у хозяйки позволения поужинать с ней. Внезапно она принималась целовать ее – из потребности в общении и теплоте. Это кончилось шестисантиметровой вмятиной на лбу. Перед смертью она сказала: «Наконец-то!»

Париж.

Черные деревья на фоне серого неба и голуби цвета этого неба. Статуи в траве и это томное изящество…

Взлет голубей, словно хруст разворачиваемого белья. Воркование в зеленой траве.

Париж.

Маленькие кафе в пять утра – окна запотели – варится кофе – посетители Центрального рынка и торговцы – утренняя рюмочка и божоле.

Часовня Сент-Шапель. Туманы – воздушные пути и фонари.

Леже. Этот дух – эта метафизическая живопись, которая переосмысляет материю. Занятно: когда начинают переосмыслять материю, постоянным остается лишь то, что являлось *видимостью*, – цвет.

Тип в пивной, который слышит, как дама звонит по телефону, называя его номер и его имя. Он отвечает. Она говорит с *ним* так, словно он находится на другом конце провода (семья, все подробности и т. д.). Он не понимает. Вот так.

Бесперспективно.

«Произведения, о которых говорит здесь Ж.М., были сожжены.

Но совершенно ясно, что он с таким же успехом мог их опубликовать и встретил бы только безразличие или возражения, что, в сущности, одно и то же». С.Л.

Чтобы передать пульсацию жизни и дыхание, писать всю жизнь. «Сегодня мне двадцать семь лет» и т. д.

Использовать систему, комментируя (или вкратце все изложить в предисловии).

Испанский солдатик в ресторане. Ни одного слова по-французски, обращается ко мне, страдая без человеческого участия. Эстремадурский крестьянин, борец за республику, концентрационный лагерь в Аржелесе, вступил во французскую армию. Когда он произносит слово «Испания», ее небо отражается в его глазах. У него недельный отпуск. Он приехал в Париж, и город в несколько часов раздавил его. Не зная ни слова по-французски, блуждая в метро, чужой, чуждый всему, кроме родной земли, он мечтает о встрече с однополчанами. И даже если ему суждено сдохнуть под низким небом среди грязных луж, пусть это хотя бы будет рядом с земляками.

Апрель

В Гааге. Человек живет в пансионе, не подозревая, что это бордель. В столовой никогда ни души. Он спускается в халате. Входит какой-то господин в визитке и цилиндре. Он чопорен, степенен и чернокож. Он заказывает самые дорогие блюда. В столовой воркует голубка. Пообедав, господин удаляется, оставив плату на столе. Внезапно наступает тишина. Официант возвращается и приходит в ужас: негр унес в своем шапокляке голубку.

Роман (часть вторая – последствия).

Человек (И.Х.) назначил себе такой-то день для смерти – довольно близкий. И сразу получил удивительное превосходство над всеми общественными и прочими силами.

В метро коротышка военный. Лет сорока. Пытается пригласить на свидание довольно молодую девицу. «Быть может, вы позволите мне зайти к вам через несколько дней, когда я снова буду в городе?» – «Нет, меня брат будет ругать». – «Да, наверно, это вполне естественно, вы правы. А можно вам написать?» – «Нет, давайте лучше где-нибудь встретимся». Он теряется, слыша, что она впрямую соглашается на то, чего он пытался добиться окольными путями. «Да, конечно, конечно. Да, вы правы, совершенно правы, так лучше. Ну-ка, посмотрим. Завтра у нас понедельник… Да, понедельник. Посмотрим, в котором часу. Я пытаюсь сообразить, знаете ли, потому что при моей работе… Да, так завтра понедельник. Давайте в пять?»

Она (*с прежней прямотой*): Вы не можете попозже?

Он (*в том же смятении*): Да, да, вы опять правы.

Она: В восемь.

Он: Да, да, в восемь. В «Террасе», если вы не против.

Она: Хорошо.

Он молчит. Но чувствуется, что его внезапно охватил страх, который он тщательно скрывает. Он хочет принять меры предосторожности, чтобы свидание, которого он так легко

добился и которое для него так много значит, не сорвалось. «А если вы вдруг не сможете, я вам напишу?» – «Нет, лучше не надо». – «Тогда давайте на всякий случай договоримся о другой встрече, если вы вдруг не сможете завтра». – «Хорошо, в четверг в восемь на том же месте». Он доволен, но вдруг пугается, как бы это второе свидание не обесценило первое, завтрашнее. «Но завтра мы встречаемся непременно, не так ли? Это только на всякий случай». – «Да», – отвечает она. Она выходит на площади Согласия, а он у вокзала Сен-Лазар.

Художник отправляется в Пор-Кро, чтобы делать зарисовки. Там так красиво, что он покупает дом, убирает свои картины и больше к ним не притрагивается.

Почувствовать в «Пари-Суар» все сердце Парижа и его гнусный дешевый дух. Мансарда Мими превратилась в небоскреб, но сердце осталось прежним. Оно развращено. Сентиментальность, тяга к ярким цветам, самолюбование, все эти сомнительные прибежища человека в городе, столь суровом к человеку.

Вы не писали бы столько об одиночестве, если бы умели извлекать из него все возможное.

«Я, – говорит он, – человек обоняния. А это чувство не годится ни для какого искусства. Только для жизни».

Новелла. Священник в провансальской деревне, довольный своей участью. По случайности присутствует при последних минутах осужденного на смерть. Утрачивает веру.

Апрель

Предисловие к Террачини. …Многие из нас тоже тоскуют по изгнанничеству, питают к нему пристрастие. Земли Италии и Испании воспитали столько европейских душ, что стали достоянием Европы, всей мыслящей Европы, которая всегда будет одерживать верх над Европой, выкованной оружием. В этом, быть может, значение этих страниц. Но так обстояло дело уже двести лет назад. Так оно обстоит и сейчас. И ни в коем случае не надо терять надежду, что так будет обстоять дело и в тот день, когда на руинах в конце концов распустятся цветы.

2-я серия. Для Дон Жуана. Смотри «Ларусс»: монахи-францисканцы убили его и распустили слух, что Командор его испепелил. Последний акт. Обращение францисканцев к народу: «Дон Жуан уверовал» и т. д. «Слава Дон Жуану».

Предпоследний акт: вызов Командору, который не приходит. Горечь от сознания собственной правоты.

2-я серия. Для Дон Жуана.

(*Святой отец и Дон Жуан выходят из покоев Дон Жуана, и тот провожает монаха к двери.*)

Начало I.

Монах-францисканец: Так вы ни во что не верите, Дон Жуан?

Дон Жуан: Напротив, святой отец, верю в три вещи.

Монах: Можно узнать, в какие?

Дон Жуан: Я верю в храбрость, ум и женщин.

Монах: В таком случае мне ничего не остается, кроме как пожалеть о вас.

Дон Жуан: Да, если счастливый человек достоин жалости, святой отец.

Монах (*в дверях*): Я буду молиться за вас, Дон Жуан.

Дон Жуан: Благодарю вас, святой отец. Я вижу в этом проявление отваги.

Монах (*мягко*): Нет, Дон Жуан, здесь проявляются два чувства, которых вы упорно не признаете: милосердие и любовь.

Дон Жуан: Мне ведомы только нежность и великодушие, – мужественные формы этих женских добродетелей. Но прощайте, святой отец.

Монах: Прощайте, Дон Жуан.

Май

«Посторонний» закончен.

Дивный «Мизантроп» с его грубыми контрастами и типическими характерами.

Альцест и Филинт

Селимена и Элианта

Однообразие Альцеста – абсурдное следствие характера, доведенного до крайности, – вот и весь сюжет. И стих, «дурной стих», почти такой же монотонный, как и характер.

Исход.

Клермон. Сумасшедший дом и его странные башенные часы. Гнусные рассветы в пять утра. Слепцы – местный безумец, который весь день рычит, – наша земля в миниатюре. Здесь все притягивают к себе два полюса, море и Париж. Именно в Клермоне можно узнать Париж.

Сентябрь

Закончена первая часть Абсурда.

Человек стирает с лица земли свой дом, сжигает свои поля и посыпает их солью, чтобы они не достались другим.

Мелкий служащий Французского банка. Когда его переводят в Клермон, пытается сохранить верность старым привычкам. Это ему почти удается. Но есть неуловимая разница.

Октябрь 1940 г. Лион.

Святой Фома Аквинский (будучи подданным Фридриха) признает за подданными право на бунт. Ср. Бауманн. «Политика святого Фомы», с. 136.

В Падуе, опустошенной чумой и осажденной венецианцами, последний из рода Каррара с воплями метался по залам своего дворца: он призывал дьявола и молил его о смерти.

Где-то, кажется, в Сиене, один кондотьер спас город. Он требует награды. Мнение народа: «Ничто и никогда не будет ему достойной наградой, даже высшая власть. Убьем его. А после будем ему поклоняться». Так они и сделали.

Джан-Паоло Бальоне, о котором Макиавелли говорит, что, упустив случай убить папу Юлия II, он упустил случай обессмертить свое имя.

Бурхард: «Коварство, нечестивость, воинская доблесть и обширные познания – все эти качества слились в Дж. Малатесте» (умер в 1417 г.).

Филиппо Мария Висконти, миланский кондотьер, не желал слышать о смерти и отсылал с глаз долой своих умирающих фаворитов. Тем не менее, по словам Бурхарда, «он встретил смерть благородно и достойно».

В Равенне народ забирал свечи с алтаря и ставил их перед могилой Данте: «Ты больше достоин их, чем тот, распятый».

Новелла: Рона, Сона, вниз по течению, одна скачет, другая запинается и в конце концов, слившись с первой, исчезает в ее волнах. По ним плывут двое: параллель.

Новелла: история Y.

Терне. Маленькая деревушка, пустынная и холодная, возвышается над Роной. Серое небо и ледяной ветер, словно облегающее платье. Земли под паром. Несколько черных борозд, а над ними вороны. Маленькое кладбище, сливающееся с небом: все они были примерными супругами и примерными отцами. Все они оставили по себе вечную память.

Старая церковь с копией картины Буше. Служительница, сдающая напрокат стулья: она так испугалась, когда налетели немецкие бомбардировщики. В последнюю войну коммуна потеряла тридцать человек. Нынче всего восемнадцать человек в плену, но и это немало. Сейчас состоится венчание молодой пары. Учительница, беженка из Эльзаса, потерявшая связь с родными. «Как вы думаете, месье, это скоро кончится?» Сын ее погиб в 14-м году, он был тяжело ранен, она поехала к нему и видела, как наши отступали на Марне. Она увезла его с собой, он умер дома. «Я там такого навидалась, ввек не забуду».

На дворе все то же небо и все тот же холод. Распаханная земля и ровная, сверкающая река, которая течет внизу, время от времени покрываясь легкой рябью. Чуть подальше зал ожидания на вокзальчике в Серрезене. Освещение, соответствующее военному времени; афиши, приглашающие счастливо жить в Бандоле, – в полутьме. Печка погасла, ее холодные плитки все в разводах от поливки дезинфицирующими средствами. Предстоит час ожидания под стук далеких поездов и вой вечернего ветра над долиной. Так близко и так одиноко. Здесь приближаешься вплотную к своей свободе, и до чего же она ужасна! Единство, единство с этим миром, где цветам и ветру никогда не искупить всего остального.

Декабрь
(Египет.)
Греки – Этруски – Рим и его упадок – Александрия и христиане – Священная Римская империя и дерзость мысли – Прованс и провансальские еретики – итальянский Ренессанс – елизаветинцы – Испания – от Гёте до Ницше – Россия.
Индия, Китай, Япония.
Мексика – Соединенные Штаты.
Стили – от дорической колонны через готику и барокко к цементной арке.
История – Философия – Искусство – Религия.
П.С.М.

Декабрь
Греки. История – Литература – Искусство – Философия.

Сознательно или бессознательно женщины всегда пользуются чувством чести и верности данному слову, которое так сильно развито у мужчин.

Сыны Каина – во всей красе. Господь видит убийство Авеля, но ничему не препятствует. Но страдание закаляет Каина. Господь готов простить его, но Каин отвергает прощение: «От лица твоего я скроюсь».
(Или стихотворение – там же, Иуда.)

Оран. Январь 1941 г.
История II. Старичок, бросающий из окна второго этажа обрывки бумаги, чтобы привлечь кошек. Потом он на них плюет. Когда плевок попадает в одну из кошек, старик смеется.

Нет ни одного места, которое оранцы не испоганили бы какой-нибудь мерзкой постройкой, способной перечеркнуть любой пейзаж. Город, который отворачивается от моря и строится, вертясь вокруг своей оси, как улитка. Люди блуждают по этим неприветливым и уродливым улицам, ища море, как нить Ариадны. Но из этого лабиринта выхода нет. В конце концов оранцев пожирает Минотавр – это скука.

Но все напрасно: одна из самых могущественных земель на свете разрушает злосчастные декорации, которые на ней понастроили, и между домами и над крышами раздаются ее громкие стоны. А жизнь, которую можно вести в Оране вопреки скуке, достойна его земли. Оран доказывает, что в людях есть нечто более сильное, чем их творения.

Тот, кто не бывал в Оране, не знает, что такое камень. В этом городе, одном из самых пыльных на свете, булыжник и камень правят бал. В других местах арабские кладбища славятся своей умиротворенностью. Здесь, у моря, над дорогой Разэль-Аин, белые россыпи меловых камней на фоне синего неба слепят глаза. Среди этих останков местами, подобная свежей крови и жизни, алеет герань.

О Флоренции и Афинах пишут книги. Раз эти города воспитали столько европейских умов, значит, в них что-то есть. Они способны растрогать и возвысить. Они утоляют голод души, питающейся воспоминаниями. Но никому бы не пришло в голову писать о городе, где нет пищи для ума, где царит уродство, где нет места прошлому. А между тем это бывает весьма заманчиво.

Почему люди проявляют привязанность и интерес к тому, что ничего не может дать взамен? Эта пустота, это уродство, эта скука под великолепным неумолимым небом – что в них соблазнительного? Я могу ответить: творение. Для определенного типа людей творение всюду, где оно прекрасно, – отечество с тысячью столиц. Оран – одна из них.

Кафе. Лангустины, вертела, улитки под обжигающим рот соусом. Их запивают отвратительным сладким мускатом. Такого не придумаешь. Рядом слепой поет фламенко.

Холмы над Мерс-эль-Кебиром – совершенство пейзажа.

«Неволя и величие солдата». Чудесная книга, которую стоит перечитать в зрелом возрасте.

«Монтекукулли, который после гибели Тюренна отступил, не пожелав продолжать игру против посредственного партнера».

Честь – «это добродетель исключительно человеческая, словно порожденная самою землею, не сулящая небесного венца после смерти; добродетель эта неотделима от жизни».

Оран. Дорога в Нуазе: долгий путь меж двух склонов, выжженных и пыльных. Земля трескается под солнцем. Мастиковые деревья цвета камней. Небо наверху исправно расходует свои запасы жары и огня. Понемногу мастиковые деревья крепнут и зеленеют. Растительность входит в силу, поначалу незаметно, потом с ошеломляющей быстротой. В конце долгого пути мастиковые деревья постепенно сменяются дубами, все разом увеличивается в размерах и смягчается, а затем за поворотом вдруг открывается поле цветущего миндаля: словно прохладная вода для глаза. Маленькая долина кажется потерянным раем.

Дорога по склону холма над морем. Проезжая, но заброшенная. Сейчас она заросла цветами. Она стала бело-желтой от маргариток и лютиков.

21 февраля 1941 г.

Окончен «Сизиф». Все три Абсурда завершены.

Начатки свободы.

15 марта 1941 г.

В поезде.

– Вы действительно знали Кана?

– Кана? Такой высокий, худой, с черными усиками?

– Да, который был стрелочником в Бель-Аббесе.

– Конечно, знал.

– Он умер.

– Надо же! От чего?

– От чахотки.

– Смотри-ка, кто бы мог подумать.

– Да, но ведь он еще играл в духовом оркестре. Вечно дул в трубу – это его и свело в могилу.

– Да, наверно. Когда человек болен, надо беречь себя. Нечего дудеть на корнет-а-пистоне.

Дама, имеющая такой вид, словно она уже три года страдает запором: «Представляете, эти арабы закрывают лица своим девушкам. Они совершенные дикари!»

Слово за слово, она излагает нам свой идеал культурной жизни: муж, получающий 1200 франков в месяц, двухкомнатная квартира, с кухней и подсобными помещениями, кино по воскресеньям, а в будние дни – жизнь среди мебели из галереи Барбес.

Абсурд и Власть – тщательно изучить (ср. Гитлер).

18 марта 1941 г.

Возвышенности над Алжиром весной утопают в цветах.

Медовый запах желтых роз течет по улочкам. На верхушках гигантских черных кипарисов вдруг распускаются глицинии, стебли которых незаметно ползут вверх, скрытые хвоей. Легкий ветерок, огромный спокойный залив. Простое и сильное желание – и как же нелепо покидать все это.

Санта-Крус и путь вверх меж сосен. Чем выше поднимаешься, тем огромнее кажется залив – и так до самой вершины, где взор теряется в безбрежности. Безучастность – мне тоже случается совершать паломничества.

19 марта

Каждый год на пляжах как цветники – множество девушек. Они цветут только один сезон. На следующий год на их месте расцветают другие красавицы, прошлым летом бывшие еще маленькими девочками. Для человека, который на них смотрит, они как волны, ежегодно обрушивающиеся всем своим грузом и великолепием на желтый песок.

20 марта

Об Оране. Написать биографию ничтожную и абсурдную. Кстати о Каине: неизвестное ничтожество, изваявшее ничтожных львов на площади Оружия.

21 марта

Весенние купания в ледяной воде. Мертвые медузы на отмелях: желе, постепенно увязающее в песке. Гигантские бледные дюны. Море и песок – две пустыни.

Еженедельник «Гренгуар» требует переброски лагерей для испанских беженцев на крайний юг Туниса.

Освободиться от этого рабства – влечения к женщинам.

По Розанову, Микеланджело, Леонардо творили, а революция вырвет им язык и убьет их в двенадцать-тринадцать лет, как только они проявят свою личность, свою самобытную душу.

«Без греховного начала человек не смог бы жить, а без святого жил бы припеваючи». Бессмертие – идея бесперспективная.

Шакья-Муни долгие годы провел среди пустыни, в неподвижности, устремив взор в небо. Сами боги завидовали его мудрости и окаменению. В его оцепеневших протянутых руках свили гнездо ласточки. Но однажды они улетели навсегда. И тот, кто убил в себе желание и волю, славу и боль, заплакал. Так на камнях вырастают цветы.

«They may torture, but shall not subdue me»[96].

«Аббат: Зачем не жить, не действовать иначе?
Манфред: Затем, что я всегда гнушался жизни»[97].

Чем руководствуется сердце? Любовью? Что может быть ненадежнее? Можно знать, что такое любовное страдание, но не знать, что такое любовь. Тут и утрата, и сожаление, и пустые руки. Пусть я не буду сгорать от страсти, при мне останется тоска. Ад, где все сулит рай. И все-таки это ад. Я называю жизнью и любовью то, что меня опустошает. Отъезд, принуждение, разрыв, мое беспросветное сердце, разорванное в клочья, соленый вкус слез и любви.

Ветер, одна из немногих чистых вещей на свете.

Апрель. II серия.
Мир трагедии и дух мятежа Будеёвице (3 действия).
Чума или приключение (роман).

Чума-избавительница.
Счастливый город. Люди живут каждый по-своему. Чума ставит всех на одну доску. И все равно все умирают. Дважды бесполезно. Философ пишет там «антологию незначительных поступков». Ведет, в этом свете, дневник чумы. (Другой дневник, в патетическом свете. Преподаватель греческого и латыни. Он выясняет, что до сих пор не понимал Фукидида и Лукреция.) Его любимая фраза «По всей вероятности». «Трамвайная компания имела в своем распоряжении только 760 рабочих вместо 2130. По всей вероятности, в этом повинна чума».

Черный гной, сочащийся из язв, убивает веру в молодом священнике. Он хочет бежать, «Если я уцелею…» Но ему не удается спастись. За все приходится платить.

Тела увозят на трамваях. Целые составы, груженные трупами и цветами, идут вдоль моря. Кондукторов увольняют: пассажиры не платят за проезд.

Агентство «Рэнсдок-СВП» дает все справки по телефону. «Сегодня двести жертв, месье. Мы запишем два франка на ваш телефонный счет». «Невозможно, месье, гробы поступят не

[96] Они могут меня мучить, но не заставят покориться (*англ.*).

[97] Перевод И. А. Бунина.

раньше чем через четыре дня. Позвоните в Трамвайную компанию. Мы запишем…» Агентство рекламирует свою деятельность по радио: «Вы желаете знать ежедневно, еженедельно, ежемесячно число жертв чумы? Обратитесь в «Рэнсдок» – пять телефонных номеров: 353–91 и следующие».

Город закрывают. Люди умирают скопом, вдали от остального мира. Однако находится господин, не расстающийся со своими привычками. Он продолжает переодеваться к обеду. Члены семьи один за другим исчезают из-за стола. Он умирает, глядя в свою тарелку, при полном параде. Как говорит служанка: «Хоть какой-то прок. Нет нужды его обряжать». Покойников уже не хоронят, их выбрасывают в море. Но их слишком много, они напоминают чудовищную пену на синеве моря.

Один мужчина видит на лице любимой женщины следы чумы. Никогда он не будет любить ее так сильно. Но никогда она не была ему так противна. Он борется с собой. Но верх все-таки одерживает тело. Его обуревает отвращение. Он хватает ее за руку, стаскивает с кровати, тащит через комнату, прихожую, коридор, по двум улочкам, потом по главной улице. Он бросает ее в сточную канаву. «В конце концов, есть и другие женщины».

Напоследок берет слово самый незначительный персонаж. «В каком-то смысле, – говорит он, – это бич Божий».

Тем временем: брошюрка об Оране. Греки.

Все старания западного искусства сводятся к тому, чтобы предложить воображению разные типы. И история европейской литературы кажется не чем иным, как цепью вариаций на заданные темы и бесконечным развитием этих типов. Расиновская любовь – вариация такого типа любви, который, быть может, не встречается в жизни. Это упрощение – стиль. Запад не изображает свою будничную жизнь. Он вечно рисует великие образы, которые вдохновляют его. Он их ищет. Он хочет быть Манфредом или Фаустом, Дон Жуаном или Нарциссом. Но приблизиться к ним не удается. Всегда побеждает стадное чувство. С горя Запад изобрел киногероя.

Дюны у моря – теплый рассвет и обнаженные тела в первых, еще черных и горьких волнах. Вода давит. Мы погружаем в нее тело, а потом бежим по пляжу в первых лучах солнца. Все летние утра на пляжах кажутся первозданными. Все летние вечера похожи на величественный конец света. Вечера на море были безграничны. Солнечные дни среди дюн были изнурительны. В два часа дня невозможно пройти по раскаленному песку и сотни метров. Жара пьянит. Ни шагу больше. Солнце убивает. По утрам красота коричневых тел на светлом песке. Страшная невинность игр и обнаженных тел в слепящем свете.

Ночью при луне дюны кажутся белыми. Незадолго до того, в вечерних сумерках, все цвета становятся гуще, ярче. Ультрамариновое море, красная, цвета свернувшейся крови, дорога, желтый пляж. Все меркнет вместе с зеленым солнцем, и дюны мерцают в лунном свете. Ночи безмерного счастья под звездным дождем. Что прижимаем мы к себе, тело или теплую ночь?

А эта грозовая ночь, когда молнии мчались вдоль дюн, бледнели, оставляя на песке и в глазах оранжевые или белесые отсветы. Эти незабываемые свадебные торжества. Возможность написать: я был счастлив целую неделю.

Приходится платить и мараться в низком человеческом страдании. Грязный, отвратительный и липкий мир боли.

«Крики ужаса и вопли оглашали даль соленую, покуда око ночи не сокрыло нас»[98] (Персы – битва при Саламине).

В 477 году, чтобы закрепить Делосский союз, в море были брошены железные слитки. Клятва о союзе должна была длиться так же долго, как долго железо пролежит в воде.

Политики не сознают, насколько равенство враждебно свободе. В Греции были свободные люди, потому что были рабы.

«Лишать народ свободы под предлогом того, что он не умеет ею пользоваться, – тяжкое преступление» (Токвиль).

Проблема искусства есть проблема перевода. Плохие писатели те, кто пишет, считаясь с внутренним контекстом, не известным читателю. Нужно писать как бы вдвоем: главное здесь, как и везде, – научиться владеть собою.

Рукописи о войне пленных, фронтовиков. Немыслимый опыт ничему не научил их. Полгода службы в почтовом ведомстве были бы для них столь же поучительны. Они вторят газетам. То, что они в них прочли, поразило их гораздо больше, нежели то, что они видели собственными глазами.

«Пришла пора доказать делами, что достоинство человека не уступает величию богов» («Ифигения в Тавриде»).

«Я хочу власти, обладания. Действие – все, слава – ничто» («Фауст»).

Для человека мудрого в мире нет тайн, какая ему нужда блуждать в вечности?

Воля – тоже одиночество.

Лист о Шопене: «Отныне искусство стало для него лишь средством обречь самого себя на трагедию».

Сентябрь. Все можно устроить: это просто и очевидно. Но вмешивается человеческое страдание и разрушает все планы.

Искушение погубить себя и все отринуть, не быть ни на кого похожим, навсегда уничтожить то, что нас определяет, предаться одиночеству и небытию, найти единственную точку опоры, где судьбы всякий раз могут начаться сначала. Искушение это постоянно. Поддаться ему или нет? Можно ли вносить одержимость произведением в глубь кипучей жизни, или надо, наоборот, равнять по нему свою жизнь, подчиняться мгновенным озарениям? Красота – главная моя забота, так же как и свобода.

Ж. Копо: «В великие эпохи не ищите драматического поэта в его кабинете. Он на театре, среди своих актеров. Он актер и режиссер».

Мы не принадлежим великой эпохе.

---

[98] Перевод С. Апта.

О греческом театре:
Г. Мотис: Эсхил и его трилогия.
Афинская аристократия.
Наварр: Греческий театр.

В пантомиме бродячие артисты говорят на непонятном языке (фарсовое эсперанто) – непонятен не смысл, а сама жизнь.

Шансерель справедливо настаивает на важности пантомимы. Тело в театре: весь современный французский театр (кроме Барро) забыл о нем.

Состав Zibaldone[99] в комедии дель арте. (Луи Молан: «Мольер и итальянская комедия») (Лоскутный занавес).

Умирающий Мольер просил принести его в театр, чтобы не лишать платы за представление актеров, музыкантов, рабочих сцены, «у которых нет иного заработка».

Книга Шансереля интересна, несмотря на один недостаток: она способна навеять уныние. Знаменательно также видеть, как человек, занятый влиянием театра на нравы, рекомендует репертуар, где фигурируют елизаветинцы. Мы уже отвыкли от такого склада ума.

Мнение Никола Клемана, библиотекаря Людовика XIV, о Шекспире: «Этот английский поэт обладает довольно богатым воображением, он изъясняется остроумно, но эти достоинства омрачает сквернословие, которым он грешит в своих комедиях».

Великий век был великим единственно благодаря уродованию души и ума, очевидному на примере Клемана. Меж тем английский поэт замечательно писал в трагедии о Ричарде II: «Поговорим о смерти, о червях. Нам прах земной взамен бумаги будет»[100]. А Уэбстер: «Человек словно кассия; чтобы услышать его вонь, его надо растолочь».

Маски, дивертисменты на случай. Танцоры своими движениями чертили на полу инициалы молодоженов, в чью честь давался праздник.

«Oh: no, there is not the end, the end is death and madness»[101] (Кид. «Испанская трагедия»), а Марло в тридцать лет умирает от удара кинжала в лоб, убитый сыщиком.

Пятьдесят три рукописных пьесы из собрания Уорбертона (Филип Мессинджер и Флетчер), сожженные искусной поварихой, которая обкладывала ими формы для своих пирогов. Таков итог.

Ср. Жорж Конн: «Тайна Шекспира» (Буавен).
«Современное шекспироведение» (Дидье).

Октябрь
Чума. Бонзельс, с. 144 и 222.
1342 – Черная чума над Европой. Убивают евреев.
1481 – Чума опустошает юг Испании. Инквизиция говорит: евреи. Но от чумы гибнет один из инквизиторов.

---

[99] Смесь, мешанина (*ит.*).

[100] Перевод М. А. Донского.

[101] О нет, это не конец, конец – это смерть и безумие (*англ.*).

Во II веке шли споры о физическом облике Иисуса. Святой Кирилл и Святой Юстин: чтобы воплощение обрело весь свой смысл, облику Христа надлежало быть мерзким и отвратительным (Святой Кирилл: «самый ужасный из сынов человеческих»).

Но греческий дух: «Если он не прекрасен, то он не Бог». Победили греки.

О катарах – Дуэ: «Еретики на Юге в XIII веке».

Красавица Сембра. Доносит на своего отца, который участвует в заговоре против инквизиции, потому что у нее есть возлюбленный кастилец и они «conversos»[102]. Она уходит в монастырь. Снедаемая похотью, покидает его. Рожает нескольких детей. Дурнеет. Умирает под покровительством одного бакалейщика – требует, чтобы ее череп повесили над входной дверью как напоминание о ее беспутной жизни. В Севилье.

Александр Борджиа был первым, кто воспротивился Торквемаде. Слишком мудрый и «благовоспитанный», чтобы смириться с этим зверством.

Смотри Гердера: «Идеи к философии истории человечества».

Те, кто творил в разгар смутного времени: Шекспир, Мильтон, Ронсар, Рабле, Монтень, Малерб.

В Германии национальное чувство изначально отсутствовало. Его заменяло расовое сознание, созданное сплошь интеллектуалами. *Оно гораздо более агрессивно*. Немца волнует внешняя политика, француза – внутренняя.

Об однообразии. Однообразие последних произведений Толстого. Однообразие индуистских книг – однообразие библейских пророчеств – однообразие Будды. Однообразие Корана и всех религиозных книг. Однообразие Ницше – Паскаля – Шестова – ужасное однообразие Пруста, маркиза де Сада и т. д.

При осаде Севастополя Толстой выскакивает из траншеи и бежит к бастиону под непрерывным огнем противника: он увидел крысу, а крыс он страшно боялся.

Политика никогда не бывает предметом поэзии (Гёте).

Добавить к Абсурду цитату из Толстого как образец логической непоследовательности: «Если все земные блага, ради которых мы живем, если все наслаждения, которые дает нам жизнь, богатство, славу, почести, отнимает у нас смерть, то эти блага не имеют никакого смысла. Если жизнь не бесконечна, она просто-напросто нелепа – в таком случае жить не стоит и надо поскорее покончить с собой и избавиться от жизни» («Исповедь»).

Но дальше Толстой поправляет себя: «Существование смерти обязывает нас либо добровольно уйти из жизни, либо придать жизни *“такой смысл, который не уничтожается смертью”*».

Страх и боль: самые мимолетные из эмоций, говорит Бёрд.

[102] Новообращенные (*исп.*).

На Севере в полном одиночестве он замечает, что существуют телесные потребности, не менее настоятельные, чем духовные. «*Тело не может обходиться* без звуков, запахов и голосов».

Т. Э. Лоуренс, вновь завербовавшийся после войны *простым солдатом* и вдобавок под чужим именем. Следует проверить, принесет ли анонимность то, чего не смогла дать слава. Он отвергает королевские награды, отдает свой военный крест собаке. Он анонимно посылает свои рукописи издателям, и те их отвергают. Несчастный случай на мотоцикле.

Отсюда определение А. Фабр-Люса: сверхчеловек узнается по суровости, с какой он замыкается в истории, и по внутренней свободе, какую он обретает по отношению к ней.

После повторного чтения: «Записки Мальте Лауридса Бригге» – книга незначительная. Виноват Париж. Это парижское поражение. Парижская зараза, которую не удалось побороть. Напр.: «Мир считает одиночку врагом». Наверно, миру на него наплевать, и это его право.

Единственная стоящая вещь: история Арвера, которого смерть застает в момент, когда он исправляет ошибку во французской фразе: «Надо говорить “Коридор”».

Как говорит Ньютон: думая об этом непрестанно.

Жан Итье о драматурге: «Он делает что хочет, при условии делать то, что нужно».

Для Монтерлана (упадок рыцарства по вине женщин). «Жан из Сентре», с. 108. МА.ЛФ.

Пьер де Лариве: переводчик. «Духи», перевод из Лоренцино Медичи – Сент-Эвремон.

Все мысы побережья похожи на готовую к отплытию флотилию. Эти скалистые и лазурные корабли покачиваются на своих килях, словно готовясь отплыть к залитым светом островам. Вся Оранская область готова отправиться в путь, и ежедневно в полдень ее охватывает лихорадочная жажда приключений. Быть может, настанет утро, когда мы уедем вместе.

В разгар жары над гигантскими дюнами мир сжимается и сокращается. Это жаркая кровавая клетка. Он ограничен моим телом. Но стоит вдали зареветь ослу, и дюны, пустыня, небо вновь обретают свое бытие в пространстве. А пространство это бесконечно.

Эссе о трагедии.
I. Молчание Прометея.
II. Елизаветинцы.
III. Мольер.
IV. Дух мятежа.

«Чума». «Мне хочется чего-нибудь справедливого». – «Справедливое требование. Пожалуйста – вот чума».

«Ночь», «настоящая ночь», скольким людям она нынче ведома? Вода и земля, вновь наступившая тишина. «И душа моя тоже подобна чистому ключу». Ах! Пусть мир удалится, пусть мир замолкнет. Там, над Польенсой…»

Покончить с этой пустотой в сердце – отринуть все, что его иссушает. Если здесь нет живой воды, чего ради хранить верность себе?

В какой-то момент перестаешь испытывать любовное волнение. Остается только трагизм. Жить ради кого-то или чего-то становится уже бессмысленно. Смысл обретает только мысль о том, чтобы можно было за что-то умереть.

В Спарте один человек навлек на себя публичное порицание эфора за то, что имел слишком большой живот.

Афинская поговорка называла последним человеком того, кто не умел ни плавать, ни читать.

Смотри у Плутарха об Алкивиаде: «В Спарте он не выходил из гимнасия, был непритязателен и угрюм, в Ионии – изнежен, сластолюбив, беспечен, во Фракии беспробудно пьянствовал, в Фессалии не слезал с коня, при дворе сатрапа Тиссаферна в роскоши, спеси и пышности не уступал даже персам».

Однажды, когда народ рукоплескал ему, Фокион заметил: «Верно, я сказал какую-нибудь глупость».

Упадок! Речи об упадке! III век до нашей эры – век упадка для Греции. Он дал миру геометрию, физику, астрономию и тригонометрию стараниями Евклида, Архимеда, Аристарха и Гиппарха.

Еще встречаются люди, которые путают индивидуализм и себялюбие. Это значит смешивать два плана: социальный и метафизический. «Вы разбрасываетесь». Переходить от одного образа жизни к другому – значит не иметь своего лица. Но иметь свое лицо – эта мысль свойственна определенному уровню цивилизации. Иным это может показаться худшим из несчастий.

Противоречивость современного мира. В Афинах народ мог по-настоящему осуществлять свою власть только потому, что он посвящал этому бóльшую часть своего времени, а рабы с утра до вечера трудились. С тех пор как рабство отменили, работать приходится всем. И именно в эпоху, когда европейцы дальше всего продвинулись по пути пролетаризации, на первое место выходит идеал суверенитета народа – это невозможно.

В греческом театре только три актера: нет речи о создании *персонажа*.

В Афинах театр – вещь серьезная: представления устраиваются два-три раза в год. А в Париже? И они хотят вернуться к тому, что умерло! Лучше создайте свои собственные формы.

«Самое невинное занятие люди могут сделать преступлением» (Мольер. Предисловие к «Тартюфу»).

Заглянуть в последнюю сцену I акта «Тартюфа»: «возбуждает интерес и держит публику в напряжении»; продолжение в ближайшую пятницу.

Солон создает известное творение, а в старости обеспечивает ему бессмертие с помощью поэзии.

Фукидид говорит устами Перикла, что афинянам свойственна «высшая храбрость, которая не мешает им хорошо обдумывать свои предприятия».

В битве при Саламине гребцами на победоносных триерах были *самые ничтожные* из афинян.

Ср. Коэн: «Театр, достойный этого имени, появился в Афинах лишь тогда, когда они лишились поэта, достойного их одушевлять».

О. Флаке о Саде: «Ни одна ценность не прочна для того, кто не преклоняется перед ней. Сад не видит причины преклоняться, он долго искал эту причину и не мог найти. Согласно Саду, человек, лишенный благодати, не отвечает за свои поступки».

Ср. математику зла в «Жюльетте».

Одержимый идеей бунта против основополагающего закона, он признает одинаковое право на существование за духом и сексуальностью. Кончает жизнь в Шарантоне, куда в здравом уме заключен врагами; под его руководством умалишенные разыгрывают поставленные им спектакли: Картина.

«Он измыслил жестокости, которых ему не доводилось и не хотелось бы испытать, – чтобы приобщиться к великим проблемам».

«Моби Дик» и символ, с. 120, 121, 123, 129, 173–177, 203, 209, 241, 310, 313, 339, 373, 415, 421, 452, 457, 460, 472, 485, 499, 503, 517, 520, 522.

Чувства, образы удесятеряют смысл философии.

В Афинах покойниками занимались только во время антестерий. А как только они кончались: «Прочь, души, антестерии закончились».

Изначально греческая религия утверждала, что всех ждет Преисподняя. Ни награды, ни кары не существует – и в иудейской религии тоже. Идея награды – плод общественного сознания.

404 год. После того, как Афины сдались Лисандру, он под звуки флейт срыл город; так была закончена Пелопоннесская война.

Замечательная история Тимолеона, сиракузского тирана (он схватил своего отца, чтобы предать его смерти как изменника родины) (II, 251, 2, 3).

В IV веке в некоторых греческих городах олигархи давали такую клятву: «Клянусь быть всегда врагом народа и советовать то, что, по моему разумению, принесет ему вред».

Бегство Дария, преследуемого Александром (293–294).

Свадебное пиршество в Сузах: 10 000 солдат, 80 полководцев, и Александр заключает союз с персами.

Деметрий Полиоркет – то на вершине власти, то бродит от селения к селению.

Антисфен: «Удел царей – творить добро и слышать в свой адрес хулу».

Ср. Марк Аврелий: «Везде, где можно жить, можно жить хорошо».

«То, что мешает завершить задуманное произведение, само становится произведением».

Преграда на пути заставляет прокладывать дорогу.

Закончено в феврале 1942 г.